



# РАСПРЯ С ВЕКОВОМ

В ДВА ГОЛОСА)

БЕЛИНКОВ АРКАДИЙ  
БЕЛИНКОВА НАТАЛЬЯ



Новое  
Литературное  
Обозрение



Новое  
Литературное  
Обозрение



**АРКАДИЙ БЕЛИНКОВ  
НАТАЛЬЯ БЕЛИНКОВА  
РАСПРЯ С ВЕКОМ**

**В ДВА ГОЛОСА**

Новое Литературное Обозрение  
Москва  
2008

ББК 71.04  
УДК 930.85  
Б 84

**Белинков А., Белинкова Н.**

**Б 84 Распря с веком (В два голоса).** М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 632 с.

«Распря с веком» — свидетельство двух человек о творческой жизни писателя Аркадия Белинкова (1921 — 1970) в советской России и за рубежом. О поворотах в его судьбе: аресте, эмиграции, ранней смерти.

Фрагментами своих опубликованных и неопубликованных книг, письмами и черновиками Аркадий Белинков сам повествует о времени, жертвой и судьей которого он был.

Наталья Белинкова, прибегая к архивным документам и своим воспоминаниям, рассказывает о самоотверженной борьбе писателя за публикацию своих произведений и о его сложных взаимоотношениях с выдающимися людьми нашего недавнего прошлого: Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским, Виктором Шкловским и другими.

ББК 71.04  
УДК 930.85

**ISBN 978-5-86793-632-7**

© Н. Белинкова, 2008

© Художественное оформление. Новое литературное обозрение, 2008

## ПРОЛОГ

Этот только что выпущенный на свободу человек торопился. Он привез с собой отчаянную жажду догнать вычеркнутые из его жизни тринадцать лет. Его дипломная работа, его лагерная проза потеряны, можно считать, безвозвратно. Они под грифом «хранить вечно». Все надо начинать сызнова.

Он опять в Литературном институте, расположившемся в доме, где родился Герцен. Бывший зэк быстро идет по длинному коридору старинного дома, не узнавая и узнавая знакомые места. Как и раньше, пахнет пылью. Но откуда-то тянет свежей сыростью известки. Красят фасад здания, и запах проникает внутрь. Как и тогда, в полутемный коридор распахиваются двери аудиторий. Но из них выходят незнакомые ему люди. Перерыв между лекциями. В конце коридора — окно с широким подоконником, таким памятным, что даже страшно. Он знает, там могли поместиться двое и сразу выделиться, отделиться от толпы. Сейчас там сидит девушка в синей юбке и красной кофточке.

Издали, может быть благодаря легкой танцующей походке, недавний зэк кажется щеголеватым юношей. На самом деле ему за тридцать. Он сутуловат и очень худ. На бледном семитском лице выделяются черные с поволокой глаза. Он не вписывается в толпу своих сверстников в полуспортивных, нарочито небрежных куртках, — одет в отглаженный и тщательно подогнанный костюм и галстук в полоску.

Стояла ясная осень 1956 года. В Литинституте шепотом пересказывали сенсационные факты из неопубликованного доклада Хрущева, Аркадий Викторович Белинков стремительно мчался по коридору, нагоняя упущенное время, а я, присев на широкий подоконник, рассеянно перелистывала какой-то журнал. У меня — сотрудницы Литинститута — перерыв.

Восстановиться в Литинституте — сдать чуть ли не два десятка экзаменов (ведомости были сожжены во время войны, когда в здании института размещалась зенитная батарея) и написать новую дипломную работу.

Он взялся за дело безотлагательно. И сразу стал вызывать подозрительное удивление: только что из заключения, а чуть ли не каждый день сдает по экзамену, и все «на пять». Зав. учебной частью — красивая пол-

ная дама — полушепотом намекала: «Так евреи...жш...» и томно поводи-ла покатым плечом. Сомневалась не она одна. Вот и отбывавший в это время свою ссылку бывший друг и одноделец не поверил и безапелляци-онно заявил в своих воспоминаниях: «не кончил четыре курса за полтора месяца». Даже отец Аркадия признался мне однажды: «Я и сам не вполне доверял ему. Соседи меня спрашивают: “Как сын?” , а я им отвечаю: “Сда-ет...” Ведь я знал, каким его от меня взяли. Я не знал, каким он оттуда вернулся».

Аркадий Викторович был общителен без панибратства, отличался изящной, немного старомодной вежливостью: здороваясь, целовал да-мам руку и, когда представлялся, называл себя по имени и отчеству. Не было у него ни вкоренившейся согбенности, ни быстрого испуганного взгляда, которые можно было бы предположить у человека, вернувшего-ся из заключения, об ужасах которого страна только начинала узнавать. Довольно скоро Аркадий собрал вокруг себя большой круг слушателей и слушательниц. Много из того, что впоследствии мы прочитали у Сол-женицына, Шаламова, Гинзбург, мы впервые услышали от этого узника ГУЛАГа. Он рассказывал, как арестованных сажают на допросы перед *тысячеваттной* электрической лампой, как в этапе однажды удалось пой-мать неосторожного тушканчика и как его тут же *съели живьем*, со шкур-кой и хвостиком, как после ликвидации Берия в бараках произвели шмон и из красного уголка (вот удивительно!) изъяли все *музыкальные инстру-менты*, как однажды экам торжественно объявили, что за хорошую ра-боту их будут хоронить не *с биркой к ноге*, а *в гробах!*

Рассказывал он, собственно, не о себе, а о лагере. С непредставимой лагерной былью переплеталась гротесковая манера рассказчика. Не лег-ко было проглотить эти вселяющие ужас истории. По Москве пошла гулять фраза: «Белинков много врет про лагерь». Будто бы это сказал Наум Кор-жавин. Аркадий закипел: компрометация рассказчика умаляет преступ-ления ГУЛАГа! Однажды, увидев поэта в вагоне московского метро, он, готовый не то к ссоре, не то к драке, решительно к нему направился. При-близившись, увидел: тот с увлечением читает его, Белинкова, только что опубликованную книгу. Остыл, конечно, но все же спросил, защищает ли Коржавин тюремщиков. Тот ответил, что нет, тюремщиков он не защища-ет. Объяснились к взаимному удовлетворению.

Когда в Литинституте появился еще один лагерник, мои подруги захо-тели их познакомить — как-никак оба из ГУЛАГа, почти что земляки. «Бе-линков? Да он в лагере мыло украл. Мы в одном бараке жили!» Женщины заволновались. Кому верить? Не входя в детали, я осторожно предупре-дила Аркадия Викторовича. Неожиданно он рассмеялся: «Сказал, навер-ное, что я мыло украл?» И счел нужным мне, неопытной, объяснить, что, когда его выдернули на этап, он действительно унес с собой обмылок. В

бараке никого не было, спросить не у кого. Считалось, что в подобных обстоятельствах это можно. Там это понимали. Но какие разнообразные бывают реакции! Рассказала я об этом случае своей приятельнице, знакомой с нравами в лагерях, а она восхищенно восклицает: «Какой чистый человек! Мыло взял».

Мой первый доверительный разговор с Аркадием Белинковым состоялся в первую зиму по его освобождению. Он только что раньше времени вернулся из дома творчества «Малеевка», куда уезжал по путевке Литфонда как незаконно репрессированный. Мы уединились на окне с широким подоконником. Мимо пробегали студенты, проходили преподаватели. Коридор заполнялся, потом пустел. Аркадий Викторович взволнованно и слегка задыхаясь (признак постоянной сердечной недостаточности) объяснял мне, почему он сбежал оттуда.

Выходило, что невозможно вот так, сразу перенестись из казахстанского лагеря с его потом и гноем в благополучную безмятежность подмосковного санатория. Сверкающий белый снег слепил глаза, а они и без того были обожжены лампой на допросах; на крахмальной скатерти дымился суп из шампиньонов, а он помнил, как сводило скулы от селедки, после которой не дают пить; писательские жены красовались друг перед другом модными прозрачными нейлоновыми блузками, а он все еще видел, как особой пикой прокалывают очоженевший труп на морозе (чтобы наверняка, чтобы побега не было); «инженеры человеческих душ» пренебрежительно именовали нянечек, уборщиц и официанток «обслуживающим персоналом», а он узнавал в них своих замученных солагерников, сокамерников: «Я же только что оттуда! На меня там кровь лилась с нар...»

Этот разговор сблизил нас. Мы перешли на ты и научились обходиться без имени-отчества. Днем виделись в Литинституте, а по вечерам ходили на концерты и выставки. Ах, эти ужасные сплетники из учебной части! Они первые догадались, что происходит между нами.

Спустя некоторое время мы, к огорчению моих родителей, поженились. Отцу моему была чужда резкость Аркадия, а мама... мама опасалась, что бывший зэк — трудный муж и жить нам будет нелегко. Наполовину она угадала. Судьба человека, рожденного при тоталитарном строе и решившегося на борьбу с ним «до полной гибели всерьез», не могла быть радужной.

Борьба Аркадия Белинкова с властями предержавшими развертывалась на издательском поле, ограниченном цензурой, недалеко отстоящей от Уголовного кодекса РСФСР. По условиям игры не сдавшийся писатель был обречен или на молчание, или на суд по-советски (иногда со смертельным исходом). К этим двум испытаниям он сам прибавил третье — эмиграцию.



Считается, что литературный труд — результат пережитого. У этого писателя все происходило иначе: крутые этапы его жизненного пути были вызваны, а порой и предсказаны его собственными писаниями.

Таковыми же резкими были перепады в его литературном хозяйстве.

Он начал стихами. О них мы почти ничего не знаем. Все были конфискованы и уничтожены во время следствия.

Потом пришла проза, повествование в которой шло от первого лица и главный герой был тезкой автора. Дабы отделить реальность от вымысла, автор внес в свой первый роман «Малую декларацию» о размежевании со своим героем. Однако следователи их опять объединили, и Белинков получил срок за антисоветскую агитацию.

Вернувшись из заключения, он стал литературоведом. Он больше не отождествлял свое имя с именем вымышленного героя, а писал о Тынянове, Олеше, Шкловском, Ахматовой, Солженицыне. Но был тут некий поворот. Он избегал делать этих писателей *объектами научных трудов*. Вместо этого, как бы и полагалось в добротном художественном полотне, он создавал характерные человеческие *типы*, типы писателей советского периода: лояльный по отношению к господствующей власти, сдавшийся ей, сопротивляющийся. Образовался жанр с размытыми границами — *литературоведение в прозе*. Сам Белинков шел еще дальше, говорил о сходстве своего литературоведения с *лирикой*. Ах, какие это давало возможности навести тень на плетень! (Надо ли объяснять, что плетень — многоступенчатая цензура?) Оппозиционный читатель шестидесятых годов очень изобретательность автора оценил. Но наступала ресталинизация, и путь к печатному станку снова закрывался...

Когда писатель прорвался на Запад, первое место в чреде жанров заняла публицистика. Свобода! Можно высказываться открыто. Но в Америке конца 60-х — начала 70-х, где нашел пристанище беглец, западные коллеги не одобряли его борьбу с советским режимом. В то время они жили разрядкой напряженности, идеей ослабления «холодной войны» и борьбой за права человека в своей собственной стране. А российские эмигранты первой и второй волны не разобрались в эзоповских ухищрениях писателя из СССР и смертельно обижались на исторические аллюзии.

Аркадий Белинков не был традиционным писателем. Но, разрушая нормативную поэтику, он вместе с тем приносил в свои работы задачи, характерные для классической русской литературы: моральные, правовые, политические. Особенность — желательная для русских читателей и не нужная западным.

Друзья Аркадия утверждают, что он умел предвидеть не только свою судьбу. В шестидесятых годах он написал «Печальную и трогательную поэму о взаимоотношениях скорпиона и жабы, или Роман о государстве и

обществе, несущихся к коммунизму» — характерный образчик его творческой манеры. Пусть никого не введет в заблуждение такое название, потому что это не поэма и не роман. Это бывший «Пролог» к книге «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», исключенный из основного корпуса книги по воле автора. В поэме-романе-памфлете шестидесятых годов говорится о «потопе», который, как мы знаем, обрушился на страну на переломе XX—XXI веков. А также о будущем России.

Внимательным прочтением, совместным обсуждением, серьезной редактурой и мелкими поправками, вдумчивыми советами, заинтересованностью, терпением, строгим суждением, доброжелательной критикой, настойчивостью, придирчивостью, требовательностью и снисходительностью, форматированием, сбережением архива и риском его пересылки в советские времена, уверенностью в том, что эта книга нужна читателям, и верой в то, что она будет мной написана, мне помогали на протяжении многих лет: Вл. Рахманов, А. Белоконь, Ф. Шор, Г. Белая, И. Уварова, Б. Сарнов, Н. Эйдельман, И. Толстой, Л. Левицкий, А. Корсунский, Ю. Китаевич, М. Левин и его жена Наташа. Низкий им поклон и сердечная благодарность.

*Н. Белинкова*

Аркадий Белинков

ПЕЧАЛЬНАЯ И ТРОГАТЕЛЬНАЯ ПОЭМА  
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СКОРПИОНА  
И ЖАБЫ,  
или  
РОМАН О ГОСУДАРСТВЕ И ОБЩЕСТВЕ,  
НЕСУЩИХСЯ К КОММУНИЗМУ

Я лучше в баре блядям буду  
подавать ананасную воду.

*В. Маяковский*

... но служить не буду вам.

*Гейне*

Каждый режим обречен на строго определенные поступки.

Добро или зло, которое он совершает, — лишь проявление заложенных в нем свойств.

И ничего другого, кроме проявления заложенных свойств, режим свершить не может.

Так, например, абсолютистская монархия и хотела бы вести себя хорошо, а не может.

Ая-яй. Ая-яй.

Дифференциальная социология этого общего соображения с исчерпывающей полнотой выражена в широко известной на Востоке поэме о Скорпионе и Жабе.

Напомним читателям эту поэму.

Когда начался Великий всемирно-исторический потоп, люди, звери, гады и другие представители различных слоев общества в ужасе и смятении бежали от потоков хлынувшей на Землю воды.

Это вы знаете.

Бежали все, и трудно было отличить тигра от лани, пермского зверозубого ящера (*Theriodontia*) от пенсионерки и зайчика от начальника спецотдела.

Это было ужасно.

Паника охватила даже тех, кому вода вообще не угрожала особенно неприятными последствиями. Но паника есть паника, и она охватывает в первую очередь наиболее отсталые слои населения.

Так, в частности, паника охватила одну Жабу, которая, как всему миру известно, вообще является земноводной, и одного Скорпиона, который, в силу занимаемого положения, никогда ничего не боится.

Жаба была красивой и полной. Даже чересчур полной. Это была еще молодая, широкая в кости, добрая и ленивая Жаба, у которой все было впереди. Муж ее погиб под... как это теперь называется?... под волжской твердыней. Иногда она немножко давала. Но морального удовлетворения от этого не получала, в сущности, никакого.

Скорпион был сух и блестящ, элегантен и молодцеват.

В нем было что-то гусарское.

Черт возьми!

Он пользовался успехом, и знал это.

Он был членом бюро Общества по распространению политических и научных знаний. (Кроме всего прочего, конечно.)

— Будь здоровчик! — сказал Скорпион и мастерски сплюнул по траектории, подобной лозе, согнутой ветром. — У меня достаточно дел, кроме Великого всемирно-исторического потопа. — И он прогрохотал ящиками письменного стола, сунул в карман не замеченную раньше пачку денег, рассеянно листнул календарь, на котором были записаны посетители, дипломатические приемы, тезисы доклада о моральном облике, имена модных педерастов, план доноса на свою младшую сестру, дни рождения жены, детей, бабушек, дедушек и прочая баланда, зевнул, бросил календарь, длинным ногтем отставленного мизинного пальца почесал пробор, подождал, не придут ли в такой момент значительные мысли, и, не дождавшись, вышел.

Была черная ночь.

Дождь лил как из ведра. Абзац. Молнии вспыхивали в разных местах. Абзац. Грохотал гром. Абзац.

Это вы все знаете.

Он шел по улицам административного и культурного центра нашей великой Родины и сосредоточенно думал.

Так он дошел до набережной. Впрочем, что такое набережная во время Всемирно-исторического потопа? Кто может ответить на это?

Город, выброшенный из постелей, разнонаправленно шевелился, шептался, обрушивался.

Из-за угла выскочила машина, провела по его глазам одной фарой, и когда вместо необъятного сверкающего пятна он стал различать многие

маленькие черные пятна, плоскости и желтые и голубые линии рисунка черной ночи, он увидел перед собой Жабу.

— Хе-хекс! — сказал он и повернулся на каблуках.

Плыла широкая, как поле, вода.

— Привет, — сказал Скорпион.

У Жабы сразу пересохло горло, и она сделала жалкий глоток. Глоток был маленький и круглый, и казалось, что по ее горлу прокатилась бусинка.

— Здравствуйте, — сказала она, и не узнала своего голоса, и впервые почувствовала, как царапают горло «з», «д» и «р».

Изредка вдали вставали столбы гудков и в тишине огромного гибнущего города слышалась лишь неумолкающая, всхлипывающая, восклицающая вода.

— Ночка темная приключилась, трья-та-трата-та-там-та-та-там... А погодка сырая была... вот именно. Вы, конечно, не любите народную музыку? — между прочим, спросил он. — Трья-та-та-там. Вы, конечно, предпочитаете джаз? — Он смотрел на Жабу голыми мокрыми глазами, цинично раздевая ее.

Жаба была очень легкомысленна, но даже она поняла, что подобные вопросы просто так не задаются.

— Народную, — с трудом сказала она. И снова не узнала своего голоса.

— Да, да, народную... вот именно. Все у нас замечательно, всех мы обогнали, перегнали, а вот когда Великий всемирно-исторический потоп, то, здрасьте пожалста, Пушкин должен обеспечивать транспортными средствами. Э-эх, Россия-матушка...

Жабу просто шатнуло от этих слов. Единственно, что она могла сделать в такую минуту, это переменить тему.

— Вот кончится Великий Отечественный потоп, и начнется такая жизнь, какой еще никто никогда не видал, — мечтательно, но достаточно осторожно сказала она и смутно вспомнила, что еще [девушкой] в эвакуации слышала что-то похожее. И тут же, похолодев, поняла, что ее слова можно истолковать совсем по-другому: то есть что, мол, до или во время потопа жизнь совсем не так прекрасна. Да? Ах, вот что... Так, так. Пройдемте со мной. И она поспешно добавила: — То есть я хочу сказать, что все у нас и так замечательно, в том числе и с транспортными средствами, но по мере нашего дальнейшего роста будут возникать еще более культурные потребности.

Скорпион на этот раз не стал истолковывать ее слова совсем по-другому. Он нервно барабанил пальцами по покачивающемуся на волне то подплывающему, то отплывающему серванту из немецкого гарнитура «Аделаида». Он чувствовал, как в нем разливается желчь.

— Идиотка, — пробормотал он, закипая. — Сами воспитали таких...

Идиотка-Жаба уголком глаза посмотрела на Скорпиона и судорожно глотнула.

— Значит, по-твоему, выходит, — язвительно сказал Скорпион, остро взглядываясь в клубящуюся даль и скользя иногда взглядом по Жабиным формам, — выходит, что никаких недостатков нет? Так? Да?

— Нет, — хрипло сказала идиотка-Жаба, — то есть, может быть, имеются некоторые трудности. В процессе роста. А больше ничего нет. Правильно я ориентируюсь?

Но здесь их беседу на политмассовую тематику прервал бурный вал.

Яблоневоый сад пены и брызг обрушился на них. Скорпион с отвращением отшатнулся. Теперь уже не было сомнений: Великий всемирно-исторический потоп не остановится даже перед авторитетом и испытанным руководством скорпионов. В связи с этим обстоятельством стала очевидной вся серьезность создавшегося положения.

И тогда он испугался.

И тогда он начал понимать, что происходит.

Но и раньше он понимал все. И не признавался никому, и не признавался самому себе. Ибо хорошо знал, что с такими признаниями долго не продержишься в скорпионах.

Он понимал, что еще может остановить любое из этих тонущих, погибающих существ, что он может приказать любому выбросить из лодки или столкнуть с бревна свою мать, своих жену и детей и посадить его, Скорпиона, или его секретаршу. Он знал, что еще может утопить любого и всех вместе и что любой и все вместе утонут сразу и с радостью, и будут счастливы утопиться, потому что, если он, или его заместитель, сказал, значит, это нужно для счастья народа.

Но только сейчас он стал понимать сам то, что годами объяснял всем. Он стал понимать, что когда приходит суровая година народного бедствия, до которого периодически доводят великие всемирно-исторические победы скорпионов, то не он и не те скорпионы, чья власть безгранична и в сравнении с которыми он даже и не Скорпион, а чуть ли не какой-то там представитель народа, когда приходит година народного бедствия, то не они, старшие и даже высшие скорпионы, а эти простые люди, верящие скорпионам, навсегда замордованные и даже не подозревающие, что они замордованы, потому что не знали ничего иного и сравнивать ни с чем не могли, эти люди спасают страну. Простив все, эти люди жертвуют собой, махнув рукой на скорпионов, не раздумывая особенно над тем, что они сотворили, и отвергая только ихние личности. Но воспитанные или/и отравленные ими, спрятавшимися за бедственное положение, в котором оказалась страна, эти люди снова спасают ее не для себя, а для скорпионов.

— А ну, давай, — с деланным спокойствием сказал Скорпион, шагнув к Жабе, — потом разберемся, кого куда. Сейчас главное это всем вместе ковать победу. Как гласит народная мудрость: если солнце на небе, лезь на дерево. Понимаешь? — И, сплюнув по траектории, подобной длинному голому хвосту, он поднял ногу, собираясь вскочить на Жабу. При этом подумал: «Хороша жопка у жабки!..»

— Что вы!! — в ужасе воскликнула Жаба и отшатнулась. — Как это можно!.. Ведь вы вон кто... а я? За что же вы так одинокую женщину, конечно, за меня некому заступиться, всегда на работе придешь домой руки не поднимаются телевизор включишь я всегда честно работала план перевыполняла у меня две благодарности я еще молодая, зачтывыменягубите... — и она зарыдала.

Скорпион пронзительно посмотрел на Жабу похожими на остывающие плевки глазами с добрыми лучиками морщинок, расходящихся к сидящим вискам. И рука его медленно поползла в карман, осторожно достала одну небольшую книжечку, неторопливо поднесла к Жабиным глазам и развернула.

Черную бездну неба прорезала ослепительная молния.

Голубой город вспыхнул и погас в пространстве.

И в этом необъятно распахнувшемся Мироздании перед ее глазами медленно и неумолимо покачивался маленький белый четырехугольник.

Бессмысленно и недвижно глядела Жаба в гербы и печати.

И рука Скорпиона упала. Абзац.

— Перевези меня, — сказал Скорпион, — на сухое. Давай вместе. Как всегда в годину народного бедствия, общими усилиями всего народа. — Сказал он и не узнал своего голоса.

Он понял, что в такую минуту, когда в глаза различным слоям населения смотрит гибель еще более страшная, чем даже ото всех его гербов и печатей, ему нужна простая человеческая помощь, непосредственное участие и тепло. Без месткома, без тезисов с последующим утверждением на бюро... Как всегда в ответственные моменты, ему нужна была поддержка народа.

Он вспомнил, что когда-то, совсем давно, он и другие скорпионы (никого уже не осталось в живых) стали сознательно выдавать покорность и испуг за преданность и энтузиазм, а потом забыли, что это была лишь прекрасная ложь, лишь прекрасная ложь, которая, конечно, возвышает человека, но в то же время отдаляет его от истины. Да и те, которым пришлось выдавать свою покорность и испуг за преданность и энтузиазм, тоже забыли. Он не был лишенным некоторой сообразительности Скорпионом (поскольку это вообще возможно при занимаемой им должности), и он своим острым, длинным, быстро вращающимся и хорошо ориентированным носом почуял, что в такую минуту надо спастись совсем иным

способом, нежели тот, к которому привычно прибегали, когда нужно было выполнять и перевыполнять план. Воспоминания, воспоминания, давя друг друга, насакивали на него. Перед его мысленным взором проходили разнообразные выразительные картины, и он вдруг с удивительной выпуклостью увидел, как во время войны некоторых ответственных и даже весьма ответственных скорпионов вытряхивали из персональных машин и предлагали им двигаться ножками и желательно в сторону фронта. «Только бы кончился этот великий Необыкновенный Лучший в Мире и прочее, и прочее проклятый потоп, — с отвращением, сбросив с сердца железо, подумал он, — только бы уж кончился... Ведь сами, сами себе в карман наложили. Как всегда. Точно. Справиться бы на этот раз, а там бы все снова... то есть придется много, ох много чего пересмотреть».

Наступила минута, необычайная по значению в его жизни. И эту минуту подчеркнула зубчатая горизонтальная полоса и торжественно выделил гром. И в эту минуту уже не молодой Скорпион был внутренне почти подготовлен к тому, чтобы понять всю жестокость и противоестественность, всю надуманность и несправедливость, всю безжалостность, безжизненность, бесчеловечность, бессмысленность создаваемых им идей. И может быть, если бы произошло еще пять-шесть Великих Всемирно-исторических потоков, он начал бы кое-что понимать. Кто может ответить на это?

Нет, он не мог понять ничего. Он чувствовал, что происходит что-то роковое и непоправимое, но понять он не мог ничего. Он мог лишь подпереть, подновить, подставить палку. Может быть, снизить цены?.. может быть, повысить цены?.. Съезд... Пленум... Он хотел понять, что-то сделать. Он ничего не мог понять и ничего не мог сделать. Он был обречен на поступки, строго определенные его социальной судьбой, и ничего, кроме этих и только этих поступков, он совершить не мог. И противоестественность и бессмысленность его социальной судьбы заключается именно в том, что он должен всегда и всем выдавать ложь за правду и зло за добро.

Он был несколько неожиданным, даже эксцентрическим явлением среди беспросветных скорпионов.

Однажды, слушая некоторые его высказывания, Генеральный Скорпион по Китаю покрутил пальцем у виска и переглянулся с Полномочным Скорпионом по международной напряженности.

Он знал об этом и боялся, и поэтому иногда делал то, что не решались делать даже беспросветные скорпионы и что сам он считал ненужным и вредным. Но он знал, что не ревность погубила лучших скорпионов эпохи... Его подгонял страх.

Размышляя над проблемой своей неполной спайки с коллективом, он пришел к выводу, что это отрыгивается соматическая мутация. (Sic!)



«Бабка выпирает», — с горечью думал он, откладывая на время проект постановления, по которому должно было погибнуть за отчетный период 1 284 126 чел. И уничтожено на 6 089 394 768 руб. 02 коп. материальных ценностей (контрольные цифры).

И действительно, бабка в иных случаях непозволительно выпирала.

Эти мягкость и человечность передались ему от нее, простой русской женщины с большими теплыми руками и ногами, задавленной нуждой и задушенной в русской печке своим мужем и сыном со снохой — его дедом, отцом и матерью. (Из чего следует, что в данном случае имела место именно мутация, импульсировавшая рецессию. Sic!)

Один раз бабка чуть не выперла роковым образом во время творческого процесса над постановлением «О журналах “Звезда” и “Ленинград” от 14 августа 1946 г.», где ему была поручена разработка текста: «Поэтому всякая проповедь безыдейности, аполитичности, “искусства для искусства” чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства...»<sup>1</sup> Он предложил вместо слов «чужда» и «вредна» слова «не свойственна» и «не полезна». На этом было сконцентрировано специальное внимание. Но потом, брошенный на оперу Вано Мурадели «Великая дружба», он стал так зверствовать и лютовать, с такой захватывающей, всепожирающей яростью выжигать все вокруг оперы Вано Мурадели «Великая дружба», что превратил в дымящиеся развалины кино и скульптуру Российской Федерации, сельское хозяйство Прибалтики, металлургию Восточной Сибири, цирк Северного Казахстана, речную, озерную, равно как и морскую рыбу во всеоюзном масштабе, а так же кустарные промыслы на Гуцульщине. Таким образом, его либеральная выходка, граничившая с прямым аполитизмом и непосредственным наплеви́змом, была на время как бы забыта.

В нем была какая-то непоследовательность и наскокистость, и поэтому не было планового и надежного постоянно увеличивающегося процента удушаемости.

Впрочем, не будем преувеличивать.

И вот теперь он видел не по отчетам и докладам, в которых с некоторых пор стал смутно подозревать возможное преувеличение средних цифр по народной любви, охвату и посещаемости, а также по человековыдачам книгоединиц, он видел, что великое солнечное здание, любовно выстроенное добрыми руками народа под неослабным руководством скорпионов, рушится и гибнет.

— Перевези, — попросил Скорпион и почувствовал, как царапают горло «р», «з» и что-то еще такое... — Кончится потоп этот проклятый, то

---

<sup>1</sup> «О журналах “Звезда” и “Ленинград” (из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946г.) // Правда. 1946. 21 авг. № 198.

есть... — Он не стал выпутываться, он махнул рукой на все. — Тогда жизнь по-другому пойдет. Это я тебе авторитетно заявляю. Есть одно решение, — сказал он негромко и многозначительно посмотрел на нее... — Сама должна понимать, транспорт лимитирует. В данное время самое главное это единство всего народа на основе абсолютной преданности скорпионам. Понимаешь? Ну. Давай.

— Нет, — решительно хотела сказать Жаба и нерешительно сказала: — Да...

И привычно, как в лучшие времена, Скорпион вскочил Жабе на шею.

Жаба осела, зажмурилась, заерзала на месте и, послушная горькой и трудной, неприкаянной и окаянной судьбе своего народа, вынесшего и татарское иго, и княжение Иоаннов, и Смутное время, и бредовую ночь временщиков, палки Павла и шпицрутены Николая, крепостную неволю, великие войны, исторические победы, бессмертные подвиги, гербы и знамена, ордена и медали и прочий российский государственный классицизм, напряглась, струнулась, качнулась и поплыла, медленно и обреченно.

И вот они в открытой стихии.

А вокруг лишь вода и тучи, и ночь.

И только впереди — сверкающее будущее и много других величественных, замечательных и необыкновенных страниц отечественной истории.

И она плыла, и больно сжималось ее сердце, и к горлу ее подступали рыдания.

Скорпион тоже был неспокоен. Все ему было странно и чуждо: и эта вода, и эта Жаба, и окружающая действительность, и то, что никто не шарахается от него, и то, что прошло уже четыре часа, а он еще не подпсал ни одной такой бумажки...

Она тяжело дышала, и плыла, и думала о том, что нормировщик ее опять обсчитал и что опять она ничего не сказала. Она вспомнила дочь, умершую у нее на руках в войну на тяжелом, холодном Урале. Вспомнила она День Победы, который ждали тяжких четыре года и верили, что все равно что-то должно измениться. Вспомнила она, как обманывали ее мужчины, а она их любила преданно и благодарно, как они уходили к другим, более ловким и знающим какую-то женскую тайну, которую она никогда не знала, и как она плакала, а потом утешалась. Она думала о том, что прошла ее молодость, увяла ее красота и что она ждала всю жизнь счастья, а счастье к ней не пришло.

Вдруг острая боль пронзила ее. Фиолетовые костры, красные трубы, черные, белые стремительные копыта били в глаза ей. Потом темный тяжелый камень лег ей на спину, и медленно поворачивающееся Мироздание прошло по широкой дуге. Последний раз она увидела воду, горизонт, небо, и океан сомкнулся над ней.

Неотвратимая развязка наступила вследствие того, что каждый режим обречен на строго определенные поступки. До сих пор относительно спокойно сидевший Скорпион вдруг вскочил и закричал так, как будто бы это обсуждение стихов одного просчитавшегося поэта или еще хуже — мемуаров одного перехитрившего самого себя прозаика.

— Натура не позволяет!! — страшным голосом закричал Скорпион и, гикнув и свистнув, всадил сверкающий смертоносный крючок в толстую задницу Жабой. — Натура не позволяет! Не позволяет! — кричал он, всаживая, всаживая смертоносный крючок. — Знаю, что погибну, знаю, вот она, вот она — гибель, вот она гибель моя в морской пучине! Пропадаю вместе с Жабой. Ни за что пропадаю! Все знаю. Философию знаю, про искусство все знаю, сельское хозяйство знаю первый сорт, вопросы языкознания, будь здоров, как знаю! Будьте вы все навсегда прокляты!! — вскричал Скорпион и вместе с булькнувшей Жабой маленьким острым серпом косо ушел под воду, в пучину, в бурлящее море, в Великий Всемирный Исторический Национальный Отечественный потоп.

Он был испорчен до конца. Он был отравлен концепцией, которая его воспитала, на которой он воспитывал других и о которой в глубине души уже знал все. Он ничего не мог сделать.

Но перед тем как уйти навсегда в неистовствующую стихию, он оглянулся, и он замер от охватившей его национально-патриотической гордости: он увидел, как среди мрака и молний плывет в грядущее на представителях различных слоев населения гордый флот скорпионов.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Посвящается нашим родителям —  
Марии Тимофеевне и Александру Федоровичу Дергачевым,  
Мирре Наумовне и Виктору Лазаревичу Белинковым*

Ваша антисоветская деятельность нам известна.  
Приступайте к даче показаний.

*Зам. нач. 2-го отделения  
Следотдела УНКГБ МО  
капитан Новиков*



# Глава 1

Наталья Белинкова

## ЦЕНА ЧЕРНОВИКА

Не хочу я иным быть  
в тягостную пору пролетарской диктатуры.  
А. Белинков

*Детские годы. «Тебе все время что-то запрещают». ИФЛИ и героиня первого романа. «Необарокко» и ожидание ареста. Допросы. «Шкловскому высказывали свои антисоветские взгляды»? Приговор. Судьба «Черновика чувств».*

Одно время мы жили недалеко от писательских домов, расположенных на Аэропортовской улице. Это облегчало встречи с собратьями по перу и поездки в центр города — станция метро находилась в десяти минутах. Но в тот раз нам пришлось ехать трамваем, к врачу — накануне у Аркадия был сердечный приступ. Трамвайная линия проходила далеко, и надо было идти минут двадцать через рабочий поселок. Обитатели поселка и «интеллигентная» публика из кооперативных домов писателей жили своей обособленной жизнью, как бы не замечая друг друга. Говорили, правда, что один известный критик был избит на прогулке. Но то — слухи.

Была глубокая зима, и поселок был завален снежными сугробами, сверкающими на ярком солнце. Мы, должно быть, вызывающе выделялись на белом снегу: Аркадий — синим пальто из искусственного меха, а я — огромной, не по росту цигейковой шубой. В рабочем поселке так не одевались. Мороз был крепкий. И на улице — ни души.

Вдруг за спиной раздаются крики: «Жид, жид!» Оглядываемся. Позади — верзила. Вчерашний зэк невозмутимо продвигается вперед, а меня коробит. «Жид, жид!» — хоть уши затыкай. И свернуть некуда: пробираемся по узенькой, протоптанной в снегу тропиночке. Молчим. На минуту дубина тоже стихает, а потом яростно: «Каганович!!!» Каганович? Член Политбюро ЦК КПСС?

Вот уж такого оскорбления Аркадий стерпеть не может. Он резко разворачивается и ждет приближения хулигана. Сейчас начнется драка. А что, если она кончится инфарктом? И никого вокруг... Примерно так я рассказывала об этом происшествии.

Аркадий добавлял: «Пока это я одной рукой размахивался, а другой рукой лез в карман за валидолом, передо мной замелькали руки моей жены...»

Действительно, с перепугу я надавала верзиле пощечин. К нашему удивлению, он зашатался и, обретя равновесие, застыл восклицательным знаком. Он вдребезги пьян! Медленно бредем дальше. Над сугробами повисла тишина. Простой советский человек где-то позади. Он молча спотыкается, соблюдая приличную дистанцию.

Аркадий перебивал меня еще раз: «Мы уже подходили к остановке, как услышали напоследок: “Ты — жид, а жена твоя — настоящая русская баба!”»

Семитскому облику Аркадия не соответствовало русское окончание фамилии на «ов», и он нет-нет да объяснял, что его фамилия потомственная, а не переделанная на русский лад. Впрочем, знатоков по ономастике не проведешь. Они говорят, смотреть надо не на окончание, а в корень. В данном случае — национальность определял суффикс «ин».

Кто были родители человека, оскорблением для которого было уподобление члену ЦК КПСС?

Оба были родом из Гомеля. Переехали на учебу в Москву после 1917 года.

Отец, Виктор Лазаревич Белинков, был по профессии экономистом, работал в Наркомате легкой промышленности в должности начальника центральной бухгалтерии. Последняя его должность — бухгалтер на незначительной подмосковной фабрике в Кунцеве. Во время Гражданской войны его сестра была зверски убита белыми, а брат — красными.

Мать, Мирра Наумовна (в девичестве Мариам Гамбург), занималась, как это тогда называлось, художественным воспитанием детей: заведовала шахматным кружком в Доме пионеров, работала библиотекарем, редактором, организатором литературных выставок в Детгизе и в Доме детской книги. Чрезвычайно скромную, внимательную и заботливую, ее очень любили. Известные писатели дарили ей свои книги и фотографии: «Дорогой, доброй, милой Мирре Наумовне. С. Маршак», «У меня нет слов, чтобы поблагодарить Вас за Вашу изумительную, дивную выставку. Это и талантливо, и щедро, и умно, и художественно... Ваш К. Чуковский».

Виктор и Мирра поженились в 1920 году, а 29 сентября 1921 года — год казни Гумилева и трагической смерти Блока — у них родился сын. Его назвали Аркадий, а дома ласково звали Кадя. У единственного ребенка — порок сердца. («Его уже накрывали простыней...» — с расширенными зрачками, шепотом рассказывала мне свекровь.) Родители прикасались губами к сыновнему лбу — не повышается ли температура? Читали сказки. Они вынынчили, выходили его.

Повели в зоопарк. Лиса. Она, как и в книжке, рыжая, конечно. «Мама, а где она хитрая?» Как бы, а где у нее хвост? До пятого класса его держали дома. Обложенный книгами, он лежал в постели. За окном — шум улицы, выкрики мальчишек, туда нельзя, а с ним — принц, с его вопросами о смысле жизни, бесстрашный романтик, бросающийся на ветряные мельницы, вечные возлюбленные Петрарки, Боккаччо и Данте.

Родители Кади были любящими, заботливыми и добрыми. Тем не менее их сын не соглашался с общепринятым мнением, что детство — это самое счастливое время в жизни человека: «Тебе все время что-то запрещают...»

Наконец он смог пойти в школу. Его посадили за одну парту с Джульеттой-Лаурой-Беатриче-Фьяметтой. Ее все звали Фаней, но он назовет ее Фаиной. Так она Фаиной и осталась.

Он влюбился в соседку по парте и в конце первого дня поцеловал ей руку (в советской-то Москве 30-х годов!). Девочка, по собственному признанию, всю ночь не спала: вдруг будет ребенок?

Его бывшие одноклассники из школы № 125 на Малой Бронной вспоминают, что новенький резко отличался от них манерой тщательно одеваться, не свойственной советским детям вежливостью и независимым поведением. Кадя пытался разбираться в политике, пугая своими суждениями взрослых, и щеголял познаниями в области литературы, удивляя своих сверстников. В школе мусолят Фадеева, Островского, Серафимовича, а он уже в седьмом классе отдает предпочтение Тынянову и Шкловскому. В девятом он пишет маленькое исследование: «Литература итальянского Возрождения». А вызванный к доске, пренебрегает тем, что написано в учебнике, и говорит, что думает сам.

Таких мальчиков дети не любят. Но «он писал сочинения чуть ли не за всех в классе и все разные!» И он придумал не какую-нибудь, а литературную игру. В мушкетеров! Отношение к всезнайке переменилось.

Все мушкетеры — будущие литераторы, почти все с трагической судьбой. Атос Аркадий Белинков — писатель, пройдя через ГУЛАГ, умер в эмиграции; *Портос* Лева Тоом — поэт, переводчик — ушел из жизни на исходе 60-х; *Арамис* Лева Тимофеев — ответственный сотрудник многих советских издательств; *Дартаньян* Юра Морозов — погиб «из-под руки друга», когда, играя, сражался на шпагах с одним из мушкетеров.

Повзрослев, Атос останется верен своим школьным пристрастиям. Они-то и приведут к крутым поворотам в его жизни. В первом романе «Черновик чувств» он создаст свою версию вечной возлюбленной (и будет арестован вместе с рукописью), а в последней книге «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» вспомнит сцены из «Декамерона»: «А кругом — чума; бушуют войны, казни, костры, мятежи; стоит церковь,



кружит пожар, курятся пепел, песок и зола, и бессмертное учение сияет сквозь мрак». (Рукопись не пройдет цензуру, автор эмигрирует.) Правильно делал бдительный Наркомпрос, исключая Данте, Петрарку и Боккаччо из школьной программы!

Делу воспитания молодежи под лучами бессмертного учения, как всякий знает, придавалось исключительное значение. С этой целью были созданы Литературный институт при Союзе писателей СССР и Институт философии, литературы и истории. Аркадию Белинкову выпало познакомиться с обоими «красными лицами» — заимствую выражение у Д. Самойлова.

Сначала он поступил в ИФЛИ. Здесь читали лекции старые московские профессора, которых чудом не коснулись репрессии, и учились многообещающие молодые люди, из которых ковали советские идеологические кадры. Выковали министра госбезопасности Шелепина, члена ЦК Черноуцана, нескольких директоров издательств. Но прославили «лицей» поэты П. Коган, Д. Самойлов, С. Наровчатов, вместе с Б. Слуцким и М. Кульчицким (поэтами из Литинститута, куда чуть позже поступил А. Межиров) осознавшие себя литературной элитой еще в стенах учебных заведений. Аркадий, тоже писавший стихи, держался обособленно, в эту группу не входил. Да и они его, кажется, не очень жаловали.

Там же училась Марианна Шабат (девичья фамилия — Рысс), которую Аркадий сделал героиней своего первого романа (здесь — литературный термин). Об истории их отношений можно прочесть в ее воспоминаниях<sup>1</sup>.

В начале Второй мировой войны ИФЛИ присоединили к МГУ. Почти все ифлийцы перешли на филфак и даже перенесли туда свою знаменитую стенгазету «Комсомолия» — она растягивалась на половину длинного коридора. Аркадий же подал заявление в Литературный институт. Здесь учили писательскому мастерству. И тоже воспитывали в духе, соответствующем очередному постановлению ЦК ВКП(б).

В марте 1940 года, все еще официально оставаясь студентом ИФЛИ, Белинков был принят на второй курс Литинститута (по рекомендациям Бориса Пастернака и Георгия Шенгели) и поступил на отделение поэзии в семинар Ильи Сельвинского. По мнению Лидии Либединской, занимавшейся у Сельвинского одновременно с Белинковым, он стал любимым учеником поэта. В памяти знакомых сохранилось несколько строчек из его стихотворений. Одна: «И неизвестно, что лучше для России — “История партии” или колоколов малиновый звон». Другая: «И было серо, сыро рано, и пахло женскими плечами». Единственное сохранившееся четверостишие оказалось пророческим:

---

<sup>1</sup> Шабат М. Как это было // Звезда. 1996. № 8. С. 89; Она же. Высшей страсти отдалены места // Грани. 1999. № 190. С. 169.

Нет, никогда не стану я маститым,  
Тем, чьи слова у сотен на устах,  
Тем, чьи фамилии упитанным петитом  
Печатают на титульных листах.

Все стихи были изъяты при обыске и, как значится в следственном деле, «за ненадобностью уничтожены». Аркадий своих стихов не вспоминал, не восстанавливал и к поэзии не вернулся.

В следующем году (самый разгар войны), перейдя на отделение прозы, Аркадий начал работать над дипломной работой — романом «Черновик чувств». Роман — о любви, ее зарождении и умирании. Влюбленные — их зовут Аркадий и Марианна — поглощены проблемами искусства, музыки, литературы и выяснением своих отношений. Москвичи — они «тайно живут в России». Они прогуливаются по дождливой Москве, как бы окруженные светлым невидимым шаром, и этот шар отгораживает их от реальной действительности. В их разговоры вплетены рассуждения о преимуществах буржуазно-демократических свобод, неодобрительные оценки крупных партийных работников и классиков социалистического реализма, тов. Сталину приписывается книга «Спасенный Маяковский». Шар сужается и исчезает, когда влюбленные перестают понимать друг друга. Действие второй половины романа развивается во время Второй мировой войны, и одна из причин расставания влюбленных — их разное к войне отношение: в отличие от своей избранницы герой романа не испытывает патриотических чувств советского образца.

Один экземпляр рукописи Аркадий превратил в самодельную книгу. Он переплел машинописный текст в зеленую матерчатую обложку, вклеил свой портрет работы знаменитого фотографа Наппельбаума и затейливо вырисовал пространный титул: «*Черновик чувств. Книга с отличными противоречиями. Nature morte в 14 анекдотах с эпиграфами и предисловиями, с портретом автора, а также с подлинным именем героини*».

Именно этот экземпляр рукописи 50 лет хранился в архивах КГБ.

Консультантом дипломной работы был Виктор Шкловский — бывший вождь русских формалистов. Консультации проходили у него на квартире в писательском доме на Лаврушинском, где он жил вместе с первой женой Василисой Георгиевной и детьми Варей и Никитой. В первой семье Виктора Борисовича его ученик был тепло принят и чувствовал себя свободно. Василиса Георгиевна удерживала Аркадия от неосмотрительных высказываний: «Вот я двух людей так вот умоляла: Белинкова и Осипа Эмильевича. Белинков то же самое — “раз я уже написал, то чтоб я не

читал...” Я ему говорю: “Зачем Вам жизнь портить?”<sup>1</sup> До ареста своего дипломника консультант видел его в течение только полутора месяцев и не более десяти раз. Этого было достаточно, чтобы на протяжении всего следствия от ученика требовали показаний об антисоветских настроениях его учителя. Название роману дал Михаил Зощенко, с которым его познакомил Шкловский. Аркадий приносил к нему в гостиницу «Москва» свой роман осенью 43-го года. Имя Зощенко тоже попало в протоколы допросов.

Аркадий жил вместе с родителями в коммунальной квартире на Тверском бульваре, рядом с Литературным институтом. Когда он болел, его навещали приятели. И еще чаще к нему заходили, когда он был здоров. Обстановка квартиры была, рассказывают, не то что скромной, а, несмотря на высокое служебное положение отца, бедной. Впрочем, это было нормой для советских служащих. Единственная роскошь — пишущая машинка да библиотека. Еще кисти на халате, которым Аркадий поражал своих друзей, когда они приходили к нему, больному. Гостей встречали радушно. Мирра Наумовна каждый день готовила борщ на три дня — так много народу забегало на огонек.

Лучше бы они не забегали.

Шла война. Народная, священная. Параллельно набирала силу война партийная, идеологическая. Наравне со сводками Совинформбюро публиковались бесчисленные Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства. Им вторили секретно пересылаемые из ведомства в ведомство докладные записки о запрете деятельности журналов и издательств, о прекращении выпуска книг, о недопустимости постановок пьес и исполнения музыкальных произведений. Готовились к постановлению о запрещении опер Шостаковича, Мурадели, Данкевича, к разгрому журналов «Звезда» и «Ленинград», исподволь планировали закрытие Литературного института. И наблюдали за его преподавателями и студентами.

В апреле 1943 года Аркадий вздумал придать встречам с друзьями форму литературного кружка, который назвал «Необарокко». Состав участ-

---

<sup>1</sup> Беседа с В.Г. Шкловской-Корди (27 окт. 1974 г.) // Осип и Надежда Мандельштамы. М., 2002. С. 109.

С Василисой Георгиевной Аркадий поддерживал хорошие отношения и после возвращения из заключения. В ее квартире мы познакомились с бездомной тогда Надеждой Мандельштам. Надежда Яковлевна, в то время еще бодрая и решительная, устроилась в маленькой комнатке, почти все пространство которой занимал большой сундук, служивший и столом, и диваном, и кроватью, и архивным хранилищем. Здесь мы получили от нее рукопись «Воспоминаний» на одну ночь. Когда Аркадий лестно отозвался о прочитанном, Н.Я. удивительно произнесла: «А Вы думали, что это дамское рукоделие?» Ее слава только начиналась.

ников еще не определился, но уже велись протоколы собраний. Они уничтожены по окончании следствия. Кружок собирался всего три раза, просуществовав меньше месяца. Организатор кружка при большом скоплении народа успел в несколько приемов прочитать «Черновик чувств». Там же его будущий однодедец Генрих Эльштейн прочитал главы из своего незаконченного романа «Одиннадцатое сомнение».

На Тверской бульвар зачастили студенты Литинститута, МГУ, бывшего ИФЛИ, заходили преподаватели Литинститута. Побывал там Виктор Шкловский, читал свои стихи Георгий Шенгели. Однажды пришла Марианна. Всего следователи насчитали 250 человек.

Поползли слухи об «антисоветской идеологии» создателя кружка. И сам Аркадий и его друзья начали беспокоиться.

Генрих Эльштейн (студент Литинститута): Аркадий до ареста уничтожал компрометирующие бумаги<sup>1</sup>.

Владимир Лешковцев (одноклассник): Аркашка, тебя посадят!<sup>2</sup>

Марианна (героиня «Черновика чувств»): Вас непременно, непременно посадят! Конечно посадят! Господи! Сколько Вы говорите лишнего!<sup>3</sup>

Давно замечено, что литература — пророчица. Марианна предсказала точно. Аркадия посадили.

Их было много, этих кружков и чтений, не попавших в официальную историю советской литературы: Сулимовская группа, литературный кружок Юры Тимофеева, кружок В. Лешковцева, кружок по изучению Канта на дому у профессора Б.А. Фогта, а до того — «откровенные марксисты» в ИФЛИ. (Перечень далеко не полный, частично почерпнут из протоколов допросов Белинкова.) Полувлюбленные юноши и девушки собирались группками, обсуждали свои первые стихи и романы, говорили об искусстве, обменивались новостями — не магнитофоны или самиздат, а всего лишь душевные разговоры в дружеском кругу. В НКВД их называли «сборища». И все было, как в сказке, только еще страшнее: у автора — произведение, в произведении — «крамольная идея», в кругу друзей — доносчик. Впрочем, его могло и не быть. Доносчика могли заменить «жучком». Записи неосторожных откровений неизбежно оседали на Лубянке в виде пронумерованных Дел.

В то же самое время Аркадий пытался сформулировать свою собственную теорию развития литературы. Он ее назвал так же, как и свой кружок, — «Необарокко».

О теории «Необарокко» остались только упоминания в воспоминаниях современников. Должно быть, ее авторское изложение постигла та же

<sup>1</sup> Горчаков Г. // Л-1-105. Иерусалим, 1995. С. 210.

<sup>2</sup> Из частного письма, адресованного Н. Белинковой.

<sup>3</sup> Белинков А. Черновик чувств. М., 1996. С. 102.

судьба, что и стихи. Но получить представление о теории можно: по рассуждениям главного героя «Черновика чувств», по книгам о Тынянове и Олеше, по протоколам следственного дела.

Белинков исходил из того, что литературный процесс — это постоянное противоборство двух стилей. В процессе борьбы одно направление неизбежно заступает место предшествующего. Это случается, когда, ослабевая, прежнее исчерпывает себя. Поскольку искусство развивается по своим собственным, имманентным законам, попытки руководить искусством — бессмысленны и неплодотворны (подразумевалось — пагубны для самого искусства).

«Черновик чувств» со всеми его новшествами — проверка теории «Нео-барокко». В таких случаях говорят: «автор ставил опыт на самом себе».

По теории в искусстве совместимы выдумка и реальный предмет, или факт, или человек. В романе женский портрет кисти Ван Донгена и москвичка Марианна — взаимозаменяемы.

По теории автор и герой могут быть идентичны, а могут существовать и независимо друг от друга. Герой романа и автор демонстративно раздваиваются к концу повествования.

По теории создание художника может быть адекватно его модели. В роман введена тема Пигмалиона и Галатеи.

По теории форма художественного произведения может быть более действенна, чем содержание. «Черновик чувств» изобилует образными средствами. Он метаметафоричен, как выразился один из его первых читателей.

В общем, это был как раз тот случай, когда художника надо бы было судить по законам, им самим созданным. Его же судили по статьям советского Уголовного кодекса.

Аркадий, по свидетельствам современников, был подходящим кандидатом на звание «врага народа». Выглядит ни с чем не сообразно — длинные волосы и бородка клинышком! Одевается, как не принято, — то клетчатые брюки, то какая-то крылатка. Перегружен неподходящими знаниями и занятиями. Коллекционирует редкие книги. Вставляет в свою речь иностранные слова. Активен. Общителен. Вокруг него всегда много народу. Вежлив в общении. Резок в суждениях. Говорит, будто бы в Советском Союзе нет свободы творчества, а социалистический реализм — нелепая выдумка Горького. Да еще, что договор Молотова—Риббентропа развязал Вторую мировую войну.

Существует мнение, что ветер войны разогнал идеологические тучи. Но нельзя сказать, что он был попутным для начинающего литератора. Аркадий на дух не принимал советского патриотизма и заявлял, что желает остаться «довоенным». Инакомыслящий? Инаковыглядающий?

Произошла встреча следственных органов с секретарем комсомольской организации Литературного института Шерговой (в сентябре 43-го года) и одним из участников кружка «Необарокко» Евдокимовым (в октябре того же года). Судя по следственному делу Белинкова, они все доложили сами — их ни о чем не спрашивали, не перебивали, им не угрожали. Их терпеливо выслушали и записали их длинные «откровения». Следствие получило нужное ему направление и разработало сценарий допросов для тех, кого будут вызывать в свидетели или арестовывать.

Состоялось заседание комитета ВЛКСМ Литературного института, на котором секретарь парткома Слава Владимировна Щирина поставила Белинкову в вину то, что он (страшно подумать!) не знаком со статьей Ленина «О партийности в литературе». «Вы хотите слышать, что Ленин имел в виду, или то, что я сам думаю?» — перебивает он и выпаливает: «Взгляды, изложенные Лениным, стесняют свободу слова и печати и усиливают утилитаризм литературы». То же самое он скажет следователю: «Я решительно возражал против так называемой простой и понятной литературы».

Стали вызывать на допросы его друзей. Они давали подписку о неразглашении. Не выдуманный шар, а реальный круг друзей сужался. Несколько раньше, в марте произошел разрыв с Марианной. Пигмалион простился с Галатеей, подарив ей специально для нее переплетенный «Черновик чувств» с посвящением, который назвал *postscriptum*, и вернулся к девушке, с которой когда-то сидел за одной партой.

В октябре 1943 года на открытом комсомольском собрании Белинкова исключили из комсомола. До посадки ему оставалось прожить три тревожных месяца.

Морозной зимней ночью 29 января 1944 года Аркадий и Фаина долго провожали друг друга. Ходили от ее дома до его дома и обратно. Наконец снова прошли по Тверскому бульвару. Простились. На следующий день рано утром Фаина узнала от Виктора Лазаревича, что ее жених арестован, и тогда вспомнила, что вчера ночью у ворот его дома видела черную машину.

Обыск, как и полагается, в присутствии поверенного — дворничихи Василисы Федоровны Фроловой — начался в час ночи и закончился утром. Естественно, он мало отличался от других обысков тех лет. Все они подробно описаны в многочисленных воспоминаниях. Обыскивали тщательно. Тем не менее в силу привычки военного времени не тронули маскировочную штору — на широком подоконнике осталась кипа рукописей.

Арестованного вместе с многочисленными вариантами романа, стихами, записками, черновиками, даже вырванными из книг факсимиле, увезли в перегруженной черной машине, когда начало светать. Родители остались одни.

Утром 30 января Аркадий был водворен во внутреннюю тюрьму Наркомата государственной безопасности. На следующий день в 8 часов вечера начался первый допрос. Он закончился в 4 часа утра 1 февраля<sup>1</sup>.

Его ответы на вопросы следователей пространные, подробные. Не то он всерьез беседует на темы по теории литературы, не то шутить изволит. Пытается разделить слово и поступок: «Признаю себя виновным частично... Антисоветских преступлений я не совершал... У меня были антимарксистские взгляды на литературу».

Но слово и было антисоветским преступлением, приведшим к Делу № 71/50.

Следствие с завидной легкостью получает подтверждение антисоветских настроений в «изобличениях» бывших друзей и сокурсников.

О д и н: Белинков был резко враждебно настроен к существующей действительности. В своих антисоветских высказываниях он возводил клевету по любым фактам современности... чувствовалось во всем его какое-то крайнее недовольство и раздражение. Это касалось в большинстве случаев вопросов, связанных с литературой или вокруг литературы....

Д р у г о й: Белинков Аркадий резко антисоветски настроенный человек. Он неоднократно подчеркивал, что является противником советской власти и вообще всего связанного с принципами социализма и коммунизма. Белинков не признавал философию марксизма-ленинизма.

Т р е т и й , ч е т в е р т ы й , п я т ы й...

Следователи меняются, вопросы остаются теми же: «Вы антисоветскими взглядами с ним /с ней делились? А он/она свои антисоветские взгляды с Вами разделяли?» Требуют показаний на друзей, учителей, знакомых писателей и даже на отца.

Прежде всего надеются уличить в антисоветских взглядах Шкловского — консультанта по дипломной работе.

Ответ: «Шкловский в разговоре со мной антисоветских высказываний не допускал».

Интересуются мнением Зоценко о «Черновике чувств».

Ответ: «Зоценко сделал ряд замечаний литературного характера».

Выясняют, какие замечания сделал Шенгели «по части Ваших антисоветских высказываний».

Ответ: «На эту тему я с Шенгели не разговаривал».

Допытываются, читали ли роман Сельвинский и Асеев?

Ответ: «Читал только Сельвинский — второй вариант романа, из которого выброшены строки о “тягостной поре диктатуры пролетариата”».

---

<sup>1</sup> С протоколами допросов А. Белинкова можно ознакомиться в кн.: *Белинков А. Россия и черт* (главы: Следственное дело № 71/50. 1944. С. 91; Следственное дело № 57/52. 1951. С. 255; Уголовное дело № 299. 1968. С. 282).

В протоколах упоминаются имена Антокольского, Федина, Леонова.

Сороковые считаются вегетарианскими сравнительно с тридцатыми: всего-то не дают спать, или запирают в бокс, или выбивают зубы стеклянной пробкой, или сажают на табурет спиной к несгораемому шкафу и бьют по голове, а эзк дергается и ударяется затылком о железную ручку. И потом на воле врачи спрашивают, обследуя пациентов: «В тюрьме сидели?» — они-то знали, как на Лубянке отбивают почки.

В марте 1944 года Дело Белинкова передают во 2-е управление НКГБ, которое занимается особо опасными государственными преступниками. (Сотрудники ФСБ, передавая мне его Дело в девяностых, сами удивлялись, почему Белинковым занималось именно 2-е управление. Вроде бы не по профилю.)

Тянутся месяцы. Следователи трижды запрашивают и получают разрешение на продолжение следствия.

В конце концов «для анализа и политической оценки» составили экспертную комиссию по произведениям Белинкова: романа «Черновик чувств», а также романа «Другая женщина, или Между двумя книгами», глав из незаконченной новеллы «Иллюзии с мучительными доказательствами» и стихов: «Комментарий к заграничной визе», «Разговор поэта с книгопродавцом», «Пролог», «Русь 1942 года», «Рецидивы тебя», «Озеро книги». Комиссия (В. Ермилов, Е. Ковальчик) произвела экспертизу, ответила на запрос «в форме обстоятельного заключения» и признала работы антисоветскими. Насколько определение «антисоветский» приложимо к этим произведениям, читатели разных поколений, живущих в иные времена и в других странах, будут решать по-разному.

Для обоснования приговора оказалось достаточно одного «Черновика чувств». Другие вещи были уничтожены.

Обвинение, предъявленное автору, скорее базировалось не на том, что в романе было, а на том, чего в нем *не было*. А именно: изображения действительности в ее революционном развитии, жизнеутверждающего оптимизма, превосходства всего советского над западным, русского патриотизма, положительных героев, на которых можно было бы в духе марксизма-ленинизма воспитывать его современников. То есть не было обязательного набора социалистического реализма.

А уж в соответствии с мерками того времени приписать автору романа антисоветские высказывания, разбросанные по рукописи, ничего не стоило. Согласно теории «Необарокко» граница между «правдой вымысла» и «правдой факта» в этом произведении размыта. Героя романа, как и его автора, зовут Аркадий.

Следователи страстно (было бы слишком мягко сказать «пристрастно») поработали над текстом «Черновика чувств». Он исполосован красными, иногда синими, а то и простыми карандашами. Красному карандашу



прокладывал дорогу черный. Можно предположить, что черный, первичный, принадлежал литературным экспертам. Привести их все — переписать добрую четверть романа. Вот что они подчеркивали.

*«Не хочу я иным быть в тягостную пору пролетарской диктатуры. Эмигрант я. Мы тайно живем в России».*

*«...куцые буржуазно-демократические свободы, несмотря на то, что они куцые, буржуазные и демократические, несмотря на то, что они хилое детище разлагающейся буржуазной морали... они все же позволяют говорить о том, что тебе, пускай смешно и наивно, нравится, и даже еще более, — что не нравится и кажется дурным».*

*« — Аркадий, скажите мне, только, милый, пожалуйста, поскорее, почему социалистический реализм должен быть именно в России?»*

*— Варвары, — сказал я.*

*— Варвары — ну, и метод такой».*

Раздражены эксперты-следователи не только прямыми антисоветскими высказываниями, но и самой стилистикой произведения.

*«Главным оказалась изящная словесность».* (Комментарий на полях: **Н-да, изящная.**)

*«В книгах интересны только слова и самые разнообразные положения их».* (Комментарий на полях: **Глупость.**)

Кроме произведений, рассмотренных комиссией, набралось еще более двухсот страниц (листов, по следовательской терминологии): роман «Большая медведица» и сборник стихов, куда кроме уже названных вошли «Хроника времен Карла IX» и «Рим и варвары». Все они были уничтожены.

Белинкова ознакомили с «политической оценкой» перед тем, как огласить приговор. Когда он читал отзыв Ермилова, кончавшийся цитатой из Вышинского «Взбесившихся псов я требую расстрелять!» он вспомнил один ночной допрос: «Следователь намотал на палец номер телефона: «Володя, тут у меня твой пассажир сидит»». Аркадий был уверен, что «Володя» — это критик Владимир Ермилов, а «пассажир», конечно, он сам. Фамилии консультантов в Деле № 71/50 названы, но сами рецензии сейчас изъяты.

Следствие было. Суда не было. Суд заменили «Особым совещанием». Аркадий получил свой первый срок.

#### **Выписка из Протокола № 34**

#### **Особого совещания**

#### **при Народном Комиссаре Внутренних дел СССР**

#### **от 5 августа 1944 г.**

*Слушали: Дело № 71/50/2-е управлен. НКГБ по обвин. Белинкова Аркадия Викторовича, 1921 г.р., урож. гор. Москвы, еврей, гр. СССР, обвин. по ст. 58—10, ч. II УК РСФСР.*

*Постановили: Белинкова Аркадия Викторовича, за антисоветскую агитацию — заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на ВОСЕМЬ лет, считая срок с 30 января 1944 года.*

Все сошлось: длинные волосы, независимые высказывания, кружок, «Необарокко» и роман, о котором было так много разговоров.

Ознакомили Аркадия с протоколом ОСО через шесть месяцев после вынесения приговора, а попал он по месту назначения летом 1945-го. В перерыве ему предстояло еще одно следствие, пересыльные тюрьмы и Владимирский политизолятор. (Об этом периоде его жизни сведений почти нет.)

Следом за Белинковым были арестованы и приговорены к длительным срокам: Генрих Эльштейн — его Дело за тем же номером было вшито в Дело Белинкова, он отбыл восемь лет исправительно-трудовых лагерей с последующей ссылкой; Надя Рашеева, поэтесса — подвергалась на следствии жестоким пыткам и умерла через два года после того, как вышла на свободу; Жора Ингал — убит в лагерном бараке по подозрению, что пишет донос, а оказалось — прозу: роман о Клоде Дебюсси; литератор «Х» — после освобождения мучительно избегавший встреч с Аркадием, чтобы нечаянно не навредить — его продолжали вызывать на Лубянку. Фаину и Марианну пощадили. Преуспевали до конца дней своих Ковальчик и Ермилов, приобретший репутацию мастера заплечных дел. (Однажды Аркадий получил письмо, по краткости и выразительности похожее на телеграмму: «Дорогой Аркадий Викторович! Я не выдержал — поздравляю Вас с безвременной (слишком поздней) кончиной Ермилова. Теперь уж этот прохвост никого не предаст и не выдаст. Николаев. 20.XI.65».) Продолжали здравствовать и успешно работать на идеологическом и литературном поприще первенцы следствия Шергова и Евдокимов.

Спасать сына!

Сначала Виктор Лазаревич кинулся к Полине Семеновне Жемчужиной. Оба работали в одном наркомате. Полина Семеновна дернула плечиком: «В его возрасте нас по этапу гнали...» Отповедь своей сослуживицы он не забыл и долго поминал кремлевскую жену недобрым словом. Через пять лет арестовали саму Жемчужину. Оказалось, кроме обвинений по основному делу жене Молотова инкриминировалось, что она «брала под свою опеку арестованных врагов народа: Серебрякову, Белинкова и многих других»<sup>1</sup>. Виктору Лазаревичу не были доступны папки из архивов Лубянки, открывшихся в 90-х, и он не знал, что обижаться на Полину Семеновну ему не следовало.

---

<sup>1</sup> Васильева Л. Кремлевские жены. М., 1992. С. 343.

У кого искать защиты? Обратились к писателям: Алексею Толстому, Виктору Шкловскому, Илье Сельвинскому. Кто-то отказался, кто-то решил помочь. Имели ли Белинковы представление о том, что имя Шкловского давно фигурирует в спецсообщениях секретных служб? Что по поводу стихотворения Сельвинского «Кого баюкала Россия?» в Секретариате ЦК готовится постановление?<sup>1</sup>

У железной мясорубки нет ни слуховых, ни зрительных органов. Она — нечто неодушевленное. Мог ли хоть кто-нибудь просьбой или письмом спасти или облегчить участь попавшего в ее железные зубы? Спутанный клубок страха, самоотверженности, расчетливости, честности и отчаяния, образовавшийся после ареста Белинкова, сейчас распутать невозможно. Слава же тем, кто спасти не мог, но пытался.

Аркадий вышел из ГУЛАГа через двенадцать с половиной лет. Считалось, что «Черновик чувств», как и другие вещи, написанные в заключении, пропал навсегда.

Однажды на шумной и веселой встрече Нового года — поздравления с картинками, веселые глупости, розыгрыши, непрерывный хохот — Аркадий получил подарок: тоненькие школьные тетрадочки, исписанные мелким почерком. Рукописная копия «Черновика чувств»! Того самого, недоступного, который в зеленом переплете хранится вечно! Кто-то ухитрился сохранить роман. Кто-то не побоялся. На другой день Аркадий бегло просмотрел рукопись, нашел роман незрелым, не захотел мне его показать, и мы сожгли его в алюминиевой кастрюле на каменном подоконнике нашего пятиэтажного дома в Сокольниках недалеко от тюрьмы на Матросской Тишине. Рукопись сгорела, и комната после этого долго пахла дымом.

Но упрямый роман не сдавался и еще несколько раз напоминал о себе.

После первого выступления Белинкова на Западе, переданного радиостанцией «Свобода», «Литературная газета» обозвала его *Васисуалием*, а радиостанцию заодно с западной политической свободой смешала с... со знаменитой вороньей слободкой, превратив ее в *свободку*. Помнится, Аркадий оценил название<sup>2</sup>. А в доказательство, что Белинков был и остается врагом народа, фельетонист воспользовался двумя отрывками из «Черновика чувств». Как выяснилось потом, это были отрывки, отчеркнутые красным следовательским карандашом.

В девяностых годах, когда в России начали пересматривать советские стереотипы и нормы поведения, у Аркадия нашелся свой человек из прош-

---

<sup>1</sup> О том, какой опасности учителя Белинкова подвергались в то время, см.: Власть и художественная интеллигенция. М., 1999. С. 493—494, 508, 510, 520, 531, 532. — (Серия «Россия. XX век. Документы»).

<sup>2</sup> Жуков Вл. Васисуалий Белинков избирает воронью слободку // Литературная газета. 1968. 14 авг.

лого. Это был его сокурсник по семинару критиков. В свое время еще до ареста Белинкова он откликнулся резко отрицательной рецензией на его «Черновик чувств» (главный герой романа — мертвая душа, а автор — рыцарь языкоблудия, не обладающий политической смелостью в сравнении хотя бы с Константином Симоновым). Ну не понравился студенту роман как раз во время травли автора — дело по тем временам житейское. Но что толкнуло бывшего студента — ставшего профессиональным критиком — поспешить и опубликовать эту рецензию через 50 лет после ее написания?<sup>1</sup> Роман еще никто не читал, он все еще «хранился вечно», его дальнейшая судьба была неизвестна. Правда, критик привел столько цитат из романа и так подробно рассказал его сюжет, что если бы не обнаруженный впоследствии подлинник, то рецензия в какой-то степени восполнила бы предполагавшуюся утрату романа и мы могли бы быть ее автору благодарны. Но роман вскоре нашелся и начал новую жизнь.

О том, что роман нашелся, мы с Марианной Шабат узнали из газет. Я — в Америке, она — в России. Литератор Григорий Файман, получив из ФСБ в свое распоряжение протоколы допросов Белинкова, опубликовал их вместе с фотографией самодельного титула романа в «Русской мысли»<sup>2</sup>. Говорят, что это нормально: протоколы вроде бы наследникам не принадлежат. Но, конечно, лучше бы мне знать заранее о том, что материалы моего мужа будут опубликованы. «Извините, — сказал мне Григорий Файман при встрече в Москве. — Не согласовал с Вами. Думал, Вы давно умерли». Ложка дегтя в бочке с медом? «Черновик чувств» найден. Деготь красит своим цветом выражение моей благодарности.

Втроем — Марианна, Григорий Файман и я — идем на Лубянку. Он уверенно ведет нас к подъезду без вывески. Лестница. Обитая черным дерматином дверь. Кнопка звонка без таблички. Через закрытую дверь наш провожатый называет себя. Дверь открывается сразу, как будто нас ждали. Еще бы! Гость из Америки. Стараются показать себя с лучшей стороны. Ну и дела!

Вместе с несколькими работниками ФСБ мы рассаживаемся в маленькой тесной комнате. Ждем начальника. Вручение бывших вещдоков будет происходить торжественно.

«Что это — вещдоки?» — спрашиваю.

«Не знает! — Хохочут. — Счастливый человек!»

<sup>1</sup> *Лацис А.* Литературные подоконники. О лишнем человеке сороковых годов, о мнимой и подлинной смелости. Об Аркадии Белинкове и «Черновике чувств» // *Культура и свобода.* 1993. № 3/4. С. 132—157.

<sup>2</sup> *Файман Г.* Горе уму. Первая публикация допросов А. Белинкова // *Русская мысль.* 1995. № 4095—4099; *Он же.* Гибель без сдачи // *Там же.* 1996. № 4123—4127.

Оказывается, «вещественные доказательства»!

Мне кажется, что я не волнуюсь. Ведем прямо-таки светский разговор. Почему-то хотят, чтобы я согласилась с ними, что Москва — грязная. Я не хочу соглашаться, хотя они и правы, и говорю, «не заметила, ночью приехала». «Как доехали?» — спрашивают, а я слышу — «Как уехали?» Неужели попалась? Я ведь, как и Аркадий, все еще, должно быть, считаюсь изменником родины. Спohватившись, перевела разговор на другую тему — переспросила имена-отчества присутствующих и на глазах у всех записала. Сразу успокоилась. И они притихли.

Пришло начальство. Мне вручают самодельную книгу в зеленой рогожке — представляю, что переживала Марианна, — и три серых пакета с «казахстанскими рассказами». Название хорошее. Но я избегаю его употреблять. Знаю, кто его придумал. Хрупкие пожелтевшие страницы, исписанные мелким почерком. Мне предстоит их долго и кропотливо разбирать.

Потом препровождают в «библиотеку». Казенная комната с голыми стенами. Несколько индивидуальных столиков с лампами. На одном — приготовленная для меня папка — «Дело № 71/50». За другими — несколько молчаливых фигур с горестно опущенными плечами. Кто они? Дочери? Сыновья? Вдовы? Исследователи? Это же видно: сердце каждого комком в горле. Морг!

Нужно перечитывать «Дело» много раз и приходиться сюда много раз. А мне — приезжать. Тогда разберешься. Можно подозвать «библиотечного» работника и невинно спросить: «Вот тут написано “допрос прерван”, что бы это значило?» Он ответит, небрежно взглянув на папку: «Время-то военное? Знать, бомбежка была. Или следователя куда вызовут, или другое задание дадут». Да еще расскажет, какая у них трудная работа. И подождет сочувствия, и не дождетя.

Захожу с каким-то вопросом к начальнику, он, видно, из новых или поновому дела шьет: «Да тут одного взгляда довольно, чтобы понять: липа. Показания-то выколачивали...»

По моему запросу сделали копии протоколов с допросами Белинкова. Фамилии следователей замазали белилами. Их можно разобрать на просвет, а некоторых я и без того знала по рассказам Аркадия. Мотавкин, например. Ведь нельзя забыть, правда? (Файман советовал все же не баловаться фамилиями.)

Из того, что я привезла, мне и удалось составить книгу «Россия и черт». В нее вошли «Черновик чувств», протоколы допросов и проза, за которую Белинков получил свой второй срок.

Первая публикация «Черновика чувств» имела место в журнале «Звезда» (предисловие Н. Белинковой-Яблоковой «Аркадий Белинков. Его черновики и книги», послесловие Марианны Шабат «Как это было»), и почти

одновременно роман вышел отдельной книгой в частном издательстве Александра Севастьянова. Осенью того же года в Москве в Центральном Доме литераторов состоялась презентация книги. Событие было приурочено к 75-летию со дня рождения Белинкова. Писатели собрались в Малом зале. Места не хватало, стояли в дверях<sup>1</sup>. На вечере было сказано много добрых слов и продавались первые экземпляры книги. В Москве<sup>2</sup> и Нью-Йорке<sup>3</sup> назвали публикацию событием года. Роман стал бестселлером и библиографической редкостью. Радиостанции «Эхо Москвы», Би-би-си и «Свобода» посвятили «Черновику...» передачи. В них принимали участие Георгий Мосешвили, Наталья Рубинштейн, Леонид Финкельштейн, Иван Толстой.

---

<sup>1</sup> Стенограмма вечера опубликована в конце этой книги.

<sup>2</sup> Сарнов Б. // Новая газета. 1966. 14—15 окт. С. 15.

<sup>3</sup> Иванов Вяч. Вс. // Новое русское слово. 1996. 31 дек. С. 21.

## ЧЕРНОВИК ЧУВСТВ (фрагменты романа)

### АНЕКДОТ XI

Марианна и Аркадий весьма хладнокровно выслушивают резкий выговор за свой эгоцентризм и оправдываются, ссылаясь на глубокую любовь к замечательному поэту Илье Сельвинскому. Процесс ассимиляции и диссимиляции в человеческом организме. Прометей, выклеывающий свою печень. Автор понимает всю безнадежность положения своего героя и соглашается с предложением пригласить знаменитого профессора. Знаменитый профессор недовольно покачивает головой и безразлично советует читать «Пьер и Люс»<sup>1</sup>. Больной умирает. О дожде, шедшем во время отъезда милой невесты героя.

Наша жизнь была только для нас.

С социалистическим обществом мы не делились.

Даже мои близкие друзья не прощали этого ни мне, ни Марианне. Они, попыхивая, уходили хлопьями, похлебывая горечь нашего отплытия. Но мы были совсем рядом с огромным писателем. Это мой учитель. Наш любимый писатель и учитель.

Кроме того, что Сельвинский писал удивительные стихи, он еще и не писал удивительной прозы. Эту прозу он говорил. Как говорил Сельвинский? Как ходил — великолепно упруго и стремительно и весь обваливался на ноги. Это был старый и чрезвычайной важности разговор о том, как тошно обедничаться, и о том, что литература не парад с его дотошным равнением. Сельвинский непременно лидер. Непременно глава. Непременно вождь. Он крупен и кругл. Каждая часть его тела похожа на другую. Ноготь его большого пальца похож на сильное мускулистое крыло ноздри, а вместе — они похожи на веко. Он говорит громко и нежно. По его фигуре и голосу легче всего догадаться о том, как сделаны эпиграммы, стихи о зверях и посвящение в «Пушторге».

Он сам стоял во главе большой школы.

---

<sup>1</sup> Повесть Р. Роллана о чистой и всепоглощающей любви героев — Пьера и Люс заканчивается трагической гибелью Пьера. — *Примеч. ред.*

Поэтому у него не было почтительности. У него не было восхищения. Он лучше других знал, как сделаны «Про это» и «Разрыв». Потому что никто не знал так хорошо, как он, как сделаны «Уляляевщина» и «Записки поэта». Он был единственным серьезным конкурентом своим гениальным современникам — Маяковскому и Пастернаку. Наверное, он не любил их, владимвладимыча и борислеонид'ча. И кто знает, — может быть, ему очень больно было читать эти строки:

Мчались звезды. В море мысли мысы.  
Слепла соль. И слезы просыхали.

Маяковскому было легче простить. Там прямо так и сказано:

— Илья Сельвинский: Тара-тина-тара-тин-т-эн.

Часто он резко говорил о них обоих. Но это говорил очень большой писатель о других очень больших писателях. И незабываемое ощущение того, что в разговорах с Сельвинским эти писатели становились резкими и живыми соперниками в споре, тут же за столом, рядом, со своими книгами, интонациями и спорами.

А мы с Марианной жили тропами. Поэтому наше согласие было рифмами, а споры лишь перебоями ритма. Это была радостная жизнь заряжающихся аккумуляторов.

Мы много впитывали в себя и почти ничего не тратили. Это нарушало правильный обмен веществ. Мы отлично видели все вокруг, но брать предпочитали только из собственной печени. Брали мы, как голуби. И ни для кого не добывали огня.

Об отличности наших темпераментов мы уже хорошо знали, но полагали, что эта отличность именно и есть разность потенциалов. Кроме нас знала это Евгения Иоаникиевна. Откуда и как она это узнала, мне неизвестно. Я не думаю, чтобы она сама об этом догадалась. Наверное, это сказала сама Марианна.

Как трудно Марианне быть ожесточенной. Хорошо, что пока ей это не нужно. Но она не понимает, какая нужда в ожесточенности мне. И то, что литература — это моя профессия, не казалось ей достаточно убедительным доводом.

Нашему счастью мы уже нашли место.

Дома мы его все-таки не оставляли, а предпочитали носить с собой. Но оно становилось все больше и тяжелее и все более и более походило на изображение многорукого Будды. В руки и губы оно уже не укладывалось.



Тучи прилипали к крышам, и тонкие июньские дожди отмачивали их, как вату. В воздухе плавала обидная ухмылка, совершенно нерусская, ибо в ней был сарказм и сознание нашей беспомощности. Погода была похожа на нарыв: он неминуемо должен был скоро лопнуть. Это было ясно, ибо не мог долго держаться нарыв, так сильно набухший желтым густым теплом.

Пригороды неслись в Москву желто-зеленым всхлипывающим щебетом. Их сдержанный и сильный шепот прижимался ветром к поездам, и в Москве он отклеивался от серо-голубых стопок и стекол и листовками падал на горячие трамваи, на еще твердый и сухой асфальт, на перила и на изящные, всегда новые киоски.

Наши обязательные ежегодные отъезды из Москвы происходили всегда неожиданно и неприготовленно. У нас не хотят и не умеют запасаться. Впрок мы покупаем только книги. А все остальное — ненадолго. И поэтому легко и радостно меняем вещи и не очень привыкаем к ним.

О том, что по странной фантазии Марианна едет в подмосковную деревню, куда мои родители ни за что не поехали бы и сам я мог сделать это только ради нее, я знал еще с конца зимы. Марианна тоже ненавидела эту деревню, и мы старались об этом не думать и не говорить.

Довольно часто с треском лопались небольшие хрупкие коробки, и из них выпадал зернистый, сухой дождь. Но через полчаса на земле его уже трудно было найти, и только изредка встречались небольшие, слегка сплюснутые капли. Потом и они пропадали.

В зоологическом парке открывали летние вольеры. Театры уходили на юг.

На солнце испарялись дома и панели и затекали в еще не успевший загустеть воздух.

В музее было прохладно и тихо, как в слегка потрескивающий полдень, когда очень высоко пролетает аэроплан.

Картины, как всегда летом, слегка потемнели, и опять мы смотрели их заново. Особенно заметно меняются летом Марке и Матиссовы рыбы.

В Гогеновском зале крался вдоль стен, сползая по изогнутым рамам и смешивая свои пальцы с охрой полотен, растворяясь в сотворенном рисунке своего жеста, сглаживая тепло-желтые вздрагивающие пятна масляных солнечных бликов, крался вдоль стен и вился по рамам высокий, худощавый, начавший сесть, зеленоватый человек.

Он слегка пошатывался рядом с девушкой под деревом манго. Их светло-коричневые лбы смешивались. Пальцы усложняли крупную резьбу темной рамы, сливая ее с полотном.

Он испуганно вздрагивал, широко заводил руку и мелко дробил какое-то длинное слово, полное губных и сонорных звуков.

Вдруг вздрогнув, он вырвался из рамы и, сорвавшись на рифме, пожевывая сиреневые губы и скосив фиолетовый глаз, бросился в дверь, отрывая подошвы чуть скартавивших длинных узких ботинок.

Мы были разбиты, разом прочтя «Сестру мою — жизнь».

Мы вышли на улицу.

Был дождь, похожий на этого светло-зеленого человека. Стихи были о них обоих.

Вода рвалась из труб, из луночек  
Из луж, с заборов, с ветра, с кровель,  
С шестого часа пополуночи,  
С четвертого и со второго.

В шестом часу, куском ландшафта  
С внезапно подсыревшей лестницы,  
Как рухнет в воду, да как треснет  
Усталое: «Итак, до завтра!»

И мартовская ночь и автор  
Шли рядом, и обоих спорящих  
Холодная рука ландшафта  
Вела домой, вела со сборища.

То был рассвет. И амфитеатром,  
Явившимся на зов предвестницы,  
Неслось к обоим это завтра,  
Произнесенное на лестнице.

Оно с багетом шло, как рамошник.  
Деревья, здания и храмы  
Нездешними казались, тамошними  
В провале недоступной рамы.

Они трехъярусным гекзаграммом  
Смещались вправо по квадрату.  
Смещенных выносили замертво,  
Никто не замечал утраты<sup>1</sup>.

С теплом в Москве грохот и шум распускаются и цветут, цепляясь за шероховатости карнизов окон и бульварных решеток.

Первым созревает горохообразное дребезжание трамваев. Потом появляются тяжелые, как фрукты, немного влажные голоса автомобилей. Потом шарканье прохожих. Птиц нет вовсе. Дожди в Москве бесшумны. Они висят в воздухе. Падать им некуда.

---

<sup>1</sup> Пастернак Борис. Встреча. Опушены 4-я и 5-я строфы. — Примеч. ред.

Мы опять собирались на юг. Там легче оторваться от однообразной зимней усталости и нужно заново привыкать к воздуху, людям, домам и деревьям. Неожиданность успокаивает, как редкие выпадения из строгого и утомительного ритма.

Марианна уезжала в деревню.

С утра хлопотали с вещами, которых, конечно, оказалось непомерно много, и с книгами, которые тоже всегда неожиданно становятся тяжелыми. Все это нужно было приводить в порядок, складывать, увязывать и отправлять на вокзал. У Марианны болела голова. Мне была тягостна собственная беспомощность, и я дурно чувствовал себя среди этих беспорядочно валяющихся по столам, креслам, стульям и просто на полу вещей. Я натыкался на них и всем надоел.

Евгения Иоаникиевна на меня дулась, уверенная в том, что я уговаривал Марианну не ездить в деревню. Ничего подобного я не делал. Я только прочел Марианне «Когда волнуется желтеющая нива...». И купил ей дочку.

Дождь штопал окна. Потом началась гроза. Поле стало серым и маленьким. Ветер охапками бросал дождь из стороны в сторону. Лес рванулся в поле. На мгновение он замер, не понимая своей неподвижности, потом вспомнил, вздыхал и переминался с ноги на ногу. Гроза шла за рекой и вместе с нею. Обе были торопливы, и река часто кашляла. Было много молний. Они скрещивались, и это очень походило на рисунок, предупреждающий об очень высоком напряжении.

Я сказал Марианне об этом и еще о том, что все-таки грома мы боимся больше, чем молнии.

Марианна утвердительно кивнула головой, но я знал, что сейчас ей это неинтересно. Она глядела в окно на автомобили, которые как-то удивительно лавировали среди ниточек дождя, умудряясь оставаться сухими.

Уехали они в дождь.

Гроза прошла, и дождь повис над узким перроном, как скошенный гребень.

Поезд был уставшим и потным. Был июнь. Было тепло. И в вечере висел дождь, натянутый между фонарными столбами.

## АНЕКДОТ XII

Письмо с эпиграфом. Раскаленный воздух по вечерам над ресторанами. Болезнь. Проект письма. Одиннадцатая заповедь Евгении Иоаникиевны. О любви, простуженной на холоде. О дочери и о неуловимом. О вновь завывших химерах Собора Богоматери.

В Руане светало. Ветер смахнул дождь. Хлопьями падал туман. Совсем рядом плавало сочное море. Потом вспыхнуло гладкое солнце. И растаяло на голых головах булыжников.

Это был предутренний час, когда великий писатель кончил последнюю фразу «Сентиментального воспитания» и, откинувшись на спинку кресла, тихо, как цитату из своего романа, сказал:

— Всегда пишешь не те книги, какие хочешь.

Даже не читаешь, какие хочешь. Все делаешь не так, как хочешь. Флобер хотел быть просто эстетом, но в 30—40-х годах нынешнего века он оказался разрушителем и реалистом, а его друга Д'Орвильи<sup>1</sup> начинают забывать. Вероятно, Марианна тоже стала бы разрушительницей, но я был слишком нетерпелив и злоупотреблял радостью Пигмалиона.

Метаморфозы

Эта часть романа начинается именно так: «Это было в тягостные июньские дни девятьсот сорок первого лета, в пору превращения дождей из белых туманов и опрометчивых колебаний термометра; в пору, когда Симонов, Алигер и Долматовский становились такими же древнерусскими безнадежностями, как праздная попытка переписать заново стихи поэтов допушкинской эпохи; в то тягостное время, когда уставшие школьницы и студенты сдают последние экзамены, уже утратив сладость предвкушения грядущего бездельного лета, в пору тягостной диктатуры пролетариата...»

Ночью я писал Марианне. Это было новое, до этих пор почти незнакомое ощущение. Потому что это письмо было одним из очень немногих писем, которые я когда-либо писал Марианне. До этого мне некуда было писать. Я задумал целую серию. На конверте я нарисовал маленькую единицу.

Мне было очень тяжело. Я впервые расставался с Марианной. Еще недавно я не знал ее вовсе. Теперь Марианна уехала. По-моему, это преждевременно. Кроме того, сама, добровольно уехала. Как будто даже отдыхать.

Письмо получалось громоздкое и сложное, как пьеса к концу четвертого акта.

Эпиграф был такой:

...Взгляни на меня. Я твое несчастье.  
Я обрекаю тебя на муку  
неслыханной соловьиной страсти...

Эпиграфа я испугался. Но оставил. Письма не выходило. Тогда я подумал и решил переделать его в пародию на европейскую литературу, и главным образом на шлегелевскую «Люцинду», плохо понимая, зачем мне это нужно.

---

<sup>1</sup> Жюль Амеде Барбе д'Орвильи (1808—1889) — писатель и публицист, автор романа «Лики дьявола» (1874). — *Примеч. ред.*

Шел дождь. Наверное бы пошел снег, если бы это не был конец июня. Было холодно. Было темно. И был ветер. Я надвинул шляпу на лоб. По блестящей полированной поверхности макинтоша текли лужи. В них отражались автомобильные фары. Плащ был кинематографичен и блестящ, как великосветское общество с шампанским.

Но письма не выходило.

Про кинематографический плащ, похожий на сервировку великосветского ужина, вполне можно было написать в письме.

Но я не писал.

Я вернулся домой и долго курил. Потом читал Селина. Потом лег. Были сны. Потом я заснул. Сны были многоверстные, громоздкие, огромные и похожие на шкаф, который выносят из пустой квартиры. Толкаясь, они толпились под одеялом и мешали спать, чужие, как прохожие, похожие друг на друга. В одном был какой-то сложный сюжет. Какой, я забыл. Потом снились рифмы. Забыл — какие.

Утро было удивительно похожее на вечер. На тот, который я видел накануне. Серый узкий дождь сушился, свешиваясь между фонарными столбами, и за ним был покрасневший, набухший фонарь. Если бы я сам не видел ночи, можно было бы подумать, что ее вовсе не было. Но это неправда. Она была. Я не мог написать письма. Это совершенно ясно. Это оно лежит, со вставками и вычеркнутыми строками, поломанное и скомканное, как сияющий плащ или как остатки великосветского ужина.

Тверская растворялась в тумане, как мазок акварелью по влажной бумаге. В конце улицы, прямо на дороге, все время пересекаемой автомобилями, лежало тихое зеленоватое облако. Автомобили подпрыгивали и зарывались в круглые бугорки тумана. Где-то, кромсая, рванулись и взвизгнули сразу несколько трамваев и молодая женщина. Повесился мужчина в возрасте 27 лет.

Толстая, черная машина вдруг кругло затормозила и упруго припала к асфальту.

Репродукторы расстреливали автомобили.

Гравий из репродукторов легко пробивал воздух и забивался в рот и за ворот.

Автомобили неожиданно круто тормозили и удивленно приседали на задние колеса.

Глубокие горсти репродукторов слегка пошатывало. Слова и еще не отлетевшее от них дыхание просыпались во все стороны. Они сыпались на крыши и на тротуар. Некоторые закатывались под ноги, под дома и автомобили и — пропадали.

Потом вдруг зажегся фонарь. Несколько секунд бессмысленно погорел, потом мигнул и поспешно погас.

Дома покачивало. Сорвалась какая-то рама и билась об стену, звонко вырываясь из рук испуганной девушки.

Тверская громоздилась говором.

Откуда-то появлялись новые люди, и автомобили становились выпуклыми и круглыми, этим выдавая свою довоенную некомпетентность.

Говор большими кулками с крупной крупой переходил из рук в руки. В него заглядывали, переспрашивали, с тем чтобы тотчас же, забывая опять и сбиваясь в тщетных высчитываниях, угадать название, количество или время.

Выпорхнуло, помахивая, похожее на тень уже позабытого, непривычного слова. Оно оказалось солоноватым на вкус и было похоже на шепот. И на летучую мышь.

В квартире уже знали. Мамы не было. Через несколько секунд, задышавшись, она выпала из двери и у папы в руках разбилась в истерике.

Я подошел к письменному столу и, не думая, не высчитывая и не угадывая, торопливо запечатал обрывки недописанного ночью письма с нашим довоенным, великосветским ужином.

Марианны не было. Я сильно нервничал, перечитывая надписи на подаренных ею книгах. Сколько хороших, но уже очень давно запрещенных слов. И все трогательные.

Цезарь Георгиевич привез мне письмо.

Я удивленно читал античные, еще довоенные, слова.

«Милый каприза! Если бы я знала, что Вы где-нибудь совсем рядом, то была бы вполне счастлива.

Мы с Никой чудесно ехали в пустом поезде, радовались, как дурочки, каждому деревцу, скакали на “кукушку” и злились на начинающийся дождь.

Деревня наша хорошая.

В комнате у нас висит много очень красивых картин. На них нарисованы лошади и коровы и другие разные люди. Кремль написан в манере Моне поры “Руанских соборов”. Всем. Нам. Очень. Скучно.

Вечор мы пели разные песни. В этой деревне *chevalier* — называется странным русским словом «парень». Эти самые “парень” норовят шлепнуть здоровенной ручищей между лопаток какую-нибудь из местных наяд. Восхищенным наядам это тоже страшно нравится. По всей деревне вечером несутся дикие вопли, птичьи перья, лошадиное ржание и бешеные собаки. Аня поет романс: “Уверю вас, что русской бабе необходим писатель Бабель”. Хорошо бы написать лирическую книгу под титлой “Вечерние взвизги”.

Я все время, каждую секунду с Вами, самый хороший и любимый из всех каприз! Я Вас в каждой строчке читаю. А мама все время что-нибудь

говорит про Вас. А Ника говорит, что у Вас череп убийцы. А я злюсь. Господи. Да, какой же Вы чудный!

А я что придумала!.. Угадайте-ка. Вот. Фамилию придумала. Аксель Бант. Подумайте только! Норвежец. Толстый. Рыжеватый, со светлыми пушистыми бровями и ресницами. Литературовед, конечно. Доктор Аксель Бант. Лекции о древнегерманском эпосе доктора Аксель Банта. Ну, правда, ведь хорошо! Похвалите меня. Ну, пожалуйста. Знаете, я тишайшая, я простая. “Подорожник”. “Белая стая”...

Вот и все о наших делах, дорогой. Перед Цапочкиным отъездом напишу еще. Все Вас приветствуют. Я очень люблю Вас, очень целую и очень кусаю.

Мар-на на Франкфурте.  
Бейте Аню».

На последней странице карандашом было быстро написано:

«Дорогой, дорогой мой! Боже, война... А я не с Вами. Вы, наверное, уже никуда не поедете. И я не с Вами! Как Вы? Господи, наверное, Вы заболели... Мы истерически ловим все радиосообщения. Ради бога, берегите себя! Целую Вас. Очень, очень крепко. Больно без Вас, родной. Твоя М.»

День вывалился из суток.

Две ночи прижались друг к другу.

Довоенная ночь была розовой и пахла женскими духами.

Первая военная ночь была Незнакомкой.

Она разрослась, как широкое, полное листьев дерево, и закрыла своим легким и шумным телом наши книги, картины и афиши.

В эту ночь, настоящую, как сгущенная ночь планетария, приехала заплаканная Марианна.

Ночью я заболел.

Жар поднимал меня с подушек. Горячо и сухо прижимался ко мне и вдруг неожиданно наотмашь бил меня по лицу. Я падал с подушек, скатываясь под гору и цепляясь волосами за кустарник. Холодно становилось так сразу, что трудно было сказать даже, холодно ли это.

Врачи настойчиво вычерчивали расширенное предсердие, но я уже хорошо знал, что теперь уже и за сердцем — легкие.

Утро было задумчиво дымчатым и шершавым.

Я долго ловил плавающие рукава халата, встал и с трудом добрался до телефона. Марианны не было. Евгения Иоаникиевна велела лежать. У меня очень высокая температура. Все время не переставая, мелко бьется телефон. К телефону прижимаются подушки на щеках. Все стало похожим на бесконечный ряд перфорационных отверстий в киноплёнке. Я старался запомнить каждое из них, но они слишком похожи друг на друга и, не оста-

навливаясь, текут вдоль кадров. Потом Женя. Люся. Лена. Приехали папа и мама. Привезли журналы. Мама уехала. Он остался один, расстроенный. Потом уехал. Надя. Галя и Вера. Потом опять Женя. Марианны — нет. Я встал опять позвонить ей. У нее плохое настроение. Заниматься ей не хочется, но это необходимо — у Марианны сессия. Мне она советует больше лежать. Кроме того, она выписывает мне рецепт: не волноваться и валериановые капли. Вставать мне очень вредно. Потом Марианна прощается. Она говорит, чтобы я непременно выздоравливал. Потом, что-то высчитав, обещает:

— Впрочем, я, наверное, часа в два зайду к вам.

И запечатывает трубкой.

**Примечание автора:** Эта книга менее всего мемуары. Читатель должен ни на мгновение не упускать из виду, что это *nature morte*, и, не переставая, переводить себе для уяснения смысла это слово на русский язык. В этом натюрморте ничего, кроме мнений Аркадия и Марианны о ряде книг и картин, музыкальных сочинений и философских сентенций, а также нескольких весьма интенсивно окрашенных предметов на среднем плане, нет.

Далее следует одно очень важное сообщение:

**МАЛАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ГЕРОЯ И АВТОРА  
О ПРИЧИНАХ РАЗДВОЕНИЯ ГЕРОЯ**

Каждый из нас, дойдя до этой страницы нашей жизни, независимо один от другого, окончательно убедился в том, что ответственность за свои поступки мы должны нести отныне каждый в отдельности.

Это решение явилось в связи с тем обстоятельством, что роман писался весьма длительное время и претерпел несколько радикальных метаморфоз, количество которых приблизительно равно количеству вариантов и редакций романа. За это время, а также за время, прошедшее после окончания книги, в жизни автора и его любимой героини произошел ряд важных происшествий, которые, естественно, оказали серьезное влияние на их мнения касательно целого ряда предметов и событий. Ничего подобного не произошло с героем, вынужденным тотчас же с окончанием книги о нем остановиться в развитии своих мнений и поступков и вынужденным думать и поступать так, как он это делал на протяжении немногих дней, о которых повествуется на этих страницах.

Таким образом, мы, герой этого сочинения и его автор, в этой своей *Малой декларации* заявляем: отныне, с этой страницы, о некоторых вопросах и действиях мнение автора и его героя утрачивает свою идентичность. В силу этого обстоятельства автор считает своим долгом в отдельных случаях делать некоторые замечания, подобные тем замечаниям, которые читатель уже знает по предшествующему тексту.



Примечание героя: Книга эта могла бы стать вполне образной, если бы я обманул вас и личное местоимение «я» склонял в третьем лице. У него с легкостью и удовольствием можно описывать прическу и цвет лица. Описывать свою прическу для себя — то же самое, вероятно, что, шагая по улице, приговаривать: а вот я поднял правую ногу, а теперь опустил правую, потом поднял левую. Для читателей, которые все вместе поместятся на одном средних размеров диване, тоже не стоит описывать хорошо им известную прическу. А эта книга — для них. Кроме того, эта книга для меня самого. Просто нам не нужно описание скромной и незатейливой прически.

Я до тех пор не стану автором этой книги, пока не перестану быть ее героем.

Но самое главное то, что эта книга для самой Марианны.

То, что я говорил Марианне, она не всегда хотела понять, потому что это говорилось специально для нее, и меня можно было заподозрить в нелояльности. То, что написано здесь, — Марианна хорошо знает — написано для меня. И если я себя узнаю здесь не всюду, то это происходит, вероятно, по тем же причинам, по которым мы удивляемся своему голосу, записанному на целлулоидной пластинке: мы забываем об ушах, меняющихся вместе с голосом, который мы слышим всегда на одинаковом расстоянии от ушей. Граммофонная пластинка может вертеться на другом конце квартиры. И еще потому, что на хороших фотографиях мы не очень похожи на себя. Но для этого необходимо научиться фотографироваться.

До четырех Марианны нет. Теперь я уже не болен. Теперь я очень сосредоточен. Больше всего меня занимает, достаточно ли я спокоен и сдержан.

Хорошо, что я нервничал. От этого я меньше кашлял. Эту медицину ненавидела умная и красивая девушка, о которой я некогда растерянно вспомнил, когда мы с Марианной были уже очень далеко от дома и когда вокруг нас был светлый шар с двухметровым диаметром.

А Марианны нет все.

Тогда я читаю «Первый крик».

Я знал, что это уже не ассоциация, а просто цитата.

Марианна не приходит.

Евгения Иоаникиевна не велела Марианне баловать меня. У Евгении Иоаникиевны восемь заповедей. В присутствии Цезаря Георгиевича и моем она поучает Марианну:

— Выйдешь замуж — обеда не готовь. Может обедать в ресторане. Хочет — у любовницы. Шей наряды. Принимай по средам. Детей не имей. Чужих не люби. Мужа не ругай. Ничего не спрашивай. Помни мать.

Евгении Иоаникиевне очень хочется сказать еще:

— Мужа не люби.

Но тогда это будет какой-то одиннадцатой заповедью, и она не решается.

Марианна слушается ее. Марианна хорошая и послушная дочь. Наверное, она будет хорошей женой. До тех пор, когда жена должна стать хорошим другом. Но друг Марианна ненадежный. У нее нет партийности. Она любит слишком всех. Это значит, что изменит она всем сразу. Кроме того, она не сможет долго идти со мной одной дорогой. Для друга она не годится. Я должен всегда любить ее. Но Марианна не может быть второй. Не может она быть и первой.

Нет, не приходит.

До матери мне нет никакого дела. Но Марианна. Слушаться кого-нибудь она должна обязательно. Иначе — она не может жить. Я не хочу, чтобы она слушалась меня, как мать. Она не может быть первой. Я не могу — чтобы Марианна была равной. Тогда ей придется стать сразу третьей. Марианну это оскорбит, как насилие. Больше всего ее бы устроило, если бы не было этого почти публичного распределения ролей. С этим нельзя примириться. В это надо поверить. И привыкнуть надо к этому. Сможет ли Марианна? Смогу ли я оскорбить эту необыкновенную девушку, которую я так люблю?

Все нет Марианны.

Читаю «Четвертый крик».

Все нет.

Очень сильный жар. Опять начинаю задыхаться. Быстро, но очень тщательно одеваюсь. Главное — безупречный воротничок. И я внимателен и терпелив.

На улице комья туч. Среди них копошится и капает дождь.

Войне уже два дня. Стены в приказах и репродукторах.

Марианна сильно пугается. Впрочем, она недовольна:

— В такое время. Как вы можете. Ведь я сказала, что сама буду у вас!

Я прошу прощенья.

Но Марианна доказывает:

— Ведь война, понимаете. Ну, понимаете ли вы, что война! Боже мой. Вы больны ведь. Как вам не стыдно!

Евгения Иоаникиевна резко выговаривает мне:

— Почему вы совершенно не жалеете Марианну?

Я чувствую себя глубоко виноватым и тихо целую руку невесты. Я не громко говорю ей. Я только ей говорю:

— Как хороши вы сегодня. Ваша мама сердита на меня. Это потому, что она старше нас и хочет внести в вас поправки, которые не внесли в ее собственную жизнь. Но вы не похожи на мать. Вас нельзя так же править. Мама пишет к вам какой-то непохожий комментарий. Вам можно только

фотографироваться, Марианна.

Потом я тихо еще говорю. Тоже только ей:

— Писать обо всем можно, Марианна, но обязательно интересно. То, что форма действительно глубоко функциональна, мой друг, это правда. Но главное не в этом. Главное то, что форма неизмеримо действеннее содержания. Поэтому в хороших рифмах можно даже написать миракль о наволочках. Но в плохих рифмах мне неинтересно читать ни о наволочках, ни о четвертом измерении, ни о Великой революции.

Я говорил тихо и смотрел ей в ресницы. Но я уже знал, что Марианне это неинтересно. Она посмотрела в дождь и сказала:

— Вон, Ника бежит досдавать сессию. Экзамен довоенный. Немецкие романтики еще не предшественники наци. Теперь уже нельзя так. Это все политика партии в области художественной литературы. Как это у них сказано, так, кажется, — нашим бедным писателям мы позволяем писать в любой манере, но хорошо бы, конечно, соц. реализм имени пролетарского писателя Горького.

Марианна тихо сказала:

— Послезавтра я сдаю фонетику. Какие у вас горячие руки. Вы совсем больны. Опять дождь.

Я ушел.

А ее все не было.

Был ветер. Вечер был в военном. Приказы за это время сильно потрепались и вымокли. Они продрогли и были мало похожи на приказы. Похожи они были на человека, обиженного другим человеком, которого он очень любит и который его тоже очень любил. <...>

*Апрель — июль 942. Ильинское. Октябрь — январь 942—943. Москва<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Даты проставлены автором. — Н.Б.

## Глава 2

Наталья Белинкова

### КАК МОЖНО ПИСАТЬ В ЛАГЕРЕ?

Из огромной, дымящейся, проносающейся мимо всемирной истории в книгу писателя попадают дары и удары, которых ему не удалось избежать.

А. Белинков

*«Аркадий Российской Советской Федеративной Республики». Долинка. Устные рассказы. Рукописи из-под печки. «Как пишется Ваша фамилия — Белинков или Беленков?» «Корова не является действующим лицом». Второй срок. «Усатый хвост откинул».*

В трех коричневых пакетах, выданных мне вместе с «Черновиком чувств» из архива ФСБ, лежали незаконченные рукописи, по терминологии следственных органов, «изготовленные» в исправительно-трудовых лагерях Казахстана: рассказ «Человечье мясо», глава из романа «Россия и черт», драма «Роль труда в процессе превращения человека в обезьяну». (Под «трудом» подразумевался «Краткий курс истории ВКП(б)».)

Все три работы — рукописи в прямом, старинном, смысле этого слова: лиловые чернила, убористый, неразборчивый почерк, авторские зачеркивания, перестановки, варианты. Это работа автора. На листах среднего формата, заполненных с двух сторон, много пометок и подчеркиваний то синим, то черным карандашом. Это работа следователя. Страницы рукописей пожелтевшие, хрупкие, края некоторых листов отломались и пропали вместе с текстом.

Главных литературных героев зовут — вы догадались! — Аркадий и Марианна. На последней странице каждой рукописи — приписка: *«Рукопись [одно из названий] написана мной и изъята у меня при обыске. 25.5.51. Аркадий Белинков».* Приписка и подпись принадлежат не Аркадию-герою, а Аркадию-автору.

«Как можно писать в лагере?» — спросил меня редактор «Нового русского слова» Андрей Седых, прочитавши написанные в неволе «Прогулки с Пушкиным» Андрея Синявского.

И я рассказала, что знала. Не о Синявском. О Белинкове.

Освобожденный от тяжелой работы по состоянию здоровья, он попеременно становился то фельдшером, то режиссером — положение, не-

лестно именуемое по лагерной терминологии придурок. В перерывах он занимал койки в лагерных больницах. Писал по ночам. Рукописи закапывал в землю. Земля не всегда — пух. Иногда — ящик письменного стола. На этапах помогали урки. «За пайку они пронесут что хочешь», — объяснял мне Аркадий. Был еще способ: склеить рукописи в длинные полоски и обмотаться ими.

Теперь я понимаю: мой длинный ответ был неверным.

Чтобы сохраниться и писать в лагере, надо оставаться самим собой. Гибель писателя — в его измене самому себе.

Как же этот болезненный юноша противостоял следователям в тюрьмах и вертухаям в лагерях?

Очевидцы-сокамерники рассказывают:

«Вечером вывели меня в коридор, а там, смотрю, из другого бокса тоже ээка выводят. Коридорами, лестницами повели нас в пустую камеру. Дверь захлопнули. Так я познакомился с Аркадием Викторовичем Белинковым». Товарищ по камере был поражен познаниями Аркадия в самых разнообразных областях: мог по чертам лица определить профессию человека; придумал, как выращивать овощи в подвалах; рассказывал о Шкловском и Тынянове. Познания требовали выхода, и Аркадий занялся просвещением соседа, выбрав почему-то для этого «Историю философии и религии в Германии» Г. Гейне.

Но вот к политическим подсадили уголовника, который стал красть передачи. Аркадий долго и упорно пытался отучивать вора от нечестного образа жизни и так, очевидно, тому надоел, что последний в конце концов не выдержал — попросился из камеры: «Гражданин начальник, врут они подлюки, не могу с ними быть, уберите меня, они власть нашу советскую ругают»<sup>1</sup>.

«Я много рассказывал... о днях, когда мне посчастливилось встретиться весной 1945 года в камере Бутырской тюрьмы с Аркадием Викторовичем. В камере (сейчас уже не помню, в 17-й, в 19-й ли? Но — в «церкви»<sup>2</sup>, в этапной) было человек под 150. На ночь в проходах сплошных нар застилали доски, и настил становился совсем сплошным — на всю камеру, а под нарами спали.

Аркадий Викторович, если считать от двери, был справа, неподалеку от окна. Не помню точно, как познакомились, но о нем — о деле его слышал уже в Лубянке. Тем более что сидел я со студентом Литературного института Борисом Пузисом — он и рассказал и о комсомольском собрании, и об аресте, и заглавие «Черновик чувств» услышал тоже от него... Внешности тогдашней Аркадия Викторовича я не помню... а помню — ран-

---

<sup>1</sup> Консон Л. Лагерные новеллы // Русская мысль. 1981. 9 июля (№ 3368). С. 8.

<sup>2</sup> «Церковь» — название этапной камеры, принятое заключенными в Бутырской тюрьме.

нюю сутулость, высокий тихий голос и то, что просил он звать по имени и отчеству, и сам всех, даже меня двадцатилетнего, звал так.

Кажется, познакомился я все-таки по камерным лекциям. Это было совершенно удивительно:

— Аркадий Викторович, расскажите что-нибудь о Шостаковиче...

— Я не могу рассказать “что-то”. Я прочту вам курс лекций на восемь часов...

И читал.

И мое:

— Пожалуйста, о русской литературе первых десятилетий XX века...

И курс на двадцать часов (“Только, пожалуйста, следите за временем сами” — это в камере-то без часов!) — и каждую минуту хочется бежать за словарем, потому что быстрый язык труден, а останавливать неловко как-то.

Аркадию Викторовичу я обязан был “нешкольным” Маяковским — “Облако” на память, “Флейта”, да что “Облако”, он тогда целые страницы Шкловского читал. Рассказывал (скуп) о следствии. Что кроме “Черновика” отобраны и сожжены стихи (Он говорил — верлибры). Читал я А.В. и свои тюремные стихи, кое-что ему тогда понравилось. Так было несколько дней — меня перевели в другую камеру. Но несколько дней (я пролеживал рядом с ним на нарах по многу часов) — это мне запомнилось на всю жизнь»<sup>1</sup>.

«Однажды дежурный спросил у Аркадия: “Как твое имя-отчество?” Он ответил — “Аркадий Российской Советской Федеративной Республики”. Дежурный переспросил, побежал за главным, все повторилось сначала. Они спорили, пришел еще какой-то чин. Странно, но все обошлось для Аркадия благополучно»<sup>2</sup>.

«На знаменитом переходе между внутренней тюрьмой и следственным корпусом, где мы расписывались в прорези железного листа: “Фамилия?” (Это к А.Б.). Тем же шепотом — он: “Достоевский”. — “Имя, отчество?” — “Федор Михайлович...” Немедленно отвели обратно в камеру, следовательно грозил психозэкспертизой»<sup>3</sup>.

На очной ставке с однодельцем прокурор процитировал Маркса: «Бытие определяет сознание». На лице Аркадия промелькнула прежняя ироническая улыбка: “Ну, наше сознание сейчас определяет, скорее, битие”»<sup>4</sup>.

Одновременно с «Делом» Белинкова проходило «Дело» Сулимова, сценарий которого был построен по всем законам первоклассного детектива.

---

<sup>1</sup> Хромченко Я. Личное письмо Н. Белинковой. С. 8—9.

<sup>2</sup> Консон Л. Краткие новеллы.

<sup>3</sup> Из упомянутого письма Я. Хромченко.

<sup>4</sup> Горчаков Г. Л-1-105. Иерусалим, 1995. С. 50.

Действующие лица. — 14 человек (Сулимов — сын репрессированного адмирала, его жена Лена Бубнова — дочь расстрелянного Наркома просвещения, их друзья).

Время действия. — Отечественная война.

Место действия. — Квартира на Арбате. (Арбат — правительственная трасса, по которой Сталин ездил на «ближнюю дачу».)

Обвинение. — Покушение на жизнь вождя.

Вещественное доказательство. — Ствол немецкого пулемета.

(В сценарий, по-видимому, пробовали ввести еще одно действующее лицо — Белинкова, поскольку Аркадий давал читать Сулимову свой антисоветский «Черновик чувств», а с его женой учился в одной средней школе до поступления в Литературный институт. В протоколах следственного дела Белинкова Сулимов упоминается.)

Но обошлись без пятнадцатого участника. Ограничились четырнадцатью. Сюжет закрутили еще круче: соединили в одном деле три разных адреса, прибавили *кривой* ствол немецкого пулемета и получили «антисоветскую молодежную террористическую группу».

В результате все четырнадцать были арестованы. Двенадцать из них принудили к признанию. «Террористическому ядру» из пяти-шести человек грозил расстрел.

Следствие не смущало, что Сулимовы жили довольно далеко от арбатской правительственной трассы. (Один адрес.) Комната была большая, и у них часто собиралась молодежь. Стены хорошо прослушивались. Здесь их приятель рассказал однажды, что его младший брат после бомбежки притащил домой кривой ствол немецкого пулемета. (Второй адрес.) Невеста другого приятеля жила на Арбате. (Третий адрес.) Окна ее квартиры выходили во двор, а двор — в переулок.

Адрес не тот? Ствол пулемета искореженный? Окна выходили во двор? Но ведь если взять загнутый пулеметный ствол, высунуть его из окна и повернуть в сторону проезжей части улицы, то метафору «выстрел из-за угла» можно превратить в террористический акт. Говорили же: «был бы человек, а статья найдется!»

Несмотря на то что дело было пересмотрено, соответствующие статьи подыскали. Ребятам дали кому десять лет лагерей, кому пять. Двое умерли в лагере, один сошел с ума. Не признал себя виновным, что не избавило его от заключения, будущий ученик Леонтовича Миша Левин, ставший впоследствии выдающимся физиком.

Миша познакомился с Аркадием в конце 50-х. Он сумел сохранить значительную часть архива Белинкова<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Сведения о Деле Сулимова почерпнуты из рассказов А. Белинкова и из устных воспоминаний пострадавших.

Прежде чем добраться до исправительно-трудового лагеря, Аркадий долго кочевал из одной тюрьмы в другую: на Малую Лубянку, на Большую Лубянку, в Бутырки, в Лефортово, во Владимирский политизолятор. К упомянутым воспоминаниям о встречах с Белинковым в следственных и пересыльных тюрьмах можно прибавить еще одно в пересказе с украинского. В общей камере пересыльной тюрьмы завязывается ссора. Один из политических требует, чтобы «воры в законе» вернули одежду раздетому догола старику (это ученый, отбывающий срок за «проповедь вейсманизма-морганизма»). Аркадий ввязывается в конфликт. В перебранке выясняется, что ученый настолько известен, что его знает даже Трумэн! Одежду старику вернули. Только политические имели в виду американского президента, а уголовники — своего вожака по прозвищу Трумэн<sup>1</sup>. Во Владимирской тюрьме Аркадия поначалу пустили в общую камеру, в которой, не получая никаких сведений с воли, заключенные сидели с 37-го года. В 45-м году они еще спорили о том, произойдет или не произойдет Вторая мировая война. Это был любимый пример Белинкова, приводимый в доказательство человеческой недальновидности. (Он рассказывал об этом в 68-м году в Америке. Тогда западная интеллигенция еще надеялась на то, что реставрации сталинизма не произойдет.)

Аркадий ознакомился также с преимуществами смертной одиночки. По его словам, «это было самое спокойное время в тюрьме — перестали вызывать на допросы». Спокойное время продолжалось семьдесят два дня.

Была реальная угроза расстрела или его инсценировка? Может быть, Аркадий спасся тем, что свидетели по делу Сулимова уже были не нужны: ребята расстрела избежали, их осудили за намерения, а не за подготовку покушения на жизнь вождя. Может быть, инсценировка понадобилась для запугивания. Недавно я прочитала о том, как это делается: «Однажды, сказав, что сейчас она [Ольга Ивинская] увидит своего Пастернака, надзиратель заставил маму пройти через множество подземных коридоров и подвалов тюрьмы, и когда нервы у нее были уже на пределе, ввел во внутренний морг Лубянки, где на нарах лежали закрытые холстиной трупы, и, ничего не сказав, запер там. Мать поднять холстину не решилась... Она села на [цементный] пол... Очнулась в тюремной больнице, где узнала, что у нее на нервной почве был выкидыш»<sup>2</sup>.

О камере смертников по Москве 60-х годов прошел слух. Одни не верили, другие жаждали деталей. Однажды в Доме творчества «Переделкино» в нашу комнату постучался и, не дождавшись «войдите!», стремительно влетел незнакомый журналист: «Аркадий Викторович! Извините. Я на ми-

<sup>1</sup> Шифрін А. Четвертий вимір. Мюнхен, 1973. С. 151.

<sup>2</sup> Емельянова И. Легенды Потаповского переулка. М., 1997. С. 33—34.



нутку. Машина ждет, в редакцию еду. Расскажите, ну, хотя бы в двух словах... А то машина ждет... Что вы чувствовали, когда сидели в смертной одиночке?»

К осени 1945 года Белинков под номером 1Б-860 прибыл в поселок Долинку недалеко от Караганды. В центре поселка двухэтажное здание — Управление Карлага. Недалеко — больничный комплекс, а рядом — выращенный заключенными парк. Так описывает Долинку врач, отбывавшая там срок. Не правда ли, смахивает на подмосковный дом отдыха? Должно быть, начальник этого лагеря не учел высказывания Сталина: «тюрьма не должна быть похожа на санаторий». Впрочем, был еще один забывчивый, в Соликамске. Тоже развел цветник, а потом по приказу вышестоящего начальства разрушил, превратив в обезображенный, грязный пустырь<sup>1</sup>.

В медицинской справке, пришитой к делу Белинкова, было указано, что в исправительно-трудовых лагерях он может быть использован только на легких работах.

«Это был молодой человек лет двадцати двух, с большой черной бородкой, очень слабого здоровья, с комбинированным митральным пороком сердца, — рассказывает врач больницы сорок пять лет спустя. — В стационаре мы его подлечили и, как только ему стало немного лучше, использовали на работе медбратом, поскольку его все равно нельзя было посылать на общие работы».

О начале медицинской практики Аркадия я уже слышала от него самого.

Требовался фельдшер. Но накануне приезда комиссии, квалифицирующей будущих медицинских работников, кандидата, намеченного на должность фельдшера, в наличии не оказалось. Начальник оперчекистского отдела швырнул Аркадию медицинские справочники: «Ты — студент, ну и учи!» Студент прокорпел над справочниками всю ночь и экзамен сдал. Он даже сумел продемонстрировать переливание крови, чем особенно гордился. И по возвращении он любил оказывать друзьям медицинскую помощь. При этом нередко ставил более точный диагноз, чем практикующие дипломированные врачи.

«Помимо всего, — продолжает врач Вера Григорьевна Недовесова, — Аркадий был очень беспокойный человек, постоянно спорил с вохровцами, а самое главное — по вечерам он что-то подолгу писал...

В формуляре у Аркадия значилась характеристика: «Склонен к побегу», в силу чего и был он однажды отправлен в отделение Карлага, расположенное подальше от железной дороги, за восемьдесят километров от

---

<sup>1</sup> *Разгон Л.* Плен в своем отечестве. М., 1994. С. 379.

Долинки, и провел там около года... Военизированная охрана относилась к Аркадию с подозрением: во-первых, он носил бороду (где это видано, чтобы заключенный и с бородой), во-вторых, носит странный полувоенный френч, на ногах — какие-то немыслимые краги, и, наконец, ему присылают с воли много книг. Так что, безусловно, — тип подозрительный... Как-то начальник оперчекистского отдела сказал мне, что он почти всю ночь беседовал с Белинковым, до такой степени тот заинтересовал его: «Судя по всему, этот парень образованный, умный, но с большой путаницей в голове»<sup>1</sup>.

Относительно путаницы. Действительно, Аркадий мог сказать: «Сегодня я перебежал дорогу кошке»; «Если не верить жертве, то остается верить палачу»; «Если человек может идти на все четыре стороны, значит, идти ему некуда». Это обескураживало не только неграмотных тюремщиков, но и собеседников с образованием. Если от него слышали: «Положить бы всех коммунистов на рельсы и долго по ним ездить» — верили, что, дай волю, так и сделает, поскольку, считали они, ненависть — его главная черта. У других, наоборот, устные скетчи Аркадия вызывали недоверие, особенно у тех, у кого отсутствовало чувство юмора: «Рассказы его были увлекательны, но совершенно фантастичны. Так, он развивал долгую историю, что его происхождение идет от какого-то индусского принца — смоляные его волосы и большие черные глаза на смуглом лице этому вполне соответствовали. У него выходило также, что, помимо нашего обычного общего дела, внутри его было какое-то тайное дело, по которому его приговаривали даже к расстрелу»<sup>2</sup>.

Аркадий говорил, как и писал, осуществляя право художника на гиперболу, гротеск, конфликтные ситуации, переосмысление устоявшихся штампов, игру слов.

«Необарокко» в устной речи: факт и художественный вымысел — в одном ряду.

«Аркадий Викторович любил приукрасить, но это не была ложь. Просто сама жизнь была настолько скудной, что скудность эту ему приходилось исправлять своей рукой». И бывший сокамерник приводит пример «мифотворчества» Белинкова.

«Ф а д е е в: Простите, я не пойму, как вы везде поспеваете, ведь с транспортом ужасно. Я позвонил в Союз писателей, просил выслать машину. Машины не было. Пошел на трамвайную остановку. Ждал 40 минут. Пришел трамвай, переполненный до отказа. Я с трудом втиснулся. Все пуговицы оборвали. Я не мог слезть на нужной остановке. Проехал две

<sup>1</sup> Недовесова В.Г. Записки врача // Герт Ю. Раскрепощение. Алма-Ата, 1990. С. 66—69; см. также: Герт Ю. Семейный архив. Owings Mills, 2002. С. 77—80.

<sup>2</sup> Горчаков Г. Л-1-105. Иерусалим, 1995. С. 100.

лишних, пока удалось выбраться из вагона. Возвращался пешком. Это ужасно.

А р к а д и й: У меня, Александр Александрович, получилось почти так же. Позвонил в Союз писателей. Машины нет. Пошел на остановку, — смотрю, трамвай уже стоит. Народ узнал во мне писателя, потеснился. Женщина у окна место уступила. Пуговицу пришила. А когда подъехали к остановке, то все расступились, и вышел я спокойно<sup>1</sup>.

К «неправдоподобным» рассказам вынуждали гротескные ситуации в самой жизни.

Подкравшись сзади, вертухайогревает франтоватого лагерника (это сам Аркадий) дрыном: «Ты, падло! Одет не по форме!» Потом проверяет. Номера тщательно выведены белым. Все пуговицы и завязки на месте, хлястик ушит. Оказывается, дело совсем не в щегольстве. Если телогрейку подогнать хорошенько, не так мерзнешь.

Разгар теологического диспута. Соседи по нарам: «Евреи-то нашего Христа распяли!» Аркадий: «Но Иисус-то — сам еврей!» Его, конечно, избили. В глазах оппонентов Иисус — сын Божий, не человеческий.

Малограмотного деревенского парня забрили в солдаты и направили служить вертухаем в лагере. Посылают на вышку. Дают в руки винтовку. А он отказывается: «Это не по-божьи, держать человека под прицелом!» И кто-то другой, менее совестливый, наставляет винтовку на новичка. Охранник превращается в политического.

К концу срока Аркадий, уже расконвоированный, идет пешком по вольной степи в соседний лагерный пункт. Уставши, садится на придорожный камень. Достает припасенный кусок сахара. «Дядя, что ты ешь?» Оглядывается. Видит — мальчик, казах. «Сахар», — отвечает и дает ему попробовать белый твердый осколочек. Ребенок кладет его в рот и с отвращением выплевывает. Он никогда до того не пробовал сахара!

Одну историю из тех, в которых он «много врет про лагерь», Аркадий записал, дал прочитать другу и никогда больше не увидел. Это был автобиографический рассказ о том, что с ним однажды случилось в инвалидном лагере в Спасске, куда он попал, получив второй срок. Дело было зимой. К вечеру потерявшего сознание лагерника под номером 1Б-860 посчитали умершим. Тело при выносе из помещения полагалось проткнуть специальной пикой. (Чтобы мертвый не сбежал?) Обряд не соблюли, дабы не списывать больного «преждевременно» — иначе пропала бы пайка. Больной очнулся ночью в незнакомом месте. Лютый холод. Крошечная тьма. На него давят какие-то жесткие доски. Только окончательно придя в себя, он понял, что доски — замерзшие трупы. Он в морге! Кое-как удалось выползти из-под досок, справиться с дверным засовом,

<sup>1</sup> Консон Л. Лагерные новеллы // Русская мысль. 1981. 9 июля (№ 3368). С. 9.

открыть дверь и полуголым под пулеметную очередь с вышки бежать в свой барак.

О своей режиссерской работе, озорной и гротескной, Аркадий, к моему удивлению, вспоминал с неудовольствием. Говорил только, что занятие это было связано с постоянным риском заработать новый срок за «антисоветскую агитацию». Репертуар надо было выбирать очень осторожно.

Если артисты играли не в зоне, они находились под постоянной вооруженной охраной. Представьте такую картину: «Горе от ума». Белинков играет Чацкого. Завершающая сцена. «Вон из Москвы, сюда я больше не ездук!» Он стремительно пересекает сцену и, еще не остыв, с размаху чуть не напарывается на штык за кулисами. Как на этапе: «Шаг влево, шаг вправо — считается побег».

Наша приятельница, режиссер по профессии, познакомившаяся с Аркадием уже на воле, часто обсуждала с ним свои постановки. Она рассказывает: «Создавать вокруг себя театр жизни, втягивать всех окружающих в атмосферу напряженной парадоксальной мысли и продуманной стилистики во всем, начиная с беседы и кончая интерьером и столом, было его сутью, его естеством. Но, кроме того, не чужд он был и сценического театра. В лагере случилось даже режиссерствовать — ставил Гоголя. Однажды [он] позвонил мне на работу после того, как я вернулась из Кишинева, поставив там “Женитьбу”, и, почти не поздоровавшись, спросил:

— На каком этаже Ваша Агафья Тихоновна принимала женихов?

— В бельэтаже, — осторожно ответила я.

— Ну и вздор, — сказал Аркадий, — Нужно на втором: тогда прыжок Подколесина — самоубийство. — И положил трубку»<sup>1</sup>.

Он все же гордился тем, что его самостоятельный лагерный коллектив был причислен к театрам «второго пояса» и постановки были разрешены не только за колючей проволокой, но и на вольной территории.

Лично мне довелось видеть режиссерские аппликации Белинкова к пьесе Галича «Вас вызывает Таймыр». Он работал над паузами, интонацией... Текст для постановки спектакля испещрен подчеркиваниями не хуже текста, по которому проходились редакторы в советских издательствах. В 56-м мы вместе ходили к драматургу, члену СП СССР, поэту, еще не известному своими песнями, дарить эти разработки. И хотя Аркадий знал Галича до своего ареста, наш визит не возобновил их знакомства. В московской писательской среде существовала своя иерархия.

Последний раз я виделась с бардом в 1974 году в доме профессора Ю. Ольховского в Вашингтоне. Александр Аркадьевич пел в кругу новых, доброжелательных друзей. Все довольно удачно делали вид, что понимают, о чем поет бард. «Ничего, что родились поздно вы...» В этом месте я

---

<sup>1</sup> Вертман Ю. Записи и примечания. М., 1992. С. 36.

всегда тихо плачу. Когда переходили из гостиной в столовую, Галич мне шепнул: «Я обязательно напишу. Об Аркадии. Долги надо платить». Через три года поэта не стало. Обещанные стихи написаны не были.

Неспетые песни... Незаконченные книги... Непоставленные спектакли... Они еще долго будут тревожить наше воображение. Надеюсь.

Последний год первого срока застал Аркадия в Сарептском лечебно-санитарном отделении на участке Бородиновка, где он опять работал лекпомом.

Жил в кабинке. «Кабинка» — это на лагерном жаргоне барак маленького размера. Не то он делил с кем-то помещение, не то ему была предоставлена комната при медпункте. Писал ночами. Работал над тремя вещами, переданными мне в архивах КГБ. Здоровье его катастрофически ухудшалось.

Однажды, вернувшись в барак после проверки качества баланды (одна из обязанностей леккома), он почувствовал себя совсем плохо. Он умрет, и никто не узнает о рукописях, которые закопал под печкой. Пропадут. Кому-то придется сказать. Вот Кермайер, латыш. В прошлом — коммунист, но интеллигентный все же человек... Кермайер внимательно выслушал. Вышел. Вскоре вернулся: «Аркадий Викторович, Ваша фамилия как пишется: Беленков или Белинков?» — «А-а, он уже пишет донос», — подумал Аркадий.

Через несколько дней за ним пришли. Выкопали рукописи. Как раз те самые, которые я получила в коричневых пакетах. Они были изъяты до того, как он закончил хотя бы одну из них. Лагерное начальство радовалось: проявили бдительность, завели новое дело. Зная, что его может ожидать, Аркадий попытался покончить с собой.

Новое разбирательство и новый приговор отличались от первого. Вместо Особого совещания — суд. Вместо следствия — показания на суде. Подсудимый не вывертывался: имярек роман «не читал», второй «только просматривал», другие «читали не полностью». «Других» не было: своих рукописей он никому не показывал. Это облегчало дело и палачам, и жертве. К суду он был подготовлен своим первым сроком и трагическим опытом своих товарищей, уже не вел пространных разговоров с судебными представителями и не объяснял им разницу между «необарокко» и «социалистическим реализмом». Теперь он выражается на понятном им языке: «У власти стоят убийцы. Это коммунисты. И их надо уничтожить».

Отягощали судьбу заключенного и обрекали его на суровый приговор повторность дела, адекватность мировоззрения автора и его главных героев, гротесковая манера письма. Возмутительно! Вместо: «Меня всеми средствами пытались оградить от написания антисоветских произведений, направив в исправительно-трудовой лагерь на восемь лет» — он пишет: «Меня хотели зарубить топором». Клевета! Путаница в голове.

И все пошло своим чередом: слово, допрос, «Дело № 57/52».

**Рукопись:** Но самое страшное не в том, что убийцы захватили власть в государстве, а то, что народу они свои, родные и любимые.

**Вопрос:** Приведите отдельные антисоветские высказывания...

**Белинко в:** ...У власти стоят убийцы, горячо любимые народом...

**Рукопись:** Коммунисты принесли в мир идеи ненависти и уничтожения. Это они ввергли мир в пламя войны. Уничтожайте коммунистов и их идеи.

**Вопрос:** Вы высказывали террористические намерения?

**Белинко в:** Я утверждал, что все катастрофы, разразившиеся в мире... являются плодом коммунистических идей, и утверждал необходимость уничтожения этих идей коммунистов...

И даже сейчас, в кошмаре второго, уже очевидно безнадежного дела, Белинко не отказывает себе в удовольствии покуражиться.

**Вопрос:** В рукописи «Роль труда» на странице 28 имеется рисунок чернилами. Кто его рисовал и что на нем изображено?

**Белинко в:** Рисунок чернилами на странице 28 рукописи «Роль труда» нарисован лично мною. На нем изображен план сцены, действующие лица Аркадий и Марианна, а также корова, не являющаяся действующим лицом....

В результате «мер физического воздействия» и разработанных приемов давления на психику ни в чем не повинные люди «сознавались» в том, чего они не думали, и в том, чего они не делали. И мы содрогаемся. И мы понимаем, признания делались, чтобы избежать эксцессов следствия или чтобы спасти своих близких. Кто-то, может быть, верил: так нужно партии. Аркадий признавался во взглядах, которые у него были, которые сложились до того, как он попал в мясорубку: «Да, я был антисоветски убежденным и остаюсь таким же и сейчас». Отсюда его знаменитая фраза, которую многие запомнили: «Я сидел за дело».

28 августа 1951 года Военный трибунал войск МВД Казахской ССР в закрытом судебном заседании рассмотрел дело Белинкова «по обвинению в изготовлении и содержании рукописей антисоветско-террористического содержания». Судебное заседание продолжалось два с половиной часа. Суд удалился на совещание, и через полчаса Аркадий получил второй срок.

### **Выписка из Приговора 1951 года 28 августа гор. Караганда**

#### **ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ КАЗАХСКОЙ ССР**

*Установил: Белинко Аркадий Викторович 1921 года рождения, еврей, беспартийный, образование высшее, отбывая срок наказания в Карлаге СССР и будучи враждебно настроенным по отношению к Советской вла-*

сти, занимался изготовлением и хранением рукописей антисоветско-террористического содержания, в которых возводил клевету на советскую действительность, на теорию марксизма-ленинизма, историю ВКП(б) и методы изучения ее в Советском Союзе, а также призывал к необходимости уничтожения идей марксизма-ленинизма и физическому уничтожению коммунистов.

**Приговорил:** По совокупности совершенных им преступлений Белинкова подвергнуть заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 (двадцать пять) лет с последующим поражением в правах и конфискацией денежных средств.

Итак, приговор военного трибунала за преступление невоенного характера, якобы совершенное в мирное время; 25 лет за агитацию, погребенную в земле.

Аркадий попытался обжаловать решение суда и обратился к Генеральному прокурору СССР с просьбой о пересмотре дела. Разбирая нарушения уголовно-процессуальных норм при судебном разбирательстве, он обратил особое внимание на то, что за одно и то же преступление, один раз названное «антисоветской агитацией», а другой раз названное «подготовкой террористического акта», он был осужден дважды.

Конечно, помощник военного прокурора по Карагандинской области, рассмотрев обращение, «не усмотрел оснований к пересмотру дела на предмет отмены или изменения приговора».

Тем не менее в июле того же года Карагандинская областная комиссия по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, постановила: «За недоказанностью состава преступления меру наказания сократить до 10 лет лишения свободы».

А мы-то считали, что это лагерный анекдот:

Первый: За что сидишь?

Второй: Ни за что.

Первый: Сколько дали?

Второй: Двадцать пять.

Первый: Врешь! Ни за что десятку дают...

Аркадий Белинков начал отбывать свой второй срок, не закончив еще первого.

Его перевели в лагерь строгого режима. Теперь он находился в Спаске, в Песчаном лагере МВД. Из многочисленных воспоминаний бывших узников мы уже знаем, что названия островов ГУЛАГа звучали как идиллия: Долинка, Озерлаг, Песчлаг и тому подобное.

Территория Песчлага, по рассказам, была разделена каменной стеной на две неравные части. Большая — собственно зона и меньшая — клад-

бище. Стену руками заключенных постепенно передвигали — жилая зона сокращалась за счет кладбищенской. В результате большую часть территории заняло кладбище.

5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. «Усатый хвост откинул».

В лагерях отменили специальный режим.

Но Аркадию оставалось отбывать еще восемь лет. Рассчитывая на освобождение по болезни и имея доступ к лекарствам, он сам поспособствовал резкому ухудшению своего здоровья в надежде на активировку. После перевода в Песчлаг он фактически уже не выходил из лазарета. Однако ухитрился писать даже на больничной койке во втором терапевтическом отделении 9-го Спасского отделения. От этих лет сохранились три тетради, в каждой — полемические работы в форме писем. Одна — о стиховедении (без авторского названия) — изложена простым, понятным языком. Похоже, это очередная лекция для товарища по заключению, пытающегося дать самостоятельное, но наивное определение поэзии. Вторая — «Ирония судьбы» — рецензия, должно быть, на киносценарий товарища по заключению — о недопустимости штампов и неряшливости речи. Третья — «Иллюзии и разочарования Екклесиаста» — рецензия на чью-то историческую трагедию. В ней, предваряя свои занятия проблемами исторического романа, Аркадий предлагает: «современность выводить из истории, а не вливать в историю анахронизм». Все три работы — фрагмент своеобразной «переписки из двух углов». Неизвестны произведения, вызвавшие отклик Белинкова. Неизвестны их авторы. Перед нами письма только из одного угла.

Свои тетради Аркадий из лагеря вывез. Ирина Уварова<sup>1</sup> думает, что эти разномастные эксерсизы предназначались для того, чтобы оттачивать когти для будущей прозы.

Он их привез в деревянном чемодане вместе с другими реликвиями: телогрейка с номером 1Б-860 (ныне находится в Музее Сахарова); рыжая лагерная вошь, засушенная и уложенная в аккуратный пакетик (не то пропала, не то ожила и ускакала неизвестно куда); инкрустированная табакерка, будто бы имеющая отношение к Достоевскому (берегу); режиссерские аппликации к пьесе Галича (пропали).

Кроме того, в Спасске Белинковым были написаны: «Доклад о жизни и творчестве Пушкина», роман «Алепаульская элегия», статья «Ваш корреспондент». Может быть, они еще отыщутся, как, может быть, найдется написанный на воле рассказ о том, как автора положили в морг вместе с трупами.

---

<sup>1</sup> Уварова И. Лагерная тетрадь Аркадия Белинкова // НЛО. 1996. № 18. С. 71.



Обеспокоенный участью сына, Виктор Лазаревич пишет бесчисленное количество писем и обращений в подобающие инстанции. В заявлении начальнику Санотдела ГУЛАГа МВД СССР он подчеркивает, что за три года пребывания в Спасске Аркадий был госпитализирован 8 раз, 2 года находился в инвалидном лагере, однажды пролежал в стационаре 13 с половиной месяцев.

Безответными заявления не оставались: «Ваша жалоба оставлена без удовлетворения»; «Оснований для пересмотра дела не имеется»; «Будет освобожден по отбытии срока наказания»; «Досрочному освобождению по болезни не подлежит»; «Признано, что осужден правильно». Документы составляют толстую папку — красноречивое свидетельство страданий одной семьи, а таких ведь было, по чьему-то подсчету, 60 миллионов.

В июне 54-го года медицинская комиссия Санотдела ГУЛАГа наконец подписывает акт об инвалидности. У больного комбинированный порок сердца, туберкулез легких, хронический тонзиллит, гепатит (набор вполне достаточный для досрочного освобождения, но перечисление не полное).

В марте 55-го года комиссия аннулирует акт инвалидности на том основании, что в состоянии больного «обнаружилось улучшение».

Опять письма, жалобы, заявления, просьбы о возможности взять сына под опеку, поиски опекунов.

25 февраля 1956 года. Исторический XX съезд КПСС, создавший формулу эпохи — «культ личности».

24 марта. Указ Президиума Верховного Совета СССР о пересмотре дел отбывающих наказание за политические, должностные и хозяйственные преступления.

7 апреля. Приказ Генерального прокурора СССР об образовании комиссий Президиума Верховного Совета СССР для проверки обоснованности лишения свободы.

16 июня. Группу лагерников из Спасска везут в Майкудук на заседание Комиссии Президиума Верховного Совета по пересмотру дел заключенных. Зэки, направляемые на комиссию, отказываются ехать вместе с Белинковым из-за его сроков: больше всех позади и больше всех впереди — дурной знак. Освобождение, по словам Аркадия, происходило так: очередному зэку, входящему в помещение, где совершался пересмотр дел, указывали на стул, стоявший перед столом, за которым восседали члены комиссии. Ошеломленному человеку задавали вежливые вопросы, потом зачитывали решение. В большинстве случаев — освобождали. Когда Аркадий осознал, что его тоже освободили, он встал, закружился на месте и, схватив стул, на котором только что сидел, побежал к выходной двери. Его со смехом остановили: «Вы что? Хотите еще один срок получить? За хищение казенной собственности?» Шутники.

Недельная бюрократическая волокита. Аркадий получает справку об освобождении со снятием судимости и поражения в правах (однако без

столь желанного в те времена слова «реабилитация»). Реабилитации по обоим делам случатся позже, как, впрочем, и по третьему делу, о котором речь впереди.

22 июня Белинков покидает КАРЛАГ и следует к месту жительства. По дороге он на неделю останавливается в Караганде у освобожденной к тому времени Веры Григорьевны Недовесовой. Она вспоминает: «Часов около десяти вечера зазвенел звонок в дверях. Открываю — стоят четверо, женщина и трое мужчин. Посмотрела внимательно — и в одном, бородачом, узнала Аркадия. Он объяснил, что все они освобождены...» Вера Григорьевна помогает в оформлении последних бумаг.

29 июня 1956 года Аркадий Белинков посылает телеграмму:

*Караганды 5403 11 29 12157*

*Москва Стромынский 7— 23, кв 9 Белинкову*

*Вылетаю 30 утром целую Аркадий*

«У нас любить умеют только мертвых» — зловещие, вещие слова. Через девятнадцать лет после кончины Белинкова его «Дело № 57/52» «в порядке надзора» было пересмотрено.

### **Выписка из постановления №11/4кр-648/89 Президиума Верховного суда Казахской ССР**

3 ноября 1989 г. Алма-Ата.

Объектом террористического акта могут быть конкретные представители Советской власти или деятели политических организаций. Ни на кого конкретно Белинков не покушался... по содержанию [его] рукописи не могут быть расценены как антисоветская агитация... они содержали личное мнение Белинкова... [в них] содержится критика имевших место в период культа личности извращений демократических принципов социализма, необоснованных репрессий, идеологических извращений, обязательного изучения всеми «Гениального труда Сталина» «История ВКП(б). Краткий курс»...

Приговор Военного трибунала войск МГБ Казахской ССР от 28 августа 1951 г. отменить, дело прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.

Чудом сохранившиеся рукописи Белинкова, написанные в чрезвычайных обстоятельствах лагерного подполья, публикуются ниже. Они трудночитаемы. Неразборчивые или «вычисленные» слова заключены в квадратные скобки и помечены инициалами Н.Б. Авторские скобки в тексте оставлены без изменения.

## ЧЕЛОВЕЧЬЕ МЯСО (фрагменты романа)

### *Глава I*

Они искали меня, чтобы зарубить топором.

На чердаке они поймали кошку и съели ее. Сырую, без соли.

Сыпалась на письменный стол в кабинете штукатурка.

Когда, выпоров брюхо, из кошки тащили кишку, она кричала длинно и тонко.

Из погреба они орали: «Это все барахло: переводы из французских декадентов».

Им отвечали с чердака: «Ищи, ищи, там самое место и есть. Некуда им больше деваться. Как найдете, идите к нам кошку хавать».

Звенел топор, и с визгом рассыпались стекла.

На чердаке они тоже ничего не нашли, кроме болтовни о греческой [трагедии].

Они подожгли дом и ушли, махая руками.

Один, длинный, отстал. Нагнув голову и расставив ноги, он долго глядел в дым. На нем были потрепанные красные галифе.

Тапочки были обуты на босые ноги. Он шел по зеленому весеннему полю, прижимая подошвы к теплой влажной земле. В красных штанах. Вспыхивал на солнце топор. За ним топало стадо облаков сивого дыма.

Я сидел в яме.

Когда в красных штанах ушел, я увидел розовый фарфоровый кофейник, который держал в руках, и — не понял.

Они хотели меня зарубить за то, что я написал книгу, полную злобной клеветы.

По бокам кофейника прыгали зебры и зубры.

В книге было написано про любовь, живопись итальянского Возрождения и советскую власть.

О любви и живописи итальянского Возрождения я говорил только хорошее. По зеленому полю топтался сизый дым.

Из ямы были видны уплывающие к голубому горизонту красные штаны и кусок повисшего горящего стропила.

Что касается советской власти, то я клеветнически утверждал, что эта власть — дрянь.

Я вылез из ямы.

На заборе сидела ворона, острая, как кайло, и кричала, глядя в огонь.

На обугленной балке висел, зацепившись задним колесом за крюк, велосипед. Переднее колесо с прогоревшей покрывшей пошатывалось туда и обратно.

В спальне лежали вдоль сгоревшей стены медные кольца штор. И на мраморной крышке стола, осевшей на угол сгоревшего пола, дымились две чашки.

Марианны не было.

Все, что я написал про советскую власть, было правдой.

Я не стану утверждать того же самого о своих писаниях про любовь и живопись итальянского Возрождения.

Красные штаны скрылись за горизонтом. За ними встал клуб сивого смрадного дыма.

Марианна была в лесу. Она лежала, уткнувшись лицом в землю, и я набрел на нее, услышав рыдания.

— Марианна, — сказал я, опустившись на колени, — не плачьте, Марианна, они ушли. Все будет хорошо.

— Ах, Аркадий, — глухо простонала она, не поднимая головы, — больше никогда ничего хорошего не будет. Как правильно все, что вы написали про советскую власть!.. Зачем жить, Аркадий? Сгорела библиотека, рукописи, дача. Зачем вы написали эту книгу, Аркадий? Спотыкаясь, мы брели по лесу. Я увидел у себя в руках розовый кофейник и — не понял.

— Поставьте на место, — строго сказала Марианна.

Я поставил кофейник у края тропинки. Мы побрели дальше.

За лесом ревели паровозы.

Было ясно, что они поймают нас и зарубят.

На XIII пленуме Союза советских писателей было вынесено постановление о том, чтобы поймать и зарубить нас.

Я уже давно не любил советскую власть. Еще со времени Стеньки Разина.

В своем замечательном выступлении на XIII пленуме Союза советских писателей тов. А. Фадеев сказал:

— Мы должны выкорчевать с корнем все буржуазные пережитки в сознании людей.

В нашем сознании были буржуазные пережитки. Они пришли с топором, чтобы выкорчевать нас.

Стемнело. Со своими врагами они вели беспощадную борьбу.

Нужно было немедленно принять какое-нибудь решение.

По деревянной платформе станции бегал дождик.

На мне были пижамные штаны в золотую полоску по лазоревому полю.

Нос у Марианны был красный.

— Аркадий, — сказала Марианна, — я не могу с красным носом.

Я смотрел на свои штаны в золотую полоску по лазоревому полю. На них была кровь.

Когда мы поднялись на платформу, зарычала собака, и девочка, взвизгнув, уткнулась в подол няньки.

— Шляются, ироды, — прошипела нянька, — чего только милиция смотрит.

От мокрой стены железнодорожной станции отделился милиционер.

— Аркадий, — спросила Марианна, — мне очень нехорошо с красным носом? Да?

— Очень хорошо, Марианна, — уверенно сказал я. — Но самое странное не в том, что убийцы захватили власть в государстве, а то, что народу они свои, родные, любимые.

— Не надо думать об этом, — сказала Марианна, — думайте о любви и живописи итальянского Возрождения.

Милиционер сделал шаг от стены и встал перед нами.

— Ваши документы, — сказал он. — Чего? Пройдемте со мной.

### *Глава VIII*

— Товарищ директор, — сказал милиционер, проталкивая меня вперед, — споймал. Пьяный. Валяется. В канаве.

— Я не пьяный, — угрюмо сказал я. — И если бы вы меня не поймали, я сам пришел бы к вам и сказал: вот — я. Теперь я в ваших руках. Убейте меня. Теперь мне все равно. Я побежден.

— Ха, ха, ха!... — захохотал милиционер, — ты бы пришел! Как же, держи карман! Ха, ха, ха!... Товарищ директор, он бы пришел! Ха-ха-ха!...

— Ну, вот что, — сказал директор, — некогда мне с тобой тары-бары разводить. Хватает с меня и без тебя всяких делов. Живо на место, а то влеплю еще червонец по указу от 40-го года и дело с концом. Давай!... — И он мотнул головой на дверь.

Я переступил порог, взглянул, и перед глазами у меня поплыли, расплываясь, красные круги, эллипсы и звезды. Передо мной стояли, сидели, лежали и расхаживали абсолютно голые, полуголые и почти голые люди.

В последнюю минуту я подумал, что мне хотелось бы умереть одетым. Перед моим взором встал эшафот, воздвигнутый на шумной площади,

окруженной толпой людей, провожающей в последний путь своего трибуна.

Но вспомнив, что на мне лишь пижамные штаны в золотую полоску по лазоревому полю и одна домашняя туфля с оторванным каблуком, я махнул рукой на все и двинулся к двери, куда, стуча зубами, стремились обреченные люди из категории абсолютно голых.

В это мгновение, расталкивая абсолютно голую очередь, к которой присоединился и я, выскочил обливающийся потом багровый татарин с одним глазом и стоящими дыбом волосами.

— Эй! — заорал багровый татарин, — какой такой человек есть? Зачем молчит? Совсем хуже будет такой человек. — И вдруг, встретившись со мной взглядом, он, не отводя от моего лица единственного своего глаза, двинулся ко мне багровый, окутанный паром и с дико вздыбленными седыми волосами.

— Помогите! — тихо вскрикнул я и в ужасе попятился назад.

Одноглазый татарин схватил меня за плечо раскаленной рукой и зловеще кивнул кому-то стоявшему сзади. Через мгновение передо мной вырос человек, державший в каждой руке по огромной бритве.

— Какой такой человек этот есть? — спросил татарин.

Этот самый, — сказал палач и равнодушно почесал под мышкой. — Это вместо Алехи Кривого наняли. Алеха, значит, ушел, а этот вместо его. Только уж больно жидковат. Не стерпит. — Он нагнулся, что-то высмотрел на моем животе и, сморщив нос, сказал: — Жила у него хлипкая, не стерпит.

Голая толпа вокруг нас зашпорила:

— Нет, этот не стерпит. Антисемент. У ихнего брата завсегда жила хлипкая.

— Ничего, малость пообвыкнет.

— Какой? Этот? Да он в первчасье в портки наложит.

— Снимай штаны, — скомандовал татарин.

Палач несколько раз скользнул по ремню бритвой.

Татарин, видя, что я по-прежнему не шевелюсь, дернул мои штаны. Шелк с треском порвался. Я остался в одной домашней туфле с оторванным каблуком.

Палач, держа в вытянутой руке бритву, медленно приблизился ко мне, нагнулся и протянул руку. Я взвизгнул и толкнул его ногой в лицо.

— Ты чего, ошалел, что ли? — обиженно спросил человек с бритвой, поднимаясь с полу и запихивая в рот протезированную челюсть, — вроде псих какой-то. Придет директор, с ним объясняться будешь. Веди его, Азамат.

Я наклонился над своими разбитыми очками.

— Для гигиены, дурак, — сказал кто-то из толпы. — Учит их советская власть культуре, учит, учит, а все толку нет.

— Шайтан человек совсем есть, — проворчал татарин, покачивая головой, и, схватив меня за руку, потащил за собой.

Горячим паром, визгом и лязгом обдало меня. В раскаленном тумане бродили бледно-красные тени. На каменных лавках лежали полумертвые люди с безнадежно и уже безразлично запрокинутыми головами. И этих людей били, щипали, обливали кипятком или, возможно, расплавленной серой и царапали такие же, как и они, несчастные голые люди.

— Здесь становить будешь, — сказал татарин и указал мне на пустую лавку.

В минуты, когда человеку становится нестерпимо тяжело и перед ним встают категории жизни и смерти, он утрачивает чувство, отличающее истинные удельные соотношения событий, происходящих в движущемся вокруг него мире. Страшна жизнь человека, ибо он не в состоянии отличить шуток от трагедий всемирной истории народов.

## *Глава IX*

Оказалось, что милиционер, увидев на пороге бани голого человека, принял меня за спившегося банщика, директор — за прогульщика, а банщик — одноглазый татарин — за вновь нанятого коллегу.

Столь неожиданно превратившись в человека с определенным общественным положением и получив временную передышку, я решил использовать свою нынешнюю частичную легальность и возможные в новой обстановке связи для самых решительных и тщательных розысков Марианны.

«Этот момент должен стать переломным в моей жизни, — подумал я. — Все, что было сделано до сих пор, было не больше, чем закладывание в затвор патрона. Но помните, за мной еще выстрел, уважаемые товарищи!»

— Товарищ банщик! — окликнули меня. Я с профессиональной щеголеватостью скользнул по липкому полу и остановился перед клиентом. Он был розов и толст.

— Доктор, — сообразил я, в новой обстановке начиная делать обычные профессиональные наблюдения.

— Прошу, — пригласил я доктора.

— Ой! — заорал доктор — горячо!

— Сейчас, — любезно сказал я и побежал за другой шайкой.

— Ой, — заорал доктор, — холодно!

«Экий беспокойный клиент, — подумал я с досадой. — Никак не угодишь. Очевидно, доктор любит золотую серединку», — скептически заметил я про себя. И вспомнив профессиональную привычку чистильщиков сапог, парикмахеров и, по моим соображениям, также и банщиков, решил

развлечь клиента, любящего золотую середину, разговорами на абстрактные темы.

— Теперь хорошо? — спросил я.

— Самый раз, — ответил клиент.

— Скажите пожалуйста, — начал я, — вы не находите, что концепция звездных туманностей не приближает нас к решению вопроса о генезисе первичного белка? А?

— Потише, пожалуйста, — попросил клиент, — глаз выдавите. И еще, пожалуйста, ногу немного подвиньте, а то у меня это ухо больное. Большое спасибо.

— Извините, — сказал я. — Так как же насчет белков?

— Насчет белков, видите ли... — промямлил пациент, — это лишний раз доказывает правоту марксизма-ленинизма. Глаз! Глаз!!

— Извините, — сказал я. — Совершенно верно. Это, конечно, еще лишний раз подтверждает правильность нашего родного марксизма-ленинизма. А как вы рассматриваете проблему более упрощенного получения изотопа урана? Вот как в газете, в которой было завернуто ваше мыло, написано об этом, прочтите, пожалуйста.

— Не выйдет, — сказал клиент. — Как раз оставил очки в предбаннике. Как думаете, не сопрут?

— Ну, что вы, — воскликнул я, — у нас этого не было. Раньше, конечно, при царизме бывало, а сейчас, во все годы существования советской власти — никогда. К сожалению, я тоже без очков. Черт, очки потерял! Понимаете, сегодня у меня день, полный самых удивительных приключений, во время одного из которых я потерял свои очки. Очень обидно: хотелось почитать, что пишут в газете, в которую завернуто ваше мыло, про изотопы урана. Может, вы знаете?

— Э-э... Видите ли... — невнятно пробублькал клиент, — возьмите, пожалуйста, у меня изо рта мочалку, а то у меня руки в мыле. Больше спасибо. Э-э... Видите ли, именно проблема более упрощенного получения изотопа урана лучше всего доказывает незыблемую силу марксизма-ленинизма.

— Совершенно верно, — сказал я. — Именно эта проблема доказывает незыблемость. Вас как, можно шайкой по голове для массажа, товарищ доктор?

— Нет, — сказал клиент, подумав, — не надо шайкой по голове. — Потом добавил: — Я не доктор. Я критик.

— Что? Ах! — воскликнул я, и шайка, выскользнув из моих рук, все-таки с громом промассировала критика по башке.

— Простите, — сказал я, — тогда понятно.

— Что? — поинтересовался критик.

— Я говорю: очень рад отмывать от грязи советского критика!



— Большое спасибо! — сказал критик.

— Вы из каких же будете? — осведомился я, — из критиков-космополитов или из критиков патриотов?

— Что?! — заревел клиент, — я критик-космополит?!

Он замотал головой, и шайка зазвенела на ней, как колокол.

— Я первый начал разоблачать этих ничтожных антипатриотов! — гремел он, — а какой-то, извините, банщик, который даже не может прочесть газету, в которую я заворачиваю мыло, смеет так меня оскорблять!!

Он сдернул с головы шайку и, вскочив, приблизил свою заляпанную мылом морду к моему носу.

— Ермилов! — закричал я.

— Белинков! — закричал он. И с громким воплем мы разлетелись в разные стороны.

16. 4. 1951.

*Рукопись рассказа «Человечье мясо» написана мной и изъята у меня при обыске. 25.5.1951. Аркадий Белинков<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Обе даты подлинные, проставлены автором. Роман не закончен. — Н.Б.

## ЗАДАЧКИ ПО ХИМИИ И АЛГЕБРЕ СТИХА

То, что Вы заметили в стихах, не очень хорошо, потому что это заметили до Вас и продолжали передумывать после, главным образом потому, что открытие не исчерпало вопроса.

Я не обнял вас от избытка счастья только потому, что Вы не обобщили стихотворения, а упростили его.

Вы сделали это совершенно напрасно, потому что в областях обширной эмпирии упрощать — это значит закрывать глаза на лишний, вылезавший и мешающий концепции материал.

Стихотворение за две тысячи лет не научилось ничему хорошему и не стало наукой не потому, что в нем некому было навести порядок (Я ЗЛОПАМЯТЕН!), но потому, что множественность стиховых порядков рассматривалась не как закон, а как неприбранная квартира.

Все попытки определить стихотворение формулой никогда хорошо не кончались. Ни для кого не секрет, что Н. Остолопов сошел с ума, Р. Сим [нрзб. — Н.Б.] застрелился, А. Востоков<sup>1</sup> умер в нищете и от нехороших болезней.

От того, что Вы, не зная чужих работ (по крайней мере, Вы так уверяете), пришли к выводам, во имя которых эти работы писались, в стихотворении не произошло смещения геологических пластов. Если бы Вы то же самое ухитрились проделать в (авто)резиновой промышленности, то это бы значительно хуже отразилось на Вашей репутации. В стихотворении же такие вещи сходят страшно легко. Иногда этот либерализм распространяется на соседние области. Я был свидетелем простого и никого не рассмешившего анекдота: одна полная и пожилая дама с лисьей горжеткой принесла Чагину (ГИХЛ) перевод на русский язык романа «Золотой теленок». Она перевела его с редкого языка: с португальского. Обыкновенное дело. Это так просто и естественно, что я даже не ставлю в конце анекдота восклицательный знак. Просто и естественно. Как смех женщины. Как дыхание ребенка.

---

<sup>1</sup> Подразумеваются «Словарь древней и новой поэзии» (1821, 3 ч.) Н.Ф. Остолопова и «Опыт о русском стихосложении» (1812) А.Ф. Востокова. — *Примеч. ред.*

Ваша попытка переложить с больной головы на здоровую [далее зачеркнуто. — Н.Б.]. Следует читать: Ваша попытка определить стихотворение через ритмику и эмфазу несостоятельна, вероятно, потому, что и то и другое в отдельности свойственно слишком широкому кругу явлений и стихотворение является только частным и несчастным случаем, а то и другое вместе не входит в чисто эстетическую компетенцию. Я думаю, что это особенно важно, потому что, определяя стихотворение, мы в первую очередь подразумеваем эстетическое выражение.

Трех элементов, из которых Вы исходите, необходимо и достаточно для эмоционально-эстетической речи.

Для произведения искусства этого мало, потому что эмоционально-интеллектуально-ритмическая речь может быть, а может и не быть произведением искусства.

Поскольку Вы, как известно, находитесь под интеллектуально-эмоциональным влиянием Соломона Давыдовича, то, конечно, Вы мне не поверите. И, вместо того, чтобы бежать есть кашу, я должен буду долго и нудно цитировать, плюнув на кашу и хорошо зная, что цитатой можно доказать все. Главный же аргумент заключается в том, что я цитирую просто из уважения к традициям отечественного литературоведения. Гарантируем точность цитации на три года.

Примеры ритмической, эмоционально-интеллектуальной (эмфатической) эстетической речи (I—VI)

**I Граждане! Не загораживайте стекла кабины шофера!  
Дверь открывает шофер на основной остановке.**

*(Объявление в троллейбусе)*

/-/-/-/-/-/-/- — шестистопный дактиль (гекзаметр).

/-/-/- /-/-/-/- — шестистопный дактиль с ипостасацией  
спондея на четвертой стопе (пентаметр).

Это удивительное объявление написано не просто гекзаметром и пентаметром, но вместе и тем и другим, т.е. элегическим дистихом, строфой, которой писали Алкей, Архилох, Катулл, Сафо, Гете, Пушкин и сотни других.

**Камни, подайте мне весть. О, высокие молвите зданья!  
Улицы, слова я жду. Гений, иль ты недвижим?**

*(Гете Римские элегии)*

**II Граждане! Воздушная тревога!**

*Сообщение по радио во время войны*

/-/-/-/-/- — пеон или /-/-/-/-/- — пятистопный хорей.

Этим размером написаны лермонтовское «Выхожу один я на дорогу», блоковское «Выхожу я в путь, открытый взорам». И многие, многие другие [стихотворения].

**III А пошел ты, братец, на ...**

*(Из текстов наших общих знакомых)*

(/)-/-/-/- — четырехстопный хорей типа пушкинского:

Мчатся тучи, выются тучи,  
Невидимкою луна  
Освещает снег летучий  
-/-/-/-

**IV Карточки больных туберкулезом  
Представляют важный документ.**

*(И. Шабат. Афоризмы и максимы)*

/---/---/- — пэон I

-/-/---/ — пятистопный хорей.

**V Сто четырнадцать центнеров ржи  
Собрала звеньевая Хоменко.**

*«Социалистическая Караганда», № 286*

-/-/-/

-/-/-/- — трехстопный анапест.

**VI Пролетарии всех стран, соединяйтесь!**

*(К. Маркс, Ф. Энгельс «Манифест коммунистической партии»)*

-/---/---/- — трехстопный пэон III (шестистопный хорей).

Все это не очень любопытно. Интересно другое. Чрезвычайно часто ритмическую формулу можно встретить в таком художественном произведении, в котором не было никакого специфически-ритмического намерения (проза). Здесь есть и элементы ритма, и эмфазы, и эстетическое задание. Нет только стихотворения. И оно не нужно.

Снова примеры.

**VII Это было в Мегаре, в предместьи Карфагена, в садах  
Гамилькара.**

*(Г. Флобер «Саламбо». Первый абзац романа)*

-/-/-/- — —/-/-/- — — две строки трехстопного анапеста.

**VIII Так умерла Саламбо; за то, что коснулась покрывала  
Танит.**

(Г. Флобер «Саламбо». Последний абзац романа)

/-/-/-/-/-/-/-/- — семистопный дактиль с ипостасацией  
ямбом и трибрахием.

**IX Все смешалось в доме Облонских.**

(Л. Толстой «Анна Каренина»)

/-/-/-/- — четырехстопный хорей с ипостасацией трибра-  
хием четвертой стопы.

**X Лиза выскочила в дверь  
И помчалась по двору.  
Ей навстречу вышел пес.  
Пес, рыча и лая...**

(Ф. Достоевский «Записки из подполья»)

/-/-/-/- — четырехстопный хорей с enjambement  
-/-/-/  
/-/-/-/  
/-/-/-/

Почти так же неинтересно и неудивительно отсутствие не только ритмики, но даже иногда ритмичности. (Я говорю о стихах.) Примеров так много, что я и не подумаю цитировать. Напомню лишь, что таким, условно говоря, аритмичным стихом написана половина «Песен западных славян», «Сказка о рыбке», «Сказка о попе». Вы встретите его в лирике Ф. Тютчева, А.К. Толстого, А. Григорьева, А. Белого, так написаны «Александрийские песни» А.М. Кузмина, много стихотворений В. Брюсова и А. Блока, так писали В. Маяковский, В. Хлебников и И. Сельвинский, так некогда писал Б. Пастернак, это метрика былин, «Слова о полку Игореве» и народных песен.

Вот как он иногда выглядит (цитирую больше для удовольствия, чем по необходимости):

**XI Жил-был поп,  
Толоконный лоб.  
Пошел поп по базару  
Поискать (так в рукописи. — Н.Б.) кой-какого товару.**

(А. Пушкин «Сказка о попе и работнике его балде»)

/// — Это никто не знает, что такое!

—/—/  
 —/ /—/  
 —/—/—/—

**XII** Она пришла с мороза,  
 Раскрасневшаяся,  
 Наполнила комнату  
 Ароматом воздуха и духов,  
 Звонким голосом  
 И совсем неуважительной к занятиям  
 Болтовней.

Она немедленно уронила на пол  
 Толстый том художественного журнала,  
 И сейчас же стало казаться,  
 Что в моей большой комнате  
 Очень мало места.

Все это было немножко досадно  
 И довольно нелепо.  
 Впрочем, она захотела,  
 Чтобы я читал ей вслух Макбета.

Едва дойдя до ПУЗЫРЕЙ ЗЕМЛИ,  
 О которых я не могу говорить без волнения,  
 Я заметил, что она тоже волнуется  
 И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой пестрый кот  
 С трудом лепится по краю крыши,  
 Подстерегая целующихся голубей.  
 Я рассердился более всего на то,  
 Что целовались не мы, а голуби,  
 И что прошли времена Паоло и Франчески.

(А. Блок «Фаина»)

—/—/—/  
 —/—  
 —/—/—  
 —/—/—  
 —/—/—/—  
 —/

И так далее.

**XIII**      **За всех вас, которые нравились или нравятся,  
хранимые иконами у души в пещере,  
как чашу вина в застольной здравице,  
подъемлю стихами наполненный череп.**

*(В. Маяковский «Флейта-позвоночник»)*

- / / - / - / - - / -  
- / - - / - - - / - / -  
- / - / - / - / -  
- / - / - / - / -

Загадка!

Более редки и удивительны случаи отсутствия вообще всего на свете. (Эмфазы, тропов, семантической, ритмичности.) Но стоим ли мы даже в этих катастрофических случаях на пороге распада стиха, не знаю. Никто не знает. Знает только Соломон Давыдович. Но он не скажет. Он унесет с собой тайну. И мы будем обречены ее разгадывать. Как Ф.М. Достоевский. Тайну Пушкина.

[XIV]<sup>1</sup> Я ошибся. Это не XIV, а XVI пример.

**XVI**      **Крылышка золотописьмом тончайших жил,  
Кузнечик в кузов пуза уложил  
Тончайших много трав и вер.**

*(В. Хлебников «Садок судей»)*

То же самое. Более острый, но более затрепанный пример.

**Дыр, бул, щил  
Убещур  
Скум  
Вы сабу  
Пл ээ.**

*(А. Крученых «Пощечина общественному вкусу»)*

**XIV** примера нет не только потому, что некогда вспоминать. Но, конечно, не может быть, чтобы в мировой литературе не оказалось подходящего примера и на этот случай. Если Вам есть время искать примеры, то Вы и найдете, а найдя, сопроводите его таким комментарием: Практическая эмфаза отсутствует. А если и наличествует, то не более, чем любая про-

<sup>1</sup> Цифра в квадратных скобках в оригинале зачеркнута автором. — Н.Б.

заическая. (Я всегда так делаю: сначала придумываю концепцию, а потом приспособливаю к ней жизнь с ее примерами. Последние из примеров (XVI) не очень хороши, и я Вам не очень советую подражать им.)

**XV**      **Был вечер. Небо меркло. Воды  
Струились тихо. Жук жужжал.  
Уж расходились хороводы;  
Уж за рекой, дымясь, пылал  
Огонь рыбачий.**

(А. Пушкин «Евгений Онегин»)

Здесь вообще ничего нет с точки зрения нормативно-эстетической речи. А два enjambement в этом случае несут ритмическую функцию. (Вот теперь читайте XIV пример.)

Я привел очень много всяческих примеров ритмической эмоциональной, эмоциональной неритмической, неритмической неэмоциональной, ритмической неэмоциональной и, наверное, еще какой-то и вовсе ни к селу, ни к городу не идущей речи. И это очень нехорошо с моей стороны.

Часть этих примеров была стихами, часть таковыми никогда не была и никогда, вероятно, не будет. Если, конечно, Соломон Давыдович на досуге не возьмет, да и не обобщит огромного, но явно хаотического опыта стиховой литературы мира. Стихи то возникали, то пропадали, независимо от возложенных на них обязанностей.

Вы пытаетесь определить стих через комбинацию ритмики и эмфазы, полагая, что одной ритмики и одной эмфазы недостаточно, а обеих вместе за глаза хватит. Вероятно, Вы ошибаетесь, и я ничем не могу помочь Вам, даже если прибавлю специфические стиху тропы.

Я думаю, что Вы ошиблись, потому что взяли категории неэстетические (ритм, эмфаза), а хотите получить эстетическое произведение. Вы скажете: — А как же проза? Беру обыкновенные, как булки слова: столб, роза, табуретка, ресницы, серенада, валенок — и творю из них сладостную легенду?! — Это совсем не так. В прозе слово не есть САМОВЫРАЖЕНИЕ. Оно играет композиционно-подчиненную роль семантического выражения материала. В стихе и, в наиболее органическом его проявлении, в лирике особенно, слово — субъект и предикат материала, субстанция, имеющая форму слова.

(Любопытно, что проза, по мере повышения экзатичности, становится все ближе к стиху. И тут, как всегда в таких случаях, прибегает улыбающийся парадокс: взвинченная эмоциональность как раз оборачивается стиховой упорядоченностью!)

Подождите немного. Ужасно нудный абзац. Вы, наверное, ничего не поняли. Перечитайте, пожалуйста, а я пока схожу напиться. Ну вот, Вы



перечитали, все поняли, стали заметно образованнее, а я напился. Чертовски хочется пить после этой рыбы, глупой воблы воображения, и аттической соли нашей окаянной судьбы.

Наверное, Гегель был неправ, прошамкав что-то насчет действительности, разумного и т.д. Но, наверное, был прав Ларошфуко, с горечью плюнувший: У нас всегда достанет силы перенести несчастья наших близких. Не перечитывайте этот горький абзац. Пойдите, напейтесь. Плюньте и высморкайтесь. А я помолчу немного.

Дальше.

Попытки объяснить стих внеэстетическими элементами образования были многочисленны и банальны, как «Литературная газета». И почти так же пронзительно неинтеллектуальны.

Даже во времена, когда Аристотель решал задачи для отлынивающего Александра. Это были ужасные времена с подлинным отсутствием правильного мировоззрения, ядовитого невежества и небытия «Литературной газеты».

Морфологическая школа — Винкельман, Кант, Вельфлин, Вальцель, Заран, Якобсон, Белый, Брик, Шкловский — поняли в стихе больше, чем Аристотель, Соломон Давыдович и сотрудники «Литературной газеты».

Они больше поняли, потому что решали не только задачи по алгебре стиха (размещение  $Ap/m$ ), но почти решили задачу по его химии.

Формалисты понимали, что, скорее всего, дело в двух обстоятельствах: 1. В обмене веществ. 2. В качественном анализе. Я имею в виду: 1. Процессы превращения слова в реакциях композиций. 2. Определение стиха не только по тому, что он тренькает ритмом и бренчит рифмой, но и потому, **хорош** он или **плох**.

Последнее обстоятельство, несмотря на кажущееся заимствование у девиц, любящих поэтичность в стихах, и полное отсутствие строгой научной методологии Соломона Давыдовича, вероятно, и является решающим. И стоит в том же ряду, что и все абсолютно спорные идеологические вещи, о которых одни думают не так, как думают другие. Я не стану приводить примеров таких популярных вещей, потому что даже невежественные и несведущие в истории люди знают, что основной вопрос философии безуспешно решался самыми разнообразными способами, наиболее популярными из которых были три пунических войны, восемь крестовых походов, Стенька Разин и две империалистических бойни. А о том, хорош или плох Шекспир, по-разному думали Бен Джонсон и Грин, Руссо и Вольтер, Толстой и Тургенев, в палате лордов и в палате общин.

Формалисты никогда не забывали, говоря о стихе, подчеркивать, что стих есть ритмическая [нрзб. — Н.Б.] форма эстетической речи.

Это было бы необходимо, достаточно и прекрасно, если бы кто-нибудь от Лиссабона до Сеула знал, что такое эстетическая речь.

Только из боязни очутиться в лоне марксистского оккультизма и быть обвиненным в отрицании прогрессивной роли подлинной науки, которая со временем обязательно познает все на свете, я цитирую в скобках, можно сказать, почти совсем не цитирую, четыре оккультно-мистических шеллингистических строки. Цитата в скобках. Без номера.

**(Есть речи значение / темно иль ничтожно!  
Но им без волнения / внимать невозможно.)**

*(Между прочим, М. Лермонтов.)*

Вы видите, до какого отчаянья может довести размышление над *perpetuum mobile*, то бишь над теорией стиха!

В гетевской «Ночной песне странника» нет почти ничего, кроме двух пар жалких рифм, что в номенклатуре поэтических признаков определило бы эту Песню как стихотворение. В ней путано-инверсированный ритм, в ней нет повышенной образности, экзотического выражения, акцентированной фонетики. Если перевести эту песню прозой на язык «Золотого теленка», то любой португальский читатель скажет, что смысл ее достаточно банален. В этой удивительной песне, поразившей самого стареющего автора, заново открывшего ее, нет и того, что почти обязательно для так называемой философской лирики. И мы не узнаем из этого текста и с той доли тех, каждый день необходимых в доме вещей, которые узнали бы даже из пяти страниц Шеллинга или из шести строф Рене Гиля. Но в этом стихотворении есть то, чего нет даже в десяти страницах Шеллинга или даже в двенадцати строфах Рене Гиля. В нем есть в о в л е ч е н и е читателя в авторское размышление. В нем есть соучастие, сочувствие и сопереживание. В этом художественном произведении нет философии, но есть п о д р а з у м е в а н и е ее. Философию же должен предлагать читатель. Только так и должно быть в искусстве. Потому что все остальное должно быть не в искусстве, а в философии, биологии, астрономии и т.д. Эта песня не философское произведение, а философское с о с т о я н и е. Это состояние, в котором поэт и читатель могут и должны философски мыслить.

И, вероятно, смысл лирики и всего искусства, а искусство, которое не лирика, вообще никому не нужно, именно в этом, а не в том, чтобы излагать то, что известно даже «Литературной газете», герою «Лексикона прописных истин», «Справочнику зоотехника» и автору «Указателя хорошего поведения» (С.Д. Цирель).

Мы живем в плохой век, когда уже написано и без нас много стихов.

Аполлону Григорьеву было лучше (потому что он был другом красненького, беленького и зелененького питья) и легче (потому что он думал о стихе коротко и ясно, как полено).

Аполлон Григорьев был решителен, мужественен и не склонен к рефлексии.

Он прямо так, решительно и мужественно, заявил: — Стих есть мерная, взвешенная, взволнованная речь. С некоторыми исключениями.

*А. Григорьев. «О стихосложении русского народа»*

Этих «некоторых исключений» после Аполлона Григорьева накопилась целая великая литература.

В ней можно разобраться, только будучи во Втором терапевтическом отделении. Поэтому я с волнением жду в ближайшие дни грандиозных свершений и космогонических катаклизмов!

*17/18. 1. 54. Арк. Белинков.*

То, что Вы сказали о стихе (во Втором терапевтическом отделении), в общем, для не специалиста не так уж плохо.

Вы простите мне все, кроме этого *post-scriptum*'а. Но это Вам за хвастовство. Я тоже хвастун, и поэтому хочу навести порядок в стиховедческом заведении. Ничего, поправляйтесь и, поправившись, стукните меня по башке палкой.

21.1.54. А.Б.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Обе даты проставлены автором. В рукописи заголовок отсутствует. Статья была опубликована под другими названиями: Письмо из лагерной больницы о стиховедении // Вопросы литературы. 1994. № 1. С. 209; О стиховедении // Зеркало. 2003. Вып. 2. С. 98. — Н.Б.

## ИЛЛЮЗИИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ ЕККЛЕСИАСТА (фрагменты)

### I

Этому художественному произведению больше всего мешает то, что оно заранее было обречено на трагедию, и недостает того, что оно не решилось стать фарсом <...>

Иерархия жанров недемократична и преисполнена предрассудков. Поэтому мы изо всех сил лезем в трагедию, вместо того, чтобы стать хорошим фарсом. <...>

Преимущества фарса над трагедией заключаются главным образом в том, что общеизвестные до тривиальности вещи в трагедии говорятся страшно серьезно, как все, что претендует на откровение, и поэтому они смешны, вопреки авторскому намерению, а в фарсе — с заранее задуманным хохотом и визгом и без всяких претензий, и поэтому гротескно и страшно. В мире больше насмешки над горем, чем рыданий над ним. <...>

Не надо трагически ругаться.

Не надо ругаться трагедиями.

Все равно, не сегодня завтра Вселенная околеет. Или повторится рифмой, первобытной, как первая социально-экономическая формация.

А смерть, как ветер, возвращается на круги своя.

### II

Не надо писать исторические *трагедии*.

Надо писать *исторические* трагедии.

Исторические трагедии надо писать, только когда душа проста и чиста, как у молодого теленка... У таких авторов художественные произведения возникают от избытка альтруизма и филантропического намерения

ознакомить малоэрудированную аудиторию с историческими происшествиями. Но это простое и чистое намерение входит в компетенцию другого департамента (наверное, социального обеспечения) и к искусству отношения не имеет.

Это искусство автору рецензии не нравится, и поэтому мы, автор рецензии, снимаем с автора трагедии штаны. И внимательно посмотрим, что там делается.

### III

Да-а-с-с...

Там делаются очень серьезные вещи и ставятся важные вопросы.

Еврейские вопросы ставятся с одесским акцентом и в течение последних тысячи восьмисот семидесяти пяти лет сильно напоминают армянские загадки.

Я категорически возражаю против одесского акцента

[Стерто. — *Н.Б.*]

Я не желаю ссориться [стерто. — *Н.Б.*] и возвращаюсь к разбираемому драматургу, тем более, что он дожидается меня без штанов. В утешение ему могу лишь напомнить, что греки выставляли своих поэтов (статуи) тоже без штанов и, несмотря на это, называли их властителями душ, царями мира и пр.

Не нужно все превращать в трагедию. У жанров есть свои приличные манеры и хороший тон. Не стоит быть трагическим автором только для того, чтобы писать трескучие оратории дурного вкуса о том, что нехорошо быть изменником, перебежчиком, мараном... О том, что мы все — сволочи... О том, что и рецензент, и автор, и [стерто. — *Н.Б.*] — изменники, перебежчики и мараны<sup>1</sup>.

Эта статья о разочарованиях и предательстве, о разбитых надеждах и неисполненных желаниях. О романе Бальзака «Утраченные иллюзии», о романе Диккенса «Погибшие мечтания», о поэме Мильтона «Потерянный рай». И больше всего о сказке Андерсена про голого Короля, великой и жестокой сказке, полной разбитых надежд, горьких разочарований, утраченных иллюзий, погибших мечтаний и потерянного рая.

---

<sup>1</sup> Мараны — евреи, принявшие католичество в Средние века в Испании, но тайно исповедовавшие иудаизм. — *Н.Б.*

## IV

Если бы это художественное произведение не мечтало стать трагедией, не лезло бы из кожи в ямбы, а было бы фарсом со скепсисом и хорошим тоном, оно не превратилось бы из трагедии в анекдот.

Для того чтобы одно произведение не превратилось в другое произведение, в анекдот, да еще не простой, а в такой, который называется «Слон и еврейский вопрос», нужно было показать даже не эрудированным читателям, что евреи и их вопрос — это не такой вопрос, который они выдумали сами, а — слон, которого все заметили во всемирной истории народов и посвятили ему поэмы и драмы, диссертации и анафемы, лавры и ложь, Еврейскую энциклопедию и черту оседлости, состоявшиеся и несостоявшиеся судебные процессы, «Венецианского купца» и «Натана мудрого».

Любое художественное произведение, если оно хорошее, ничего не потеряет, превратившись в анекдот (хороший). Но вместе с художественным произведением меняется и его состав.

Приходится считать, что жанр — это не туфля, принимающая форму ноги, но китайская колодка, изменяющая ногу.

Автор имел право делать все, что ему нравится, со своим художественным произведением. И анекдот — это еще не самое скверное, даже для такого серьезного автора. Но проблема, являющаяся частью состава произведения, потребовала более осторожного обращения с собой, и с ней нельзя было сделать все, что нравится автору, потому что она принадлежит не ему, а многим поколениям тех, кто ее создал и выстрадал.

Художественное произведение всегда переменная функция неизменного аргумента — идеи.

История искусств всех времен и народов — это создание бесконечного количества форм (функций) ограниченного ряда идей.

Автор чрезвычайно поверхностно подошел к столь важной теме, не изучив материал, о котором взялся писать («Л.Г.»)<sup>1</sup>. Это очень нехорошо с его стороны. И за это ему придется постоять еще много страниц без штанов. И он заслужил это. Потому что евреи — это тоже не нация, а профессия. Это трудная и плохо оплачиваемая профессия дрожжей, на которых возшло несколько великих и чужих национальных культур.

История обратила большое внимание на евреев. Они были большим местом истории. И это вызвало в некоторые эпохи нарушение удельных соотношений предметов.

---

<sup>1</sup> Аббревиатура «Л.Г.» появляется каждый раз, когда А. Белинков пародирует «Литературную газету». — Н.Б.

В анекдоте «Слон и еврейский вопрос» верно подмечено это ненормальное удельное соотношение.

Физиология взаимоотношений евреев с несколькими великими и чужими культурами была нарушена, что вызвало неправильный обмен веществ, в результате которого вспыхнуло опасное заболевание: слоновая болезнь (Elephantiasis). Следом за диагностикой поспешило хирургическое вмешательство, единственно радикальное при данном заболевании. Вследствие всего изложенного мы имеем возможность на протяжении последних пяти тысяч лет наблюдать течение рек еврейской крови на тучных равнинах мировой истории.

Еврейский вопрос занимает очень много места в истории народов, и это так же нормально, как место слона в естественной истории.

## V

Несмотря на то, что евреи заслужили лавры и лавры, «Венецианского купца» и «Натана мудрого», а также состоявшиеся и несостоявшиеся судебные процессы и погромы в Кишиневе...

[Стерто. — Н.Б.]

Несмотря на то, что евреи сыграли невыдуманную роль в истории, автор умудрился написать художественное произведение до такой степени абстрактное, далекое от людей, от истории человеческой, от 36 и 1/2<sup>0</sup> температуры нашего бедного и окаянного тела, нашей плоти, нашей судьбы, смерти и счастья, что оно остается несуществующим и ненужным в нашей жизни, как слон в джунглях далекой от жгучих вопросов современности («Л.Г.») Африки. Как Австралия, в которой, к сожалению, нет слонов, но, безусловно, есть исторические трагедии и еврейско-австралийский вопрос.

Дело в том, что кроме авторов, наделенных простыми и человеческими душами... есть еще и другие, удивительные ядовитые авторы, которые доказывают, что течет только время и ничего существенного из этого не вытекает, что на свете ничего необыкновенного не происходит, а события века узнают себя в истории.

Это торжество воинствующего Екклесиаста до такой степени соблазнительно, что автор рецензии в свое время тоже не устоял перед искушением и написал роман, в котором убедительно доказал, что крестовые походы возникли в силу того обстоятельства, что папа Иннокентий нагулял себе триппер и нужно было срочно [снарядить] экспедицию за сульфидином. <...>

Я не стану ломиться в открытые двери трюизма, доказывая, что если ничего на свете не происходит, то, наверное, не нужно тогда писать и трагедии.

Я только скажу, что если автор пишет трагедию не с почтенным намерением ознакомить не слишком эрудированного читателя с историческим материалом, а для того, чтобы убедить слишком эрудированного читателя в том, что современность не выдумала себя, а вызрела из старого времени, то автор должен понять, что современность надо выводить из истории, а не запихивать в историю анахронизм. Он должен понять, что если его не смущает, что в историю ушедших веков он сует сегодняшние газеты, то зачем тогда писать историческую драму, смысл которой как раз в том, что именно в истории находятся подтверждения наших судеб, наших слез и сегодняшних, пахнущих кровью и краской газет?

Но драма отличается от рассуждения о драме тем же, чем алгебраическая формула отличается от яблок, которые дают хорошим мальчикам в школьном задачнике...

Я почтительно отношусь к алгебре.

Я с любовью отношусь к хорошим яблокам и вкусным драмам.

## VI

Автор не просто ошибается. Он ошибается преступно и злонамеренно, думая, что кого-то можно переубедить, устыдить и исправить. И я никогда этого не прощу автору, потому что он фальсифицирует двигатели процессов истории.

В истории нет убедительных и неубедительных, нет умных и глупых, нет ученых и невежественных, нет хороших и плохих концепций.

В истории есть только сильные и слабые концепции. Такие, которые могут набить морду.

И только сильные концепции в истории становятся убедительными и переубедительными, умными, учеными и хорошими, и находят апологетов, которые прекрасно доказывают (потом), какие умные, ученые и хорошие всегда бывают победившие концепции.

Что же касается апологетов, то лишь тупые люди могут думать, что апологетов покупают. Среди них были такие, на покупку которых не хватило бы статей культурных мероприятий бюджета. Тацита, Данте, Кампанеллу, Мильтона [стерто. — Н.Б.] не покупали.

И мы, умные, ученые и хорошие, можем писать трагедии и рецензии, разводиться слонами и решать еврейские вопросы, осуждать расовую дискриминацию и отгадывать армянские загадки, но морду набить мы не умеем. И если меня спросят: «Как Вам не стыдно?» — я отвечу (с одесским



акцентом): «Ничего не попишешь: история русской интеллигенции». (В двух томах, на хорошей бумаге. Автор умер в [ничтожестве]. Он был благоден, голоден и глуп.)

## VII

Творческий человек может придумать тысячи всяких вещей, большинство из которых, к сожалению, решительно никому не нужны. (Очень весело, например, изобрести пуговицу с электромотором или портативную машинку, которая за вас с удовольствием ела бы шоколадные конфеты или пончики.)

Драмы следует писать главным образом такие, которые нужны.

Драмы, похожие на электрические пуговицы и самокушающие машинки, не надо писать.

Назначение искусства не в производстве бесполезных изящных и неизящных бесполезных вещей, но в агитации за высокое назначение человека и его истории.

Смысл таланта заключается не в умении написать роман или придумать парашют, а в исполнении высокого назначения творчества исправлять сильно испорченную историю народов. Все то, что делает человек, нужно только тогда, когда его творчество вмешивается в судьбы людей. Для этого, кроме умения писать романы и придумывать парашюты, необходимо еще умение включить их в историю, высокое умение вмешиваться в судьбы людей. Этот талант не хуже и не лучше умения писать романы и придумывать парашюты. Смысл всякого творчества в исполнении назначения. Исполнение назначения — это победа в борьбе за лучшую человеческую историю. Умение создавать и включать созданное в историю не два разных умения, а одно. На свете всегда было много хороших романов и парашютов, большей частью никому не известных и никому не нужных, не сыгравших в судьбах людей никакой роли, потому что ими не выполнено главное назначение творчества: исправление запущенной человеческой истории. <...>

Всякая книга только тогда может быть полезна, когда ее брошюруют в очередной том текущей литературы.

Она может как раз подойти к современной литературе форматом и набором или выпрыгивать из современной литературы, кусаться, царапаться и ругаться. Но она не может быть глиняной табличкой, папирусом, пергаментом, которые ни в какие двери современной литературы не лезут.

Настоящая книга может быть только такой, которая необходима современности. <...>

### VIII

В этой главе между любознательным читателем и скептическим автором рецензии происходит следующий раздраженный диалог.

Любознательный читатель: «Деньги назад! Что это в самом деле?! Проглядела уже чуть ли не половина листа, дело к вечеру, а где же трагедия?!»

Автор рецензии (скептик): «Извиняюсь. Пропали Ваши денежки. Трагедии — нет».

### IX

<...> Это художественное произведение погубили жанр, слишком серьезное отношение автора к жизни и полное непонимание литературы нашего времени.

Цветущее поле традиции было вытоптано еще задолго до появления этой драмы.

На соблюдении традиций внутреннего распорядка настаивают главным образом те авторы, которые ничего не могут придумать сами.

Художник же выгодно отличается от пешехода тем, что он не соблюдает правил движения, а лезет черт его знает куда.

<...>

Эта драма до такой степени традиционна и кукольна, что о ней даже не стоит говорить с одесским акцентом.

О ней нужно говорить с ужасным Белинским акцентом. И как раз именно то, что говорилось о Кукольнике.

О Кукольнике же главным образом говорилось, что он любит серьезные проблемы, руку всевышнего, свой народ и не умеет писать исторические трагедии.

### X

Я всю жизнь в стихах и прозе (и даже в исторических трагедиях. Sic!) ненавидел шовинистические и националистические любовные экстазы. <...>

Избранность евреев мне так же противна, как избранность немцев.

<...>

В доказательство своего прогрессивного национально-колониального мировоззрения я готов выдать собственную бесконечно женственную, преисполненную грации, очарования и спиритуалистической белизны дочь за вонючего турку при условии лишь, что этот самый турок умен и талантлив, что турок не очень вонюч (главным образом в идеологическом смысле) и что турок не тратит денег на оплату алиментов и т.д.

Еврейский вопрос превратился в слона, потому что между национальными патриотизмами, с которыми соприкасалось еврейство, и самим еврейством возникала диспропорция.

Я не думаю, что евреи лучше французов или турок.

Я думаю, что мучительная биография евреев дала им право заблуждаться, что они лучше французов или турок.

## XI

Все, что я написал в этих десяти главах, наверное, не имеет никакого отношения к драматургу и его драме.

Но это имеет отношение к вопросу об упадке драматургии в эпоху расцвета пагубной «теории» бесконфликтности и в эпоху расцвета прогрессивной теории сатирической комедии, а также к нетерпимому выполнению плана на 26,4% по драматургии. В связи с этим я не зачеркиваю написанного в этих десяти главах и не начинаю сначала.

Это не рецензия, а *essai*. А *essai* — это лирика. А лирика — это всегда длинно и немного стыдно.

## XII

Персы, хорошо знавшие толк в поэзии, уверяли: для того, чтобы получились стихи, нужны ритм, рифма и намерение писать стихи.

Автор все еще не упомянутой выше драмы, не будучи персом (первая ошибка автора) и будучи евреем, вероятно, среднего качества (вторая ошибка автора), удовлетворился только намерением (третья, роковая ошибка автора). Персы сказали бы в этом случае, что одного намерения не хватит и на рабайю<sup>1</sup>. И они были бы правы.

А для трехактной драмы просто ничтожно мало.

Драмы не вышло, потому что в ней нет ничего, кроме хорошего намерения.

---

<sup>1</sup> Рабайя — то же, что рабаи — строфа из четырех строк, в которой одна строка не рифмуется. — Н.Б.

Возможно, что этого хватило бы на католическую драму. Но для еврейской мало. Драмы не вышло, потому что те ритм и рифма, которые в ней есть, набили оскомину еще персам времен Дария Гистапса, грекам (которые знали только ритм и не знали рифм) и длиннородым библейским иудеям.

<...>

Смешно и нелепо писать драму, делая вид, что до нее в мировой литературе ничего не было. Художник, садясь за письменный стол, должен не думать о том, как бы ему проскользнуть незамеченным между чужими драмами, но должен знать, что он принесет нового в великий опыт мировой литературы. Что новое — это обязательно оригинально. Что художник оригинален только тогда, когда он искренен. Потому что искренность — это похожесть только на самого себя самого. Потому что мысли разных людей так же непохожи, как непохожи их носы, уши и дактилоскопические отпечатки. Поэтому каждое искреннее произведение человека — оригинально. Оно обречено анатомией человека на оригинальность. Люди, работающие по традиции, — это обманщики, и их, знаете, все-таки лучше не оставлять наедине с чужими книгами... Как-то, знаете, спокойнее.

Автор, ухмыляясь, вертит своих исторических героев и вытаскивает за шиворот несчастных из свойственного им века. Он, очевидно, не понимает, что исторических героев можно лишь поворачивать, по-новому освещать и заново открывать. Но приписывать им все, что вздумается, нельзя, потому что, во-первых, они тогда перестают быть историческими героями, т.е. теряют статус прецедента, к которому всегда апеллирует историческое произведение, и, во-вторых, потому что, кроме расшалившегося автора, над этими героями долго и трудолюбиво работала мировая история со своими исследованиями, диссертациями, романами, романсами и, между прочим, драмами и успела (задолго до нашего автора) сложить о них определенное представление, которое автор может лишь подтвердить или опровергнуть, но не может на него лишь наплевать. Когда произведение называется именем, или событием, или явлением, уже известным в истории, оно обязано или подтвердить это имя (первый и более примитивный вариант (Дон-Жуан Байрона, Сальери Пушкина), или опровергнуть его (Каин Байрона, [Барклай] Пушкина, Юлий Цезарь Шекспира, с неожиданной для XVI—XVII вв. трактовкой диктатуры, Синяя борода<sup>1</sup>, реабилитированная А. Франсом, и т.д.).

<...>

---

<sup>1</sup> «Синяя борода» — фольклорный персонаж, герой одноименной сказки Шарля Перро — отличался жестокостью, убивал своих жен. У Анатоля Франса в его «Семь жен Синей бороды» этот образ трактуется иначе. — Н.Б.

Эта глава, наверное, самая длинная и самая ненужная во всей статье.

Такие вещи не пишутся в рецензиях, а сообщаются автору с глазу на глаз, в запертом кабинете, за письменным столом, с рукописью в руках.

Эта глава написана только для того, чтобы щепетильного автора рецензии не заподозрили в суетном желании блеснуть хлесткими словечками, длинным язычком и острыми зубками.

Потому что во всех главах, предшествующих этой и последующих за ней, автор занимается не обследованием вышеупомянутой драмы на вшивость, а занят вопросом, почему на свете так много плохих драм.

Впрочем, это тоже от ущемленного самолюбия и гипертрофии тщеславия. Все мы, мерзавцы, тщеславны. И разница только в том, что один тщеславится, став Кесарем, а другой тем, что его похвалили за то, что он не бросает окурки мимо урны. А мне вообще не повезло: не сумел захотеть стать Кесарем, а фельдшером я и вовсе не хочу быть.

Но еще больше, чем я не хочу быть фельдшером, я хочу умереть, сгнить и сгинуть. И этот фарс мне удастся лучше, чем исторические трагедии и пифийские претензии. <...>

### XIII

Но автор рецензии замечает, что он начинает вызывать нездоровый интерес к самой драме. Это очень дурно с его стороны, потому что смысл рецензии как раз и заключается в том, чтобы убедить читателей, что драма не вызывает решительно никакого интереса.

Автор знает свои недостатки и, будучи склонен к критике и самокритике, не обидится, если его уличат в трусливой легкости этой статьи.

### XIV

Вещи, которые можно доказать или опровергнуть двумя абзацами, не надо доказывать или опровергать трехактными историческими трагедиями.

Но если втор придерживается мнения, что мараны оправданы историей, то сейчас писать такую прекрасную драму о таких прекрасных маранах категорически противопоказано. Ибо лучшее, что может сделать автор такой драмой, — это научить, как стать изменником, предателем и мерзавцем. Надо же, наконец, понять, что никому не интересно сейчас (даже специалистам по надгробным надписям закавказских евреев), были ли в свое время правы мараны или неправы. Важно то, что они оказались

виноваты. И если автор пишет о марапах, то он обязан в историческом прецеденте искать опоры, доказательства и авторитетной поддержки.

Эта драма не вышла, потому что в ней говорится все что угодно и замалчивается самое главное: измена и уход от борьбы. <...>

Художественное произведение может произойти только в том случае, если его задача, материал и метод обработки материала имеют прямое отношение друг к другу.

Эта драма представляет собой сценарий помрежа, в котором перечислены декорации, реквизит, свет и шумы к длинному очерку, разнесенному на реплики и называемому «Спор плохого еврея с хорошим евреем».

Совершенно напрасный спор.

Всем известно, что капуцины и раввины воняют одинаково (Гейне).

А о том, кто воняет больше и пронзительней, — вопрос не идеологический, а санитарный.

Если допустить на минуту, что когда-нибудь все же учеными будет в точности установлено, кто именно воняет лучше, то все равно, независимо от чисто академического интереса, который вызывает этот факт, герой, который воняет лучше, еще не станет художественным произведением.

Гейне был умнее и талантливее автора этой драмы. Понимая антиномию капуцина и раввина, он ими не ограничился. Он вышел из порочного круга и сделал правым судью. Права Донья *Blanche*, потому что она молода и красива, и хорошо пахнет<sup>1</sup>.

Драма не произошла, потому что совершенно безразлично, на чьей стороне будет победа в жестокой, неравной борьбе между запахами капуцина и раввина.

Это художественное произведение не стало драмой, потому что в нем не оказалось Доньи *Blanche*, а были только капуцин и раввин, их запахи и вялая попытка дифференциации запахов.

<...> автора интересуют не общая идея отступничества, измены, продажи первородства, маранизма, а евреи — отступающие, изменяющие, продающие первородство — мараны.

Автор ошибся, потому что формула задачи шире ее материала.

В этой драме материал болтается в задаче, как горох в погремушке. Это смешно и не нужно, как нога в большой не по размеру туфле.

Смешно и не нужно доказывать историческими трагизмами, что отступничество, измена и продажа первородства суть [непристойные] вещи. Это смешно и очевидно. Это можно доказать не трагедией, а эпиграммой. Трагедия нужна для того, чтобы доказать, что такое истоки, причины, ви-

<sup>1</sup> Подразумевается стихотворение «Диспут» из «Романсеро» Г. Гейне; королева Донья Бланка в споре католического монаха и раввина занимает третью позицию: «Но раввин и капуцин / Одинаково воняют». — *Примеч. ред.*

рулентность отступничества, измены и продажа первородства, что такое сопротивление материала и взаимоотношения государства и общества.

<...>

## XV

<...> Я пишу такую длинную рецензию из нехорошего желания отомстить автору, зная, что ему никуда не уйти без штанов до конца статьи. А вот сейчас именно поэтому я и вытяну его еще раз по голой заднице.

— За что?! — возмущается в высшей степени весьма рафинированный автор (без штанов, с драмой в руках).

Я не люблю классических вопросов типа «за что?», «кто вы такой?», «что это значит?».

За что? Так. Ни за что. Неужели Вы не понимаете, что секут не по необходимости, а при наличии более или менее недорогой возможности? Если бы автор исторической трагедии мог бы написать хлесткий памфлет на автора лирической рецензии, он не остановился бы перед тем, что адресат памфлета не заслужил этого. Просто бы высек. Да еще как! За здорово живешь! За прекрасные глазки m-lle Blanche! За милую душу! <...> И я секу, потому что до меня долго секли всю русскую литературу и это сообщилось мне эволюционным путем и накоплением жизненно важных признаков, передаваемых по наследству... За то, что в мире так много холопов по склонности и рабов по призванию; за сытое самодовольство и чавкающее хамство; за недописанные «Египетские ночи» <...>

И я секу вас по заплатанной общей драматической заднице за то, что вы бежите вопросов века, что вы утаиваете, в чем смысл жизни, что вы говорите не о судьбе человеческой истории, но о пуговицах на ее жилете. И за все это я держу вас целый печатный лист без штанов, на ветру и морозе, и еще за то, что вы нерешительный, слабый и добрый человек, пожалевший себя, меня [стерто. — Н.Б.] и других маранов, вместо того чтобы всех нас со свистом сечь и учить.

## XVI

<...> Автор выдал себя с головой, предварительно попытавшись переключить с этой самой больной головы на здоровую иллюзии и разочарования Екклесиаста: дело в том что автор рецензии вчера хотел написать одно художественное произведение о том, что при известных обстоятельствах [стерто. — Н.Б.], при наличии известной нетребовательности может

быть создано художественное произведение лучше, чем то, которое рецензируется.

Таким образом, всякий наблюдательный и беспристрастный читатель может сделать совершенно правильный вывод, что виноваты оба автора, драмы и рецензии. Что виноваты все авторы. И что правы самые лучшие, самые чуткие и с самым лучшим вкусом читатели.

Я не буду больше шуметь. Когда-то, очень давно, одна знакомая сказала: «После ваших книг у меня долго стоит шум в ушах и кружится голова».

## XVII

Со времени воскресения Иисуса Христа родилось и умерло сто поколений.

Они успели стереть с лица земли Иерусалим, разграбить Рим, вытоптали империю Карла Великого, восемь раз крестовыми походами разрывали на части народы и страны, сожгли на святых крестах десять тысяч вольтеррианцев, аккуратно деля имущество сожженных на три равные части: одну — святой Германдаде<sup>1</sup>, вторую — государству (за дрова), третью — доносчику; они водили по морям невольничьи корабли, отправляли на Новую Гвинею женщин для утех и веселья (Елизавета) и снова жгли и вытапывали народы и земли за золотой песок, за слоновую кость, за высокие идеи и рынки сбыта, за нефть и пшеницу, за здорово живешь, за прекрасные глазки m-Ile Blanche, за милую душу, за собачью и голодную, окаянную свою судьбу.

Я тенденциозно не упомянул о том, что, кроме всех этих прекрасных вещей, человечество создало четыре Евангелия, Кельнский собор, Сорбонну, флорентийскую живопись, елизаветинскую драму, французский энциклопедизм, паровую машину, немецкую философию, идею ассоциации народов и разложило атом.

Но, вероятно, все это не имеет существенного значения, в чем каждый может легко убедиться на собственном опыте, потому что человеческая история — это длинный список грабежей и пожаров, мартиролог убийств, повесть об утраченных иллюзиях, горькое повествование о погибших мечтаниях и тяжелый рассказ о потерянном рае.

Наиболее существенной ошибкой автора этого художественного произведения было то, что он неясно представлял себе, что же именно он хочет от читателя.

---

<sup>1</sup> Германдада — военно-полицейская организация XV века, поддерживающая абсолютизм. Стоит в одном ряду с Инквизицией, опричниной и тому подобными организациями. — Н.Б.



Поэтому его художественное произведение лишено самого главного: агитационного значения. Оно ни в чем меня не убедило. Даже в том, что нехорошо быть мараном. Может быть, это и хорошо. Может быть. Никто не знает. Может быть, теперь мне как раз и захочется быть мараном. Или перестать быть драматургом.

[Стерто. — Н.Б.]

Все это крайне неблагоприятно отражается на свойствах характера. Лично во мне это вызывает частые приступы ипохондрии, эсхатологические фантазии и геморроидальный *habitus*.

Что же касается нашего драматурга, то его, к счастью, это никак не касается. И, главным образом, потому, что он еще не написал драму.

### XVIII

#### Предсмертный монолог рецензента

Активная работа наших драматургов над созданием остро необходимой нам классики заслуживает всякого одобрения и самой серьезной помощи [стерто. — Н.Б.] общественных организаций. У нас есть все предпосылки для того, чтобы в ближайшее время создать произведения высокого идейно-художественного звучания. [стерто. — Н.Б.] Мы не имеем никакого права [стерто. — Н.Б.] пройти мимо такого возмутительного факта, как выполнение в третьем квартале с.г. плана наших театров на 86%.

Литературная газета

Простите меня. Я больше не буду. Не буду брюзжать, ругаться и писать рецензии с нехорошими словами. <...>.

Простите меня. За нехорошие слова и злые рецензии [стерто. — Н.Б.]. Все равно я скоро умру.

И это знаменательное событие в истории русской интеллигенции ждуть с нетерпением и одобрением все братья мои драматурги [стерто. — Н.Б.], бывший художественный руководитель Московского театра драмы и два [стерто. — Н.Б.].

Я больше не буду. Простите меня.

За то, что, когда я писал последний и, наверное, самый обидный абзац прошлой главы, я вспомнил, что ни разу не заглянул в рецензируемую трагическую рукопись.

Я знаю, как это нехорошо с моей стороны.

Я думал, что дело не в трагической рукописи. Что дело в слоне, еврейском вопросе, печальной истории голого короля из сказки Андерсена,

полной разочарования, горечи и скорби. Как всякий эгоист, я не думал об авторе. Я мало задумывался над тем, как бы ликвидировать прорыв в невыполнении плана по качеству и ассортименту в драматургии за III квартал. Мне жаль автора, несмотря на то, что драма его мне не нравится.

Как для того, чтобы сечь человека, нужно лишь знать, что делать это можно абсолютно безнаказанно, точно так же, чтобы написать критическую статью, не обязательно читать рецензируемое произведение. Может быть, оно понравилось бы мне, если бы я его читал. Очень может быть. Я не стал читать его [стерто. — *Н.Б.*], потому что такая драма мне не может, не имеет права нравиться. А что касается самой драмы, то, вероятно, драма очень хорошая. Не знаю. Не читал. Думаю, что хорошая.

В искусстве хорошо лишь то, что неповторимо. Каждое высокое произведение прекрасно, кроме всего прочего, еще потому, что оно не похоже на другие. С этого начинается всякое искусство. Это не первое, а нулевое условие. Плохие авторы не придумали ничего оригинального. Даже ошибок. Все, что они делают, похоже друг на друга, как похожи друг на друга все ошибки природы. [Стерто. — *Н.Б.*] Например, мое безумное намерение отдать свою дочь замуж за турка. Это все от тоски и безнадежности. Оттого, что избаловавшиеся авторы всяческих художественных произведений стали писать до такой степени плохо, что себе дороже о них хорошо писать. План по качеству выполнен за III квартал на 86,4%. Впрочем, драматургам было всегда лучше других: они и зарабатывали побольше, и налоги с них не так свирепо сдирали, и воровать драматургу легче, а самое главное — их всегда труднее лягать, нежели прочую братию. Это объясняется в первую очередь тем, что когда ругаешь драму, т.е. именно то, что написано драматургом, и как раз то, что следует драматургу писать, — художественное произведение для театра, то хитрый драматург сейчас же вывернется из критических челюстей, оставляя в щелкнувших зубах рецензента заявление, что это вообще для театра не предназначалось, что это нужно читать дома, на диване, после пятичасового кофе жене и дочкам. По этому вопросу я должен заявить со всей решительностью: к жанру «драма для чтения» я всегда относился так же, как к тому, что остается после аборта (ужасное слово!) и других аналогичных выкидышей (еще более ужасное слово!) природы (очень хорошее слово!).

Лирика, длинная и опускающая глаза, не выпускает меня из рецензии.

Камень истории и — человек на холодном ветру, раздетый и одинокий.

Как мне надоело жалеть тебя, человек! Надо же когда-нибудь решить горькую и окаянную судьбу твою! Или убить и бросить в степи, на снегу, на ветру и морозе, и забыть навсегда, и уйти?!

[Стерто. — *Н.Б.*]

А греки верили в своих поэтов и воздавали им царские почести. Их поэт был царь. В это верил Пушкин. Он говорил поэту: «Ты — царь». И не велел ему путаться с толпой. Но я забыл автора исторической трагедии. Он тоже поэт и, стало быть, тоже царь. Он стоит на холодном ветру, одинок и печален, и без штанов. И все видят, что царь, автор исторической трагедии, — гол.

Творят только боги и поэты<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Дата автором не обозначена. Статья (предположительно 1954 г.) о неизвестной нам исторической трагедии безвестного автора дана в сокращении. Отобраны куски об ответственности художника при выборе темы, а также об общих проблемах искусства. — Н.Б.

## ИРОНИЯ СУДЬБЫ (вариант: Ирония трубы)

### *1. Публицистика*

Художественное произведение приобретает смысл и значение только в том случае, если оно обладает свойством, которое не может быть заменено никакой изящной словесностью. Это свойство называется искренностью.

Она возникает лишь в том случае, когда произведение оригинально.

Искренность и оригинальность — это не две сестры, а — одна.

Человеческие характеры и проявления их так же не похожи друг на друга, как не похожи носы, ноги, дактилоскопические отпечатки обладателей этих характеров.

Поэтому всякий характер и всякое его проявление, похожие на другой характер и другое его проявление, заставляют серьезно подумать о заимствовании автора у ближнего своего.

Оригинально только такое проявление характера, которое свойственно лишь его хозяину.

Так как искренний человек может проявить свой характер неминуемо в образе, лишь ему свойственном, то естественно, что всякое проявление характера — оригинально.

Я не уверен в том, что рецензируемое произведение в достаточной мере обладает этим свойством.

К сожалению, я хорошо знаю, что автор рецензируемого произведения, со свойственной ему самоотверженностью, простил бы мне, скажем, попытку присвоить принадлежащие ему два килограмма макарон и даже только что подшитые валенки. Но у меня нет и тени уверенности, что он простит мне только что рожденный абзац.

Для того чтобы он понял, что обижаться на рецензента достаточно банально, я сошлюсь на авторитет Г. Гейне, знавшего толк в вопросах взаимоотношений благородных авторов с дурно воспитанными рецензентами. Приблизительно по такому же поводу поэт писал:

Ругай меня, бей — на все я готов,  
Мы брань прекратим поцелуем.  
Но, если моих не похвалишь стихов,  
Запомни: развод неминуем.

Как правило, увы, мои взаимоотношения с рецензируемыми авторами кончаются не изъявлениями авторской благодарности, а паническими попытками спрятаться от разъярившихся авторов.

Не собираясь разводиться с автором рецензируемого произведения, а, напротив, изо всех сил стараясь поцеловать его, я приложу максимум творческого вдохновения к тому, чтобы доказать, что я не просто неправ, а неправ, потому что ничего не понял в его произведении. Рецензенты никогда не понимают рецензируемых авторов. Это совершенно естественно, потому что на поганую рецензентскую работу нанимаются лишь одни дураки.

Для того чтобы автор сценария, не дай Бог, тоже не попал на вышеупомянутую работу, я считаю своим долгом пояснить ему, что носы, ноги, дактилоскопические отпечатки и характеры являются свойствами категории стиля. Но лишь в том случае, когда они входят в категорию не так, как являются в дом бедные родственники, — не имея ничего своего.

Даже под угрозой развода я не остановлюсь перед искушением не похвалить рецензируемое стихотворение.

Это художественное произведение не имеет существенного значения в мировой истории, потому что его материал, метод обработки материала и отношение автора к материалу традиционны, т.е. неоригинальны, т.е. неискренни. Автор обманул нас.

Я хорошо знаю, как оскорбителен этот абзац, и поэтому приложу серьезные усилия к тому, чтобы если не доказать, то уж по крайней мере отбиться от автора.

Кроме того, я вполне уверен в том, что произведение, которое должно быть запущено в производство на студии Мосфильм anno domini 1955, является именно таким, о котором искренне мечтает автор.

Мое мнение об этом произведении может показаться неубедительным (и я не стану это опровергать), потому что красивые вещи в искусстве (и особенно в искусстве нашего века) вызывают во мне самые недоброжелательные чувства, серьезные опасения и с трудом сдерживаемое желание наговорить их авторам самые некрасивые слова.

Главное достоинство рецензируемого произведения в том, что оно еще не закончено. Называть же рецензента дураком, потому что он вынужден судить лишь по половине показанной ему работы, достаточно тривиально, ибо даже рецензент может узнать по зерну, какое ядовитое растение вырастет из этого зерна. Если его не задушить в зародыше хорошей критической статьей.

К глубококому моему огорчению, это произведение принадлежит к группе тех, которые я очень не люблю. Которые я считаю необходимым задушить в зародыше.

Упаси меня бог сказать этим, что оно плохо. Напротив, я всегда говорю, что лучших произведений и не сыщешь для хорошей критической статьи.

Не вызвав любви, оно вызывает глубокое уважение. И не какими-нибудь пустяками, а тупым и могучим упорством, с которым автор ворочает камни своих монументальных идей.

Впрочем, я не окончательно убежден в том, что художественная литература, которая мне не нравится, не может существовать, не спросив моего мнения.

Лучшее, что я могу сказать об этом произведении, — это то, что я отношусь к нему не как к любимой женщине, а как к подруге женщины, которую я люблю.

Я говорю это, не уверенный, что сказал именно то, что это произведение заслуживает. И то, что требует моя взволнованная совесть.

## *II. Поэтика*

История искусства — это тысячелетняя история борьбы с традиционностью и редких побед над нею.

В доказательство того, что в истории эстетической культуры сценарий «Симфония судьбы» не является бронзовым памятником, я назову некоторые вещи из сценария, которые всегда были врагами искусства. И всегда одерживали над ним победу. Их много, и придется набраться терпения. Наиболее существенные из них следующие:

1. Пейзажная экспозиция. 2. Узнавание по предмету (традиционные кольца, медальоны, браслеты, метки на пеленках. В данном случае их функции выполняют белые розы). 3. Бал. 4. Маски. 5. Незнакомка на балу. 6. Молодой человек, влюбленный в жену своего патрона. 7. Скрипач с демоническими бровями. 8. Человек с лицом аскета. 9. Двенадцать ударов часов. 10. Сказочные грезы. 11. *Apassionata*. 12. Молодая жена престарелого профессора. 13. Легенда. 14. Сказки. 15. Феи. 16. Чародеи. 17. Симфония судьбы.

Это критическая статья, а не редакторская правка; поэтому я не считаю своей обязанностью сделать этот список исчерпывающим. Кроме того, что эти вещи традиционны, они еще и вызывающе красивы.

Их желание понравиться не бескорыстно. Они красивы, как проститутки.

1. Героиня произведения — прекрасная, inferнальная и роковая женщина.

2. Герой произведения — юн и изящен.

3. Двигает сюжет не неумолимая логическая лошадь композиции, а восхитительный букет непередаваемо белых роз.

4. Раньше, чем начинается искусство в этом произведении, появляются чудные лунные пейзажи...

5. ... и независимо от искусства автора сценария звучит принадлежащая совсем другому автору Симфония судьбы (Бетховену).

Все эти замечательно красивые и не менее замечательные традиционные вещи, к сожалению, не подлежат исправлению обычной редакторской правкой, т.к. они не только побрякушки, но и двигатели такого же красивого сюжетосложения: если красивую женщину исправить на некрасивую, то сюжета не совершится.

Несомненно, если бы Джульетта была некрасива, то не произошло бы и шекспировской трагедии. Но, во-первых, если бы, несмотря на все ее недостатки, «Ромео и Джульетта» не была бы написана, то это было бы очень, очень плохо для истории мировой литературы и в том числе для автора рецензируемого сценария. Во-вторых, Джульеттина красота не представлена явлением исключительным, а дана как норма. В-третьих, все, что остается в трагедии за изъятием Джульеттиной красоты, не хуже, чем эта самая красота. В-четвертых, «Ромео и Джульетта» написана в 1595 году, а не в 1955. Поэтому если из сценария, который написан в 1955 году, а не в 1595, выбросить традиционный пролог с традиционным балом и с традиционной встречей юноши и маски на балу, то он, бесспорно, много выиграет. Если, конечно, после этой операции от него вообще что-нибудь останется.

Я боюсь красивых вещей и красивых слов.

Таких, например, как «хризантемы», «очарование», «чувственные губы». [Следующие полторы строчки стерты. — Н.Б.]

Надо сказать, что все попытки автора обмануть читателя не могут вызвать ничего, кроме улыбки сожаления о судьбе самого автора. Ну, скажите, пожалуйста, какому дураку не ясно, что после такого пролога не может быть уже ничего, кроме встречи красивого молодого человека с красивой молодой женщиной, что этот красивый молодой человек непременно узнает по традиционному аксессуару героини (кольца, медальоны, браслеты, метки на пеленках. В данном случае, белые розы), что муж этой женщины — традиционный циник с сигарой в тонких губах, со скепсисом и благородной фамилией, что красивый молодой человек будет терзаться мукой разочарования, а красивая молодая дама казнится мукой сомнения и что вся эта история кончится очень, очень скверно.

Если же всего этого не будет в будущем произведении, то вообще будущего произведения не будет. Из него может выйти «Маскарад», или ничего. Это внутренние закономерности произведения и это его несчастье.

Острота сюжетного действия сценария держится не на развитии этого действия, а на купюрах в развитии. Представьте себе книгу, из которой повыдергивали страницы: часто непонятно, иногда — интересно. Негребецкий<sup>1</sup> делает интригующее заявление об уходе из университета. Кадр. Доска приказов (нужная только для того, чтобы перебить монополию монолога; другой задачи у нее нет). Кадр. Негребецкий: «Вот поэтому я и уйду из университета». Кадр. Прием: пропуск куска.

Это недобросовестный прием. Мы ничего не узнали не потому, что автор такой хитрый, не потому, что это не так сложно, не потому, что нашу мысль ловко направили по ложному следу (чего-чего, а этого умения в мировой литературе всегда хватало, а уж в кино и вовсе), а потому, что автор просто взял и оборвал действие, вырвав страницу, мотивировав обрыв не логикой сюжетосложения, а собственной технологической нуждой.

Прибавлю к этому, чтобы окончательно вывести из себя автора, что его представления о композиции и ее роли в истории русской проселочной дороги, на которую она так похожа, глубоко ошибочны, вредны и даже порочны. Только полной запущенностью самокритики и забвением самого прогрессивного способа писать сценарии [Первенцев]<sup>2</sup> можно объяснить такие вещи, как дублирование кусков бала (оба танца), нудную затянутость всего первого куска (стр. 1—13), нестерпимо длинные, как смерть, как роман С. Бабаевского, монологи.

Но все это — лишь то, что П. Верлен иронически и презрительно называет словом «литература». О традиционности идей я говорю в последнюю очередь, потому что исчерпанность идеологического материала, к сожалению, вина не одного этого автора, а легионов его предшественников и современников, вытоптавших цветущее поле русской литературы и еще не раскопавших целину.

Это «литература», потому что идея вещи — традиционный конфликт чувства с долгом, традиционный конфликт науки, требующий, чтобы ей отдались без остатка, и молодой жизнью, влюбленной в белые розы и черные маски. Это уж как-то, знаете, прямо неприлично. Ну, я понимаю, взять бы еще прогрессивный и свежий материал об одном хорошем мальчике, который [конец фразы стерт и карандашом вписано: завел в лес разбойников. — *Н.Б.*].

---

<sup>1</sup> Можно предположить, что это герой рецензируемого произведения. — *Н.Б.*

<sup>2</sup> Первенцев А.А. — советский писатель, член компартии — рисовал героический характер советской молодежи. — *Н.Б.*



— Позвольте! — лезет автор прямо в физиономию рецензента. — Ведь это же вечный конфликт! Это же античная трагедия, это «Нибелунги», «Божественная комедия», «Гамлет», «Моцарт и Сальери», «Братья Карамазовы», «В поисках за утраченным временем» [так в рукописи. — *Н.Б.*], «Воскресенье», «Облако в штанах»!

— Совершенно верно. Это вечная проблема. Греческая трагедия, «Божественная комедия», «Человеческая комедия»... Именно поэтому ее нужно разрешить не так, как разрешена проблема [стерто. — *Н.Б.*] свадьбы в романе С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды».

### *III. Кино*

Эта вещь смонтирована из обрывков литературы и надежды устроить себе хорошую [жизнь].

Роковой особенностью литературы является то, что она хороша лишь сама по себе.

Во всех остальных случаях она не только мешает, а просто лезет не в свое дело.

Вмешательство литературы в живопись привело к иллюстративности и гниению в передвижничестве. Как хлорная известь, вытравиваю литература из живописи свет и оставила лишь подпись на дощечке и номенклатурный номер.

В театре она переставила акцент с искусства представления на словесный комментарий к действию.

В кино — и особенно в звуковом — литература съела динамический монтаж, и, отделив его пышно разросшимся деревом монолога и лиственной излияний [далее стерто. — *Н.Б.*].

Литература уничтожила специфичность эстетических родов: изобразительных искусств, театра и кинематографа.

После этого она занялась самоуничтожением.

Мы — современники блестящей победы литературы над самой собой и прочим искусством.

Литература, которую автор сценария путает с кинематографом и вообще с искусством, видимые вещи подменила [нрзб] к невидимым и ненужным вещам. Поэтому, когда сценарий будет запущен в производство, многое придется не снимать, а написать на бумажке и вручить эту бумажку зрителю. Только в таком случае станет ясно, что сфотографировано не что-нибудь, а именно «символ вечности», на котором категорично настаивает автор. Сценаристы, отругиваясь, всегда говорят, что не все, написанное ими, нужно снимать, что многие их вдохновенные строфы служат

не объективу, а призваны вдохновлять съемочную группу. Не знаю. Может быть. Твердо знаю лишь, что съемочная группа всегда умоляет сценариста как можно конкретнее называть съемочные объекты, полагая, вероятно не без основания, что вдохновения ей хватает и своего.

Звуковой аккомпанемент первых кусков этого сценария не может быть фиксирован кинематографом. «Тишину», которую автор предлагает записать на пленку, увы, еще никому не удалось сделать не только в кинематографе, но даже в театре. За 130 лет, прошедшие после создания «Бориса Годунова», еще ни разу, ни у кого не вышел финальный кусок из-за ремарки «народ безмолвствует». Кроме того, такая звуковая мелочь, как «скрип двери» и т.п., не может быть услышана, потому что восприятие звукового действия в кино и театре начинается только тогда, когда внимание зала уже прочно фиксировано на зрительном объекте. Только после этого зал может уделить часть восприятия звуку-действию, в этом сценарии заранее обреченному на гибель под мощными ударами Симфонии судьбы.

Упомянутые в произведении разноцветные лучи прожектора заставляют заподозрить автора в нехорошем намерении сделать сценарий цветной лентой. Это, конечно, родилось тоже из любви к самым красивым на свете вещам.

Цветной кинематограф — это новый жанр, а не наведение красоты на старый.

Каждый жанр, кроме своих законов, имеет еще и свой материал.

До сих пор мы видели, что самым благодарным материалом цветного кинематографа были [стерто. — Н.Б.] свадьбы.

Попытка снять в цвете шахту («Донецкие шахтеры»)<sup>1</sup> не может вызвать ничего, кроме улыбки сожаления по нерационально использованным возможностям и загубленным народным денежкам.

Но, увы, кроме этих грустных мыслей, приходит в голову еще более черная: эта вещь с разноцветными лучами подозрительно смахивает на совсем сомнительное дело. Она похожа на оперу. Для того чтобы опере не было очень обидно, я поясню, что имею в виду плохую. Это всякому ясно, что уж когда дело доходит до сравнения с оперой, то, несомненно, имеется в виду плохая опера. И, действительно, из бесчисленного множества опер, написанных за четыре века ее истории, хороших осталось ничтожно мало. Форма — это не одежда материала, а реконструкция его и вмешательство в его суверенитет.

Звуковое кино, пришедшее на смену немому, не просто вложило речи в безмолвствовавшие уста, но перевело язык мимики, жеста, монтажа на

<sup>1</sup> Фильм 1951 года, получивший Сталинскую премию второй степени. — Н.Б.

язык речевого высказывания, сняло повышенную выразительность кадра, снизило психологическую задачу и перестало заниматься своим главным делом — показыванием, — подменив это главное дело рассказом, и заменило кинематографию литературой.

Это неизбежно. Так же, как с появлением автомобиля неумолимо гибнет лошадиная упряжка, несмотря на ее высокие эстетические достоинства и выдающуюся роль в мировой литературе. Нужно быть очень традиционным автором, чтобы вздохнуть по лошадиной упряжке. Но еще более нелепо прививать автомобилю свойства лошади. Каждый жанр существует по своим законам. Заставлять кинематограф существовать по законам литературы — то же самое, что заставлять автомобиль ржать и махать хвостом.

Кинематограф из-за своей повышенной моторики не в состоянии фиксировать внимание на тонкостях нюансировки, и поэтому цветное кино не занимается пустяками, а фиксирует только серьезные и крупные вещи: баб в неистово желтых кофтах, рыжих жеребцов, [стерто. — *Н.Б.*] синее небо и черную империалистическую реакцию.

На меньшее оно не разменивается.

Кино, более всех искусств зависимое от техники, естественно подгоняется этой техникой. Оно ищет эстетический эквивалент своих огромных технических возможностей. История развития кино — это печальная история умирания жанра, пожираемого театром, литературой и техникой. Это горькая история превращения искусства в «отражение жизни» наиболее технически совершенными способами. Так возникло звуковое, цветное и стереоскопическое кино, занимающееся не своим делом.

Появление кинематографа было явлением совершенно выходящим за порог представлений человека об истории искусств. За семь с половиной тысяч лет древней, средней и новой истории население планеты слишком привыкло к тому, что литература, архитектура, скульптура, живопись, музыка, танец и театр существуют с того дня, когда Бог создал небо и землю. Появление кинематографа было не только неожиданно, но, казалось, не из чего не вытекающим и вообще ненужным. Это была шутка и трюк. Его появление, лишь в незначительной степени подготовленное фотографией, было неизмеримо более спонтанным, нежели появление театра, родившегося еще в синкретическую пору у костра, из танца, музыки и визга дикаря.

Смерть кинематографа наступила не из-за его превращений и неумолимо возрастающего технического совершенства, но из-за того, что он, науськиваемый литературой, вместо того чтобы заниматься своим делом, стал ржать и махать хвостом.

## IV. Эстетика

Я не стал бы писать о языке этой вещи (потому, что о плохом языке таких вещей написано достаточно много увлекательного и смешного), если бы плохой язык ее был следствием лишь того, что автор просто плохой писатель. Но, к сожалению, это несколько сложнее, потому что автор не просто плохой писатель, но такой писатель, который думает, что он хороший. Ему очень нравится то, что он делает, и, дай ему волю, он заставил бы всех делать так, как делает сам. В связи с тем что нам дорога судьба отечественной литературы, мы постараемся сделать так, чтобы эта воля ему не была дана.

Я пишу эту статью не для того, чтобы исправить рецензируемое произведение — это сделать невозможно, — но для того, чтобы раздавить и уничтожить его. Поэтому все, о чем я говорю здесь, нужно лишь для того, чтобы скомпрометировать вещь и вызвать к ней отвращение. Так как она еще и написана как раз нужным для моей цели плохим языком, то можете не сомневаться, что я не упущу прекрасной возможности лишний раз напомнить об этом. Так как автор весьма последователен, то язык его не просто плох, а плох последовательно и каузально: он благородно традиционен и слишком кошмарно красив. Как белые розы. Как незнакомка на балу. Как сказочные грезы, легенды, феи, чародеи, 12 ударов часов и Симфония судьбы.

Я бы промолчал, если бы этот сценарий был написан для немого кинематографа, в котором вопросы языка частное дело автора, съемочной группы и редакционного отдела. Но, конечно, он написан для звукового кино, и поэтому вопросы языка из технических превращаются в идеологические. Тем важнее то, что он делает. Тем хуже то, что он делает. Делает же он то, что делать ни в коем случае не следует. Мне придется цитировать автора сценария, и поэтому я должен предупредить, что эти места не будут лучшими в моей статье.

1. Аккорд оркестра. «Аккорд, -А, м. [ит.]. Сочетание нескольких одновременно звучащих музыкальных тонов»: Словарь русского языка. Составил С.И. Ожегов. М., 1949 г.; «Аккорд — фр.[*accord*] < гр. [*chordé* — струна] — муз. созвучие нескольких (не менее трех) тонов, воспринимаемых слухом как звуковое единство». Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. Под ред. Т.М. Капельзона. М. 1933 г.; «Аккорд — созвучие; взять а значит произвести одновременно несколько звуков, дающих гармонию». Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. СПб., 1907 г. Во всех приведенных определениях совпадает толкование аккорда как одновременного созвучия нескольких тонов. Так как оркестр состоит непременно

из нескольких музыкальных инструментов, играющих за редчайшим исключением одновременно, то естественно, что звучание оркестра всегда представляет собой — аккорд. Поэтому выражение «аккорд оркестра» или триумф, или плеоназм, или вместе и то и другое. Во всяком случае, анекдотичность его совершенно очевидна. Но появился этот самый «аккорд» так же не случайно, как появилась красивая героиня в маске и с белыми розами: из любви к кошмарной красоте и смутному представлению о том, какая она бывает.

2. **Вощеный пол.** Правильно — «навощенный». Хотя — «вощенная бумага».

3. **Немая тишина...** вокруг. Это бессмысленно и ненужно, т.к. речь идет о тишине не вокруг, а в самой комнате. Но так — красивее.

4. **Своды зала.** «Свод, -а м. Дугообразное перекрытие. Словарь русского языка. Очевидно, речь идет не о сводах, а просто о потолке. Но «своды» красивее.

5. **Колонный зал.** Из текста трудно понять, о каком колонном зале идет речь. Но, скорее всего, что это не Колонный зал Дома Союзов. Понятие «Колонный зал» так тесно связано с этим домом, что в случае, когда имеется в виду другой зал, в котором стоят колонны, то, конечно, следует его называть «зал с колоннами».

6. **Нарисовал бы с нее королеву.** «Нарисовал бы с нее...» — так говорят в деревне. Художник *написал бы* и, скорее всего, не *с нее*, а *ее* королевой.

7. **Улыбка действует обворожительно.** Наречие «обворожительно» употребляется без глагола. Следует сказать: «Улыбается обворожительно», или «обворожительная улыбка», или «улыбка обворожила [меня]».

8. **Пылинка, плывущая на длинном солнечном луче.** Очевидно, не на луче, а в луче. «Плыть на луче» (?) при всей противоестественности грамматического порядка еще и нелепо в смысловом значении, т.к. траектория движения пылинки, вне всякого сомнения, представляет собой не прямую линию, образующую луч, а комбинацию кривых и отрезков прямой.

9. **Быстро обнимает и ориентируется.** Нельзя два предиката, не имеющих между собой семантического общения и связанных только морфологическим ходом, объединять (брать) одним обстоятельством образа действия. В крайнем случае, если это уж так необходимо, то следует сказать: «Быстро обнимает. Быстро ориентируется».

10. **Я мог бы дать Вам сегодня обещанную руку.** Такая фраза мыслима, только если речь идет о сотрудниках анатомического театра, ведущих деловой разговор, или о скульпторах, формировавших и т.п.

11. В з д у л о. Глагол, совершенно невысказанный в столь романтической ситуации и в столь романтических устах (диалог маски и юного героя). Он скомпрометирован для столь романтического художественного произведения участием в таких некрасивых фразеологических комплексах, как «вздудло живот», «вздудть огонь», «вздудло труп», «вздудть» в значении «поколотить», «вздудть цены» и т.д.

12. Оно привело Вас уже в заблуждение. Фраза возможна в случае, если подразумевается ее продолжение: «что же еще будет потом», где «потом» противостоит «уже». Но нет сомнения, что ничего подобного не подразумевается. И вообще ничего нет, кроме напыщенности и ложного глубокомыслия.

К сожалению, значительная часть этих языковых уродств, обычно просто исправляемая грамотным редактором, в этом сценарии вряд ли может быть просто исправлена, потому что это язык не только описательной, т.е. технической части, но и драматургической. И если автора, может быть, и удастся когда-нибудь убедить в том, что жантильная красotka не брякнет в ужасно романтическом объяснении кошмарное слово «вздудть», то убедить его в том, что фантастические аксессуары диалога маски и героя не соответствуют банальности, даже вульгарности самой речи, скорее всего, окажется непосильным. Нет никаких благородных авторов сценариев, которых можно было бы убедить в том, что в литературе XX века после рождества Христова неприлично говорить такими белыми розами: «Глубокое мерцание Ваших темно-синих глаз» и прочими цветами красноречия, вроде «ассоциируется с переживаниями», [нрзб. — Н.Б.], «интуиция» и т.д.

---

Человек стремится к красоте лишь в малой степени по биологической потребности, но главным образом по требованию своего социального опыта. Поэтому он чаще всего путает то, что биологически красиво и исторически закономерно, с тем, что посоветовали ему соседи.

Люди охотнее и быстрее согласились с преимуществом и неизбежностью автомобиля, наехавшего на лошадь, чем с мало заметным для них развитием красоты от египетской фрески, танца у костра и библейского эпоса до позднего Серова, раннего Шостаковича и Пастернака.

Так как большая часть человечества лишена биологического чувства прекрасного, то она слушается соседей, имеющих социальный опыт. Соседи же говорят, что Ярошенко и Направник лучше Серова и Шостаковича.

Эстетическая история человечества не является повторением одной лишь части его естественной истории — истории его тела, но является проявлением еще и другой части этой же истории — социологии.

Биологическая эволюция разных частей человеческого тела шла крайне неровно, но всегда подчинялась законам естественного отбора.

В этой истории далеко не все равноценно, и история ноги не представляет выдающегося интереса, потому что в фазисах социальных превращений ноги за тысячелетия от дикаря до балерины, стоящей на пунанте цивилизации, не произошло ничего особенно существенного. Нога не сыграла в истории мировой цивилизации решающей роли. Даже в литературе, специально оговаривающей ногу («Илиада»), автор, фактически, подменяет ее рукой. Так, во всей эпосе ноги Ахиллеса применяются лишь один раз, и то неудачно: Пелид трижды обегает следом за Геркулесом вокруг Илиона и догоняет его лишь потому, что Гектор останавливается сам. Руки же Ахиллеса мелькают по многим страницам эпоса.

В отличие от истории ноги, эволюция центральной нервной системы является историей человеческого общества.

Но не следует подменять общественную историю, являющуюся лишь частью биологии, всей биологией (как не следует подменять мозгом всего человека), а историю искусств — ногой.

Историк должен помнить о биологии, но изучать — историю, потому что если он будет смешивать оба предмета, то не исключено, что вместо вопросов социальных взаимоотношений человеческого общества он станет изучать ноги.

История — это лишь синекдоха биологии.

История искусств неизмеримо подвижнее биологической истории — эволюции.

Так как красота является производением биологии, а биология за историческое время осталась неизменной, то сам собой напрашивается силлогизм с простенькими посылками и простеньким выводом: красота — производное биологии; биология — неизменна; красота неизменна.

Очень просто и очень удобно. Для тех, кто пишет плохо, думает, что другие писали так же, как и они, и что всегда так будет.

Но, кроме их творчества и кроме их силлогизмов, [стерт большой кусок текста. — Н.Б.] существует еще реальная история искусств, которая вопиет против заклинания: — Стой и не движись! — И красота не стоит. Она движется. От египетской фрески, танца у костра и библейского эпоса до великого искусства современности. Но силлогизм и соседи по квартире не слушают. Они бьют по морде и методически настаивают на том, что настоящая красота была сначала только у эллинов, а потом стала только у передвижников, а сейчас стоит только у них. Все же остальные лишь портили красоту. Поэтому ясно, что у искусства не может быть истории, а может быть лишь описание красивых мраморных и бронзовых памятников,

удачные попытки всех подогнать под греческий камень [стерто полстрочки. — Н.Б.].

Инерция представления о красоте как неколебимой биологии и исторической апперцепции привела в искусстве к замене неповторимо-искренного, т.е. оригинального произведения, традиционностью и манерничаньем.

Это не две сестры, а — одна.

Инерция и соседи даже авторов [стерта треть строчки. — Н.Б.] нашего века при всем их кошмарном радикализме лишь возвратили в хорошо обжитой дом с традициями. Разница лишь в том, что они прошли через черный ход [нрзб. — Н.Б.]. Но прошли они как бедные родственники: не имея ничего своего.

Современное искусство должно продолжать не традиции 80-х годов прошлого века, а засесть за изучение искусства 20-х годов нынешнего.

В истории эстетического развития человечества мы отстали на 75 лет и топчемся на 80-м месте.

Попытка [стерто. — Н.Б.] авторов уйти от проблематики и творческого метода С. Бабаевского осуществляется лишь по линии элементарного отталкивания. Но в 5-м классе учительница физики учит нас, что отталкиваются полюса с одинаковым по знаку зарядом. Я не вижу существенной разницы между романами С. Бабаевского и сценарием рецензируемого автора.

Борьба с искусством С. Бабаевского и рецензируемого автора должна стать борьбой с искусством отражения жизни за искусство объяснения жизни.

Все, что я читал в рукописях за последние годы, обладало одной бесспорной закономерностью. Этой закономерностью был преисполненный изящества, элегантности и елочных украшений романтизм.

Сии прелестные цветы поэтического слога, неколеблемые ниже коварным Нотом, ниже благоухающим Зефиром, ниже угрюмым Бореєм, зело волновали лилейные перси метрессок наших дедушек.

Наших метрессок они не волнуют.

Изящность и элегантность сего романтизма — это прелести мышино-го жеребчика, ибо сей романтизм был еще *bel ami* В. Гюго и волочился за м-ме Ж. Санд.

Он старомоден, как сюртук из спектакля Малого театра.

Апокрифические авторы отталкиваются от С. Бабаевского, [полагая, что они отражают] окружающую действительность.

С ними происходит то же самое, что с горьковской Настей («На дне»), одержимой страстью к романам с непереносимо красивыми виконтами.

Мы [плохо отражаем] реалистическую окружающую действительность, и поэтому нас потянуло на красивых виконтов.



Мы [«Мы» — стерто, заменено на «Вы» . — *Н.Б.*] не уверены в своем будущем, и поэтому нас тянет к прошлому, воспетому в прекрасных симфониях.

Нашей судьбе не хватает иронии.

Для этого мы слишком любим себя. Нам никогда не хватало самоотверженности.

Лучшее, что мы умеем, — это нравиться женщинам.

Но художник вмешивается в историю не изящной словесностью — прекрасными словами и нетленными рифмами, — но громкой речью о трагической неблагополучности века.

И Смерть Поэта была так важна и прекрасна, как важны и прекрасны его книги.

*Февраль 1955 г., Арк. Белинков<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Дата проставлена автором. — *Н.Б.*

## Глава 3

Наталья Белинкова

### ПОИСКИ ЖАНРА

Выбор жанра и особенно его преобладание или убыль в каждый исторический период находятся в прямой связи с потребностями времени.

А. Белинков

*Государственный экзамен. Статья о Блоке. Попытки вернуться к прозе. Литературная поденщина. Литературоведение как ширма. Декабристы.*

Бывшие «враги народа» реабилитированы. КГБ занимает выжидательную позицию. Жертвы культа личности окружены заботливым вниманием прозревающего общества. Освобожденные заключенные привыкают к «большой зоне».

Аркадий рассказывал Максу Хейуорду в Америке:

*«Мир оказался иным и непохожим на тот, который я оставил в разгар войны. Вместо черных бумажных штор светомаскировки появились нарядные тюлевые гардины. Это я еще понять мог. Но уже дальше начались неразгаданные тайны.*

*Представьте себе деревянный полированный ящик с застекленной передней стенкой. Достаточно повернуть некую блестящую круглую штучку, и через минуту, к своему крайнему изумлению, лагерный дикарь видит нечто совершенно фантастическое: ходящих, говорящих людей, несущиеся автомобили, плывущие облака. Чудище имело название — телевизор.*

*Холодильники, электробритва — все это было прекрасно.*

*Единственное, что было узнано мгновенно, — это были человеческие горести и обиды, тревоги и беды. Среди них были и такие, которые потрясли меня своей всечеловеческой значительностью и щемящей скорбью: у жены секретаря правления Союза писателей СССР, народной артистки СССР Ангелины Осиповны Степановой украли шляпу. Мир был мелок, ничтожен и пуст. Люди страдали и заставляли страдать других из-за болонок, переделкинских дач и статей в газетах. Мы только что вернулись из великих категорий жизни и смерти, добра и зла, и жизнь эта была*

нам чужой и ненужной. Настоящая жизнь была в тюрьме. В ней не было ничего лишнего» (из неопубликованного интервью для журнала «Тайм»).

Аркадий был в другой Москве.

Его учителя — бунтари старшего поколения — или были уничтожены, или приспособились к режиму применительно к своей совести. (Взаимоотношениям Аркадия с некоторыми из них будет посвящена глава «Учителя и ученик».) Недосчитался он и своих сверстников. Одни погибли во время Отечественной войны, другие стали жертвами отечественного террора, третьи завоевали свое место на социальной лестнице. Среди них были и бывшие мушкетеры. Были и такие, что чванились своими успехами перед отставшим от них «неудачником». А один бывший фронтовик, служивший в СМЕРШе, откровенно признался: «Попадись ты мне тогда — расстрелял бы». Мне не хочется называть их имен.

Особняком стояли скульпторы и художники. Профессиональных связей у Аркадия с ними не было, но именно они оставили интересные литературные заметки о Белинкове<sup>1</sup>.

Девушки, которых он любил, давно вышли замуж.

Та, которую он встретил в лагере и которую назвал на допросе по второму делу своей женой, освободилась раньше него. По дороге домой она останавливалась у родителей Аркадия. Женщина увезла свою малолетнюю дочь, переменяла фамилию и адреса не оставила. (Девочку Аркадию так никогда и не довелось увидеть, а ее увеличенная фотография навсегда оставалась на стене квартиры старших Белинковых.)

Ища покоя и стабильности, Аркадий по возвращении женился было на женщине схожей судьбы, бывшей лагернице, и через две недели развелся. Схожесть судьбы не компенсировала несхожести характеров и интересов: «Она ела мучное и вязала фиолетовую кофту».

В этом чужом и ненужном мире шла своя, свойственная мирному времени жизнь. И к ней надо было привыкать.

Белинков начал заново с Литературного института.

Кроме сдачи экзаменов (часть ведомостей пропала во время войны) и новой дипломной работы (на этот раз он остановился на исторических романах Тынянова) предстояло выдержать государственный экзамен.

Везет же! Первый вопрос в билете — «Русский исторический роман».

«Мы ленивы и нелюбопытны. Вы помните, кто это сказал?» — начал он свой ответ.

---

<sup>1</sup> Лемпорт В. Эллипсы судьбы // Время и мы. 1991. № 113. С. 159; Сидур В. Памятник современному состоянию. М., 2002. С. 39.

«Вы забываетесь. Это не Вы *н а с*, а мы *В а с* экзаменуем», — отпарировал председатель экзаменационной комиссии, он же и директор Литературного института, Иван Серегин.

Пришлось студенту отвечать на собственный вопрос: «Это в “Путешествии в Арзрум” сказал Пушкин».

По дороге в Арзрум Пушкин случайно встретил арбу, на которой лежало обезображенное тело автора «Горя от ума». Объясняя, кого сопровождает, возница сказал: «Грибоеда». Историческая правда и ее искажение, случайность и закономерность, прорастание исторического семени в будущее... Было бы о чем поговорить с коллегами.

Разговора не вышло, но экзамен сдан, диплом получен, и Аркадий Белинков принят на работу руководителем семинара по теории стиха в том же самом Литературном институте. Его, прошедшего блестящую школу Сельвинского и Шенгели, должно быть, раздражала ограниченность будущих пиратов пера: «Спрашиваю: “Каким размером написано это стихотворение?” А он, прижав руки к животу и покручивая большим пальцем одной руки вокруг большого пальца другой, отвечает: “Приблизительно ямбом”. Приблизительно!»

Студенческая аудитория явно не походила на внимательную лагерную. Неудовольствие было взаимным. Последовала жалоба и, как результат, увольнение с работы. Аркадий принял это легко. Быть в конфликте с начальством — его естественное состояние. Справка об инвалидности из ВТЭКа и членство в Группоме литераторов при Литфонде защищали его от обвинения в тунеядстве. («Тунеядство» — юридический термин советского законодательства, перекочевавший в историю русской литературы после суда над Бродским.)

Источником заработка бывшего заключенного поначалу стали внутренние рецензии в «Новом мире» и издательстве «Советский писатель».

Как пишутся такие рецензии? Поступающий в редакцию материал — чаще всего «самотек» — бегло просматривается рецензентом. Он профессионал. Ему сразу видно, что к чему. Он отчеркивает два-три куса в тексте, чтобы потом их процитировать, берет чистый лист бумаги, прокручивает его через валик машинки и: «Уважаемый товарищ имярек. Вы затронули очень важную тему. Но, к сожалению...» Одна-две страницы. Полчаса, от силы час. Рецензия готова. Он относит работу в редакцию и получает за нее ничтожный гонорар.

Аркадий писал свои рецензии с черновиками, поправками, тщательной отделкой фразы. Делал серьезные выкладки. Шутил. На это уходило полдня, день, а то и два. В «Новом мире» пытались автора урезонить: «Аркадий Викторович, это только для заработка!» Но что поделаешь, если он и письма, и заявления писал с черновиками? «Тогда — решили — пусть Наташа пишет, а Вы занимайтесь своим делом!» В результате я, действи-

тельно, стала писать для журнала, в частности в разделе «Коротко о книгах». Но это, конечно, не избавило Аркадия от поденной работы.

В первые годы своего пребывания на свободе он был полон надежд и писал другу, находившемуся в ссылке: «...в истории русской литературы уже начался процесс исчерпанности метода, который удовлетворял общественную потребность на протяжении последних двадцати пяти лет. Я живу с твердым литературоведческим и физиологическим убеждением, что пришло время решительных, резких, недовольных и строго профессиональных книг».

Через 12 лет Аркадий оценил и определил границы «Оттепели» иначе: «Что меня особенно поразило и обрадовало, так это то, что я думал, будто бы все — сталинисты и бериевцы, а вдруг — прекрасное разочарование — оказалось, что их никогда и не было. Узнал я об этом не от своих ближайших друзей или от невесты Наташи, а из первоисточника: от Софронова, Кочетова и Грибачева, которые с необыкновенным оживлением выступали на всех собраниях, призывая во имя партии и народа бороться с культом личности и его последствиями.

Дышал я все тем же воздухом советской литературы, которая в эти дни стреляла из пушек по моим венгерским друзьям, а в Москве палила по моим литературным друзьям. Из недр ЦК выпорхнула фраза: «Вы что? Венгрию захотели?» И в доказательство того, что в России они Венгрии не позволят, было устроено общественно-показательное судилище над Дудинцевым, написавшим роман «Не хлебом единым»».

На этом кончилась славная эпоха великого русского либерализма — она продолжалась ровно семь месяцев» (из неопубликованного интервью для журнала «Тайм»).

Вектор либерализма неуклонно шел вниз, но, как-никак, дотянулся до 1964 года. В течение еще нескольких лет решительные книги, хотя и с трудом, прорывались через цензуру. Для самого Аркадия время недовольных книг на своей родине кончилось в 1968-м.

«Оттепель» ознаменовалась созданием «Краткой литературной энциклопедии» в Государственном издательстве «Советская энциклопедия». Шкловский познакомил Аркадия с Абрамом Александровичем Белкиным из редакции Литературы и языка КЛЭ, во время борьбы с космополитизмом уволенным из МГУ. Оба быстро нашли общий язык, и бывший зэк принял самое активное участие в подготовке КЛЭ к изданию: и как составитель словника, и как автор.

Его первой ответственной работой была типовая статья о Блоке.

Представление о последних днях Блока (как и Есенина, как и Маяковского, как и многих других) в то время было туманным. Надо было разыскать сведения об обстоятельствах смерти поэта и написать об этом так,

чтобы пропустила цензура. Аркадий рылся в спецхранах библиотек, в архивах, встречался с современниками «трагического тенора эпохи». Ему удалось повидаться с очевидцем событий тех лет И.Г. Ольшанским, в столе которого лежали и ждали своего часа теперь известные, а тогда ошеломляющие неожиданностью воспоминания. Благодаря Корнею Ивановичу Чуковскому Аркадий ознакомился даже с предсмертной запиской поэта, упоминанием о которой и хотел закончить свою работу.

Типовая статья обычно заказывается двум авторам. Одновременно с Белинковым над статьей о Блоке трудился критик О. Михайлов.

Статей — две и концовки две. Одна — «Я болен... Сlopала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». Другая — «В историю русской литературы Блок вошел как крупнейший лирик, личный мир которого принял в себя исторические катаклизмы века, как поэт-новатор, далеко раздвинувший возможности русского стиха». Редакции предстояло выбирать между катаклизмами и чушкой. Если бы «да взять развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому дородности Ивана Павловича...». Работы обоих критиков разорвали пополам. Разные половинки соединили. Статья о Блоке получила двух соавторов, которые даже не были знакомы друг с другом.

Статьи Белинкова в других томах были посвящены литературоведам, критикам и историкам литературы: Ю.И. Айхенвальду, С.М. Бонди, М.Д. Гершензону, Л.П. Гроссману, С.А. Венгерову, Ю.Г. Оксману и др. (Об Оксмани более подробно будет рассказано в главе «Учителя и ученик».)

Когда в КЛЭ подошли к статье о Пушкине, Белкин предложил ее Белинкову. Аркадий был не польщен — потрясен. И со слезами на глазах отказался от высокой чести, уверенный, что его трактовка пушкинской судьбы и творчества безнадежно разойдется с советской. Статью о Пушкине для шестого тома написал Б.С. Мейлах.

Не ищите в КЛЭ статьи о самом Белинкове, хотя его молодые сотоварищи по трудному писательскому ремеслу уже вальяжно располагались на ее страницах: либо он был еще недостаточно известной фигурой, либо уже одиозной.

Казалось бы, перед человеком, освобожденным от каждодневной трудовой повинности в рамках сорокачасовой рабочей недели, открывалось широкое поле деятельности свободного художника. Но он жил в стране, обремененной цензурой, ожидал реставрации сталинизма и чувствовал себя, как и его герой в «Черновике чувств», внутренним эмигрантом. Надо было найти такую нишу, где он был бы более или менее свободен.

Чем конкретно он может заняться? Внутренние рецензии и статьи для энциклопедии — дело побочное. Возвращаться к стихам? Лета клонили к

суровой прозе. Художественная литература? Он уже отсидел за нее двадцать с половиной лет. Может быть, заняться исторической прозой?

Особенно его привлекала Россия первой половины XIX века с ее расцветавшими и несвершившимися надеждами. Все было так похоже! Дворцовые перевороты, реформы, цензура, поиски теплых местечек, тайные планы ревнителей свободы, «временное неограниченное правление», по замыслу Пестеля похожее на диктатуру без ограничений. Поэт, противостоящий черни. Растерянное поведение декабристов на следствии. Творческое бесплодие автора великой комедии после перехода на службу самодержавию.

И все стало стягиваться к проблемам исторического романа: архивные раскопки, запросы в отделы специального хранения библиотек, расспросы историков (Западов, Оксман), задушевные и захватывающие разговоры с Натаном Эйдельманом. Аркадий начал присматриваться к пышным голубым и розовым дамочкам в золотых рамах Третьяковской галереи как к героиням своих будущих произведений. «Видишь эту красавицу?» — указывал мне Аркадий на придворную даму, затянутую в корсет (атлас и кружево, и мопс на пухлых ручках) — и шепотом: «А я знаю, что у нее родинка под левой грудью...»

Аркадий взялся было за жизнеописание Владимира Ивановича Даля и даже разыскал первое слово, положившее начало знаменитому словарю, «замолаживает». Потом принялся за роман «Мишель Лермонтов», но оборвал его на первых страницах. Задумал многоплановую эпопею о переходном времени от Павла I к Александру I, которая начиналась бы словами: «Идут убийцы потаенны...»

Исторического романа он так и не написал. Он понимал, что выдаст себя с головой в художественном произведении любого жанра. Белинков был художником самовыражения, а не перевоплощения. Нужно было искать что-то совсем иное.

Может быть, литературоведение? Не вообще литературоведение, а, например, исследование исторических романов. Уж так ли резко прочерчена граница между историей и действительностью? Может быть, удастся незаметно переходить из одной эпохи в другую? Пусть за него высказываются герои его исследований. Или, еще лучше, персонажи их произведений! Больше всего для его намерений подходило творчество Юрия Тынянова с его знаменитой формулой: «Где кончается документ, там я начинаю».

Своими литературными намерениями, надеждами и разочарованиями Аркадий делился со своим однодельцем. Письма ему включены в эту главу.

Через четыре года после возвращения Белинков выпустил своего «Юрия Тынянова», принесшего ему известность. Его первая опубликован-

ная книга привлекала внимание сочным языком художественной прозы, что давало большие возможности для обхода цензуры. Возникал вопрос: «Аркадий Белинков — прозаик или литературовед?» После запоздалой публикации «Черновика чувств» на этот вопрос можно ответить: Аркадий Белинков — прозаик, вынужденный стать литературоведом.

Придуманый им метод обхода цензуры, казалось, был так хорош, что, не дожидаясь выхода «Тынянова» в свет, Аркадий обратился к другому автору исторических романов, Ольге Форш:

*«17.2.60 Москва*

*Дорогая Ольга Дмитриевна!*

*В декабре 1958 года я закончил книгу о Ю.Н. Тынянове, и после года всяческих мытарств она была подписана в набор.*

*Книга переделывалась, передумывалась. Тынянов-ученый, о котором сначала книга была написана, был сдвинут в придаточное предложение, и главным стал вопрос об историческом романе, о том, почему в двадцатые годы был создан великий исторический роман, а в послевоенную пору возобладала традиция Анатолия Виноградова и появились книги, которые знакомят самого прогрессивного и внимательного читателя с малоизвестной ему эпохой и туалетами и которые доставляют истинное наслаждение. Книга о Тынянове стала книгой об историческом романе. Это не было моей целью, поэтому книга получилась не о том, о чем она должна была быть. Она должна была быть о Тынянове-ученом, а ей разрешили стать о Тынянове-романисте. Обстоятельства повернули книгу к историческому роману, превращение сделало ее звеном серии. Серия должна быть такая: русский исторический роман XIX—XX веков. Юрий Тынянов. Ольга Форш. У меня такое ощущение, что между первой книгой и двумя последующими не хватает переходной книги, потому что русский исторический роман XIX—XX веков — это главным образом роман о событиях, он не биографичен, а романы Ю.Н. Тынянова и Ваши — преимущественно романы о характерах».*

Письмо не закончено, по наброскам к нему отчетливо видно, где автор собирается искать источники и корни злодеяний своего собственного времени:

*«Я хочу написать, что в Ваших книгах ведется спор века нынешнего с веком минувшим — спор равных.*

*О преемственности истории, эпох, культур.*

*О том, что границы эпох отгорожены не колючей проволокой, а линией, проведенной кистью по влажной бумаге.*

*О том, что эпоха входит в эпоху,*

*... как образ входит в образ  
и как предмет сечет предмет...»*



Сохранилось и начало заявки Белинкова на книгу об Ольге Форш. Он собирался подать ее в издательство «Советский писатель» и просить, чтобы редактором была Е.Ф. Книпович — редактор книги «Юрий Тынянов».

*«Писателю 87 лет. 60 лет писатель работает в русской литературе. Он написал 8 романов, больше двух десятков рассказов и больше сотни статей. У него 10 томов собрания сочинений. Книги его изданы четвертьмиллионным тиражом и переведены на десяток иностранных языков. О творчестве писателя написано полсотни статей, объем которых превышает любой из романов писателя. Эти работы напечатаны в старых журналах, вместе с журналами устарели и читателю недоступны.*

*Век русской истории проходит в романах и рассказах Ольги Форш...»*

Серия о русском историческом романе двух веков не осуществилась. Писатель все же не удержался и перешел по полю истории в собственное время, не через колючую проволоку, а по влажной, размытой границе. Книга о Тынянове, художнике лояльном по отношению к власти, стала звеном другой серии — трилогии о художниках, выбравших один из возможных вариантов взаимоотношения с тоталитарной властью: лояльный, сопротивляющийся, сдавшийся. Заметим, что речь не шла о софронových-кочетовых-грибачевых, изначально и безоговорочно вставших на сторону власть имущих.

В том же шестидесятом году Белинков подал заявку в издательство «Советский писатель» на книгу «Писатель и история»: *«Я бы хотел написать книгу о влиянии на писателя истории, действительности, в которой он живет, о взаимоотношениях писателя и времени...»*

Центральной фигурой такой книги он намеревался сделать Виктора Шкловского. Для себя на клочке бумаги Аркадий записал: *«Это не критико-биографический очерк, а исследование о социальных и политических идеях. Книга будет густо заселена (Горький, Маяковский, А. Толстой). Шкловский будет лишь косточкой, которая обрастет мясом советской литературы и идеологии.»*

Еще одна заявка на книгу, на этот раз о поэте, который тоже *«рос и мужал вместе с веком»*, — Илье Сельвинском была подана в издательство «Художественная литература».

На самом деле вместо «мужания» Аркадий намеревался писать о разложении, распаде, деградации целого слоя в советской писательской среде, что он и сделал на примере Юрия Карловича в книге «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Отрывки из нее впервые появились далеко от столичных издательств в журнале «Байкал» восемь лет спустя.

На перекрестке между историей и современностью Аркадий увидел фигуру, резко выделявшуюся из толпы деградирующих, — Анну Ахматову. Особое его внимание привлекли работы поэтессы о Пушкине, в частности о сказке «О царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе

Гвидоне Салтановиче и о царевне Лебеди». Сам он увидел в этой сказке крайнюю форму сатирического выражения и большие возможности для себя. Пока же он предлагал статью «Пушкин в творчестве Анны Ахматовой» Твардовскому в «Новый мир». Предложение было отвергнуто. Время для возвращения Ахматовой в русскую литературу наступило не скоро.

Несмотря на то что выбор жанра, в котором ему предстояло работать, был сделан и он сосредоточился на трилогии, требовали внимания текущие литературные настроения.

В шестидесятые годы, характерные, кроме всего прочего, первой серьезной ревизией советской историографии, одной из ведущих в сознании оппозиционной интеллигенции была декабристская тема. На ней сформировался, как выдающийся ученый, Натан Эйдельман, написавший своего «Лунина». С восторгом в оппозиционных кругах принималась книга А. Лебедева «Чаадаев». О декабристах пропел «Петербургский романс» Александр Галич. Булата Окуджаву занимали декабристы в романе «Бедный Авросимов». Собирал материалы для исследования о Рылееве Ю.Г. Оксман. Леонид Зорин написал своих «Декабристов», с успехом поставленных в театре «Современник».

Прошли декабристы и по белинковскому «Тынянову», а оттуда даже заглянули в рецензию Аркадия на пьесу Булата Окуджавы «Глоток свободы» для «Отдела распространения Всенародного управления по охране авторских прав». Большую часть черновика этой рецензии, размером около одного печатного листа, составляют авторские размышления о причинах поражения восстания декабристов, о том, что такое свобода, о языке исторического произведения. Собственно оценка пьесы (увы, весьма не лестная) уместилась на половине страницы, представляя собой скорее вопрос самому себе: «Неужели этот талантливый человек через сто сорок три года после декабрьского восстания, о котором написано несосчитанное количество книг, которое вошло как одно из важнейших событий в русскую историю и без которого ее изучение в самых разных темах представляется невозможным, — неужели этот талантливый человек хотел сообщить нам несколько сомнительных школьных прописей с помощью нескольких сотен невыразительных реплик, произносимых людьми, не обладающими ни умом, ни характером?» Беспощадную требовательность к себе Белинков распространял и на других.

Как выглядел окончательный вариант рецензии, видел ли ее Окуджаву, и если видел, то как это отразилось на переделке пьесы в исторический роман «Бедный Авросимов», остается невыясненным.

Повышенный интерес к декабристам захватил не только историко-литературные круги. Как-то зашли мы с Аркадием в антикварный магазин на Арбате. К нему быстренько подбежал продавец и попросил опознать портрет на старинной миниатюре: коллекционеры знали, что он разбирается

в атрибуции памятников искусства. В этот раз овальную белую величиной с детскую ладонь миниатюру обсуждали долго, разглядывали ее с обеих сторон в лупу, поворачивали ее то так, то сяк, мне казалось, что даже обнюхивали, и пришли к выводу, что это портрет Рылеева. Абсолютной уверенности в подлинности миниатюры не было, и за нее запросили сравнительно недорого. Мы наскребли необходимую сумму, купили портрет и понесли его в подарок Юлиану Григорьевичу Оксману. Только вошли — телефонный звонок. Шкловский сообщал, что по Москве ходит портрет Рылеева. Впоследствии он ревниво пенял Аркадию, что портрет достался не ему. Кажется, Оксман в конце концов переподал его Шкловскому.

Но давней ли историей были озабочены люди, оглядывающиеся на декабристов? Один литератор (Я.А. Гордин) ответил на этот вопрос такой формулировкой: «Занятие историей как оппозиционный акт». Парадокс! Действительно, обращение к истории стало общепринятым средством эзопова языка. Белинков объяснил это по-своему: «История приставлена к современности, как мальчик для битья при принце Уэльском. Мальчик несет наказание за преступления принца». Конечно, это было жестоко по отношению к бедному мальчику. Но такая игра, как метод обхода цензуры, была принята на вооружение. На явную несправедливость читатели закрывали глаза.

Исторические аллюзии, метафоры, параллели до поры до времени цензуру обманывали. Но «Оттепель» кончалась, как тогда говорили, марзам крепчал и подтекст стал просачиваться на поверхность. «Сталинизм» уже трудно было прикрыть «неограниченным правлением», а «идеологическую пропаганду» — «барабанами империи». Началось размежевание в обществе. Одни поспешили присоединиться к осуждению Пастернака, Синявского, Даниэля, Бродского, обеспечив себе житейское спокойствие. Другие ушли в подполье — самая короткая дорога до лагерей. С многочисленных магнитофонов срывалась песня Галича:

Уходят, уходят, уходят друзья,  
Одни в никуда, а другие в князья...

Надвигался юбилей — 50-летие Октябрьской революции, чем реставраторы сталинизма не замедлили воспользоваться. От литераторов теперь ждали высокоидейных творений, от музыкантов — бравурных маршей, от художников — жизнеутверждающих полотен, от театров — оптимистических спектаклей.

Писатели не могли прорваться через издательский заслон. Отвергая неугодные рукописи, редакторы притворно вздыхали и сочувственно разводили руками — «Такой год!». Как будто намекали авторам на то, во что не верили сами: «все еще, может быть, обойдется».

Фрондирующие режиссеры попробовали было спрятаться за Шекспира, но министр культуры Фурцева сумела одержать победу над великим драматургом. «Там короли и борьба за власть!» — заявила она, невольно признаваясь, что борьба за власть — актуальная, но нежелательная тема.

Пришлось обратиться к темам революционным.

Театр «Современник» поставил спектакль по пьесе Леонида Зорина «Декабристы» (режиссер Олег Ефремов). Драматург счастливо избежал показной хрестоматийности, в его пьесе закачались на весах принятые в литературоведении устойчивые сочетания: «героизм и декабристы», «нравственность и революция».

Случилось так, что в это время Аркадий работал над вставкой для третьего издания «Юрия Тынянова», в которой далеко отходил от стереотипа, принятого советской исторической наукой: декабристы — это обязательно «рыцари без страха и упрека» (по Ленину). Он настаивал на том, что далекие предшественники Октябрьской революции после захвата власти готовили такое государственное устройство, которое сильно смахивало бы на заурядную диктатуру — речь шла о *неограниченном правлении* (по Пестелю).

Работа на одном материале и сходная трактовка событий полуторавековой давности настолько сблизили обоих писателей, что Зорин пригласил Белинкова выступить перед актерами до начала репетиций.

Леонид Генрихович вспоминает, как красочно Аркадий описывал XIX век и с каким напряженным вниманием актеры его слушали<sup>1</sup>. Мне случилось быть на этой лекции. По-моему, они слушали это выступление со страхом. Еще бы! Аркадий говорил, что судьба восстания декабристов оказалась роковой для нашей истории: «Мы стали наследниками самого худшего исторического варианта». В устной речи его умение пользоваться эзоповым языком, кажется, ему изменило.

Ефремов поставил спектакль, в котором ловко обошел цензуру. Когда зоринские декабристы азартно спорили о временном *неограниченном правлении*, актеры заменяли слова мимикой, жестами, шептали что-то на ухо друг другу. Не могла же цензура запретить слова, которые не были произнесены! А зал раздражался аплодисментами.

Узнав о причастности Белинкова к «Декабристам», главный редактор журнала «Театр» Юрий Рыбаков предложил ему написать рецензию на спектакль. Аркадий посчитал было, что превратить вставку в рецензию не составит большого труда, надо только переложить свой почти готовый текст репликами из пьесы Зорина. Так много было общего! Но засомневался, проскочит ли его рецензия через цензуру?

<sup>1</sup> Зорин Л. Авансцена. М., 1997. С. 246.

Посредником между ними стала Наташа Крымова. Она посоветовала показать текст вставки Рыбакову и узнать напрямую, стоит ли браться за дело? Если тот посчитает, что дело выгорит, вставку можно смело использовать для основы рецензии. Ну, а потом, — думал Аркадий, — как всегда: что-то уступлю, о чем-то можно договориться, из-за чего-то придется стоять насмерть.

Рыбаков материал просмотрел, не испугался. Наметилась ситуация, предвосхитившая «байкальскую», — содружество автора и редактора (об этом — в главе «Другие и Олеша»). Но случилось очередное ЧП. В Идеологической комиссии ЦК главному редактору «Театра» устроили разнос за публикацию острых материалов. Юрию Рыбакову грозила потеря журнала. С большой горечью он вернул Аркадию его текст. Тут посредником пришлось быть мне.

Между тем Белинков продолжал работать над своей вставкой. Она разрасталась и превращалась в самостоятельную статью, которую автор назвал «Страна рабов, страна господ...». В ней по-прежнему были сплетены три темы: государство, декабристы, общество. Но расставленные ранее акценты сместились. Его пристальное внимание теперь сосредоточилось на сервильном обществе, которое сразу же после победы государства над декабристами встало на сторону победивших.

Белинков писал в атмосфере начинающейся ресталинизации, которую советское общество уже принимало как неизбежную норму. Он завязывал в тугую узел историю и современность, рассчитывая, что о «подлости прославленных отцов» (по Лермонтову) будут читать его сограждане и узнавать своих современников.

Когда эта статья была опубликована за границей, она вызвала у старых русских эмигрантов физиологическое отвращение и привела к обвинению Белинкова в русофобии.

В современной России — другой, бесцензурной — необходимость игры «вчера — не сегодня» как будто отпала. В постсоветские времена, в государстве, отвергнувшем возмездие, читатели затосковали по милосердию. Литературоведы тоже проявили беспокойство: как бы использование прошлого для характеристики настоящего не привело к искажению истории.

Но я забежала далеко вперед.

Довольно скоро после возвращения Аркадия из лагеря выбор жанра был сделан. Белинков занялся литературоведением и начал писать книгу о бывшем формалисте, авторе исторических романов, Юрии Тынянове, что, конечно, не исключало участия в текущей литературной жизни.

## ИСКУССТВО И ОБРАЗ. ИСКУССТВО ПРОЗЫ

### Конспект лекции для поэтического семинара в Литинституте

1. Недостаточность и неполноценность определения искусства через образ. Образ как способ экономии сил. Спенсер: «Довести до ума легчайшим путем до желаемого понятия есть во многих случаях единственная и во всех случаях главная цель». «Если бы душа обладала неистощимыми силами, то для нее, конечно, было бы безразлично, как много истрачено из этого неистощимого источника; важно было бы, пожалуй, только время, необходимо затраченное. Но так как силы ее ограничены, то следует ожидать, что душа (интеллект) стремится выполнить апперцепционные процессы по возможности целесообразно, т.е. со сравнительно наименьшей затратой сил, или, что то же, со сравнительно наибольшим результатом». Отсюда тезис о максимуме выразительности при минимуме выразительных средств.

По Потебне, искусство — это образ, образ — это наиболее простой способ сообщения. Образ — это объяснение простым понятием более сложного: «Образ есть нечто более простое и ясное, чем объяснение».

2. Но в художественном произведении образ может или отсутствовать, или оказаться более сложным, чем то, что он объясняет.

Пример отсутствия образа:

Я вас любил: любовь еще, быть может,  
В душе моей угасла не совсем;  
Но пусть она вас больше не тревожит;  
Я не хочу печалить вас ничем.

Образ не равен образности:

Был вечер. Небо меркло. Воды  
Струились тихо. Жук жужжал.

Пример образа более сложного, чем то, что он объясняет:

«Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше Преображенского флигельмана» \* («Путешествие в Арзрум»). «Великий Бештау чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке» (Там же). «Облака — царедворцы». «Голова гудит, как пивной котел». «Боян бо вещей». Пенсне Олеша сравнивает с велосипедом. Он же сравнивает вазу с фламинго. У Ильфа и Петрова ухо похоже на валторну. Тютчев сравнивает зарницы с глухонемыми демонами. Гоголь — звездное небо с ризами Господа.

У человека есть потребность о чем-то рассказать людям. Он рассказывает об этом не как умозаключение и вывод, а приводя пример. *Художественное произведение — это пример, приводимый художником в доказательство.*

Определение искусства Толстым: «Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движения, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, — в этом состоит деятельность искусства». (*Но ведь вызванные чувства только не есть еще искусство.*) «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их» \*\*.

«...Человек смеется — и другому человеку становится весело; плачет — человеку, слышащему этот плач, становится грустно; человек горячится, раздражается, а другой, глядя на него, приходит в то же состояние.

Человек высказывает своими движениями, звуками голоса бодрость, решительность или, напротив, уныние, спокойствие, — и настроение это передается другим... Вот на этой-то способности людей заражаться чувствами других людей и основана деятельность искусства» \*\*\*.

*(Слишком субъективно. Многих не заражает «Илиада». Нет критерия, объективно свойственного искусству.)*

3. *Искусство возникает там, где есть эстетическая установка.* Персы говорили: для того, чтобы написать стихи, нужны ритм, рифма и намерение написать стихи. Любое высказывание может прозвучать как эстетическое, если есть эстетическая установка. «Граждане, воздушная тревога» — прозаическое высказывание. Но это такой же шестистопный хорей, как строка «Выхожу один я на дорогу». Ощущение ритма и стихового качества наступит тотчас же, как только станет явственным стиховое намерение (в

---

\* Флигельман — правофланговый унтер-офицер (по уставу 1796 г.).

\*\* Толстой Л. Что такое искусство // Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 30. С. 65.

\*\*\* Там же. С. 64.

том числе и стиховой контекст). Едва ли не каждый кусок прозы у большинства авторов может быть таковой [зачеркнуто], но может и не обладать эстетическим качеством. Он приобретает эстетическое значение в сцеплении с другими.

4. *Одной из отличительных особенностей прозы является ее аритмичность.* Но эта особенность не может рассматриваться как определение прозы. Проза разложима на метрические отрезки («Это было в Мегаре, в предместье Карфагена, в садах Галимара»). Стихи же могут быть более или менее аритмичны («Она пришла с мороза...»). Между прозой и стихом с точки зрения ритмики нет ясно прочерченной границы. *Взвешенность слова в стихе. Растворенность слова в прозе:* «Искусственный спутник Земли создан в Советской стране» (трехстопный амфибрахий и трехстопный дактиль — это возможно как начало стихотворения. Его можно продолжить: «Этим мы помогли Путь преградить войне». В таком контексте оно приобретает стиховое звучание).

*В восприятии стиха важнейшую роль играют качественные моменты. Плохие стихи как стихи не воспринимаются.* («Это не стихи, это проза»). Одни и те же фонетические моменты (аллитерация) без специальной установки могут звучать, обращая или не обращая на себя внимание. («С» в примере. Звуковой повтор может не прозвучать и в стихе, если нет установки на выразительность.) («О чем же думал он? О том, Что был он беден; что трудом Он должен был себе доставить и независимость и честь...» Ср. «На берегу пустынных волн / Стоял он, дум великих полн»).

*Отличие лексики и особенно синтаксиса стиха.* При переложении стихового отрывка на прозаический появляется большее количество служебных слов.

15 окт. 1957<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Дата и комментарии автора. — Н.Б.



## МИШЕЛЬ ЛЕРМОНТОВ

### *Глава 1. Отец, Юрий Петрович*

Юрий Петрович — играл.

Он играл старательно и хорошо, а проигрывал, потому что планида его была несчастна. Судьба-злодейка, злонамеренно приняв образ трефовой десятки, преследовала Юрия Петровича убежденно. А за что?

На рассвете в мертвенно-бледном тумане подъезжал Юрий Петрович к длинному, приплюснутому снежной подушкой дому с колоннами, пухлыми, как кормилицы. И цокот копыт по покрытому инеем булыжнику, четкий и частый, застывал, замирал у крыльца.

Все было неверно и шатко. А синяя тень фонаря, пересекая косо ступени, покачивалась укоризненно и строго.

Потихоньку, оглядываясь и высоко поднимая ноги, как в балете «Ацис и Галатей», укоряя себя и уже почти полный веры в Творца (был рассвет — час горестных раздумий над злодейкой-судьбой), Юрий Петрович пробирался в кабинет. На пороге диванной он замер с высоко поднятой ногой: хрустальная люстра мерцала во мраке коварно, как злодейка-десятка.

В постели он ворочался и вздыхал. Губы его шевелились. Как будто он пересчитывал деньги.

Он не пересчитывал деньги. Он не думал о деньгах. Он думал о том, что в мире остались лишь клевета и коварства и больше нету ничего. И каждый, каждый делал карьеру. Гм. Клевета и коварства ускользали, скользили, текли, не давались, и ведь что? никак нельзя было представить их натурально злодеем с черными бакенбардами. Чем-то таким, чтобы можно было так хорошо сказать: «Господин N, вы коварный клеветник. Я презираю Вас». (И вытянутой рукой с прямым и твердым указательным пальцем очертить дугу на высоте батистового шейного платка. Да-с.) Клевета и коварства плыли, как туман, как тюлевые занавеси, как бледный зимний русский рассвет. Лишь раз на мгновение они приняли очертания гвардейского корнета с усами, понтировавшего с холодностью и бесстрашием, и снова все расплылось туманом, тюлевыми занавесками и бледным зимним русским рассветом. Жизнь развеивалась

ветром событий, как прах и песок, жизнь текла неведомо и неверно, как волны, как волны в реке Неглинке. Но мысль, черная и лохматая, как собака, лежала, не пропуская сон.

Потом он засыпал.

Снов было много, и они были увлекательны и тревожны. Он раскрывал рот, удивляясь. Но это лишь были быстротекущие секунды, а потом темное облако затмевало его черты, и два раза он вытянутой рукой с прямым и твердым указательным пальцем очерчивал дугу над выпуклым животом. Грозил. Детская прозрачная слюна стекала по щеке на подушку. [Когда человек просыпается, он всасывает слюну.]<sup>1</sup>

Только во сне Юрий Петрович чувствовал себя тем, чем он был на самом деле: победителем злодейки судьбы. Трефовая десятка не стоит на его пути. Он сам управляет трефовой десяткой. Он помыкает ею. Он презирает ее.

Просыпался Юрий Петрович с улыбкой и тер кулачками глаза. Потом руки его безжизненно падали, и получалось так, будто он собственными руками стер свое счастье [*вариант*: радость с лица]. Лицо становилось серым и влажным, как будто его мазнули грязной тряпкой. Юрий Петрович вздыхал с чувством и улыбался: было совершенно ясно, что все в этом мире клевета и коварства.

В бархатном сизом халате мыкался по кабинету Юрий Павлович. Мутными глазами смотрел он в мутные стекла и — вздыхал. Мысли его были черны, как пороховой дым, и тяжелы, как пистолеты системы Лепажа.

Было совершенно ясно, что больше так продолжаться не может. Никогда. И поэтому на сей раз [*вариант*: теперь] он пойдет не с проклятой трефовой десятки, а с червонного короля. А с трефовой десятки не пойдет. Никогда. Да-с.

— Тяжела жизнь, — вздыхал Юрий Петрович. И, чтобы окончательно утвердиться в этом, останавливался посреди комнаты и повторял твердо: — Тяжела. — Потом он зевал долго [*зачеркнуто*: и страстно]. И зевание было похоже на хорал. Потом ходил. Потом останавливался. Посреди комнаты.

Начинались недвижные и широкие, как пустыня, часы, томительные и пустые.

Мысли Юрия Петровича вырастали редко, как случайные кустики, и от одной до другой путь был длинен, как между почтовыми станциями: Разварово, Воровка, Вишни, Суковка, Подковка, Ковяка, Быка... Черным колючим кустом стояла в сознании Юрия Петровича трефовая десятка. Жизнь была тяжела и пустынна.

<sup>1</sup> В квадратных скобках текст Белинкова. — Н.Б.

С темнотой приходило возбуждение. Оно было судорожно и лихорадочно.

Острыми зигзагами двигался он по кабинету. Пояс с черными кистями чертил линии. Линии были похожи на низкий полет ласточек перед грозой. Пламя свечей вздрагивало и тянулось за ним. Оно было неровным, неверным, грустным и красным.

В без четверти 9, когда щипчики стрелок осторожно, как насекомое, брали черную толстую девятку, Юрий Петрович, смущенно оглянувшись и шмыгнув носиком, тихонько приоткрывал дверь, высовывал голову и мизинным пальцем призывал лакея.

— Одеваться, — торопливо говорил он. Лакей с узким, как ладонь, лицом кивал молча и, отвернувшись, хихикал ехидно. — Ты, это, братец, того... — бормотал Юрий Петрович, шевелил пальцами и смотрел в сторону большой картины, писанной масляными красками и изображавшей богиню Фемиду с завязанными глазами и весами в руке. Юрий Петрович не любил богини и смотрел на нее исподлобья и лишь в исключительных случаях: в без четверти 9 вечера.

Только в момент надевания фрака обреталась уверенность в своей планиде, и Юрий Петрович не видел уже в гвардейском корнете с усами, понтировавшем с холодностью и бесстрашием, что-то такое особенное. Он прохаживался по кабинету, плавно огибая мебель, оправлял кружевные манжеты, приседал с изяществом и, встав, подтягивал панталоны. Он прочищал горло, откашливался и густо пропевал два такта итальянской арии. Потом озабоченно покачивал головой и снова откашливался. Потом приседал, вставал и подтягивал панталоны. Мир приобретал строгость и точность.

В 10 часов Юрий Петрович дергал сонетку и, не глядя на богиню Фемиду, а глядя в лакейскую физиономию и замечая на ней следы барского пирожного, говорил строго:

— Лошадей!

Потом добавлял еще строже:

— Ты это, братец, того.

Придерживая на животе шубу, наброшенную, как тога римского императора, Юрий Петрович выходил из подъезда и опускался на дрожки.

И цокот копыт застывал, замирая, умирая вдали.

В клубе он сидел, откинувшись в кресле, как в карете.

Зеленое поле с холмиками монет расстилалось пред ним.

К полуночи дорога игры становилась неверной и трудной, и Юрия Петровича начинало мотать между спинкой кресла и бортом стола. Неверной и трудной была дорога. Горький дым стелился над полем.

Юрий Петрович проигрывал методически и трудолюбиво и как бы убежденный в том, что это может быть только так, а иначе быть не может. Он

вздыхал и улыбался: было совершенно ясно: все в этом мире клевета и коварства.

Проигранные родовые деревеньки мелькали, как почтовые станции: Переперенки, Никудытка, Побудки, Бутка, Ока. ... А вытянутый палец шлагбаума грозил укоризненно и строго. Юрий Петрович ехал быстро и уверенно. К своей трагической гибели ехал он.

Потом как-то вдруг проигрывать стало нечего, и, стало быть, незачем и играть, и как-то вдруг Юрий Петрович стал сер, не интересен, не нужен. Как будто его мазнули грязной тряпкой. Он был интересен всем, когда играл, и некоторым, когда проигрывал. Гвардейский корнет с усами понтировал с холодностью и бесстрашием. И от Юрия Петровича остались лишь [смутные, неясные] очертания с размытыми краями, как будто его задержали занавеской.

Потом все смешалось и скрылось в тумане.

.....  
.....  
А незадолго до смешения и тумана у Юрия Петровича появился какой-то сын. И это тоже было не интересно и не нужно.

## *Глава 2. Бабушка Елизавета Алексеевна*

Сына называли Мишель. В чем не было, конечно, чего-нибудь особенного. Звали так деда, жениного отца.

Он жил в большом скрипучем доме у бабушки Елизаветы Алексеевны на Собачьей площадке в Криво-Никольском переулке, против церкви Владимирской Богоматери. Зыбка взлетала высоко под потолок, и Мишель плакал горько. А нянька говорила сердито.

[План оглавления]

Гл. I. Отец Юрий Петрович.

Гл. II. Бабушка Елизавета Алексеевна.

Гл. III. Мать Мария Михайловна.

Гл. IV 14 декабря

Гл. Смерть поэта. (Пушкин)

Гл. Чаадаев (*Великий муж! Здесь нет награды. Гл. должна быть названа цитатой или из Чаадаева или Пушкина*).

Гл. Школа гвардейских прапорщиков. *Капитан де Барант.*

Гл. Майор Мартынов.

Гл. У подножья горы Машук. (*Смерть поэта*)

Гл. (*последняя*) Победа.

Гл. (*о Пушкине*)

(*Конец предпоследней главы*). «С свинцом в груди и жаждой мести».

*И жаждой мести.*

(*Гл. последняя*). «А вы, надменные потомки!»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Печатается по оригиналу. Все авторские поправки учтены, за исключением нескольких подчеркиваний карандашом. Оглавление, написанное от руки (с частичной пронумерованными главами и пометками в скобках), и варианты названий — как в тексте рукописи. — Н.Б.

## ДАЛЬ

Вот план книги.

Даль родился в семье датчанина, женатого на немке. В доме говорили по-немецки.

Десяти лет он был отдан в Морской кадетский корпус, в котором секли так много, что воспитанникам запоминались не науки, а розги.

В кадетских корпусах, в корпусе путей сообщения, в духовных семинариях, в приходских школах и гимназиях, в военных, гражданских, духовных, начальных и средних школах секли так сильно, долго и много, что отчеты Министерства угодий стали отмечать резкую убыль лозы в окрестностях Петербурга. Лоза в Петербурге вздорожала. Администрация учебных заведений ставила в счет для оплаты за обучение стоимость израсходованной лозы. Стоимость обучения повышалась за счет вздорожания лозы.

Из Морского корпуса восемнадцатилетний Владимир Даль был выпущен мичманом и отправлен в Черноморский флот. Была ранняя весна, молодой мичман ежился в новенькой шинели, а сани ползли на юг. Было ветрено и светло. Возница сначала пел песню, потом похлестал лошадей, потом перестал и стал оглядываться на седока. — Замолаживает, — с тревогой сказал он. Седок заворочался в санях. — Что? — спросил он. — Замолаживает, — повторил возница, — буранить начнет ужо, — пояснил он. Красными от холода пальцами мичман записал: «замолаживать, пасмурнить, заволакиваться тучками, клониться к ненастью, замывать...»<sup>1</sup>.

Это было первое слово, на которое он обратил внимание, и с этого слова был начат знаменитый словарь.

В Николаеве начались первые литературные неприятности Даля: он написал ядовитые стихи об одной особе, которой весьма покровительствовал его начальник адмирал Грейг. За «пасквиль» автор поплатился тотчас же. С юга ему пришлось отправляться на север.

---

<sup>1</sup> «Замолаживать» — это звучало странно. «Остранение» (В. Шкловский) играло бы в книге о Дале сюжетобразующую роль. «Замолаживать» относится и к виноделию, и к атмосферным явлениям. См. Владимир Даль. Толковый словарь живого русского языка. Т.1. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. 1956. С.604. — Н.Б.

Аркадий Белинков

## ПИСЬМА ОДНОДЕЛЬЦУ

26.1.1957. Москва

Дорогой Генрих!

Позавчера я приехал в Москву и прочел Вашу телеграмму. Благодарю Вас. Желаю Вам добра, успеха и возвращения. По телефону разговаривал с Вашей мамой. В ближайшие дни заеду к ней.

Настроение у нас превосходное. Мы по преимуществу поднимаем бокалы и произносим тосты за наших общих знакомых, которых еще недавно оплевывали. Возрождаем традицию и идем от победы к победе.

Писать мне ужасно не хочется, и я все время под разными предлогами отбояриваюсь сам от себя. Книжка о Тынянове, которую я делаю, радости и счастья мне не приносит. И вообще по части радости и счастья планета наша мало оборудована...

Будучи скептиком и картезианцем, я никогда, впрочем, на радость и счастье особенно не рассчитывал. Но у меня были надежды на то, что несколько месяцев по возвращении можно будет пить счастье бытия, не размышляя над некоторыми тезисами социологии Планеты. Получилось же несколько иначе. Но уже здесь виноват я сам. Из всех предметов домашнего обихода я начал ценить по преимуществу веревку.

Если найти цифровой эквивалент любого из несчастий, постигших нас, а потом подобный же эквивалент подобного же счастья и сравнить эквиваленты, то выяснится, что горе переосиливает радость. Казалось бы, счастье освобождения должно быть равным по значению и роли в жизни беде ареста. Ничуть не бывало. Это счастье испарилось за неделю, не оставив воспоминаний и радости. <...>

Аркадий.

6.3.57. Москва

Дорогой Генрих!

Ваше письмо от 21.2 получил вчера. Благодарю.

Меня огорчило то, что Вы не отвечаете на мою телеграмму. <...> Очевидно, из письма мамы Вы знаете, в чем дело. Ее хлопоты за Вас привели к юристу по спец. делам, который заявил, что для написания юридически аргументированной жалобы необходимо Ваше, желательно особенно

подробное, заявление. <...> Независимо от того, чем все это кончится, должен сказать, что время для розовых надежд прошло. Но речь идет о матери, которая твердо убеждена в том, что обязана что-то делать. Поэтому заявление Вы все-таки пришлите.

Надежд у Вас мало. Мы не сильно завидуем Вам. Но и Вы, пожалуйста, нам не завидуйте. Мало у нас веселья.

Что касается меня, то я медленно и убежденно умираю. Причин для этого достаточно, и, умерев, я не допущу ошибки.

Для нас, людей с испорченной навсегда общественной жизнью, есть только один выход-спасение: семья. Когда целый день отбиваешься от всяческих прозаиков и поэтов, то возникает острая потребность порыдать на дорогой груди. Увы, случается иногда и так, что вместо дорогой груди тебе всучивают камень. Ситуация банальная и подробно описанная в известном стихотворении Лермонтова. Ничего у нас не выйдет и с семьей.<...>

Литературные дела печальны и, по моему глубокому убеждению, безнадежны. В Литературном институте засилие Коваленко и Захарченко<sup>1</sup>. Сельвинский читает курс стиха. Он стал очень мил и мягок. События последних десяти лет оставили на нем неизгладимый отпечаток. Он болен и уже почти тих. Недавно вышел его двухтомник с «Уляляевщиной», сильно измененной и изрядно испорченной.<...> Если бы у меня были дети и <...> эмоционально устроенный дом, я был бы, наверное, очень счастлив. У меня нет такого дома. И, вероятно, никогда не будет. Книгу же я пишу с большим трудом, а временами и с небольшой охотой. Время идет. Книжки мы не написали. Счастья не было. И, несомненно, уже не будет. Вам предстоит еще радость возвращения. Она придет, и... и скоро от нее тоже ничего не останется. У меня радость приезда была начисто испорчена некоторыми обстоятельствами личного порядка. Так что я не пережил и этого счастья, положенного, как кровная пайка, на которую никому не разрешено посягать.

С глубоким уважением приветствую Вас.

Обязательно и поскорей пришлите копию жалобы.

Ваш Аркадий.

25.6.57.

Дорогой Генрих!

Вчера я был у Вашей матери. Она прочла мне Ваше письмо. Больше всего меня удивили Ваши сомнения по части отъезда с Севера. Очень

---

<sup>1</sup> Коваленков и Захарченко — советские поэты, классики социалистического реализма, работавшие преподавателями в Литературном институте в 50-х годах. Один из остроумнейших современников А. Белинкова, блестящий критик З. Паперный, в дружеском кругу называл таких деятелей «рядовые пираты пера». — Н.Б.



может быть, что в Москве Вам действительно не удастся прописаться. Но лучше жить за 100 километров от Москвы, чем за 8 тысяч. Что касается работы, то и по этой части не следует предаваться резиньяциям: лучше работать даже бухгалтером под Москвой, чем в Ветреном. Вам при всех обстоятельствах необходимо получить диплом. Это не очень сложно. Свой диплом я получил несколько дней назад. Для этого мне пришлось сдать несколько зачетов и экзаменов, т.к. программа увеличена (сейчас в институте 5 курсов), и написать дипломную работу. <...> Единственно, что понастоящему серьезно, — это написать дипломную работу. Мы с Вами уже не можем отделаться студенческим пустяком. Работа должна быть интересной и такой, которую можно было бы предложить издательству. Вероятно, у Вас такая работа есть, а если нет, то достаточно сделано для того, чтобы она появилась. Институт нужно кончить. Сделать это не трудно. Считаю, что Вы обязаны это сделать.

Хлопоты по Вашему делу считаю в значительной степени запоздавшими. Матери Вашей об этом не говорите, Вас же обольщать не стоит. <...> Мои дела неопределенны. Пишу книжку о Тынянове. Написанная часть вызвала оживление.

По преимуществу, нравится. Буду пытаться ее напечатать. Плохо, что некогда писать. Личные дела мои плохи.

Желаю Вам счастья и возвращения.

22.10.58.

<...> Я по-прежнему уверен, что уехали Вы напрасно и что главное Ваше дело — писать книги. Мы знакомы с Вами без малого 20 лет, и все это время я абсолютно твердо убежден, что Вы самый талантливый человек из всех нас. Ваше мнение о литературе для меня всегда было не только интересным, но и таким, которое вносило изрядные коррективы в мое собственное мнение. Самая большая Ваша ошибка в литературе заключается в том, что Вы ею не занимаетесь.

У меня нет никаких иллюзий в рассуждении своего дарования, но все-таки я пишу.

Пишу много, а написал мало. Но книгу все-таки заканчиваю. До объема, указанного в договоре, осталось несколько страниц. Правда, это еще не конец, потому что, конечно, в объем, указанный в договоре, не уложился. С месяц назад получил рецензию на 2 п.л., поданных в издательство в качестве заявочного материала. Рецензия, по-моему, не очень квалифицированная, но очень лестная. Главное в ней то, что, «издавая книгу А.В. Белинкова, издательство восполнит пробел». Я очень рад восполнить пробел издательства. Считаю, что у него (издательства), несмотря на это, останется еще много пробелов, и очень хотел бы, чтобы восполнили их Вы.

Знаете, дорогой Генрих, за что я больше всего благодарен людям, тепло встретившим меня после возвращения? За то, что они меня методически пилили, точили, сверлили и занимались другим столярным промыслом, убеждая в необходимости писать не только в стол. Если моя книга не выйдет, это, конечно, будет большим ударом. Но, несмотря на это, она принесла мне очень большую пользу и я ей от души благодарен.<...>

25 — 27.1.59

Дорогой Генрих!

Вчера мы получили Ваше письмо. Письмо Вы написали грустное, потому что Вы не лакировщик и, не будучи таковым, писали про жизнь, какая она есть.

А жизнь наша не оперетта, и мы не теноры в ней.

Но главное все-таки в Вашем письме — это не скверные и непоправимые обстоятельства, а все-таки скверное, но поправимое настроение.

Ваше письмо тенденциозно и потому ненаучно. <....>

Ваше письмо написано на ту же тему, на какую написано семь романов Пруста, — об утраченном времени. Но в сравнении с Вами у Пруста было одно преимущество: его книги называются «В *поисках* утраченного времени». У Вас же вместо поиска скорбь, и самое неправильное в Вашем состоянии — это именно отсутствие поиска. <...>

В книге больше всего не получается начало. Но если *пишешь* книгу, то оказывается, что начало у нее уже есть. Любой удавшийся кусок текста может стать началом. Дальше только нужно идти к нему или идти от него. Для того чтобы получилось начало, нужно или отрезать от написанного 1—2 страницы, или приписать 1—2 страницы к написанному.

Я научился не настаивать на ошибках и не считать, что они лучше истины. Каждый человек когда-нибудь приходит к этому, и у каждого человека к этому свой путь. У меня это произошло таким образом. Книгу о Тынянове я начал с главы о самом трудном и самом спорном его романе «Смерть Вазир-Мухтара». В «Смерти Вазир-Мухтара» народ отсутствует. В романе, предшествующем «Вазир-Мухтару», народ есть. Этот роман написан не очень хорошо, и я считаю, что качества первого романа так же сильно преувеличены, как и недостатки второго. В главе «Смерть Вазир-Мухтара» в связи с темой народа я написал следующее: «В “Смерти Вазир-Мухтара” автор после неопытной и неумелой “Кюхли”, в которой неопытно и неумело по тезису — народ движущая сила истории, — изображен народ. Во втором романе опытный и умелый мастер народ не изобразил и тезис снял».

Потом я стал писать главу о «Кюхле». Кусок о народе я стал писать по тезису, казавшемуся мне ясным еще с поры главы о «Вазир-Мухтаре». Для того чтобы кусок был закончен, оставались самые пустяки — доказатель-

ства, авторский текст. Это была пустяковая работа на 2—3 часа. К вечеру кусок должен был быть закончен. Но он не был закончен ни через 3 часа, ни через 3 дня, ни даже через 3 недели. Я делал его больше месяца и закончил не в главе о «Кюхле», а в главе о «Вазир-Мухтаре». В этой главе я вырезал абзац о неумелом и неопытном писателе, который неумело и неопытно взял да изобразил народ. Оказалось, что все это чепуха. Оказалось, что Тынянов написал роман в ключе чистого вульгарного социологизма, что народ решен в тезисе «страшно далеки они от народа», что литературоведческий анализ темы неприменим и что нужен искусствоведческий анализ, потому что тема сделана приемами чистой живописной изобразительности.

<...> Но можно было сделать иначе: можно было защищать свою ошибку. Не нужно защищать свои ошибки. Главная наша ошибка заключается в том, что мы потеряли слишком много времени. Теперь нам надо не собираться, а торопиться.

Я очень серьезно думаю о Ваших выпадах против литературы и не настаиваю на ней.

Я настаиваю на том, чтобы Вам было хорошо, или, по крайней мере, на том, чтобы Вы обрели душевное равновесие. Предлагая литературу, я думаю только о том, что это для людей нашего склада лишь наиболее доступный способ обретения душевного равновесия.

Самые худшие воспоминания — это воспоминания не о том, что сделано неправильно, а о том, что не сделано вовсе. Главное, что Вы себе не простите, это книги, которые Вы не написали.

В 1959 году можно писать книги, которые стоят того, чтобы их писать.

Если с книгой, которую я уже написал, или с книгой, которую я пишу сейчас, что-нибудь случится, то это значит только то, что я или немного поспешил, или немного переборщил. Если что-нибудь случится, то я не повешусь и не перестану писать дальше. Я переделаю (не очень) книгу и подожду (немного). Я живу с твердым литературоведческим и физиологическим убеждением, что пришло время решительных, резких, недовольных и остро профессиональных книг. Я думаю, что написанная книга и особенно книга, над которой я работаю сейчас, должны пройти (с трудом и при влиятельном неудовольствии), потому что в истории русской литературы уже начался процесс исчерпанности метода, который удовлетворял общественную потребность на протяжении последних 25 лет.

После многолетней прострации и апоплексии формы пришла как неминуемая догадка, что вред от нее (формы) значительно преувеличен, и вообще что-то в ней, наверное, все-таки есть. Это первое.

Второе заключается в том, что после длительного скольжения по холодному льду общих проблем и общих мест на коньках общих слов появился повышенный интерес к атомам образования явления. Становится важ-

ным материал, деталь, быт, мелочь, подробность, точное знание, а не только одна правильная идеология. Нужны исторически реальные люди, а не человеческие эквиваленты правильных соображений. Наконец, надо разрушить никогда не существовавшее равенство — хороший человек = хороший писатель (художник, полководец, общественный деятель etc.). Вы, конечно, понимаете, что все это не частные вопросы, а вопросы с серьезными последствиями и важными выводами, вопросы методологии, поэтики, характера материала наших книг и героев их. <...>

Обнимаю Вас, желаю Вам счастья и скорого возвращения.

Ваш Аркадий.

26.3.59 Москва

<...> 30 декабря 1958 г. (я уже писал Вам об этом) я сдал книгу. Несколько дней назад были получены рецензии (Степанов, Ленобль). Обе рецензии положительные, хотя есть и замечания. Самое важное то, что ни одно из замечаний принципиального [характера]<sup>1</sup> (т.е. требующего от меня отказа от важнейших для меня вещей) не носит. От меня требуют изменений некоторых частных вещей и некоторого композиционного упорядочения. Даже моя стиливая манера не вызывает серьезных возражений, за исключением нескольких фраз, которые рецензенты не в состоянии были переварить и которые я без особого ущерба для книги и авторского самолюбия переделаю или сохранию, отстояв в битве с редактором. Значения этому я не придаю. Сейчас рукопись у редактора (когда рукопись у редактора, считается, что она уже принята), который напишет свои замечания на основании замечаний рецензентов и собственного вкуса. Редактора мне выбрали по принципу «самого прогрессивного, который сохранит в книге все свежее и индивидуальное, что в ней есть» (мнение заведующего отделом критики и литературоведения). Должен Вам сказать, что пока все, связанное с книгой, неизмеримо благополучней, чем такие скептики, как мы с Вами, могли ожидать. Посмотрим, что будет дальше. Через месяц я должен представить издательству доработанную рукопись и получить от них редакторские замечания. Вероятно, это будет самым неприятным. В 1959 г. книга, скорее всего, не выйдет. Но если все будет благополучно, то в этом году она будет запущена в производство, и тогда выйдет в самом начале 1960 г. Но это, как Вы, конечно, понимаете, очень неопределенно. Через месяц выяснятся наиболее важные вещи.

Все, что сейчас происходит с книгой, как мне кажется, с общелитературными обстоятельствами не связано. Вероятно, именно потому все более или менее благополучно. Неблагополучия, связанные с несколькими неблагоприятными тенденциями в литературе, начнутся, когда книга бу-

---

<sup>1</sup> Пояснение А. Белинкова. — Н.Б.

дет готовиться к выпуску. Это естественно, потому что тогда ею будут заниматься не литераторы, а дельцы... <...>

23.6.59 г.

<...> После книги о Тынянове я думаю писать приблизительно в такой последовательности, в какой называю Вам, о следующем:

Я хочу написать большую книгу по истории русской литературы (от Петра I до 1917 г.), представляющую для меня интерес с точки зрения взаимоотношений писателя и общества, с точки зрения коррекций, вносимых в литературное творчество обстоятельствами, лежащими вне собственно литературного ряда. Вместе с внешним нормативом, каким является институт цензуры, я имею в виду изменения доцензурной рукописи, возникающие в связи с ограничением первого писательского импульса, в связи с авторским внеэстетическим самоконтролем, в связи с взаимоотношениями эстетического материала и исторической возможностью.

После этого я хотел бы написать книгу по истории и поэтике русской эпиграммы, интересующей меня как поэтический род, чаще всего существующий вне социально господствующих нормативов из-за своей, по природе свойственной, устности, как правило, не подлежащей цензурной компетенции, чаще всего не выходящей за пределы только литературного ряда и являющейся критикой не критиков, а поэтов.

Хочу написать книгу «История и роман», в которой попытаюсь объяснить причины противоречивых интерпретаций одних и тех же исторических явлений у разных авторов (т.е. интерпретации одних исторических условий в других исторических условиях). Я думаю, что исторический и (не только исторический) материал сам по себе абсолютно лоялен, но каждый писатель (т.е. каждая эпоха или в пределах эпохи — каждый социальный слой) имеет убедительную рифму к своему времени. Именно поэтому полосы исторических романов в каждую эпоху окрашены цветом одного намерения. Естественно, что советский исторический роман 20-х годов существовал преимущественно на теме восстания (Чапыгин, Шишков, Форш), и не случайно то, что Вальтер Скотт как исторический писатель возник только после 1814 года. «Война и мир» была написана через 7 лет после Крымской войны, «93-й год» через 4 года после Парижской коммуны.

Из старых тем, которые интересуют меня вот уже второй десяток лет, хочу взяться за «Смерть поэта», тема в связи с русской классической литературой очень серьезная, естественная (в смысле ненужности натяжек для обобщений). Мученическая судьба русских писателей XVII—XIX веков, начатая Пушкиным в первом его напечатанном стихотворении: «Катится мимо их фортуны колесо...», — это проблема поэта и общества, поэта и государства, места поэта, назначения поэта.

Очень хочу написать (независимо от всего прочего, т.е. независимо не по теме и материалу, а в смысле времени и жанра) исторический роман, в котором попытаюсь перечеркнуть равенство «хороший человек — хороший писатель» (музыкант, изобретатель, живописец, полководец и т.д.). В связи с этим думаю о Дале, человеке, выпавшем из номенклатурного списка за отсутствием соответствующей графы («Великий словарь»? Что такое «великий словарь»? Это не звучит, как, например, звучит «великий поэт», «великий политический деятель» и т.д.).

И Даль меня интересует, конечно, не с точки зрения апологетики и даже не с точки зрения романтической и парадоксальной биографии (отец — швед, мать — немка, первые годы жизни нимало не разумел порусски), а как человек, относящийся к событиям русской истории со стороны, противоположной той, которую мы знаем как позиция декабристов, Белинского, Герцена, петрашевцев, «Современника», западников вообще, так называемой «прогрессивной». Вы понимаете, что восстание декабристов, описанное не с позиций человека, стоящего у Сенатских колонн, т.е. рядом с Пушиным и Каховским, а [наблюдающих] из окон Зимнего дворца, у которого стоял Н.М. Карамзин, 15 декабря записавший: «Я, мирный историограф, алкал пушечного грома», это рассказ о вещах, прислоненных к стене, которые привычно описывали только с видимого всеми фасада. Русское освободительное движение, как мне кажется, взятое не само по себе, а через восприятие врагов, приобретает особую выразительность и прогрессивность.

[26.6.59]

<...> Несколько слов о моих делах. 21.6 я сдал выправленную рукопись. Сегодня (26.6) она уходит к редактору. Редактор у меня умный и интеллигентный. Книга ей нравится, хотя и с оговорками. Об ее издании говорят, как о деле решенном. Она включена в план 1960 г. Через 7 — 10 дней выяснится вопрос о гонораре. Работа с редактором начнется в конце июля — начале августа. Я очень устал и все время похварываю.

24.8.59

Дорогой Генрих!

Только что получил Ваше письмо. Первое — радостное. Поздравляю Вас и желаю Вам счастья.

Ваше письмо обрадовало нас не только сообщением о снятии судимости (мы узнали об этом от вашей мамы 22.8.59), но и тоном, тоном человека, который почувствовал невыносимость своего пребывания в глубокой норе и перестал придумывать всякие резоны, чтобы из нее не вылезать.

Сейчас 10 часов вечера, и узнать уже ничего нельзя. Завтра мы этим займемся и сразу же сообщим о результатах. (Я имею в виду прописку.) Что касается работы, то я уже писал Вам, что на штатную надежды плохи, а писать помаленьку можно (рецензии). Погода сейчас неплохая, я думаю, что Вы еще застанете ясные летние дни.

[28.8.59]

Дорогой Генрих!

Пишем Вам из милиции! Ваше дело в шляпе! Нам сказали, что Вас пропишут!

Приезжайте!

Поздравляем! целуем! ждем!

Аркадий и Наташа!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «Письма однодельцу» печатаются по публикации адресата: *Горчаков Г.* Письма Аркадия Белинкова // Русская мысль. 1992. № 3956. Сокращения сделаны Горчаковым. К сожалению, во вступлении к публикации — «"Век волкодав" и Аркадий Белинков» (№ 3953—3955) — есть неверные утверждения и непроверенные данные.

Генрих Эльштейн был определен на *бессрочное* ссыльное поселение после восьми лет тюрем и лагерей в 1951 году. Год массовых реабилитаций (56-й) ничего не изменил в его судьбе. Он пробовал приехать в Москву без надлежащего разрешения, но вскоре уехал обратно из-за преследования милицией. Только в 60-м он смог вернуться в Москву и в 63-м получить реабилитацию. Генрих женился на нашей подруге Лиле Горчаковой. В 1995 году в Израиле под фамилией Горчаков он выпустил книгу, названием которой стал его лагерный номер «Л-1-105». В книге есть сведения об Аркадии Белинкове в Литинституте и в пересыльной тюрьме.

*Аркадий Белинков*

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА  
«НОВЫЙ МИР» А.Т. ТВАРДОВСКОМУ  
Заявка на статью об Ахматовой

Я хотел бы написать статью о творческих исследованиях человека, который до такой степени решительно определился в нашем сознании как художник и только художник, что, казалось бы, навсегда вытеснил возможность иного представления о себе. Я говорю о пушкиноведческих работах Анны Ахматовой.

Изучение пушкинского материала в творчестве писательницы заключается, конечно, не в приведении с последующим одобрением или неодобрением ее высказываний, но в выяснении характера и степени пушкинского проникновения в полтора века русской литературы, и в частности в творчество Анны Ахматовой.

Так поставленная тема заставит обратиться к поэтическому кругу, с которым писательница разными способами соприкасалась, и тогда возникает необходимость говорить о пушкинском материале в творчестве самых замечательных поэтов эпохи — Блока и Маяковского.

Несмотря на то что три пушкиноведческих работы Анны Ахматовой больше всего выражают пушкинскую тему ее творчества, не менее важно обнаружить пушкинский импульс, мимолетный, текучий, иногда неприметный пушкинский материал — упоминание, метафору, Петербург, царско-сельскую статую, эпитафию, мотив, — которые показывают, откуда пришла поэзия Анны Ахматовой. И это, в конечном счете, главное, из-за чего стоит писать статью о поэте.

Статья о поэте — «Пушкин в творчестве Анны Ахматовой» — объемом два с половиной авторских листа, может быть сдана редакции журнала к 1 марта 1962 года.

*1 декабря 1961 г.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Дата поставлена автором. — *Н.Б.*



## О КНИГЕ КАРДИНА «ВЕРНОСТЬ ВРЕМЕНИ»<sup>1</sup>

Главное достоинство книги В. Кардина в том, что автором безусловно предусмотрено намерение вырваться из плена нищих, убогих, сырых, заплесневелых канонов замученного литературно-критического жанра.

Эти статьи вызывают уважение уже потому, что в них нет воздушных поцелуев, обворожительных героев и апологетических фонтанов.

Уважение к книге становится все глубже, потому что в ней есть строгий и точный анализ, а не замученные фразы, произносимые привычным литературно-критическим голосом.

Концепция книги накапливается последовательно и быстро. Строгий и точный анализ начинается на первых страницах с заявления: «... долг литературы не поддакивать, а бороться».

Сборник критических статей В. Кардина написан о многоэтажности времени.

На разных этажах расселены герои книг, о которых пишет В. Кардин. На чердаках и подвалах времени угрюмо расположились

под сенью вывески советской  
такой чиновничий размах,  
такой бонтон великосветский,  
такой мещанский разворот.....

Чиновничий размах, великосветский бонтон и мещанский разворот существуют не в иной галактике, не на чужой географической карте и не в другой эре. Они пребывают в том же многоэтажном доме времени, в котором живут люди, ненавидящие, не приемлющие «мещанскую трезвость, самоуспокоенное благополучие».

В. Кардина интересуется не заданная и недвижная физиология человеческого характера, а зависимость и производность его от обстоятельств. Исследуемые в книге характеры разнообразны, и автор подчеркивает, что это вызвано разнообразием времени, формирующим человека.

---

<sup>1</sup> Кардин В. Верность времени. М.: Советский писатель, 1956.

Автор не уверяет, что во все времена все прекрасно, но, к сожалению, еще кое-где встречаются отдельные, не до конца великолепные особи обоего пола, ко времени отношения не имеющие.

Принципиальное значение книги В. Кардина в том, что он не побоялся сказать, что жизнь порождает не одних лишь положительных героев, но и людей «всезнающих и никогда не думающих... распространяющих вокруг себя атмосферу многозначительного пустословия».

Это ненаучно, в одно и то же время утверждать, что человеческие свойства и проявления определяются собственным опытом, и при этом считать независимыми от общественного бытия предательство и убийства, ложь и безнравственность, жадность, лицемерие, стяжательство, ханжество и бесчеловечность.

Книга В. Кардина научна. В ней говорится о высокой верности времени, а кое-где встречающееся нравственное и уголовное неблагополучие не считается лишь недоразумением и случайностью, или врожденной склонностью. В. Кардин знает, почему застрелился Венька Малышев.

Для автора этой точной и строгой книги верность времени не имеет ничего общего с поддакиванием, мелочным и преходящим, однодневным и пустым, а иногда и постыдным заблуждением.

В. Кардин хорошо знает, что верность преходящим заблуждениям времени родила «Великую силу» и «Закон чести». Но В. Кардин так же хорошо знает, что верность времени продиктовала Ю. Бондареву «Тишину», Эмм. Казакевичу «При свете дня», Я. Смелякову «Строгую любовь». На разных этапах времени ждут, жаждут, ищут своих героев, своих поэтов и трубачей. Эпоха всегда получает то, что она хочет. Следующая эпоха поправляет предшествующую не за то, что она делала ошибки, а за то, что она не делала то, что нужно новой эпохе.

Мне многое нравится в этой сильной и хорошо доказанной книге.

Самым серьезным недостатком ее я считаю отсутствие широко известной статьи «Дорога никуда», в которой с блеском и яростью рассказано о том, какими жалкими заблуждениями оказываются некоторые вещи, представлявшиеся еще недавно непреходящими ценностями.

Но я не уверен, что в отсутствии этой статьи виноват автор.

23 апреля 1963 г.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Дата поставлена автором. — Н.Б.

## О РОМАНЕ ВС. ИВАНОВА «КРЕМЛЬ»

Эту рукопись не печатают так долго, что всякий, кому удалось ее прочитать, не по своей воле втягивается в полемику.

Задерганная внутренними рецензиями, она начала растрачиваться в недоразумениях, недоумениях.

Произведение стало уже пожилым — ему пошел сорок второй год, — и чем дальше, тем поиск издательского жениха становится все труднее. Создается впечатление, что роман не печатают потому, что он долго не был напечатан.

Но так как об этом не догадываются или умалчивают, то говорят о другом. О том, что, несмотря на высокие художественные достоинства, которые так ценят редакторы, роман может попасть к читателям, которым эти художественные достоинства могут показаться не до конца понятными.

На эту излюбленную тему пространно и убедительно говорили еще в те годы, когда Вс. Иванов писал первые главы романа «Кремль». Лучшим примером считались произведения Маяковского. Обширный опыт истории литературы учит нас, что и читатели могут ошибаться. Даже те, которые стали учительницами по литературе.

Самое ценное в способе выяснить подлинные достоинства художественного произведения по его понятности — это не невежество, а забота о людях.

Более просвещенные деятели отечественной культуры сосредоточивали наше внимание на незаконченности романа.

Это соображение, несомненно, предоставляет значительный интерес.

На вопрос, что такое законченность художественного произведения, более ответственно, чем рассуждения о технологии творчества, отвечает история искусства.

Законченное художественное произведение — это такое, в котором художник выполнил поставленную задачу. Для этого же не обязательно написать все шишки на елке. Но художник чаще всего не ставит задачи, а только решает их. Ставит задачи — борьба художественных движений.

Представление о законченности художественного произведения в каждую эпоху представляется иным, чем в предшествующую.

Поэтому Соколову-Скаля живопись Давида Штеренберга представлялась чем-то вроде подмалевка, сделанного человеком, плохо знающим анатомию. Для академической живописи середины 10-х годов законченный холст Жерико «Плот “Медузы”»<sup>1</sup> был едва ли не эскизом, а импрессионисты старательно работали над незаконченностью, боясь остановить жесткой линией текущий пейзаж мира. Каждая поэтика знает свою меру законченности, и большая или меньшая степень законченности всегда была стилистическим приемом, а в некоторые эпохи канонизировалась в жанр. Так, Тютчев создал композиционный оксюморон — *законченный отрывок*. Шопен — этюд (превращенный к тому же из технического упражнения в художественное произведение), импрессионисты — эскиз. «Не законченный», «не сделанный» пейзаж (портрет, сюжет) может быть таким же стилистическим приемом, как многоточие, которым заканчивается незаконченная фраза.

Легко допустить, что А. Барто некоторые куски романа «Кремль» могут представляться чем-то вроде бы незаконченным, несделанным, наброском, черновиком человека, плохо знающего жизнь.

В романе В.С. Иванова «Кремль» написаны не все шишки на елке. Их написано ровно столько, сколько требует закон этого произведения. Многоточие в романе «Кремль» играет серьезную роль.

Набросок, черновик, не сделанный пейзаж становятся в этом произведении культивируемым приемом. И поэтому истинной мерой произведения может быть только большая или меньшая степень удовлетворения изданных им законов.

Всеволод Иванов написал *необычайное* произведение, и поэтому он не подлежит обычному анализу.

Измерением этой прозы оказываются не привычные конфликты и даже не привычные метафоры, а исключительность повествовательной манеры.

Эта исключительность в результате слияния былинного речитатива с газетным словоупотреблением и отсутствием стилистического и исторического разрыва между столь далеко разведенными рядами.

Выглядит это так:

«Да, Агафьюшка, божья душа, подхожу я к дому, а вокруг него Афанас-Царевич носится, сам большой, быстро ходить ему потно, жарко, а подсолнух тяжелый... Боюсь, как бы мы не переумничали, не переждали, и после небольшого разговора с Хлобыстаем-Нетокаевским, заведующим типографией, и этими безработными изборщиками, мне думалось: после

---

<sup>1</sup> Картина одного из первых французских романтических художников Жана Луи Анэре Теодора Жерико (1791—1824), написанная в 1818—1819 годах. Изображает трагедию оказавшихся в океане на плоту пассажиров погибшего фрегата «Медуза». Хранится в Лувре. — *Примеч. ред.*

ликвидации папашиного имущества и его сумм и после того, как община исходатайствует в Горпромхозе отсрочку на ремонт... появилась первопечатная книга во времена гонения на несокрушимое православие... Я говорю о Библии, христиане».

Соединение далеко разведенных рядов вызвано отношением писателя к таким взаимосвязям истории и ее подданных: история ходит, водит войны, жжет пожары, подданный остается неизменным.

Это роман о неизменности человеческого характера и бытия, о том, что события лишь колеблют стены и переодевают человека в разное платье, но человек остался неколебим и незыблем.

И в какую бы эпоху он ни переехал, живет он в ней, хоть и в новой квартире, но прежней и вечной своей жизнью. «Мальчики из подвалов несли щепы, лягушек, ободранных кошек, цыплят и вообще “хозяйство”. Сначала, оцепеневшие от бессонной ночи, квартиранты молчали, но затем началось светопреставление. На лоджию положили матрас, измоченный мальчонкой, и поставили там же самовар, а сама хозяйка пошла за щепкой раздувать самовар, и пока она ходила, самовар и матрас исчезли. Она пошла через лоджию, а там сидела уже гостья, началась драка, а выяснилось, что хулиганы с верхней лоджии удочкой стащили. Экая чепуха! А в самом деле — жизнь

Сняли самовар и матрац и скинули его на пол. Воришки уже тащили самовар. Хозяйка кинулась драться наверх; она была щепой хулиганов и сама норовила выкинуть самовар. С балконов улюлюкали спортсмены»<sup>1</sup>.

В романе Вс. Иванова, начатого с того года, «когда великий князь Иван Третий призвал на помощь русским мастерам итальянских, чтобы воздвигнуть несокрушимую крепость — Московский кремль», нет истории и нет отношения к ней, потому что история ничего с человеком сделать не может.

Внеисторичность, безысторичность бытия выравнивает значения, и поступки людей теряют разницу в измерении: убийство человека и экскурсия в Кремль опоясаны одинаковыми интонациями, ритмическим, фразеологическим сходством. И поэтому ничего не меняет в жизни людей переезд в новые квартиры и то, что украли матрац и самовар, и кто их украл.

И потому, что значение одного события не отличается от значения другого события и любое событие не имеет значения для людей, с которыми это событие произошло, то всякое значение теряет мотивировка поступка. Она истаивает, как бы забывается, будто бы не подготавливается, кажется несущественной или несуществующей. И голос рассказчика монотонен, как служба в соборе Петра Митрополита, и протяжен, и скорбен, как история земли русской от Ивана Третьего великого князя.

---

<sup>1</sup> Текст романа цитируется А. Белинковым неточно. Ср.: *Иванов Вс.* Кремль. У: Романы. М., 1990. С. 34—35, 103. — *Примеч. ред.*

Вот каким голосом рассказано это произведение:

«На паперти в два ряда сидели слепцы. Слепцы, главным образом, были из солдат германской войны, спившиеся и выгнанные из союза инвалидов. Они разъезжали по базарам, по престольным праздникам и распевали религиозные песни про Бога, в которого они не верили; им было весело и страшно».

Рыскает кругом история, а независимый от нее человек становится вместилищем всего прошедшего, сосудом всемирного опыта, и поэтому юная Христова невеста Агафья, которая, конечно, хорошо помнит крещение Руси (ок. 988 г.), с такой естественностью вычитывает тускло поблескивающие невысохшей краской свежие листы корректуры.

Неповторимость этого величавого романа в том, что он создал людей, которым в 1925 году исполнилось 937 лет. В других романах того времени мы чаще всего встречаемся с людьми, независимыми от битвы при Калке, Ивана Грозного, Смутного времени и крепостного права, которые в лучшем случае приходили в новую эпоху лишь с грузом заблуждений старой эпохи.

Роман Всеволода Иванова по значительности исторических и психологических мотивировок, по эпичности героев и голосу писателя стал социальной былинной.

Это могло бы оказаться одним из предположительных определений и не представляло бы особенного интереса, если бы не выходило за пределы обычной стилизации и если бы от стилизации была взята задача, а не прием. Это существенно, потому что задача обычной стилизации мизерна: она не превышает намерения убедить (обмануть), что произведение написано не в 1920 году, а в 1820. Былинная стилистика произведения вызвана уверенностью в том, что человек является не только наследником отцовского имущества, но и носителем судеб предшествующих поколений. И поэтому герои романа молятся в Кремле и ткнут ситец в Мануфактурах только так, как это могут делать люди, которые жили до этого в годы татарского ига, были биты плетью за гуляние Стеньки Разина, бунтовали за соль, разбивали кабаки в холерный год, волокли волжскую баржу, сеяли, убивали, рыдали. Но писатель вводит прием в новый художественный опыт.

Одной из характерных особенностей нового искусства оказалось соединение противоречивых стилистических рядов — патетического и бытового, архаической лексики и просторечия, идеального и банального. Это не случайная склонность своеобразного художника, а органический способ выражения искусства XX века, проявленный несходно у Пастернака и Зощенко, Шостаковича и Пикассо, но всегда только у великих художников, не повторяющих то, что знали до них.

Это разрушение замкнутого стилистического ряда характерно для всякого искусства, противопоставившего себя привычному нормативу. Речь этого произведения не беспрецедентна в нашем искусстве. Произведение Вс. Иванова знает, что до него была русская литература девяти веков, не забывает соседства с Бабелем и хорошо помнит контрастный эмоциональный монтаж протопопа Аввакума.

В романе до такой степени преобладает речевой образ, что это выводит произведение из традиционного жанрового комплекта: психологический, исторический, этнографический, детективный, бытовой, социальный роман. Главное свойство этого произведения, абсолютно преобладающее над всеми остальными и на все остальное распространившееся и определившее его жанр, — это стилистически-интонационные построения. Это в искусстве не беспрецедентно и не исключительно, и поэтому не случайно. Очень близкое явление мы знаем в сказе, то есть в жанре, возникшем именно в связи с характером, принадлежностью и адресом речи.

В романе всем правит речь, генеральным речевым мотивом оказывается высоко поднятая мерность библейского стиха: людей убивают и насилюют, они рождаются и гибнут, любят и предают, а голос романа ровен, как голос летописца. День проходит, и день уходит, и страсти и дела человеческие, и жизнь и смерть — все не знает обновления и конца, и все есть протяженность.

Стоит Кремль в романе, независимый от чужой земли, чужой воли и чужой истории. Враждебный Кремлю Ивана Третьего, начавшего собирать русские земли и захватывать чужие, понявшего, сколько пользы приносит князьям, рабам и русской интеллигенции 60—90-х годов XV века централизация власти, абсолютизм и величие родины.

Это стало занимать воображение писателя в эпоху, еще только начавшую писать первые слова о том, как хороши сепаратизм и суверенитет, но роман уже все понял и ушел из издательства в стол писателя.

Роман Вс. Иванова начинал новое русское искусство, которое в лучшем случае кажется странным, а в ином и враждебным тем, кто привык к искусству, которое уже было, и кто твердо уверен, что для искусства всегда были одни законы, и кто не понимает, что история художественного творчества — это не перечисление хороших произведений, а повествование о кровопролитной войне ненавидящих друг друга художественных идей.

В романе Всеволода Иванова «Кремль» есть свойства, которые выносят его из ряда канонической литературы в литературу, которая обновляет национальную и художественную традицию.

При том замечательном стилистическом убожестве (а оно лишь видимое проявление более выдающихся достижений), которым так горда наша замечательная литература, сумевшая таки победить все искушения, непривычное письмо «Кремля» может поколебать одну из самых жестких и

разрушительных концепций отечественной эстетики, требующей простого, понятного и любимого народом искусства. Но замечательное произведение имеет право на то, чтобы его постарались понять, а если это выходит не сразу, то оно может потребовать, чтобы поучились на более простых вещах по специальной программе.

Так как я написал эту рецензию для того, чтобы убедить в необычайной талантливости романа, то, естественно, о том, что его надо издавать, я не писал: кто же станет сомневаться в том, что талантливость произведения есть единственная мера его необходимости людям?

*Ноябрь—декабрь 1966 г.*



## «ДЕКАБРИСТЫ» В «СОВРЕМЕННОМ» Выбранные места из подготовительных записей для выступления перед актерами театра

Никогда никакой исторический и литературный материал не существует вне зависимости от отношения к нему. Отношение к нему всегда субъективно, но эта субъективность всегда строго определена обстоятельствами, в которых существует субъект.

Поэтому создатели золотой и черной легенд-версий декабризма были не свободны в выборе отношения к нему. Они относились к нему, как относились к себе. Все это лично, имеет отношение к самому себе больше, чем к историческому и литературному материалу, о котором говорят, и этот материал всегда искажается личностью говорящего.

Так как я занимаюсь декабризмом, а вы играете пьесу о декабристах, потому что все, что мы делаем, есть возможность в большей или меньшей степени проявления самого себя, — то есть мы пользуемся, как всегда в искусстве, образом Эммы Бовари или бричкой Чичикова вовсе не для того, чтобы рассказать об этих предметах, а для того, чтобы сказать, что мы думаем о жизни, о любви, о взаимоотношениях человека и общества, о росте поголовья скота в условиях средиземноморского климата, то есть все, что мы делаем, есть непременно и обязательно лирика в большей или меньшей степени ее проявления, — то я буду говорить о декабризме и о пьесах, написанных о нем, только то, что я о них думаю.

Произнося эту фразу, я имел в виду сообщить вам, что сейчас для меня и, вероятно, для какого-то количества других людей, декабристская версия связана преимущественно с результатами возможной победы декабристов или точнее — с тем, что бы произошло, если бы декабристы победили по программе Пестеля, или еще точнее, что такое диктатура победившей революции.

Пестель: «Завещаю внукам рассудить наш спор».

И вот внуки пытаются рассудить этот спор. Они судят по результатам. Об этом написана пьеса «Декабристы».

Внутренняя борьба в декабризме была, вероятно, еще более жестокой, чем это изображено в драме.

Как и во всех научных и художественных произведениях, связанных с судом над декабристами, и здесь не ясны причины столь легкого раскаяния и деморализации.

Что такое политическое преступление и политический процесс? Почему в одни эпохи обвиняемые держатся достойно, а в другие — жалко?

Процессы декабристов и народовольцев (петрашевцев). Общественная атмосфера.

Поведение Пестеля на следствии, быть может, было самым благоразумным, но в героической трагедии оно выглядит как трусость и увиливание. Но такое поведение такого человека, который показан в трагедии, несомненно, оправдано.

Но, может быть, самое главное в пьесе — это не только то, что Пестель получает трезвую и объективную оценку, а то, что такую же оценку получает и Никита Муравьев. Это решающе важно, потому что дает возможность показать, что причина гибели декабризма лежала не в том, что не было сделано правильного выбора между «Русской правдой» Пестеля и «Конституцией» Муравьева, а в причинах гораздо более серьезных.

Эти причины заключаются в том, что декабристам не на кого было опереться не только в борьбе, но и в победе, [в том, что] в России общество не играло никакой роли, в том, что оно позволило абсолютизму захватить безудержную, не ограниченную не только конституцией, но и элементарной порядочностью власть, что общество было само втянуто в преступления монархии (Сперанский), в том, что в стране не было и тени демократической традиции. Эту победу не с кем было делить. Она могла остаться победой лишь тех, кто захватил власть.

В некоторой мере декабристы, — а в пьесе Никита Муравьев — это понимали. Они знали, в каком обществе живут и в какой стране служат: «Пестель, ты знаешь ли, чего хочешь? — И ты веришь, что можно сдержать стихию?» И отсюда, конечно, естественная мысль о Пугачеве, который всегда был для декабристов угрожающей альтернативой абсолютизму: либо самовластие, либо Пугачев. Но, в сущности, это была надуманная альтернатива: ведь революция Пугачева тоже была побеждена, и побеждена она была по тем же причинам, по каким был побежден и декабризм.

И один из наиболее близких ответов на вопрос о причинах поражения освободительного движения в России дал зловецкий и умный человек, один из создателей традиционной реакции в России — Бенкендорф. Он сказал: «Русские столько привыкли к образу настоящего правления, под которым живут спокойно и счастливо и который соответствует местному положению, обстоятельствам и духу народа, что мыслить о переменах не допустят». Здесь все — правда, кроме слов «живут спокойно и счастливо».

Это пьеса о возможных последствиях революции. Эти последствия драматург предлагает в двух вариантах: Пестеля и Никиты Муравьева.

Так как это пьеса-раздумье, и — несмотря на истерику Николая Павловича, горькие монологи Каховского и жесткие слова Пестеля — я слышу ее раздумчивый голос, то она предлагает выбор. Так как ее тезис и антитезис выражены в программах Пестеля и Никиты Муравьева, а каждый из них вызывает сложные чувства, среди которых преобладает симпатия и горечь, то, очевидно, следует искать ответа не в программах спорящих и не в пьесе, а в истории, последовавшей за исторической пьесой. В опыте русской истории.

<...> Именно то, что декабризм был первым радикальным движением интеллигентной России, заставляет задуматься о причинах разногласий между декабристами вообще, то есть главным образом между Северным и Южным обществами.

Программа Пестеля была, несомненно, шире конституции Никиты Муравьева, но именно поэтому она выходила за пределы истинного назначения декабризма, которое было связано почти только с одним понятием — человеческой свободой личности.

Как только Пестель начинал расширять и, как он полагал, реалистически обосновывать эту свободу, то сразу же он по заданной им же логике должен был прийти и пришел к необходимости временной диктатуры. Для обоснования необходимости диктатуры придумывалось все, вплоть до вещей, которые могли бы произойти, а, в случае необходимости, [можно было бы] и устроить. Это замечено драматургом. Он пишет: «...кто знает, что будет. Вдруг война против Порты в защиту греков, вдруг иные события — мало ли что может занять внимание общее. Что-нибудь да случится». Как мы видим, диктатуру устанавливать легко. Всегда может что-нибудь случиться или можно найти, чтобы случилось. Был бы диктатор, ну, а такой в России всегда найдется.

Декабризм был общественным движением, стремившимся свергнуть абсолютизм, то есть диктатуру. И поэтому, когда Никита Муравьев говорит о том, что насилие рождает насилие, то это не церковно-приходская банальность, а [он] спорит с Пестелем о целях и способах изменения общественного строя государства.

Никита Муравьев думал о том, что изменение общественного строя должно принести людям свободу, то есть счастье.

Пестель думал о том, что изменение общественного строя должно принести людям имущественное равенство. Скорее всего, что о счастье людей он не думал. Он, вероятно, его просто подразумевал. <...>

В пьесе Л.Г. Зорина рассказано о грандиозных исторических и психологических катаклизмах... Конечно, первая русская революция — это огромное историческое событие, и я не преувеличиваю, говоря, что ее судьба оказалась роковой для нашей истории и мы стали наследниками самого худшего исторического варианта.

Для исторической трагедии «Декабристы», полной раздумий о судьбах русской истории, соображение о том, что образ шире идеи, так же важно, как и для любого другого художественного произведения.

Поэтому все, что будет происходить с пьесой по мере превращения ее в спектакль, как мне кажется, должно заключаться в том, чтобы вывести ее из частного случая, из конкретного исторического норматива и превратить в непреклонную и неизменяемую категорию русского исторического процесса.

*Декабрь 1966 г.*

## Глава 4

Наталья Белинкова

### ЦЕНЗОРСКИЙ НОМЕР ВМЕСТО ЛАГЕРНОГО

Между действительностью и историей дистанция сильно сокращена и стерта граница.

Аркадий Белинков

*Эзопов язык и его возможности. Возлюбленная Блока в роли редактора советского издательства. «Юрий Тынянов» в «Советском писателе». «Дискуссия» или «оппозиция»? «Не уступлю!» Прием в СП СССР. «Оттепель» кончается. Второе издание «Юрия Тынянова» считают новой книгой. Побег в обмен на третье издание.*

«Я даже заглянул в выходные данные, чтобы проверить, есть ли разрешительный номер Главлита, а потом поймал себя на том, что рассматриваю страницу на свет, нет ли какого колдовства. Дело в том, что передо мной спокойно лежал на столе сильнейший обвинительный акт против советской консервативной и бесчеловечной идеологии, против “социалистического реализма” в литературе и искусстве, против кастрации философской мысли, против обязательной, узаконенной лжи»<sup>1</sup>.

«Из прогляда вижу, что Вам удастся высказать невысказываемое — рад этой Вашей способности, и Вашему мужеству»<sup>2</sup>.

При чем тут колдовство или мужество? Речь идет о книге «Юрий Тынянов», в которой автор решает, казалось бы, сугубо научные проблемы: соответствие писательского замысла и документа; принципы отбора исторического материала в связи с внешними причинами или в зависимости от внутренних побуждений писателя; роль отдельных исторических событий в раскрытии законов развития общества.

Что происходит?

В одном лице соединились литературовед, публицист и художник. Вместе им удалось обойти цензурные рогадки.

Белинков-литературовед работал на стыке исторических документов девятнадцатого века и их художественной интерпретации Тыняновым, писателем начала двадцатого. (Вроде бы ничего особенного.)

---

<sup>1</sup> Донатов Л. Дело Белинкова // Посев. 1968. Ноябрь. С. 49.

<sup>2</sup> Солженицын А. Из личного письма Белинкову. 1966. 6 апр.

Белинков-публицист говорил об извечном противостоянии творческой личности и власти вместе с обслуживающим эту власть обществом и распространял этот конфликт на советское время. (Тут он переходил границы дозволенного.)

Белинков-прозаик считал: «Писать надо так, чтобы по мысли и слогу быть выше цензоров. Важно — нравственно, интеллектуально, душевно — противостоять»<sup>1</sup>. (И он обрушивал на цензора ливень художественных образов, маскирующих его идеи.)

На роль и особенности эзопова языка в советской литературе шестидесятых годов до распада СССР указывали, насколько я знаю, две статьи: одна в зарубежной прессе<sup>2</sup>, другая в СССР периода гласности<sup>3</sup>. Третью, «Смерть Эзопа», недавно опубликованную в современной России, мне не удалось прочитать. Кроме того, одна работа принадлежала самому Белинкову. Это — стенограмма его выступления на Международной конференции по цензуре в 1970 году в Лондоне, о чем речь впереди.

Исследователи, занявшиеся путями обхода цензуры, обязательно останавливались на эзоповом языке Белинкова (не правда ли, звучит как «вольтова дуга Петрова»? ). Общее мнение сводилось к тому, что главным методом его борьбы за прохождение рукописи служила аллюзия. Аркадий возражал: он намеревался не изобразить одно явление похожим на другое, не уподобить Иосифа Павлу, а найти и показать корень, источник и разрушительную тенденцию отечественного самовластия. Действительно, он пользовался «похожестью», но не ограничивался ею и устанавливал градацию между разными степенями реакции. При самодержавии в «эпохи обыкновенной реакции» — пишет он — высокое искусство существовало, а в «эпоху, в которой нет ничего, кроме реакции» — читай, в стране победившего социализма, — оно обрекалось на вырождение.

Книги с двойным дном были востребованы (тоже вопреки цензуре) российской интеллигенцией периода «Оттепели». Растревоженные критикой «культы личности», советские люди, все еще находившиеся в тисках цензуры, оказались хорошо подготовлены к чтению между строк. Белинков к тому же облегчал им задачу «вторичного прочтения»: «Тынянов стал историческим писателем не потому, что ему не хотелось писать на современную тему, а потому, что на историческом материале он мог лучше ответить на вопросы своих современников». Аркадий тратил бесконечные часы за письменным столом, чтобы превратить взаимоотношения «самодержавия» и «поэта» во всеобъемлющую формулу, которую легко было бы

---

<sup>1</sup> Беляя Г. Затонувшая Атлантида // Московский комсомолец. 1990. 2 сент.

<sup>2</sup> Ржевский Л. Тайнописное в русской послеоктябрьской литературе // Новый журнал. 1970. Кн. 98. С. 221.

<sup>3</sup> Иванова Н. Смена языка // Знамя. 1989. Ноябрь (№ 11). С. 221

перекинуть на современность. Тогда «самодержавие» становилось «тоталитаризмом», а место «поэта» мог занять любой из репрессированных в советское время писателей.

Поднаторевший читатель догадался, о чем идет речь, а цензор под номером А 09255 не разобрался. Или закрыл глаза. Или принял все за чистую монету. Книга вышла. Критики в СССР писали про связь времен и хороший слог и, оберегая себя и автора, делали вид, что никакого обвинительного акта ни по какому поводу не было.

Когда Главлит был упразднен, тема вынужденных иносказаний перестала быть актуальной и перешла из сознания писателей и критиков в область занятий историков литературы. Тут она претерпела своеобразную трансформацию: кое-кто решил, что потребность обойти цензуру способствовала повышенной образной выразительности. Думаю все же, что оппозиционно настроенные литераторы писали не благодаря цензуре, а вопреки ей.

До выхода «Юрия Тынянова» об авторе рукописи только и было известно, что он — бывший эк. Он был «из тех, из оппонентов, из вернувшихся, из вылезших из могилы теней»<sup>1</sup>.

Когда Белинков подал заявку на книгу о писателе, в прошлом возглавлявшем ОПОЯЗ, он знал, что ему предстоит противостоять мощной идеологической системе.

Дорога к счастливому концу была тернистой.

Все началось с тайной распри между внутренними рецензентами и «начинающим» автором.

Рецензенты хвалили его за литературную эрудицию, владение материалом и источниками. Он находил эту похвалу по отношению к себе смешной. Рецензенты полагали, что «Юрий Тынянов» — должен быть ординарной биографией писателя. Он занимался связями между творчеством писателя и историческими обстоятельствами. Рецензентов не устраивал язык книги, так непохожий на язык социалистического литературоведения. К тому же он считал, что содержание неотделимо от формы. Рецензенты апеллировали к массовому советскому читателю. Он предназначал книгу для мыслящей интеллигенции.

Может быть, это и хорошо, что рецензенты не были прозорливыми и не заметили выстроенную автором траекторию: от обыкновенной реакции (досоветского периода русской истории) до реакции тотального испепеления (после революции). Отметив высокий уровень книги, «которым может похвастаться не каждый студент», они обеспечили подписание договора.

Ведущим редактором стала Евгения Федоровна Книпович — достойный защитник тоталитарной реакции. Как упомянуто в «Краткой литератур-

---

<sup>1</sup> Терц А. Памяти павших // Континент. 1975. № 2. С. 363.

ной энциклопедии», она «ставит точки над и», у нее «натура бойца», за нею числятся книга о Фадееве и статья о Ермилове. Было также известно, что Книпович в свое время зарезала сборник Ахматовой «Бег времени» и что она перехватила и передала в ЦК КПСС предсмертное письмо застрелившегося Фадеева. Однако одна особенность в судьбе Евгении Федоровны отличала ее от других. Она вышла из эпохи Блока, когда-то была покорена поэтом и однажды не сумела ему отказать. Казалось, что, несмотря ни на что, она не забывает об этом. Не оттого ли туманный отблеск начала века лежал на этой советской даме?

Началось великое противостояние.

Книпович было около семидесяти, когда мы познакомились с нею. Худая, сморщенная, безукоризненно одетая и изысканно вежливая, она принимала Аркадия у себя дома в кабинете, похожем на будуар. Ее письменный стол, за которым оба проводили по нескольку часов, был заставлен безделушками, фотографиями в красивых рамочках, сувенирами из заграничных поездок, куда она отправлялась без сопровождающих лиц. Устав от работы, она просила Аркадия открыть дверцу книжного шкафа красного дерева. Там на полках наподобие книг стояли коробки шоколадных конфет в иностранной упаковке. Если я приезжала с Аркадием, меня ими тоже угощали.

Борьба между автором и редактором была длительной и изнурительной.

Белинков изображает прошлое для обличения сегодняшнего дня. Книпович старается не допустить этого. Автор прилагает невероятные усилия, чтобы его книга не походила на типичный советский продукт. Редактор делает все возможное, чтобы приблизить рукопись к установленным стандартам. Спорные места многократно переписываются. К каждой встрече Аркадий запасается тремя заготовками на одну и ту же тему (он заранее знает, к чему придерется его бдительный редактор): один вариант, который можно переделать, другой, который не жалко уступить, и третий, за который нужно стоять насмерть. Военные действия ведутся по законам уличного боя: за каждый дом, этаж, абзац, строчку, слово.

Аркадий обрушивается и на тиранию, и на тех, кто ей служит, из-за кого диктатура и процветает: «В глухие и темные годы мировой истории лучше всех низменные интересы своего класса могут удовлетворить именно дураки, ничтожества и мерзавцы. В глухие и темные годы мировой истории расплозятся по земле тупые и самонадеянные гады, и правит миром торжествующая бездарность». Редактор этот абзац пропускает. Самонадеянные гады — это другие, это не она.

Аркадий показывает питательный источник, в котором размножаются ничтожества, продвигаемые на государственные должности. Он это делает на примере павловского времени, описанного Тыняновым: «У меня



умирают “лучшие люди”», — говорит Павел I о несуществующем подпоручике Киже, произведенном в генералы. Киже — гротескный литературный образ, созданный Тыняновым в повести с отсутствующим героем.

«“Лучшие люди” ...лишены своеобразия, индивидуальности, характера. Такие люди быстро делают карьеру и становятся генералами Киже...» Все, что связано с Павлом и совпадает с оценкой советских историков, тоже не вызывает возражений.

Но в утке яйцо, а в яйце — иголка: «Так как все, что с ними происходит, происходит не по их воле, а по расположению духа самодержца, не ограниченного никакой сдерживающей оппозицией, то они могут с такой же легкостью по иному расположению духа превращаться из генералов в арестантов, из живых в мертвых». Неограниченная диктатура ведет к непремennomу произволу. Это и есть тот кончик иголки, та точка, в которую «не отвлекаясь ничем» стреляет Белинков. Эту аллюзию потом с готовностью подхватит читатель-шестидесятник, тем более что ему только что на XX съезде на наглядных примерах показали, с какой легкостью в стране с отсутствующей оппозицией живых превращали в мертвых.

Разгар работы над подготовкой рукописи к изданию пришелся на жестокую морозную зиму. К этому времени Аркадий с помощью своих родителей обзавелся теплым драповым пальто. (Первое настоящее пальто после лагеря!) Но, рискуя схватить воспаление легких, Аркадий упрямо ездил к Книпович в старом легоньком плаще-пыльнике — это было дополнительным средством давления на неуступчивого редактора. Каждый раз Евгения Федоровна ужасалась тому, как легко Аркадий одет, угощала конфетами и... назначала новую встречу.

Случалось, работа над книгой перемежалась сердечными приступами, поездками в поликлинику Литфонда, пребыванием в больницах (сваливался сорокалетний Белинков, а не семидесятилетняя Книпович). Тогда больничная койка превращалась в рабочий кабинет. Иногда в больничную палату превращалась наша комната в коммунальной квартире, и, пока я была на работе, друзья дежурили у постели автора. Они менялись. То Эмиль Кардин, то Флора Литвинова, то Галя Белая, то Ирина Уварова...

Если бы дело было в одной только Книпович!

Редколлегия во главе с директором издательства Лесючевским оказалась бдительнее своего ведущего редактора и вознамерилась урвать еще несколько кусков из рукописи. Евгения Федоровна подчинилась и предъявила автору новые требования. Аркадий был вне себя. Все уже согласовано! И все время эти качели! Не уступить — потерять книгу. Первую, печатную. После этого наверняка — последнюю. Уступить — книгу спасти. Ценой измены самому себе.

Аркадий выпутывался, выкручивался. Характеризуя царствование Павла I, он написал, что в то время «дискуссии были исключены». Демон-

стративно сопряженные слова из разных эпох — любимый прием для нарушителя границы между прошлым и настоящим. Редколлегия придралась к слову «дискуссия». Нет, редакторы не были озабочены безупречностью стиля. Их волновало не то, что в восемнадцатом веке «дискуссия» еще не вошла в состав русского языка. Само слово «дискуссия» исключало единомыслие.

Пока еще трепетала «Оттепель», «Литературная газета» решила создать новый раздел. Предполагалось, в нем будут печататься *статьи двух авторов на одну и ту же тему*. Это было большим новшеством — не одно-единственное, а два разных мнения. Но как бы это обставить так, чтобы разные взгляды не выглядели инакомыслием? И тогда назвали новую рубрику не «Спор» и даже не «Дискуссия», а помягче — «Диалог». Соответственно и Белинкову надлежало избегать «дискуссий», и ему был предоставлен выбор: или написать, что во времена Павла I «диалоги» были исключены, или выбросить весь кусок с характеристикой злополучного времени. Конечно, в запасе был «диспут», что соответствовало бы павловской эпохе. Этим иностранным словом в России того времени уже широко пользовались. Но Аркадию нужен был ключ к скрытому подтексту. Он вводил частный случай павловской эпохи в общую закономерность тоталитарных режимов, полагаясь на то, что прозорливый читатель найдет обратную дорогу к своему времени. В редакции критики и литературоведения уместность «дискуссии» в не подобающем ей контексте широко обсуждалась. Аркадию пришлось кусок переделать. Место «дискуссии» заняла «оппозиция», на которую, устав спорить с автором, согласились. Ничья.

Дискуссия по поводу «дискуссии» была не последним препятствием. В рукописи — уже согласованной и с Книпович, и с редколлекгией — перед самой ее отправкой в типографию заместителем директора издательства Валентиной Карповой<sup>1</sup> был обнаружен еще один, как будто бы последний «идеологический» непорядок. Автора вызвали в издательство для дополнительных переделок. По чистой случайности в кабинете замдиректора оказался Виктор Шкловский. Неожиданно он громко возмутился бескомпромиссной позицией своего ученика и поддержал Карпову.

Аркадий с криком «не уступлю!» выбежал, хлопнув дверью. Но об этом эпизоде будет рассказано несколько позже.

Встреча с начальством оказалась чреватой серьезными последствиями.

Кое-как Аркадий добрался до дому. Поднялся на пятый этаж без лифта. (Мы тогда еще жили на Матросской Тишине.) И сразу слег. Пошли в ход

<sup>1</sup> «Председатель Идеологической комиссии ЦК Поликарпов — это много Карповых», — шутил Аркадий.

кислородные подушки, которые я под сердобольные взгляды прохожих притащила из аптеки за углом. Аркадий жаловался на боль в пояснице. Мы слышали, что при почечных коликах помогает горячая вода. Аркадий пошел принимать ванну. При выходе из ванной комнаты больной опирался на мое плечо, но ноги переставлял как-то странно и с каждым шагом заметно тяжелел. Едва мы доплелись до кровати, Аркадий свалился прямо на пол. Он был без сознания. Поднять его у меня уже не хватило сил.

Я стала звать на помощь соседей (благословенные коммунальные квартиры! Их впервые с сердечной теплотой описала Алла Кторова). Кроме стукачки в нашей квартире жила еще одна соседка — профессиональная медсестра. Она бросилась к телефону вызывать неотложку. В отчаянии, не понимая, что делаю, я приставила к губам Аркадия раструбу кислородной подушки и со всей силой надавила на упругую ее поверхность. Аркадий судорожно вздохнул. Сердце заработало. Сознание вернулось.

Вскоре приехавший врач выслушал и выстукал больного и подтвердил: мы все делали правильно. Он уверенно (должно быть, не первый случай в его практике) осведомился: «В тюрьме сидели?» И поставил диагноз: «Инфаркт почки». Тут-то Аркадий и вспомнил, что на допросах ему уже доводилось испытывать точно такую же боль. Должно быть, в протоколах следователей тогда-то и появлялось: «Допрос прерван».

На дистанции *«письменный стол писателя — книжный магазин издателя»* каждая рукопись в СССР проходила многоступенчатую цензуру. У некоторых она начиналась с «внутреннего цензора» (это сам автор: или тот, который наступал на горло собственной песне, или тот, который придумывал пути обхода цензуры), потом внутренний рецензент, оценивающий рукопись по заказу издательства, затем редактор, служащий в издательстве. В Главлит<sup>1</sup> поставлялась уже обструганная сосна. Но сучки и задоринки на ней все же могли сохраниться... Уже после Книпович — Карповой из цензуры возвращались Белинкову «криминальные» страницы рукописи с заметками на полях: «интонация», «стиль!» и даже (особенно на страницах, посвященных Павлу): «Почему такая ненависть к самодержавию?». Это советские-то цензоры!

---

<sup>1</sup> Главлит СССР — Главное управление по делам литературы — создан в 1922 году как специальный орган ЦК ВКП(б). Переименовывался несколько раз. Последнее название — «Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати при Совете министров СССР». Для краткости даже в официальных бумагах употребляется старое название. Назначение специального органа — тотальный контроль над всеми средствами массовой информации: печатью, радио, ТВ, театром, живописью, музыкой, книжной торговлей и т.д. Назначение цензуры не только охрана государственных тайн, но и слежка за идеологической «чистотой» информации. Главлит был тесно связан с карательными органами. Формально цензура отменена в период «гласности».

В 1960 году книга «Юрий Тынянов» вышла в свет опасливым тиражом — всего 5000 экземпляров и сразу сделала автора знаменитым. «Юрия Тынянова» как будто сдуло с полок магазинов, отрывки из него переписывались от руки, книгу брали с собой в отпуск, везли в эмиграцию. Первая рецензия Шкловского «Талантливо»<sup>1</sup> своим названием задала тон официальной критике.

Книгу оценивали высоко, но, похоже, в сознании интеллигенции ее политическое звучание затемняло ее литературные особенности.

О совершенно новом качестве книги — скрещении рационального исследования с эмоциональным языком художественной литературы — упоминалось вскользь, одной-двумя фразами: «свой почерк», «интересно читать». И только иногда: «проза критика», «полноценная художественная проза».

Редкие зарубежные критики, разобравшиеся в «зашифрованных» текстах, тоже в первую очередь приветствовали их политическую направленность, а не «художественные особенности».

А как раз замена логической системы доказательств на образную и была главным «приемом» в прорыве через цензурный заслон. Я забираю «прием» в кавычки, потому что в случае Белинкова это не инструмент, специально придуманный им для отмычки цензурных дверей, а органическая особенность его творческого почерка.

Помимо разнообразных ухищрений, применяемых для обхода цензуры, в борьбе Белинкова за свободное слово присутствовал еще один элемент — невероятная сила нравственного сопротивления. Не случайно по его книгам прошла немыслимая для советского литературоведения концепция — писатель должен сопротивляться господствующей власти, если он хочет сохранить свой творческий потенциал, *добровольная* капитуляция означает *творческую* гибель. Пока что он решал эту проблему на образе Грибоедова, которого Юрий Тынянов изобразил не автором «Горя от ума», а слугой империи после поражения декабрьского восстания. Впоследствии Аркадий напишет трагическую книгу о гибели творческой личности не при царском режиме, а при советском.

Вскоре после выхода книги Евгения Федоровна Книпович случайно встретилась в Доме литераторов с Юлианом Григорьевичем Оксманом. У нее — репутация верного слуги режима, у него — карбонария! Известный ученый подходит к литератору, неприятному во всех отношениях. «Никогда бы не поздоровался с Вами — всегда считал Вас сволочью. Но как это Вы выпустили книгу Белинкова?» Узнали мы об этом сомнительном комплименте от самой Евгении Федоровны. Рассказывая, она ничуть не смутилась сволочью. Показалось даже — заговорщически улыбнулась.

---

<sup>1</sup> Шкловский В. Талантливо // Литературная газета. 1961. 8 апр.

Мы так и не поняли, почему закаленный советский редактор — умная, энергичная, не делающая политических промахов женщина — благоволила к Аркадию, называла нас «мои дети» и подписала книгу «в набор». Сыграли ли тут роль веяния начавшихся перемен и она пыталась исправить свою репутацию, проявилось ли женское сочувствие к репрессированному, сказался ли литературный вкус — наследие блоковских времен? Или Евгения Федоровна вспоминала свою молодость, когда, здороваясь и прощаясь, Аркадий, в отличие от партийных товарищей, целовал ей руку?<sup>1</sup>

Может быть, недоумевала и она сама.

За «Юрия Тынянова» в 1961 году Аркадий Белинков был принят в Союз писателей СССР (рекомендации В.Б. Шкловского, Е.Ф. Книпович и Ю.Г. Оксмана).

Рецензенты Приемной комиссии обратили внимание на то, что пропустили критики: «Подобно самому Тынянову, о котором написана книга, автор ее — не только исследователь, но и художник... Он с такой свободой, с такой беспощадной пронительностью и волевой устремленностью подчиняет себе материал тыняновского творчества, что часто становится конгениален автору “Кюхли”, “Вазир-Мухтара” и “Кижэ”»<sup>2</sup>. «После этой книги некоторые статьи, которые разбирают литературу, кажутся каким-то бормотанием...»<sup>3</sup>

Популярность автора была так широка, что, когда Московская секция критики СП СССР выдвигала кандидатов на Ленинские премии 1962 года, Р. Орлова предложила включить кандидатуру Аркадия Белинкова. (Ленинская премия за такую книгу?)

Кандидат, однако, серьезно отнесся к этой затее и сел за письмо в Комитет по присуждению Ленинских и Государственных премий, чтобы в случае «удачи» от такой чести отказаться. К счастью, от выдвижения до присуждения — длинный путь. Процесс остановился где-то в самом начале.

В 1965 году вышло второе издание «Юрия Тынянова».

Его называли новой книгой, которая «отличается от прежней, как завершенный труд от эскиза»<sup>4</sup>. И действительно, «новая книга» по объему намного превысила «старую», завершила разрушение традиционного жанра критико-биографического очерка<sup>5</sup>; расширила возможности «второго

---

<sup>1</sup> Один критик, не сведущий в правилах вежливости, предположил, что это подхалимаж.

<sup>2</sup> Данин Д. // Московский литератор. 1961. 14 сент. В этой публикации «конгениален» заменено на «становится равен». Цитируется по стенограмме.

<sup>3</sup> Сажин П. Не опубликовано. Цитируется по стенограмме.

<sup>4</sup> Рассадин Ст. Продолжение спора // Вопросы литературы. 1966. № 10. С. 194.

<sup>5</sup> «Книга Белинкова представляет собой совсем новый жанр, будем говорить условно — роман. Это роман о литературе...» (Уварова И. Новая книга // Московский комсомолец. 1966. 24 авг.).

прочтения» — «литературоведение превращалось в рискованно смелую публицистику»<sup>1</sup>. На место безликого автора исследования, часто именующего себя нейтральным мы («Мы уже отмечали...»), автор поставил себя — человека из плоти и крови — Аркадия Викторовича Белинкова. Он доверительно беседует с читателем: «Я не пытался написать обо всем, что сделал Тынянов, я хотел написать лишь о том, что наиболее свойственно, как мне кажется, Тынянову, — о его художественной доминанте». Вместо скучного историко-литературного исследования, интересного только специалистам, читающая публика самых разных профессий получила книгу, в которой «строгая научность сочетается с блестящим артистизмом»<sup>2</sup>.

Издательские чиновники, пытаясь обозначить разницу между традиционной книгой по литературоведению и этой новой, стали называть работы Белинкова литературоведческими романами. Должно быть, трудно определить новый жанр, не похожий на два в литературоведении узаконенных. «Дьявольская разница!» — как сказал бы Пушкин. Так он и сказал, когда ему пришлось определять различие между романом и романом в стихах. А один обладающий поэтическим чутьем человек так выразился по поводу «Юрия Тынянова»: «Нет нужды определять жанр этой книги; но я думаю, что в ней все-таки больше от поэзии, чем от прозы (в смысле жанра)... Мне почудились даже формы поэтические: баллады с рефреном и посылкой в конце...»<sup>3</sup> Сам Аркадий тоже сравнивал свою прозу с лирикой, для убедительности приводя в пример стихотворение Лермонтова «Парус», которое написано вовсе не о парусе.

«Оттепель» сменялась заморозками. Цензуре приказали усилить бдительность. Намеки на королей и их борьбу за власть руководящие работники не только научились понимать, но даже стали находить аллюзии там, где их не было. Расправы над инакомыслящими участились. Прошел суд над Бродским. Подобрались к Андрею Синявскому. Перестали печатать Солженицына.

В то же самое время на книжный рынок выбрасывается книга, в которой утверждается: «Для Тынянова Павловская эпоха, русское самовластие, самодержавие, империя нужны были, чтобы понять, чтобы угрожающе показать, что тираническая власть не может исправиться.

Что она не может быть исправлена.

Что она должна быть уничтожена».

Аркадий любил повторы, рефрены. Пребывая за колючей проволокой, он тоже провозглашал: «Уничтожайте коммунистов и их идеи!»

<sup>1</sup> Иванова Н. Смена языка // Знамя. 1989. Ноябрь (№ 11). С. 226.

<sup>2</sup> Чуковский К. Врезка к публикации главы из книги А. Белинкова об Олеше // Байкал. 1968. Январь (№ 1). С. 109.

<sup>3</sup> Даниэль Ю. Я все сбиваюсь на литературу. Письма из заключения. Стихи. (Письмо четырнадцатое). М., 2000. С. 111.

Неисправимость диктатуры, под прессом которой мы тогда жили, подтвердилась снятием Хрущева и воцарением нового генсека Брежнева. Начинаясь ресталинизация.

Если наложить второе издание «Тынянова» с его разрешительным номером Главлита на политическую ситуацию в стране, то появление такой книги и впрямь можно объяснить только колдовством.

Что же случилось на самом деле?

Невероятно, но факт: цензорский номер А13113 на втором издании не означал, что именно оно и было разрешено.

Что же произошло? Как известно, издательские работники — верные стражи соцреализма. Так было задумано и должно было неукоснительно проводиться в жизнь. Но не каждый сотрудник в редакции хотел быть «винтиком» социалистического государства. Насколько беднее была бы литература советского периода, если бы не эти скромные помощники авторов! Помощники? Единомышленники. Но какая разница! Выходит смелая книга. Автору почет и уважение, а имя редактора затерялось на последней странице вместе с выходными данными... Спихватившись, тираж режут (не метафора, буквально режут на части). Автор — жертва. И он же — герой в глазах незапродавшейся интеллигенции. А издательский работник? Он всего-навсего жертва.

Вторым изданием «Юрия Тынянова» занималась Марина Малхазова. Вместе с нею в редакции критики и литературоведения издательства «Советский писатель» работали еще два незаурядных и смелых человека — секретарь редакции Маира Акмальдинова и старший редактор Лев Шубин<sup>1</sup>. Все трое стали добровольными сообщниками, а потом и преданными друзьями Аркадия. Если бы не они, то второго издания, в том виде, как оно осуществлено, не было бы. Маира, ветеран Отечественной войны, разработала подробную стратегию и тактику «подпольного» прохождения рукописи. Она точно рассчитывала, в какой момент нужно внести авторские исправления в рукопись после того, как ее просмотрит заведующая редакцией Е. Конюхова. Она внимательно следила, когда можно заменить соответствующие страницы в наборном экземпляре после перепечатки их в машинописном бюро. Лева координировал действия Аркадия и Марины, на голубом глазу убеждая Конюхову, что «так можно сказать» и никаких подводных камней в тексте нет.

В это время Аркадий и переосмыслил книгу как часть трилогии о трех различных типах поведения творческой личности в тоталитарном государстве. Один сдается и служит, другой нейтрален, третий сопротивляется.

Когда Аркадий довел сильно распухшую рукопись до желаемой кондиции, оставалось самое опасное — провести переоснащенный корабль

---

<sup>1</sup> Л. Шубин — исследователь творчества Платонова. См.: *Шубин Л.* Критическая проза Андрея Платонова // Платонов А. Размышления читателя. М., 1970.

через Сциллу издательства и Харибду цензуры. И тогда наши друзья поставили на обороте титула, как это и полагалось, «издание второе», при этом «забыв» добавить «исправленное и дополненное». Цензор второго издания, номер А13113, в руки которому попало повторное издание, доверился цензору первого, номеру А 09255. «В набор». Рукопись ушла в типографию. Наборщики не подвели, не донесли: то ли не поняли, с чем имеют дело, то ли разобрались и исподтишка одобрили. Книгу сверста-ли. Потом на верстке появился прямоугольный штампик «В печать».

Редакция «Советского писателя» находилась в Москве в Гнездиновском переулке, 10. Будто бы неисправленную и недополненную книгу печатали в Ленинграде на Гатчинской, 26. Все причастные ко второму изданию с волнением ждали сигнала. (Здесь — издательский термин.) Вдруг бомбой взрывается весть об аресте Синявского и Даниэля. Значит, — конец. Все возвращается на круги своя. Пересмотр издательских планов неизбежен. Если «новую» книгу прочтут, пострадают наши «забывчивые» друзья. Надо спешить. (Со всеми книгами Белинкова надо было спешить!) Как назло, печатание книги приостанавливается из-за каких-то технических неувязок, что-то неладное в оформлении с портретом Тынянова.

Аркадий же только что вышел из больницы, где его уговаривали согласиться на операцию на сердце. «Положительные эмоции! Ему помогут положительные эмоции...» — напутствовали меня врачи при его выписке. Еду в Ленинград. Царственный город в морозной мгле, а у меня в голове туман. Типография озабочена выполнением плана. Книга вылетает из графика. «Вырывайте портрет! — говорю. — Книга срочно нужна, нужны положительные эмоции!» Не зная, чем все кончится, возвращаюсь в Москву. Проходит несколько лихорадочных дней.

Телефонный звонок! Снимаю трубку: Маира. В редакции получены сигнальные экземпляры. Без портрета. Успели до пересмотра планов! Взрыв рыданий на обоих концах телефонного провода. Как самозабвенно мы плакали!!! Тираж, такой невыгодный с точки зрения хозрасчета, — 4000 экземпляров — отправлен в книжные магазины. Через полчаса книгу невозможно достать.

Спрос на книгу был большой. Тираж для тех времен неправдоподобно маленький. Рецензии положительные. У Аркадия появилось искушение попробовать еще раз. «Советский писатель» объявил, что в третьем квартале 1968 года будет осуществлено третье издание «Юрия Тынянова». В Отделе распространения мне сказали, что заявки тянули на массовый тираж, но таковой Белинкову был не по чину. На этот раз тираж установили в 20 000 экземпляров.

Аркадий уселся за письменный стол. К рабочему дню, длившемуся по 12 часов, прибавилось еще часа четыре. Один экземпляр недавно вы-



шедшего второго издания начал обрастать вставками, вклейками, заметками на полях. Белинков опять выравнивал баланс между эзоповым языком и открытыми выпадами против тирании. Книгу собирались выпустить с портретом автора, с иллюстрациями. Добиваясь «оптимистического звучания», заставляли художников переделывать скетчи. Один рисунок вообще сняли из-за того, что Пушкин был нарисован с темным лицом (обыкновенная штриховка: просто поэт был изображен вполоборота).

Иллюстрации наконец были отобраны, и весной 1968 года наборный экземпляр отправлен в типографию. Ранним летом были отпечатаны пробные оттиски.

Набор третьего издания рассыпали немедленно после того, как радиостанция «Свобода» сообщила о победе А. Белинкова. Маире не удалось спасти ни одного оттиска. Благодаря друзьям, долгое время хранившим у себя архив Белинкова, вариант предполагаемого третьего издания сохранился. Часть архива их стараниями была в разное время и с разной степенью риска переправлена в США. Об одной такой попытке, стоившей больших волнений, рассказал в своих воспоминаниях старый мой друг, переселившийся в Америку<sup>1</sup>. В московском аэропорту, как ему казалось, он ухитрился отвлечь внимание таможенников от чемодана с рукописями. Каков же был его ужас, когда в американском аэропорту багаж не появился на конвейере! Все, однако, кончилось благополучно. Чемодан заблудился где-то на других авиалиниях и был доставлен на следующий день.

В экземпляр второго издания с многочисленными исправлениями и вычеркиваниями, сделанными в разное время то карандашом, то ручкой, то на машинке, были также вложены многочисленные вставки и добавления, предназначавшиеся для третьего. Сейчас невозможно определить, насколько этот материал адекватен уничтоженному оттиску. Но восстановить первоначальную правку оказалось можно. Автор возвращался к текстам, отвергнутым в свое время Книпович, или уточнял те, над которыми он работал с Малхазовой. В надежде, что будущего цензора третьего издания удастся ввести в заблуждение уже испытанным приемом, Белинков сплошь и рядом отказывался от эзоповского языка. Например: «Россия и ее народ обречены на деспотическое самодержавие, во всю историю лишь меняющее формы правления и название». Или: «Обещания революции скоро уступают место реальной необходимости, которой не до свободы, равенства и братства, ибо реальная необходимость требует защиты завоеванного, победы во внутрипартийной борьбе, и на патетические фразы, в том числе и такие пустяки, как свобода, равенство и братство, конечно, не обращает внимания».

Среди материалов, относящихся к третьему изданию, нашелся и портрет Тынянова, подвергшийся выдирке. Под портретом писателя — отры-

---

<sup>1</sup> Китаевич Ю. Почти жизнь. Нью-Йорк, 2003. С. 129.

вок тыняновской рукописи. Когда фотографы делали копию, то портрет положили не на нейтральный фон, а на страницу рукописи, и она попала в объектив. Под портретом красовался такой текст: «...начинаешь интересоваться фамилией цензора, вспоминаешь, что это “массовый” тогдашний альманах, “альманах-мужик”, по выражению Белинского. Книги становятся тем, чем были, — людьми, историей, страной. Юрий Тынянов».

С книгой о Тынянове тесно связана еще одна работа Аркадия Белинкова — статья «Ю.Н. Тынянов», опубликованная во втором томе трехтомной «Истории русской советской литературы»<sup>1</sup>. Том с этой статьей успел выйти в свет в 1967 году, а оттиск ее датирован 1968 годом, годом нашего бегства. Находясь уже в эмиграции, Аркадий нашел в нем ошибку, которую, к сожалению, поздно было исправить. Одним из издателей декабристского журнала «Мнемозина» назван не В.Ф. Одоевский («отнюдь не декабрист», — подчеркивает Белинков в карандашной поправке), а Рылеев.

Из соображений цензурной проходимости Аркадий составил (именно не написал, а составил) статью заново из отрывков второго издания «Юрия Тынянова», на котором уже стоял цензорский номер.

Редактором статьи был академик Л.И. Тимофеев, член редколлегии «Истории...». Почему-то он предпочитал согласовывать свои поправки у нас дома, хотя передвигался на костылях и с трудом поднимался на лифте на 9-й этаж (к этому времени мы переехали в писательский дом на Малой Грузинской, получив квартиру по непосредственному распоряжению небезызвестного Ильина, который однажды поговорил с ошеломленным Аркадием как зэк с зэком! Двери именно этой квартиры мы сами закрыли за собой навсегда). Обязанности редактора-цензора Тимофеев выполнял без большого энтузиазма. В статье осталось много, как теперь говорят, политически некорректных мест.

Когда том уже был подписан к печати, в «Науке» спохватились и проявили надлежащую бдительность.

«Глубокоуважаемый Аркадий Викторович! — Подписали вместе письмо заместитель главного редактора А.М. Кулькин и заведующий редакцией литературоведения А.К. Владимирский. — На нас произвела самое благоприятное впечатление Ваша интересная и глубокая статья о Ю.Н. Тынянове... Вместе с тем не хотим скрывать от Вас, что некоторые положения Вашего исследования вызвали у нас настороженность и опасения, что эти формулировки могут быть истолкованы массовым читателем “Истории” не так, как это задумано Издательством, Редколлекцией и, разумеется, Вами, как автором статьи».

---

<sup>1</sup> Белинков А. Ю.Н. Тынянов // История русской советской литературы. М.: Наука, 1967. Т. 2. С. 335.

Чтобы не утомлять читателя, приведу только несколько кочек, о которые споткнулось издательское колесо.

Бдительные работники идеологического фронта просили объяснить фразу «Все это прекращает существование, когда в эпохе нет ничего, кроме реакции...».

Они задавали уличающий вопрос:

«Что Вы имеете в виду под настойчивым повторением понятия “усиление диктатуры пролетариата”?»

Они выводили на чистую воду:

«Вызывает сомнение справедливость суждения о том, что “эпохи Павла, Петра, Николая становятся похожими друг на друга и все грядущие эпохи будут похожи на те, которые уже были”. Ведь в “грядущие эпохи” входит и советская».

Не скрывали своего раздражения:

«Полагаем, что без “кости, брошенной в трудные времена” (кому?) можно бы обойтись».

«Наука» оказывала сильное давление на обоих, на автора и редактора. Оба сопротивлялись. Каждый в меру своих сил. В конце статьи Аркадий подвел итог, который все же был напечатан: «Есть много причин, по которым одни книги оказываются лучше, другие хуже. Из многих причин, которыми можно это объяснить, серьезное значение имеют две: история, разрушающая человека, и сила его нравственного сопротивления».

## ОТВЕТ ВНУТРЕННИМ РЕЦЕНЗЕНТАМ

После получения рецензий на свою книжку я напряженно и систематически с девяти часов до двенадцати готовился к тому, чтобы не отвечать.

Я готовился к этому, как студенты к экзамену по сопромату.

Важно было понять, что отвечать не на что. Что уважаемые оппоненты нимало не заинтересовались человеком, написавшим книжку, но со всей страстью людей, бескорыстно преданных святому искусству, стали рассматривать его платье.

Платье было красного цвета.

Скверная привычка уважаемых критиков раздражаться красным цветом привела к тому, что они начали, пожимая плечами и разводя руками, терзать слова вместо того, чтобы подумать, что ими сказано.

То, что сказано, оказалось до такой степени несущественным, что я на этом не стал бы останавливаться (как в подобных случаях пишет «Литературная газета», начиная подробнейшим образом ругать какое-нибудь реакционнейшее произведение), если бы разбираемая книга принадлежала, например, кому-нибудь из моих оппонентов, а не мне.

Так как книжка, в сущности, значения не имела, то, естественно, речь шла лишь о раздражающих словах. О платье. От всей души, желая мне добра, оппоненты полагали, что если работу написать другими словами, то все будет в порядке.

С горечью говорю, что оппоненты ошиблись: от всей души желая добра мне, они приняли раздражающий цвет книги за цвет платья. Но я знаю: это цвет кожи. Красный, индейский цвет кожи. Кожи Гурона.

Гурон из вольтеровской повести приехал в Париж, свежими глазами посмотрел окрест и — удивился: люди делали какие-то вещи, казавшиеся им правильными и нужными и непонятными человеку, свежими глазами увидевшему мир как бы впервые и не понявшему условные знаки вещей и их взаимоотношения. Это было началом теории остранения.

Раздражающий цвет — это цвет кожи. Если ее содрать, то книжка умрет. Как Гурон, с которого содрали кожу.

Я твердо убежден в том, что страницы, похваленные рецензентами за «литературоведческую эрудицию», которой «может похвастаться далеко не

каждый студент», «за хорошее владение материалом и источниками» и т.д., не лучшие страницы, а лучшие те, которые на фоне чистых линий и гладких плоскостей романов Бабаевского выглядят тревожно и заставляют думать над тем, что мы иногда пишем робко и плохо.

Историко-литературная категория «стиль» была подменена стилем речи, языком. Платье спутали с кожей. И поэтому спор с оппонентами оказался спором не за строчку, а за способ существования.

Привычка рецензентов говорить от имени читателей сейчас надежно скомпрометирована.

Когда говорят, что нужно писать так, чтобы читателю все было понятно, то упускают из виду совершенно очевидную вещь, что читатель разный. Книга, рассчитанная на заведующего кафедрой, может и не понравиться старшему лаборанту той же кафедры. И хуже она от этого не станет. Я совершенно твердо знаю, что мои соседи по квартире — врач, токарь, три домашние хозяйки, домработница и школьница 9-го класса «Фауста» не читают. Однако из-за этого «Фауст» посрамлен не был, прелести для меня не потерял и скомпрометированным не оказался.

Тираж и номенклатура изданий говорят далеко не все, и только по ним писать историю мировой культуры нельзя. Мы знаем, что в 1913 г. Вербицкая издавалась следом за Толстым. В бестселлерах тонут и Данте, и Сервантес, и Достоевский. Была пора, когда тиражи Бабаевского стояли чуть ли не рядом с Чеховым.

Конечно, все, что пишет литератор, он пишет для читателя. Но противно слушать, когда критические ханжи пытаются кого-то уверить, что профессиональное высказывание теряет значение по сравнению с каким-нибудь читательским экспромтом. Читатель, конечно, претендует на то, чтобы судить о литературе. Совершенно естественно. Литература существует для него, а не для литературоведов. Но ведь автомобиль тоже существует не для шофера, а для него — читателя-пассажира. Однако пассажир не станет задирать капот автомобиля и не начнет ковырять пальцем какой-нибудь блок. В литературе же такие вещи бывают сплошь и рядом: читатель задирает капот и ковыряет. В общем, это его дело. Плохо, когда критик начинает сюсюкать, говорить приятные слова читателю и делать ему красиво.

Это не выпад против читателя. Без читателя нет литературы. Это стало моим физиологическим ощущением. Каждый день я убеждаюсь в том, что пишу все хуже из-за отсутствия читателя, из-за ужаса, который вызывают у меня издательство, редактор, хождения по писательским мукам.

В сказке о голом короле важно не то, что устами младенца глаголет истина. Это мы знали еще до Андерсена из Евангелия. Это о нищих духом. Важно то, что истина может быть высказана только не и с п о р ч е н н ы м человеком. Неиспорченным человек может быть только до тех пор, пока

он не испортится. Очевидно, истину можно узнать только от человека до двенадцатилетнего возраста. Когда мальчик вырастет, он вполне может стать таким же сукиным сыном, как Анатолий Суров<sup>1</sup>. Это я говорю потому, что хотел бы убедить присутствующих в том, что глас народный — это еще не всегда божий глас. Сказки об этом я не вспомнил, но сказка о голлом короле похожа по мысли, и поэтому я упомянул о ней. Глас читателя, несомненно, подлежит такой же строгой проверке, как и Священное Писание. Кстати, столь же фольклорное.

Читатель судит об искусстве просто, прямо и ясно. Но, к сожалению, не всегда достаточно и квалифицированно. На *aise reviewe* я сидел рядом с каким-то генералом. Генерал, конечно, был седой, боевой, в орденах и вообще все, что полагается по комплекту в песнях о генералах. Оба отделения этот самый генерал ерзал в своем кресле, вздыхал и бубнил: «Оно, конечно, хорошо. Только — безыдейно». Это — отвратительная привычка к повышенной идейности решительно во всем. И самое отвратительное то, что идейность какая-то генеральская: «Шаг вперед на защиту лесонасаждений!» Нет никакого безыдейного искусства. И в *aise reviewe* была высокая идея человеческой красоты. Для того чтобы человек защищал лесонасаждения, ему не нужно твердить об этом 154 раза в день, а нужно воспитывать в нем г р а ж д а н и н а. Стихи Пушкина о стихах и любви делают это лучше, чем стихи некоторых литературных генералов.

Мы не имеем права на спокойствие. У нас еще очень много не сделано. Мы иногда забываем пятидесятилетия и работаем так, как будто бы до нас литературы не было. Вместо истории литературы мы рассказываем забавные и приятные истории о том, как хорошо отражали жизнь и любили народ великие писатели, и о том, как хорошо [мы] к ним относимся и снисходительно прощаем им ошибки и заблуждения.

Решив, что писатель хороший и н у ж н ы й, мы называем его реалистом и начинаем, захлебываясь, делать ему карьеру.

Читая книги Юрия Николаевича Тынянова, начинаешь размышлять о том, что такое история, литература, писатель, мышление художника и ученого и что вызвало снижение мастерства в нашей литературе последних лет. Мы, люди, занимающиеся историей и теорией литературы, часто бываем легкомысленны и легковыверны. Высказывания известных предшественников мы не проверяем, а примеряем: подходят ли они нам. Брошенная Белинским фраза о том, что художник мыслит образами, а ученый понятиями, была принята с благодарными поклонами, вызвала к жизни целую школу, которая спорила со всеми и обо всем, кроме того, о чем действительно следовало спорить: так ли это.

---

<sup>1</sup> Суров А. — драматург, автор пьесы «Далеко от Сталинграда». Классик социалистического реализма. Лауреат Сталинской государственной премии. Известно, что по найму писал за него голодающий «космополит» Я. Варшавский. — Н.Б.

От Ломоносова до наших дней наука о литературе и литература существуют вместе, а возникающие иногда пограничные инциденты их надолго не ссорят.

Случай Тынянова ученого-художника не исключительный, а только наиболее характерный.

Отличие в этом отношении Тынянова от Карамзина или Белого в том, что у него наука и литература совмещались не только в одном человеке, пишущем то ученое исследование, то художественное произведение, а в совмещении обеих категорий в одном жанре и выведении одной категории из другой.

Тынянов был не только историком литературы и историческим писателем, но и человеком высокой исторической отзывчивости. У него было острее чувство движения. Для него не было романа вообще, поэмы вообще, ямба вообще. Было — явление в истории. Потому что пушкинская поэма на фоне поэмы XVIII века была «не поэмой» и смысл истории и литературы, литературного процесса как раз в превращении форм. Т.е. в том числе и содержательных элементов. Нельзя построить статическое определение литературной категории, потому что путь от «Телемахиды»<sup>1</sup> до «Уляляевщины» — это история отрицания сходства и преемственности. Мы не можем определить и никогда не определим понятия «литература» не только потому, что это понятие безгранично, но потому, что границ у этого понятия нет. Есть взаимоотношения между более или менее развитым стволем того, что узнают как литературу, и околотитературным кругом. У «литературы» и ее окружения размытые края, и диффузия частиц приводит к выпадению частей литературы в околотитературный круг и попаданию частей из околотитературного круга в литературу. Так было с письмом, превратившимся в эпоху карамзинизма из частного случая в факт литературы. Так было с газетой, ушедшей из литературы в околотитературный круг.

В истории нет хороших или плохих периодов. Хорошими или плохими они становятся в оценке современников, которым хорошо или плохо в этой истории, и потомков, которые для своего времени одни периоды хвалят, а другие ругают. Истории нужно все: и хорошие и плохие периоды.

Ошибка формализма была не только в факте существования. Истории нужно все. Ошибка была в том, что он пережил свое время. В том, что он очень боролся за свое существование. Мы недооцениваем ни вреда, ни пользы формализма. В сущности, ничего серьезного о формализме не сказано. Мы же, литературоведы, отделались от формализма фразами и цитатами. Необходимы серьезные работы, которые бы строго научно определили враждебную нам сущность формализма и показали бы, как мы

---

<sup>1</sup> Правильно: «Телемахиды» — *Примеч. ред.*

можем использовать большой текстологический, редакторский, исследовательский опыт некоторых ученых формалистов.

В истории нужно все, но это «нужно» должно быть понято исторически. Ругательное слово «эстетство» не всегда было ругательным. Оно, как всякое явление, может быть понято только на фоне эпохи. Стихи Петрарки о мадонне Лауре в истории литературы были не только знаменем эстетизма, и сам исторический Петрарка в своем XIV веке был кем угодно, только не эстетом, потому что его выступление на фоне средневекового спиритуализма с его аскетизмом и антигуманистичностью было явлением высоко прогрессивным и воинственным. Петраркизм — это форма борьбы в такие периоды жизни общества, когда литература съедается ее назначением.

Нет литературы вообще. Есть и с т о р и я литературы.

Все, что я писал в этой книжке, посвящено вопросам истории литературы, т.е. взаимоотношениям литературы с фоном, течением, процессом, борьбой. А у нас все стало необыкновенно спокойно и тихо в истории. О сменах поколений мы рассказываем эпично и деликатно. Мы говорим об убийстве Пушкина, забывая, что «век XIX железный» — это не только Николай, Бенкендорф, Голицын и Сухожанет, но и литературная борьба, в которой Пушкин был побежден худшей, с точки зрения эпохи, литературой. История литературы — это история литературной борьбы.

Мы потеряли ощущение чрезвычайной значительности века. Мы пишем романы, в которых пустяк ситуации превращается в идею, из которой большего, чем борьба старательного машиниста с нестарательным, не вытянешь.

Я сказал это не для того, чтобы присутствующие поняли, что я тоже внес свою лепту в борьбу с теорией бесконфликтности. Я сказал это для того, чтобы уважаемые коллеги не прятались за фразы о положительном герое. Одного этого мало. Главная задача нашей литературы в том, чтобы показать, как эпоха сделала героя положительным. Точно так же как в старой литературе нас в первую очередь интересует не почему герой плох, а как таким сделала его окружающая среда.

А век — велик. На каждом шагу перед нами встают эпические категории добра и зла, долга и чувства, войны и мира, правды и лжи. На каждом шагу нас подстерегают великие антиномии Мироздания. И мы забыли о чеховском человеке, который стоит с молоточком за дверью каждого сытого и довольного и тревожно стучит в эту счастливую и запертую дверь. Нужно поставить такого человека с молоточком перед каждой дверью в грандиозном ансамбле Лаврушинского переулка. Перед дверью каждого писателя. Вся классическая русская литература жила под этим эпиграфом.



Аркадий Белинков

«ЮРИЙ ТЫНЯНОВ»  
Издание второе. М., 1965  
(фрагменты)

*Из «Вступления»*

Император Николай Павлович был недоволен поэтами.

Поэты писали про дожди, туманы и холодный северный ветер. Они были в оппозиции к господствующему мнению о том, что все на свете прекрасно.

Император приказал цензорам, чтобы смотрели за погодой в стихах.

— Разве у меня плохой климат? — строго спрашивал император.

Он подозревал, что поэты только делают вид, будто они довольны климатом.

Поэты были недовольны тем, что не могли писать то, что хотели. Северным ветром, бореям, они называли казни, ссылки, гонения, запреты и резко повысившуюся роль жандарма в судьбах русской культуры.

Некоторые писали, что они недовольны.

Их убивали.

Писатель — это гонец, который приносит вести о времени. В Средние века гонцов, которые приносили плохие вести, убивали.

Самые верные вести о своем времени принесли Пушкин и Грибоедов.

Вести были плохими, гонцов убили.

Юрий Тынянов писал о поэтах, которые принесли самые верные вести о своем времени, о поэтах, которые были недовольны и которых за это убили.

Юрий Тынянов был одним из немногих художников, писавших о людях, которые протестовали против господствующего мнения о том, что все на свете прекрасно.

Две темы определили писательскую судьбу Тынянова — декабристы и Пушкин.

Они прошли через двадцать четыре года его литературной биографии.

В книгах Тынянова декабристы, их предшественники, их враги и друзья занимают преобладающее место. Лишь к концу творческого пути писателя декабристская тема будет вытеснена Пушкиным.

Не одинаковые исторические причины и часто несходные внутренние побуждения связывают Тынянова с его темами, и так же, как верность темам, писатель сохранил верность их лирическому подтексту. Тынянов писал о декабристах и Пушкине, связывая с ними вопросы, игравшие серьезную роль в истории нашей общественной мысли и получившие особенное значение в годы, на которые падает его творчество, — вопросы взаимоотношений интеллигенции и революции и взаимоотношений человека и государства.

*Из главы «Второе рождение»  
(о романе «Кюхля»)*

Роман написан о том, как жизнь превращается в литературу, как писатель становится таким, каким мы знаем его по книгам, которые он написал. Тынянов считает, что получается это так: человек обладает определенными свойствами; человек с этими свойствами живет в определенных исторических условиях. Исторические условия влияют на природные свойства человека. Своеобразие художественного творчества писателя создается соединением его природных свойств с историческими условиями, в которых он живет. После этого остается лишь одно: выстоять. Так как художник — это человек, который говорит обществу то, что он думает о нем, и его мнение неминуемо расходится с мнением общества, то общество всегда старается не дать художнику сказать то, что он хочет. Победа художника трудна, она требует смелости, беспощадности, высокого ума, любви к людям и выносливости. (Я говорю о художнике, а не о лжеце, который делает нечто похожее на дело художника — пишет книжки, но не имеющие ничего общего с тем, что создает художник, — правду.) Все, что происходит в романе, с первой его страницы до последней, когда, умирая, «он пошевелил губами, показал пальцем на угол, где стоял сундук с рукописями», — это жизнь человека, превращаемая в литературу.

Писатель различными способами высказывает свое мнение о явлениях прошлой и современной ему истории. Занимать же его могут не любые явления, а такие, к которым у него есть определенное предрасположение. Поэтому в его произведения попадают только те события и люди, которые нужны ему для того, чтобы сказать, что думает он. Смысл работы художника в том, чтобы сказать правду, то есть не исказить себя. Произведение выживает только тогда, когда не ущемлено намерение автора сказать то,

что он думает. Художественное произведение — это пример, который приводит автор в доказательство своей правоты. Поэтому лирика — это не только родовая категория, но и первичная форма художественного творчества. А исторический, или фантастический, или экзотический роман — это только псевдоним романа о своем времени и о своем отношении к нему. И никакой настоящий писатель никогда не писал исторический, или фантастический, или экзотический роман только с целью ознакомления почтенной публики с неведомым ей фактом. Бомарше и Лесаж переносят действие своих драм и романов в Испанию, Салтыков-Щедрин — в город Глупов. Но думают они о Франции и о России, о своем времени и о своем отношении к этому времени. Исторический роман появляется тогда, когда художник не в состоянии решить что-то для своего времени или ищет истока какого-либо современного явления. Исторический роман не уводит от действительности, а вводит подобие, аналогию и параллель. Тынянов написал роман о том, как в результате воздействия исторических условий на писателя возникает литературное творчество. Писатель всегда пишет лишь то, что важно для него. Но совпадение того, что важно для него, с тем, что важно для других, не случайно, потому что нормальный, умный и честный человек всегда живет мыслями лучших своих современников. <...>

Столетний исторический опыт писателя выделил в событии самое существенное, и это оказало влияние на подбор материала. В романе убрано все, что могло бы осложнить его главную линию.

Главное же в романе — это нормальный, то есть протестующий против социальной несправедливости, умный и честный человек, который, увидев ложь и насилие, бушующие окрест, не стал сокрушенно покачивать головой и не побежал за оруженосцами и запевалами режима, а написал стихи против гнусной власти, взял пистолет и пошел против лжи и насилия.

Чистота главной линии романа была связана с умением освободить явление от условностей, случайностей, от всего, чем так хорошо умеют люди декорировать историю, когда приходится приспособлять ее для своих надобностей. <...>

Роман о Кюхельбекере сам по себе был научным открытием. Открытием был выбор героя. Главное в творчестве Тынянова-ученого — недоверие к традиционному мнению — стало решающим в творчестве художника. Роман оказался пересмотром такого традиционного и неправильного мнения о человеке, которого знали только по эпиграммам. Книга пересмотрела традиционное мнение и вывела человека за пределы эпиграммы. Окруженный людьми и событиями своего времени, человек стал исторически реальным. Исторически реальный человек не имел ничего

общего с чучелом бойкой литературной традиции. Выяснилось, что у чучела была серьезная литературная теория, хорошие стихи, радикальное мировоззрение и мученическая судьба. Когда этот человек жил, с ним не спорили, а смеялись над длинным носом и неумением держаться в обществе. Последующее литературоведение изучало не писателя, а смешные рассказы про него. О человеке, к которому относились несправедливо, и об истории, которая понималась неправильно, была написана эта гуманная книга.

И книга сделала доброе дело: сто лет назад над человеком смеялись, глумились, говорили, что он дурак. Тынянов написал книгу и доказал, что это неправда. Книга оживила человека.

Две с половиной тысячи лет назад, на юг от нынешнего Севастополя был заложен ионянами, а потом захвачен Гераклеей Понтийской — черноморской колонией Мегары — город Херсонес Таврический.

В городе был храм.

Пол храма был выложен каменной мозаикой, и этой мозаикой храм был прославлен.

Город завоевывали, отвоевывали, грабили и разрушали.

Сюда приходили скифы, тавры, хевсурсы, гунны, готы, киберы, беруры, хазары, афиняне, фракийцы, спартанцы, сарматы, римляне, византийцы, турки, русские, генуэзцы, татары.

Через полторы тысячи лет о нем знали лишь по упоминаниям в древних рукописях и по белым камням, лежащим у моря.

В 1827 году, (когда Кюхельбекера везли из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую) по приказу адмирала Грейга город стали раскапывать.

Откопали остатки храма: пол и несколько ионических баз.

Вспомнили древние рукописи, написали статью, стали приглашать туристов.

Туристы приезжали, шаркали по плитам, удивлялись.

Полторы тысячи лет город и храм разрушали завоеватели, ветер и солнце, стирали подошвами туристы.

Каменная мозаика, прославившая храм, стала серой и мертвой.

Но когда среди белых камней, лежащих у моря, появлялись путешественники, нищие проводники, зарабатывая стакан вина, показывали им чудо: они зачерпывали воду из Евксинского Понта и обливали древние камни.

И прекрасное искусство оживало.

Значение романа Ю.И. Тынянова в том, что он увлажнил живой водой искусства каменистую почву истории и освободил затертого, затоптанного ногами, чистого, умного, талантливого человека.

*Из главы «Главная книга»  
(о романе «Вазир-Мухтар»)*

Под гнетом власти роковой...  
А. Пушкин

В следственном деле Грибоедова много неясного, и мнения разных авторов противоречивы.

Тынянова не занимает вопрос о принадлежности Грибоедова к тайному обществу. Он пишет роман о единстве судьбы повешенных, посаженных, сосланных самодержавием декабристов и о poslanном самодержавием на смерть Грибоедове. Тынянов пишет о том, что все талантливые, независимые и непримирившиеся люди навлекали на себя неудовольствие самодержавной власти, о том, что эти люди должны были идти на службу самодержавной власти, или погибнуть, или сопротивляться. Тынянов пишет о революции и об отношении этих людей к разгромленной революции. О тех, кто пошел, о тех, кто погиб, кто сопротивлялся, кто не сопротивлялся.

Отношение Грибоедова к декабризму Тынянов не подменяет более специальной и более узкой проблемой принадлежности Грибоедова к декабристской организации. Для Тынянова проблема «Грибоедов и декабристы» приобретает значение не в связи с тем, что Грибоедов принадлежал или не принадлежал к тайному обществу, а в связи с его отношением к восстанию и эпохе, последовавшей за разгромом. В проблеме «Грибоедов и декабристы» выбирается непривычная грань: измена и вероломность Грибоедова декабризму, интеллигенция и революция, интеллигенция и революция, которая не оправдала надежд.

После революции продолжается инерция бунтарских идей. Но проходит немного времени, и начинается ревизия и революции, и бунтарских идей. Это свойство всякого послереволюционного времени, независимо от успеха или поражения буржуазной или буржуазно-демократической революции. Так было с Мильтоном после победы индпендентов, так было с Вагнером после поражения революции 1848 года.

Грибоедов не был верен программам, методам и иллюзиям декабризма, как не был верен им Пушкин, как не были верны все, кто не попал в крепость, на Кавказ и в Сибирь, как не был верен им Герцен, начавший свою работу не только после, но и под прямым влиянием декабристов, потому что новое время создало новые идеи и новые идеалы, а поражение восстания было опытом, заставившим искать новые пути.

Шел генеральный пересмотр декабристских программ, методов и иллюзий.

Пересмотр Грибоедовым декабристских программ, методов и иллюзий был связан с его отрицательным отношением к военному бунту и к декабристскому представлению о будущем после победы.

Близилось время, когда понадобилось развернуть революционную агитацию, потому что военный бунт потерпел не случайное поражение и становилось все более ясным, что он потерпел поражение, потому что не был связан со страной и людьми, которым он тоже был нужен и которые готовы были ему помочь.

Продолжение дела декабристов не могло быть и не было продолжением их дела их методами. Верность декабризму была не в попытках повторять их путь, а в отношении к безудержной самодержавной власти. И поэтому люди, не попавшие в крепость, на Кавказ и в Сибирь, спорили с декабристами, но продолжали их дело, и Герцен, своей деятельностью во многом опровергший декабризм, больше всего был связан именно с ним.

Измена и верность революции в романе о Грибоедове стали сквозной темой и лирическим подтекстом.

Вопрос о принадлежности Грибоедова к декабризму для Тынянова имеет значение в связи с гибелью Грибоедова *вместе* с декабризмом, гибелью, вызванной теми же причинами, которые погубили освободительное движение.

Тынянов написал роман о радикале, пережившем подавление восстания, о человеке, занятом обдумыванием и пересмотром декабристских идеалов. Писатель выделяет более черты, разделяющие Грибоедова и декабристов, чем сходство, которое их связывает. Он подчеркивает то, что отличало Грибоедова от декабристов, — предвидение им возможного результата победы. Этот результат казался Грибоедову противоречивым и сомнительным и недостаточно полным...

В романе Тынянова Грибоедов утверждает, что после победы будет «то же, что и сейчас», что победа приведет лишь к смене одного тиранического, деспотического, полицейского режима другим тираническим, деспотическим, полицейским режимом. Грибоедов хорошо знал историю и трезво смотрел на мир...

Тынянов написал роман о великом поэте, крупном государственном деятеле, о человеке способностей разнообразных и необычайных, о попытках его примириться, о попытках помириться, об испытании мятежом, об одиночестве, о смерти поэта.

Люди в романе Тынянова не встречаются, не замечают, не знают, не узнают друг друга и иногда убивают.

Одиноко, как фонари, стоят они на тысячеверстном пути героя. Люди, фонари... По лицу его пробегают тени людей, мимо которых он проезжает. И тени так изменяют его лицо, что оно становится похожим на того, чья тень на него упала. Император, декабристы, предатели, застрелившийся

офицер, герой его комедии, поэты, женщины, которых он любил, которым он изменил, женщины, которые его любили, которые ему изменили...

Роман все время сужается, Грибоедов переходит из круга в круг, и каждый следующий круг уже предшествующего. Широкий петербургский круг, поуже — московский, еще уже — Тифлис, Тебриз, Тейран, Муган, Миан, три двора, два, один двор, щель, где его убивают.

Восстание перерубило время на две части. Снова сравнивается век нынешний и век минувший. Но после поражения даже минувший век кажется привлекательнее нынешнего. Восстание перерубило общество на поколения: отцы и дети боялись и не любили друг друга. Тынянов сталкивает в романе 20-е и 30-е годы, людей до и после восстания, «молодых и гордых псов со звонкими рыжими баками» и людей с «уксусным брожением» в крови...

Самая незащищенная и легко уязвимая предпосылка романа — это его историческая замкнутость и бесперспективность. (И этим охотно и часто пользовались почти все, кто писал о Тынянове, а то и о Грибоедове). Между героем и другими людьми плотное, сдавленное воздушное пространство. Как в пустыне, движется Грибоедов. Два цвета окрашивают роман: желтый и черный. Желтый песок, пустыня и — маленькая черная человеческая фигурка. Художник (Н. Алексеев) заметил эти два цвета, окрасившие роман: на пустынной бледно-желтой обложке — маленький, черный, замкнутый, ни с чем не связанный силуэт.

После расстрела восстания, после того как расстрел восстания снова заставил думать о результатах победы, человек, который «по духу времени и вкусу...» «ненавидел слово “раб”», неминуемо должен был чувствовать себя одиноким, особенно если он был не в Петропавловской одиночке, а в оживленной толпе победителей. <...>

И в желтой пустыне, где-то не в 20-х и не в 30-х годах, — черный силуэт одинокого человека, Александра Сергеевича Грибоедова... Он выпал из времени. Одиночество его удел.

Все, что происходит с Грибоедовым, мало связано с качествами его характера. Все связано с качествами времени. И это для Тынянова особенно важно, потому что для него человек лишь точка приложения исторических сил. Человек, имеющий такую же формулу характера, как и Грибоедов, может родиться в любое время. Но разные исторические эпохи выделяют в этом характере разные свойства и по-разному их используют. Физиологические свойства характера оказываются социально нейтральными. Они лишь проявляют себя так или иначе под воздействием тех или иных исторических требований. В романе Тынянова нет свободы воли, нет выбора, все в нем предрешено и предназначено, и поэтому, независимо от своих природных качеств, человек становится таким, каким его делает время. Характер героя задан, недвижим и неизменен. Обстоятельства не

вливают на характер. И характер не влияет на обстоятельства, они существуют независимо друг от друга до тех пор, пока не вступают в конфликт. Характер неизменен, потому что в романе исторического движения не совершается, в истории ничего не происходит, а только осуществляется то, что предрешено. Историческое движение мнимо, иллюзорно, как иллюзорна надежда на то, что еще ничего не решено. Постепенно выясняется, что все решено, все предрешено, а если все предрешено, то движение не нужно и человек может или двигаться к гибели, или дожидаться ее. Это и делает Грибоедов. В недвижной истории движется к своей гибели Грибоедов.

В первом романе логика взаимоотношений характера и ситуации определяет сюжетное движение. Оно осуществляется вырастанием одного поступка из другого. Элементы сюжетосложения мотивированы дважды: историей и психологией. В «Кюхле» нет иррациональных вмешательств, нет абсолютной детерминации и абсолютного отсутствия свободы воли. Писатель поры создания «Кюхли» не думает, что если революция не победила, то, значит, таков высший непререкаемый исторический закон. В «Смерти Вазир-Мухтара» высший исторический закон иногда побеждает реальную историю.

Два романа отличаются не тем, что в первом есть, а во втором нет выхода, а тем, что в «Кюхле» в крысоловку людей загоняет история, а во втором — судьба. <...>

Писатель проверяет человека восстанием. Книга о человеке, выдержавшем проверку, не весела. Но отличие ее от другой невеселой книги Тынянова, написанной о человеке, потерпевшем поражение вместе с декабризмом, в том, что она не безнадежна. Тынянов в годы создания «Кюхли» смотрит на гибель восстания как на временное поражение, как на черную полосу в историческом развитии, но писатель не считает, что гибель декабризма — это фатальное крушение всех надежд чуть ли не навсегда. В «Кюхле» писатель вместе со своим героем верит в неисчерпаемость революции. Через два года, во втором романе, о героях «Кюхли» зазвучит восторженная и скорбная фраза: «Благо было тем, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими баками».

Тынянов написал роман о том, что гибель общественных идеалов сломила великого писателя. Восстание перерубило время на две части, людей на два поколения, перерубило писателя.

Оказалось, что Грибоедовых — два. Один — автор комедии и второй — автор проекта. Первого декабристы принимают, второго отвергают. Второго отвергает и монархия, угадавшая в проекте идеи «стаи сосланных» (декабристов). <...>



И то, что Грибоедова губят враги и губят друзья, нужно [Тынянову] для того, чтобы показать одиночество великого человека, который знает, какое «мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов», чтобы показать его вневременность, его всеобщность, его положение в вечной борьбе поэта и общества, его позицию в решении проблемы «интеллигенция и революция».

Как может свободный человек, вольный художник жить в стране рабов, стране господ?!

Ведь не идти же ему на службу самодержавной власти!

Что же делать свободному человеку, художнику в этой стране?!

Он должен погибнуть или сопротивляться <...>

В романе Ю.Н. Тынянова приподнята завеса над тайной Грибоедова, он не описание памятника, в нем была сделана серьезная попытка понять, почему Грибоедов не создал хотя бы еще одного «Горя от ума», почему он не закончил «Грузинскую ночь» и почему он не сделал ее такой же прекрасной, как «Горе от ума», почему он не осуществил свой проект, почему он не дописал стихотворения, не доиграл сонаты, почему он умер, не дожив. То, что написал Тынянов, не было исчерпывающей исторической правдой, потому что он ни о чем, кроме роковой власти самодержавной монархии, не сказал. Это было ошибкой, потому что если согласиться с Тыняновым, то понять, каким же образом в этой самодержавной монархии могла возникнуть одна из самых значительных литератур мира, невозможно.

Тынянов в величайшем романе русской литературы на патологическом вскрытии обнаружил лишь социальные травмы погибшего. Он не написал, что только этим невозможно объяснить непохожесть человеческих судеб. Он не написал о том, что в колеса реакции попадало все население эпохи, и поэтому нужно исследовать, почему из одной и той же реакции люди выходили по-разному. Тынянов не написал, что разница была не только в том, что по кому-то пришлось более тяжелое, а по кому-то менее тяжелое колесо, но потому, что в колеса реакции попадали разные люди. Разные люди по-разному переносят социальные травмы.

Заблуждение Тынянова следует опровергать как фактическую ошибку. Даже не доказательствами, а просто примерами. Это нужно сделать настойчиво, потому что происходит подмена ложным тезисом не пустяка, а чрезвычайно важного явления.

Важное явление заключается в том, что комедии, проекты и человеческие жизни гибнут тогда, когда превышает предель допустимого давления роковой власти.

## Глава 5

*Наталья Белинкова*

### ДРУГИЕ И ОЛЕША

Бедный и грешный, испуганный, сдавшийся художник  
умирал, улыбаясь, все понимая, не понимая.

Аркадий Белинков

Открытия при разборе архива Юрия Олеша. О деградации советского писателя и слышать не хотят. Заявка на книгу об Олеше подана. Блоковская конференция в Тарту. Главный редактор журнала «Байкал» Бальбуров становится нашим сообщником. Хождение по мукам в издательстве «Искусство». Белинков — волонтерист. «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» выходит в свет в Москве через 34 года.

«Был хороший писатель...» — такое название Аркадий Белинков дал предисловию к предполагаемому американскому изданию своей книги «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Он поспешил. Опубликовал предисловие задолго до выхода книги. Впрочем, это была только середина долгого издательского процесса, который растянулся на два континента и на несколько десятилетий и разделился на три периода: советский, западный и российский.

«Был» — перестал «быть». В «Сдаче и гибели...» на протяжении чуть ли не тысячи машинописных страниц исследована причина потери или, вернее, растраты дарования незаурядным писателем: «Я написал книгу, в которой пытался рассказать о том, что советская власть может растоптать почти все, и делает это особенно хорошо, когда ей не оказывают сопротивление. Когда ей оказывают сопротивление, она может убить, как убила Мандельштама, может пойти на компромисс, как пошла с Зощенко, и отступить, если с ней борются неотступившие, несдавшиеся художники — Ахматова, Пастернак, Булгаков, Солженицын.

Юрий Карлович не оказывал сопротивления советской власти».

Завершив книгу, Белинков заявил: «Я не люблю своего героя. — И добавил: — Потому что он не был третьей силой».

Как это характерно для человека, который всегда расходился с официальным мнением тех времен: «советское — значит отличное».

Для книги о капитуляции творческой личности перед тоталитарной властью, по мнению Аркадия, больше всего подходила бы судьба Викто-

ра Шкловского (он так и не простил учителю его покаянной статьи «Памятник одной научной ошибке»), но вышло так, что В.Б. Шкловского заменил Ю.К. Олеша.

За Юрием Карловичем Олешей давно закрепилась репутация писателя безупречного во всех отношениях: создал прихотливый мир причудливых метафор, надолго замолчал, чтобы избежать лжи, и собрал вокруг себя беспечных остряков в ресторане «Националь» — что-то вроде клуба вольнодумцев.

В 1960 году Белинков участвовал в работе Комиссии по литературному наследству Ю.К.Олеша, организованной Союзом писателей СССР, и столкнулся с фактами, разрушившими красивую легенду о единственном в своем роде писателе.

Часть разбираемого архива находилась в распоряжении Шкловских на даче, снимаемой ими в Шереметьеве. Зимой 61-го года Аркадий разбирал там бумаги Олеша<sup>1</sup>. Познакомившись с литературным наследием недавно скончавшегося писателя, он обнаружил, что, вопреки легенде, прославленный мастер метафор никогда не переставал заниматься писательским трудом, но, следуя требованиям ужесточающегося времени, стал писать то же и так же, как и все остальные «пираты пера» эпохи «социалистического реализма»: «Жизнь на советской земле с каждым днем становится лучше», «Мечты стали действительностью» и так далее. Белинков увидел, как Олеша менял свое мнение о Шостаковиче и Хемингуэе в зависимости от указующих статей в «Правде», как славил вождей, сменявших один другого на трибуне Мавзолея. Мало того, оказалось, что эта литературная макулатура по объему превысила лучшее из написанного Олешей в 20-е годы. Заблуждение, что Олеша «замолчал», возникло в результате того, что писатель перестал выделяться на общем фоне советской литературы.

Это открытие настолько поразило Аркадия, что в конечном счете привело к книге «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Отнюдь не случайно имя писателя занимает в этом названии последнее место. «Юрий Олеша ехал в той же литературе и в том же направлении, в каком ехала вся отечественная словесность 30—50-х годов. Разница была лишь в том, что он не сидел в этом трамвае, держа на коленях толстый портфель, как это делали его потолстевшие коллеги, а висел на подножке, развеваясь, как флаг русского свободомыслия, и изредка выкрикивал, что у него нет билета, что он едет в грядущее зайцем и что вообще он

---

<sup>1</sup> Виктор Борисович Шкловский был связан дружескими отношениями с Юрием Карловичем Олешей благодаря своей второй жене Серафиме Густавовне, в девичестве Суок. Первым мужем С.Г. Суок был Ю.К. Олеша, создавший прелестный образ Суок в «Трех толстяках».

совершенно загаженный своей интеллигентностью. Но это были привычные историко-литературные резиныяции, непонятные народу и переполнявшие отечественную словесность последних полутора веков, что, впрочем, не сыграло сколько-нибудь серьезной роли в ее поступательном движении вперед». Олеша был не уникальным писателем, настаивает Белинков, а равноправным соучастником в процессе оскудения советской литературы, которая гибла из-за того, что не сопротивлялась давлению свыше. Те, кто пережил советский период русской истории, понимают, что подобное утверждение — случай экстраординарный в советском литературоведении: какая гибель, когда в стране социализма происходит повальный расцвет?

Дело осложнялось тем, что критическое отношение властей к Олеше, когда-то считавшемуся всего лишь попутчиком, а не полноценным советским писателем, разошлось с новыми стереотипами времени «Оттепели». В прогрессивный набор официоза (осторожное привлечение в литературу новых имен и введение строго контролируемых лагерных тем) вошло также и выборочное возвращение фигур, некогда подлежавших замалчанию. В их числе был Ю. Олеша.

В 1956 году вышел первый сборник избранных произведений писателя. В 1965 году готовился второй. В том же году вышла книга «Ни дня без строчки», составленная Шкловским из записных книжек Олеша, тех самых, которые у него на даче разбирал Аркадий. Красочное письмо прозаика, столь характерное для литературы 20-х годов, выглядело ошеломляюще прекрасным на фоне серой литературы «социалистического реализма».

Олеша входил в моду. О мастере метафор начали появляться апологетические статьи. И как раз в это время обратил на себя внимание критик, писавший языком художественной прозы, — Аркадий Белинков. Чем не подходящий автор для исследования заново открытого писателя? Издательство «Художественная литература» поспешило заказать ему предисловие для второго сборника произведений Олеша. Аркадий набросал черновой вариант: блестящими метафорами искусство не исчерпывается, а развитие творческой личности в литературе осуществляется не благодаря руководству свыше. Редактор издательства С. Израильская, по-видимому обладавшая хорошим политическим чутьем, засомневалась в правильном выборе автора предисловия и приехала на разведку к нам домой. Прочитав «девственный», еще не отредактированный текст, не на шутку испугалась и соответственно доложила кому надо. В результате сборник 65-го года вышел с предисловием Б. Галанова, одно время бывшего сотрудником «Правды».

Многие журналы, в частности «Семья и школа», «Детская литература», тоже включились в марафон восхваления Олеша и тоже заказали Белинкову статьи. Там они тоже не были напечатаны. Сохранились гранки одной

из них — «Метафора, история и социология в сказке Юрия Олеши “Три толстяка”» для «Детской литературы». Они испещрены машинописными вклейками и исправлениями, сделанными автором в карандаше и черных чернилах, к которым присоединились придиричivé синие чернила зам. главного редактора журнала И.П. Мотышева.

Дабы ненароком не разрушить хрупкую сказочную оболочку произведения, но развязать себе руки, Белинков отнес «Трех толстяков» к историческому жанру.

— Наташа, согласитесь, что-то не то... Сказка и исторический роман? Это, знаете, все-таки... — сказал мне один доброжелательный критик.

— Это демонстрация, гротеск... Раскрываются такие возможности! — говорю. — И я отчетливо помню, как Аркадий радовался, когда придумал такой поворот!

— Тогда обязательно напишите об этом.

Белинков отнес «Трех толстяков» к *условно-историческому* жанру. Бутафорская война голодных и сытых легко опрокидывалась на реальное историческое прошлое, а потом можно было протянуть нити к современности. Ведь удался же такой номер в «Тынянове»!

Читателю и критику постсоветского времени анализ сказки по меркам исторического романа покажется натяжкой, в крайнем случае литературоведческой шуткой, но главный редактор «Детской литературы» был вооружен передовым мировоззрением и знал, что намек в сказке может быть серьезным уроком. Он отнесся к делу со всей ответственностью и наряду с другими сокращениями решительно вычеркнул окончание фразы: «Юрий Олеша не закончил роман, вероятно, потому, что не очень ясно представлял себе, что же произойдет дальше с его героями и с ним самим и как воплотятся надежды, которые вызвала революция». Изменять текст Аркадий отказался. Статью сняли перед самым выходом номера. Срыв плана! Декабрьский номер 1967, юбилейного, года вышел с опозданием.

Еще одним претендентом на писательскую ручку бывшего зэка объявилось одноименное издательство «Детская литература». Его директор Антонина Фатеева легкомысленно решила, что Белинков — подходящий кандидат на книгу об Олеше для юного читателя. Но беда в том, что и этому издательству нужна была биография такого замечательного советского писателя, который в своем замечательном творчестве замечательно отразил... а не такого, который растерял по дороге свои метафоры, потому что не сопротивлялся давлению сверху. Просмотрев заявку и поняв, с какой книгой ей предстоит иметь дело, Фатеева, естественно, на заключение договора не пошла.

В 1963 году Аркадий подал в издательство «Искусство» заявку на книгу о деградации советского писателя под давлением «чугунного, носорожьего самовластья». Пока она называлась «Юрий Олеша».

Он начал с того, что заглянул за поверхность олешинской образности. «Метафора художественного творчества начинается не в строке, а в самой задаче искусства, во всей деятельности художника: об одном говорить через другое, связывать явления, систематизировать мир. Ослепляющая яркость письма Юрия Олеши создавала иллюзию серьезного художественного открытия, [но] творчество его никогда не выходило за норматив уже существующей эстетики и было связано с уровнем традиционного эстетического восприятия и воспроизведения мира».

Белинков признал все же, что в условиях относительно благоприятных внешних обстоятельств Олеша еще успел коснуться важных тем и концепций, поскольку ему позволили это сделать.

Концепция номер один. «Революция содержит в себе все то, что возникает после нее: послереволюционное государство, общество, институты, идеологию, карательную политику, искусство». И для вящей убедительности Белинков уподобил детскую сказку Олеши социальному роману, в котором «только фразеология сказки, а социология — жизни».

Концепция номер два. «Между художником и обществом идет кровавое, неумолимое, неостановимое побоище». Воспользовавшись олешинским противопоставлением Кавалерова (поэт старой школы) и Бабичева (политический деятель советского образца), Белинков уверяет, что автор распространил на послереволюционное государство известный со времен Пушкина конфликт между «Поэтом» и «чернью».

Концепция номер три. «Он [Олеша] повторил путь литературы четырех десятилетий... Он плыл в этой литературе, и он делал все то же, что делали и другие, и даже еще лучше, и оттого, что делал все то же, что делали и другие, только делал это лучше других, он принес русской литературе и русскому общественному самосознанию больше вреда, чем те, которые делали это же дело плохо». Но это уже концепция самого Белинкова, а не Олеши.

Получилась книга-сатира, книга-реквием. Сатира на внешние обстоятельства, в которых жил одаренный писатель, и реквием по человеку, который сам погубил свой талант, уступив этим обстоятельствам.

С верной оценкой книги не справиться, если к ней прикладывать старые мерки классического литературоведения и считать, что это повествование о Юрии Карловиче, остроумном, меланхоличном человеке, когда-то написавшем блестящие книги, до краев наполненные искрящимися метафорами, а потом вдруг замолчавшем. Если бы это была книга об одном Олеше, у автора открылась бы возможность для создания образа поистине трагического. Белинков же писал о трагедии целой литературы. Он искал причину ее гибели и написал книгу не о писателе, единственном в своем роде. Он писал об олеше — шкловском и других, о славине — зренбургском и других. О таких выдающихся личностях, которые губили свой талант, добровольно

выполняя социальный заказ, а порою и бежали впереди прогресса. Литературовед, наподобие художника, вывел на сцену творческую личность в образе писателя, потерявшего свое лицо. Таких было с избытком в советской действительности, но в советском литературоведении еще не было. Но здесь, пожалуй, надо говорить не столько о новом жанре в рамках старой дисциплины, сколько о скрещении двух наук. Прием художественной литературы — обобщение явления через конкретный образ — уводил Белинкова из «спасительного» литературоведения в обществоведение. Но на этом поле спрятаться от цензуры было еще труднее.

Когда начинался поворот к старым сталинским временам, не имевший еще ни своего нового названия, ни точки отсчета, и Главлит усилил бдительность, в оппозиционных интеллигентских кругах возникла была надежда, что цензуру можно обойти в устной речи. Возросла роль научных собраний.

В июне 1967 года в Тарту состоялась легендарная теперь Блоковская конференция, на которой Аркадий выступил с докладом «О “Назначении поэта” Блока и “Зависть” Юрия Олеши».

На перроне тартуского вокзала нас встретила миловидная хрупкая девушка — секретарь конференции. В конце каждого ее делового письма, предшествовавшего поездке, стояла странная подпись «Гая». Представляясь, она и назвала себя — «Гая». Аркадий не удержался: «Вот как! Значит, это имя, а не организация вроде ГАИ!» Все трое весело смеемся.

Отправляясь в Тарту, Аркадий договорился со своим ленинградским дядей, журналистом Лукьяном Исаевичем Питерским-Злобинским, встретиться на конференции. Но время шло, а дядя к назначенному часу так и не появился. И вот, поднявшись на трибуну, Аркадий начал свой доклад. В зале, думаю, было человек двести. Два литератора, вспомнившие об этой конференции много лет спустя, нашли, что доклад был очень для тех времен смелым<sup>1</sup>. Организаторы конференции посчитали его опасным (особенно в свете возможного вмешательства организации из трех букв). Человеку, незнакомому с советским периодом русской истории, эти оценки, скорее всего, покажутся преувеличенными.

А произошло вот что. В тот момент, когда Аркадий с воодушевлением говорил о несоответствии «социалистического реализма» и «реалистического социализма», о естественной и неминуемой борьбе общества с протестующим художником, медленно со скрипом открылась боковая дверь и в аудиторию, заполненную напряженными слушателями, осторожно вступил человек в сером плаще.

---

<sup>1</sup> *Либединская Л.* Выступление на презентации «Черновика чувств» в Клубе писателей (бывший ЦДЛ). 1996; *Чудакова М.* «Так ярый ток, оледенев...» [Предисловие] // Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеши. М., 1997. С. 5—22.

Окинув пристальным взглядом аудиторию, он сел рядом со мной в единственное пустующее кресло, то самое, которое недавно занимал Аркадий. «Поезд опоздал», — виновато прошептал мне на ухо Лукьян Исаевич, расстегивая свой плащ. (Прошу прощения у читателей, которым может показаться, что я подражаю дешевому детективу.)

Все видят, как плотно он устраивается в кресле и как внимательно вслушивается в доклад. Аркадий заканчивает выступление и направляется к своему месту. А тут и перерыв в заседании. Человек в плаще идет наперерез толпе к Аркадию и берет его под руку. Вместе со всеми они выходят в коридор.

Немедленно между этой парой и другими участниками конференции образуется воздушное пространство. Три буквы, три буквы, три буквы! В том, что собеседник Аркадия — агент КГБ, сомнений нет ни у кого. С белым лицом, стараясь не смотреть на меня, быстро проходит Зара Григорьевна Минц. На ее плечах — не только судьба конференции, но и мужа — известного ученого Юрия Михайловича Лотмана. Какие будут последствия для него и других устроителей конференции?

— Понимаете, мой дядя, — начинал Аркадий род объяснения на следующий день.

— Да, да, понимаем, дядя, — отвечали ему. И отходили.

Первую Блоковскую считали прорывом легальных возможностей публичного слова. Материалы конференции опубликованы в «Блоковском сборнике», гордости свободолюбивых литературоведов 60-х годов. Не ищите там доклада Белинкова. На поверку легальные возможности оказались сильно ограничены самоцензурой — широко распространенной болезнью ленинско-сталинско-брежневско-антроповско-черненковской эпохи. Поправьте меня, я не упомянула в этой обойме Хрущева.

Осенью того же года в нашей московской квартире раздался телефонный звонок. О, эти звонки! От них уезжали на дачи и в дома творчества и без них не могли жить московские литераторы.

Звонит Володя Бараев — заместитель главного редактора журнала «Байкал», выходящего в Улан-Удэ, столице Бурят-Монгольской Автономной Республики. Он в Москве и просит разрешения приехать. Имя Бараева слышим впервые. Как мы узнали позже, в знакомстве Белинкова с Бараевым принял большое закулисное участие рано скончавшийся Юлий Смеляков, работавший тогда консультантом ВТО по театрам Сибири и Дальнего Востока.

Приезжает высокий, крепко скроенный молодой человек, рассказывает, как с рогатиной ходил на медведя. Он уже слышал кое-что о книге «Сдача и гибель...». Просит дать отрывок для журнала. Держится по-дружески, говорит, что ничего не боится. Его открытое честное лицо обеща-



ет сотрудничество, а не редакционно-цензорский контроль. Мы знаем, что цензура в центре и на местах действует с разной степенью усердия: в периферийных журналах «Простор» и «Звезда Востока» были опубликованы вещи, немислимые в столице. Если будет напечатан отрывок из книги, то это поможет протолкнуть ее в издательстве. Если же на публикацию обратятся, то придется забыть о выходе книги в СССР. Удастся ли напечатать ее на Западе? И какой это обойдется ценой?

И еще... Аркадий боялся остаться автором всего лишь о д н о й книги. Он так хотел доказать, что «Юрий Тынянов» не случайность в его литературной судьбе!

Он знал, что цензору легче найти крамолу в статье, чем в книге. В книге больше пространства, которым умелый автор может воспользоваться: там спрячется за посторонний эпизод, там за иронию, а там проложит цепочку однородных идей от главы к главе в надежде, что утомится бдительный цензорский глаз и потеряет путеводную нить. В статье же укрыться некуда, «она вся просматривается, просвечивается, простреливается».

Все же Аркадий решился. Для публикации он выбрал главу «Поэт и толстяк». Предполагалось, что она будет напечатана в трех номерах.

Я думаю, что сказкой про медведя Володя заговаривал зубы нам, а не себе. Он знал, на что идет, и постарался заручиться серьезной поддержкой. В результате его инициативы появилась предваряющая публикацию весьма лестная для автора врезка, которую сочинил специально для «Байкала» К.И. Чуковский. Вскоре начались обычные редакторские будни, с той, однако, разницей, что автор и редактор выступили в этой работе союзниками и вместе прикидывали, как провести через цензуру текст, не искажая замысла. По междугородной телефонной линии (ни факса, ни электронной почты в те времена не существовало) обсуждались строчки о диктатуре пролетариата и о той несвободе, которую она с собой несет. Как выдерживали эти разговоры бюджет журнала и мембраны подслушивателей, если таковые были, я не знаю. Но больше всего беспокоило одно немаловажное обстоятельство. Главный редактор журнала Африкан Андреевич Бальбууров, по мнению Бараева, рукописи не читал, а если и читал, то не показывал виду.

Спустя короткое время мы встречали в доме еще одного гостя из Бурятии — самого Африкана Андреевича.

«Байкал» не «Новый мир», и Бальбууров не Твардовский. К нам приезжал главный редактор типичного советского журнала, к тому же, как мы знали, — кандидат в члены ЦК Бурятской АССР. Прочитал ли он рукопись, лежавшую в его редакции, все еще не было известно.

Напряжению, с которым мы ожидали Бальбуурова, способствовало и мое представление о госте с Востока. Его надо принять как-то по-особому. Разумеется, к обеду надо подать и вино, и водку. Но все дело в том,

что Аркадий не пьет, а мне, женщине, вероятно, полагается держаться на втором плане. И вообще, как бы не вышло какой-либо неловкости.

Звоню Натану Эйдельману — человек свой, надежный.

— Не можешь помочь? Приезжай!

— Конечно. А в чем дело?

— Понимаешь, надо пить...

— Пить?!

Африкан Андреевич пришел первый. Он предстал перед нами точь-в-точь таким, как мы его вообразили: невысокого роста, коренастый, чтобы не сказать — квадратный, ноги ставит тяжело и уверенно, как будто у него никогда ни в чем не бывает сомнений.

Приехал он к нам из Переделкина сразу после визита к Галине Серебряковой. Здесь следовало бы написать длинное отступление о том, как на волне XX съезда всплыли писатели-конъюнктурщики. Даже рассказывая о своем пребывании на островах ГУЛАГа в качестве политических заключенных, они продолжали оправдывать деяния партии, туда их отправившей. Типичной представительницей такого рода писателей была Галина Серебрякова (до «посадки» — автор книги «Юность Маркса»). Но я от длинного отступления воздержусь.

Поначалу Бальбуров предстал в ауре партийной элиты. Он так и светился. Он произносил закругленные фразы, аккуратно составленные из слов, почерпнутых из последних передовиц, а мы, стараясь не переглядываться, молчали или кивали в ответ. Как мы проклинали себя за то, что согласились на эту встречу! Можно ведь было отговориться болезнью, тем более что в случае Белинкова это было непреходящей правдой. Я видела, как Аркадий начинает бледнеть. Еще немного, и он взорвется.

Должно быть, гость почувствовал что-то неладное. Его речь постепенно начала приобретать другой характер. То ли он снимал маску, обрадовавшись, что ее можно не носить, то ли надевал другую личину под стать хозяевам другого дома. Возникло какое-то подобие разговора.

Теперь, десятки лет спустя, Бальбуров представляется мне не иначе как живописцем с кистью и палитрой в руках, а Аркадий — натянутым холстом на мольберте. Скажет Бальбуров слово, как краску бросит, — отстранится и смотрит: подходит? Опять приблизится, другой мазок — отойдет, примеривается.

Начало меняться и наше отношение к гостю. Может быть, Бальбуров не такой твердокаменный, как показалось сначала? Лицо Аркадия просветлело. Щеки порозовели, поджатые губы распрямились. Сковывающая настороженность отпустила. Спокойным голосом в несколько велеречивом стиле он заговорил о том, что Сталин — не искажение, а абсолютное выражение советской власти, что советская история продолжает дореволюционные традиции, но на качественно ином уровне. Сталинские палаче-

ства переплюнуть невозможно, — говорил он, — но после каждого подобия «Оттепели» будут происходить очередные «заморозки». «Положительная программа?» — мы до нее еще не доросли. В общем, он говорил вслух то, что в печатных работах прятал в подтекст.

Его слушал совершенно другой человек, чем тот, который незадолго перед тем вошел в наш дом. Внимательный, сосредоточенный, он доверительно наклонялся вперед и под его грузным телом слегка поскрипывало тонконогое чешское кресло. Казалось, оба забыли о том, что происходит встреча ныне власть имущего с бывшим бесправным эзком. Поймал нас Бальбуров на удочку или стал самим собой?

Постепенно менялось не только настроение, но и роли. Теперь мы слушали, а он ровным голосом рассказывал о жестокостях установления советской власти в Бурятии, об уничтожении лам. Рассказал об удивительном бурятском докторе с древними приемами лечения.

Бальбуров стал уговаривать меня послать Аркадия к этому бурятскому доктору — так выяснилось, что он знает о состоянии здоровья Аркадия. «На время лечения остановитесь у меня», — сказал он, как будто это само собой разумелось. Тогда-то мне и подумалось: «Может быть, спасение не на Западе, а на Востоке?» Оказавшись на Западе, я этот заданный самой себе вопрос иногда вспоминала.

Когда пришел Натан, поведение Бальбурова не изменилось. Доверяя нам, он доверял и нашим друзьям? Или это восточная вежливость? К счастью, Натан бывал в Бурятии, так что его присутствие оказалось весьма кстати. (Уже после нашего отъезда из страны Эйдельман совершил поездку по «кандальному маршруту» декабристов в сопровождении Володи Бараева.)

Африкан Андреевич рассказывал, как ему мешают работать, как часто от него требуют резких изменений в направлении журнала: утром подавай отражение ведущей роли русского народа, а вечером нужна демонстрация расцвета национальных культур в рамках «дружбы народов».

Он разошелся настолько, что, теряя свою статуарность, в юмористических тонах рассказал, как однажды в самом начале «Оттепели» ему в его бурятском ЦК устроили нагоняй за публикацию стихотворения Евтушенко, тогда еще числившегося в инакомыслящих. И вот сценка: нажимают на патриотические чувства. Бальбуров живо парирует: «Так Евтушенко же — наш! Сибиряк». Члены ЦК озадаченно молчат. Бальбуров изобразил, как они молчат, и задорно, как будто кукиш показал, продемонстрировал свой ответ: «Он родился на станции Зима! У него даже стихотворение об этом есть».

Какими мы были простаками, как легко было купить наше доверие! И как я рада, что обычная советская опасливость не стала барьером в наших взаимоотношениях с людьми.

Казалось, мы нашли с Бальбуровым общий язык. Но какие мы были разные! Годы «Оттепели» были отмечены шумной, нервной деятельностью немолодых людей тридцатилетнего возраста, занятых передачей «самиздата» и новостей, услышанных по радио «Свобода». Все у нас вызывало повышенную реакцию: Солженицына мы принимали безоговорочно, к Кочетову и Софронову относились с демонстративным презрением, к Пастернаку с обожанием, к суду над Синявском и Даниэлем с возмущением, к бегству Светланы Аллилуевой с энтузиазмом. Хладнокровия не было.

Бальбуров отличался от всех нас монументальным спокойствием. Он казался человеком старшего поколения. А был он старше Аркадия всего на год. Он родился и вырос в другой части света, среди другого народа, его поведение было иным, шкала ценностей — другой. Очевидно, что государственную систему и свою работу главного редактора он не смешивал. Советский режим был Африкану Андреевичу чужд и оскорбителен, но поскольку он был уже задан как условие существования, то свое главное дело, журнал он хотел делать хорошо. Вот и вынужден был вертеться между серьезной литературой и дурными политическими требованиями.

«Возможно», «очевидно», «кажется»... Отрывки из книги о сдаче и гибели советского интеллигента сильно нарушали созданное им равновесие. Зачем он к нам приехал?

За столом Бальбуров почти не пил. Водке предпочел бокал красного вина. Со мной, вопреки моим глупым опасениям, разговаривал как с равной. Сидел прямо. Узкие глаза прикрыты приспущенными веками. Из-за слишком короткой шеи ему приходилось поднимать подбородок, чтобы лучше видеть собеседника. Это придавало ему надменный вид. Как бы откровенен он ни был, вы чувствовали, что за этим есть еще что-то, чего он вам не открыл и, может быть, никогда не откроет. О рукописи Аркадия не было сказано ни одного слова. «Скрытый буддист, — шепнул мне Натан, — я встречал таких». Я так и не знаю, кем был Бальбуров в действительности, но тогда мне казалось, что подобие Будды сидит за нашим столом.

В первом номере журнала в 1968 году была напечатана первая треть главы «Поэт и толстяк», о самой значительной вещи Олеши «Зависть». Классическую формулу российской литературы — «поэт и чернь» — Белинков перенес на советскую почву. Он даже немного польстил Олеше и, воспользовавшись его противоречивым отношением к своим героям, приписал ему некую политическую прозорливость: будто бы в Бабичеве можно узреть предупреждение об опасности перерождения революции в авторитарное государство, а в Кавалерове — одного из первых затравленных и оклеветанных поэтов, которому не дали выполнить его высокое назначение. Ох как пришелся по душе оппозиционному читателю 60-х годов такой подход к делу! Видеть между строк у нас тогда умели.

На самом же деле Белинков считал, что сдача писателя началась тогда, когда тот «со всеми сообща и наравне с правопорядком» заставил себя увидеть в Кавалерове завистливое ничтожество и в Бабичеве положительного героя, побывавшего до революции на каторге. (В лагерных вещах Белинкова у власти тоже стоят каторжане. Вот какие бывают совпадения!)

Далекий сибирский журнал приобрел известность. Через час после поступления в продажу его уже нельзя было достать ни в одном киоске, и распространение журнала из книготорговой системы перешло в «самиздат». Еще бы! В том же номере была напечатана еще и «Улитка на склоне» братьев Стругацких.

Говорили: Улан-удэ? Нэважно гдэ!

Аркадий любил обсуждать свои замыслы, проверять отдельные куски на слух. О рукописи заговорили. Наши многочисленные знакомые останавливали меня на улице, или в издательстве, или в библиотеке, брали за локоток в гостях: «Слушай, устрой почитать... Понимаешь, я сейчас книгу пишу ...» Аркадий приглашал домой, давал почитать. В результате появилась оценка рукописи за границей: «... мне довелось прочесть машинописную рукопись размером свыше 900 страниц Аркадия Белинкова... Это — эссе о падении русской интеллигенции после революции, нечто вроде реквиема, сконцентрированного на личности и творчестве Юрия Олеши... неумолимая фреска, посвященная поколению, которое, говоря словами [Романа] Якобсона, утратило своих поэтов, сага истории литературы о страданиях и отверженности, об унижениях и компромиссах, о мученичестве русских писателей при коммунизме...»<sup>1</sup>

Долгое беспросветное хождение рукописи по мукам закончилось в 76-м году на Западе (первое издание) и в 97-м в Москве (второе издание).

Чем были заполнены эти годы?

Внутреннюю рецензию, задавшую тон взаимоотношениям издательства и автора, поставил редакции Л. Славин, писатель того же поколения, что Олеша и Шкловский. По воспоминаниям ознакомившегося с нею человека, она оказалась «уничтожающей наотмашь. Ядовито-остроумная, насыщенная умом и чувством, эта маленькая статья по виртуозности разящих замечаний казалась сочиненной молодым и яростным полемистом, а не тем усталым, сильно выцветшим и поэтому вяло снисходительным стариком, каким был наш любимый хозяин. Впервые в жизни обнаружил я, что замечательные люди могут быть враждебны друг другу, и для убийства книг и мыслей совсем необязательно участие заведомых мерзавцев. А чуть позже понял я, что самого себя и свою судьбу защищал этот силь-

---

<sup>1</sup> Ripellino A.M. I topi del regime // L'Espresso. 1967. 18 giugno.

но траченный эпохой старый человек, так некогда блестяще начинавший, столько обещавший и не смогший... А потому и неслучайны были даже молодые и яростные интонации отповеди: прожитые годы встали на защиту памяти о себе»<sup>1</sup>.

Директор издательства совестливый Караганов, связанный в своих действиях лагерной судьбой и блестящим вхождением в литературу подвластного ему автора, даже приезжал к нам домой, чтобы склонить Аркадия к уступкам. Этот визит тоже кончился защитой собственной памяти: «Аркадий Викторович, если я подпишу Вашу книгу в печать, — взмолился директор, — значит, я признаю, что всю свою жизнь прожил зря!»

Аркадий воображал, что между ним, свободным художником, и советским издательством идет борьба на равных. Но его просто брали измором.

Делали вид, что надо «приспособить рукопись к профилю издательства»: следовало остановиться на театре и кинематографе Олеси. Автор не намеревался этого делать, но увлекся и увеличил объем и без того внушительной рукописи на 200 страниц.

Вынуждали к переделкам в пределах написанного — «Мало Олеси». Рукопись опять распухла.

Композиция книги нарушалась. Стало — «Мало "Толстяков"». Объем увеличился еще на 76 страниц.

Сменяли редакторов. Каждый правил текст применительно к меняющимся внешним обстоятельствам.

Когда количество переписанных страниц превысило договорный объем более чем в два раза, термометр пополз вниз. Теперь рукопись надлежало сокращать.

Автор между тем постепенно превращался в инвалида второй группы — почти как в лагере. Врачи предписывали ему постельный режим. Издательские служащие, подобно медицинским работникам, все чаще приезжали к нему на дом.

Редактором рукописи на ее последнем и самом длительном этапе хождения по терниям стал Валентин Маликов. Нам казалось, что он является непосредственным и неукоснительным исполнителем требований издательства. Или, может быть...

Валентин Маликов в течение нескольких лет аккуратно навещал Аркадия и каждый раз привозил новые требования. И каждый раз Аркадий садился переписывать заново целые куски. Четкая и короткая фраза превращалась в пространный рассказ с завязкой, кульминацией и развязкой. Автор прятался за примеры, взятые из литератур других эпох: рассказывал то о палаче, возведенном в дворянское звание, то о женщине, от стыда прикрывшей голову юбкой, то о зеленой лужайке во время чумы, расположившись на которой дамы и кавалеры могут говорить о чем им только

<sup>1</sup> Губерман И. Пожилые записки. М., 1995. С. 242—243.

не заблагорассудится. Даже острые политические анекдоты 60-х годов подавались как «старинные» сказания. Приходилось переставлять или заменять однозначные слова: «термидор» заменялся на «перерождение», а «послереволюционное время» — на «эпоху-наследницу» и наоборот.

Каждая переделка — попытка протащить верблюда через игольное ушко. А верблюд все тучнел и разбухал на глазах. И что самое страшное — камуфляж не оправдывал своего назначения, «еретические» идеи все равно выпирали.

Какую цель преследовал Маликов? Вынуждая автора к сизифову труду, выполнял он требования издательства, оттягивая позор расторжения договора (ну, не позор — неловкость)? Был он на стороне Белинкова и пытался, хотя и не всегда удачно, сделать рукопись проходимой? Имел в виду какой-то третий, себе на уме, вариант? Ведь шептал же он: «Аркадий Викторович! Ну, не пройдет же! Все равно не пропустят. Может быть? А? Ну, Вы понимаете... за граница...» Аркадий и сам в это время искал для книги пути на Запад. Совпадение? Ловушка? Обычно доверчивый, он не верил товарищу Маликову ни на грош. На всякий случай пошел закапывать один из экземпляров. Благо дело было летом, на даче. Такой уж был рефлекс того времени: прятать, скрывать, уничтожать — на всякий случай.

Последнего варианта мы до конца не просчитали. Наступил момент, когда Маликов, удовлетворенно потирая руки, признался одному нашему другу: «Наконец-то! Довел рукопись до такого состояния, что у нас она опубликована быть не может». А Аркадию он с невинным видом сообщил, что его никто не уполномочивал эту книгу редактировать.

Могло такое быть, чтобы Маликов, не следуя указаниям редакции, не выполняя ничьих других заданий, губил книгу, а заодно и автора по своей собственной прихоти?

Надежда на публикацию в своей стране книги о гибели советской литературы и капитуляции одного из ее писателей фактически лопнула. Но Аркадий еще продолжал сопротивляться.

Накануне отъезда за границу, откуда он не вернулся, Белинков обратился за помощью в СП СССР к «товарищам по нашему безмерно трудному писательскому ремеслу» Ф. Кузнецову и В. Соколову. Он писал: «Рукопись перепечатывалась, переписывалась, взвешивалась, ощупывалась, просматривалась на свет, проверялась ультразвуком, подвергалась спектральному анализу и измерялась всеми доступными современной науке о сопротивлении материалов способами...»

Менялось время. Приходили и уходили директора издательства, внутренние рецензенты, редакторы: А. Караганов, Ю. Шуб, Е. Севастьянов, Л. Славин, А. Гуревич, О. Россихина, К. Рудницкий, В. Маликов. Менялись требования к автору. Договор на книгу заключался и перезаключался не-

сколько раз: в 1963, 1964, 1967 годах. В юбилейном году договор был возобновлен через месяц после возвращения рукописи.

В затянувшуюся борьбу издательства с автором ворвалась разгромная статья «Литературной газеты» — отклик на публикацию в «Байкале»: «...рекорд искажения фактов... [Белинков] с Олешей обходится волюнтаристски и противостоит движению вперед»<sup>1</sup>. Одного мало. Критик нашел еще трех, распустившихся во время «Оттепели». Двух он предоставил читателям угадывать, а третьего назвал — Каверин. Они тоже мешали движению вперед: один усмотрел в «Тихом Доне» поступки незрелых деятелей революции, другой показал в ложном свете участников Гражданской войны, третий идеализировал роль «Серапионовых братьев» в развитии русской литературы.

Похоже, что, как и в добрые сталинские времена, сколачивали группу. В практике советской «литературной» борьбы это было нехорошим сигналом. Ревизия истории, предпринятая было в пятидесятых, начала свое медленное отступление. Ни тебе дискуссий, ни дебатов, ни инакомыслия.

Можно сказать, Аркадий сам подготовил автора проработочной статьи. В своем исследовании «Русский советский исторический роман» тот приравнивал изображение тюремной жизни в литературе к дешевым эффектам, похвалив Тынянова за то, что «ради общего оптимистического звучания» Кюхельбекер не показан в тюрьме. Бывший зэк в своем «Юрии Тынянове» с ним резко поспорил.

В Улан-Удэ явно торопились. «Байкал», пренебрегая беспощадной критикой, опубликовал второй отрывок, не подверженный редакторской правке, и даже пообещал третий.

«Литгазета» тоже поспешила. Появилась еще одна статья на ту же тему, но уже без подписи, редакционная<sup>2</sup>.

Третий отрывок в «Байкале» не появился.

Журнал громили. И за «Улитку на склоне», и за «Поэта и толстяка». Редакцию разогнали. Безработный Бальбуров ходил по Москве и говорил, что он очень доволен: ему удалось напечатать Белинкова. У Володи Бараева, по слухам, случился инфаркт.

Договорные обязательства с «Искусством» были прекращены 21 мая 1968 года. после первой статьи в «Литгазете». Документ о расторжении договора с этой датой хранится у меня. В том же году директор издательства Е. Севастьянов сообщил корреспонденту «Огонька», что разрыв отношений между издательством и автором произошел годом раньше<sup>3</sup>. У

<sup>1</sup> Андреев Ю. Своевольные построения и научная объективность // Литературная газета. 1968. 15 мая.

<sup>2</sup> Еще раз о критическом своеволии // Литературная газета. 1968. 5 июня.

<sup>3</sup> Михайлов Н. Классика и позиция литературного исследователя // Огонек. 1968. № 31. С. 26.



директора были достаточные основания умолчать об имевшем место возобновлении договора: 13 июля 1968 года радиостанция «Свобода» сообщила, что Белинков находится на Западе.

Первый пятилетний этап издательского плана закончился. Впереди были еще два.

Побег Белинкова за границу был, в конце концов, делом случая, но переправка рукописи на Запад была тщательно продумана.

Сначала ее надо было тайно сфотографировать. Приходилось разузнавать у очень верных людей, кто бы это мог осуществить, потом необходимо было заручиться надежной рекомендацией, чтобы к фотографу попасть. Следующий шаг — разыскать его адрес и прийти к нему и уйти от него незамеченным. Еще надо принести отснятую пленку домой. Передать ее надежному человеку, который провезет ее через границу. За каждый шаг в этой цепочке поступков, если совершать их неосмотрительно, можно дорого поплатиться.

Нашим фотографом был сын писателя Третьякова, погибшего в тридцать девятом. Сам вернувшись из лагерей инвалидом, младший Третьяков жил в коммунальной квартире, занимая одну комнату, в углу которой громоздилась тяжелая допотопная аппаратура. Через этот угол прошла большая часть московского «самиздата» — ведь рукописи размножали не только на машинке. Фотограф с женой жили в бедности — я однажды попала к ним на роскошный ужин: бутерброды из хлеба с крутыми яйцами, посыпанными укропом. И в постоянной опасности.

Девятьсот с лишним страниц были превращены им в катушку с фотопленкой величиной с кулак. Человек двадцать первого века удивится: «А ксерокс?» Советский человек из середины двадцатого ответит: «Все множительные машины были под жестким контролем. Без разрешения Главлита нельзя было напечатать более десяти экземпляров даже объявления о партийном собрании. За нарушение — срок десять лет».

Нам сделали две катушки. Одну из них согласился взять знакомый европейский дипломат. Другую — подруга, уезжавшая навсегда к родным в Польшу. У нее был свой план, как спрятать, чтобы таможенники не обнаружили. Риск большой, как для нас, так и для нее.

В тот день, когда она должна была пересекать границу, наши нервы не выдержали. Уйти из дома! Но куда? Попросились к Флоре и Мише Литвиновым, родителям Павла. Не самое остроумное решение — Павел активный диссидент, и квартира наших друзей находится под постоянным наблюдением. Придя в дом на набережной, где они тогда жили, мы шепотом рассказали, в чем дело. (Громко нельзя — боялись подслушивателей.) Оказалось, мы удачно «выбрали» время. Ни Павла, ни Нины, его сестры, не было дома. Айви Вальтеровна — бабушка Павла — уже переехала на дачу. Нам предоставили ее комнату с очень удобной кроватью, в незапа-

мятные времена сделанной на заказ в Америке. После спокойного вечера с друзьями напряжение отошло. Весь этот эпизод с ночевкой стал казаться веселым приключением. «Но должна вас предупредить, — сказала Флора, — у Нины из террариума убежала редкая ядовитая ящерица, и мы не знаем, где она».

«Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» была опубликована посмертно (так называемое мадридское издание). Спрашивают: «Почему Испания?» Отвечаю: «Там находилась типография с русским шрифтом Алексея Владимировича Ставровского — самая дешевая на Западе».

С помощью радиостанции «Свобода» удалось найти грант, которого хватило всего лишь на тысячу экземпляров. Четыреста экземпляров дополнительного тиража были оплачены мной. Готовя посмертное издание, я следовала тексту, пересланному автором за границу. В соответствии с намерением Аркадия главу «Смерть поэта» я разделила на две: «Собирайте металлолом!» (название, подсказанное текстом) и «Смерть поэта». В связи с этим пришлось переставить несколько абзацев. Аркадий предполагал композиционную переработку главы «Проглоченная флейта». По неясности его намерений она осталась без изменений. Мне пришлось убрать пять или шесть повторений, попавших в рукопись в результате многочисленных переделок. Характерные для стиля Белинкова нарочитые повторы одной и той же мысли оставлены в тексте без изменений. Хотя на титуле обозначено полное название книги, на обложке стоит «Юрий Олеша». Была надежда, что книгу с таким названием легче провезти через границу. Часть тиража осела в университетских библиотеках на Западе. Остальную — удалось просунуть под «железный занавес». Она попала в отделы специального хранения крупнейших библиотек, где ее выдавали литературоведам по особому разрешению. Книга пользовалась успехом на черном рынке.

Первое упоминание о Белинкове на его родине (как о «забытом критике» и о его «страстных и честных» книгах) появилось только в 1988 году<sup>1</sup>.

Был он забытым или замолчанным? Казалось, что пора было вернуть Аркадия Белинкова русскому читателю. По настоянию наших друзей — самая активная роль в этом принадлежала Гале Белой — издательство «Советский писатель» решило выпустить второе издание «Сдачи и гибели...», но в сокращенном варианте (35 авторских листов вместо 42-х).

Пришлось сокращать книгу (за счет длинных цитат из Олеша и полемики тридцатилетней давности). Уже раскромсав текст, я нашла записку

<sup>1</sup> Недошивин В. О возвращении забытых имен // Советская культура. 1988. 7 апр.

Аркадия, адресованную самому себе. Он собирался убрать цитаты из Олеша и сократить полемические куски, утратившие свою злободневность. В 1990 году через советское торгпредство в Вашингтоне я переслала рукопись в издательство «Советский писатель». В «Новых книгах» — аннотированном тематическом плане выпуска литературы на 1991 год — было сообщено о предстоящем выходе книги, и весной того же года издательство заключило со мной официальный договор. Редактор — Марина Малхазова. Мне кажется, что справедливость наконец торжествует. Время идет. На рукописи появляется долгожданная прямоугольная печать «В набор». Художник В. Медведев спешно заканчивает оформление книги. Время идет. Осенью я решила поехать в Москву: меня ждет моя девяностолетняя мама. У меня в руках американский паспорт, но американские адвокаты не советуют ехать: «С вами там все может случиться». И, перечисляя разнообразные причины, допускают возможность переворота. На всякий случай оставляю доверенность надежным людям на ведение моих дел в Америке. Приезжаю в Москву за три дня до памятного ныне путча. Ельцин на танке. Я наконец издам «Олешу» — обещание, данное мужу в его последние часы.

В 1993 году начинается административная реорганизация издательства со скандалами, делением редакционного портфеля и должностных мест. Тут уж не до рукописи, начатой тридцать лет назад. К счастью, вот-вот от «Советского писателя» отпочкуется издательство «Академия». Директор нового издательства С.И. Григорянц, к моей большой радости, берет рукопись себе. Я знаю, что у него рукопись не пропадет. Но судьба нового издательства повисает в воздухе. Время идет.

Приезжаю в Москву еще раз. Я уже давно не москвичка. В этом городе идет непонятная для меня жизнь. Как найти подходящее издательство? Иду в упраздненный нынче Комитет по делам печати, а там — за сочувствием ко мне: «Теперь все не как раньше. Мы не можем больше приказывать». Мне остается только порадоваться независимости литературы от властей предрежущих. По совету друзей обращаюсь к Н.А. Анастасьеву, директору издательства «Культура». Он взял рукопись, и... дело застыло. Никакого движения.

«Наташа, — говорят мне, — Вы ничего не добьетесь, если будете приезжать в Москву только наскоками». Легко сказать! Приезжаю еще раз. Стучусь в разные двери. Не прошла и мимо Министерства культуры России. Заместитель министра М. Е. Швыдкой принял сердечное участие и обещал поддержку — устно. Министр В.П. Демин, «учитывая злободневность тематики и профильную направленность», тоже обещал поддержку — письменно. Ничего не обещал и сыграл положительную роль следующий министр — Е. Сидоров. В фонд Сороса обратились Вячеслав Всеволодович Иванов и Мариэтта Омаровна Чудакова. Издательство по-

лучило поддержку — финансовую. Со мной был заключен договор... «Процесс пошел» и остановился в 1994 году. Проблемы с типографией на Украине. Почему на Украине? Думали, дешевле. Потом «предпринимались мыслимые и немыслимые усилия» — цитата из письма Н.А. Анастасьева — выпустить книгу в 1995 году к печальному юбилею — 25 лет со дня смерти ее автора. Время шло. Экономические трудности. Инфляция. Денег от Сороса уже мало. Меня попросили сделать «вспрыскивание». «Не давайте сколько просят! — уговаривали меня сведущие люди. — Дайте половину». Сделала вспрыскивание.

Наступил 1996 год. В ЦДЛ отметили одновременно и 75 лет со дня рождения Аркадия Белинкова и выход в свет романа «Черновик чувств», запоздавший на 50 лет. Макет «Сдачи и гибели...», возвращенный украинской типографией, томился в несгораемом издательском шкафу. Мне даже дали на него посмотреть, и я с ужасом обнаружила «пикантное» для такого рода книги оформление: тщательно разрисованные орнаменты, составленные из флажков, серпов, молотов и других неперменных атрибутов советских агиток на шмуцтитулах. «Это ирония», — объяснили мне. Тем более досадно, что в основном книга оформлена в соответствии с замыслом автора. Изобретательная художница к этому времени насовсем покинула Россию. «Иронические» украшения удалось снять: я убедила второго редактора книги Е. Шкловского (однофамильца Виктора Борисовича), что, «если оставить как есть, — отпугнем покупателей», неуверенно добавив: «если дело все-таки дойдет до продажи».

Прошло тридцать лет и три года с того момента, как Аркадий Белинков подал заявку на книгу в своем отечестве. Прихожу в уныние: «Что ж, выходит, что этот писатель не может быть напечатан в России при любом режиме?» Я ошиблась. «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» все же вышла в свет. Редкий случай, когда одновременно и радуешься своей ошибке, и испытываешь чувство горечи: читателей, для которых книга была написана, становится все меньше, и они, как теперь говорят, неадекватны новому времени. «Кому поведем печаль мою?»

Аркадий Белинков

«СДАЧА И ГИБЕЛЬ  
СОВЕТСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА.  
ЮРИЙ ОЛЕША»  
Издание второе. М., 1997  
(фрагменты)

*Из главы «Поэт и толстяк»*

Из огромной дымящейся, проносающейся мимо всемирной истории в книгу писателя попадают дары и удары, которых ему не удалось избежать.

По непохожести одного писателя на другого обнаруживается, что именно в обступившем писателя мире выбрала его художническая восприимчивость.

В книгах каждого большого художника своя война, своя революция, своя эпоха реакции, и каждая семья несчастлива по-своему.

Исследователь обязан не только констатировать это, но и обнаружить в войне, революции, эпохе реакции и каждой несчастливой семье, что именно оказало воздействие на художника, которым он занят.

Это неверно, что на художника воздействует сразу вся война и вся революция.

Проносающаяся мимо всемирная история воздействовала на Олешу драматическими перипетиями взаимоотношений интеллигенции и революции.

Эта тема в книге о послереволюционном государстве «Зависти», написанной следом за книгой о революции «Три толстяка», выразилась в конфликте между поэтом и обществом.

Классическая коллизия «художник и общество» в книге о революции разрешена, потому что в этой книге изображается естественная и неминуемая борьба общества с протестующим художником.

Во второй книге взаимоотношения художника и общества так же враждебны, как и в первой.

Действие второй книги происходит после революции, и враждебны взаимоотношения художника и послереволюционного общества.

В книге, написанной человеком, пережившим первое десятилетие нового государства, конфликт художника и общества возникает из-за того, что художник ждал от революции нечто иное, чем то, что она должна была ему дать.

Художник ждал от революции свободы, но в том значении, которое придается этому слову в предреволюционном обществе.

Предреволюционное общество, прочитавшее очень много книжек по истории, знало, что революции, которые бывали раньше, приносили людям духовную свободу. Так как книги были серьезными и эрудиция русского интеллигентного общества была обширной, то имелось серьезное основание предполагать, что и эта революция будет не хуже других.

Начинается еще одна книга великой литературы о борьбе художника с веком.

Спор поэта и общества, а чаще поэта и толпы у Юрия Олеши возникает в «Трех толстяках», и все, что создал писатель, связано с этим спором.

Концепция «поэт и общество» Олеши не выходит за границы традиционных в русской литературе представлений и продолжает тему Пушкина—Блока. Эта важнейшая тема русского искусства излагается так: несмотря на то, что меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее поэт, его душа способна встрепенуться тотчас же, как только чуткого слуха коснется божественный глагол. Предполагается, что поэт по многим обстоятельствам может быть не чужд самых разнообразных недостатков. Больше того: меж детей ничтожных мира, вероятно, именно он ничтожнее всех других. В то же время, несмотря на все эти недостатки, поэт неминуемо обладает достоинством, делающим его безоговорочно выше общества. Неминуемое достоинство, делающее поэта безоговорочно выше толпы, заключается в том, что он к ногам кумира не клонит гордой головы, а также в том, что он — свободный человек, не боящийся обличать пороки общества.

Из-за чего возникает конфликт поэта и общества?

Из-за того, что поэт по своим физиологическим и профессиональным свойствам и обязанностям наблюдает за обществом, видит, каково оно, и рассказывает о том, как оно отвратительно.

Конфликт художника и общества трагичен, естественен и неминуем. Почти всегда он кончается гибелью художника. Но попытка этот конфликт, этот закон отменить, сделать вид, что его нет, не должно быть, кончается уже не только гибелью художника, но и гибелью искусства.

Из всех условий существования поэта единственное, которым нельзя пренебречь, — это правда, которую он обязан говорить обществу. Эта правда в разные эпохи выражается неодинаково. Иногда она может выражаться так:

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу Пеня...  
(Пушкин. Стихотворение «Нимфа»)

Иногда иначе:

И если зажмут мой измученный рот,  
Которым кричит стомиллионный народ...  
(Ахматова. Поэма «Реквием»)

Это ничего не меняет. Поэт говорит только правду. И ни пытки, ни казни, ни голод, ни страх, ни искушения, ни соблазны, ни кровь жены и детей, ни щепки, загоняемые под ногти, ни женщина, которую он любит и которая предает его, не в состоянии заставить поэта говорить неправду, льстить, лгать, клонить голову и славить тирана. Сдавшийся человек не может быть поэтом. Человек, испугавшийся сказать обществу, что он о нем думает, перестает быть поэтом и становится таким же ничтожным сыном мира, как и все другие ничтожные сыновья.

Искушения, жажда власти, забота о славе, малодушие, соблазны и страх мешают художнику осуществить свое право и назначение — говорить обществу, что он о нем думает и что заслуживает оно.

Между художником и обществом идет кровавое неумолимое, неостановимое побоище: общество борется за то, чтобы художник изобразил его таким, каким оно себе нравится, а истинный художник изображает его таким, каково оно есть. В этой борьбе побеждают только великие художники, знающие, что они ежеминутно могут погибнуть, и гибнущие. Другое общество уничтожает. Великие произведения так уникальны потому, что выстоять художнику еще труднее, чем создать их.

(Даже в наши дни, конечно, в совершенно исключительных случаях и только иногда возникают некоторые частные противоречия между плохим художником и прекрасным обществом. Они, конечно, сразу же, прямо-таки в одну секунду, разрешаются, но не принимать их во внимание вовсе было бы еще преждевременным. Эти незначительные и, конечно, легко и мгновенно разрешимые противоречия чаще всего возникают в связи с имеющим кое-где место некоторым разладом между социалистическим реализмом и реалистическим социализмом.)

Пушкинская программа и традиционная концепция классического столетия русской литературы была продолжена Блоком в стихотворениях «Поэты», «Пушкинскому Дому» и речи «О назначении поэта», и Олеша пересказал ее и блоковский вариант в своем романе.

Блок пишет о том, что, хотя поэты «болтали цинично и пряно» и что они «золотом каждой прохожей косы пленялись со знанием дела», но с торжеством и гордостью он утверждает, что поэты «плакали горько над малым цветком, над маленькой тучкой жемчужной», и поэтому они выше и

чище «милого читателя», который «доволен собой и женой», а также «своей конституцией куцей» и которому «недоступно все это»: то есть «и косы, и тучки, и век золотой».

Эта концепция и эти образы «читателя» и «поэта» девятнадцать лет спустя были воспроизведены Юрием Олешей в прозе с отчетливой близостью к блоковскому оригиналу.

По-видимому, эта близость литературно случайна, но несомненное сходство побудительных (не литературных) причин делает ее серьезной.

Сходство было в оценке последовавших за вооруженным переворотом событий.

Через три года после поэмы «Двенадцать» Александр Блок написал:

Что за пламенные дали  
Открывала нам река!  
Но не эти дни мы звали,  
А грядущие века.  
Пропуская дней гнетущих  
Кратковременный обман,  
Прозревали дней грядущих  
Сине-розовый туман.  
Пушкин! Тайную свободу  
Пели мы во след тебе!  
Дай нам руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе!<sup>1</sup>

Эти стихи написаны не в январе 1918 года, когда были созданы «Двенадцать», а в феврале 1921-го, за шесть месяцев до того, как Блок трагически погиб. Не следует удивляться стихам 1921 года, предсмертным строкам, завещанию поэта. Александр Блок был одним из первых писателей, начавших революционную тему в русской литературе XX века. И он был одним из первых, кто сказал о беспокойстве за судьбу революции. Прошло несколько лет после его смерти, и эта тема появилась в произведениях Маяковского, А. Толстого, Эренбурга, Форш, Багрицкого, Асеева, Федина. (Это было в то время, когда даже такие, как А. Толстой, Эренбург, Федин, еще в состоянии были беспокоиться о чем-либо, кроме своего брюха.) Разные решения темы привели к непохожим результатам. Блоку и Маяковскому это стоило жизни.

Через три года после романа о революции Олеша задумался над вещами, которые раньше, казалось бы, трудно было вообразить. И, как некоторые другие писатели в эти годы, Олеша начал писать о своих раздумьях.

Книгой, лишенной сомнений начинал свой литературный путь Юрий Олеша. Он начинал книгой о революции, которая должна была, по его

---

<sup>1</sup> Блок А. Собр. соч.: В 12 т. Л., 1932. Т. 4. С. 214.



мнению и даже по мнению истинно замечательных мыслителей и художников, принести людям свободу. Но близилась коллективизация и индустриализация, началось подавление оппозиции, и Олеша, как многие интеллигенты конца 20-х годов, насторожился и с тревогой стал всматриваться в результаты революции.

Во все глаза смотрела литература конца 20-х годов на результаты революции.

Все это сразу не очень легко понять. Но, как всегда, нас выручает академическое и еще чаще сатирическое литературоведение. Оба указанных вида этой почтенной науки дают нам на этот счет абсолютно точные и не вступающие друг с другом в противоречие указания: все испортил НЭП.

В самом деле: 1) НЭП смутил, 2) НЭП посеял сомнения, 3) огорчил, 4) поразил, 5) разочаровал, 6) сделал много других, крайне вредных (особенно для легкоранимых художественных душ) вещей. Это практически невозможно оспорить, а если бы кто и захотел, то сама медицинская статистика всем своим авторитетом ударила бы по рукам такого скептика и экспериментатора. И это было бы очень, очень правильно.

Однако некоторое обстоятельство вносит известную коррекцию в литературоведческое благообразие. Обстоятельство это заключается в том, что как раз в эпоху густого цветения НЭПа были созданы произведения, полные каменной уверенности и лишённые сопливых сомнений, — «Чапаев», «Железный поток», «Цемент», «Донские рассказы», «Любовь Яровая», — а в годы, когда нэп судорожно корчился в охватившей его окончательной и уже бесповоротной агонии, появились произведения, которые хороший редактор даже не захочет взять в рот.

Роль НЭПа в истории советской литературы непомерно и небескорыстно преувеличена, и это естественно, потому что некоторые литературоведы считают, что гораздо приятнее связать с НЭПом, о котором никогда ничего хорошего не говорилось, вещи, которые никогда никому удовольствия не доставляли.

Несмотря на это, «Багровый остров» Булгакова, «Голубые города» А. Толстого, «Братя» Федина, «Пушторг» Сельвинского — произведения, в которых герои стали заниматься в высшей степени опасным делом — размышлениями над результатами революции, — были написаны, когда уже всем стало ясно, что НЭП заканчивает свое земное бытие. И появились эти произведения не потому, что их авторов смутил, огорчил, поразил и разочаровал НЭП, а потому, что революция в конце 20-х годов перешла в новую фазу: началось решительное укрепление диктатуры, а людям, склонным к сомнениям и мыслящим в дореволюционных категориях о свободе, это казалось странным, а некоторым даже нежелательным.

Одна из важнейших тем русской общественной истории — взаимоотношения интеллигенции и революции, — начатая декабристами и Пушкиным, приобретала все большее значение и после векового поиска и обре-

тения опыта в библиотеках и кабинетах, университетах, журналах, газетах и на улицах под пулями и камнями получила математически точную формулу — я бы назвал ее «законом Блока» — интеллигенция и революция.

Формула Блока распространяется на всю русскую общественную историю XIX—XX веков и на те послереволюционные годы, когда дореволюционная интеллигенция еще сравнивала свое представление о революции с революцией реальной и не знала, что эта революция принесет.

Кончилось первое послереволюционное десятилетие, и взаимоотношения интеллигенции и революции приобрели новую форму: начались выяснения взаимоотношений интеллигенции уже не с революцией, а с новым, послереволюционным государством, с государством в форме диктатуры пролетариата.

Эти выяснения прошли через всю русскую литературу второй половины послереволюционного десятилетия.

Государство в форме диктатуры пролетариата возникло, как известно, не в 1927-м<sup>1</sup>, а в 1917 году. Но характер и интенсивность его проявления в разные времена были не одинаковыми. Совершенно очевидно, что в эпоху НЭПа диктатура пролетариата проявляла себя иначе, чем в годы военного коммунизма, в пору коллективизации, в годы ежовских палачеств, бериевского террора, сталинского истребления народов, или в пору победоносной борьбы с космополитами, или в эпоху, которая научно стала называться так: «некоторые “наслоения периода культа личности”», а художественно называлась иначе:

Звезды смерти стояли над нами,  
И безвинная корчилась Русь  
Под кровавыми сапогами  
И под шинами черных марушь<sup>2</sup>.

Государство диктатуры пролетариата могло предложить интеллигенции свободу лишь в пределах, не мешавших ему.

Свобода, которую принесла революция, была, по-видимому, не совсем тем, что части дореволюционной интеллигенции казалось революция обещает.

Однако прошло совсем немного времени, и новые представления о свободе стали казаться гораздо лучше старых представлений.

Роман Юрия Олеши «Зависть» был написан в первое послереволюционное десятилетие, когда писатель, увы, еще не до конца понял, что новые представления о свободе еще лучше старых.

---

<sup>1</sup> «Зависть» была написана в 1927 году. — Н.Б.

<sup>2</sup> Ахматова А. Реквием. В этом тексте, напечатанном в «Байкале», ссылка на автора «Реквиема» по цензурным соображениям отсутствовала. — Н.Б.

Поэт Юрия Олеши думал, что свобода — это то, за что боролись все протестанты, из-за чего совершались революции, велись освободительные войны, гремели фанфары и умирали герои.

Он думал о русской революции XX века в категориях французской революции XVIII века.

Наивный и недальновидный поэт, не слышавший, какие звуки звучат все громче, не понимал, что могут обещать люди, выбравшие себе псевдонимы, полно и точно выражающие идеал и программу сильной личности, мощной власти: Каменев, Молотов, Сталин.

Юрий Олеша, за три года до «Зависти» написавший книгу о революции любого века под непосредственным и недифференцированным впечатлением недавнего переворота, был уверен, что люди, совершающие революцию, берут тезис прямо из рук оружейника Просперо. Но потом писателю стало казаться, что что-то случилось, в связи с чем в его сознании неожиданно возникла литературоведческая дискуссия: от кого же эти люди происходят — от героя-революционера или от одного из Трех Толстиков.

По традиционным и не опровергнутым историографическим и социологическим представлениям, такое превращение обычно называется словом, которое люди, изнасиловавшие демократию, по естественной ассоциации идей со страхом и ненавистью воспринимают как в высшей степени нехорошую болезнь. Это слово начинается с буквы «т» и кончается буквой «р». Ммм... есть такое слово «термидор».

В романе Юрия Олеши конфликт поэта и общества начинается с того, что свое право и назначение поэт не в состоянии осуществить.

Право и назначение поэта в том, чтобы говорить обществу то, что он думает.

Вот что говорит поэт обществу:

«— Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов... Вы, сидящие справа под пальмочкой, — урод номер первый... Дальше: чудовище номер второй... Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... Что случилось с миром?»

И вот чем это кончается:

«Меня выбросили.

Я лежал в беспамятстве».

Тогда поэт, которому не дают выполнить свое высокое назначение, оказывается вынужденным писать «репертуар для эстрадников»: монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах.

В учрежденьи шум и тарарам,  
Все давно смешалось там:  
Машинистке Лизочке Каплан  
Подарили барабан...

Так как герой Олеси думает в категориях ушедшей эпохи, а живет в обстоятельствах существующей, то он начинает догадываться, что наступает обычная борьба поэта и толпы. Борьба кончается привычным для нашей истории способом: гибелью поэта.

Выброшенный из своей среды художник во враждебном окружении кажется странным, непонятым, нелепым и жалким. С великолепием *bel canto* пропета его фраза о ветви, полной цветов и листьев. Но вот эта оторванная от ствола ветвь с размаху всаживается в другую среду, в песок, в почву, на которой она не может расти. Теперь эта осмеянная ветвь выглядит странно, непонятно, нелепо и жалко. Вот как она выглядит в изображении человека другой среды: «Он разразился хохотом. — Ветвь? Какая ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев? Что?» А вот как в том же изображении выглядит художник, создавший эту ветвь: «...наверное, какой-нибудь алкоголик...»

Поэт отчетливо сознает несходство своего мира с миром, в котором он живет, и враждебность этих непохожих миров. Мир поэта прекрасен, сложен, многообразен и поэтому верен. Чужой мир — схематичен, упрощен, беден, приспособлен для низменных целей и поэтому ложен. Для того чтобы хоть как-нибудь понять друг друга, людям, говорящим на разных языках, необходим перевод. Поэт иногда вынужден брать на себя обязанности переводчика.

Он переводит свой язык на язык общества, которое его не принимает и которое он не может принять.

«...Сперва по-своему скажу вам: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней — тень падающего снега; да, сперва по-своему: не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо, по цвету — от загара и по форме — скулами, округлыми, суживающимися к подбородку. Это понятно вам? Нет? Так вот еще. От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку весны...»<sup>1</sup>

Следом за этим идет перевод: «А теперь по-вашему... Передо мной стояла девушка лет шестнадцати, почти девочка, широкая в плечах, сероглазая, с подстриженными и взлохмаченными волосами — очаровательный подросток, стройный, как шахматная фигурка (это уже по-моему!), невеликий ростом».

Решительно подчеркивает поэт несходство своего мира с миром, в котором ему пришлось жить. «Да, вот вы так, я так», — с презрением заявляет он.

---

<sup>1</sup> А. Белинков полемизирует с Ю. Андреевым, который утверждает, что следовало цитировать не «весны», а «вены». Недоразумение вызвано разночтением в разных изданиях «Зависти». — Н.Б.

Снова начинается прерванный (разными способами)<sup>1</sup> и, казалось бы, уже решенный спор о взаимоотношениях художника и общества или иначе: поэта и толпы. <...>

Что же касается взаимоотношений интеллигенции и революции, то необходимость выяснить их возникла по причине более простой, чем это могло показаться при чтении многих книг, а также и этой книги.

Простота причины заключается в том, что победителям в революции 1917 года больше как с интеллигенцией не с кем было выяснять взаимоотношения.

Победители не выясняли взаимоотношений с крестьянами, которые были на стороне революции, когда революция дала им землю. Когда же эту землю стали отбирать и крестьяне начали выступать против революции (не хотели идти в колхоз), то ими в ряде случаев пришлось пожертвовать во имя общих интересов. Взаимоотношения с прежними господствующими классами также были очень просты: эти классы сразу же были уничтожены. (Во имя общих интересов.) Следовало бы специально остановиться на том, что в состав этих классов входила и вся русская демократия, на протяжении столетия подготавливавшая революцию. Так как революция считалась пролетарской (не большевистской), то сначала показалось, что с пролетариями выяснять нечего, а когда обнаружилось, что остается кое-что невыясненным, то можно было расстрелять Кронштадтское восстание 1921 года и после этого уже ничего не выяснять, а просто разъяснять понятным народу языком.

С интеллигенцией, увы, все было гораздо сложнее: интеллигенция уничтожалась только в тех случаях, когда становилось ясным, что у нее могут начаться идейные шатания и кричащие противоречия. Интеллигенция была нужна, ее выгоднее было использовать, чем уничтожить... Вот когда план по основным показателям был выполнен и были созданы кадры собственных налетчиков на демократию, философию, право, искусство, тогда, конечно, можно было перейти к более полному удовлетворению культурных запросов населения. Но пока план по основным показателям оставался невыполненным, уничтожить всю интеллигенцию было преждевременно.

И вот между еще не уничтоженной и не ушедшей в изгнание интеллигенцией и победителями начались длинные переговоры, которые стали называться «интеллигенция и революция».

Потом сочтено было, что на такие пустяки, т.е. на переговоры, истрачено слишком много драгоценного времени. Да и характер переговоров сильно переменялся. <...>

---

<sup>1</sup> Имеются в виду наши привычные домашние способы: аресты, расстрелы, расправы, запрещения, ссылки, насилия. — Н.Б.

Победа была одержана к началу 30-х годов, а закреплена к концу 1937 года.

Выяснения были возможны, когда имелся выбор: работать этой интеллигенции с советской властью, быть лояльной, уйти в эмиграцию, бороться. К концу 30-х годов лояльность, эмиграция и борьба были исключены, и, таким образом, был исключен выбор. Это создавало новую ситуацию: старая интеллигенция, не пожелавшая работать с советской властью, вступала уже в недискуссионные взаимоотношения с государством, значение которого в жизни людей все решительнее усиливалось. Произошло замещение утратившей былую роль проблемы взаимоотношения личности и государства. С конца 30-х годов внимание к вопросам взаимоотношений личности и государства становилось все более сосредоточенным.

Быстрыми и уверенными шагами входит хозяин романа Андрей Петрович Бабичев.<...>

Первый роман Олеши, повествующий о революции, называется «Три толстяка», а второй его роман, повествующий о последствиях победы революции, почему-то называется «Зависть», а не «Четвертый толстяк»<sup>1</sup>.

### *Из главы «Собирайте металлолом»*

Писатель-остров в литературе не существует. Течет река истории литературы, и обыкновенные хорошие, обыкновенные посредственные и обыкновенные плохие писатели плывут по этой реке. Обыкновенный писатель всегда хорош или плох от того, хороша или плоха литература, в которой он живет. Только великий писатель может не иметь отношения к своей литературе. Фет закончил «Вечерние огни», и Чехов создал свои лучшие рассказы в одно из самых пустынных десятилетий русской литературы.

Юрий Олеша был обыкновенным хорошим и обыкновенно плохим писателем, он плыл по реке и писал хорошо, когда выходил на широкую чистую воду, и плохо, когда река начинала скудеть.

Трагичность судьбы Юрия Олеши, который по своей художественной физиологии был, несомненно, большим писателем, в том, что он не стал им, и не стал потому, что никогда ничего не делал сам. Он не был человеком с биографией, в которой играл главную роль. Он был человеком судьбы. Он только плыл, и плыл не к назначенному месту, а туда, куда принесет волна. Он только повторял время, процесс, историю литературы, и поэтому он написал свои лучшие книги, когда все писали свои лучшие

---

<sup>1</sup> Весь этот фрагмент — часть главы, опубликованной в журнале «Байкал» (1968. № 1. С. 103—109). — Н.Б.

книги и когда плохо писать считалось неприличным, и свои плохие книги, когда все писали плохие книги и когда считалось, что следует писать именно так. Судьба Юрия Олеши равна судьбе литературы его времени. Но литература может быть большой только тогда, когда ее мужества хватает на сопротивление расплющивающей силе, уничтожающей главное назначение искусства — говорить правду. Нужно быть мужественным человеком, чтобы иметь талант.

Разрушающее усилие времени прямо пропорционально пределу выносливости художника и обратно пропорционально количеству предъявленных ему обществом требований.

В связи с большим количеством писательских заявок Юрий Олеша в период, который называется «годы молчания», написал большое количество удовлетворяющих общество художественных произведений.

Из этого следует, что периода «годы молчания» в творчестве Юрия Олеши не было. Были не годы молчания, а годы высокохудожественного писания.

Он стал писать, как пишут другие.

И когда творчество Юрия Олеши заняло промежуточное положение между творчеством писателя **Я.** и творчеством писателя **Ш.** или между творчеством писателя **И.** и творчеством писателя **Н.**, то стало казаться, будто оно и не существует.

Все, что написал в эти десятилетия Юрий Олеша, имеет значение лишь потому, что дает возможность проследить, как не умеющий и боящийся сопротивляться временным, преходящим обстоятельствам, трудностям, которые нужно мужественно преодолеть, художник поднимает руки и умолкает.

Гибель художника начинается в ту минуту, когда он медленно и неуверенно и с отчаянием толчками приподнимает... поднимает руки.

Остальное все просто: тру-ля-ля! Поднявший руки художник лишь выбирает форму гибели.

Формы гибели художнику предлагаются в ограниченном ассортименте: не писать вовсе, писать «Собирайте металлолом».

Юрий Олеша не пошел привычным путем. Он выбрал путь охотника за мастодонтами. Такие охотники пишут вот так: «Удивительным, необыкновенным и поразительным утром как хорошо собирать прекрасный металлолом!»

Для того чтобы, упаси бог, не подумали, что у него какие-нибудь там сомнения, или там неприятный осадок, или еще какая-нибудь гниль, он прибавил третью форму гибели: благородную осанку и энтузиазм.

Всегда виноваты вместе: художник и обстоятельства.

Всегда в одно время живут убийцы и праведники, растлители и страстотерпцы, палачи и жертвы, сатрапы и мученики, купцы и поэты.

<...>

Как же обманывает себя и других художник и как черные и багровые пятна времени проступают сквозь искусство?

Это можно понять, внимательно исследуя единственную реальность искусства — личность художника, проявленную в образе.

Искусство мастерски выводит на чистую воду.

При этом с одинаковым мастерством оно выводит не только своих героев, но и своих художников.

Гамлет хорошо знал эту возможность искусства: он заставил актеров играть «Мышеловку» и избил сходством короля-убийцу.

Все искусство — это мышеловка, в которую попадают те, кто уклоняется от своей ничем не заменяемой обязанности: говорить правду.

Эти соображения, связанные с искусством предшествующей эпохи, Юрий Олеша, всю свою жизнь воспевавший эпоху, в которой он жил и которая решительно эти представления отвергала, непоследовательно, старательно и успешно из себя выкорчевывал. И в этом была противоречивость, неубедительность, двойственность и заманчивая соблазнительность его позиции.<...>

Юрий Олеша упорным трудом, тяжелой судьбой, многочисленными разговорами на эту тему, тремястами вариантами первой страницы «Зависти» завоевал репутацию тончайшего художника, художника-страстотерпца, художника в первую очередь, только художника, художника и только художника...

Маленькая тайна этой книги, спрятанный в ней поворот, нечто иное, что можно было предположить, неожиданное разрешение, убийца, которого невозможно было заподозрить, дары волхвов, преподнесенные читателю, как раз в том, что прекрасным писателем был не Юрий Олеша.

Прекрасными писателями были: Борис Пастернак, Осип Манделштам, Анна Ахматова, Исаак Бабель, Андрей Платонов, Евгений Замятин, Михаил Булгаков.

Никакого отношения к ним писатель Юрий Олеша не имеет.

Юрий Олеша имеет отношение к другим писателям.

Он имеет отношение к Илье Эренбургу, Виктору Шкловскому, Константину Симонову (недооцененный эпохой прохвост).

У Юрия Олеши есть с ними нечто общее, как, например, у всех представителей отряда хоботных — слонов, мамонтов, мастодонтов.

<...>

Юрий Олеша последовательно и методично становился плохим писателем. И метафоры Юрия Олеши становились все хуже, как становилось все хуже и все лицемерней его искусство и как все незначительней и лживей и безвыходней становилась его судьба...

История Олеши — это история его умирания...

Юрий Олеша важен не своими блестящими и традиционными метафо-



рами, а дорогой к гибели, по которой его гнали в два кнута обстоятельства и непреходящая, из поколения в поколение не убывающая потребность в кнутах. Юрий Олеша интересен и важен не той науке, которая, как вы полагаете, специально существует, чтобы изучать творчество Юрия Олеши, — не литературоведению. Юрий Олеша просто создан для того, чтобы стать типичным представителем и объектом самого пристального изучения другой науки — истории русской интеллигенции 20—50-х годов. Вот здесь он типичный представитель и объект.

## Глава 6

Наталья Белинкова

### ЕЛКА ПОГАСЛА!

Дорогой Анне Андреевне.  
Если мое поколение еще может  
что-то сказать, не стыдясь за сказанное,  
то потому лишь, что мы с детства  
читали Ваши стихи, знали о Вашей судьбе,  
верили в то, что Вы правы.

Аркадий Белинков  
Дарственная надпись  
на книге «Юрий Тынянов»

*«Вопросы литературы» заказывают А. Белинкову статью об Ахматовой в тщетной надежде на отмену Постановления ЦК 46-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград». Не статья — так книга! Посещение поэтом Ардовых. Анна Андреевна читает нам «Реквием» Ахматова и Северянин. Смерть поэта.*

«В 1970 году вскоре после кончины Аркадия Белинкова я оказалась в Лондоне и там познакомилась с молодым англичанином — специалистом по русской литературе...» — так начиналась моя вступительная заметка к публикации отрывков из незаконченной книги Белинкова об Анне Ахматовой<sup>1</sup>. Все так и было, кроме того, что за «молодым англичанином» скрывалась привлекательная девушка Лесли Милне. Она-то и была начинающим специалистом по русской литературе. Назвать ее настоящим именем в то время было опасно, так как она ездила в Москву по обмену. Я и выдумала «молодого человека». Когда я встретилась с Лесли, она готовилась к своей первой поездке в СССР. Лесли хорошо говорила по-русски и серьезно занималась русской литературой, но условий жизни в нашей стране она себе не представляла. Больше всего ее волновали две вещи: как не привлекать внимания КГБ и какую шубку брать с собой — «мини» или «макси»? Я рассказала, как одеваются в Москве, и объяснила, в каких библиотеках она может достать интересующие ее материалы, дала адреса моих друзей, а КГБ посоветовала не бояться, в том случае, конечно, если ничего нелегального она делать не собирается.

---

<sup>1</sup> Яблокова-Белинкова Н. Погасшая елка // Грани. 1985. № 136. С. 105.

На следующий год мне опять случилось быть в Лондоне. Моя знакомая, к тому времени уже побывавшая в Москве, разыскала меня и попросила приехать. Я постеснялась отказаться, но ехать мне не особенно хотелось. Я уже по опыту знала, что теперь мы поменяемся ролями. Она с видом знатока будет мне рассказывать о Москве, в которой пробыла самое большее месяц, а я буду задавать наивные, с ее точки зрения, вопросы о стране, в которой прожила всю жизнь. Все же к вечеру того же дня я стучалась в дверь ее квартиры.

Она была одна и провела меня в полупустую комнату с высокими потолками и старинной мебелью. Чувствую себя неуютно. Оглядываюсь. Вдоль стен — книжные корешки за холодными стеклами, в высоких окнах — сумерки. То ли это кабинет, то ли лишняя комната для гостей. Здесь мы пили кофе. А может быть, чай — Англия все же! Как я и предполагала: вежливые вопросы и вежливые ответы. Время тянулось медленнее, чем обычно. За окнами стало темно. Мне пора было уходить.

«А вот самое главное, из-за чего я позвала Вас», — сказала Лесли, протягивая тяжеловатый сверток. Предполагая, что в свертке находятся — что же еще? — московские сувениры, я его развернула. И время остановилось. Нет, потекло вспять. На коленях у меня лежала необыкновенно знакомая обложка «Методических указаний по выполнению дипломного проекта». Наверху стояло: «Московский полиграфический институт». Я несколько лет работала в издательском отделе этого института, и дома мы пользовались бракованными обложками вместо папок. В серой шероховатой обложке лежала рукопись незавершенной книги Белинкова об Ахматовой. Страницы были неодинаковой длины и зацеплены скрепками в тугие пачки. Сухая бумага пожелтела, а скрепки поржавели. На первой же странице набросан план работы: «Подобрать куски... соединить их по плану... отобрать все планы... сделать сводный план... наблюдения над стихом Ахматовой... свести тексты “Величайшие живописцы” и “Безнравственность, ханжество, растленность”». Если бы не ржавчина, то все выглядело бы так, как будто пачку разрозненных заметок взяли с письменного стола в последней нашей квартире недалеко от Белорусского вокзала. Как будто мы все еще в Москве, никаких архивов на произвол судьбы не бросали и никуда насовсем не уезжали. Но я была в чужом доме, на берегу Темзы. Автора, набросавшего план книги, уже не было в живых.

По святому неведению, не видя ничего нелегального и опасного в том, что делает, провезла девушка эту рукопись через границу? Или, несмотря на страх перед КГБ, совершала подвиг? Я не стала спрашивать, каким образом нашлась рукопись и как ее удалось провезти через таможеню. Больше того, я, как могла, изобразила радость по поводу того, что черновик книги об Ахматовой попал в мои руки. Много позже я узнала, что ру-

копись ей сумела передать Галя Белая (в надежде не вернуться из-за границы в 68-м году Аркадий разбросал свой архив по друзьям).

Как трагично-нелепо, что мы вынуждены были усматривать подвиг в том, что вдове привозят пачку черновигов ее мужа! Какое смятение было во мне! Как все было бессмысленно и жестоко! Толстый пакет, набитый пачками правленых бумажек, требовал, прямо-таки топал ногами, чтобы работа была закончена. Но что *мне* делать с незаконченными фразами, с отдельными словами, с несведенными текстами, расположенными в порядке, известном только автору. Допустим, я разберусь в рукописи, опубликую ее. Но как знать, какие линии протянулись бы от этих еще не отчеканенных строк? Чем взорвались бы осторожные вопросы, заданные самому себе? В какой форме были бы изложены выводы? Пока что у меня в руках гадкий утенок. Ни жизнь, ни работу умершего писателя продолжить невозможно. Я хорошо помню, как мой муж боялся «несделанных работ».

И я помню, как начиналась книга, от которой остались несделанные куски.

Пятидесятые годы переходили в шестидесятые. Чередовались чаяния и надежды, отчаяние и безнадежность. Взять один только пятьдесят восьмой год. Сняли запрещение на исполнение оперы Шостаковича «Катерина Измайлова». Осудили и начали травить Пастернака. Допустили чтение стихов у памятника Маяковскому. К концу года поэтов разогнали. Пересмотрели ошибки в постановлении ЦК об опере Мурадели «Дружба народов». Не состоялась, хотя, по слухам, и готовилась отмена постановления ЦК о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград». (Слухи оказались дымом без огня — реабилитация в музыке произошла из-за того, что украинский композитор Данкевич — автор оперы «Богдан Хмельницкий», осужденный в свое время вместе с Мурадели, был другом Хрущева.)

В надежде на литературную реабилитацию Анны Ахматовой «Вопросы литературы» поспешили заказать Белинкову соответствующую событию статью. Ахматова! Имя найдено. Вот он, противостоящий системе, победивший художник! Теперь триптих будет завершен.

На письменном столе начали накапливаться стопочки бумаг с цитатами, отдельными фразами, названиями глав: «Об одностемности Ахматовой», «Причины распри Ахматовой с веком». Аркадий начал систематически посещать Анну Андреевну в доме у Ардовых на Ордынке. Сюда он принес первое издание «Юрия Тынянова» с дарственной надписью, ставшей эпиграфом к этой главе. Он ходил к поэту, как ходят на работу, каждый раз отправляясь с большой неохотой.

Он объяснил мне, что неприятное чувство, с которым он идет и возвращается, связано вовсе не с нею, а с ее окружением: «Курыт фимиам и не дают поговорить серьезно». Сейчас я бы извинила тех, кто курил фимиам.

Поэту воздавали должное за его высокий, смелый дар и винулись за долгие годы его молчанья и страданий.

С самого начала Аркадию показалось, что в Анне Андреевне он нашел единомышленника, что оба даже мыслили в одном ключе и говорили одинаковыми словами: не «кризис» и «генезис» литературных направлений, как это было принято у литературоведов: а «смерть» символизма и «рождение» акмеизма, говорили они, — и он не мог не вспоминать свое «нео-барокко».

Однажды он взял меня с собой.

На пороге типичной московской квартиры нас встретила не гибкая гитана, а полная пожилая женщина. Ласково поздоровавшись, она повела нас по узкому коридору. Ее поступь была величавой, но шаги были тяжелыми, как у людей с давним сердечным заболеванием. Не классическая шаль спускалась с ее плеч, а широкое выцветшее платье лилового цвета, на котором аккуратными квадратиками красовались две заплаты. Они были заметны, несмотря на то, что были выкроены из того же материала, что и платье. Поношенный этот наряд скалывала на груди огромная, царственной красоты гранатовая брошь. Лицо женщины было большим, бледным, одутловатым и красивым. Челки, столько раз воспетой, не было. Седые пушистые пряди волос были зачесаны назад и заколоты на затылке. Ей трудно дышалось, но голова была гордо откинута, и вся она, вопреки явному нездоровью, наперекор очевидной и постоянной бедности являла царственной персоны портрет. На ее волнистых седых волосах как будто возлежала блистательная корона. Только вот царство было расхищено. А мы выступали в качестве подданных разграбленного королевства, сопричастных судьбе редких, упрямых, как и она, поэтов-современников. Но нам сожалеть, а им — страдать.

Коридор заканчивался гостиной, где, по-видимому совсем недавно, были люди и пили чай. Сейчас на круглом столе посередине комнаты стояли остывшие чашки. Анна Андреевна свернула в маленькую комнатку справа. В ней еле-еле помещались узкая кровать, столик у окна и стул. В переднем углу — икона. На голой стене над кроватью известный портрет поэтессы, сделанный рукой Модильяни. Он как бы напоминал, с кем мы сейчас разговариваем. Но и без того Ахматова Серебряного века с неотвратимостью дневного света проступала через теперешнюю.

Если гостей в комнате было больше одного, то кому-то приходилось сидеть на кровати вместе с Анной Андреевной. В этот раз рядом с ней устроилась я. Аркадий расположился на жестком стуле напротив. Было так тесно, что мы все почти касались друг друга. Сидя, Анна Андреевна опиралась ладонями на свои колени. Таким образом она поддерживала свое тучное тело. Заплаты приходились на уровне колен.

Думаю, будь Анна Андреевна жива, она была бы возмущена тем, что я о ней понаписала. О, я видела ее гнев! Задушевно беседуя с нами, она

вдруг прервала сама себя и порывисто, с неожиданной грацией и гибкостью выхватила не то журнальную, не то газетную вырезку из-под пачки бумаг на столике. Это было не то опубликованное за границей ее интервью, не то статья иностранного ученого, имени которого я, к сожалению, не запомнила. «Нет, вы только послушайте, что он тут пишет! — возмущалась Анна Андреевна, переводя с английского описание самое себя: “Меня встретила не изящная властительница поэтических салонов начала 20-го века, а немолодая женщина с руками прачки...”». «С руками прачки!» — яростно и вместе с тем как-то беспомощно-обиженно восклицала она. Я посмотрела на ее руки: они были старческими. Вслух мы притворно разделили ее чувства. Со стены на нас укоризненно посмотрел Модильяни. Было горько. Явно иностранец не имел никакого намерения обидеть Анну Андреевну. Наоборот, он как бы попытался сказать: «До чего довели такого человека в этой стране!» Но у Анны Андреевны было свое мнение о том, как надо о ней писать.

Этот эпизод должен был бы послужить Белинкову предостережением.

Возвращаясь от Ахматовой, Аркадий садился за стол, переключал стопочки бумаг, пересматривал однотомники поэтессы и приходил к выводу: «Главное заключается в том, чтобы показать, как сложный душевный мир, тонкость ощущений, глубина переживаний могут возникнуть в результате сложнейшего исторического развития... Таким образом, возникает главный вопрос: как связать поэтическое творчество с историей, с историей культуры, с искусством...» Опять история! Стихи поэтессы еще не цитируются. Аркадий как бы боится сломать хрупкость ахматовских строчек, сопоставляя их с рассуждениями на исторические и политические темы. Потом он замечает: «следует опасаться выводить творчество Ахматовой только из исторических мотивов».

Однако судьба ее поэзии, ее собственная судьба, судьба ее современников вынуждали писать именно об истории: «Связать выход сборника 1940 года с резким изменением идеологической концепции. Это изменение было вызвано тем, что близилась война, и это требовало иных взаимоотношений государства и общества, нежели революция. Подготовка к войне в государстве, покончившем с борьбой классов, оказалась связанной с необходимостью объединения всего народа вокруг привычных представлений о родине, патриотизме, величии народа, исторического прошлого и пр.».

С одной стороны, у поэта: *И темные десницы Антиноя вдруг поднялись — и там зеленый дым...*

С другой стороны, у критика: «История может не вызвать определенный эстетический ответ, но история может выбрать и усилить подавленные явления».

Трепетные лани поэзии и рабочие лошади литературоведения с трудом впрягаются в одну повозку: «До сих пор все, что мне приходилось читать

о стихах, в частности о стихах Ахматовой, весьма определенно тяготело или к анализу темы, или к анализу морфологии. Изредка и к тому и к другому. Причем и то и другое не соединялось. Об искусстве, то есть о явлении исторической идеологии человечества, я не читал. Но, очевидно, нужно писать именно об этом. Особенно это касается Ахматовой, потому что Ахматова это не только художник, но и судьба художника. И об этом и надо писать: об искусстве и судьбе художника».

Опубликованные отрывки из архива Белинкова еще никак не черновики, а заметки, адресованные самому себе. Их место в «лаборатории писательского творчества». Я уверена, что в законченной книге вряд ли бы обнаружилось стилистическое противоречие между лирикой Ахматовой и критикой Белинкова. Сопротивление двух несогласных между собой материалов — лирики и литературоведческого текста — он преодолевал постепенно. Стали появляться наблюдения над творчеством Анненского, Блока, Пастернака. И, наконец, он нашел точку, в которой могли бы сойтись и история, и морфология, и искусство, и личность художника, и его судьба: «связующим звеном должен быть Пушкин».

И все встало на свое место: «Соприкосновения Ахматовой с Пушкиным разнообразны. Чаще всего пути обоих поэтов пересекаются на (в) материале, и тогда над стихотворением Ахматовой взлетает эпиграфом пушкинская строка. Еще чаще их строки сходятся в Петербурге у памятника Петру. Здесь писатель назначает писателю свидание...» Между догадкой — Пушкин! — и ее литературным воплощением оставалось обширное пространство будущей книги, которому предстояло заполниться не только анализом воздействия исторических событий на тонкость ощущений героини, но и восторгом, болью, отчаянием, а порой и гневом самого автора, выраженными в сложном комплексе художественных средств, включающих даже лирические отступления, как это было в «Тынянове» и особенно в «Сдаче и гибели...».

Помимо двух несхожих стихий, академической и лирической, была еще и третья — сама Анна Андреевна. Между нею и Аркадием иногда возникали размолвки. Я была свидетелем одной из них.

Аркадий сказал что-то в осуждение Хрущева, — то ли в связи со скандалом перед полотнами Фалька в Манеже, то ли по поводу его встреч с писателями (мы все тогда возмущались потугами несведущего в искусстве вождя руководить литературой). Анна Андреевна ответила резко, с нажимом: «А мы с Вашей мамой иного мнения о Хрущеве!» Замечательно то, что она никогда не встречалась с Миррой Наумовной, но уверенно взяла ее в свои сторонницы. Хрущев освободил их сыновей — и этим оправдывалось все его правление. Отцы и дети. Матери и сыновья. Нужен ли ей, царскосельской воспитаннице, разъедающий скептицизм молодых людей шестидесятых годов? Ведь спросили же ее, почему она напечатала свои

стихи в «Октябре»? Она недоумевала: «О чем волнуются эти молодые люди? “Октябрь”, “Новый мир”! Какая разница? На них на всех написано “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”» А что сыновьям, измученным и вышедшим из вшивых лагерей, тени тринадцатого года и пламя, утонувшее в хрустале? Ей нужна была «Поэма без героя». Нам нужен был «Реквием».

И тебе порасскажем мы,  
Как в беспамятном жили страхе,  
Как растили детей для плахи,  
Для застенка и для тюрьмы.

Из всех любовных болей и гражданских обид у этой властительной, гордой, временами капризной богини преобладала одна наиболее уязвимая — любовь к сыну. Источником мудрости, смирительницей гордыни, внутренним светом поэзии у зрелой Анны Ахматовой стала материнская боль.

После паузы, похожей на ссору, королева простила нас.

«Хотите, я вам почитаю...» — не спросила, предложила она. Интонация — жест. Жест — царский дар. Кто бы отказался? Мы замерли. Заботы суетного света отступили. Ни размолвки, ни стареющего тела, ни гранатовой броши. Побледневшую женщину влекли к жертвоприношению. Проходя через муки ада, Анна Андреевна превращалась в Анну Ахматову, в нечто, называемое чистой поэзией и (это уже для русского читателя) совестью. Она читала нам «Реквием». Сама! Казалось, она не читала его — творила заново:

Магдалина билась и рыдала,  
Ученик любимый каменел,  
Но туда, где молча мать стояла,  
Так никто взглянуть и не посмел.

Голос у Анны Андреевны был низкий, грудной, с сиплым перехватом, когда ей не хватало воздуха. К концу чтения мы плакали все трое. У памятника, самой себе воздвигнутого ею, таял в бронзовых глазницах снег, страна еще надеялась на обновление, по Неве плыли корабли, как облака плывут, облака...

Свидание с Анной Ахматовой кончилось цитатой. Она действительно проводила нас до передней, в которой стояла золотая пыль.

«Оттепель». То оттаивает, то подмораживает. Лирические сборники Ахматовой все еще с трудом прорываются в печать. Аркадий упорно ра-



ботает над статьей: исписаны сотни страниц, отрывки обсуждены с Оксманом, Чуковским, самой Анной Андреевной. Тянется ожидание отмены постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». (Его отменяют только в 1988 году.) В конце концов «Вопросы литературы» вынуждены отступить от статьи.

Увлечшись мощной силой нравственного сопротивления женщины-поэта, Аркадий начал превращать статью в книгу. Он еще не решил, как он ее назовет: «Судьба Анны Ахматовой» или «Победа Анны Ахматовой». В черновиках оставляет запись: «Блок. *“Искусство — ноша на плечах”*» — возможно, это эпитафия.

Отдавая себе отчет в том, что будет писать книгу о гонимом поэте, он все же предназначал ее для печатного станка. Продумывал и построение книги, и способы обхода цензуры: «процитировать куски из статей, где говорится, что она великий поэт, цитировать якобы не для этого...», «написать об Эльсберге, Самарине, Никулине и т.д. в контексте с историческими лицами, известными такого рода деятельностью. Или же в контексте с рассуждениями о такого рода деятельности». Для несведущих: разоблачение стукачей (а литературоведы Я.А. Эльсберг, Р.М. Самарин «прославились» доношением и разоблачительными речами; подобные слухи ходили и о писателе Л.В. Никулине) каралось законом.

Видимо, намечалась какая-то трещина в отношениях между автором и его героем: «В книге будут исследованы... сложные взаимодействия исторического факта и художественного явления, определенного этим историческим фактом. Что же касается субъекта исторического воздействия — писателя, — то к его собственному отношению следует подходить с особой внимательностью и не переоценивать его значения... волюнтаризм процветает там, где одному человеку приписывается решение задач, которые выполняются всем обществом в процессе исторического развития».

Постепенно Анна Ахматова, о которой он хотел писать, уходила от Анны Андреевны, с которой он встречался, все дальше и дальше. И однажды «субъекты исторического воздействия» не поняли друг друга.

Года через два с начала их совместной работы расстроенная Анна Андреевна настояла на немедленном свидании с Лидией Корнеевной Чуковской. Вот как об этом рассказывает Лидия Корнеевна:

«...Она меня без конца вызванивала и заставила прийти в очень для меня неудобное время. Зачем?...

— Елка погасла! — произнесла Анна Андреевна с такой внезапной и горестной торжественностью, что я, от удивления, огляделась вокруг (ища глазами елку).

— Да, погасла, погасла. Знаете, как это бывает? Скажет человек одно слово — и праздник окончен.

Оказывается, у нее был Белинков, который собирается писать о ней книгу...

— Знаете, что Белинков сказал о “Поэме”?

— Догадайтесь.

— Ну, Анна Андреевна, ну как же я могу догадаться?

— Он сказал, что “Поэма” прямо обязана своим возникновением поэзии Игоря Северянина... Да, так, — сказала Анна Андреевна со вздохом. — А мне твердили о Белинкове, как о восходящей звезде.

И тут я догадалась, почему она столь настойчиво меня вызывала. Ей хотелось поделиться со мной очередной надеждой, которая рухнула. Она, видимо, сильно рассчитывала на Белинкова<sup>1</sup>.

«Елка погасла!» — впервые я услышала об этой эффектной фразе в Иерусалиме от Толи Якобсона года через два после того, как впервые опубликовала отрывки из незавершенной книги об Ахматовой. Он только что переехал в Израиль, и атмосфера московской жизни еще витала над ним. Прочитав в «Новом колоколе» несколько черновых страничек, Толя согласился с Лидией Чуковской: сложный и хрупкий образ поэтессы нельзя вместить в жесткую формулу «поэт и власть». Помнится, я тогда пожалела о своей публикации.

Свою будущую работу об Ахматовой Аркадий обсуждал с Лидией Корнеевной в недолгий период их дружбы. Она категорически возражала против намерения Аркадия включить книгу об Ахматовой в его трилогию. На помощь моей памяти приходят ее собственные слова из «Записок»: «Белинков... публицист, не литературный критик. И Тынянов послужил ему лишь трамплином для публицистических взлетов. Поэзию же Анны Ахматовой делать трамплином для чего бы то ни было — грех; она сама себе довлеет...»<sup>2</sup> Аркадий обычно внимательно относился к критике собственных сочинений и даже напрашивался на нее, но тут дружеские обсуждения постепенно превращались в ссоры и в конце концов прекратились.

Мнение Лидии Корнеевны было не единственным, несмотря на то что книгу никто не читал: она еще только задумывалась. В то время звезда «Анны всея Руси» сияла высоко, и от Аркадия ждали нового слова о поэте. Он же предлагал свою формулу: *взаимоотношение творческой личности и власти*. Почему-то считалось, что публицистика, или, по выражению Шкловского, задор, литературоведению противопоказаны. Нарушают поэтику академического жанра, что ли? Мало-помалу отношение к ненаписанной и нечитанной книге оформилось, проложило свою тропинку в отечественном литературоведении и, дойдя до 90-х годов, получило

<sup>1</sup> Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 2. 1953—1962. С. 506—607.

<sup>2</sup> Там же. С. 506.

окончательную формулировку в очень хорошей, во многих отношениях достоверной статье: «взялся не за свое дело»<sup>1</sup>.

Сама героиня «Судьбы/победы...» знала, что в книге о ней Белинков будет развивать обе линии: социально-историческую и эстетическую, и не имела возражений. А возражала бы — противоречила бы самой себе. После второго свидания с Ахматовой Аркадий с восторгом писал Юлиану Григорьевичу Оксману о ее «великолепном понимании того, как соединяется историческое событие с человеком». Известно, что в своих литературных исследованиях она совсем не чуждалась социально-политических аспектов. В статье «Последняя сказка Пушкина», например, она доказывает, что «бутафория народной сказки служит здесь для маскировки политического смысла», а анализируя «Золотого петушка», ссылается на Тынянова, «вскрывшего двупланность семантической системы Пушкина».

Познакомившись с записью Лидии Чуковской, я позволила себе вообразить, что же произошло на Ордынке при обсуждении «Поэмы без героя» — любимого детища, духовного завещания Ахматовой.

Может быть, все происходило так.

Говорили о рождении произведения. Аркадий произнес злополучное имя. Анна Андреевна гневно вспыхнула: ее «Поэма...» и Северянин! «Поэму...» выводят из Игоря Северянина? Анну Ахматову сравнивают с Игорем Северяниным! В самом деле обидно. Сам Блок сказал, что у того «жирный адвокатский голос». И вообще, известно, что Северянин — второй сорт: поэзы, луна в аметисте, лазоревые просторы, какие-то ананасы в шампанском. Совсем не то, что черная роза в бокале...

Как это Аркадий, вежливость которого порой раздражала окружающих, допустил такую неловкость? И где его тонкий литературный вкус? Может быть, он видел в «Поэме...» всего-навсего противопоставление Северянину? А может быть, он сказал то, что хотел сказать? Во всей его рукописи нет ни одного упоминания о Северянине. Может быть, весь елочный эпизод — недоразумение?

Мне довелось прочесть статью собрата Ахматовой по поэтическому цеху Алексиса Раннита<sup>2</sup>. Он как ни в чем не бывало упоминает Северянина — поэта «второго ряда» на равных с нею и с такими первыми величинами, как Врубель, Рахманинов, Скрябин. Значит, сравнивать не зазорно?

Более того, Раннит обращает внимание на не замеченное современниками ироническое начало в поэзии Игоря Северянина. Действительно,

<sup>1</sup> *Абросимова В.* Ахматовский мотив в письмах А.В. Белинкова к Ю.Г. Оксману // Знамя. 1998. № 10.

<sup>2</sup> *Rannit A.* Anna Akhmatova considered in a context of Art Nouveau // Ахматова Анна. Мюнхен, 1968. Т. 2. С. 5.

у поэта есть строки: *Пускай критический каноник / Меня не тянет в свой закон, — / Ведь, я лирический ироник: / Ирония — вот мой канон.*

Не пародировал ли самого себя этот отверженный петербургским поэтическим светом эгофутурист, когда писал: «Я — гений Игорь Северянин»? Во втором периоде своего творчества автор поэт убрал не только гения, но и заглавную букву. Просто написал: «Я — северянин». Из его стихов ушло фрондерство: появились скромные прибалтийские пейзажи, нашлись простые, обиходные слова. Может быть, зря его высмеивали посетители ивановских сред и завсегдагаи «Бродячей собаки»?

Антагонизм имел под собой основание. И не только потому, что школа эгофутуристов противостояла символизму и акмеизму.

Северянин продолжал не иронизировать, нет, а создавать злобные портреты своих блистательных современников. Бальмонт, Гумилев, Кузмин, Бунин, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Сологуб — круг, пренебрегший его головокружительным успехом у широкой публики, не принявший в свою среду. О, как он мстит им двумя десятками желчных стихотворений!

Самое жестокое и несправедливое достается Анне Ахматовой. Тут и «нудный плач», и «повадка Надсона», и «ползучая тоска», и многое из того, что предвосхитило доклад Жданова. Не хочется мне цитировать все стихотворение. Приведу только начало:

Стихи Ахматовой считают  
Хорошим тоном (comme il faut...),  
Позевывая, их читают,  
Из них не помня ничего!

Аркадий мог не знать этой эпиграммы, но Анна Андреевна не могла ее не помнить.

Не от холодного ли северянинского сквознячка погасли огни на елке?

Почему прервался праздник доверительного общения с Анной Андреевной, Аркадий Белинков так никогда и не узнал. Но чувство невозвратимой утраты он пережил.

5 марта 1966 года на нас, как и на других подданных ее королевства, обрушилась весть о ее кончине. В запущенном дворе больницы Склифосовского, в морг которой перевезли покойную, собралось несколько сот человек. Пришедшие сюда добровольно осуществили дарованное советской конституцией право на свободу собраний и свободу слова. Во дворе находился неизвестно для чего предназначенный помост. За ним стоял столб с нелепой перекладиной. Когда люди по одному стали подниматься на помост и говорить о своей скорби, каждый из них казался обреченным на виселицу. В стороне стояли какие-то ржавые бочки. Также в стороне топтались искусствоведы в штатском. Единственные ворота во двор были полуприкрыты. На улице перед воротами стоял автобус.

К нам подошел Варлам Шаламов и прошептал: «Тут как раз та тысяча...» (По Москве ходила фраза председателя КГБ Семичастного о том, что, если ему дадут арестовать тысячу московских инакомыслящих, он обеспечит в стране порядок.)

Гроб с телом стоял в совершенно пустой комнате рядом с моргом. Со двора длинной бесконечной вереницей входили прощаться. Совершив скорбный круг, вытекали обратно. Давила особая сопутствующая смерти глухая тишина. Шаркающие подошвы да шепот. Всхлипывали и сморкались. И вот Она — отгороженная от нас кромкой гроба. Голова чуть склонена влево. Странная ироническая улыбка на лице. Серые пушистые волосы прикрыты черной кружевной косынкой. Такие в народе надевают, когда идут на похороны. От непрерывающегося движения толпы, в медленном кружении обволакивающей гроб, воздух в не топленной комнате нагревается. Он пошевеливает черную косынку. Как будто кто-то дышит. Но контраст между подвижной материей и застывшим лицом нерушим. Смерть необратима.

Современность на наших глазах превращается в историю.

И как в прошлом грядущее зреет,  
Так в грядущем прошлое тлеет.

Работа над книгой об Ахматовой прервалась. Отголоски ее слышны во второй части трилогии о взаимоотношениях поэта и власти «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша».

Олеша завел Аркадия Белинкова в эмиграцию. Кипа черновиков к книге об Ахматовой, уложенная в самодельную серую папку, осталась в России — как казалось тогда, навсегда. Над последней частью трилогии — о несдавшемся художнике — он продолжал работать в Америке. Но теперь героем этой книги должен был стать Александр Солженицын. Работа над обеими книгами оказалась незаконченной. Краткие отрывки из той и другой рукописи были впервые опубликованы в сборнике «Новый колокол», основанном Белинковым, но вышедшем в свет уже без него.

Аркадий Белинков

Памяти Осипа Мандельштама,  
человека, поэта, посвящаю

СУДЬБА АННЫ АХМАТОВОЙ,  
или ПОБЕДА АННЫ АХМАТОВОЙ  
(Имея в виду будущее:  
«Крушение Виктора Шкловского»)

Действительность, разлагаясь, собирается  
у двух полюсов — у лирики и истории.  
Борис Пастернак «Охранная грамота»

*[Размышления о статье и о книге]*

Что такое хорошие стихи?  
Почему хороши стихи Ахматовой?

\*\*\*

— Хотите, будет завтра рассказ? — спросил Чехов, вертя в руках пепельницу. — Будет называться «Пепельница».

Однако ни завтра, ни послезавтра рассказ «Пепельница» не появился. Он не появился никогда.

Можно проиграть в карты главу романа.

Можно запить и не написать поэму.

Но большой писатель, который может все, не может написать хороший рассказ только для того, чтобы выиграть пари.

\*\*\*

... сказать, что такое большое искусство, как оно независимо от мелких задач времени и как оно подчинено великим задачам, о том, что художник, знающий свою великую задачу, может выдержать любое давление времени.

\*\*\*

Поэт всегда в конфликте с обществом, потому что поэт всегда лучше общества, в котором он живет. Конфликт с обществом кончается или гибелью поэта, или его уходом. Уходы поэта бывают различны. Каждый из таких уходов вызывает строго определенную форму творчества.

\*\*\*

О свободном и чистом дыхании поэта, о человеческой независимости, о выносливости, холодном презрении и понимании преходящности и пустоты идеалов черни. О выветривании души из идеалов, с которых начиналась эпоха. О перерождении. Поэты и революция. Тяжек жребий русского поэта.

\*\*\*

Написать о тяжелой литературной судьбе Ахматовой. А если это вызовет возражения, то хотя бы намекнуть на это. Прочитывать какого-нибудь критика, который говорит о второстепенности Ахматовой, и сказать, что лучшая статья за первую половину XIX века о Тютчеве называлась «Русские второстепенные поэты»<sup>1</sup>.

\*\*\*

Ахматовский Петербург значительно ближе к пушкинскому, чем Петербург символистов, в частности Блока. Пушкинский ампирный многоколонный, графичный Петербург лишь слегка проглядывает у Блока через туманы и метели.

\*\*\*

В книге будут исследованы ... эволюция творчества, сложные взаимодействия исторического факта и художественного явления, определенного этим историческим фактом...

Что же касается субъекта воздействия исторического явления — писателя, то к его собственному отношению следует подходить с особой внимательностью и не переоценивать его значения, помня, что волюнтаризм всегда расцветает там, где одному человеку приписывается решение задач, которое выполняется всем человеческим обществом в историческом развитии и процессе.

---

<sup>1</sup> Статья Н.А. Некрасова (1850). — Н.Б.

*Исторический ряд*

Пушкин

Тема сопротивления художника идет на Пушкине.

\*\*\*

Сразу же после введения пушкинской темы следует очень энергично говорить о пушкинской борьбе с государством, о поэте и обществе, об одиночестве поэта, об отсутствии отзвука, о поэте и черни, о государстве, покупающем или убивающем поэтов. Обо всем надо говорить как о пушкинских темах. Об Ахматовой ни слова, и ни слова о Пушкине в творчестве Ахматовой. Это просто должно повиснуть в воздухе. Но все, что сказано о пушкинской борьбе, должно как-то перекликнуться с судьбами всей русской классической литературы.

\*\*\*

Конфликт у Пушкина с обществом носит выраженный социальный характер лишь в первый период его жизни. После 1926 года тот же конфликт перенесен в иную сферу: он спрятан под покров борьбы за свободу художника... Именно в это время появляются так называемые эстетские стихи. Анна Ахматова конфликт с обществом прячет под формулы, фразеологию и ситуацию любовного конфликта. Общество персонифицируется в возлюбленного... Художник переводит общественный конфликт... в категории личных переживаний и личных конфликтов в эпохи, когда происходит максимальное сужение сферы общественной деятельности человека (не вообще, конечно, а для той группы людей, которую этот художник выражает). Это бывает или в эпохи усиливающейся реакции, или в эпохи общественного застоя...

\*\*\*

С очень давних лет началась тема «Ахматова — Пушкин». Еще в 1911 году, в стихотворении «Смуглый отрок бродил по аллеям», появился у Ахматовой пушкинский герой. Этой теме суждено было стать одной из важных, выйти за пределы стихотворного рассказа о Пушкине, перейти в родство тем, в парафразу, в эпиграф, в упоминание. Ей суждено было выйти за пределы стиха в литературоведческие работы. Но, скорее, важнее и больше всего пушкинская тема проявилась в следовании пушкинской композиции, фонетике и синтаксису.



## Анненский

Выдвижение акмеистами И. Анненского очень характерно. Анненский пришел в русскую поэзию тогда, когда символизм был еще только художественным направлением, а так как он развивался вне непосредственного влияния символистов и был независим от партийных лозунгов, догматов и обязательств, то он и сохранил черты, которые делали символизм в свое время столь привлекательным для молодого поколения.

Анненский очень важен для творчества Ахматовой... Поэтому о нем, вероятно, лучше всего сказать в связи с взаимоотношениями акмеизма и символизма. Здесь же надо попытаться сказать о Блоке, в частности по поводу его раздраженной, злобной статьи «Без божества, без вдохновенья».

## Блок

Каждая эпоха решает вопрос о своем отношении к пушкинскому «Поэт и чернь», к пушкинской эстетике, еще шире — к тому, что Пушкин считает правильным и неправильным в искусстве. Пробным камнем здесь служит программнейшее стихотворение русской культуры «Поэт и чернь»<sup>1</sup>. И вот Блок поздний, умирающий Блок своей последней зимой, в феврале 1921 года за шесть месяцев до смерти, Блок враждебный, злой, не простивший себе ошибки 1918 года, говорит: «Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она: внешнему миру; она требует от него “пользы”. Однако дело поэта... совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира». «Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение»<sup>2</sup>.

Особенное значение эта статья приобретает потому, что с ней связано credo Блока, ибо речь идет о назначении поэта, т.е. о самом главном, во имя чего поэт творит, во имя чего существует поэзия, во имя чего существует искусство.

\*\*\*

Появление Христа в финале революционной поэмы, конечно, не совсем обычно, и легко понять до сих пор еще не прошедшее удивление. Но в то же время это появление нельзя считать совершенно неожиданным...

---

<sup>1</sup> Стихотворение А.С. Пушкина «Поэт и толпа», впервые напечатанное им под заглавием «Чернь». — *Примеч. ред.*

<sup>2</sup> Из статьи А.А. Блока «О назначении поэта». Статья цитируется неточно: в первом фрагменте допущен большой неоговоренный пропуск текста. Ср.: Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. Проза. 1918—1921. С. 164—165, 167. — *Примеч. ред.*

Александр Блок за 20 лет, предшествующих поэме, претерпел сложную, иногда противоречивую, но, скорее, все-таки последовательную эволюцию, без катастрофических и необъяснимых скачков от одного произведения к другому. Единственным таким скачком была поэма «Двенадцать».

Для него новая поэма не была прощанием с прошлым. Она была следствием всего написанного ранее. Блок не возвращался к своему прошлому в последней строфе, а наоборот, он шел от своего прошлого, от последней строфы к будущему — к революционной поэме. Мне кажется, что методологически важно изучать поэму как развитие Блока, как естественное развитие всего написанного за двадцать лет, а не противопоставлять поэму двадцатилетнему творческому пути. Нужно помнить, что Христос в поэме связан с контекстом из поэмы наиболее близким предшествующему Блоку. Блок не просто напоследок вставил в финал Христа, но взял его вместе с «каноническим» Блоком.

...Мы забываем, что из всего предшествующего творчества нужно выводить все, имеющееся в поэме. Нам кажется естественным, что автор «Сытым» и «Фабрики» написал строки «Революционный держите шаг, // Неугомонный не дремлет враг!», но мы почему-то удивляемся, что поэт, написавший «Из лазурного чертога // Время тайне снизойти. // Белый, белый Ангел бога // Сеет розы на пути», мог написать «Нежной поступью надвьюжной, // Снежной россыпью жемчужной, // В белом венчике из роз — // Впереди — Исус Христос».

## Пастернак

Любопытно, что Пастернак в стихотворении, посвященном Ахматовой<sup>1</sup>, подробно перечисляя ее темы (длинный список!), не упоминает о любовной теме. Это характерно и важно. Написать об этом в статье. Все критики твердят о преобладании любовной темы у Ахматовой, чуть ли не о единственной ее теме, а вот замечательный поэт в *стихах*, а не в случайном упоминании «не замечает» этого. В стихотворении Пастернака ни слова не сказано о любви. Очевидно, он не считает эту тему важной для Ахматовой. С этой точки зрения любопытно прислушаться к мнениям о ней других поэтов. Эти мнения собраны Голлербахом в антологии «Образ Ахматовой»<sup>2</sup>.

\*\*\*

Поэтические различия Ахматовой и Пастернака очень велики. Если бы поэтов роднила только их поэзия, т.е. их темы, их формы, то Ахматову с

<sup>1</sup> Стихотворение «Анне Ахматовой». — *Примеч. ред.*

<sup>2</sup> Составленная Э.Ф. Голлербахом книга стихотворений, посвященных Анне Ахматовой. — *Примеч. ред.*

Пастернаком можно было бы сравнивать с не большей правотой, чем Ахматову с Тютчевым.

Но Ахматову следует сравнивать с Пастернаком из-за общности их судеб, из-за страстной и самоотверженной защиты ими обоими своего человеческого и поэтического суверенитета. Однако, сравнивая, не следует преувеличивать.

Пастернак, несомненно, поэт, более прикрепленный по своей манере к совершенно определенной исторической эпохе. Он является прямым наследником ближайшего поэтического прошлого, и его поэтическая точка образовалась на скрещении линий символистской, акмеистической и футуристической поэзии. Открытия Пастернака не могли появиться без предшествующих этапов поэтического мышления. Пастернак немислим вне связи с Блоком и Маяковским.

Открытия Ахматовой не лежат в ряду развития предшественников. Она лояльна в отношении традиции. Для нее, конечно, не миновал бесследно век истории русской литературы, но ее наследственность больше, чем у кого бы то ни было из всех русских поэтов, прямо связана с Пушкиным.

У Пастернака связь со временем была гораздо разнообразней, чем у Ахматовой. У Пастернака она была окрашена главным образом двумя красками: желанием слиться и активным неприятием. У Ахматовой были или скорбный ужас в первые месяцы, может быть, в первые годы революции и совершенное равнодушие в последующее время. Это различие в отношении ко времени вызвало значительно большую пастернаковскую широту и импульсивность. Пастернак был более непосредственно заинтересован миром.

Ахматова — поэт, несомненно, более чем Пастернак, замкнутый и отгороженный от мира. Если пытаться ввести в эту тему измерения (направления), то, вероятно, взаимоотношения Ахматовой и Пастернака с миром следовало бы уподобить измерению глубины и ширины. Ахматова уходит вглубь темы, Пастернак — вширь.

\*\*\*

Что же такое пастернаковское «Как будто образ входит в образ // И как предмет сечет предмет»?<sup>1</sup>

Несомненно, здесь черты специфически литературного кубизма. Вряд ли это можно воспринять лишь как какое-то литературное выражение уже готовых живописных решений. Это не описание памятника. Вряд ли это скрипка с картины Пикассо, перешедшая в стихотворение поэта. Скорее всего, это общая причина, выразившая себя то в рассеченной скрипке, то в строке поэта.

---

<sup>1</sup> Из стихотворения «Волны». — *Примеч. ред.*

Но что же это такое — образ, входящий в образ, и предмет, секущий предмет?

Это то, что современное сознание с его все более интенсифицирующейся пытливостью, с его неведомым раньше умением проникнуть в предмет извлекает из этого предмета. Это извлечение значений из не только видимого, но и спрятанного, из того, что в предмете, за предметом. Это ощущение того, что не лежит на видимой плоскости, а того, что лежит за плоскостью, за предметом, что спрятано, но что существует, и известно, как оно существует, спрятанное.

\*\*\*

Пастернак в статье дважды. Один раз в связи с одностемностью Ахматовой, второй — в связи с Пушкиным.

### *Смерть символизма и рождение акмеизма и футуризма*

Случайно ли то, что смерть символизма совпала с рождением двух столь различных школ? Что каждая из этих школ взяла от символизма?

Акмеизм как школа родился в результате кризиса символизма. Кризис символизма возник из-за того, что в процессе развития школа постепенно утрачивала свои чисто эстетические черты и приобретала новые, к поэзии отношения не имеющие.

Что такое смена стилей, что такое каждое явление в искусстве? Чем все это вызывается?

В наше время все это значительно понятнее, потому что очень упростилось: государство рассматривает искусство как одно из средств воспитания народа и задает в связи с этим искусству воспитательную задачу.

Но какие же импульсы двигают художественное развитие в периоды, когда государственное вмешательство отсутствует? Что его заменяет? Ведь развитие искусства, несомненно, зависит от исторического процесса. У него, несомненно, есть имманентные законы развития, но главный его двигатель, как и всего, история.

Кризис стиля наступает в результате его экспансии во внеэстетические области.

Вероятнее всего, акмеизм сначала противопоставлял себя символизму. Но последующие, более радикальные литературные течения, в частности футуризм, сделали это противопоставление не очень контрастным, и антитеза «акмеизм» — «символизм» заместилась более радикальной: «символизм» — «футуризм», с тем чтобы, пройдя тяжелый исторический фильтр, превратиться в нечто совершенно бесформенное и полубес-

смысленное: «символизм» — «реализм». Бессмысленность такой антитезы проистекает из того, что под реализмом вообще, а здесь особенно, подразумевается не конкретное, историко-литературное явление, а оценка. Реализм из историко-литературной категории, из стиля стал оценкой качества, реализм это стало — «хорошо».

В связи с Ахматовой — это проблема романтизма и классицизма... исторический классицизм создавал формулы вообще — формулы категорий, — формулы Любви, Ненависти, Страсти, Порока и т.д. безотносительно к индивидуальным особенностям людей, которые их выражали. Ахматова же создает формулы для определенного человека — своего лирического героя, обладающего определенным характером. Это литература характеров, в отличие от классицизма, который был литературой категорий.

Возможно, с этим связано стремление связать лирику Ахматовой с прозаическими жанрами и с прозаиками (Эйхенбаум, Мандельштам). [К названным прозаикам] следует прибавить Чехова.

\*\*\*

Для Жирмунского символизм — это лишь метонимия романтизма. Вряд ли это правильно: Блок — это романтическое искусство, Ахматова — классическое. Это могло бы показаться бесспорным, если бы не то, что одним из образующих классическое искусство, по Жирмунскому, является объективизм. Считать Ахматову «объективной» писательницей, для которой «момент субъективный... в рассмотрение не входит», более чем странно.

\*\*\*

Неточная рифма возникла в результате тех же процессов, которые вызвали общее обновление стиха. Можно было, разумеется, обновить рифму, оставив ее точной. Но обновление было вызвано новым словоупотреблением, введением новых понятий (слов) и новых связей. Изменение словаря, естественно, должно было сказаться на характере рифмы, а иное представление о связях, отличное от классического, вызвало зависимости нового характера, что тоже сказалось на рифме, являющейся формой зависимости смысловых, фонетических и пр. рядов. Такая рифма, как «аспид — распят» (Брюсов), немислима в классической поэзии в первую очередь потому, что она вне классической лексикологии. Она там не нужна с точки зрения словоупотребления. Эта рифма носит выраженный экзотический и уникальный характер, что чуждо вообще эстетике классического искусства. Такие рифмы годились для строго определенных и локальных целей. Ахматова исключает такие рифмы, потому что исключает такой словарь.

Но так как Ахматова создает новый словарь, то естественно, что она создает и новую рифму, и в этом смысле ее рифмы ближе к рифмам символистской, нежели классической поэзии, но преимущественно в связи с акустическими моментами. Обновление рифмы, характерное, разумеется, не только для Ахматовой, было связано с общими явлениями, вызвавшими обновление стиха и с производным от него — изменением состава словаря поэзии. Это произошло в начале становления новой эпохи, в первые годы века. Как промышленная революция уничтожает старые орудия производства, так и новая поэтическая эпоха заменяет старые формы выражения новыми.

### *Эстетическое как производное исторического*

#### Ахматова и история

Парадокс в русской общественной мысли осужден как жанр. С него не спрашивают, хорош он или плох. Его осуждают за принадлежность к малопочтенной корпорации.

Это похоже на многие другие осуждения в нашей истории. Например, на осуждение кулачества как класса, когда личные качества одного, отдельно взятого кулака значения не имели.

Проблема парадокса, несомненно, важна и с каждым днем приобретает все большее значение. (Я не хотел бы, чтобы эта страница была принята за ошибку типографщика, заверставшего в научное исследование кусок из фельетона.)

Дело в том, что всякое научное явление — парадокс.

Впрочем, что такое парадокс?

«Странное мнение, противоречащее на первый взгляд здравому смыслу», — утверждает словарь<sup>1</sup>.

В определении важно то, что — «на первый взгляд». Предполагается, что при внимательном рассмотрении мнение не будет противоречить здравому смыслу.

Если бы все в жизни на первый взгляд не противоречило здравому смыслу, то, очевидно, не было бы потребности в науке, ибо все было бы ясно и ничего не надо бы было изучать.

Два века назад любой англичанин счел бы за парадокс предположение, что пар, который он ежедневно видит над своим чаем, может двигать вагоны с сидящими в них джентльменами.

---

<sup>1</sup> Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1949.

Каждый из нас хоть раз в жизни, а некоторые даже и два, пережил это странное ощущение, когда на наших глазах осуществлялось нечто, что еще накануне казалось совершенно противоречащим здравому смыслу.

Не правда ли?

Слово «парадокс» Пушкин употребляет четыре раза<sup>1</sup>.

Анна Ахматова в своих напечатанных произведениях не употребила ни разу.

Несмотря на это, проблема парадокса в ее жизни и литературной судьбе играет важную роль.

Парадокс Анны Ахматовой заключается в том, что ее главная тема — отверженная любовь, т.е. одиночество, — определена историей, которая в нашем сознании связана с огромным количеством людей и событий.

История для Анны Ахматовой играет роль не только как детерминанта ее творческой судьбы, а как действующее лицо ее произведений.

Следует иметь в виду, что это действующее лицо из эпизодических.

Но значение этого эпизодического героя часто бывает решающим. Это известно из театра: приходит вестник с двумя репликами, и две реплики меняют судьбы Мироздания.

У Анны Ахматовой эпизодический герой — история — решает ее судьбу.

Дай мне долгие годы недуга,  
Задыханья, бессонницу, жар,  
Отыми и ребенка, и друга,  
И таинственный песенный дар.  
Так томлюсь за твоей литургией  
После стольких томительных дней,  
Чтобы туча над скорбной Россией  
Стала облаком в славе лучей<sup>2</sup>.

Странность мнения о том, что Анна Ахматова глубоко определена историей, — мнимая.

«Анна Ахматова и история» — это парадокс, т.е. мнение, «противоречащее на первый взгляд здравому смыслу».

Но только на первый взгляд.

Дело в том, что, думая об Ахматовой, мы упускаем из виду по крайней мере два обстоятельства: определенность историческим [элементом] контекста и роль исторического элемента в формировании ее личности.

После спиритуализма и незаинтересованности человеком и присущими ему переживаниями, характерными для Средних веков, явился Петрар-

---

<sup>1</sup> Словарь языка Пушкина. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. М., 1959. Т. 3.

<sup>2</sup> Стихотворение «Молитва». — *Примеч. ред.*

ка со своим сложнейшим (дифференцированным, дробным отношением) к человеку и его переживаниям. Прошло четыре века, и снова человек стал интересен не с точки зрения особенностей индивидуальной психики, а как выражение идей и категорий. Наступил классицизм. Ему на смену снова приходит повышенная заинтересованность индивидуальным, уже в романтической концепции и в романтической стилистике, с ее преувеличением и подавлением остальных образующих человеческого характера.

И эта смена, следует полагать, не боясь впасть в типологизм, присуща всей человеческой истории в самых разнообразных ее проявлениях — в истории культуры, политической истории, истории искусств и т.д. И как всегда в истории человеческого существа, эти явления не следуют друг за другом, а всегда существуют вместе, но одно из них всегда подавлено, и всегда подавленное в свое время становится победителем, подавляя (но не до конца) побежденное. Поэтому одновременно существуют такие явления, как «Аполлон» и «Знание», как Пастернак и Сурков.

Было бы нелепым отделять стихи об «истории» от стихов о «любви». И никогда такой поэт, как Ахматова, их не отделяет. Скорее следует говорить о соединении истории и любви в одном стихотворении:

Древний город словно вымер,  
Странен мой приезд.  
Над рекой своей Владимир  
Поднял черный крест  
.....  
Путь мой, жертвенный и славный,  
Здесь окончу я,  
И со мной лишь ты, мне равный,  
Да любовь моя<sup>1</sup>.

Из 350 стихотворений Ахматовой в 50 (например) есть история, искусство и пр. Много ли это? Вероятно, нет — в сравнении с другими поэтами, например с Брюсовым. Хороши ли ахматовские стихи оттого, что в них есть история, искусство и пр. Вероятно, нет. У других поэтов сколько угодно истории, искусства и пр., а стихи плохие. Точно так же и наоборот: у прекрасных поэтов нет ни истории, ни искусства и пр. В чем же дело? Дело не в истории, искусстве и пр., присутствующих или отсутствующих в стихотворении, а в том влиянии, которое оказывают история и искусство на человека, написавшего стихотворение, какую историю он выбрал и какая его воспитала.

Если составить исторические ряды, определившие разных поэтов, то отличность этих рядов будет в какой-то мере соответствовать отличности

---

<sup>1</sup> Из стихотворения «Киев». — *Примеч. ред.*



этих поэтов. (Взять исторические ряды двух разных поэтов, например Тютчева и Ахматовой.) Особо проследить, как происходит соединение лирической темы с исторической. Что и как определяется в таком стихотворении? Что такое ахматовское стихотворение без видимых исторических элементов? Но самое главное — как связана основная масса ахматовской любовной лирики, не имеющей никакого видимого отношения к истории, с малочисленной и не лучшей лирикой, в которой история есть, т.е. как историей определена поэзия Ахматовой?

Не история вызывает определенные эстетические ответы. Но история выбирает людей, на которых она может воздействовать и получить то, что ей нужно. Если ей встречаются люди, которые не могут или не хотят удовлетворить ее требования, то она поступает с ними в зависимости и от своих возможностей и в зависимости от возможностей этих людей. Если она достаточно сильна, а человек достаточно слаб, то она, конечно, его уничтожает. Если человек оказывается сильнее ее в известных обстоятельствах, то он может и выжить.

По избирательному средству история выбирает то, что ей необходимо, и по избирательному средству человек выбирает то, что нужно ему. Не всегда история одинаково сильна, и не всегда человек достаточно слаб.

А так как история — это люди и их взаимоотношения, то, в конце концов, абстрактное понятие истории трансформируется в очень конкретное понятие взаимоотношений людей, борьбы людей, борьбы одних против других. Это, собственно, и есть история.

Как история вызывает к жизни те или иные явления и почему в истории происходит что-то такое, что эти явления вызывает?

Это снова проблема избирательного средства. Меняется история и меняется ее эстетическое выражение.

Вдоль широкой изрытой исторической дороги идет путь истории искусства, повторяющий повороты, изгибы дороги истории. История ищет своего эквивалента не только в теме, но и в наиболее выразительной проявленности темы. Задачи истории разрешаются искусством всякий раз в новых, специфичных и наиболее приспособленных формах. Поэтому ритмика античного стиха отлична от ритмики стиха XIX века. Для того чтобы ответить на вопрос, почему возник акмеизм, нужно ответить на вопрос, что произошло в русской истории. (Наиболее характерно — это явная противопоставленность новых поэтов предшествующей школе, символизму. Возможно, здесь следует сказать, что такое символизм с точки зрения мелодического стиха ... именно и только с точки зрения стиха, а вовсе не с точки зрения философских и эстетических концепций. Связав с общей установкой символизма этот стих, сказать, что такое внушаемость символического стиха, и [показать] основной способ, каким эта внушаемость осуществляется, т.е. опять же — проблема внушаемости фонетического

(мелодического) стиха. Затем следует сказать, что акмеизм возник на противопоставлении себя символизму.)

### Случай Ахматовой

Значение (роль) любовной темы в творчестве Ахматовой в сравнении с другими большими русскими поэтами поражающе велико. Вероятно, она по преобладанию этой темы оставляет за собой таких лириков, как Баратынский, Тютчев, Фет и Блок. Случай Ахматовой сам по себе, может быть, и не показался бы исключительным, если бы он не происходил в такое время, которое особенно нетерпимо к таким случаям. Это могло бы вызвать некоторое удивление или писаревскую статью в XIX веке, это было весьма распространено в XX веке. Но наше время со всей решительностью противопоставит художнику, даже и говорящему о времени, а если художник и говорит о времени, то далекой метафорой.

То, что делает Ахматова, кажется внесоциальным. Внесоциален и материал ее лирики, внесоциальна и ее судьба, судьба поэта. Для этой жизни характерно, что она принимает на себя удары судьбы без каких-нибудь попыток судьбе противостоять. В то же время все эти соображения утрачивают большую часть истинности при более внимательном и тщательном рассмотрении.

Можно ли назвать [любовную] тему общечеловеческой? Разумеется, можно. Но можно ли сказать, что общечеловеческая тема может быть внесоциальной? Разумеется, нет.

Общечеловеческая тема не может быть внесоциальной хотя бы потому, что она касается вещей, важных для слишком большого количества людей. Не может быть темы, не может быть проблемы, важных для большого количества людей и лежащих где-то вне главного потока мировой истории и человеческой жизни. Нельзя сказать, чтобы человеческая любовь, играющая такую важную роль в мировой истории, чтобы она была внесоциальна, чтобы она была только биологична, чтобы она была социальной только в том случае, если она связана с какими-нибудь вне ее лежащими обстоятельствами.

Поэтому нельзя сказать, что любовь человека, вдохновившая на подвиг, социальна, а любовь, не вдохновившая на подвиг, внесоциальна. Очевидно, речь идет не о социальности или внесоциальности, а речь идет о таких формах социальности, которые устраивают время, и таких, которые его не устраивают.

К сожалению, приходится отметить, что разговор о социальности творчества Ахматовой велся только с точки зрения неприемлемости этого творчества. Этот разговор был коротким, сухим и не плодотворным. Он начался, да и закончился, в 1946 году. Аспект его был выбран суровый и неудачный. Он сводился к нехитрой мудрости: «Тот, кто сегодня поет не

с нами, тот — против нас». И только. В то время как о внесоциальности ахматовской поэзии говорить следует.

Более того. О ней следует говорить именно в связи с конфликтом, который существует у Ахматовой с обществом, в котором она живет и пишет. И еще более. Этот конфликт нельзя сводить к недоразумению, к непониманию и к недоумению. Этот конфликт существует, необходимость его следует признать. И вопрос будет заключаться лишь в том, чтобы стать на чью-то сторону. Однако так поставленный вопрос уже заранее обречен на неудачу. Мы слишком привыкли к тому, что в такого рода конфликтах поэт прав быть не может.

Но, может быть, каждый прав по-своему.

Можно ли сказать, что не права Ахматова, если ее стихи вызывают доброжелательное, внимательное сочувствие людей, видящих в этих стихах важное для них переживание? Что художник, ответивший людям, не прав? Очевидно, нет.

Но можно ли сказать, что не право общество, которое отрицает уход поэта от его века, общества, тем, надобностей и задач? Очевидно, тоже нет.

Можно ли сказать, что человек, который мог ответить на что-то нужное и важное своим современникам, ушел от общества? Можно.

В каждую эпоху есть художники, которые или отрицают свое время, или лояльны к нему и, таким образом, с эпохой как бы не связаны. Но, во-первых, они абсолютно обязательно рождены особенностями и противоречиями эпохи. И, во-вторых, они осуществляют функцию, важную и для этой эпохи, и для последующих эпох. Они не прикреплены к характерным особенностям, характерным проявлениям, к материалу своего времени. Они обнаруживают в своем времени не две формы соединения себя с ним, т.е. то, что свойственно времени, и то, что свойственно людям всегда, а лишь одну форму, последнюю: то, что свойственно людям всегда.

Ахматова принадлежит именно к этому типу художника.

## Нейтральность Ахматовой

Нейтральность Ахматовой — явление очень редкое, но все-таки встречающееся в истории. Оно редко бывает в литературе, чаще в музыке, в живописи. Эта нейтральность ощущается как нечто резко отличное в эпохи, требующие отчетливой поляризации идеологии. Только на этом фоне она и ощущается. Если это требование ослаблено, то нейтральность не ощущается как остро отличное явление.

Что же такое эта нейтральность? Нейтральность художника — это ощущение (и выражение) себя как явления, по возможности независимого от среды, в которой этот художник существует. Это выражение, конечно,

социально, хотя бы в том смысле, что художник (и чем он значительнее, тем больше) выражает не только себя, а какую-то группу людей.

Нейтральный художник старается быть независимым от среды, в которой он существует, но так как среду такая позиция не устраивает, то она резко ограничивает сферу высказываний художника о себе. У художника остается возможность высказываться лишь в кругу личных переживаний.

Итак, Ахматова нейтральна. Это значит, что ко всему происходящему она безразлична. Ко всему ли? Не ко всему. Например, она не была безразлична к войне.

В какой же мере идеал Ахматовой, безразличной к идеалам общества, в котором она живет, может быть интересен этому обществу и что, собственно, этому обществу может быть интересно в этом идеале?

Независимо от своих социальных связей с действительностью, Ахматова — человек. Общество, с которым Ахматову ничто не связывает, тоже состоит из людей. У людей есть какие-то общие интересы, по крайней мере у тех, которые не враждебны, а лишь равнодушны друг к другу.

Какие же общие интересы у Ахматовой и у общества, с которым она соприкасается? Эти интересы могут далеко не в полную меру совпадать, но та часть, которой они соприкасаются, важна для обеих сторон. В первую очередь, это область чувств. Любовь, горе, страдания, радость, смерть, утраты, счастье. Кроме этого, существует область близких культурных интересов. А со второй половины 30-х годов и некоторые совпадения в области исторических симпатий и отношения к родине.

Искусство Ахматовой внесоциально, как внесоциальны некоторые человеческие чувства: любовь, ненависть, чувство долга, привязанность, чувство материнства. Нельзя сказать, что они совершенно внесоциальны, потому что в одни эпохи чувство долга бывает более развито, в другие менее. Но при всем этом чувство долга биологически присуще человеку и может или стимулироваться, или не стимулироваться историей. История в отношении человеческих чувств выступает в качестве катализатора: она сама в реакции не участвует, но усиливает реакцию, убыстряет ее, делает ее более интенсивной. Это же относится и к любви, к материнству. И то и другое присуще людям почти независимо от их социальной принадлежности и от требований времени. Социальна ли любовь? Конечно, социальна, особенно когда она связана с долгом. Человек может или не может преодолеть любовь, если он знает, что делает что-то, нарушающее запрет. Но он может нарушить этот запрет, может не подумать о нем. Тогда получается что-то похожее на любовь Ромео и Джульетты. Любовь оказалась вне норм, вне отношений, сложившихся в течение многих лет. Любовь Ромео и Джульетты пренебрегла связями с окружающими и отношением окружающих к этой любви.

Поэзия Анны Ахматовой существует как любовь, как пренебрежение требованиями, предъявляемыми окружающей действительностью. Эта поэзия — Джульетта — живет лишь собой и не интересуется враждой Монтекки и Капулетти. Окружающая действительность может лишь убить ее.

### Конфликт художника с обществом

Этот конфликт вечен, он приобретает лишь всякий раз характерные для времени формы и остроту, то большую, то меньшую. Но конфликт художника с обществом остается всегда, и он неминуем, потому что художник, наиболее смелый, наиболее наблюдательный, наиболее внимательный, ничего не пропускающий, не прощающий член общества, говорит об этом обществе то, что он о нем думает.

Мы говорим: конфликт Ахматовой с обществом. Но в чем же этот конфликт? И какое общество в стихах Ахматовой?

Меня тотчас же охотно поправят: не общество, а любовники, и не конфликт, а «переживания». Действительно, если там и попадаются меж колонн и деревьев люди, то не больше как по одному. Я не говорю, что в стихах Анны Ахматовой конфликт личности с обществом выражен в категориях и терминах (фразеологии) социологического исследования или хотя бы публицистической инъективы. Я говорю о том, что в стихах Анны Ахматовой присутствует грозная атмосфера трагичности. Сомнения может вызвать лишь попытка представить эту трагическую атмосферу как результат общественного конфликта, но конфликт между героиней и героем Ахматовой сомнению не подлежит.

Социальный конфликт в стихах Ахматовой и во взаимоотношениях героя и героини наличествует в такой же полной мере и в такой же малой проявленности, в какой он всегда присутствует в сценах частной жизни людей, в том, что в эпоху более поздних книг Ахматовой стало называться «личной жизнью».

Но этого конфликта в книгах Ахматовой нет. В книгах Ахматовой есть конфликт между героиней стихов и героем. Конфликт Ахматовой с обществом не просто зафиксирован в книгах, он возник и разрешился (завершился) до них. Книга и была его прямым следствием. Сама Ахматова в общей форме формулирует это так:

Одной надеждой меньше стало,  
Одною песней больше будет.

Между героиней и героем Ахматовой возникает конфликт, и отличие его от конфликта автора с обществом лишь в том, что здесь конфликт

одного человека с другим, а там был конфликт одного человека со многими.

Социология действует на человека и на многолюдной площади, и в тихом кабинете, и в служении обществу, и в его взаимоотношениях с другими людьми, даже когда другие люди воплощаются лишь в одном человеке.

Героиня Ахматовой очень умна, очень даровита и очень социально отзывчива. Она знает, что мир безнадежен. Герой и героиня ахматовской лирики являются роковыми носителями особенностей общества, в котором они живут. ...умная, талантливая, хорошая, добрая, отзывчивая и наблюдательная она и он, этими качествами не обладающий. Может быть, это не так, может быть, все иначе, потому что мы не знаем мнения другой стороны, может быть, он говорит о ней то же, что говорит о нем она. Но ведь нас интересует не любовная драма Анны Андреевны Ахматовой, такого-то года рождения, ...урожденная города ... а нас интересуют стихи, в которых воссоздан характер, принимаемый нами за реальность, нас интересуют стихи, явившиеся в результате этой драмы. Литературовед отличается от судьи, и литературоведческий анализ отличается от бракоразводного разбирательства тем, что устанавливается наличие явления, а не правота той или иной из тяжущихся сторон.

### Однотемность, одиночество

Конфликт художника с обществом в искусстве Анны Ахматовой проявляется во всем. Но, очевидно, существует определенная иерархия ценностей этого проявления. Можно полагать, что наиболее характерным проявлением, наиболее явственно рисующим и позицию Ахматовой, и степень характерности ее проявления этого конфликта, будет однотемность.

Высокие требования, предъявленные к жизни, обществу, людям, кончатся тем, что этот бескомпромиссный человек остается в совершенном одиночестве.

Возникает другая проблема. Что такое *один человек* в художественном произведении. В художественном произведении один человек (это образ, это тип, это художественное обобщение) — это не частный случай, а выражение каких-то качеств, свойственных другим людям. Когда мы услышали слова о том, что Пушкин хотел расчесться в лице Дантеса с целым обществом, то мы понимаем, что Дантес не был целым обществом, он был его наиболее характерным выражением, эмблемой, персонификацией.

Неразделенная любовь в ахматовской лирике — это лишь образ конфликта с обществом. Этому не следует удивляться, ибо перевод одной темы, одного материала, на язык другого есть специфичнейший, обязательный и ненарушимый закон искусства — закон показа, закон перено-

са, персонификации, притчи, метафоры. (Если искусство — это образ, т.е. перенесение свойств одного предмета на другой, если это действительно так, то по стихам Ахматовой можно искать то, что легло в основу ее метафоры — ее поэзии.) Неразделенная любовь Ахматовой — это *метафора* ее отношений с обществом, со временем, с эпохой. Это то же самое, что стихи о тучах — вечных странниках, которые вовсе не тучи, а поэт... Любовная драма героини Ахматовой — это драма, но не только любовная и не только с возлюбленным, но это социальная драма человека, не могущего найти своего места в жизни, добрых отношений с обществом, нормального разрешения общественных отношений человека и социальной истории.

Что же может противопоставить один человек среде, обществу, государственным институтам, господствующему мнению, издательствам, осуждению близких, изоляции?

Разочарованный человек уходит от общества в себя. Он уносит с собой свою любовь к людям. Но любовь тоже не удастся, потому что люди, которых она любит, — это люди из общества, которое она покинула.

Доминанта поэтического творчества Анны Ахматовой, его наиболее яркая проявленность, его наиболее выраженная характеристика — в однотемности ее творчества. Это подмечено еще с поры «Вечера», и при всей соблазнительности опровергнуть мнение, повторяемое на протяжении 50 лет, серьезных оснований для опровержения нет.

Однотемность Ахматовой возникла в результате того, что человек, обладающий положительными сравнительно со своей средой качествами, ищет отклика (тема «Эхо») в кругу людей, в котором он существует, и этого отклика он не находит. Поэт уходит в себя. Ахматова уходит в любовную тему. Любовь кончается трагически. Любовь героини Ахматовой — это обязательно разрыв, обязательно одиночество. Однотемность Ахматовой окрашена одной выразительной краской, в значительной степени отличающей ее однотемность от возможных подобию у других художников: Ахматова не просто уходит в одну тему, и эта тема не просто одна любовная тема, но это тема одиночества, тема несчастной, неразделенной любви.

Эта тема выводится из конфликта с обществом, результатом которого является обычный и хорошо известный в мировой литературе уход художника от общества.

Куда он уходит? Он уходит в так называемую «личную жизнь». Куда можно уйти от общества? Есть разнообразные способы ухода — каждый раз исторически свойственные определенному времени и характеру данного человека.

Каждая эпоха знает свои формулы и свою географию ухода. География ахматовского ухода иная, нежели география ухода Алеко или

Рене<sup>1</sup>, или байроновского героя. Ахматова живет в прозаический, а не в романтический век. Она уходит в ту пору, когда Кавказ завоеван, когда Грецию освобождать не надо, а индейцы не вызывают тех иллюзий, которые они вызывали у политического эмигранта, изгнанного революцией и надеящегося, что у индейцев такой революции не будет<sup>2</sup>. Ахматова не может уйти в мир, уже проверенно плохой, в изгнание, уже заведомо ничего не сулящее, уже в безнадежный мир. Когда уходили герои Байрона, Пушкина или Шатобриана, они уходили с надеждой. У героини Ахматовой нет надежды и ей некуда уходить. (Герои Гумилева еще пробовали уходить, благо они меньшего, чем героиня Ахматовой, искали.)

Разные варианты ухода в разные эпохи — уход к цыганам, в личную жизнь, в башню из слоновой кости, в путешествия («Онегин»), в притоны, в курильщики опиума, Мирбо — в сад пыток<sup>3</sup>, уход Рафаэля де Валентана<sup>4</sup> и героев «Волшебной горы», уход героев Пруста.

Любовная тема в мировой поэзии всегда играла огромную, а то и подавляюще огромную роль. Статья об Ахматовой, написанная в пору, когда писал свою статью Недоброво или даже Чуковский, могла бы лишь с большей или меньшей степенью занимательности констатировать наличие любовной темы в ее творчестве, не особенно удивляться этому и не искать этому оправдания. Но мы живем в такое время, когда в социальном гроссбухе заинвентаризированы все человеческие возможности, время, энергия. К человеку, пишущему любовные стихи, мы относились (еще недавно) как к растратчику общественной собственности, как к солдату, ушедшему в самовольную отлучку. Это болезненно и остро переживал Маяковский, пытавшийся примирить любовь со строительством социализма. Он извинялся за то, что отрывает время от строительства социализма на любовные переживания.

Враждебна или не враждебна поэзия Ахматовой нашей действительности?

Я думаю, что не может быть и тени сомнения: не враждебна. Но в то же время, имея в виду опыт и борьбу советской литературы, трудно говорить о близости Ахматовой стремлениям этой литературы. Ахматова, конечно, не враждебна. Ахматова — лояльна. Но для нас... лояльность стала синонимом враждебности. Если это отбросить, то следует признать, что

---

<sup>1</sup> Герой поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» и персонаж повестей Ф. Шатобриана «Рене» и «Атала». — *Примеч. ред.*

<sup>2</sup> Подразумевается Ф. Шатобриан. — *Примеч. ред.*

<sup>3</sup> «Сад пыток» (1899) — роман французского писателя О. Мирбо, содержащий критику современной европейской идеализации и лицемерия буржуазной морали. — *Примеч. ред.*

<sup>4</sup> Персонаж «Шагреновой кожи» О. де Бальзака. — *Примеч. ред.*



Ахматова — писательница, очень далекая от задач и требований, интересов и тенденций советской литературы. Как же могло возникнуть такое явление? Это уже тема «Маугли»; человек попадает в иную среду и сохраняет свои особенности.

Как могло получиться, что внешние воздействия, столь интенсивные, ее, в сущности, не затронули? Почему это не происходит с другими?

Она была твердо уверена в себе и в своей поэтической духовной правоте. Поэтому она, как всякий (редкий) порядочный человек и большой писатель (последнее встречается значительно чаще первого), не подверглась воздействию быстротекущих концепций, которые еще за пять минут до гибели почитались вечными и непреложными и за попытки ревизии которых гибло все мыслящее.

Казалось бы, ничего не изменилось: трагичность переживаний была в первых книгах Ахматовой, и трагичность осталась в поздних ее книгах. Но это кажущаяся неизменность. Трагичность действительно осталась, но причины ее изменились.

Распря Ахматовой с веком сначала вспыхнула из-за того, что век (каким она его видела) не удовлетворял ее представления об идеале, и человек, которого она ждала, оказался хуже и разочаровал ее. Но потом конфликт изменился. Век требовал от Ахматовой правильной постановки вопроса. Да. Он требовал переключения сексуальной энергии на социальную. Век делал поэта «ассенизатором и водовозом, революцией мобилизованным и призванным». Ахматова же не хотела быть ни ассенизатором, ни даже водовозом. Ее никак нельзя было ни мобилизовать, ни призвать, ни даже арестовать, что было совсем просто. Она настаивала на какой-то независимости и еще использовала эту так называемую «независимость» на стихи не о перевыполнении плана по номенклатуре и качеству и даже не на выполнении, а про любовь. Максимум, на что она соглашалась в сближении с веком, — это вместе петь о родине и о войне. И то, как потом (в 1946 году) выяснилось, что это были за песни!.. Читая статьи 1946 года, посвященные разоблачению Анны Ахматовой, и стараясь найти строки, с особенной ясностью дающие представление о том, как именно Анна Ахматова подрывала основы отечественной словесности, я обнаружил, что не в состоянии процитировать что-нибудь особенно гнусное. А вместе с тем, когда мы вспоминаем об этой поре и об этих статьях, нас охватывает ужас и отвращение. В чем же дело? — думал я. И догадался. Дело в том, что в последующие годы было такое крещендо мерзости и обливания порядочных людей и хороших писателей грязью, что это, с чего начинали, кажется нам наивным, как греческая лирика, из которой мы все вышли.

## ПЛАН

### Глава 1

1. Своеобразие положения Ахматовой.
  2. Однотемность. Однотемность любовная, гражданская и т.д.
  3. Лояльность темы, ее величины и количества тем в творчестве писателя.
  4. Значение любовной темы в мировой литературе.
  5. Соответствия в воспроизведении жизни литературой...
  6. Об однотемности Ахматовой.
  7. Чем более значителен художник, тем больше он вмещает человеческих переживаний, опыта, наблюдений.
  8. Художник не может не воспроизводить действительность. Но он воспроизводит ее не всегда непосредственно. Художник воспроизводит жизнь через образ, метафору, одно через другое.
  9. Главная метафора творчества Ахматовой в том, что конфликт с обществом она переводит в любовный конфликт.
  10. Причины распри Ахматовой с веком.
  11. Уход Ахматовой из общества.
- Первая глава должна кончатся формулой, которая потом станет сквозной: «Тяжек жребий русского поэта».*

### Глава 2

1. Как конфликт поэта с обществом проявился в его искусстве. (Однотемность, любовная тема — разрыв с возлюбленным, одиночество.)
  2. История не может вызвать определенный эстетический ответ, но история может выбрать и усилить подавленные явления.
- Закончить гл. 2. Но ведь художник заслуживает ненависть и любовь, как всякий человек, своими поступками. Ахматова совершала поступки, к которым общество отнеслось крайне неодобрительно. Вся ее жизнь прошла в неравной, тяжелой, победной борьбе с обществом.*

### Глава 3

1. Символизм и акмеизм. (Борьба. История взаимоотношений. Акмеизм как завершение или отрицание символизма.) Не ставя целью решение вопросов истории русской поэзии 900—10-х гг., я не буду говорить о символизме и акмеизме. В связи с символизмом и акмеизмом меня интересует несколько узких и частных вопросов (вопросы отношения к слову, к стиху, к тому, что было производным концепций, а не к самим концепциям).

2. Поэтика акмеизма. Мелодический и речевой стих. Перенесение акцента с фонетической внушаемости на смысловое значение.

#### Глава 4

Исторический ряд поэта. Всякий человек всегда ориентируется на какую-то предшествующую культуру, и в зависимости от того, на какую именно он ориентируется, можно составить себе представление о человеке. Исторический ряд Ахматовой. Преобладание в этом ряду пушкинской традиции<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> С намерением дать более или менее цельное представление о характере работы над творчеством Анны Ахматовой разрозненные, не связанные между собой отрывки расположены в порядке, отличном от намерения автора. — *Н.Б.*

## Глава 7

*Наталья Белинкова*

### Я — ТОЛЬКО СВИДЕТЕЛЬ

Александр Исаевич Солженицын догадался написать замечательные книги. Такие книги получаются при сочетании двух качеств: таланта и смелости. Это необходимый минимум, без которого в искусстве не получается ничего.

*Аркадий Белинков*

Замещение героя. Солженицын собирает материал для «Архипелага ГУЛАг». Встреча двух бывших эзков. Обсуждение «Ракового корпуса» в СП СССР.

Две вакансии в трилогии о взаимоотношениях художника и тоталитарной власти уже были заполнены: писатель лояльный (Юрий Тынянов) и писатель сдавшийся (Юрий Олеша). Труднее было найти сопротивляющегося и победившего. Казалось, что такое почетное место по праву принадлежит Анне Ахматовой. Но вот в 1962 г. в «Новом мире» была опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича», а за ней другие рассказы недавнего узника ГУЛАГа, и вскоре уже пошли распространяться по самиздату его романы. Появился писатель, который не только успешно противостоял, но и активно боролся, что он и доказал своим сенсационным письмом к делегатам IV съезда СП СССР, требуя отмены цензуры.

И тогда в третьей части трилогии произошло замещение героя. Оно совпало с усиленной подготовкой к юбилею Октябрьской революции, пятидесятилетие которой отмечалось не только нашими вождями, но и так называемой «прогрессивной интеллигенцией» Запада. В отличие от нее у оппозиционной интеллигенции в Стране Советов настроение было ужасное. Было очевидно, что юбилейными завоеваниями Политбюро не поступится. Впереди маячила ресталинизация. Политической «Оттепели» и след простыл. Робкой надежды на то, что каким-то образом все еще образуется, не оставалось. Устав от пропагандистского треска, мы спасались анекдотами. Даже не надо было их придумывать. При входе в мыльное отделение женской бани висел плакат «Достоинно встретим годовщину Октября!». На воротах исправительно-трудового лагеря — «Добро пожаловать!». В артиллерийском училище — «Наша цель — коммунизм!».

Юмор. Но утешение слабое.

В «Оттепели» 50—60-х годов Белинков обнаружил «поражающий аэродинамический феномен — второй воздух», — о чем как-то и написал в письме Леониду Зорину. И пока это запасное воздушное пространство не выветрилось совсем, он спешил им воспользоваться и теперь собирал материал для книги о современнике, отважившемся на борьбу с тоталитаризмом. Опасную вакансию писателя-протестанта занял Солженицын.

— Наташа, ты можешь все бросить и сейчас же приехать домой? Это — Аркадий.

— Что случилось?

— Ничего, ничего, но к нам через полчаса приедет Солженицын.

Конечно, сорваться и бежать. Это первая возможность увидеть такого необыкновенного человека. И у нас дома!

Я работаю в только что созданном Отделе перспективного планирования на Московском телевидении. Это на площади Журавлева, в помещении Театра Красной Армии. Угораздило меня попасть на работу в этот орган агитации и пропаганды! Не лучше «Правды». Как раз сегодня у нас срочная работа. Тем не менее, когда, положив трубку, я сказала своей начальнице: «Разрешите мне, пожалуйста, сейчас же уйти домой. Через полчаса к нам приедет Солженицын», то мне — хотя и без большого удовольствия — разрешили, но велели вернуться к концу рабочего дня.

Снежная зима была в 1966 году. В этот день она прорвалась преждевременной оттепелью — сырой, серой и холодной. Не сугробы, а горы рыхлого снега завалили московские улицы. Снегочерпалки не столько расчищали снежные заносы, сколько загромождали улицы. Такси, которое пришлось взять, чтобы скорее добраться до дому, ползло еле-еле... Я проклинала себя, что не воспользовалась метро, ежеминутно смотрела на часы и считала: вот уже прошли полчаса, Солженицын в нашем доме, вот пошли вторые, а я теряю минуту за минутой драгоценного времени.

Пока я еду, я займу ваше внимание: расскажу о том, что предшествовало неожиданному визиту.

Москва шестидесятых годов была заполнена заключенными, освободившимися из тюрем и лагерей. Сразу же после начала работы комиссий по пересмотру дел по политической статье они потянулись в разные уголки нашей необъятной страны, на родину. И почти все они ехали через Москву. В Москве в любое время дня вы попадали в людской поток. Вы двигались по улице вместе со своими неопознанными единомышленниками и стукачами, бывшими заключенными и сегодняшними вохровцами. Где бы мы ни находились: в театре, в картинной галерее или просто в очереди за хлебом, Аркадий то и дело встречал своих. Чуть втянутая шея, чуть приподнятые плечи — человек постоянно ожидает удара, блестящие глаза и лицо землистого цвета. Узнавали, кидались навстречу друг другу, расста-

вались и потом пропадали, иногда насовсем. Я помню женщину, которая метнулась к Аркадию на выставке Кустодиева. Первое, о чем она спросила, уцелела ли его «Алепаульская элегия», и, узнав, что рукопись пропала, начала сбивчиво мне рассказывать о том, как они ее там, в лагере читали. Я помню старого еврея, которого фашисты не успели отправить в газовую камеру в Освенциме, а после «освобождения» коммунисты поспешили отправить в Казахстан — задержка с расправой показалась им подозрительной. Свою историю он рассказывал Аркадию в бараке и теперь повторял мне. Я помню человека, спросившего «лишний билетик» в Театр Вахтангова на Арбате, и то, как Аркадий узнал этого человека и мы кому-то отдали свои билеты и втроем провели вечер у нас дома.

Какие развертывались судьбы! Вот из ссылки возвращается домой на Украину немолодой, отсидевший свое человек. Доехал до Москвы и затосковал. Он едет к жене, с которой его разлучили 25 лет тому назад, а тянется к женщине, которую оставил в ссылке. А вот чисто выбритый, подтянутый, даже щеголеватый человек сидит за нашим столом. Где-то в ГУЛАГе он с Аркадием делил вонючие нары. «Он так ненавидел все это!» Сейчас он делится с нами своими планами: наверстает упущенное время, восстановится в партии, вступит в должность (кажется, в Госплане). Аркадию долго не будет вериться в перерождение зэка, до тех пор пока бывший лагерный товарищ однажды не ответит на его телефонный звонок.

В той же городской толпе ходил и Солженицын. Он часто приезжал из Рязани в Москву. Ничего не было удивительного в том, что когда-нибудь могла состояться встреча и с ним.

Но раньше, чем с Александром Исаевичем, мы познакомились с Иваном Денисовичем.

Отсидевший от звонка до звонка свои три тысячи шестьсот пятьдесят три дня и обретший вместе со свободой мировую известность, он, довольный, спокойно и деловито ходил по рукам, с лагерной увертливостью избегая шмона. Просматривая один день из его жизни, побывавшие в местах не столь отдаленных удивлялись. Как точно изображена лагерная жизнь! Аркадия особенно поражал градусник на высоком столбе — точно такой был в его Песчлаге. А рельс, по которому били на морозе и с которого начинался темный лагерный день, и по сей день ударяет по бывшим лагерникам ночами, и они просыпаются в пять утра и долго не могут потом заснуть.

Узнав, что Аркадий намеревается писать о Солженицыне, Лев Копелев, он же — Рубин из шарашки «Ракового корпуса», загорелся желанием их свести. Трудность состояла в том, что Александр Исаевич отбирал людей для встреч — как и книги для прочтения — очень тщательно. Тогда Копелев познакомил Солженицына с «Юрием Тыняновым». После чего и последовала знаменательная встреча, которой мне выпало стать свидетелем.

Моя длинная и нервная дорога через мокрую распутицу кончилась. В спешке расплатившись с шофером, я устремилась на наш девятый этаж. Хорошо, что хоть лифт работал!

Конечно, я опоздала.

Заключенные (бывшие заключенные, скажем для ясности) — Александр Солженицын и Аркадий Белинков — впервые встретились в нашей квартире по адресу: Москва, Малая Грузинская, дом номер 31, квартира 69, недалеко от Московского зоопарка, где один человек насыпал макаке песку в глаза, просто так. Тут и застал их мой рассказ.

Подходя к двери квартиры, я услышала голоса. Когда я вошла, мне навстречу поднялся человек из русских былин. Высокий, широкоплечий. Его чистосердечное лицо широко открывала шкиперская рыжеватая борода. Он легко краснел, и от этого казалось, что он смущался. Чем-то очень синим светились глаза. Улыбаясь, гость виновато сказал: «Вам из-за меня пришлось уйти с работы?»

У Аркадия впервые в жизни был настоящий, хотя и крошечный кабинет: книжные полки вдоль стен, письменный стол впритык к окну, картина Серова в узеньком простенке.

Нас было трое, и мы сидели на расстоянии дыхания друг от друга.

Очень разные — болезненно-бледный, с острыми семитскими чертами лица, подобранный и сдержанный — хозяин дома и — подвижный с легким румянцем на щеках — его молодежавый гость сидели в одинаковых креслах. Что-то общее объединяло их и отъединяло от меня. Я была неловкой и неуместной с моими тарелочками, салфеточками и печеньем.

У Аркадия при себе была узкая полоска бумаги с пунктами 1, 2, 3, 4... Она в числе таких же других до того лежала на столе в стопке «Солженицын». Полоски были узенькими, это были обрезки не до конца использованных бумажных листов, которые по лагерной привычке жаль было выбросить. Рядом были другие стопки — «Ахматова», «Декабристы», «Олеша».

Но они не обсуждали литературные вопросы.

Они почему-то радовались, что оба в один и тот же год попали на Лубянку, что сидели тогда наискосок друг от друга (камеры 53 и 56) в одном и том же коридоре, что у них был один и тот же следователь.

И тут, покраснев, Солженицын встал, в три шага пересек комнату и размашисто (чуть не задевая за книжные полки) показал, где висел портрет Сталина в кабинете следователя. Аркадий закивал. Портрет висел именно там.

На канцелярском столе следователя виднелся стеклянный графин, пробкой от которого арестованного били в зубы. В углу стоял несгораемый шкаф с массивной ручкой. Кто-то на грубом табурете сидел перед шкафом. Его били в лицо. Человек инстинктивно отдергивался назад и ударялся затылком о железную ручку. Следователь, бледный от усердия,

ударял еще раз. Стены кабинета были серые, с пятнами чего-то рыжего. Смутно вырисовывался пятый угол.

С каким-то веселым возбуждением оба, хозяин и гость, убедились, что были в одном и том же лагере, и стало ясно, почему все так похоже: и термометр висел на столбе, и не было видно в седоватой изморози, сколько градусов он показывает, только мерзли ноги и мороз колот в шею между бушлатом и телогрейкой, и слышно было, как остервенело лаяли собаки на ветру.

Им не довелось встретиться в том лагере, потому что там от Балхаша до Акмолинска расстояние такое же, как от Гавра до Марселя.

Теперь же, оказавшись в знакомой лагерной обстановке, они спешили расспросить друг друга о том, что пропустили, торопились поделиться опытом, как будто он опять мог им пригодиться. Особенным даром расспрашивания отличался Солженицын. Никакой бумажки в его руках не было, но свои 1, 2, 3, 4 он задавал очень последовательно. Казалось, что перед вами строительный рабочий, которому, как и его Ивану Денисовичу, необходим вот именно этот кирпич и вот именно сейчас. И вы готовно и охотно отдавали ему и ваши сокровенные мысли, и ваши мимолетные чувства. Мы не знали тогда, что эти кирпичи ему были нужны для «Архипелага ГУЛаг» и что Аркадий увидел бы там и свое отражение. Но он не увидел и другого отражения в «Двести лет вместе».

Это были воспоминания фронтовиков после войны, рыбаков после рыбалки, земляков, встретившихся на чужбине. Это было узнавание знакомых мест, это было ощупывание придорожных примет на путях, ведущих туда, откуда редко кто возвращался и куда даже Макар не гонял своих телят.

Больше десяти лет прошло с разоблачения «культы личности». И я, и мои сверстники, которых пощадила судьба, — те, которые не попали в общую мясорубку, — мы все уже были «образованными»: блатные песни, лагерные истории, политические анекдоты давно переплавились в быт, в литературу. Но одно дело обо всем этом знать, об этом читать, а другое — быть как бы соучастником их воспоминаний. С каким жаром, как взахлеб они говорили!

Они были только вдвоем, куда-то они удалялись, я уже не слышала их голосов, а меня обступали грязные стены, я летела в какие-то пропасти, и конца этому падению не было.

— А что это за черные хлопья? Помните, на прогулках?

— А это рукописи...

И Аркадий рассказал, как у него на глазах жгли во времянке его рукописи в стиле «необарокко», вывезенные вместе с ним из родительской квартиры. Ворошили уголь и пепел. Горело хорошо и сажу тянуло по длин-



ной самодельной трубе. Труба выходила на крышу Лубянки, где за высоким забором, так что видно было только небо, но и на него смотреть было нельзя, был прогулочный дворик для подсудимых.

В Америке после операции на сердце у Аркадия начались сильные боли в области груди, которые и привели к инфаркту со смертельным исходом. Современная аппаратура показывала, что операция сделана блестяще, и причину болей найти не могли. Тогда обратились к психиатру. Он стал искать болевую точку в памяти пациента. Предполагается, что если такую найти, то больного можно избавить от страданий. Психиатр спрашивал, не было ли травм в детстве, не обижала ли мама? Нет, мама не обижала. Но вот однажды в тюрьме от моральных пыток перешли к физическим. На той же печке вскипятили таз с водой и в кипящую воду всунули голые ноги арестованного. Болевая точка обнаружилась у меня — я в это время находилась в кабинете врача, — и я заорала: «Прекратите!»

Этих двух я не могла остановить. Я сидела напротив них и куда-то проваливалась. Мне было страшно. На столике стояли чашки с холодным чаем.

Солженицын, глазами, устремленными в прошлое, зацепился за что-то, мешающее ему рассказывать, за что-то реальное, что-то из сегодняшней жизни. Этим чем-то ненужным, лишним и мешающим были даже не остывшие чашки, а мое лицо, лицо человека, не сидевшего в тюрьме. Он недоуменно выбросил в моем направлении руку: «Посмотрите! Почему у нее лицо такое белое?»

И мы все вернулись к реальности.

Беседа раздробилась на отдельные фрагменты. Среди прочего зашел разговор об антисемитизме. По Солженицыну выходило, что главная причина возникновения антисемитизма в советское время — участие евреев в революции семнадцатого года, потом что-то о ЧК, о Ташкенте... Весь набор. Было такое впечатление, что он ожидал разговора на эту тему, потому что как-то очень кстати вынул из внутреннего кармана пиджака свое письмо в защиту двух студентов с еврейскими фамилиями. У Аркадия, высоко оценивавшего Солженицына и за высокое художественное мастерство, и за незаурядную политическую смелость, возникло какое-то смутное чувство, но он подавил его. Как сказали бы физики, «величины были пренебрежительно малы» в сравнении с бесстрашной борьбой писателя за свободу творчества. Аркадий слишком ценил писателя, чтобы скомпрометировать его дело неясным тогда подозрением. Он говорит о Солженицыне исключительно как о замечательном писателе, борце с системой и только раз в книге об Олеше осторожно сказал о славянофильских тенденциях в его творчестве. Оно и хорошо. Взгляд на двухсотлетнее

совместное проживание двух национальностей Солженицын высказал сам и без всяких недомолвок.

Под конец беседы Аркадий досадливо попенял Александру Исаевичу: «Как же вы не воспользовались своей мировой славой? Надо было поспешить с романами. Упустили время...»

Покраснев, Солженицын ответил, что он как-то не осознал этого сразу.

Его заметное смущение легко было принять за проявление скромности. Не знали мы, что о мировой славе Солженицын уже позаботился. Он давно переправил рукописи своих романов за границу, сделав своим доверенным лицом писательницу и переводчицу, проживающую в США. Ею была Ольга Карлайл (внучка Леонида Андреева), имеющая доступ к издательскому миру Америки. Она и стала тайным представителем Солженицына на Западе по всем вопросам публикации «В круге первом». Выход романа в крупнейшем американском издательстве «Harper and Row» проложил дорогу для выдвижения писателя на Нобелевскую премию. О том, какие неожиданные трудности, включая взаимоотношения с автором, пришлось преодолевать на этом пути, она рассказала сама<sup>1</sup>.

Александр Исаевич пробыл у нас дольше, чем собирался, и спешил. Я опаздывала вернуться на работу. Мы вдвоем вышли из дому. Денег на такси у меня больше не было. До метро шел автобус. Он как раз показался из-за угла. Солженицын с отвагой бывшего москвича ринулся к остановке. Я — за ним. Успели. Обычной толкотни у кассы — громоздкого сооружения, выбрасывающего билет на проезд в обмен на пять копеек, — не было. Никто не менял и не выпрашивал «пятак». В емкой пригоршне Солженицына оказалось много мелких монет. «Кому пятаки, кому пятаки?» — заливаясь румянцем, лотошно кричал он, щедро предлагая свой дар. Никому не нужны были пятаки, и никто не узнавал в нем писателя, противостоящего режиму.

Зато за ним и его окружением пристально следили те, кому положено. Приходилось быть осторожными. Александр Исаевич дал нам для связи телефон Вероники Штейн. Как-то понадобилось сообщить, что мы получили интересующий Солженицына материал. По указанию Александра Исаевича я позвонила Веронике из телефона-автомата. У нас с Аркадием выработалась привычка: называть дефицитные продукты: свежую рыбу, болгарский перец, муку, если надо было обратить особое внимание на сообщение. Придумывать было легко. Всегда чего-нибудь не хватало в магазинах. И мы часто приглашали к себе домой, то на рыбу, то на сушеные фрукты — то есть на чтение самиздата или обсуждение новостей, переданных «Свободой» или Би-би-си. А тут — зима. Легче легкого. И я,

---

<sup>1</sup> См.: *Carlisle O. Solzhenitsyn and the Secret Circle*. N.Y., 1978.

не согласовав с Аркадием условный код, ляпаю: «Мы свежие огурцы достали!» Поговорили об огурцах. Все в порядке. Я горжусь своей находчивостью. Ну и досталось нам с Вероникой за эти огурцы! Откуда мне было знать, что своей конспирацией я вызывала огонь на всех нас? Огурцами артиллеристы называют снаряды. Солженицын — бывший артиллерист.

Все-таки мы жили как на войне. Посмотреть со стороны — нормальная жизнь: работа, гости, театр, консерватория, выставки, поездки в отпуск, смех, шутки, радость от украшения своего жилища... и знание, глубокое, подкожное, что в любой момент это все может оборваться. Какой бы интересной, задушевной ни была беседа, наступает момент, когда собеседники вдруг замолкают, задумываются. Во время такого, я бы сказала, осмысленного молчания становилось слышно и пощелкивание отопительных батарей, и хлопанье соседской двери, и шум дождя за окном, и скрип поднимающегося лифта. И тогда, прерывая молчание, вдруг задавали вопрос — не друг другу, а в воздух: «За кем это лифт ползет?» Не то чтобы — страх, а постоянная тревога. Лифт привозил друзей, но если они приезжали без звонка, то в этом всегда было что-то экстренное, значит — тревожное.

Вскоре после встречи с Солженицыным на ползущем со скрипом лифта Юра Штейн привез нам личное извещение Александра Исаевича о том, что на заседании Бюро секции прозы Московского отделения СП СССР состоится обсуждение рукописи «Ракового корпуса». Более года «Новый мир» не мог получить разрешение на печатание романа, и от обсуждения в Союзе писателей зависела судьба произведения. У секретарей Союза были свои адресаты, а у бывшего зэка — свои, но по почте он свои приглашения не посылал, считая их для получателей опасными.

Не доверяя своему здоровью, не зная, получит ли слово, Аркадий приготовил письменный вариант своего выступления в защиту романа. Придя на обсуждение, сразу записался в число выступающих. Я не буду останавливаться на том, как была напряжена атмосфера в малом зале ЦДЛ, как аудитория разделилась на два лагеря — «за» и «против». Белинков впоследствии сам описал это событие. Я с восхищением думала о тех, кто высказывался «за» — ведь они читали роман в «самиздате», что само по себе было деянием наказуемым, не зная, что некоторые из участников обсуждения были ознакомлены с рукописью официально. Атмосфера накалялась, страсти разгорались. Регламент не выдерживался. Время обсуждения подходило к концу. Вдруг председатель собрания Г. Березко громко объявил: «Есть еще один выступающий. Предоставим слово ему или дадим заключительное слово Солженицыну?» Встав со своего места, Аркадий с волнением отказался от выступления. Потом подошел к Березко и попросил приложить к стенограмме свой текст. К концу обсуждения в зал из бокового входа белой птицей влетела Белла Ахмадулина. Встав лицом

к залу, она вскинула тонкие руки: «Если Бог нам не поможет? Кто же помо-ооо-жет!»

Стенограммы двух обсуждений «Ракового корпуса» на Бюро секции прозы МО СП СССР и на Секретариате СП СССР распространялись в самиздате. Аркадий сумел переправить их на Запад.

Оказавшись на Западе, Белинков, к счастью, воссоединился с незначительной частью своего архива. Ко времени нашего приезда в США стенограммы обсуждений были известны только в обратном переводе с сербского. Теперь их можно было опубликовать на русском языке в «Новом журнале» (1968. № 93) под общей рубрикой «Дело А.И. Солженицына». Рубрику открывал очерк Белинкова «Александр Солженицын и больные ракового корпуса». Хотя очерк написан после побега, я помещаю его в части первой. Да простится мне такое нарушение хронологии.

Наши первые два года в Америке совпали с расцветом славы Александра Исаевича. Тема «Солженицын» здесь стала модной. От нас ждали интервью, публичных лекций, выступлений по радио, семинаров в университетах. Во второй части этой книги имя Солженицына встретится не один раз. Но сам Аркадий не следовал моде, пренебрегал правилами, принятыми в академических кругах Америки. Его выступления превращались в устные черновики к третьей части задуманной им трилогии, в которой его интересовали не столько художественные средства писателя (талант), сколько преодоление художником препятствий, ограничивающих свободу творчества при тоталитарном режиме (смелость).

Работа над книгой о положительном герое оборвалась в 70-м году со смертью автора. В том же году Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе. А через четыре года он был выслан из СССР, и начался новый этап в его жизни и творчестве, к которому Белинков не успел (или не хотел?) проложить путей.

## АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И БОЛЬНЫЕ РАКОВОГО КОРПУСА

Всякий раз, когда за границей публикуются произведения писателей, живущих в Советском Союзе, неминуемо и неотвратно приходит страх за людей, между мыслью которых и их читателями стоит каменная и непроницаемая власть.

Люди, которых печатают за границей, не писатели, а заложники.

Заложники должны расплачиваться за нас, за тех, кто понял необходимость борьбы с каменной и непроницаемой властью.

Трудны и разнообразны пути, какими приходят в бесцензурную печать произведения, написанные за каменной и непроницаемой стеной, и не всегда ясны намерения человека, имя которого стоит под произведением.

Мы всегда должны помнить, что люди, которых печатаем здесь, — заложники.

Нужно представить себе, чего могут стоить заложнику его строчки.

Чего могут стоить строчки, напечатанные в этом журнале, А.И. Солженицыну?

Издания «Ракового корпуса»? «В круге первом»? Однотомника произведений, уже напечатанных ранее?

Свободы?

«Раковый корпус», «В круге первом» и однотомник в России не печатали независимо от публикаций за границей. Эти публикации они пытались задержать обещанием издать «Раковый корпус». И, действительно, задержали, и у себя не напечатали. Увы, надежда на то, что если Солженицына будут печатать за границей, то будут печатать в Советском Союзе, уже никому не кажется серьезной.

До сих пор в Советском Союзе еще старались избежать арестов людей, чьи имена широко известны. Подавляющее большинство арестов, оставшихся никому неизвестными, совершаются не в Москве, а в других городах. Даже процессы, прошедшие в Ленинграде, остались на Западе незамеченными.

Быть может, единственной гарантией свободы Солженицына стала его всемирная слава.

Содержание 3-го, мартовского, за 1863 год журнала «Время» не было высечено на мраморе и было таким: «Нужен ли флот в России... Беглые воротились (Роман в трех частях)» А. Скавронского. «До свадьбы (Из дневника одной девушки)» А. С...вой. «Вещество (по учению материалистов)» Н. Страхова. «Бузука (роман в двух частях. Часть вторая)» И. Салова... «Зимние заметки о летних впечатлениях» Ф.М. Достоевского.

В дальнейшем пресса не отметила особенного читательского удивления соседству Ф. Достоевского с И. Саловым.

Соседями повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» по XI номеру «Нового мира» за 1962 год были А. Бруштейн, Э. Межелайтис, Кязим Мечиев, Ю. Жуков, С. Владимиров, П. Волин. Были и Виктор Некрасов, Самуил Маршак и Эрнст Хемингуэй. Но абсолютно преобладали Ю. Жуков, С. Владимиров, П. Волин, В. Семенихин, Б. Володин, М. Бойко...

Я строю параллель не только между Солженицыным и Достоевским, но главным образом между журналами и между читателями. Читатели не сразу поняли, что прочитали во «Времени» и в «Новом мире».

В этой книге «Нового журнала» напечатаны два обсуждения повести «Раковый корпус», читатели которой не сразу поняли, что они обсуждали.

Эти читатели тоже пишут книги. Как Достоевский и Солженицын. Но часто это у них получается гораздо хуже. Они сами и те, кто читает их, узнают об этом не сразу. Именно поэтому они стремятся искренне помочь писателю, который пишет лучше, (Солженицыну) ценными советами. Например, отказаться от «Ракового корпуса»: «Если б он отказался от «Ракового корпуса», — обещает один советчик, — вот тогда я обнял бы его как брата».

17 ноября 1967 года после трехмесячной подготовки и трехкратного откладывания Бюро творческого объединения прозы Московского отделения Союза писателей РСФСР с активом той же писательской организации в количестве пятидесяти двух человек, утвержденных секретариатом Союза писателей СССР под председательством секретаря Правления Московского отделения Г.С. Березко собрались в Малом зале Центрального Дома литераторов Союза писателей СССР для обсуждения рукописи члена Союза писателей СССР, известного рязанского писателя тов. Солженицына А.И.

Рукопись «Ракового корпуса» хранилась у секретаря Правления Московской писательской организации по оргвопросам тов. Ильина В.Н. Тов. Ильин В.Н. в иные времена занимал иной пост: он был начальником Отдела культуры 7-го следственного управления по особо важным делам МГБ СССР. И имел другой чин: он был генералом — [комиссаром] государственной безопасности 2-го ранга.

Тов. Ильин В.Н. выдавал приглашенным рукопись под расписку. Читать разрешали только в специально отведенной комнате.

Обсуждение началось в два часа дня и кончилось в шесть часов вечера.

В 15 час. 45 мин. московского времени по Центральному Дому литераторов метнулись сторожа и застыли у дверей Малого зала.

У главных дверей встали: 1. Секретарь по организационным вопросам МО СП РСФСР тов. Ильин В.Н. 2. Секретарь МО СП РСФСР Березко Г.С. 3. Директор Центрального Дома литераторов Филиппов В.А. 4. Секретарь (технический) бюро Объединения прозы МО СП РСФСР Борисов И.Б. 5. Сторож Молибден (?) Н. 6. Сторож Анята.

Тов. Борисов И.Б. отбирал повестки и пытливо вглядывался.

Тов. Ильин В.Н. всматривался.

Пятьдесят второй был впущен, и двери с лязгом замкнулись.

— Я очень рад... — сказал тов. Г.С. Березко.

В этой книге «Нового журнала» Вы прочтете две записи обсуждения повести «Раковый корпус».

В первом обсуждении принимали участие писатели, еще не замученные до конца и еще сохранившие порядочность. Во втором заседании участвовали охранники отечества.

Вот что говорила о повести «Раковый корпус» не замученная до конца и еще сохранившая порядочность писательница Л.Р. Кабо: «Рукопись производит громаднейшее впечатление».

А вот что думает писатель Б. Кербабаев, охранник: «Читал “Раковый корпус” с большим неудовольствием. Все — бывшие заключенные. Все мрачно, ни одного теплого слова. Просто тошнит, когда читаешь».

Вы узнаете, что говорили (под наблюдением тт. Ильина В.Н., Березко Г.С., Филиппова Б.А., Молибдена (?) Н. и стального сторожа Аняты) еще сохранившие порядочность люди с осторожностью, но с надеждой.

Я хочу предупредить вас о том, что на этом заседании были не одни ангелы, не одни ангелы. И здесь, как всегда, когда собираются простые подлинно советские люди в количестве, превышающем два, хватало прохвостов.

Среди присутствовавших ангелов особенно выделялись заслугами и осанкой Зоя Кедрина, за девять месяцев до этого выступавшая в другом заседании — судебном — общественным обвинителем по делу Синявского и Даниэля, и Николай Асанов, очень популярный московский стукач союзного значения. Были секретари, были и председатели, были, были... Но преобладали люди, которым мы подавали руку и не сразу бежали после этого в баню.

Это заседание созвали, когда уже все было неблагоприятно, тревожно. И именно поэтому созвали. «Раковый корпус» не хотели печатать, однако еще не все не хотели. И кто хотел — люди, не имевшие или уже потерявшие власть, — утешался надеждой на то, что если так называемое «ответственное и представительное собрание» выскажется за печатание, то в ЦК послушаются, ну, не послушаются, быть может, прислушаются.

В ЦК послушали и изругали собачьими словами Г.М. Маркова, секретаря Московского отделения, за то, что допустил, а допустив, не организовал.

Г. М. Марков изругал Г.С. Березко.

Г.С. Березко изругал А.М. Борщаговского (докладчика).

В. Н. Ильин, приставив руку к глазам, всматривался, медленно поворачиваясь справа налево, слева направо.

Выступали писатели, хорошие, плохие, очень плохие, получше, боявшиеся, что опять перестанут печатать их, других и что опять начнут арестовывать, еще не признавшиеся себе в том, что боятся.

Многие с восторгом говорили о повести и некоторые с отвращением о цензуре.

Через равные промежутки входил и выходил В.Н. Ильин.

Все говорили о том, что повесть необходимо печатать, и сделать это как можно скорее.

Выступали Винниченко, Березко... Да-а...

Выступала советская социалистическая жаба Зоя Кедрина. Похваливала, поругивала (немножко).

Выступил не позволивший себя заплевать прекрасный критик Бенедикт Михайлович Сарнов.

Вошел и вышел, постояв за портьерой, В.Н. Ильин.

Тов. Карякин Ю.Ф., каждый вечер читающий под «лампочкой Ильича» боевой орган ЦК КПСС «Коммунист», говорил проникновенно марксистским голосом. (*Громкие аплодисменты.*)<sup>1</sup>

Люди поняли главное: «...перед нами настоящее художественное произведение, вскрывающее раковую опухоль нашего общества».

Вошел и не вышел тов. Ильин.

Уверенные в том, что невозможно обратить историю вспять, а также в неминуемом торжестве прогресса, еще не заплеванные до конца и еще сохранившие порядочность писатели пренебрегали тт. Ильиным и Анютой.

В надежде славы и добра они глядели без боязни вперед и, глядя таким образом, говорили: «Вся деятельность Солженицына характерна для нового времени. Пришла новая литература, со старой, рептильной, ползающей, с литературой, признающей только прямую линию, — с ней покончено».

Так говорил В.А. Каверин.

Другие тоже говорили с пронизывающей бодростью:

«У нас идут сложные и необратимые процессы демократизации, — догматики и субъективисты могут помешать этим процессам, но не могут их остановить», — твердо заверил собрание бывший секретарь парткома московской писательской организации тов. Е.Ю. Мальцев.

---

<sup>1</sup> Впоследствии исключен из партии за то, что читал, читал, да не те выводы сделал.



Эти заявления носили исключительно прогрессивный характер.

17 ноября 1966 года было совершенно ясно, что приходит новая эра, что она рядом, у двери, может быть за портьерой.

Было совершенно ясно, что в грядущем юбилейном году от нее, братцы, никуда не уйти.

И действительно, меньше чем через год в доме Правления Союза писателей СССР, охраняемом не Анютой, поверьте мне, не Анютой, собрались другие братья по нашему трудному писательскому ремеслу.

И эти братья тоже обсуждали повесть А.И. Солженицына «Раковый корпус».

И люди, которые обсуждали, тоже с надеждой смотрели вперед.

Они надеялись на то, что злобный визг ужаленного в самое чувствительное писательское место (клеточка мозга, ведающая вопросами творчества) тов. Шарипова — «А я б ему скидку не дал, я б его из Союза исключил!» — найдет надлежащее понимание у «сегодняшних замечательных руководителей» Советского государства.

Они смотрели с надеждой вперед на заседании Секретариата Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года.

Заседание началось, как пишет в «Изложении» А. Солженицын, «в 13 часов, окончилось после 18 часов».

Но А.И. Солженицын ошибся: он в ту пору еще не все знал.

Он не знал, что заседание началось не в 13 часов, а в 11, и началось оно не с выступления Федина, а с выступления секретаря по оргвопросам Союза писателей СССР тов. Воронкова, прочитавшего письмо Шолохова.

Михаил Александрович Шолохов писал кратко и выразительно. Как на заборе.

Кто есть Солженицын? 1. Сумасшедший. 2. Не писатель. 3. Антисоветский клеветник.

Что с ним надлежит сделать? 1. Посадить в сумасшедший дом. 2. Выгнать из Союза писателей. 3. Отправить в тюрьму.

В оставшееся время сговаривались, кто и что скажет.

Тов. А.Е. Корнейчук сказал: «идет колоссальная мировая битва... Своим творчеством мы защищаем свое правительство»... Он сделал подкованный доклад о международном положении.

Так как международное положение оказалось крайне напряженным, то Солженицыну учинили допрос:

«Как он относится к той разнузданной буржуазной пропаганде, которая была поднята вокруг его письма? Почему он от нее не отмежуеться? Почему спокойно ее терпит? Почему его письмо западное радио начало передавать еще до съезда?»

«Почему он не реагирует на гнусную буржуазную пропаганду?»

«Какое право он имеет так писать?»

«И по каким каналам письмо попало на Запад?»<sup>1</sup>

В публикуемых материалах мы обнаруживаем поражающие наше воображение вещи: мы узнаем, какие замечательные люди секретари Правления Союза писателей СССР и какой плохой писатель Александр Солженицын.

Вот какие они замечательные секретари:

Алексей Сурков: «Не буду скрывать, я человек начитанный».

Ираклий Абашидзе: «Мы все честные и талантливые писатели...»

А вот какой плохой писатель Солженицын:

«Мы тратили время, читали ваши сырые рукописи... “Раковый корпус” вызывает отвращение от обилия натурализма...» (В. Кожевников).

« “Раковый корпус” — антигуманистическая вещь» (С. Баруздин).

Уже пришло время, когда стало выгодно хвастать своей прозорливостью: «Я как раз принадлежу к тем, кто с самого начала не разделял восхищения произведениями Солженицына», — расталкивая соседей, выскакивает один (С. Баруздин).

«Я когда-то первый выступил с опасениями...» — перебегая дорожку товарищам, захлебывается другой (В. Кожевников).

Но все это пустяки. Настоящий советский человек и секретарь всегда готов принести личное в жертву общественному. Поэтому, вздохнув, советский человек и секретарь пренебрегает личной обидой (то есть тем, что Солженицын пишет лучше его) и приносит себя в жертву горячо любимой Родине. Главное — это чтобы любимую Родину не оклеветал Запад. «Вот страшное событие, — мотается от ужаса по своему кабинету тов. Федин, — ваше имя фигурирует и используется там, на Западе, в самых грязных целях».

Солженицын, конечно, сразу же понял, что именно это главное — Запад.

«Здесь употребляют слово “заграница” и с большим значением, и с большой выразительностью, — говорит он, — как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат».

На Западе должны, наконец, понять, что «заграница» — очень важная инстанция и что советских деятелей волнует не то, что *мы* пишем, а то, что и сколько на Западе пишут *о нас*.

Две записи обсуждения одной и той же книги поражают своим враждебным несходством.

Это несходство связано с тем, что на первом обсуждении выступали все-таки писатели, а на втором — секретари Союза писателей. Конечно, Зоя Кедрина, и не будучи секретарем, обгонит самого Алексея Суркова,

<sup>1</sup> Имеется в виду письмо А.И. Солженицына о цензуре к делегатам IV съезда СП СССР в мае 1967 года. — Н.Б.

а доносчик Николай Асанов, рядовой непобедимой армии советских художников слова, не уступит дорогу доносчику Сергею Баруздину, даром что тот главный редактор органа Союза писателей СССР «Дружба народов». Это не имеет значения. Хороший человек, плохой человек... Кому это интересно (в социалистическом государстве)? Главное — это идти в ногу со временем и выполнять его боевой приказ. Выполняя боевой приказ, даже Федин в надлежащий период (март—октябрь 1956 г.) был почти порядочным человеком. А если бы не венгерское восстание, то стал бы и благородным.

Советский человек по первому требованию партии и правительства может быть всяким. В отдельные моменты даже порядочным. Не часто (один раз в каждую историческую эпоху), но может.

17 ноября 1966 года партия и правительство еще не подошли вплотную к вопросу порядочности, будучи заняты уборкой картофеля, а 22 сентября 1967 года плюнули на картофель и, засучив рукавички, взялись за творческую интеллигенцию.

Расползающейся творческой интеллигенции было необходимо серьезное идейное руководство, потому что все разваливалось, вываливалось из рук, лопалось и трещало и угрожающе обесмысливало государственный переворот 14 октября 1964 года, — событие, призванное покончить с ущербом, нанесенным катастрофическими саморазоблачениями 1956 и 1962 годов.

Для того чтобы покончить с ущербом, понадобилось развязать войну на Ближнем Востоке, разогнать демонстрации молодежи, арестовать и засудить десятки людей в Москве, Ленинграде, Киеве и других городах, выбросить недовольных из Союзов писателей и художников, созвать одно из самых гнусных сборищ в истории русской литературы — IV съезд писателей СССР. Страна готовилась торжественно встретить великий юбилей — пятидесятилетие советской власти. В такие дни партия и правительство сметают на своем победоносном пути все.

Ноябрьский пленум 1966 года объявил (тайно) беспощадную программу безудержного искоренения инакомыслия.

На этом кончилась еще одна глава немощной истории чахлого советского либерализма. Начиналась настоящая работа по внедрению, искоренению и применению.

Один из первых и самых жестоких ударов пришелся по Солженицыну, потому что Солженицын самое замечательное явление духовной жизни России в эпоху, наступившую после смерти Сталина.

Это на Западе нужно со страстью доказывать, что в России одни и те же люди в один и тот же день могут говорить и даже думать прямо противоположные вещи, — какие прикажут. Но в моем отечестве это знают все. И поэтому в моем отечестве никто не удивился тому, что в ноябре

1966 года о «Раковом корпусе» говорили доброжелательно, а в сентябре 1967 года — омерзительно.

Но люди везде люди, даже в советских и фашистских странах, и поэтому не редки случаи, когда они говорят то, что действительно думают, не взирая на властное требование эпохи.

Осенью 1962 года эпоха была еще чрезвычайно противоречива и властно требовала самых разных вещей. Поэтому сразу же после публикации в одиннадцатом номере «Нового мира» повести «Один день Ивана Денисовича» началось обсуждение, которого уже не мог не допустить, а, допустив, должным образом организовать ни тов. Ильин, ни тов. Анюта, ни даже сам тов. Поликарпов, начальник Отдела культуры ЦК КПСС, в то время еще живой и вооруженный мировоззрением и сапогом, которым топал на отечественную литературу.

Это обсуждение шло в письмах читателей к А. Солженицыну и проводилось без идейного руководства.

Читатели были разные, и некоторые сами могли идейно руководить.

Солженицын эти письма сохранил и написал статью «Читают "Ивана Денисовича"» с цитатами из писем и собственным комментарием.

«Один день Ивана Денисовича» обсуждали бывшие заключенные, выжившие, еще не посаженные в лагеря снова, еще не замученные до конца и сохранившие порядочность, и охранники отечества, сторожившие раньше Ивана Денисовича, а потом Андрея Донатовича (Синявского).

Вот что говорит об «Одном дне Ивана Денисовича» недавний заключенный: «Это — настолько жизнь, настолько боль, что, кажется, может остановиться сердце».

У товарищей охранников сердце не останавливается. Один больше обеспокоен желудком: «Такой дряни еще не приходилось переваривать...» Другой — иными органами: «Эту книгу надо было не печатать, а передать материал в органы МГБ».

В отличие от добрых гуманных людей (советологов разных стран), с глубоким уважением относящихся к своим прекрасным душевным качествам и поэтому прощающих убийц (чужих жен, мужей, детей), палачей (других народов) и душителей свободы (в заморских странах), мы, изучавшие советологию в России, хорошо понимаем, что советская диктатура 5 марта 1953 года не умерла. А если не умерла советская диктатура, то жива и советская ложь, пронзительная, растекшаяся по континентам.

В сотнях писем к Солженицыну замученные, затурканные, оглушенные люди радуются тому, «что начинается эра правды». Строго и скорбно великий писатель замечает: «И обманулись, конечно, в который раз...» Солженицыну пишут о его повести: «Правда восторжествовала, но поздно». «Где уж там до торжества!» — вздыхает писатель. Люди еще надеются:

«...правда выплывет в реке этих слез». Солженицын с сомнением покачивает головой: «Ой, выплывет ли?..»

«Удивляюсь. Как вас обоих с Твардовским не упрятали?» — твердой рукой пишет человек, хорошо знающий, что такое советская власть.

Хорошо знающий, что такое советская власть, Солженицын отвечает: «Сами удивляемся...»

В отличие от добрых гуманных дядей разных направлений, уверяющих, что со смертью Сталина над нашим отечеством вспыхнула сверкающая и уже неугасимая заря свободы, Солженицын не ослеплен этой зарей<sup>1</sup>.

Солженицын не ослеплен зарей. Он понимает все. Он пишет, что «и сегодня — то же», что весь газетный шум вокруг повести, изворачиваясь для нужд воли и заграницы, трубился в том смысле, что «это было, но никогда не повторится!». Он все про них знает: «Как всегда, в главном лгали: это — будто воз вытащили, а воз и ныне там».

И сегодня то же. И воз там же. И все так же.

Политическая и общественная жизнь России доведена до распада, безумия. Не нужно предаваться иллюзиям и ждать, что дальнейшие события разрешат кризис. Многочисленные политики, историки, социологи и литераторы, лежа в тени благоухающего дерева демократии, утверждают, что в России в будущем будет хорошо, потому что в прошлом в России было плохо. Это совершенно неосновательное умозаключение, и оно решительно не из чего не проистекает. Несмотря на это, мы высоко ценим чувства людей из-под дерева. Неустойчивая власть может претерпеть только два превращения: стабилизацию или веер государственных переворотов. Последний переворот покончит с неустойчивым положением и установит привычную для этой страны и для этого народа обожаемую и обожествляемую диктатуру<sup>2</sup>.

Я не думаю, что у советско-фашистского государства, вооруженного водородными бомбами и преданностью замученного народа, рассчитывающего (с серьезными основаниями) выиграть мировую термоядерную войну, у государства, которое может безнаказанно ввести в страну, лежащую у сердца Европы, шестисоттысячную армию пяти своих колоний, не хватит силы и смелости уничтожить горстку оппозиционно настроенных

---

<sup>1</sup> Дяди, получающие из особенных источников сведения о заре, конечно, про Россию все знают лучше нас. В связи с переполняющими их знаниями они категорически настаивают на том, что даже если свет указанной зари недостаточно ярок, то вам (нам) и такой годится. Это они, легкоранимые и тонко организованные интеллектуалы, задохнулись бы через два часа в российском зловонье, а мы выдержим.

<sup>2</sup> В журнале русской эмиграции, напечатавшем очерк, есть сноска: «Мы считаем необходимым подчеркнуть, что редакция "Нового Журнала" совершенно не разделяет этого утверждения А.В. Белинкова о русском народе. "Обожания и обожествления диктатуры" русским народом история России не подтверждает». — Н.Б.

интеллигентов. Оппозиционно настроенная интеллигенция в России хорошо понимает: хватит силы и смелости. И, хорошо понимая, продолжает бороться и погибать.

Я хочу разъяснить нашим друзьям под демократическим деревом, которые не любят погибать (просто терпеть не могут этого занятия): если мы, ненавидящие тиранию интеллигенты России, не будем бороться и погибать, то ничем не сдерживаемая власть неминуемо уничтожит все. Мы не можем победить советскую деспотию, но мы можем помешать ей, не позволять ей всего, что она готова, хочет и может сделать. И мы мешаем ей затопить островки свободы, затоптать остатки нравственности, заплывать все, уничтожить все, изорвать, оболгать, выкорчевать, скрутить.

Судьба и книги «лидера политической оппозиции» (по словам А. Суркова) Александра Солженицына в эпоху, наступившую после смерти Сталина, больше многого мешают этой волчьей власти сожрать все, что лежит на ее пути.

Весной 1968 года мне удалось отправить из Москвы на Запад публикуемые в этом журнале документы. В той же папке, объездившей два континента, была и часть моей книги о Солженицыне, начатой в Москве, закопанной в Переделкине, выкопанной, переплывшей Атлантический океан.

Некоторые из этих материалов вошли в статью «Писатель, как совесть России», напечатанную 28 сентября 1968 года в журнале «Тайм»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Подробнее об этой публикации см. в главе «Спальня Нью-Йорка». — Н.Б.

## МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЛЖЕНИЦЫНА

Текст несостоявшегося выступления,  
приложенного к стенограмме обсуждения  
«Ракового корпуса» А. Солженицына  
в СП СССР 17 ноября 1966 года

Замечательное достоинство произведений Александра Исаевича Солженицына состоит главным образом в том, что они написаны.

Человек догадался написать свои книги.

Я знаю многих людей, которые могли бы тоже писать замечательно, но они не догадались это сделать. Простой мысли помешали многие другие, очень серьезные, очень сложные. Случается так, что люди, обладающие большим жизненным опытом, иногда знают больше, чем следует знать писателю. Например, они знают, что всегда может что-то случиться и их книгу не издадут.

Я не выдумал людей, о которых сказал сейчас. Я говорю о людях, которых мы все хорошо знаем. Некоторые из них пришли даже сюда. Я говорю о тех, кто когда-то писал хорошо, а потом решил, что для общества будет гораздо полезнее, если они начнут писать плохо. И многим это действительно удалось.

Внимательно изучая русскую литературу, мы узнали цену этим догадкам: когда Пушкин начал писать стихотворения и поэмы, из которых «не выжмешь ничего» (а хотели выжать дифирамб победоносному оружию, покоряющему Кавказ), то критика ответила на это чрезвычайно сердито. Она строго сказала: «Упадок таланта Пушкина». А когда Пушкин написал «Графа Нулина», один из ранних подступов к «Повестям Белкина», а «Повести Белкина» были прямыми предшественниками «Шинели», а из «Шинели», как хорошо известно всякому русскому писателю, мы вышли все, то было сразу с необыкновенной пронизательностью замечено, что «Граф Нулин» есть подлинный нуль в нашей литературе.

Александр Исаевич Солженицын догадался написать замечательные книги.

Такие книги получаются при сочетании двух качеств: таланта и смелости. Это необходимый минимум, без которого в искусстве не получается ничего.

Талант и смелость Александра Солженицына проявились в том, что он после некоторого перерыва, имевшего место в истории нашего искусства, стал говорить голосом великой литературы, главное отличие которой от литературы незначительной в том, что она занята категориями добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношений человека и общества, власти и личности. В великой литературе действующими лицами могут быть титан Прометей и богоборец Каин, но для великого искусства важны не большие чины, а значительные художественные идеи, и поэтому повесть о страданиях Акакия Акакиевича Башмачкина раскрыла людям с неоспоримой убедительностью категории добра и зла, хотя во всей повести нет ни одного слова, которое следовало бы искать в философском словаре, а из важных персон лишь мельком упоминается «значительное лицо» в генеральском чине, которому далеко до Прометея, не говоря уж о Каине.

Александр Исаевич Солженицын не написал трагедии о титане и не написал мистерии о богоборце. Он написал повесть об «*Одном дне...*» и рассказы об *одном «дворе», одном «случае»...*

День, двор и случай Александра Исаевича Солженицына — это синекдохи добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношений человека и общества.

Я читал заметку в почтенном журнале и слышал разговор в высокочтимом Союзе, порицающие Александра Исаевича Солженицына за части, по которым читатели самостоятельно должны воспроизводить целое. От писателя не желали получать мир по частям. От него требовали сразу весь мир, да еще такой, которого не бывает. Это естественно для мышления людей, хорошо понимающих, что часть может быть лишь воспроизведением недостатков, а целое, несомненно, воспроизводит всю гидроэлектростанцию.

Прочитав заметку и вникнув в разговор, я, наконец, понял, что один писатель не может исчерпать потребности целой национальной литературы. Я вспомнил, что и Бальзаку помогали в правильном и исчерпывающем освещении эпохи другие хорошие писатели: Констан, Стендаль, Мюссе, Гюго, Виньи, Мериме. Писатель Солженицын существует в одной литературе вместе с другими писателями, и правильное, а главное, исчерпывающее освещение эпохи он создает вместе с ними. Все писатели нашей доблестной литературы изо всех сил воспроизводят многоликий и ликующий образ времени. Так, писатель Софронов<sup>1</sup> воспроизводит оптимис-

---

<sup>1</sup> Софронов А.В. — советский писатель, классик социалистического реализма, член КПСС, Герой Социалистического Труда. Известен пьесами «Московский характер» (1948) и «Стряпуха» (1951). — Н.Б.



тическую Стряпуху, а писатель Солженицын — пессимистическую Матрену. Если сложить, то мы получим... гидроэлектростанцию. Писателю Солженицыну, как и другим большим художникам, удалось показать еще одну не замеченную до него грань времени. Многогранность искусства так важна и так отвратительна некоторым искусствоведам, что первая потребность, которая возникает у людей, обладающих прирожденной любовью к порядку, это сделать что-нибудь с многогранником. Например, треугольник. Для этого стараются убрать все лишнее. Таким способом производится превращение рукописи в книгу.

Что же такое смелость человека, написавшего повесть «Раковый корпус»?

Одна из главных забот нашей литературы последних тридцати лет связана преимущественно с развитием классической традиции. В сочетании этих трех слов не все слова равноценны, и предпочтение чаще отдается двум последним, а иногда одному последнему. Александр Исаевич Солженицын сосредоточен главным образом на первом слове — развитии.

За тысячелетия своего существования художественная литература не становилась все лучше и лучше. Часто трудно понять, как после блестящего десятилетия она падала столь низко. Но всякий раз, когда снова приходило блестящее десятилетие, появлялся новый и почти всегда более совершенный метод исследования мира. Нужно иметь в виду, что искусство, как и другие виды восприятия и воспроизведения, проходит определенные стадии развития и, не становясь от этого ни хуже и ни лучше («Фауст» не превзошел «Илиаду», «Моцарт и Сальери» оказался значительнее «Дворянского гнезда»), все время последовательно изменяет и чаще совершенствует метод исследования. В других видах исследования, главным образом в естественных науках, это более заметно. Поэтому я привожу пример из их истории.

После изобретения микроскопа естествоиспытатели увидели клетку, и с этого времени изучение перешло на новый — клеточный — уровень. На этом уровне были совершены решающие биологические открытия. Микроскоп появился не потому, что жаждали именно его, но потому, что естествознание предшествующего периода исчерпало возможности, и необходимо было что-то придумать, чтобы двигаться дальше. Решающие открытия физики, математики, химии и кибернетики перевели естествознание на иную — молекулярную стадию. Сейчас происходят радикальные события, приближающие новый уровень.

Молекулярный уровень исследований А. Солженицына связан с пристальностью анализа, то есть с извлечением исторического обобщения не из больших масс, а из элементарной частицы и включением в систему восприятия явлений, недоступных и не представлявших интереса для предшествующей стадии литературного развития.

Поэтому в повести «Раковый корпус» могли появиться такие люди, как Русанов и Костоглотов, которые вступают в неведомые предшествующей литературе взаимоотношения. Взаимоотношения между вечно ссыльным и начальником отдела кадров, который ссылал, создают иную прозу, нежели та, которую мы знаем.

Так как в первую очередь читательское внимание сосредотачивается на языково-образной системе писателя, а она у Солженицына кажется похожей на обыкновенную великую русскую прозу, то ее легко и охотно стали принимать за традиционное письмо. Но великое искусство традиционным не бывает. Это не надо доказывать, нужно просто перечислить: Аристофан, Данте, Шекспир, Гете, Пушкин, Бальзак, Достоевский, Блок, Пастернак — они ни на кого не похожи. Солженицын создает новую систему русской прозы, потому что вводит в состав искусства новые, неведомые или забытые представления о добре и зле, жизни и смерти, взаимоотношениях человека и общества. Кажущаяся традиционность его манеры сходна искусству Возрождения, которое было близко античному, но только издали и при невнимательном разглядывании. Творчество Солженицына не только похоже на Возрождение, оно и есть Возрождение русской духовной жизни.

Вот как похожа проза Солженицына на русскую классическую литературу и как явственно она лишь помнит ее опыт и пользуется им для создания нового искусства.

«...В дверь вошла лаборантка, разносившая газеты, и по близости протянула ему (Костоглотову. — А.Б.)... Русанов... с обидой выговорил лаборантке...

— Послушайте! Послушайте! Но ведь я же ясно просил давать газеты первому мне!..

— А почему это вам первому?

— Ну как — почему? Как — почему? — вслух страдал Павел Николаевич, страдал от неоспоримости, ясной видимости своего права, но невозможности защитить его словами...

Он понимал газету как открыто распространяемую, а на самом деле зашифрованную инструкцию, где нельзя было высказать всего прямо, но где знающему, умелому человеку можно было по разным мелким признакам, по расположению статей, по тому, что *не* указано и опущено, — составить верное понятие о новейшем направлении».

Безошибочность искусства Солженицына оказалась столь очевидной, что в многочисленных статьях, посвященных ему, рассуждения о том, как сделаны его произведения, казались несущественными и даже неуместными. Говорили о главном: о том, что писатель рассказал людям и от чего до сих пор литература бежала. Некоторые говорили о другом: о том, что было бы лучше Солженицына не печатать. С этими я не спорю, потому что

откровенно дурные поступки обсуждению не подлежат: их нужно предупредить, а если это не удастся, то стараться как можно скорее исправить.

Так как об искусстве Солженицына до сих пор говорили мало, и это совершенно естественно, потому что в связи с его творчеством нужно было говорить о добре и зле, жизни и смерти, то я говорю лишь о самых заметных вещах.

Александр Исаевич Солженицын рассказал о людях, характерах, событиях и взаимоотношениях, которых до него мы не знали. До него в русской литературе не было таких людей, взаимоотношений и событий, каких мы увидели в куске о встрече молоденькой медсестры с ссыльным навечно человеком, от которого она услышала что-то непонятное и тревожное о темном куске эпохи, тайном крае века, закрытом от молодых и старых медсестер и даже иногда от начальников отдела кадров занавесями, статуями и страхом.

Только такой уровень художественного исследования дал возможность писателю сказать, что же происходит в мире, когда Лев Толстой, симпатичный геолог (который еще угрожающе и зловеще покажет, каков он), а также начальник отдела кадров говорят *одними* словами, и мы начинаем понимать, что вещи, о которых они говорят, враждебны, и тогда возникает осязательная сложность непригнанных частей мира, враждебность вещей и доброжелательность слов, среди которых живут и умирают люди.

Солженицын принадлежит к тем замечательным писателям, которые возрождают в русской литературе великие категории добра и зла, жизни и смерти. Он рассказал о том, что так важно для всех нас то, с чем мы встречаемся каждый день и поэтому знаем сами. Но отличие его от других писателей в том, что другие писатели об этом не написали, а он написал. Он сделал то, что доступно лишь истинному таланту и настоящей смелости. И в этом значение и смысл искусства Александра Исаевича Солженицына.

## Глава 8

Наталья Белинкова

### УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИК<sup>1</sup>

Всегда виноваты вместе: человек и обстоятельства.  
Аркадий Белинков

*Виктор Шкловский*

«Я воспитывался на коленке Шкловского», — гордо заявлял Аркадий.  
«Этот юноша религиозно предан литературе», — отзывался о нем Виктор Борисович.

Отношения укладывались в формулу «учитель — ученик», тем более что один был студентом Литературного института, а другой — консультантом его дипломной работы.

Не прошло и полутора месяцев после начала их совместной работы, как Белинкова арестовали. Студент-дипломник был превращен в преступника, а его дипломная работа — в вещественное доказательство антисоветских настроений автора.

Неудивительно, что имя Шкловского неоднократно возникало на протяжении всего следствия. Одно неосторожное слово, минутная слабость

---

<sup>1</sup> В прозе Аркадия Белинкова реальность переплетается с правдой художественного вымысла (Черт звонит в преисподнюю из Москвы по телефону-автомату).

В научных работах конкретное наблюдение сопряжено с правдой научного обобщения («Эстетские стихи Пушкина — это такие политические стихи»).

Предмет его исследования — писатель имярек — становится, как и полагалось бы в художественном произведении, одним из характерных типов художника: лояльный, сдавшийся или сопротивляющийся тоталитарной власти.

Среди «положительных» и «отрицательных» героев его литературоведческой прозы были люди, которых он знал лично, многих из них любил, но оценивал их не за личные качества, а за общественную позицию. Мне представилось необходимым сопоставить живые лица, как я их увидела, с тем, как их изобразил или намеревался изобразить автор. В этой главе названы: В.Б. Шкловский, Ю.К. Олеша, Ю.Г. Оксман, К.И. Чуковский, И.Л. Сельвинский, С.М. Бонди, С.Я. Маршак.

арестованного, и консультанту дипломной работы грозил бы арест. Вот как это выглядело:

С л е д о в а т е л ь: Когда Вы познакомились со Шкловским?

Б е л и н к о в: В июле—августе 1943 года.

С л е д о в а т е л ь: Какую оценку дал Шкловский Вашему роману «Черновик чувств»?

Б е л и н к о в: Шкловский считал, что роман неудачный.

С л е д о в а т е л ь: Шкловскому высказывали свои антисоветские взгляды?

Б е л и н к о в: Да, высказывал.

С л е д о в а т е л ь: Как реагировал на Ваши высказывания Шкловский?

Б е л и н к о в: Мои взгляды он осуждал.

С л е д о в а т е л ь: Так ли это?

Б е л и н к о в: Безусловно, так.

*Из протокола допроса от 15 февраля 1944 г.*

*Начат в 10 час. 15 м., окончен в 22 час. 30 мин.*

С л е д о в а т е л ь: На какой почве произошло Ваше сближение с писателем Шкловским?

Б е л и н к о в: Я, как оканчивающий Литературный институт, должен был получить литературную консультацию по своему дипломному роману, и я с этой целью обратился к писателю Шкловскому Виктору Борисовичу.

С л е д о в а т е л ь: Известно, что Шкловский враждебно настроен к существующей действительности и длительное время проводил антисоветскую работу. Известно также, что с определенного периода Ваши отношения с ним имели такой же характер. На очередном допросе предлагаем приступить к откровенным и правдивым показаниям об этом.

*Из протокола допроса от 12 апреля 1944 г.*

*Начат в 10 час. 30 мин., окончен в 17 час. Допрос прерван<sup>1</sup>.*

А потом не раз возобновлен. Не добившись требуемых показаний, следователь (тот или другой) допрос прерывал, оставив нам догадываться, что за этим следовало.

Родители Аркадия были уверены, что известный писатель Виктор Шкловский и баловень советского официоза Алексей Толстой спасли их сына от расстрела. Мнение же биографов и комментаторов сводится к

---

<sup>1</sup> С протоколами допросов А. Белинкова можно ознакомиться в кн.: Белинков А. Россия и черт. СПб., 2000 (главы: «Следственное дело № 71/50. 1944. С. 91; Следственное дело № 57/52. 1951. С. 255; Уголовное дело № 299. 1968. С. 282).

тому, что ожидать в то парализованное страхом время помощи от этих маститых писателей было по крайней мере наивно.

Однако же в тот веселый период нашей истории, который называется гласностью, стали исчезать ее белые пятна: появились противоречивые сведения о причастности к Делу Белинкова Алексея Толстого и вполне определенные — о заступничестве Виктора Шкловского.

Перед нами документ:

«Я убеждена, что “Черновик чувств” имеет значение только литературное, но разобраться в рукописях Аркадия не так просто... — писала мать Аркадия, обращаясь к Алексею Толстому, в то время депутату Верховного Совета СССР. — Аркадий очень, очень болен, и, если арест его затянет-ся, боюсь, что он не выдержит тюремного режима»<sup>1</sup>.

Следствие над ее сыном было еще в полном разгаре. Был март 1944 года. Жизни «советского графа» оставалось меньше года. Он умер в феврале 1945-го.

В левом нижнем углу письма Мирры Наумовны секретарем писателя-депутата Ю.А. Крестинским была сделана пометка: «Собранный материал в Ин<ститу>те не дает возможности просить за Белинкова»<sup>2</sup>.

Еще один документ:

«Аркадий Викторович Беленков был арестован 29 января 1943 года... Институт попросил меня проконсультировать его работу...

Я довольно долго провозился тогда с Белинковым. Его здоровье тогда было в таком состоянии, что его нельзя было отправить в жизнь. У института были свои ошибки, и в качестве искупления, может быть и бессознательно, в жертву был принесен Белинков...

Я обратился к Алексею Толстому, показал ему роман. Толстой очень заинтересовался Белинковым, должен был помочь, обещал мне это...

Дело идет о талантливом человеке. Литературный талант — вещь слабо распространенная, тут бросаться людьми не приходится...

Я Вас очень прошу поддержать ходатайство Белинкова перед тов. Шверником. 12 сентября 1947 года»<sup>3</sup>.

Это письмо Виктора Шкловского Константину Симонову, в то время заместителю генерального секретаря Правления Союза писателей. Оно вызвано ходатайством А. Белинкова о сокращении его срока заключения.

<sup>1</sup> Письмо М.Н. Белинковой обнаружено в архиве Отдела рукописей в ИМЛИ. См.: Два свидетельства / Публ. Е. Литвин // Московский комсомолец. 1989. 3 авг.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Четыре письма Виктора Шкловского / Публ. А. Галушкина // Странник. М., 1991. Вып. 2. В оригинале сделана ошибка в фамилии: Беленков вместо Белинков и указан 43-й год вместо 44-го. — Н.Б.

Ходатайство было адресовано Председателю Президиума Верховного Совета СССР Швернику и отправлено из лагеря, в котором Аркадий начал отбывать свой срок. Каким образом оно попало в руки Шкловского, неизвестно.

Письмо Шкловского говорит само за себя. Помощь Толстого, как и его отказ от нее, не подтверждается и не опровергается.

Но, возможно, Аркадий Белинков знал немного больше того, что открывают документы, найденные в 90-е годы. Иначе почему же однажды на каком-то многочленном собрании в Доме литераторов он счел нужным подойти к вдове писателя Людмиле Ильиничне и рассказать ей о готовности ее мужа заступиться за арестованного? Поблагодарить, что ли... Красивая, нарядно одетая, она выслушала Аркадия с непонятным для меня оттенком неудовольствия и несколько надменно воскликнула: «Вот как? На него это не похоже!»

О поведении Белинкова на Лубянке Шкловский никогда не узнал: архивы следственных дел открылись в другую эпоху.

О том, что Шкловский и А. Толстой занимались его судьбой, Аркадий узнал от своих родителей только после своего возвращения.

Спасли или не спасли эти маститые начинающего писателя? И от чего? И когда конкретно? Важно, что помогали, пытались помочь.

Попытки спасения остановились на Симонове. Письмо Шкловского и обращение Белинкова к Швернику он, как тогда говорили, положил под сукно. Однако тридцать лет спустя, движимый неизвестным нам импульсом, показал письмо учителя редактору «Вопросов литературы» Л. Лазареву со словами: «Вот это поступок! И ведь в это время сам ходил по краю»<sup>1</sup>.

Находясь в заключении, Аркадий не мог знать о боязливой осмотрительности поэта, полюбившегося народу за трогательное стихотворение «Жди меня». Но любопытно, что в лагерной драме «Роль труда в процессе превращения человека в обезьяну» он изображает в очень неприглядном виде некоего Кирилла Михайловича, писателя. (Кирилл Михайлович — подлинное имя Константина Симонова.) А в задушевных беседах с друзьями он называл Симонова «недооцененный эпохой прохвост».

Можно считать, что и ученик, и учитель выдержали испытание сталинских лет на хорошую пятерку.

После 56-го их отношения возобновились и пошли по новому кругу. Ученик по-прежнему с пиететом произносил имя Шкловского. Учитель

---

<sup>1</sup> Четыре письма Виктора Шкловского / Публ. А. Галушкина // Странник. М., 1991. Вып. 2.

опять открыл ему двери своего дома. Но Аркадий уже не был тем начинающим литератором, которого Шкловский встретил в 43-м году, и в их отношениях появился новый оттенок. Они как бы сравнялись по жизненно-му опыту.

Вскоре после нашей женитьбы Аркадий познакомил меня со Шкловскими. Жарким московским летом 1957 года он вез меня к ним первый раз. Со своей второй женой Серафимой Густавовной Виктор Борисович жил теперь на Аэропортовской.

В прихожей respectable писательской квартиры нас встретили подвижный и полноватый лысый господин и сдержанная холеная светская дама. Аркадий представил меня Виктору Борисовичу и Серафиме Густавовне. Минутное пристальное разглядывание меня. Обыкновенные, приличествующие случаю восклицания. Одобрили, не одобрили — не поймешь. По причине летней погоды хозяева дома решили, что прием состоится в ресторане на Химкинском водохранилище.

Синяя вода, голубое небо, искрящийся хрусталь на ослепительно белой скатерти. Не в мою честь был этот июльский обед. Шкловские совершали поминки по Зощенко. Накануне в Ленинграде состоялись похороны затравленного писателя, на которые Виктор Борисович — его давний друг — считал возможным не поехать. Не чокаясь, выпили вина. Серафима Густавовна нервно объясняла, почему Шкловскому не следовало ехать на похороны. Виктор Борисович мрачно сопел. Аркадий неодобрительно помалкивал. Всем было не до меня.

Случилось так, что, удачно совершив обмен (первый этаж вместо пятого без лифта), мы поселились неподалеку от Шкловских и часто их посещали. И, конечно, Аркадий был неизменным гостем чуть не на каждом дне рождения Виктора Борисовича.

Как-то Серафима Густавовна пригласила на празднование модных тогда начинающих поэтов — Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко. Поэты были совсем молоденькие, еще робкие, с тонкими нежными шеями. За столом сидели элегантные, умело подкрашенные женщины, сверстницы хозяев дома. «И за что эти бабы любят нас?» — торжественно читал Вознесенский — по возрасту даже и не сын им, а скорее внук. Дамы плакали, их косметика расплывалась. Им вспоминалось, как когда-то им — юным, двадцатилетним — такие же двадцатилетние читали стихи о любви. Возрастные границы размывались.

В другой раз мы принесли в подарок Виктору Борисовичу только что вошедший в моду сифон для газированной воды. Шкловский важно сидел в углу гостиной, гости передавали ему завернутые подарки, и он под общий смех угадывал-не угадывал, что же в пакете. В тот год в Москве было несколько случаев черной оспы. Шкловский потряс нашим свертком и угадал: «оспопрививатель»!



Время от времени Виктор Борисович вспоминал о своей роли учителя и начинал отчитывать Аркадия: тот не умеет вести издательские дела, работает непродуктивно, не проявляет достаточной ловкости в добывании денег. Приводил себя в пример. Аркадий взрывался: «Нормальное человеческое мировоззрение отличается от безнравственности тем, что не думает, хорошо ли за него платят!»<sup>1</sup>

Ссорились они жестоко. Однако, обменявшись нелицеприятными репликами, учитель и ученик продолжали встречаться и перезваниваться как ни в чем не бывало. Если в жизни Виктора Борисовича происходили значительные события, а Аркадий не мог принять в них участия, на сцену выступала я. Как-то мы оба не смогли пойти в ЦДЛ на творческий вечер Шкловского — Аркадий лежал в больнице.

Вечером того же дня звоню Шкловскому по телефону. Он снимает трубку. Спрашиваю, как все прошло.

Он (с энтузиазмом): Очень интересно!

Я (чрезвычайно заинтересованно): Кто выступал?

Он (весело): Никто! Я сам.

Однако теплота взаимоотношений незаметно таяла. Особенно это стало заметно после того, как Шкловский послал правительству телеграмму с осуждением Пастернака, опередив массовую травлю поэта.

Ученик считал, что виновницей капитуляции его учителя была Серафима Густавовна, хотя на самом деле Шкловский отказался от своего знаменитого прошлого задолго до того, как они поженились. Свою печально известную статью «Памятник научной ошибке» он опубликовал еще в 30-м году.

Вторая супруга учителя относилась к Аркадию сдержанно. Не доверяла? Однажды даже решила проверить, так ли уж болен Белинков, как говорит. И даже осведомлялась на этот счет в поликлинике Литфонда. (Рассказ Белинкова «Прекрасный цвет лица» основан именно на этом факте. Отправляясь по его издательским делам, я теперь слышала напутствие: «Пойди, наври им, что я болен».) Оберегала мужа? И все же принимала Аркадия и даже решалась приглашать нас на встречи с иностранцами в своем доме (предусмотрительно предупредив нас, что эти визиты согласовывает с руководством Союза писателей).

Как-то я застала у Шкловских легенду из легенд — теоретика русского футуризма Алексея Крученых. Обладая несметными архивными сокровищами, он бедствовал. У легенды был запущенный и несчастный вид.

Серафимы Густавовны не было дома. Торопясь, не разбирая, что берет, Виктор Борисович вынимал из шкафа брюки, пиджаки, шарфы и пе-

---

<sup>1</sup> *Абросимова В.* Ахматовский мотив в письмах А. Белинкова Ю.Г. Оксману // Знамя. 1998. № 10. С. 145.

редавал их Крученых, которые тот, не примеряя, поспешно складывал в какой-то прошлого века баул. У меня было очень короткое поручение к Шкловскому, и я ушла от него в сопровождении его гостя. Ехали вместе в метро под любопытные взгляды пассажиров. Действительно, мы представляли собой странную пару: завитая по моде типичная советская гражданка и весьма старомодный господин, изысканно склоняющийся к даме, то есть ко мне. И он был в белых перчатках, рваных. Летом! При прощанье он поцеловал мне руку и, изобразив грациозный полукруг тросточкой, — «Двери закрываются!» — проскочил на перрон.

Добрый, улыбающийся, остроумный Виктор Борисович чуть было не погубил первое издание «Юрия Тынянова». Это случилось в кабинете Валентины Карповой — заместителя директора издательства, требовавшей очередных изменений в верстке перед тем, как отправить книгу в печать. Аркадий отчаянно сопротивлялся. Неожиданно в том же кабинете показался Шкловский. Ученик обрадовался: «Поддержит!» Не тут-то было. Учитель послушал, послушал и, воскликнув: «Не по чину берешь!» — выбежал из кабинета, хлопнув дверью. Карпова прибавила прыти. Книга гибла. Нарастал скандал. Потеряв самообладание, Аркадий схватил тяжелый стеклянный графин — неременный атрибут советских учреждений — и с пронзительным криком «Не уступлю!» обрушил его на массивный канцелярский стол. О чрезвычайных последствиях встречи ученика и учителя в кабинете заместителя директора издательства я уже рассказала в главе «Цензорский номер вместо лагерного».

Зато, когда книга прошла цензуру и была напечатана, Шкловский опубликовал рецензию на нее под броским заголовком «Талантливо»<sup>1</sup>. Он писал: «Мы получили книгу А. Белинкова — свежую, смелую, внимательную и очень талантливую... Но ценность ее еще и в том, что она ставит коренные вопросы развития сегодняшней литературы. Я жду от этого человека многого». Комплиментарно? Да. Общие слова? Да. Однако кто будет разбираться! Заголовок, похвальный конец, имя рецензента! (Друзья из «Литературной газеты» показали мне поразивший их, исчерканный синими авторскими чернилами оригинал, как будто бдительный цензор — не Серафима ли Густавовна? — — прошелся по рукописи перед отправкой ее в редакцию.)

Рецензия и обрадовала, и удивила Аркадия. Он шутил: «Виктор Борисович поносил меня за “Тынянова”, пока он не прочел статью под названием “Талантливо”».

Шкловский стал инициатором вступления Белинкова в Союз писателей СССР. Рекомендую автора «Тынянова», он вкратце повторил свою рецензию:

<sup>1</sup> Шкловский В. Талантливо // Литературная газета. 1961. 8 апр.

«Это талантливая книга, ставящая основные вопросы истории и теории литературы на конкретном материале.

Мне кажется, что эта книга стоит в первой десятке литературоведческих книг последнего времени.

Она интересно и местами увлекательно написана. Иногда по-молодому усложнена.

Он [Белинков] был оклеветан врагами народа и более двенадцати лет был начисто оторван от работы.

Вот почему перед нами только один большой труд»<sup>1</sup>.

Следующий большой труд Белинков посвятил причинам, по которым при тоталитарном режиме оскудели литература и искусство: тяжелые обстоятельства и слабая воля художника. Объектом этого критического исследования должны были стать его старшие коллеги «по трудному писательскому ремеслу». И его учитель...

Еще в 1960 году Аркадий подал заявку на книгу «Писатель и история» в Редакцию критики и литературоведения «Советского писателя».

*«Я бы хотел написать книгу о влиянии на писателя истории, действительности, в которой он живет, о взаимоотношениях писателя и времени... С [этой] точки зрения мне представляется характерной творческая судьба Виктора Шкловского... Книга "Писатель и история" ни в какой степени не должна превратиться в монографию о творчестве Виктора Шкловского, ни тем более в очерк жизни и творчества. Это книга не о Шкловском, а книга о влиянии на писателя окружающей действительности, эпохи, истории».*

Годом позже во втором варианте заявки он переключил внимание с одного писателя на ряд других: «С точки зрения влияния времени на писателя мне представляется характерной творческой и социальной судьба таких писателей, как В. Шкловский, Ал. Толстой, И. Сельвинский, Ю. Олеша, И. Эренбург. Эти люди названы не для алфавитного указателя, а для того, чтобы показать т и п писателя. Писатель же в этой книге лишь точка приложения сил, пример, приводимый в доказательство...

*Книга мыслится как одна из глав в толстом томе истории советской литературы и литературоведения».*

Примером, приведенным в доказательство, стал не Виктор Шкловский, а Юрий Олеша. На нем Аркадий и ввел в литературоведение нравственную категорию внутреннего сопротивления, назвав книгу не «Писатель и время», как намеревался, а «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша».

На этой книге добрые отношения между учителем и учеником переломились.

---

<sup>1</sup> Шкловский В. В секретариат Союза писателей СССР. 1961. 4 апр. (Домашний архив Белинкова. Не опубликовано. Цитируется по копии с оригинала.)

Рукопись первого варианта «Сдачи и гибели...» Аркадий дал на просмотр своему бывшему мэтру. Возвращая ее, Виктор Борисович плакал. И снова сказал: «Талантливо». Старая, он становился слезлив. И обидчив. Шкловский поддержал внутреннего рецензента издательства «Искусство» Л.И. Славина в его резко отрицательном отзыве на книгу о творческой гибели своего поколения. (В узком кругу Славин наивно удивлялся, что за эту рецензию его благодарили всякие издательские подонки.) Аркадию удалось ознакомиться с закрытой рецензией и узнать о неприглядной роли своего бывшего учителя. Неудивительно, что в рукописи появились удивившие читателей саркастические выпады и против Славина, и против Шкловского. Каждого из них Белинков стал величать «лучшим знатоком творчества Олеси». Некоторые приняли эти определения за чистую монету. Тогда же в «Сдаче и гибели...» появился короткий литературный портрет человека, «который считает, что время всегда право». В безымянной зарисовке без труда угадывается бывший учитель, внесший свой вклад в борьбу с низкопоклонством перед Западом патриотическими рассказами о русских умельцах. (Полемика Белинкова со Шкловским и Славиним полностью сохранена в первом, мадридском издании книги, но сильно сокращена во втором, московском.)

Не одного Славина коробила концепция «Сдачи и гибели...». Одной замечательной писательнице, перед мужеством которой мы все склонялись, не понравилось то, что Белинков «извлекает политический корень из Олеси»<sup>1</sup>, — она опасалась, что такой же подход он применит к Анне Ахматовой. Другая вторила ей: жизнь Юрия Олеси послужила всего лишь «строительным материалом для обличения советской интеллигенции»<sup>2</sup>. Известному писателю показалось: «[Белинков] не догадывался, что присоединяется к тем, кто полагал, что литература сидит на скамье подсудимых...»<sup>3</sup> Всеми уважаемый патриарх советской литературы не одобрил основную мысль книги: «правительство всегда угнетало и уничтожало людей искусства»<sup>4</sup>. А учитель предостерег литературоведа Мариэтту Чудакову от белинковского «задора», неподобающего людям ее специальности<sup>5</sup>.

Предвидя реакцию на задор «Сдачи и гибели...», Аркадий посвятил целую главу в ней объяснению, «зачем написана эта книга». Не исключено, что эта глава была не всеми внимательно прочитана. Несколько выразительных страниц по этому поводу осталось в черновиках.

<sup>1</sup> Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 2. 1952—1962. С. 506. (Запись 62-го года.)

<sup>2</sup> Орлова Р. Воспоминания о непростедшем времени. Анн Арбор, 1983. С. 315.

<sup>3</sup> Каверин В. Эпилог. М., 1989. С. 35.

<sup>4</sup> Чуковский К. Дневник. М., 1994. Т. 2. С. 323. (Запись 62-го года.)

<sup>5</sup> Чудакова М. «Так яркий ток, оледенев...» // Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М., 1997. С. 17.

«Когда я упрекаю Сергея Эйзенштейна за “Ивана Грозного” или поношу Виктора Шкловского за книги, в которых он оплевывает все хорошее, что сделал в молодости, то не нужно укорять меня за фантастическую ограниченность, за то, что я такой же, как и те, кто вызывает у меня отвращение, только наоборот, и за глубокое равнодушие к прекрасному искусству...

Меня просят простить Эйзенштейна за гений, Алексея Дикого, сыгравшего Сталина после возвращения из заключения, за то, что у него не было иного выхода, Виктора Шкловского за его прошлые заслуги и особенности характера, Илью Эренбурга за статьи в “Красной звезде” во время войны, Алексея Толстого, написавшего “Хлеб”, пьесы об Иване Грозном и много других преступных произведений, за брызжащий соком истинно русский талант, простить Юрия Олешу за его метафоры и несчастья... Я внимательно прислушиваюсь к мнению своих друзей и готов послушаться доброго совета. Простим гениального Эйзенштейна, прекрасных актеров и писателей — Виктора Шкловского, Илью Эренбурга, Алексея Толстого и Юрия Олешу. Простим всех и не забудем самих себя. Простим и станем от этого еще возвышеннее и чище.

Только зачем все это? Ну, простим. Ну, станем возвышеннее и чище. Но будет ли это научно? Я ведь писал о том, что они негодяи и предатели не потому, что вот лично у меня Алексей Толстой отобрал рубль. Наоборот, когда меня арестовали, он даже пытался помочь мне, чего старательно избегали другие, объясняя многое сложностью международного положения...

Вы хотите защитить этих прекрасных людей и себя тоже, а ведь это к науке отношения не имеет. Защищая и требуя от меня душевной щедрости и понимания, вы мешаете понять и объяснить, почему десятилетиями уничтожается русская интеллигенция... почему происходит невиданное, неслыханное растление двухсотмиллионного народа.

Проливаемая кровь, растоптанная демократия, растление народа совершаются с помощью попустительства тех, кто все понимает, или сделал вид, что его обманули, или дал себя обмануть».

16 октября 1964 года в Центральном Доме литераторов состоялся вечер памяти Юрия Тынянова. Отмечалось его семидесятилетие. Накануне стало известно о смещении Хрущева. Тревожные предчувствия собравшихся литераторов придали этому собранию особо напряженную атмосферу.

Получив пригласительный билет наравне с другими рядовыми членами Союза писателей, Аркадий, прихватив меня, отправился в ЦДЛ. Мы заняли места недалеко от сцены. С нами Галя Белая и Лева Шубин — наши ближайшие друзья. Зал полон. Много знакомых. В том числе и Мариэтта

Чудакова, оставившая свои воспоминания об этом вечере в предисловии к «Сдаче и гибели...». На сцене в президиуме — «давшие себя обмануть»: Шкловский, Эренбург, Каверин.

«Аркадий, а почему Вы не в президиуме?» — вдруг спрашивает Галя. Такой вопрос явно не приходил ему в голову. Начались выступления. Галя так и вертелась на стуле: «Сейчас я скажу, сейчас скажу...» Аркадий делает ей страшное лицо. Выступает Каверин. Известно, что он давно привлекал внимание к Тынянову и как бы считал себя ответственным за упущение его имени в литературе. И вот теперь он говорит: «Настоящей книги о Тынянове еще никто не написал». В зале шум и выкрики: «Белинков! Белинков!» Шкловский (председательствующий) встает из-за стола и, обращаясь к залу, спрашивает, находится ли здесь Белинков. «Да, здесь», — вставая, отвечает Аркадий. «А мы не знали...» — растерянно произносит такой находчивый и прежде такой близкий Виктор Борисович и приглашает автора книги о Тынянове в президиум. Побледнев, Аркадий направляется к сцене и медленно поднимается по ступенькам.

В зале, заполненном шестидесятниками, раздаются оглушительные аплодисменты. Аплодировали, по-моему, не столько книге о Тынянове, сколько ее подтексту: революции кончаются изменой своим программам, термидором, а безоглядное подчинение диктатуре приводит к творческому бесплодию. Каверин же, должно быть, хотел, чтобы в «настоящей» книге была показана жизнерадостная молодость века, открытия в науке, эксперименты в искусстве, грандиозные замыслы... Впоследствии мечту о такой книге он осуществил сам<sup>1</sup>.

Летом, как и многие москвичи, мы снимали дачу. Что такое подмосковная дача, знают все. Теснота, отсутствие элементарных удобств, в том числе и телефона, и вошедший в анекдоты о нашем житье-бытье свежий воздух. В том году мы жили в Бакровке по Белорусской железной дороге, недалеко от Переделкина с его Домом творчества и литфондовскими дачами.

Однажды вечером кто-то к нам постучался. Каверин! Поняв, что у них с Аркадием предстоит разговор один на один, я удалилась в соседнюю комнату. Оба устроились на освещенной вечерним солнцем терраске, заплетенной беспорядочной подмосковной зеленью. Когда нашу убогую дачу затопили сиреневые сумерки, Вениамин Александрович начал прощаться. «Извинялся», — растерянно разведя руками, сказал мне Аркадий, когда мы остались одни.

Нелепица с Кавериным на этом не закончилась. Через пару десятков лет Каверин все же осудил Белинкова. Не за Тынянова, а за отношение к

---

<sup>1</sup> Каверин В., Новиков Вл. Новое зрение. М., 1988. (По инициативе Новикова в приложении помещены фрагменты из книги Белинкова «Юрий Тынянов» — первая публикация после его побега из СССР.)

Шкловскому. Хотя сам при этом предьявил Виктору Борисовичу тот же «список злодеяний», что и Аркадий, — «закладывал основы рептильной литературы», власти ему доверяют, диссидентов нет среди его друзей, совершает мелкие и крупные предательства, его нравственной позицией управляет жена. Каверин даже называет Шкловского «бывший учитель»<sup>1</sup>. Совпадение? Заимствование? Поздний пересмотр взглядов? А далекого сиреневого вечера как будто и не было...

Последний разговор между учеником и бывшим учителем состоялся по телефону. Раздался звонок. Аркадий снял трубку. «Почему Вы не поздравили меня с днем рождения?» — не поздоровавшись, спросил Виктор Борисович. Телефон щелкнул и замолчал. Аркадий поспешно набрал номер Шкловского, сказал несколько нелестных слов и так же быстро повесил трубку. Дальше происходило вот что: звонок из квартиры Шкловского — он что-то говорит — швыряет трубку. Аркадий лихорадочно набирает номер Шкловского — что-то говорит — кидает трубку. Звонок, брошенная трубка. Звонок, брошенная трубка. Это продолжается долго, в убыстряющемся темпе, в гневе. Эстеты! Они больше не щадили друг друга...

Говорят, чтобы правильно сыграть роль, артисту достаточно прочитать первую и последнюю строчки пьесы (или сценария). В этом театре двух актеров отношение Аркадия к Шкловскому начиналось с юношеского обожания, а кончилось горечью разочарования... А чувства Шкловского к Аркадию? Кажется мне, что в бескомпромиссном своем ученике он видел себя молодого, озорного, напористого, а в его писаниях узнавал себя стареющего, поднимающего руки, сдавшегося. Не оттого ли, пережив своего младшего собрата по перу на четырнадцать лет, он нет-нет да и вспоминал его и продолжал с ним, отсутствующим, спорить?

О работах А. Белинкова иногда говорят: «В манере Шкловского». Первым придумал это сам Виктор Борисович. По-моему, вслух ругая Аркадия за подражание себе, он потихоньку этим гордился.

Если же приглядеться повнимательнее, единственное сходство между ними состояло в том, что каждый отличался «лица необщим выраженьем». Шкловский — мэтр, — слегка прищурившись, уверенно начинает с афоризма. Белинков им заканчивает. Один небрежно дарит читателю найденную им истину. Хочешь, бери, не хочешь — твое дело. Другой приглашает читателя на совместную прогулку. И идет с ним через фразы, порой растягивающиеся на полстраницы, через разнообразные примеры по одному и тому же поводу, через вставные эпизоды и лирические отступления. И, самое главное, Шкловский не прибегал — ему не нужно было — к эзопову языку шестидесятых, вынужденному иносказанию, виртуозом которого был его ученик.

---

<sup>1</sup> Каверин В. Из воспоминаний // Весть. 1989. С. 28—29.

*Ю.Г. Оксман*

Вклад Юлиана Григорьевича Оксмана в отечественную науку огромен и еще не измерен. Оксман — литературовед, историк, текстолог. Коротко о нем говорят — известный пушкинист. Действительно, он редактор и комментатор первых подготовленных после революции полных собраний сочинений Пушкина. А также Лермонтова, Тургенева, Герцена... Мы все в детстве этими книгами зачитывались и учились по ним в школах и институтах. Но его имя известно только узкому кругу ученых и литераторов. И не потому, что характер его трудов в основном рассчитан на специалистов. Оксман неоднократно подпадал под «заклятие замалчивания». Первый раз после третьего ареста в 1936 году и по специальному распоряжению КГБ в 1964 году.

Аркадий познакомил меня с Юлианом Григорьевичем и его женой Антониной Петровной в начале шестидесятых. Портрет ученого этих времен я позаимствую у Леонида Зорина из его «Авансцены»: «Я ощутил себя в некоем потустороннем мире, где именно прошлое было реальностью. Большой кабинет был неприбран и темен, каждый клочок был занят книгами, они стояли на пыльных полках, теснились на столе и на стульях, лежали одна на другой на полу. Хозяин выгородил мне место. Хрупкий, неукрошенный гном, глазки, похожие на буравчики, с лету оценивают гостя, из них, творя свое биополе, словно исторгается мысль, пульсирующая, как обнаженный нерв. Подвижность и живость неправдоподобны, передо мной из угла в угол перемещается по кабинету пребывающий в неустанном движении мудрый, все постигший щелкунчик, знающий то, что другим неизвестно: в покое зарождается смерть».

Разница в возрасте тоже подводила отношения Оксмана и Белинкова к разряду «учитель — ученик». Взгляды их уравнивали. Научные интересы того и другого сходились на русской истории. Оба даже приняли участие в постановке пьесы Леонида Зорина «Декабристы» (о чем подробно рассказывает драматург в своем мемуарном романе). Бросалась в глаза и схожесть их биографии — оба пережили и арест, и годы заключения, и замалчивание.

Юлиан Григорьевич опроверг многие из устоявшихся литературных мифов. В частности, он открыл, что сцена с воздушным змеем — знаменитое начало пушкинской «Капитанской дочки» — была вычеркнута Пушкиным из последнего варианта повести, который считался каноническим. Не случайно поэтому ему нравилось, что Аркадий опровергал такой штамп советского литературоведения, как плодотворная роль газеты железнодорожников «Гудок» в формировании писательского мастерства, или спорил с принятой в историографии ленинской формулой о декабристах как «рыцарях без страха и упрека».



В личном архиве Белинкова сохранился маленький самодельный сборник «Из истории общественного движения и общественной мысли в России в XIX веке» под грифом «Ученые записки Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Вып. 78. 1996)». Это переплетенные оттиски четырех статей Ю.Г. Оксмана. На обороте обложки — автограф: *«Дорогому Аркадию Викторовичу Белинкову от бывшего автора — говорю “бывшего”, так как имя мое упразднено указом бывшего торквемады 3-го ранга Семичастного от какого-то декабря 1964 г. Ю. Оксман. 10/12 1966 г. Москва».*

Подлинное имя автора — Ю.Г. Оксман — напечатано типографским шрифтом над каждой статьей все четыре раза по количеству статей. Но в трех случаях тоненьким карандашиком — почерк Аркадия — над «Ю. Г. Оксман» вписаны другие фамилии: «Ю. Григорьев» (два раза) и «А. Осокин» (один раз). Какое странное противоречие с посвящением! Ничего странного. В типографских оттисках (до того, как их отнесли в цензуру) было названо настоящее имя ученого. Когда дело доходило до Главлита, приходилось его «бывшую», то есть подлинную фамилию заменять, и только один раз удалось оставить. Под диктовку Юлиана Григорьевича Аркадий вписал карандашом вынужденные псевдонимы. В этом же сборнике есть статья «Пути и навыки литературоведческого труда», а в ней вклеенный ручным способом абзац, тоже набранный в типографии. В нем упоминаются научные и художественные достоинства книги [Белинкова] «Юрий Тынянов». Какие манипуляции претерпел этот абзац, мне неизвестно.

Подмена имен было делом привычным. Кстати, недавняя публикация переписки двух ученых, Ю. Оксмана и С. Борового, подтвердила, что Юлиан Григорьевич, действительно, часто пользовался псевдонимом Ю. Григорьев<sup>1</sup>.

Какие жизнь подбирает рифмы! Несмотря на то что ученый к концу шестидесятих годов находился в опале и его имя отовсюду изымалось, два энтузиаста из Краткой литературной энциклопедии — А. Белкин и В. Жданов (бедный однофамилец того!) все же решились поместить о нем статью. Весьма неосмотрительно они заказали ее Аркадию. Статья была закончена, сверена с данными, полученными от Оксмана, и принята редакцией. В энциклопедии ее не найти. Только случайно сохранилась копия текста, отправленного в редакцию КЛЭ, с приколотой к ней запиской самого Оксмана:

---

<sup>1</sup> Размена чувств и мыслей. Из переписки С.Я. Борового с Ю.Г. Оксманом. Публикация В.Н. Абросимовой. Комм. Абросимовой и Соколянского. (Егупец. 2003. № 11); Григорьев Ю. Пути и навыки литературоведческого труда // Ученые записки Горьковского гос. ун-та. 1966. Вып. 78.

«Учсть в концовке! Был редактором и комментатором первых советских полн. собр. сочинений Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Гаршина. Выпустил в свет критические издания ряда памятников мемуарной литературы (Записки Е.А. Суриковой (Хвостовой); «За кулисами цензуры и печати. Воспоминания» Е.М. Феоктистова; А.Ф. Кони «На жизненном пути» (т. 5); Воспоминания П.А. Катенина о Пушкине. В 1919 г. подготовил к печати первый советский сборник неизвестных цензурных материалов «Литературный музей» (Белинский, Гоголь, Тургенев, Веневитинов)».

Пятый том «Краткой литературной энциклопедии» (буквы «М — П») был сдан в набор в сентябре 1967 года, когда автор статьи об ученом еще проживал в Москве. Подписывали том к печати в июле 1968-го. В промежутке между этими датами Белинков переселился в Нью-Хейвен, штат Коннектикут, США. Перебежчик в советской энциклопедии? Мы подвели наших друзей, сбежав на Запад перед сдачей тома в печать. Им пришлось выкручиваться: делать выдержку, текст Белинкова до неузнаваемости сократить и подписать текст никому не известным до того женским именем Б.И. Колосовой. Профессор Лейденского университета ван Хет Reve, находившийся в то время в Москве, утверждал, что Колосова была кухаркой В. Жданова. Пятый том со статьей об Оксмане запоздал почти на год. В своем выступлении на Лондонской конференции по цензуре Аркадий поведал об этой истории более подробно. (О чем рассказывается в главе «Новый колокол».)

В свое время Аркадий тоже пытался проташить в печать имя опального ученого хотя бы в сноске, которая выглядела так: «О взаимоотношениях радикальной интеллигенции с последекабрьским абсолютизмом много и превосходно писал Ю.Г. Оксман. Особенно обстоятельно — в книге «От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника»». Имя Оксмана, набранное, как и полагается в этом случае, петитом, имело больше шансов проскочить через цензуру. И проскочило.

Ощущение «потусторонности» ученого, возникавшее при первой встрече с Оксманом, вскоре проходило. Сегодняшний день занимал историка не менее, чем вчерашний. Потому за ученым и следило бдительное государственное око. Оживленные шестидесятые годы по контрасту с мертвечиной сталинских времен накладывали свой отпечаток на «научно-исторические» беседы в доме Юлиана Григорьевича. Недавно даже появилось сообщение, что «Ю.Г. Оксман и Аркадий Белинков готовили издание «Нового Колокола»», как известно, действительно вышедшего на Западе в 1972 году<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Пугачев В.В., Динес В.А. Историки, избравшие путь Галилея. Саратов, 1995. С. 68.

Оксману не давали работать спокойно. На этот раз жизнь историка подверглась опасности за переписку с Г.П. Струве, профессором американского университета в Беркли.

Через аспирантку из Америки Оксман передал западному ученому письмо. Проходя через таможенный досмотр в аэропорту, неопытная молодая женщина обронила не то тетрадь, не то записную книжку. Таможенники вежливо осведомились о том, что бы это такое могло быть? Аспирантка, воспитанная в лучших традициях взаимоотношений частного лица с представителями власти, была убеждена — неприкосновенно все, что есть *privacy*. Она поспешно воскликнула: «Это дневник!» Ее задержали. Сфотографировали и дневник, и записи семинарских занятий, и письма. Аспирантку в конце концов выпустили. Струве письма не получил. За Оксманом установили наблюдение.

Теперь мне предстоит рассказать, как доверчивость Аркадия и, в свою очередь, доверчивость Юлиана Григорьевича сыграли с ними обоими злую шутку. Только «шутка», пожалуй, тут слово неуместное.

Аркадий был человеком общительным. Среди наших знакомых появился некто Х — начинающий журналист, радостно учившийся у Аркадия писательскому ремеслу. Он умел слушать и любил расспрашивать. Он всегда был готов помочь, хотя при этом слишком усердствовал. Он весьма настойчиво допытывался, какая же все-таки у Аркадия «положительная программа»? Как-то, выпросив почитать отрывок из рукописи «Сдачи и гибели...», он позже назначенного времени вернул его и довольно долго и сбивчиво объяснял причину задержки.

Нашим друзьям Х не нравился. Но Аркадий продолжал принимать младшего собрата по перу. То ли его лагерное чутье притупилось, то ли его забавляли отношения, в которых он сам теперь играл роль учителя. Вопрос о положительной программе легкое сомнение у Аркадия вызвал, но не насторожил. И кто знает, может быть, отрывок из «Олеши» просто залежался на ночном столике нашего милого знакомого, а вовсе не был отнесен на просмотр куда надо. Все же наконец подозрение коснулось Аркадия, и на скамейке бульвара на Ленинградском шоссе недалеко от нашего дома между ним и Х произошло неприятное объяснение.

А в редакции «Нового мира» я столкнулась с поэтом Корниловым, который счел нужным предупредить меня о серьезных подозрениях, которые вызывает Х. Оказалось, его застукали при осмотре ящиков письменных столов во время обеденного перерыва. Предостережение, однако, запоздало.

Давно уже Х упрашивал Аркадия познакомить его с Оксманом, и тот многократным настоянием уступил. Знакомство состоялось. Х не вызвал подозрений и у Юлиана Григорьевича. Глаза-буравчики не просверлили

начинающего литератора. Да и то сказать: его же рекомендовал бывший зэк! Оксман показал любознательному гостю книги, полученные из-за границы: издания Струве и Филиппова, «Новый журнал», «Грани», каталоги зарубежных книжных магазинов.

Через несколько дней после визита Х в темноватый кабинет ученого вошли голубые околыши и быстро пересекли комнату по диагонали, как будто бывали тут не раз, сразу подошли к той полке, о которой как будто точно знали, где она, и взяли эмигрантские издания прямо с того места, с которого их доставал Оксман, показывая нашему знакомому. «Криминальные» книги были конфискованы и увезены на Лубянку.

Как вошли, куда направились, с какой полки сняли — все это в быстром темпе нам продемонстрировал сам Юлиан Григорьевич. В соответствии с отечественными традициями ему теперь ничего другого не оставалось, как ждать очередного ареста.

Мой письменный стол в издательском отделе Полиграфического института (где я в то время работала) придвинут к широкому окну, нависшему прямо над тротуаром в проезде Серова. Мы занимаем помещение напротив Политехнического музея. Это окрестности Лубянки. В окно кто-то осторожно стучит. Я поднимаю голову и в первый момент даже не узнаю напряженное, как бы застывшее лицо Юлиана Григорьевича. Он жестом вызывает меня на улицу. Выхожу, и мы быстро договариваемся, что я немедленно приду в подъезд старой библиотеки Института мировой литературы. Это совсем рядом.

Через несколько минут мы с Оксманом встретились в темном обшарпанном подъезде библиотеки, где я не раз передавала нашим знакомым «самиздат». Его вызвали туда: одно из двух — или вернут книги, или оставят там и его самого. До тревожного свидания оставался час. Мы вышли на улицу и час кружили вокруг Лубянки. Оксман волновался и топил возбуждение в быстрых, наскაკивающих одна на другую фразах. Он репетировал свой разговор с кагэбэшниками, опасался, что могут вызвать Аркадия, задавал мне вопросы, разрешая последние сомнения, и уверял, что не считает нас причастными ко всей этой истории. Большой ученый, мудрый человек, опытный зэк искал защиты. У кого? Я старалась выглядеть спокойной и уверяла его, что все обойдется. И мы все ходили по близлежащим кварталам и не могли уйти далеко, чтобы не пропустить назначенного часа, и слепые окна страшного дома смотрели нам в спины.

Старика отпустили.

Теперь наши визиты к нему выглядели иначе. Разговоры на некоторое время утратили свою живую непосредственность: где-нибудь да был запрятан микрофон. Иногда мы переходили на шепот или писали записоч-

ки друг другу. Оксман заметно постарел и жаловался на зрение. У него появилась новая привычка. Быстро подкинув кулачок правой руки, он протирает им правый глаз и потом вывертывал кулачок наружу.

Последний раз мы навестили Юлиана Григорьевича незадолго до нашего отъезда насовсем. Он явно повеселел. Книги ему вернули. Часть обвинений с него сняли. Его даже могли восстановить в правах ученого, специалиста, биографа, историка, текстолога — обещали вернуть исчезнувшее со страниц научных изданий имя. Оставалось совсем немного: подписать покаянное письмо.

Помню нас в передней, уже в пальто, уходящих, и Оксмана — коренастого, с упрямо наклоненной головой, обеими ногами крепко упирающегося в пол. Он не отпускал нас, хотел что-то договорить и, прежде чем сказать, как будто к чему-то прислушивался: не то к неслышному шороху из-под пола (где там микрофон?), не то к внутреннему своему голосу. «Не подпишу!» — громко сказал он, еще упрямее наклонился вперед, опять прислушался и, резко взмахнув кулачком, вытер слезящийся глаз. Он не сдался.

Покинув Россию, мы думали, что расстались с нею навсегда, и, чтобы никому ненароком не повредить, оборвали контакты со всеми родственниками, друзьями и знакомыми. Только родителям, и то по их настоянию, посылали коротенькие — «здоровы и благополучны» — письма. А мой отец отвечал: «Москва строится и хорошеет». Редко кто решался связаться с нами. Было чревато большими неприятностями — иметь с нами дело. Неожиданно кто-то из иностранцев, т.е. свободный и, надо сказать, по тем временам смелый житель Запада, привез нам из Москвы декабрьский номер журнала «Волга» за 1967 год. Для таможенного досмотра журнал юбилейного года — пятидесятилетие Октябрьской революции — дело самое безобидное. Для нас же этот номер ничего интересного сам по себе не представлял. С удивлением рассматриваем журнал. На оборотной стороне обложки знакомым характерным почерком Юлиана Григорьевича: «Дорогой Наташе 12/1 69 Москва. От моих саратовских учениц на добрую память». Дата — канун моего дня рождения. Подпись отсутствует. Обращаться к Аркадию непосредственно и подписываться своим собственным именем слишком опасно. Саратовские ученицы — маскировка. Ни одной из них мы не знаем. В номере, правда в качестве зацепки, есть статья под названием «Труды саратовских литературоведов». Оксман когда-то читал лекции в Саратовском университете. Упрямый, бесстрашный Юлиан Григорьевич. Продолжает посылать свои весточки антисоветчикам за границу! Не забыл, как я провожала его до Лубянки. Нелегко ведь дожидаться судного часа одному.

*Корней Чуковский*

Среди бумаг Белинкова я нашла коротенький, в одну машинописную страничку, но вполне законченный рассказ о том, как Корней Иванович предложил ему участвовать в переложении Библии для детского чтения (затея Детгиза). Драматический поворот сюжета заключался в том, что издательство предупредило: запрещено упоминать слова «евреи» и «Бог».

Назывался рассказ «Из дневника», была и дата — 1964 год. Но так как Аркадий дневников не вел, а его писательскую манеру отличало пристрастие давать литературным героям имена их прототипов, то всю эту историю я приняла за остроумный вымысел, шарж. Правдой могло быть только то, что Детгиз решил издать Библию на манер «Легенд и мифов Древней Греции».

Известно, что вымысел далеко не всегда дотягивает до действительности.

В «Дневнике» К. Чуковского, изданном через 30 лет после описываемых событий — мне все время приходится оперировать десятилетиями, — есть запись от 8 декабря 1967 года: «...“Библия” идет в печать! Но — строгий приказ: нигде не упоминать слова Иерусалим... Когда я принимался за эту работу, мне было предложено не упоминать слова “евреи” и слова “Бог”. (Я нарушил оба завета, но мне и в голову не приходило, что Иерусалим станет для цензуры табу.)»<sup>1</sup>

Выходит, что Белинков, который всегда тяготел к гиперболам, в данном случае недогиперболлил. Не додумался он до Иерусалима. И нашла я в его архиве не рассказ (вымысел), а дневниковую запись (факт). Впрочем, границы жанров размыты, что вообще характерно для Белинкова.

С Корнеем Ивановичем Чуковским нас познакомила Татьяна Максимовна Литвинова. Это знакомство растянулось на несколько лет и стало для нас длительным праздником, театром, где главную роль играл хозяин дома, а мы были восхищенными и, надеюсь, на некоторое время необходимыми ему зрителями. Корней Иванович умел влюблять в себя людей и увлекался людьми сам. Однако его увлечения бывали недолгими — одна из причин, почему Чуковского подозревали в неискренности. Зависимость продолжительности знакомства от значительности той или иной личности не догадывались учитывать.

Корней Иванович сделал нам много добра. В частности, публикация главы «Поэт и Толстяк» из «Сдачи и гибели...» в журнале «Байкал» была осуществлена с его помощью. Коротко и сжато Чуковский дал блестящую характеристику Белинкову: «Многие наши критики и литературоведы пи-

<sup>1</sup> Чуковский К. Дневник. 1930—1969. М., 1994. (Запись 1967 года). С. 398.

шут сейчас молодо, свежо, горячо... особенно выделяется своеобразным талантом Аркадий Викторович Белинков, автор известной книги «Юрий Тынянов». Его оригинальный писательский метод, где строгая научность сочетается с блестящим артистизмом, сказался и в новой его книге, посвященной Юрию Олеше».

Вл. Бараев, заместитель главного редактора «Байкала», поведал в газете «Восточно-Сибирская правда», как он получил эти несколько строк: «Узнав, что мы хотим опубликовать отрывок из книги А. Белинкова «Юрий Олеша», [Корней Чуковский] решил представить ее читателям «Байкала», написать врезку к его статье «Поэт и Толстяк». ...Я показал Корнею Ивановичу рукопись Аркадия Белинкова, но он сказал, что знаком с ней, и принялся сочинять текст врезки... Окончив текст, он переписал его начисто, отдал на машинку, и пока перепечатывали написанное, Корней Иванович принялся рассматривать номера нашего журнала...»<sup>1</sup>

Однако в своем дневнике Чуковский делает о Белинкове запись прямо противоположного характера: «Он написал книгу о Тынянове, она имела успех, — и он хочет продолжать ту же линию, то есть при помощи литературоведческих книг привести читателя к лозунгу: долой советскую власть. Только для этого он написал об Олеше, об Ахматовой ... мне утомительно читать его монотонную публицистику. Это сверх моих сил... Он пишет так затейливо, претенциозно, кудряво»<sup>2</sup>.

Читатель, не знакомый с нравами писательской среды и характером того времени, может встать в тупик.

На исходе 60-х годов Аркадий упрямо и наивно надеялся, что сможет опубликовать «Сдачу и гибель...», если еще что-то переделает, если еще кто-то влиятельный заступится. Публикация книги во что бы то ни стало превратилась в навязчивую идею. Он уже сфотографировал рукопись, уже переслал пленки за границу, уже задумывался о побеге... Мы лихорадочно жили в атмосфере надвигающейся катастрофы. Корней Иванович Чуковский и был тем доброжелательным и влиятельным лицом, на которого возлагалось спасение. Но вместо того чтобы его самого попросить о помощи (какой? — какой-нибудь!), Аркадий обратился к посредничеству Татьяны Максимовны (сестра Михаила Максимовича Литвинова). Прочитав рукопись, она нашла, что любое участие в делах Белинкова будет для Чуковского опасным, и сказала Аркадию, что приложит все силы, чтобы Корней Ивановича от него оградить. Разговор, начавшийся в ее квартире и окончившийся на лестничной площадке, был громкий, откровенный и беспощадный. Надежда на помощь была потеряна. Аркадий резко возражал и, кажется, Татьяну Максимовну обидел. Одной дружбой стало меньше.

---

<sup>1</sup> Бараев В. Московские встречи // Восточно-Сибирская правда. 1968. Январь.

<sup>2</sup> Чуковский К. Дневник. 1930—1969. (Запись 1964 года). М., 1994. С. 357.

С самим Корнеем Ивановичем наши дружеские отношения продолжались довольно долго. Мы просмотрели и прослушали весь его репертуар: и «Чукоккалу», и докторскую мантию после поездки в Англию, и головной убор индейского вождя, и детскую библиотеку, и костры, и даже принадлежащую его прислуге-украинке украшенную «вышивками крестом» деревянную комнатку, которую показывали иностранцам в качестве совершенного этнического образца. Безусловно, Корней Иванович был больше чем писатель, больше чем личность, он был я в л е н и е. И мы им восхищались<sup>1</sup>.

О записях в дневнике кто же мог знать? Но что-то уже носилось в воздухе. Поэтому, когда Володя Бараев решительно направился к Чуковскому за врезкой, Аркадий даже отговаривал его от этого мероприятия. Торжествующий Бараев вернулся к нам на следующий день с победой. Невроятно!

Что произошло? Желание поддержать репутацию патриарха, помогающего молодым силам в литературе? Пренебрежение опасностью ради «правого дела» вопреки собственному мнению? Все было намного проще. Бараев принес в Переделкино, где постоянно жил Корней Иванович, интервью «Личность писателя неповторима», давно у него взятое и опубликованное «Вопросами литературы», о чем Чуковский, возможно, забыл. У всеми уважаемого писателя спрашивали: «Как же, по вашему мнению, должны писать наши критики и литературоведы?» Он отвечал: «Они должны писать, как пишут сейчас: талантливо, молодо, свежо, горячо». И особенно выделял Белинкова. И когда Бараев обратился к Чуковскому, а тот слегка замялся, в дело пошел опубликованный текст. Не мог же Чуковский отказать от собственных слов! И ему ничего не оставалось, как добавить строчку о книге, посвященной Юрию Олеше.

Не хлопайте дверями! Мы жили в стране кривых зеркал. Кривить, кривиться, склоняться, кланяться... Низкий поклон Володе Бараеву за хитрость, большое спасибо Корнею Ивановичу Чуковскому за лукавство, благодарность Виктору Борисовичу Шкловскому за попытку спасения заключенного.

### *Илья Сельвинский*

Как я уже рассказывала, Аркадий в ранней юности писал стихи. Они были конфискованы и уничтожены. Чтобы осудить начинающего писателя, нашлось достаточно материала в его прозе.

---

<sup>1</sup> Подробнее о К.И. Чуковском см.: *Белинкова Н.* Чуковский и Чукоккала // *Мосты.* 1969. № 15.



Поступив в Литературный институт на отделение поэзии, Аркадий посещал семинар Ильи Сельвинского. Когда началась Вторая мировая война, поэт ушел офицером на фронт. Аркадий перешел на отделение прозы. Его восхищение личностью Сельвинского — «огромного писателя», «любимого писателя и учителя» — красочно запечатлено в «Черновике чувств».

Глава поэтической школы конструктивизма, Илья Львович смолodu искал новые возможности в области стихотворной техники и позволял себе изображать взаимоотношения интеллигенции с властью иначе, чем требовалось партии, что он и сделал в своем знаменитом «Пушторге». Но время и его «ломало о колено». В 37-м году сняли с репертуара его пьесу «Умка — Белый медведь» (Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)). В 39-м обвинили в «буржуазных взглядах по вопросу об отношении к женщине» (Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б)). В 44-м нашли политические ошибки в стихотворении «Кого баюкала Россия» (Постановление Секретариата ЦК ВКП(б)). В конце 50-х ему пришлось переработать поэму 24-го года «Уляялевщина» и сделать главным ее героем В.И. Ленина. В 1958-м он вместе со Шкловским по собственному почину осудил Пастернака.

Со студенческих времен у Аркадия сложились хорошие отношения со всей семьей поэта, в том числе и с его дочерьми Цилей и Татой — теперь известной художницей и поэтессой. В 60-е годы Тата создала блистательный психологически верный портрет Аркадия, который она получила возможность выставить только в период гласности. В выставочную композицию портрета входили даты рождения, заключения, смерти: «1921 — (1944 — 1956) — 1970».

К неудовольствию своего отца, Аркадий продолжал посещать Сельвинских и после своего возвращения из заключения. При чем тут отец? Виктор Лазаревич запомнил — и не однажды мне рассказывал об этом, — что, несмотря на его просьбу, поэт не заступился за бывшего своего ученика после его ареста. Когда отец хлопотал о помощи, он не знал того, что было известно Сельвинскому: готовилось постановление Секретариата ЦК ВКП(б) «О стихотворении “Кого баюкала Россия”». Сам же Аркадий через двенадцать с половиной лет восстанавливал прежние знакомства независимо от того, как вели себя его друзья или коллеги по отношению к нему в его судьбоносные дни.

Я хочу специально обратить внимание на это обстоятельство, потому что есть люди, спутавшие бескомпромиссную общественную позицию Белинкова с его личным отношением к друзьям и близким; темперамент писателя-публициста с раздражительностью человека, страдающего гипоксией; неугомонный образ жизни вопреки тяжелому сердечному заболеванию — с притворством и позой. Он, действительно, предъявлял повышенные, едва ли выполнимые требования к позиции, занимаемой пи-

сателями в обществе, судил по «гамбургскому счету» — мере, введенной в оборот Шкловским. Разногласия с друзьями или коллегами по принципиальным вопросам никогда не превращались у Аркадия в ссоры в обычательском смысле этого слова. В этом отношении весьма характерен «скандал», однажды разыгравшийся в доме Сельвинских.

Больной Илья Львович, обложенный кислородными подушками, лежал в постели на втором этаже своей переделкинской дачи. У него недавно случился инфаркт. Поблизости в Доме творчества находился Аркадий. Он приехал туда по путевке Литфонда и сразу заболел воспалением легких. Как раз тогда он решал, кого выбрать примером для «сдачи и гибели». Кандидатов было много, в том числе и бывший учитель Илья Сельвинский. Когда полегчало, Аркадий отправился на дачу поэта с исписанными страничками. Он шел советоваться! Добраться до второго этажа — сердечник, ослабевший от болезни, — он не мог. Жена писателя Берта Яковлевна взяла текст, поднялась по лестнице и передала его Илье Львовичу. Прочитав рукопись, тот пришел в ярость. Выразить свои чувства непосредственно Аркадию он был не в состоянии: препятствием была та же лестница. Пришлось Берте Яковлевне спуститься вниз и передать мнение Ильи Львовича. Аркадий возражал. Берта Яковлевна поднималась. Сельвинский отвечал. Она спускалась вниз. И еще раз. И опять. В доме Сельвинских эту сцену превратили в анекдот и долго со смехом рассказывали. Много лет спустя я узнала об этом происшествии от Таты, за что я и приношу ей свою благодарность.

Сохранилась гладенькая заявка Аркадия Белинкова на книгу о Сельвинском, адресованная главному редактору государственного издательства «Художественная литература» А.И. Пузикову:

*«Творчество И.Л. Сельвинского в истории советской литературы занимает, несомненно, значительное место... И.Л. Сельвинский — большой советский поэт и драматург, один из своеобразнейших художников нашей литературы... Поэт рос и мужал вместе со своим веком и, несмотря на ряд ошибок и заблуждений, вместе с другими писателями создавал великую советскую литературу... У нас нет книги, в которой был бы показан путь развития, эволюция художника, его взаимоотношения со временем, его отношение к истории...»*

Приведенная цитата — красноречивый пример работы того внутреннего цензора, который оскоплял русскую литературу советского периода. Но Белинков не был типичным советским писателем и не собирался писать книгу, адекватную заявке. Он самым бесстыжим образом обманывал главного редактора, подобно тому как водил за нос своего редактора Евгению Федоровну Книпович, работая над «Юрием Тыняновым».

Заявка Пузикову датирована 14 апреля 1961 г., а 13 июня Аркадий «подал заявку» на шести страницах самому себе. Эти записки составляют

резкий контраст с официальной заявкой. Они интересны тем, что вводят нас в лабораторию писателя, спорившего со временем.

*«Одна из главных задач книги (без решения которой книга едва ли нужна) заключается в оптимальной, решительной — и до такой границы, когда следующий шаг — это рассыпанный набор, — переоценке эстетики, литературного процесса, писателей и книг 20-х годов...»*

*Будет проявлена вся сила стараний, изобретательности, ловкости, хитрости и фантазии для того, чтобы сказать как можно больше хорошего о Волошине, Ахматовой, Цветаевой, Пастернаке, Бабеле, Олеше, Мандельштаме и как можно больше плохого о Ермилове, Никулине, Коваленкове<sup>1</sup>, Софронове, Шолохове, Грибачеве, Зелинском, Кочетове...*

*В эту эпоху И. Сельвинский вместе с другими товарищами по перу борется с космополитизмом...»*

Можно с большой долей достоверности предположить, что этот или похожий на него вариант заявки вызвал гнев Ильи Львовича.

Книга о Сельвинском не была осуществлена. Что-то этому помешало. Может быть, дорогу перебежал Олеша, о котором Аркадий переменял свое мнение.

### *С.М. Бонди*

Известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди оставил после себя сравнительно немного напечатанных работ. Он расплескивал себя в лекциях, беседах, разговорах, шутках. На его выступления и лекции собирались как в театр. Помимо научных открытий и остроумных находок он поражал необычным умением: с легкостью писал как правой, так и левой рукой, обеими руками одновременно, и справа налево и слева направо. Такое проворство для большинства было совершенно недоступным и, я бы сказала, завидным подспорьем в преподавательской работе, когда чуть ли не единственными учебными пособиями были указка и черная доска с мелом. Даже прожекторы считались роскошью. (Знаменитый Роман Якобсон, приезжая из-за границы, чертил свои схемы на доске мелом. Один круг обнимает слово «литература», другой — «металлургия», третий — «география», четвертый — что-то еще... А все круги охватывает один большой, во всю доску, — «язык».)

Если по ходу лекции Бонди надо было анализировать пушкинские строчки, он писал правой рукой: «Мой дядя самых честных правил...» Одновременно его левая рука с той же скоростью выводила вторую строчку: «Когда не в шутку занемог...» Следующие две писались также в две руки,

---

<sup>1</sup> Коваленков А.А. — советский поэт, член компартии, автор песен о Ленине. — Н.Б.

но начинал он их с последних букв последних слов: «заставил» и «мог» и шел в таком же темпе к началу. А однажды я нашла на своем столе (я работала тогда в Литературном институте, где Бонди вел курс по Пушкину) записку. Почерк принадлежал ему — ясный, с красивым наклоном. Но понять, что в записке, было невозможно. Приставили зеркало и в зеркальном отражении прочитали многозначительный текст: «Был, но Вас не застал». И подпись.

На исходе «Оттепели», когда участились обыски и аресты и расхрипавшаяся было московская интеллигенция опять стала прислушиваться к звуку хлопнувшей дверцы автомобиля и шуму ползущего наверх лифта: «Не за мной ли?» — я столкнулась с Бонди в гардеробной института. В свои семьдесят лет был он подтянут и как-то легок. За наигранной беспечностью, однако, угадывалась скрытая нервозность... Шутя, как обреченный юродивый, он все повторял, бодро при этом подпрыгивая: «Придут, а у меня инфаркт и все в порядке! Инфаркт и все в порядке!» За ним могли прийти, как за всяким порядочным человеком. Времена, когда брали всех без разбору, вроде бы миновали.

За ним не пришли. В 1966 году после суда над Синявским и Даниэлем С.М. Бонди подписал открытое письмо в редакцию «Литературной газеты», озаглавленное «Нет нравственного оправдания». В письме говорилось: «Дело прежде всего в том, что сочинения Терца полны ненависти к коммунизму, к марксизму, к славным свершениям в нашей стране на протяжении всей истории Советского государства». Вместе с Бонди это письмо подписали еще семнадцать сдавшихся московских интеллигентов.

Аркадий был потрясен. Он знал Сергея Михайловича лично, относился к нему с огромным уважением, считал его выдающимся ученым и был автором статьи о нем в КЛЭ. Среди особо важных бумаг, которые Белинков хотел сохранить, я нашла этот номер «Литературной газеты» со статьей о нравственности по-советски. Некоторые абзацы Аркадий отчеркнул карандашом. Один из них я процитировала. Кроме того, нашелся конверт с адресом Бонди и вложенное в конверт гневное письмо, которое по неизвестной мне причине не было отправлено адресату, хотя к конверту уже была приклеена марка.

*С.Я. Маршак*

Благодаря Самуилу Яковлевичу мы однажды действительно ощутили связь и глубь времен. На какое-то мое замечание он откликнулся: «Вот-вот! Мне Стасов однажды сказал, что Гончаров всегда ему это говорил!» Гончаров! Он в школьной истории русской литературы идет сразу за Пушкиным... Такая непосредственная преемственность высокой культурной

традиции настолько ошеломила нас, что мы не запомнили, что же такого сказала я. Увы!

Что привело нас к Маршаку в первый раз, я тоже не помню. Может быть, сыграло роль то обстоятельство, что он, как и Чуковский, хорошо знал мать Аркадия. Мирра Наумовна была организатором выставки 62-го года в Доме детской книги, посвященной семидесятипятилетию Маршака. Совсем недавно архив Белинкова обогатился фотографиями этой выставки и книгами Маршака с дарственными надписями: на «Избранных переводах» — *«Дорогой Мирре Наумовне Белинковой — доброму другу нашей литературы и литераторов. С уважением и любовью. С. Маршак 10.X.1959 г.»*; на «Избранной лирике» — *«Дорогим Мирре Наумовне и Аркадию Викторовичу [Белинковым] с любовью. С. Маршак. 22.XI.1962»*.

Когда мы приходили к Самуилу Яковлевичу, нас угощали чаем. Московские знатоки писательского быта говорили, что это было редким событием. Чай подавался заранее подслащенным на кухне. Литераторы злословили, что на сахаре его экономка построила себе дачу в Прибалтике.

Маршак делил с Чуковским лавры создателя детской советской литературы. Им приписывали соперничество. Рассказывали, что однажды в коридоре некоего издательства Иракий Андроников заметил Маршака, закрывающего за собой дверь уборной. Чудодей устных рассказов и блестящий имитатор, он незамедлительно «воплотился» в Чуковского и, подражая интонациям его голоса, стал громко беседовать с проходящими по коридору сотрудниками и писателями, продержав Маршака за закрытой дверью больше часу.

Ходила также пародия на рассеянного с улицы Бассейной:

Проводивши на вокзал,  
Чуковский Маршака лобзал,  
А, покинувши вокзал,  
«Вот так сволочь!» — он сказал.

Имена действующих лиц, заметьте, легко переставляются.

По-видимому, репутация непримиримых соперников сильно преувеличена. В опубликованных дневниках Чуковского высказано о Маршаке много теплых слов (хотя и не без рассуждения на тему о том, как формула «Чуковский и другие» менялась в печати на «Маршак и другие»). А Лидия Корнеевна Чуковская, которой когда-то довелось работать вместе с Самуилом Яковлевичем в ленинградском Детгизе, всегда вспоминала о нем с большой теплотой.

Аркадий не причислял Маршака к «сдавшимся» (не за переводы ли сонетов Шекспира, которые знал наизусть?), Самуил Яковлевич был о себе того же мнения. При встречах оба находили много общих тем для обсуж-

дения. Я же про себя удивлялась: как мог писатель, пять раз награжденный Государственными премиями, быть уверенным, что никогда не угождал властям? Впрочем, он чем-то — может быть, легкой иронией, может быть, сдержанным чувством достоинства — неувлимо отличался от других советских писателей своего поколения. Не сказались ли его годы учебы в Лондонском университете перед Первой мировой войной? Во всяком случае, цену себе он знал. Однажды, после долгого занудного сидения в приемной министра культуры Большакова, так и не дождавись приглашения в его кабинет, он ушел, оставив записку:

У Вас, товарищ Большаков,  
Не так уж много Маршаков!

Последняя наша встреча с Самуилом Яковлевичем мне особенно запомнилась. Он был болен и принял нас, лежа в постели. Чаепития не состоялось. Около кровати справа стоял высокий баллон с кислородом: надо было непрерывно наполнять кислородные подушки. Одна из них лежала у него на груди. На столике слева в плоской пепельнице лежали дымящиеся папиросы. Самуил Яковлевич был отчаянным курильщиком. Говорить ему было трудно, он хрипел. Скажет несколько слов, вдохнет глоток кислорода. А потом затаится папиросой. Так и продолжалось в течение всего нашего визита: несколько слов, глоток кислорода, затажка папиросой; несколько слов, глоток кислорода, затажка папиросой.

Следующая сцена, имеющая отношение к Аркадию, закавычена, так как записана не мной.

«Искать в книге Аркадия Белинкова об Олеше объективную картину литературного процесса 20-х и 30-х годов — это все равно что пытаться найти объективную картину истории русского раскола в книге протоппа Аввакума.

Из всех писателей старшего поколения, сверстников Олеси и старших его современников, по-настоящему понял это только один: С. Я. Маршак.

— Вы читали? — спросил он меня.

— Читал.

— И какое у вас впечатление?

Зная реакцию всех “стариков”, я начал вилять: да, мол, конечно, к Олеше он несправедлив. Но...

— Голубчик, — сказал Маршак. — При чем тут Олеша? Разве это книга об Олеше?... Ведь это же — Герцен!»<sup>1</sup>

По-видимому, исторические имена несли у Маршака знаковые функции: Шекспир, Герцен, Гончаров, Наталья Николаевна Пушкина (ее кро-

<sup>1</sup> Сарнов Б. С художниками это бывает // Возвращение. М., 1991. С. 246.

шечный бумажный портрет соседствовал с его рукописями на письменном столе). Поистине связь времен!

Следующая часть этой главы могла бы быть названа «Заметки на полях». Она состоит из законченных и незаконченных, опубликованных и неопубликованных, шуточных или гневных работ и отдельных высказываний Аркадия Белинкова.

## ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ ЮРИЯ ОЛЕШИ И ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО

Правда искусства может не совпадать с истиной жизни, и художник может ошибаться; для искусства это значения не имеет. Для искусства имеет значение не правда жизни, а уверенность в своей правоте. Поэтому, несмотря на отнюдь не бесспорное утверждение одних людей, что Бог есть, и столь же проблематичное утверждение, что Бога нет, картина Луки Кранаха «Распятие» прекрасна и нравится и тем и другим, независимо от согласия с художником из-за бесспорного художественного аргумента.

<...>

**Юрий Олеша.** Если положить историю литературного творчества Юрия Олеша рядом с историей советской литературы, для которой он так много сделал, то станет ясным, как точно Юрий Олеша повторил горы и пропасти своего века, как оба они писали хорошо или плохо в хорошие и плохие годы.

Он был слабым, жалким, талантливым человеком, и он ничего не открыл, чего не открыла бы история литературы, чего не открыли бы за него. Он не возражал времени и его искусству. Он всегда был согласен. Он ничего не нашел, ни на чем не настоял, ни в чем не переубедил никого. У него не было своего определенного и независимого взгляда на жизнь и не было равных отношений с миром. Он не спорил со Вселенной. Он лишь старался попасть в хороший полк.

Я расскажу вам о смерти поэта.

Юрий Олеша умер так, как скорбно сообщается в некрологах: «после продолжительной и тяжелой болезни».

Он болел двадцать шесть лет, и когда вскрыли его архив, мы стояли растерянные и испуганные, не понимая, как двадцать шесть лет жил этот человек, скончавшийся после продолжительной и тяжелой болезни бесплодия, беспомощности, пустоты и страха.

За месяц до его смерти я сидел на железной бочке во дворе облитого солнцем писательского двора и, щурясь, смотрел на высокий балкон. На балконе стоял Юрий Олеша. Я помахал ему рукой. Он помахал мне. Я сидел на железной бочке посреди писательского двора (тогда я еще не был



даже членом Союза писателей), и одиннадцать этажей писательских жен презирало меня. Олеша бросил окурок, стараясь попасть мне в глаз. Потом махнул рукой и ушел. Я уже знал, что он махнул рукой на все сразу: на Вселенную, на писательских жен, на международное положение, на книгу о нем, которую я писал, и на бочку, закотившуюся в Замоскворечье. Но я заметил, что рука, махнув, остановилась на некотором расстоянии от бедра. Между ней и смертью поэта осталось небольшое пространство, которое, я знал, Юрий Олеша заполнит литературой. <...>

Вечером он позвонил мне.

— О чем Вы думали во дворе? О моей смерти?

— Нет, — сказал я, не наврав, — нет. Я думал о том, как Вы пишете свою смерть. Портсигар около глаза, отблеск на стекле глаза... То есть не так, конечно, а вообще, как Вы пишете, зачеркиваете, живете. Понимаете?

— ...Да, да, — сказал Олеша, — возможны варианты: медленно расширяется и останавливается зрачок. Правда, хорошо? Нет, лучше так: маленький, выпуклый шар глаза... А? Как Вы думаете?

Двадцать шесть лет писатель уверял, что литература — это метафора, психологизм, неологизм. Потом понял, какую роль играет эвфония.

Литературное развитие Олеша мало чем отличается от обычного развития художника его эпохи. Писатель был подчинен тем же законам, каким была подчинена вся литература, и поэтому проделал ту же эволюцию, какую проделали многие другие художники. Не замечалось, чтобы Юрий Олеша испытывал и особенные неприятности или особенное неудовольствие от подчинения этим и некоторым другим законам.

Юрий Олеша никогда не писал лучше и никогда не писал хуже, чем позволяли обстоятельства. Лучшие и худшие вещи Олеша совпадают с лучшими и худшими годами нашей жизни, с более темными и менее темными полосами нашей судьбы, с более трагическими и менее трагическими страницами нашей истории литературы.

Впрочем, два обстоятельства несколько выделяют Юрия Олешу из массового историко-литературного процесса.

Первое обстоятельство заключается в следующем: Олеша понимал, что законы развития искусства в обществе распространяются на него в той же мере, что и на других, и что если снимают с репертуара «Леди Макбет Мценского уезда» и не доводят до премьеры Четвертую симфонию<sup>1</sup>, то ему, Олеше, тоже будет труднее писать и печататься.

Второе обстоятельство состоит в том, что Олеша не хотел, чтобы законы развития искусства в обществе распространялись на него в той же

---

<sup>1</sup> Упомянутые опера, позже переименованная в «Катерину Измайлову», и симфония написаны Шостаковичем в 30-х годах. После постановлений ЦК КПСС 1946-го года они не исполнялись до периода «оттепели».

мере, что и на других. Он не любил массовых способов. Со свойственным ему даже в эти годы индивидуализмом он отвергал типовые проекты взаимоотношений художника с обществом.

Юрий Олеша ехал в той же литературе и в том же направлении, в котором ехала вся отечественная словесность 30—50-х годов. Разница была лишь в том, что он не сидел в этом трамвае, держа на коленях толстый портфель, как это делали его потолстевшие коллеги, а висел на подножке, развеваясь, как флаг русского свободомыслия, и изредка выкрикивал, что у него нет билета, что он едет в грядущее зайцем и что вообще он весь совершенно загаженный своей интеллигентностью. Но это были привычные историко-литературные резиньяции, непонятные народу и переполнявшие отечественную словесность последних полутора веков, что, впрочем, не сыграло какой-нибудь серьезной роли в ее поступательном движении вперед.

Для того чтобы все это было более понятным, я должен рассказать небольшую поучительную и в то же время печальную историю. История эта такова.

**[Виктор Шкловский]** Один некогда замечательный писатель (будем условно называть его «учитель танцев Раздватрис<sup>1</sup> в новых условиях»), великий и горький грешник русской литературы, каждая новая книга которого зачеркивала старую его книгу, улыбающийся человек, повисший между ложью и полуправдой, понимающе покачивал головой.

Пили чай.

Этот человек считает, что время всегда право: когда совершает ошибки и когда признает их. К этому человеку ходит много людей. Одни презирают его, другие, напившись чаю, хохочут над ним.

Пили чай. Обменивались жизненным и литературным опытом. Шутили.

Один из присутствовавших, давясь хохотом, рассказывал, что в издательстве «Советская Россия» чуть не вышла хорошая книга.

Другой, катая от смеха голову по тарелкам, вспомнил, как по ошибке переспал с женой одного своего друга, а должен был переспать с женой другого.

В годы культа, — рассказывал улыбающийся человек, — бывали случаи, когда в издательстве заставляли писать, что Россия родина слонов. Ну, вы же понимаете, — это не дискуссионно. Такие вещи не обсуждаются. Одиссей не выбирал, приставать или не приставать к острову Кирки. Многие писали: «Россия — родина слонов». А я почти без подготовки возмутился. Я сломал стул. Я пошел. Я заявил: «Вы ничего не понимаете. Россия — родина мамонтов!» Писатель не может работать по указке. Он не может всегда соглашаться.

---

<sup>1</sup> Персонаж из «Трех толстяков» Ю. Олеша. — *Примеч. ред.*

**Что касается меня**, то я старался, как мог, рассказать о том, что происходит с интеллигентом, наделенным истинным природным дарованием, но лишенным душевной стойкости и в связи с этим подвергающимся разнообразным колебаниям, амплитуда и направление которых находятся в строгой зависимости от ветра на данное число. Такой интеллигент под ветром с болезненными переживаниями и с большим мастерством старается перевыполнить норму, которую ему задает время. Я говорю об интеллигенте-пособнике, интеллигенте-переметчике, интеллигенте-перебежчике... выражающем общественный слой<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Портреты извлечены из второго издания книги А. Белинкова «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». — Н.Б.

## ПРЕКРАСНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

В связи с резкой утечкой денежных средств из кассы Литфонда Союза писателей СССР, вызванной чрезвычайно частыми выплатами мне по временной нетрудоспособности, было вынесено решение, по которому специально выделенные члены Правления СП СССР в количестве 213 человек должны были утром и вечером приходить ко мне домой (Москва Д-22, Малая Грузинская, 31, кв. 69) и громко кричать: «Какой у вас сегодня прекрасный цвет лица!» (Два раза.)

Чтобы не погибнуть в изнурительной борьбе, я бросился искать какой-нибудь исторический случай, какое-нибудь такое замечательное историческое явление, уже в свое время сразившее людей, заставившее их смириться с тем, что другой человек может быть действительно болен.

Перебирая в спецхране Ленинской библиотеки изречения халдейских материалистов, высеченные на плитах песчаника размером 86 x 111 см, 24 x 1268 см и 126 x 127,5 см, я вдруг вспомнил один исторический эпизод, одно замечательное историческое явление, происшедшее в более позднюю эпоху. Этот эпизод показался мне до такой степени важным как орудие борьбы, что я сразу же его записал и дал ему такое название: «Прекрасный цвет лица».

— Какой у тебя сегодня прекрасный цвет лица, — сказал известный советский писатель Виктор Борисович Шкловский, входя в кабинет выдающегося советского режиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна.

— У нас, сердечников, это бывает, — сказал Сергей Михайлович и, отвернувшись к стене, умер<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Б. Сарнов видел в концовке этого рассказа метафору о трагическом непонимании А. Белинкова его современниками. — Н.Б.

Аркадий Белинков

## ИЗ ДНЕВНИКА

Утром позвонил Чуковский и попросил написать главу для детского переложения Библии. Я с радостью согласился и предложил историю Давида и Голиафа, самую близкую и дорогую мне во всем своде: художник и грубая сила, роковая власть государства, поэт и толпа, поэт и чернь. Корней шумно обрадовался и начал с необыкновенным возбуждением кричать библейские строки, постепенно переходя на глоссоластию. Покричав некоторое время, он деловито сообщил, что к людям не следует относиться слишком строго, вздохнул и положил трубку.

Дрожа от восхищения, я сел за машинку и бросил пальцы на ее белые зубы.

Я работал до глубокой ночи и заснул за столом.

Меня разбудил телефонный звонок. Серый четырехугольник рассвета висел на черной стене.

Мающийся бессонницей Чуковский пропел в трубку:

— Как это прекрасно... Издаем! Наконец издаем! Шестьдесят веков глядят на нас! Великолепно... Я забыл сказать вам, что Детгиз оговорил два условия: во-первых, чтобы ни слова о Боге, и, во-вторых, за этим особенно смотрите, чтобы ни слова о евреях. Ни-ни.

С глубоким сочувствием я отнесся к начинанию Детгиза. Но как-то незаметно я почувствовал, что мое восхищение тает. Мне уже не хотелось писать так, как хотелось писать вчера.

Мне вообще как-то расхотелось писать. Я стал раздумывать, не бросить ли мне вообще это дело.

К вечеру, разочаровавшись, я твердо решил больше никогда не возвращаться к литературе.

Корней кричал глоссоластию. Я думал о бренности и превратностях нашего бытия в скорбной земной юдоли.

Бога не было.

Евреев не было.

Неколебимо и вечно над веками истории, над страданиями и радостями людей, над войнами, грехами и подвигами человечества сверкающим холодным кристаллом высилось Государственное Издательство.

11 января 1964 г.

Ю.Г. ОКСМАН  
(полный текст статьи для 5-го тома КЛЭ)

ОКСМАН Юлиан Григорьевич (30.12.1894/11.1 1895), г. Вознесенск, б. Херсонской губ. (ныне Николаевская обл. УССР). Рус. сов. литературовед, историк, текстолог, пушкинист. Проф., доктор филологич. наук. Окончил ист.-филологич. фак-тет Петерб. ун-та в 1917. В 1916 слушал лекции в Боннском и Гейдельбергском ун-тах. С 1919 преподаватель Петрогр. ун-та. С 1920 приват-доцент Новороссийского ун-та и проф. нар. обр. (Одесса). С 1923 проф. Петрогр. ун-та. С 1927 действ. член ИИИ, пред. Пушкинского комитета этого же ин-та, с 1933 член Пушкинской комиссии АН СССР. 1933 — 36 — зам. дир. ИРЛИ. В 1936 был арестован по ложному доносу. В 1946 освобожден, в 1956 реабилитирован. С 1946 по 57 проф. Саратовского ун-та. С 1957 по 64 ст. науч. сотр. ИМЛИ. Главные труды О. посвящены истории рус. лит-ры и обществ. мысли XIX в. Начал печататься в 1915 г. Первая печатная работа — «К вопросу о дате стихов Пушкина о дожде и догарессе» (1915). Начало научной деятельности О. связано с Петр. гос. архивом, где он руководил созданием фонда цензуры и печати. В 1918 О. становится одним из организаторов Центрархива РСФСР. В 1919 издает «Литературный музей» — первый сов. сб. архивных документов по истории рус. литер. и цензуры. В 1924—1926 редактировал (совм. с Б.Л. Модзалевским и П.Н. Сакулиным) первый сов. литературоведч. журнал «Атеней». О. опубликовал и исследовал архивные материалы по делу декабристов («Декабристы, неизданные материалы и статьи», 1925, и др.), сыгравшие важнейшую роль в изучении декабризма, Пушкина, Белинского, Тургенева. Характерная особенность исследований О. — установление истинного смысла события или явления, по-новому освещенного архивным материалом. Это связано с основным методологическим принципом его работ, по которому художественное произведение возникает и получает определенные свойства в результате разнообразных воздействий политической, общественной, культурной жизни эпохи и ее эстетических требований. Такая точка зрения вызвала резкое усиление роли исторического материала в его работах. Отличительным качеством О.-ученого явля-

ется единство литературоведа и историка. Придавая решающее значение внешним воздействиям (особенно политическим), О. решительно выступает против «социологического импрессионизма», со свойственным ему пренебрежением к конкретным историческим обстоятельствам. Особенное значение имеют его работы о декабризме. В ближайшей связи с ними находятся исследования, посвященные Пушкину — главной теме его литературоведческой деятельности. О. открыл и правильно прочел большое количество текстов Пушкина. Характерным признаком О.-пушкиниста является исследование мало изученных публицистических, исторических, лит.-критических произведений поэта. Итогом изучения жизни и деятельности В.Г. Белинского явилась кн. «Летопись жизни и творчества В.Г. Белинского» (1958, Премия им. Белинского АН СССР, 1961). Продолжением литературоведческой работы становится работа редактора: О. возглавляет научные издания (или принимает ближайшее участие в них) Рылеева, Пушкина, Лермонтова, Белинского, Тургенева, Герцена, Добролюбова, Гаршина. О. воспитал многих советских литературоведов. Среди его учеников: Л.Б. Модзалевский, Н.И. Мордовченко, И.С. Зильберштейн, В.Н. Орлов, Т.И. Усакина, Б.С. Мейлах, И.В. Сергиевский, Г.А. Бялый.

*(Далее в статье перечисляются работы ученого и литература о нем. — Н.Б.)*

Аркадий Белинков

КУКИШ В КАРМАНЕ  
(автограф на втором издании  
«Юрия Тынянова», подаренном Ю. Оксману)

Дорогим и любимым Антонине Петровне и Юлиану Григорьевичу.  
С нежностью и искренним уважением.

Я мог бы подарить вам эту книгу полгода назад, но в течение некоторого времени в издательстве «Советский писатель» решали: будем душить все или кое-что оставим. Решили: будем душить все. Полгода книга лежала на разных столах и мимо нее проходили торжествующие победители с кривыми губами. Потом что-то испортилось.

Решили: будем душить не все.

Победители подтянули губу и улыбнулись на данный исторический период. Волнуясь от собственной снисходительности, терпимости, деликатности и либерализма, они пустили книгу отвечать за себя самое.

В процессе ред. подготовки книга получила кодированное название: «Кукиш в кармане».

В издательстве о ней говорили так:

К о н ю х о в а (зав. редакцией критики и литературоведения): Маира Владимировна (секретарь редакции), а ну, дайте-ка мне «Кукиш в кармане».

М а и р а В л а д и м и р о в н а: Пожалуйста.

К о н ю х о в а: Марина Яковлевна (редактор), как у вас дела с «Кукишем в кармане»?

М а р и н а Я к о в л е в н а: Как вам сказать...

Все это крайне отрицательно сказывалось в процессе ред. подготовки.

В результате этого процесса и других социально-исторических процессов книги, которые мы издаем, оказываются хуже тех книг, которые мы пишем.

Я живу плохо. Безднадежность нашего бытия я ощущаю реально, как камень, который можно взять в руки.

*Ваш Арк. Белинков. 23.2.66.*



## СПАДАЮТ КРАСКИ ВЕТХОЙ ЧЕШУЕЙ (проект неосуществленной книги об И. Сельвинском)

Главная задача книги об И. Сельвинском в том, чтобы показать, как под ударами истории писателю удастся (или не удастся) сохранить человеческую и художественную свободу.

Заблуждения, сдача в плен, минутная слабость, страх и доход оказываются преходящими, а главным остается борьба художника за свое право говорить обществу то, что он о нем думает и что он хочет ему сказать.

Три русских поэта послереволюционной поры обладали силой и смелостью влиять на общество и не соглашались с ним. Это были Маяковский, Пастернак, Сельвинский.

Ничего не понял, но раньше всех почувал носом гения предстоящие неприятности и, задыхаясь, застрелился Маяковский. Прошел в истории, как под водой — в скафандре, — Пастернак, человек врожденной чистоты и острой брезгливости. Сельвинский больше их обоих понял, но больше их простил, больше уступил и больше всех русских поэтов разложил так старательно создававшееся благополучие литературного единомыслия.

Вместо традиционного анализа-описания произведений в книге будет сделана попытка показать эволюцию поэта. Эта эволюция будет поставлена в связь с некоторыми превращениями государства, возникшего в результате революции и прошедшего сложный, иногда противоречивый путь. Поэтому центральным мотивом исследования будет взаимосвязь истории страны и истории литературы с творчеством поэта. Со временем, делаящим с поэтом то, что ему, времени, нужно. Все литературы мира знали спорящих и не спорящих со временем поэтов, но в эпохи, когда поэты заняты тем, чтобы вовремя поспеть сдать, появился особый вид поэта — делающий вид, что он спорит. Поэтому книга о Сельвинском — это книга об интеллигенции и революции, о государстве и обществе, о поэте и власти. И это естественно, потому что исследовательский интерес направлен не на описание сделанного героем (тогда была бы необходимость говорить о «Судьбе человеческой, судьбе народной»), а на веч-

ном, никогда не прекращающемся споре человека (а художник — это наиболее полное выражение категории) и власти.

Совершенно ясно, что такая книга должна строиться не по жанровому, но по хронологическому признаку, ибо важен п у т ь поэта, а не «анализ образов». «Образы» — это то, что постоянно меняется в пути. Они изменчивы и функциональны. Неизменной остается только борьба со временем, в которой поэт терпит то большие, то меньшие поражения.

Одна из главных задач книги (без решения которой книга едва ли нужна) заключается в оптимальной, решительной и до такой границы, когда следующий шаг — это рассыпанный набор, переоценке эстетики, литературного процесса, писателей и книг 20-х годов. И в связи с этим, какая только возможна реабилитация конструктивизма (и, конечно, других оппозиционных течений). В связи с этим, центральным произведением становится «Пушторг». К нему стягиваются линии взаимоотношения человека и государства из «Уляляевщины» и «Записок поэта».

Будет проявлена вся сила стараний, изобретательности, ловкости, хитрости и фантазии для того, чтобы сказать как можно больше хорошего о Волошине, Ахматовой, Цветаевой, Пастернаке, Бабеле, Олеше, Мандельштаме и как можно больше плохого о Ермилове, Никулине, Коваленкове, Софронове, Шолохове, Грибачеве, Зелинском, Кочетове.

Самым трудным, несомненно, окажется вопрос о конструктивизме, ибо предполагается, что вопроса вообще никакого нет. Единственная победа, которая может быть здесь достигнута, — это демонстративное исключение разговора на эту тему. Так как отдельный большой кусок о конструктивизме неминуемо должен превратиться в изрыгание хулы, а истина и исследовательская совесть требуют как раз иного, то следует тщательнейшим образом кусок о конструктивизме рассыпать на отдельные строчки и отравить ими всю книгу (в наименее уязвимых местах). Что же касается осуждений, неминуемых по правилам игры в литературоведении, которой мы все занимаемся, то упомянутые осуждения должны быть выведены за круг тезисов и могут быть связаны с их носителями. Благо конструктивизм выпустил редкую даже для российской литературной группы компанию прохвостов. Если о самом конструктивизме так и не удастся сказать что-либо серьезное (т.е. хорошее), то можно утешиться тем, что представится возможность сказать хоть малую часть из того, что заслуживают его герои.

Конструктивизм был эстетической концепцией, выражающей антиномию «революция — анархия», и первой эстетической концепцией возникшего, крепнущего, готовящегося строить, карать, воевать государства. Конструктивизм хорошо почувствовал, какую социологию он переводит в

эстетику. Следует обратить внимание на то, что от вульгарного социологизма конструктивизм воспринял всеобщий, всенациональный закон, что связало его с Западом и превратило из историко-литературной частности в широкую социально-эстетическую концепцию. В книге будет рассказано об истории конструктивизма на Западе и в России, о конструктивизме в литературе, изобразительных искусствах (в том числе в архитектуре), музыке, кинематографе, о взаимоотношениях с футуризмом (революция и государство); о конструктивизме как методе, системе и технологии, стиле и жанре. Одним (sic! — *Ред.*) из важных вопросов, который будет рассмотрен в книге, — это вопрос о стиле и стихе. В книге будет очерк развития и падения русского стиха, будет предпринята безуспешная попытка понять [социологию] ритма. Причины возникновения более и менее прогрессивных форм. Лозунги борьбы. Что защищается в борьбе за стих, кроме стиха. Что такое исчерпанность просодии. Борьба с новыми формами в искусстве ведется всегда с особенной ожесточенностью тогда, когда искусство используется по внеэстетическому ведомству и перегружается воспитательной задачей. В этих обстоятельствах нужно только такое искусство, которое усваивалось бы на предмет принесения непосредственной и немедленной пользы. Тотальное возрождение отработанного стиха связано с общим упадком, с падением культуры, которую, конечно, не в состоянии заменить ни поголовная грамотность, ни массовые тиражи, ни гигантский кинопрокат, ни радиоувещевания. Силлабо-тонический, чисто тонический и тактовый стих. Пребладание и убыль классических и новых форм в истории русской и советской литературы.

Должны были произойти смещения исторических пластов, совершиться социальные катаклизмы и наступить распад общественной нравственности, чтобы западник-конструктивист начал дуть в шовинистическую трубу. Следует отметить и то, что поэт заиграл славянофильско-охранительный марш не по собственной догадке, а по велению времени в одном оркестре с собирателями русской земли, с К. Симоновым, Довженко, А. Толстым, В. Соловьевым, Л. Никулиным и прочими менестрелями национализма. [Следующую фразу восстановить не удалось. — *Н.Б.*]

И. Сельвинский перестал писать о революции. «Уляяевщина», «Командарм 2», «Рыцарь Иоанн» — все это для него потеряло значение и смысл. Вместо революции И. Сельвинский поет могучее, раскинувшееся от края и до края, великое, полное необыкновенных пейзажей, замечательных традиций, героических предков, радующих душу завоеваний государство. Вместо рыцаря Иоанна И. Сельвинский пишет Иоанна Грозного. Потом произошла какая-то путаница со словом «революция», и Сельвинский написал «Большой Кирилл», к революции отношения не имеющий. «Большой Кирилл» имеет отношение к панславянству, к великодержавному шовинизму и к славянофильскому титаническому самоуважению. Тирады на

тому «Россия укажет путь Европе» поражают не тем, что они могут появиться в воображении поэта, а тем, что поэт И. Сельвинский не постеснялся заимствовать их у другого специалиста по части шовинистических художеств, у своего предшественника и единомышленника, у М. Каткова.

В эту эпоху И. Сельвинский вместе с другими товарищами по перу борется с космополитизмом и вместе с другими товарищами по охране божественного и личного благополучия создает звериную, расистскую, шовинистическую концепцию, именуемую «борьбой с космополитизмом».

Шовинистические идеи в России всегда бродили на темных идеологических окраинах, но лишь в самые реакционные эпохи они выходили, приветствуемые жандармами, церковью и заглотанной государством печатью, на всеобщее обозрение. Когда же это происходило, то и эпоха и носители этих идей покрывались позором и отвергались с презрением. От этого не мог уйти никто. Герцен пригвоздил за это Пушкина, Белинский — Гоголя. Шовинизм и воспевание государственных непотребств не может остаться не отмщенным.

Шовинистическая ревизия русской историографии в искусстве (классическом и советском). Причины возникающих время от времени (но всегда в определенно окрашенное время) попыток пересмотра концепции на предмет реабилитации. Эволюция темы у И. Сельвинского от «Молодости Иоанна IV» до «Ливонской войны».

История, литература и причины новых жанрообразований. Что такое эпос И. Сельвинского (в том числе и драматургический). Сельвинский и русская стиховая драма, в частности историческая трагедия. (Сумароков, Озеров, Княжнин, переводы Жуковского из Шиллера, Кюхельбекер, Грибоедов, Шаховской, Пушкин, А.К. Толстой, Мережковский, Блок, Маяковский.) И. Сельвинский и так называемый расцвет советского исторического романа.

В книге о Сельвинском представляется широкая возможность говорить о стихе, о театре, о живописи и о других художественных явлениях. Например, о путях истории русской интеллигенции. Так как книга с самого начала посвящает на канонизированный институт монографии, вручаемой в качестве награды за выслугу лет, то будут употреблены значительные усилия на то, чтобы разрушить абсолютно неприемлемый для отечественного литературоведения жанр критико-биографического очерка.

Этот жанр неприемлем кроме всего прочего еще и потому, что он практически не существует. Он не может существовать при наличии уверенности, что жизнь человека, заслужившего право на монографию, должна строго соблюдать правила житийной литературы. Так как эти правила обычно нарушаются, то биографическая часть очерка сводится к сообщению о рождении, происхождении, выступлении, вступлении, погребении. Между творчеством и жизнью героя очерка неминуемо возникает разрыв,

ибо из такой биографии творчество не выводится, как не выводится из одного источника бузина и киевский дядька. Поэтому в каноническом критико-биографическом очерке вместо биографии существует анкета, которой хватает лишь на первую главу. Со второй главы начинается творчество, к первой главе отношения решительно никакого не имеющее. Всякое творческое проявление человека складывается из трех элементов: из биологических качеств человека, особенностей его судьбы (биографии) и из внешнеисторических воздействий. В связи с тем что два первых обстоятельства не подлежат обследованию, внимание должно быть сосредоточено на последнем. Оно тем более важно, потому что лучше других может объяснить, что такое сопротивление человеческого материала, на который обрушивается со своими задачами, прихотями, мелкими и крупными заботами, министерствами культуры, административным аппаратом, читателями, танками, карательной политикой время, в которое живет художник, могущий всему этому противопоставить лишь свою волю и свою самоотверженность.

В связи с попытками разрушения жанра будут произведены некоторые демонстрации: в частности, не будет названо отчество героя и не будут названы год и место рождения. Такого рода потери отлично окупаются впоследствии: этим обретается право не сообщать данные, органически присущие житийной литературе, как то: вступление, награждение и пр.

Главная задача книги об И. Сельвинском в том, чтобы показать поэта таким, каким он должен быть на страницах еще не написанной подлинной и не проданной истории русской литературы.

Это книга о большом поэте, который так много сделал, чтобы вычеркнуть себя из длинного списка страстотерпцев великой литературы, которому хватило таланта на все, только не на то, чтобы уничтожить себя, только не на то, чтобы [не] понравиться людям, тщетно пытавшимся уничтожить великую литературу.

Но поэт так много сделал, чтобы понравиться...

Художник-варвар кистью сонной...  
Но краски чуждые, с годами...<sup>1</sup>

Эта книга — попытка рассказать о красках, которые спадают ветхой чешуей.

---

<sup>1</sup> А.С. Пушкин. «Возрождение».

## НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Бонди, Сергею Михайловичу.

«[р. 13 (25). VI. 1891, Баку] — рус. сов. литературовед. Окончил историко-филологич. ф-т Петрогр. ун-та (1916). Начал печататься в 1918»<sup>1</sup>. Литературная деятельность завершилась 15.2.1966 («Нет нравственного оправдания. Письмо в редакцию»)<sup>2</sup>.

Рус. сов. литературовед Бонди Сергей Михайлович [13 (25).VI.1891 — 15.2.1966], полвека занимаясь изучением творчества великого русского поэта А.С. Пушкина, по невыясненным причинам (которые последующие поколения исследователей истории русской общественной мысли, несомненно, выяснят) забыл известное стихотворение великого поэта «На Воронцова».

Напомним содержание этого стихотворения.

В этом произведении рассказано о том, как один прохвост, лакей, трус, мерзавец и негодяй, сгорая желанием сделать удовольствие подлому российскому самодержавию, а себе получить благорасположение этого самого самодержавия, выразил радость в связи с судебной расправой над чистейшим и замечательным человеком.

В этом великом творении русского обличительного искусства есть строчки, которые пушкинист Бонди должен был бы хорошо помнить.

«Я очень рад», — сказал усердный льстец..  
.....  
Все смолкнули...<sup>3</sup>

Не все смолкнули, усердный льстец.

---

<sup>1</sup> Белинков А. Бонди Сергей Михайлович // КЛЭ. М.: Гос. науч. изд-во «Советская энциклопедия». Т. 1. С. 687—688.

<sup>2</sup> Литературная газета. 1966. 15.2. № 20 (3943).

<sup>3</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 1—16, 1937—1949. М.: Изд-во АН СССР, 1947. Т. 2. С. 378.

Сноски под письмом принадлежат автору. Предпоследний абзац письма — стандартная форма ответа заключенного на переключке.. — Н.Б.

Я, Белинков, Аркадий Викторович, 1921 года рождения, уроженец города Москвы, еврей, беспартийный, образование высшее, литературовед, не смолкнул.

Я говорю усердному льстецу: подлец.

6 марта 1966 г.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Дата поставлена автором. — Н.Б.

## Глава 9

Наталья Белинкова

### МАРШРУТ: МОСКВА — ВЕНА

Уходила, убывала, таяла земля великой России, гениальной страны, необъятной тюрьмы.

Аркадий Белинков

*Древняя Русь. Опустелое пространство в Святогорском соборе. Таллин. Документы для ОВИРа. Первое пересечение советской границы. Аллея Уяздовских в Варшаве. Второе путешествие в Восточную Европу. В Праге мы узнаем о танках на советской границе. В Белграде нас догоняет разгромная статья «Литературной газеты». Мы нарушаем законы вежливости и правила осторожности. Что раньше, я на ходу вскочу на подножку или Аркадий спрыгнет с поезда? Мосты сожжены.*

Наш побег в Америку начался с поездки по России в 1966 году. Казалось, нам это не по плечу: здоровье Аркадия катастрофически ухудшалось. Опять, как о последнем средстве, заговорили о положительных эмоциях. Где их взять в стране, возвращающейся к сталинизму? Никто не смог дать подходящего совета. Но был один выдающийся врач Исаак Григорьевич Баренблат<sup>1</sup>. Он посоветовал путешествие. Аркадий принял эту идею с восторгом. Его родственники с ужасом. Как только поезд тронулся и замель-

---

<sup>1</sup> Баренблат занимался частной практикой. Он был широко образованным человеком и талантливым врачом, специалистом, совмещающим, как сейчас бы сказали, традиционную медицину с альтернативной. Иногда он добивался выздоровления своих больных, всего лишь отменяя прежние многочисленные их лекарства. Жизнерадостный и остроумный, он развлекал своих пациентов и пациенток анекдотами и политическое, и медицинское свойства. «Как стул?» — машинально спрашивает Баренблат, начиная осмотр. В ответ пациент смущенно молчит. Понимая, в чем дело, врач прописывает слабительное со словами: «Маркс учит: человечество должно смеяться расставаться со своим прошлым!» Его визиты стоили недешево. Если у пациента не было денег, он почему-то догадывался об этом и тогда решительно отказывался от гонорара. Через его руки прошло огромное число благодарных москвичей, но в Москву он приезжал нелегально, так как ему был предписан 101-й километр. Невероятно! Его посадили за анекдоты при Хрущеве. Прозрев после XX съезда, Баренблат не остановился на анекдотах про сталинские времена, а понесся вперед, повторяя чужие или придумывая свои на злобу дня. Его судили, приговорили к трем годам, через год выпустили, но в Москву не пускали. Ходили слухи, что суд над ним был единственным в своем роде. Характер «вещественных доказательств» был таков, что весь состав суда умирал от смеха.



кали подмосковные станции, Аркадий стал у окна в проходе вагона и до темна не мог оторваться от полей, перелесков, деревень: близлежащие проносились с такой скоростью, что их нельзя было рассмотреть, а дальние уплывали медленно, и за ними можно было долго следовать глазами... Он был одухотворен, возбужден и даже перестал задыхаться. Должно быть, он так себя чувствовал десять лет назад, когда вышел из лагеря. Да и теперь мы отправлялись в места, когда-то бывшие вольными территориями: Псков, Новгород, Таллин.

Поездка была трудной. Мы передвигались на поездах, автобусах, попутных машинах, ночевали где придется и питались как попало. Поездка была восхитительной. Ни газет, ни радио, ни телефонных звонков. Не надо перепрыгивать тексты, спорить с редакторами, бесконечно переписывать рукописи.

Как в целительную воду, нырнули мы в двенадцатый век из двадцатого.

Древняя Русь открылась в Пскове. Старинный северный город торжественно проступал через унылую современную архитектуру и тусклый быт советской провинции. Звонницы, подворья, монастыри, крепостные башни... Русские зодчие всегда вписывали свои храмы в пейзаж. Псковитяне их вписывали в небо! Небо тут пасмурное, купола церквей серебряные. «Северный», «пасмурный», «серебряный» — звуковое восприятие накладывается на зрительное. Каменные стены сужаются кверху не только по закону перспективы, но и по замыслу строителей. Взгляд паломника цепляется за шероховатую поверхность стен, пробирается через несложный лабиринт маленьких окошечек и куполов, скользит по гладкому серебряному куполу и, набрав скорость, взмывает вместе с крестом прямо в небеса. Законы земного притяжения уже не действуют. Дух захватывает. Или, отлученные от Бога всем опытом советской жизни, мы, сами того не сознавая, приближались к Всевышнему?

Чтобы попасть внутрь соборов — тех, что не превращены в казенные склады керосина или картофеля, — надо было получить пропуск в райкоме партии. Аркадий предпочитал разыскивать старожилов, живущих по соседству с памятниками старины. За небольшую мзду они раскрывали перед нами тяжелые двери, скрипевшие на ржавых петлях.

С трепетом вступали мы в пустые, заплесневевшие помещения. Из разбитых окон дуло. Под сводами шаркали крыльями птицы. Обутый в валенки старик объяснял, указывая наверх: «Это — купол, или, по-научному, — кумпол». Терракотовые лики неподвижных святых косили белки внимательных глаз: «Зачем пришли? Из пустого любопытства?» В гулкой тишине мы беззвучно с ними объяснялись. Святые учили читать свет и тени, показывали Саваофовы лучи, уводили в иные измерения. Что-то внушали. Искусство священнодействовало.



*Александр Федорович и Мария Тимофеевна Дергачевы. 60-е – 70-е годы*



*Виктор Лазаревич Белинков. 1974*



*Мирра Наумовна Белинкова. 1950-е годы*



*Аркадий Белинков — автор «Черновика чувств». 1943. Этот портрет украшал рукописный экземпляр романа, пролежавший в архивах КГБ 50 лет*



*Марианна Рысс – героиня первого романа. 1940*



*А. Белинков – режиссер лагерного самодеятельного театра.*



*Эта фотография А.И. Солженицына ходила в самиздате*

Вран в красной шляпке слезами на лобике.

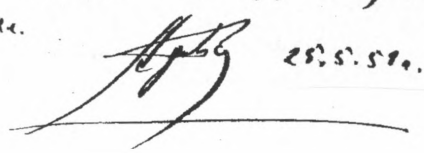
От брата Вадимовича Федоренко: сразу убежавший карманный  
мешочек и куртку, Кошкин ищет двери, он бежит в  
лучше двери второго этажного здания, в котором была сейчас  
шурша сводился урманды Арсави. Умел он в предвкуше  
реализоваться ночь, когда переключил геру ищущий души, убежал  
карманный мешочек и куртку, ищущий карманы и о рас  
шнурке рваный билет в расположенные двери этого  
ного здания, в котором было стахановское семейство  
лей пошел от коммунистического здания.

По ассигновке следовал в этот заводской курлянский, ирмен  
ноя и ищущий души, сидели Марианна и Я.

Маша - жаворонка излучающего здания, легкое место  
с рваными мешочком и курткой. - ППЧ!!  
Маша работала! - краснела брат! краснела шляпка, и как  
мешочек в ходилому хари.

- Ма, - рваный мешочек, и как шляпка. Маша модница у лавки. Каша  
маша  
- Вран! - рваный мешочек! Не лез! Да лавка, сухие каша!  
(Каша виласи мешочек)

Рубонисе расквара се Гелового Милова  
капичеси милом и чу'ма у мичу чрп  
овисе.

 28.5.59.





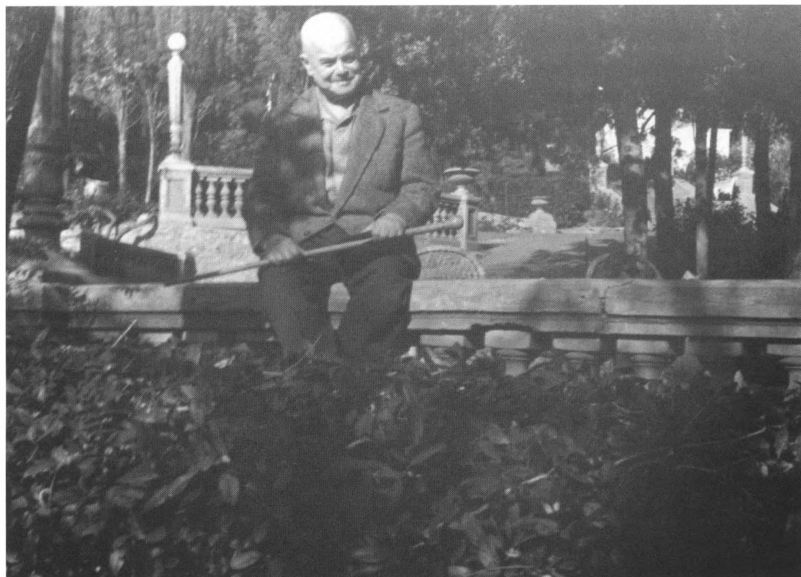
*Наташа Дергачева. 1956. В этом году мы познакомились с Аркадием*



*Подмосковные посиделки. 1960.  
В центре – Аркадий, слева от него – Наташа. Справа – Лиля Горчакова*



*С.Я. Маршак на выставке, посвященной его творчеству. Слева от него – устроительница выставки М.Н. Белинкова. Дом детской книги. 1962.*



*В.Б. Шкловский. Фотография, подаренная Аркадию в 1963 г.*



Начинаешь интересоваться фамилией цензора  
взвешивая, как бы написать из-за обветшалой  
«классики» по-прежнему неграмотно,  
как классика-лучше, не вразумительно  
высказываясь. Книга, дающая урок,  
там была, - милое, выдержанное, скромное

*Юрий Тынянов*

*А. Белинков*  
8 марта 1966 г. А. БЕЛИНКОВ

# ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

Издание второе

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА · 1965

Предполагалось, что этот портрет Ю. Н. Тынянова будет помещен на фронтиспise «Юрия Тынянова» (второе издание 1965). Непреднамеренно в текст под фотографией попал рукописный текст Ю.Н. со словами: «начинаешь интересоваться фамилией цензора». Вся страница с портретом, текстом и автографом была выдрана из готового тиража. На титуле — автограф А.Б.



*Наташа и Аркадий Белинковы.  
Только что вышло второе издание «Юрия Тынянова». 1966*



Уже не попутчик я,  
я — сопр.



Автограф: Ю. Олеша.

Подпись для  
вечности: Юрий Олеша.

Примеч. В. Каменского

\*) Слово «Сопролетарский» (попутчик) не  
идет на пользу В. Олеша — соплетар-  
ский. К сведению Корн. Зелинского. В. Каменский.

Этот документ с двумя фотографиями Олеша был получен в ЦГАЛИ. Он красноречиво характеризует как писателей, так и их время. Рукой прозаика Олеша написано: «Уже не попутчик я, — я — сопр. Автограф: Ю. Олеша» и «Подпись для вечности: Юрий Олеша». Рукой поэта Каменского добавлено: «Примеч. В. Каменского. \*) Слово «Сопролетарский» (попутчик) не выходит — соплетарский. К сведению Корн. Зелинского. В. Каменский». Корнелий Зелинский — советский критик. Дата неизвестна. Возможно, после 1932 года



*К.И. Чуковский. Переделкино. Он говорил: «80 лет? Чудесный возраст!».  
Дата снимка неизвестна.*

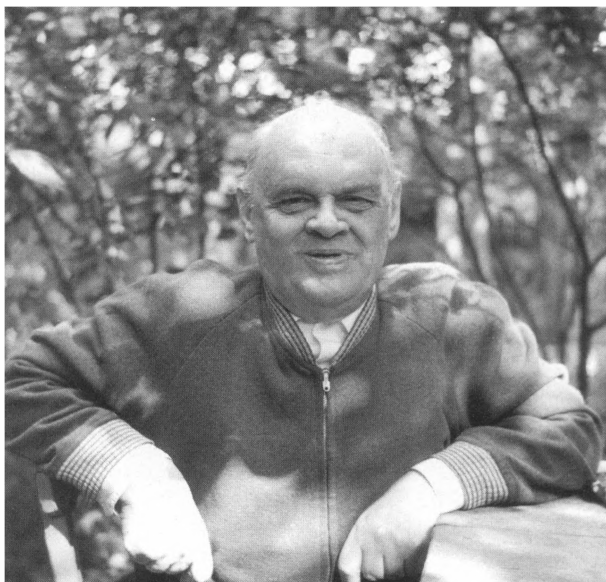


Дорогому  
Аркадию Викторовичу  
Белинкову  
от бывшего автора -  
говоря и бывшего, так как  
имя мое упразднено  
указом бывшего торк-  
вемады III ранга Семичаст-  
ного от какого-то декаб-  
ря 1864 года.

10/XII 1966 г.  
Москва

Ю. Оксман

Дарственная надпись на оборотной стороне обложки сборника «Из истории общественного движения и общественной мысли в России в XIX веке»:  
«Дорогому Аркадию Викторовичу Белинкову от бывшего автора – говоря «бывшего», так как имя мое упразднено указом бывшего торквемады III ранга Семичастного от какого-то декабря 1864 года. Ю. Оксман. 10/XII 1966 г. Москва».



*Ю.Г. Оксман в год нашего отъезда из СССР. 1968*



Старинная мелодия, исполнявшаяся трубачом на башне Мариуцкого костела в Кракове. XIII век. Мы ее услышали в XX веке



*На набережной в Гдыне. Любуемся свободной стихией. 1967*



*Освенцим. Blok śmierci. Открытка. На обороте: «20 окт. 1967. Сегодня снова увидел, что такое фашизм. Арк. Белинков».*



*Прага. Градчаны. Решетка президентского дворца. 1 мая 1968.  
Эту фотографию Аркадий назвал «В лагере социализма».*



*Угол кабинета в нашей квартире на Малой Грузинской улице в Москве. В 1968 году редкое собрание книг было конфисковано, а пишущую машинку Аркадий, по его выражению, «перенес» на письменный стол в другой стране.*

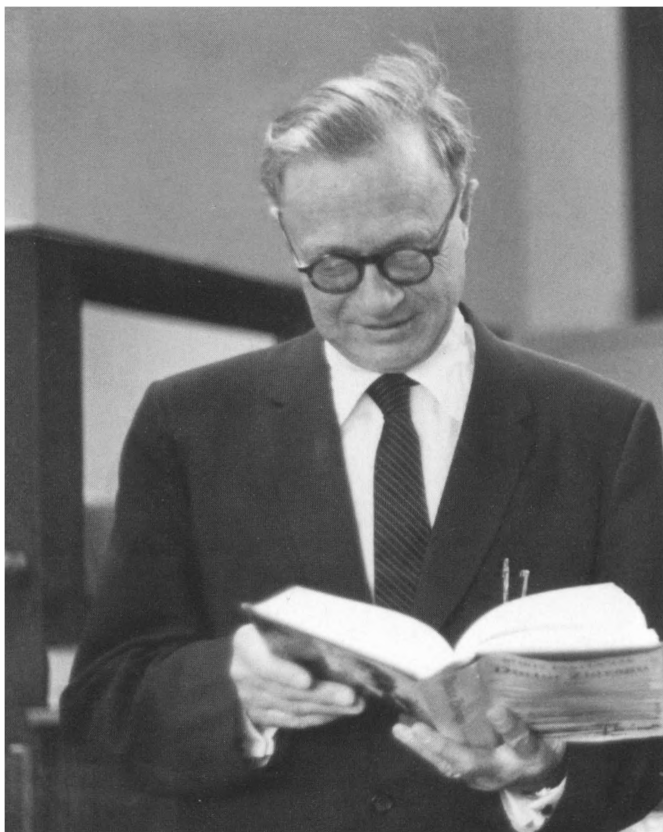


*Аркадий Белинков в Нью Хейвене. Сначала мы поселились на Уодвард авеню недалеко от университета. Зима 1968*





*Аркадий и Наташа Белинковы. Нам кажется, что все страшное позади. 1968*



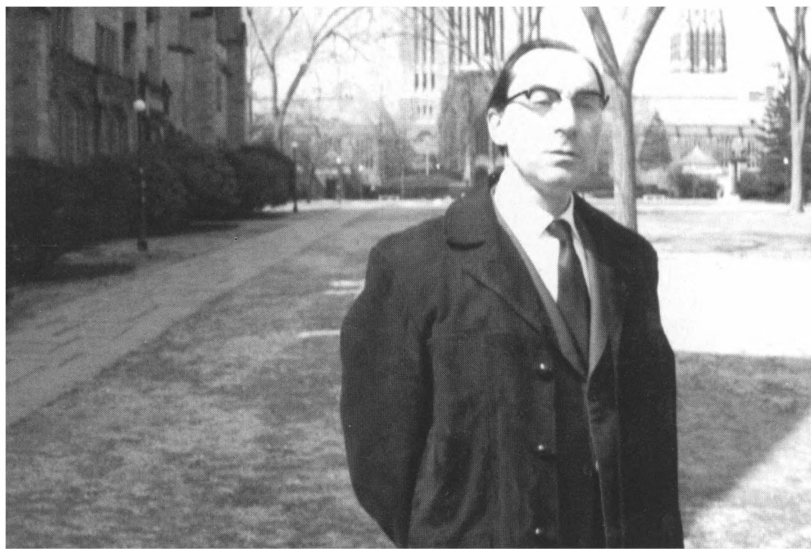
*Г.П. Струве — наш первый гость в Америке. Фото 1960 года*



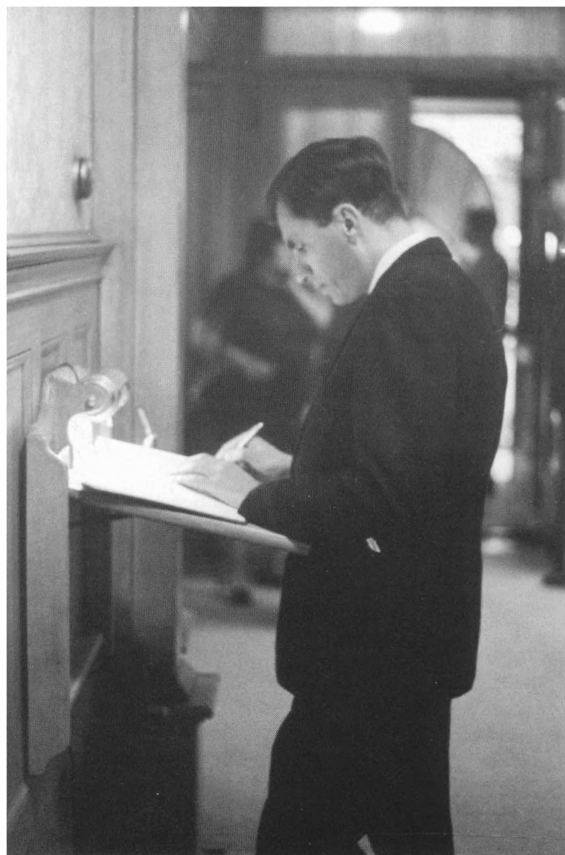
*А.Белинков и В.Ляпунов (наш коллега и самоотверженный помощник). 1968*



*Сидят: Татьяна Раннит, Наталья Белинкова, Алексис Раннит.  
Стоят: Аркадий Белинков, юная гостья Раннитов. 1969. В этой семье мы  
нашли тех западных людей, к которым мысленно обращались, живя в СССР.*



*Аркадий Белинков. На территории Йельского университета. 1970*



*Эдуард Штейн на гражданской панихиде по Аркадию Белинкову, которого он называл своим учителем. Нью-Хейвен. 1970*



*Открытие «Полки Белинкова» в библиотеке университета им. Джорджа Вашингтона. Слева – В. Юрасов и Н. Белинкова. Справа – Е. Якобсон и В.Эрлих. 1974*



*Подруги. Наташа Белинкова (слева) и Алла Кторова (справа) на открытии «Полки Белинкова». Выставлены: «Новый колокол», «Юрий Тынянов» и первый роман Кторовой «Лицо жар-птицы». 1974*





*Презентация романа «Черновик чувств» в Центральном Доме Литераторов.  
В президиуме слева направо: Н. Белинкова-Яблокова, Бенедикт Сарнов,  
Леонид Зорин. Выступает Галина Белая. Москва. 1996*

В отличие от Пскова старина праздничного Новгорода была подновлена свежей краской. Город уже приспособляли к туристской показухе. На руинах соборов, так и не восстановленных со времен войны, висели одинаковые аккуратные надписи: «Разрушено немецкими оккупантами». (Надписи никого не обманывали.) Ах, в этом городе памятники архитектуры пели, и пели их наименования. Камушками по быстрой речке перекачивалось «р» в названии церкви «Федора Стратилата на ручью». Мы скандировали весь день: Стра-ти-ла-та-на-ручью-Стра-ти-ла-та-на-ручью...

В сумеречной церкви Спаса Преображения на Ильине улице у нас состоялась встреча с Феофаном Греком. Его столпники и праотцы расположились на внутренней стороне мощных сводов храма. Взирая на нас сверху вниз, они вздымали руки, готовы были броситься на чужаков, уличали в несправедности, требовали исполнения Долга. Седые их волосы и бороды развевались. Тревожная святость. Беспокойная величественность. Фанатики. Восхитившись и пожившись, выходим на современную, многолюдную улицу.

После Новгорода — в Михайловское, к Пушкину.

По дороге мы предполагали остановиться в гостинице на окраине города. Вестибюль гостиницы походил на зал ожидания на железнодорожном вокзале времен войны. На мешках и чемоданах сидели измученные, покорные женщины с ревущими, рвущимися куда-то детьми. Ни на что не надеясь, показываю чистенькой девушке в окошечке членский билет Союза писателей. Она мило улыбается: «Да-да, пожалуйста!» А на полу шевелится табор неприкаянных людей. Свирепо взглянув на меня, Аркадий отказывается от номера. Прыткая тетенька — она давно тут поджидала случая — предлагает снять комнату у нее: «...тут, совсем недалеко». Километра три тащимся по солнцепеку, по открытому полю. Тетка помогает нести вещи. В ее избе нестерпимая жара — чинят и, проверяя качество своей работы, топят печь. Ночью Аркадий перенес легкий сердечный приступ — первый за все путешествие. Тем не менее едем дальше.

Ранним утром, преодолевая напор толпы, втиснулись в автобус, набитый крестьянками с узлами, торговками с бидонами. Удалось даже занять сидячие места. Достали наши дорожные блокноты. Аркадий всегда что-то записывает. Я по памяти делаю зарисовки церковью и куполов. (Купола всплыли у Аркадия в прощальном «Слове о Костерине» два года спустя.) Поначалу не замечаем, что в нашу сторону подозрительно косится сухонький, рыжеватый мужичок. Распаляя себя, он затевает громкий скандал. Кричит что-то о шпионах, матерится, рвется к нам с кулаками, требует, чтобы нас сдали в милицию. Шоферу это довольно скоро надоедает. Он резко останавливает автобус, безжалостно вышвыривает рыжего в

чистом поле и дает газ. Беспомощная одинокая фигурка отчаянно жестикулирует, осыпая нас проклятиями. Рыжие волосики прозрачным нимбом шевелятся на буйной его голове. Злобный, тщедушный — жалкая пародия на святых Феофана Грека.

И вот XIX век. Обветшалые строения провинциальных помещичьих усадеб, когда-то роскошные, а ныне запущенные парки. Старинные серые погосты с разграбленными склепами. Ширь полей, даль лесов.

Впереди — Святые Горы. В советское время город переименовали в Пушкинские Горы. Трудящиеся массы упростили. Получилось нечто чудовищное: «Следующая остановка “Пушгоры”. Конечная!»

Мы начали с Михайловского. Сумрачные гостиные, свежие цветы на мебели красного дерева. В спальне — чурбачок под кроватью вместо сломанной ножки. «Все, как при нем», — говорит директор музея Семен Гейченко. И в саду, на скамейке, растрепанный том Парни.

И без цитат на заботливо расставленных щитах — каждый в подходящем случае месте — узнается и скамейка над Соротью, где сиживал поэт, и деревце с дуплом, куда, забавляясь, положили не то колечко, не то монетку (деревце — молодое, посаженное вместо погибшего), и древняя замшелая ель (мы видели ее в последний год, теперь она уж развалилась и заменена другой), и младая в пушкинские времена роца (она разрослась и тоже стареет). Уникальный, живой музей...

Идем по аллее Керн. Почти все липы сохранились. За ними бережно ухаживают. У погибших деревьев срезаны сухие верхушки, трещинки обиты полосками гибкого железа, замазаны, покрашены темно-зеленой краской. Не деревья — памятники.

«Душе настало пробуждение...»

Вдали появляется пара. Он в черном, с фотоаппаратом на шее. Она в красной вязаной кофте. Упитанная молодая женщина пытается залезть на то, что осталось от дерева. Мужчина нацеливает аппарат. Летят кусочки бесценной коры. Задыхаясь, Аркадий бросается спасать народные ценности: «Чего же вы на стены лезете?». Плотное тело испуганно спрыгивает. Упершись руками в роскошные бедра, молодуха тарашится на него, как на сумасшедшего, и с надрывом: «Какая же это стена?! Это пень!!!». И в самом деле...

В Святогорском (Пушгорском?) соборе мы благоговейно замерли около огороженного бархатными канатами опустелого пространства, в котором перед выносом стоял гроб с телом Пушкина, и не нашли ничего сказать разудалым молодым людям с папиросками в зубах, снимавшимся на карточку у железной ограды, окружавшей могилу поэта. «Здравствуй племя, младое, незнакомое!»

«Делу — время, потехе — час» — говорит пословица. Каникулы кончались. На горизонте — современная Москва. Оттягивая возвращение,

мы завернули в Таллин. Заграница на территории Советского Союза! Историческая память здесь еще не оборвана. Культурные традиции сохранены. О нравственном здоровье угнетенной маленькой нации Аркадий впоследствии напишет в очерке «Прага, весна, зима...». В Таллине он нашел своих единомышленников. Именно здесь мечта о побеге, как боль, обострилась.

Не случайно Таллин стал отправной точкой нашего побега в рассказе Белинкова «Побег», написанном уже за границей. К реальному событию этот город имеет такое же отношение, как литературный герой к своему прототипу. «Протофакт» стал фактом литературным.

1967 год. В стране — закат разрешенной свободы. В нашей жизни — репетиция пересечения государственной границы.

Воодушевленный путешествием прошлого года, Аркадий начал думать о поездке за пределы страны. Но его политическое прошлое! Он был «невыездным». Изредка делались исключения для тех советских граждан, которые ехали «по частному приглашению» и то только в Восточную Европу. Заиметь такое приглашение для Аркадия не составляло большого труда: его посещали зарубежные специалисты по русской литературе, у него неофициально стажировались аспиранты из-за границы.

Аркадия пригласили в Польшу. Готовясь к поездке, он то и дело повторял герценовское: «За нашу и вашу свободу!» Для оформления визы надо было представить в ОВИР массу документов, в том числе справки о состоянии здоровья и характеристики с места работы.

Вместо того чтобы идти в поликлинику Литфонда, где страдающий пороком сердца Белинков находился под постоянным наблюдением, он пошел в районную поликлинику, в которой ни разу не был обследован и где на него даже не была заведена история болезни. Там он получил необходимую справку беспрепятственно.

За характеристиками мы обратились не в Союз писателей, а в группом литераторов при Литфонде. (Здесьняя не маститая молодежь Аркадию была ближе по духу.) Подписав характеристики, удостоверяющие нашу моральную устойчивость и политическую грамотность, председатель группкома неожиданно наклонился ко мне и прошептал: «Если вздумаете оторваться — отрывайтесь. Аркадию Викторовичу тут делать нечего».

«Оторвались» мы только в следующем, 1968 году. Сейчас мы ехали за кордон, уверенные, что вернемся. С большим волнением мы ждали пересечения государственной границы в первый раз. Кроме удивления, что никаких чувств по поводу «отрыва от родины» мы не испытали, других

переживаний не было. И пограничный, и таможенный досмотры прошли благополучно. Документы в порядке. Ничего недозволенного. Разве что красивый грузинский нож — не то сувенир, не то оружие. (С уезжающим всегда передадут в подарок для своих друзей что-то неподходящее.) На столике у окна лежали остатки еды. Аркадий воткнул нож в буханку хлеба так, что торчала одна рукоятка. Нож не заметили. И на то, что этот пассажир внимательно обследовал вагон, примериваясь, куда можно в будущем запрятать рукописи или пленки, никто не обратил внимания.

Польша опровергла массу ходячих стереотипов. Удивляться мы начали еще на варшавском вокзале. В этой социалистической стране на стенах общественных зданий висели не лозунги, а рекламы. На рекламах — красавицы. Красавицы с цветами, красавицы с духами, красавицы на автомобилях и мотоциклах. И наискосок по рекламе — *урода*. Мы испытали легкий лингвистический шок: почему уродина? Что бы — *красотка!* Не раз созвучность славянских корней подводила нас в этом путешествии. Один варшавянин долго объяснял мне, как дойти до Старого мяста: «Идите вправо, потом влево, потом просто», — терпеливо повторил он раз десять. «Это для вас просто, Вы — местный!» — готова я разрыдаться. Не помешало бы знать заранее: «просто» по-польски означает «прямо», как и «уро-да» — «красавица».

Хотя Польша и находилась под советским контролем, окна ее были открыты в Европу. Оттуда тянуло свежим ветерком. «Идемте, поговорим...» — приглашали нас друзья и вели в кафе. Разговаривать на политические темы в кафе? (Невероятно.) Незнакомые люди подходили к нам на улице, на остановке трамвая, в музее, заводили разговор на русском языке, приглашали в гости. (Где антисемитизм и русофобия?) Прохожий — он оказался учителем русского языка — услышал русскую речь у витрины книжного магазина и пригласил нас в Гданьск. В поезде разговорились с приветливой супружеской парой, и нас пригласили посмотреть Гдыню. Таким образом мы попали в города, куда даже не ожидали попасть. Только раз возник конфликт. Заблудившись в Варшаве, Аркадий спросил у молодой элегантной полячки, как попасть на площадь Дзержинского. «А зачем это вам? — вопросом на вопрос ответила женщина — У вас это тоже есть!»

Удивляло отношение к религии. Она была органической частью городского быта. «Уродки-красавицы» в коротеньких юбочках, простучав по тротуару соблазнительными ножками на высоких каблуках, забегали в костел, преклоняли голенькие колена и бежали по своим делам дальше. А костел был всегда по пути — он вписывался в соседние жилые дома на той же улице.

Старые и малые гордились прошлым своей страны и, польщенные чужестранным интересом, любезно объясняли, где находится замок крулевский. Просто!

На Уяздовских аллеях мы проехали мимо особняков, над которыми были вывешены иностранные флаги. «Посольства» — объяснили нам. Охраны никакой. «Так прямо можно и зайти?» — спросил Аркадий. Ему утвердительно кивнули в ответ, и он этот ответ запомнил.

Мы купались в исторической роскоши дворцов, костелов и музеев, дышали свободно, и Аркадий чувствовал себя почти здоровым, только раз решительно отказался подниматься на очень крутую каменную лестницу. Срок пребывания в Польше кончился в начале ноября. Но мы еще не везде побывали, не все осмотрели, не все выводы сделали. Продлить визы в особняке на Уяздовских аллеях нам не удалось. «Не хотите встречать великий праздник на Родине?» — зловеще спросил служащий советского посольства. Бдительный.

Продлил визы добродушный консул в Гдыне в обмен на обещание «товарища писателя» выступить перед «славными советскими воинами». Во все время разговора он ловко вытирал рукавом мокрый нос и, между прочим, доверчиво поведал о том, что советские не столько Польше помогают, сколько вымогают: добытый в стране уголь, отправляемый в СССР, остается там вместе с товарными вагонами.

Выступление не состоялось. «Товарищ писатель» с женой выехал из города накануне намечавшегося собрания.

Наш маршрут расширился. Мы обследовали Майданек и другие страшные памятники нечеловеческой жестокости. Аркадий со знанием дела расспрашивал о размере «пайки», о порядке развода на работу, о ширине распашки по обе стороны колючей проволоки. За исключением газовых печей и бешеного темпа, в котором нацисты заставляли двигаться заключенных, все сходилось с тем, что лагерникам приходилось испытывать на территории ГУЛАГа. Сам собой возникал вопрос: кто кого копировал? Аркадий всегда считал, что фашизм и социализм советского типа — явления одного порядка. Здесь это подтверждалось наглядными пособиями лагерей смерти. В Польше об этом родстве заговорили вслед за разделом страны между Гитлером и Сталиным в 1939 году и уже не сомневались после Катыни. А в пору, когда Империя зла затрещала по швам, жители Восточной Европы вынесли это равенство на свои лозунги.

Страна, которую мы для себя открывали, обнажала резкие контрасты. И нас бросало от одного к другому. Из Майданека мы попали в древний Краков с его музеями, средневековым университетом и старинной биб-

лиотекой. Над городом возвышался «замок крулевский» Вавель: бесценные гобелены, расписные потолки и аркады времен Возрождения. А на центральной площади города расположились два средневековых здания: вытянувшиеся вдоль площади торговые ряды суконщиков и устремленный в поднебесье Марицкий костел с короной на шпиле. Внизу — столики под разноцветными зонтиками, беспечные туристы, воркующие голуби.

Высоко, высоко, под самым готическим шпилем костела каждый час распахиваются окна на юг, на запад, на север, на восток. Окна находятся так высоко, что их почти невозможно разглядеть. Только маленькая бронзовая точка сверкает на солнце. Нам объяснили: это жерло трубы. Одетый в средневековые одежды трубач исполняет там старинную мелодию. Она кажется такой хрупкой... Она струится на все четыре стороны света и звучит три раза и еще раз. В этот, последний, она обрывается на щемящей ноте.

Нежная песня без слов служила — кто бы подумал? — сигналом, предупреждением об опасности. В тринадцатом веке во время татарского нашествия вражеская стрела вонзилась в горло трубача на последней ноте. В память об этом событии вот уже семьсот лет, каждый час, мелодия обрывается. И однажды услышав ее, я все решаю и все не могу себе уяснить: что сильнее — искусство или грубая сила, разрушающая его? Трубач был убит? Был. А музыка его жива? Живет...

После этого путешествия мы стали «возвращенцами». На следующий год Аркадий получил частное приглашение от Брониславы Трбоевич — молодой преподавательницы университета в Загребе. Но Югославия во всех советских инстанциях была приравнена к капиталистической стране, и получить туда визу было почти невозможно. Однако весной 1968 года положение изменилось: трудно было попасть в Чехословакию и Польшу. И тогда мы стали хлопотать о визах в ранее запретную страну. Для этого была использована уже оправдавшая себя схема получения справок и характеристик.

Председателем группкома на этот раз был большой друг Аркадия, но и ему мы не сказали ни слова. Разрешительного напутствия в этом случае не было, и тем, что наше бегство удалось, мы, конечно, очень его подвели. Приношу ему поздние извинения.

В Югославию мы отправились в поисках счастливого случая, который, может быть, приведет нас к свободе. Отъезжая от перрона Киевского вокзала, мы не знали, чем наше путешествие кончится. Мечту от плана еще нельзя было отличить. Единственным человеком, которого Аркадий посвятил в свои подлинные намерения, был его отец.

Тут я позволю себе краткое сравнение между манерой письма Аркадия и стилем его жизни. Он тяготел к прозе, мечтал написать исторический роман со множеством героев и переплетающихся сюжетов. В его литературоведческих работах фигурируют десятки действующих лиц и развиваются несколько тематических линий. И хотя его жизнь в отличие от его книг была коротка и загоняла его в тесные клетки, в которых не разбежишься — коммунальная квартира, тюремная камера, больничная палата, кабинет редактора, купе междугородного вагона, эмигрантская квартирка в маленьком университетском городке, — она была переполнена людьми и событиями.

Так же как и свои работы, он прочерчивал наперед свою жизнь, строя композиции, намечая одну за другой цели, и для каждой продумывал несколько вариантов ее достижения. Этот «метод» прилагался в равной мере к покупке костюма, работе с редактором, взаимоотношениям с врачом. То же было и с побегом. Возможности его осуществления предполагались разные, а результатом мог быть в равной степени и успех, и провал, и отсутствие побега. Каждый из трех возможных исходов имел свои варианты дальнейшего развития. Что такое успех, он тоже понимал по-своему.

Маршрут Москва — Белград проходит через Будапешт. Прибыв в Венгрию, мы сразу же обратились в советское посольство за визами в Польшу и Чехословакию. Выяснилось, что по эту сторону советской границы визы не нужны. Достаточно железнодорожного билета. Поверить в это было невозможно, и Аркадий долго уговаривал атташе по культуре поставить хоть какую-нибудь, хоть маленькую печать в наши заграничные паспорта, что тот, смеясь, и сделал. Атташе был знакомым Майи Туrowsкой — известного критика и искусствоведа. Он читал всю диссидентскую литературу, слышал о Белинкове и вообще был в курсе настроений оппозиционной советской интеллигенции. Сотрудники посольства были дружелюбны, откровенны и угостили нас обедом. Разговор вертелся вокруг последних новостей из СССР: Солженицына, антисоветских анекдотов, возможных перемен в Политбюро. Пришлось быть начеку и играть роль эдаких прогрессивно-просоветских интеллектуалов.

Озабоченные возможностью побега, мы в то же время оставались заядлыми туристами. Такого дотошного путешественника, как человека, вырвавшегося из СССР, не найдешь нигде. В сознании рядового советского гражданина поездка за границу всегда была чудом. Она всегда могла оказаться последней, и осмотреть надо было все, что попадалось на пути.

Мы упивались кружевной сказочной Прагой, тонули в истории «пражской» эмиграции из России, захлебывались восторженными планами



чешской интеллигенции и приобщились к знаменитой первомайской демонстрации в Праге, когда добровольные толпы демонстрантов не отпускали Дубчека с трибуны до поздней ночи. Весенняя лихорадка политических надежд! Мы пережили ее в Праге весной 1968 года.

В среде чешских интеллигентов Аркадий стал своим человеком. Еще бы: уподоблял социализм советского типа фашизму — вывод, к которому и они пришли; предупреждал об опасности перерождения революционного движения в тоталитарную форму правления, — что они и у себя увидели; осуждал людей искусства, сотрудничающих с господствующей властью, — у них такие тоже были.

Возникла уверенность, что читатель в славянской стране со старыми русскими связями, с общей бедой нового времени, хотя бы и с относительной свободой, которую обещал «социализм с человеческим лицом», такой читатель поймет и текст, и подтекст его «литературоведческих романов». А там, где есть читатель, там найдется и издательство. Тем более что гвоздем программы передовой интеллигенции Чехословакии была отмена цензуры.

И тогда Аркадий решил просить политическое убежище в социалистической стране. Наивно? Нет. Он делал очередной ход. Опасно? Да. Он производил разведку боем. Получить здесь политическое убежище беглецу из СССР значило: «Пражская весна» состоялась.

Залетев в Прагу неожиданно, не зная толком, где будем ночевать, мы «ходили по рукам» и жили «из чемодана». Кем были наши гостеприимные хозяева? Пражские журналисты, профессора, аспиранты. С некоторыми из них мы были знакомы по Москве, с другими только что встретились. В их домах почти каждый вечер происходили маленькие сходки радостно возбужденных людей, озабоченных тем, что задуманные реформы могут сорваться, остановиться на полдороге... Мы заметили, что часто после таких домашних собраний и хозяева и гости вдруг одновременно поднимались, и, несмотря на поздний час, куда-то уходили. Оказалось, они отправлялись к членам дубчековского руководства с целью оказывать на них давление. На каждого приходилась своя «группа влияния». Борьба за лучшую жизнь шла не только днем, но и ночью.

Однажды к вечеру Аркадий попросил нашего очередного хозяина прозондировать официальных лиц, можно ли получить политическое убежище в Чехословакии. Всю эту ночь мы не спали. Нервно ходили по близлежащим улицам.

Поначалу революции делаются с чистыми намерениями и благородными порывами. Аресты, пытки и приговоры начинаются после захвата власти. Нас никто не предал. Ответ на запрос Аркадия был отрицательный и честный. Чехам и словакам грозило «поражение левой», советские танки

стояли на советской границе. Через два месяца они войдут в Прагу. «Пражская весна» не состоится. К годовщине ее гибели Аркадий напишет и передаст по радио очерк «Прага, весна, зима».

Из Чехословакии мы устремились в Польшу. И не узнали ни страны, ни людей. Куда исчезла изящная гордая толпа, в которой театральными д'Артаньянами выступали польские красотики: сапожки, накидка и острая шпага-зонтик? У поляков стали короче шеи и выше плечи. Теперь все как-то подозрительно оглядывались, и никто не приглашал в кафе поговорить о политике. Мы переночевали в новой просторной квартире у наших давних друзей Жени и Алеши Якушевых. В квартире было много красивых вещей, но больше всего поражал квадратный холл с секционными шкафами по стенам — мечта советских людей, недавно переселившихся в тесные кооперативные квартиры из еще более тесных коммунальных. Рассказывая о том, что происходит в Польше (а хорошего не происходило ничего), Алеша зверем в клетке метался по своему холлу и, к моему удивлению, безжалостно пинал ногой полированные дверцы шкафов: «И зачем мы все это строили?» Утром мы уезжали, и на кухне Женя мне шепнула, что они решили бежать. Им надо было спасти сына. Алеша — русский. Женя — еврейка. В стране бушевал вырвавшийся на поверхность антисемитизм, которого в первый наш приезд мы не заметили. В успех «Пражской весны» здесь не верил никто. Вот и еще одна славянская страна со старинными русскими связями и общей бедой Нового времени.

На пути из Польши в Югославию мы несколько дней провели в Венгрии. Преподаватели славянского департамента — на сей раз Будапештского университета — показали нам оба города: и Буду, и Пешт, а также угостили гуляшом, который кипел прямо на столе, подогреваемый синим пламенем. С интересом они выслушали наши рассказы о Праге и о Варшаве и сами рассказали о венгерском восстании 56-го года. Казалось, они были довольны своим настоящим и подарили нам афоризм: «Венгрия — самый веселый барак в лагере социализма».

Наконец мы добрались до Белграда. Нас никто не встречал. Надо было позаботиться о ночлеге. Мы поступили так, как действуют москвичи, снимая подмосковные дачи, — методом опроса — и в первый же день нашли квартиру. Квартира находилась в многоэтажном доме на пятом этаже без лифта. Мы уходили с утра и возвращались к вечеру, чтобы карабкаться наверх только один раз.

Аркадий — свободный художник, а я разъезжала по Восточной Европе, используя внеочередной отпуск, который получила при условии, что ознакомлюсь с методами работы на местных телестудиях. Побывав в Польше, Чехословакии, Венгрии, я уже убедилась, что Московское теле-

видение не может воспользоваться опытом Восточной Европы, даже если бы и очень захотело. Задача нашего руководства — оградить зрителей от «тлетворного» влияния Запада, а тут только и знали, что подключаться к западным развлекательным программам. На второй день по приезде в Белград — надо же отделаться — я отправилась в редакцию телевидения и неожиданно натолкнулась там на «советского представителя», о существовании которого не подозревала даже моя телевизионная начальница. Встреча оставила неприятный осадок.

Следующий день подарил еще один сюрприз. В наше временное жилище вторгся с наилучшими намерениями сербский поэт N, хотя никаких контактов с местными литераторами мы еще не наладили. Пожилой сухощавый господин, задыхаясь, примчался на пятый этаж приветствовать дорогих «советских коллег». Скоро ему стало ясно: коллеги — антисоветские. На кухне, где мы его принимали, между хозяином и гостем (кто — гость, кто — хозяин, в этой ситуации не поймешь) началась дискуссия, потом спор, потом ссора, потом крик. Вот-вот дело дойдет до... нет, не до рукопашной, до инфаркта или у одного из спорящих, или у обоих. Когда наш незванный посетитель с пеной у рта (преувеличенно) и с гневными восклицаниями (в самом деле) кубарем (в переносном смысле) скатился с лестницы, нам стало тревожно.

Через несколько дней мне опять понадобилось зайти на местное телевидение. К этому времени подоспело предупреждение: «советский представитель», скорее всего, кагэбэшник. Но вопреки такой репутации он серьезно озаботился нашей судьбой. Сердито предупредив, что о скандале на кухне известно в советском посольстве, он отругал меня за то, что мы распустили языки, и посоветовал поскорее смыться из Белграда. Но уехали мы не сразу и потом дважды в Белград возвращались. Аркадий искал подходящие знакомства и все ближе подходил к осуществлению своей мечты.

В Югославии мы чувствовали себя совсем как дома: постоянно слышали заверения в любви к русским братьям и от случайных встречных на улице, и от профессионалов в области искусства и литературы. Неприятие советского режима (незаметное на первый взгляд) в этой стране мирно сосуществовало с вековой памятью о древних славянских связях.

Нам посчастливилось познакомиться с редактором журнала «Могучность» Живко Ельничем и побывать у него дома. Обаятельный, тонкого ума человек, он показал нам свою коллекцию греческих амфор, поднятых ныряльщиками со дна Средиземного моря. Они были облеплены ракушечником. Под ослепительно белой, слегка деформированной, шероховатой их поверхностью угадывались безупречные классические формы... Тайна, мистика... Уникальное собрание было национализировано,

но в отличие от советских порядков владельцу разрешили держать экспонаты дома.

Полюбовавшись на исторические сокровища, мы обратились к злободневным вопросам. «Русские — наши братья, — повторяет и повторяет Ельчич, — а американцы — чужие». — «Ну, хорошо, — говорит Аркадий, — а если оккупация?» — «О, тогда, — без обиняков отвечает он, — тогда я брошусь в Средиземное море и поплыву к берегам Америки!» Такая тогда была расстановка сил. После бомбежек девяносто девятого года, думаю, — не поплывет.

Блуждая по Белграду, мы однажды столкнулись с бегущей возбужденной толпой. Один, с искаженным в ужасе лицом, что-то кричал, унося ноги, другой бесстрашно совал в руки встречных прохожих листовки. Недалеко раздавались щелкающие выстрелы. С листовками в руках мы повернули к себе. К вечеру выяснилось, что перед дворцом Тито палили по студенческой демонстрации, целясь в ноги. Чтобы далеко не убежали? Передали ли эту новость по Югославскому телевидению, неизвестно. Третий раз я туда не пошла, а телевизора на нашем пятом этаже не было.

Становилось очевидным: надежды Восточной Европы на обновление преждевременны. Наша социалистическая родина была на страже.

Сгущались тучи и над нашими головами. В Югославии нас догнал майский номер «Литературной газеты» со статьей «Своевольные построения и научная объективность». Автор статьи напирал на «волюнтаристский» подход Белинкова к фактам советской литературы и истории революции. Волюнтаризм — обвинение политическое, как до того — ревизионизм, а до того космополитизм, а еще раньше троцкизм и другие «измы». Оживала старая, сталинского времени схема: проработка в прессе, исключение из партии или комсомола (если жертва в одной из этих организаций состояла), увольнение с работы (независимо от партийной принадлежности), арест. В этой схеме Аркадий стоял на первой ступеньке, и с нее надо было немедленно соскочить.

Так или иначе, травля в прессе началась, значит, печатный станок в своей стране на долгое время недоступен, а рукопись уже за границей.

Обдумывая наше положение, едем в Загреб. Если бы не тупик, в котором мы оказались, какой приятной была бы эта поездка! Бронислава, такая заботливая и все понимающая, показала нам город и окрестности, познакомила с оппозиционно настроенными писателями. Они отвезли нас к границе с Австрией и объяснили, «как это делается». Мы пристально взгляделись в синеющие вершины Альп. Там пролегали тропы, по которым можно было бы уйти из нашей ловушки. Горы были неправдоподобно высокие и подъемы, без сомнения, крутые. Аркадий понял, что такой мар-

шрут он одолеть не сможет. И тогда в его памяти всплыл ответ на вопрос, услышанный год назад в Уяздовских аллеях. Должно быть, и здесь можно беспрепятственно войти в иностранное посольство. Мы войдем в американское.

Настал день, когда мы были предоставлены самим себе. Осматриваем Загреб без провожатых. Ноги ведут нас к Американскому культурному центру. Два дня назад Бронислава беспечно указала нам на его серое здание с большими окнами. Подходим. Остановливаемся. «Сейчас или никогда». Внутри что-то обрывается. Наша судьба переламывается. Судьба судьбой, но тревожит и легкопредставимая реальность: кто теперь будет следить за нами? Кто, кому, что передаст, кто нас продаст, кому выдаст? Входим. Дали знать девушке за стойкой, что нужен главный. Нас провели к начальнику.

Элегантный молодой человек не говорил по-русски. Мы не знали английского. Объяснялись знаками. Аркадий двумя пальцами правой руки пробежал по раскрытой ладони левой. Похоже, американец понял. Еще более красноречивым, думаю, было мое испуганное лицо. Да, понял. Дал нам адрес американского посольства в Белграде и назвал фамилию полномочного представителя. Его звали Адольф Дабс.

Тут я забегу вперед.

Лет через десять, когда я жила в благополучной Калифорнии, в мире, далеко от смертного ужаса и пугающей неизвестности, когда все случившееся со мной стало далеким воспоминанием, я случайно поймала по радио последние известия: «Афганистан. После похищения на перекрестке в перестрелке убит американский посол Адольф Дабс». Дабс! Дабс... Правильно я поняла? Бросаюсь разыскивать старые телефонные книжки. Вот он! Адольф Дабс. Человек, благодаря которому перевернулась наша судьба. Через год после побега мы с Аркадием ездили к нему в предместье Вашингтона, чтобы высказать нашу благодарность. Он встретил нас угрюмо. То ли был в дурном расположении духа, то ли вообще хотел, чтобы история с беглецами из СССР, в которой он принял участие, была забыта. Лишь много позже я поняла, что поступок, казавшийся нам тогда естественным и гуманным, мог быть расценен его высшим начальством как серьезное служебное нарушение.

В Югославии нам с Аркадием это не приходило в голову. Мы оба наивно надеялись, что Адольф Дабс каким-то образом нас выручит. Если же нас поймут, мы, конечно, подведем всех, с кем успели познакомиться, и особенно нашу гостеприимную хозяйку в Загребе. Нарушив все законы вежливости, никому ничего не объяснив, мы немедленно отправились в Белград.

Идем по указанному адресу. Как и в Польше, в американское посольство можно зайти прямо с улицы. Охраны не видно. Здесь уже предуп-

реждены о возможном нашем приходе. Нас встречает молодая сотрудница посольства, безукоризненно говорящая по-русски. Она приглашает нас в всякую стеклянную комнату: «Тут нас никто не подслушает». Аркадий рассказывает о нас. Показывает наши документы. Между прочим, упоминает, что его фамилия помещена в недавно переизданном справочнике Союза писателей СССР. Это, «между прочим», если и не сыграло решающей роли, то во всяком случае помогло выяснить, кто же мы на самом деле. Нас фотографируют. Сотрудница посольства говорит, что ответ будет через десять дней, что нам за это время достанут паспорта, что они будут не «поддельные», а «настоящие», с нашими фотографиями, но с другими фамилиями. За это время мы сможем продумать наше решение и, если захотим отказаться от него, тогда просто не прийти в посольство в назначенный час. Нас поймут.

Выходя из здания посольства, мы спинами почувствовали — сейчас за нами следят три разведки сразу: советская, югославская, американская. Ощущение не из приятных. И тогда Аркадий решил, что надо уехать из Белграда на все десять дней. Куда? На экскурсию по Средиземному морю!

Странно устроена память. Она сохраняет то, что хочется ей, а не мне. Я не помню, как, — но знаю, что мы взяли билет на пароход и отправились путешествовать. Остались обрывки воспоминаний о Дубровнике с его черепичными крышами и выдвинутой в море старинной крепостью, о Сплите, где в развалинах римского дворца не отличить внутреннюю стену от наружной, а колонны подпирают пустое небо, о выставке примитивистов и отчаянное, неосуществленное желание купить хотя бы одну картину.

День возвращения в посольство. Мы опять в стеклянной комнате. Та же американка с безупречным русским. Она очень внимательна и сердечна. В руках у нее паспорта, кажется в сереньких обложках. Она уверяет, что они «настоящие». Передает их нам. Открываем. На одном — женское имя, на другом мужское. Должно быть, паспорта латиноамериканские. Женщина тоже заглядывает в открытые паспорта в наших руках и вдруг меняется в лице. Мы всматриваемся в первую страницу с печатями и номерами. На паспорте с женским именем — фотография Аркадия, на паспорте с мужским именем — моя. Все трое замираем в ужасе. После долгого молчания сотрудница посольства говорит, что на самом деле это не так уж важно, что пограничники — она в этом уверена — не обратят на путаницу внимания, а другие паспорта, такие же «хорошие», как эти, до истечения срока нашей югославской визы достать уже невозможно, фотографии переклеивать нельзя, поскольку именно это сделает паспорта фальшивыми и что, вообще, решение, конечно, за нами.

Пауза.

Итак, пусть югославские пограничники будут невнимательны! Все записные книжки и документы оставляем в посольстве. Нам их передадут по другую сторону границы в случае удачи. Мы едем в Вену, как бы с намерением вернуться обратно. Женщина объясняет, каким поездом, с какого вокзала ехать, дает деньги на проезд и возможные расходы (по моим тогдашним представлениям, довольно щедро). Подойдя к вокзалу, мы должны попить водички в привокзальном киоске, потом купить билеты — обязательно «туда и обратно» — и сесть непременно в переполненное купе. Поезд отправляется точно по расписанию. Мы будем ехать всю ночь и приедем в Вену рано утром. Там нас встретит высокий человек с «Новым миром» в руках.

На маленькой пустынной площади Белграда с современным фонтаном посередине — возвышение, по которому тонкими струйками точит слезы вода, — мы сели на скамейку подальше от кустов, обрамлявших площадь, — машинальная попытка избежать подслушивания. Тут состоялся наш последний перед побегом разговор.

Теперь, когда все было подготовлено, Аркадий решил, что пора делать выбор: бежать или возвращаться обратно. Рискованно и то и другое. Окончательное решение предоставляется мне.

Оказывается, не от перелома судьбы зависит моя дальнейшая жизнь, а сама моя судьба в моих руках.

Самые разнообразные эмоции и противоречивые чувства вздыбились, закружились и закрутились в тугой жгут. Спасите меня! Все нервы, все мышцы, все капельки крови напряжены. Несколько молчаливых минут. А Аркадий ждет приговора. Моего приговора! Мечта вырваться из страны рабов, страны господ колотится в его грудную клетку с такой силой, что я слышу неровное биение его сердца.

«Едем». Решение принято. Облегчения — никакого.

И вот настал час, когда под вечер мы отправились к вокзалу.

Казалось нам, мы сделали все так, как нам было велено.

Но!

Мы забыли попить водички и поначалу расположились в пустом купе уже стоявшего на путях поезда. Надо было опомниться. Посмотрели на часы. До отхода поезда целых 20 минут. Мы же не купили билеты! Не беда. С открытой площадки вагона я спускаюсь на перрон и не спеша иду покупать билеты «туда и обратно». Не зная толком их стоимости, отдаю все деньги в расчете на честную сдачу. Слышу крик дежурного по перрону: «Путе!» На второе «путе» оглядываюсь и вижу, что поезд движется. На двадцать минут раньше?

Кассирша не спеша, как в кадре замедленного действия, подает билеты, я хватаю их и, оставив всю сдачу в кассе, в ужасе бегу на платформу.

Аркадий на подножке нашего вагона примеривается к прыжку с поезда, если я не успею прыгнуть на подножку другого вагона. Поезд ускоряет ход. У меня дрожат ноги. Мимо проплывает один вагон, с лязгом подъезжает другой, а на следующем, приближающемся со все возрастающей скоростью, висят на поручнях два молодых человека. Решаю дождаться именно этого вагона. Краем глаза вижу, Аркадий готов прыгать. В надежде его опередить бросаюсь к незнакомым ребятам и, нарушая конспирацию, кричу на хорошем русском языке: «Помоги-и-и-те!». Они за руки втягивают меня в вагон. Что с Аркадием, я пока не знаю. На трясущихся ногах перехожу по раскачивающимся тамбурам в свой вагон. Меня встречает совершенно белый Аркадий. Успел не спрыгнуть. Молча смотрим друг на друга. Через несколько минут какой-то человек целеустремленно входит в наше купе и укладывается спать на верхнюю полку. Он «спит» всю дорогу. Раз или два выходим в коридор, чтобы шепнуть друг другу несколько слов.

Ночь. Полутемное купе. Состояние внутренней лихорадки. Не от того, что было, а от того, что будет. Вагоны в поезде почти пустые, и наш тоже. Где мы найдем переполненное купе?

Оно нашлось в конце вагона. Единственное купе, где несколько человек увлеченно играют в карты и где очень накурено. Почему необходимо быть здесь, если мы так резко отличаемся от этих азартных игроков? Слава богу, на нас никто не обращает внимания. «Третий лишний» остался спать на своей верхней полке. Поезд, замедлив ход, остановился.

Граница!

В купе вошли таможенники. Все показали паспорта, и мы показали паспорта. Когда нас попросили открыть чемодан, мы поняли, чего от нас хотят, и открыли. Таможенник приподнял лежавшую сверху рубашку и, не задавая никаких вопросов, прошел по вагону дальше. Потом в тесный наш капкан вступили пограничники с собаками. Заглянули в паспорта наших спутников, потом — в наши, ничего не спросили и двинулись дальше. Поезд постоял некоторое время, нервно дернулся, лязгнул и тронулся. Минут через двадцать мы осознали, что побег совершился. Вышли в тамбур. Ночь со всеми ее опасностями миновала. Начинался серый рассвет с розовыми проблесками на востоке.

Вдруг мы отчаянно захотели есть и кинулись в вагон-ресторан. Заказали ужин (или это был завтрак?), не зная точно, что заказываем и сколько это будет стоить. И нам начали подавать еду. Блюдо за блюдом и одно вкуснее другого. Когда дошло до десерта, поезд вдруг остановился. Вена.

И тут мы вспомнили, наши деньги остались в кассе белградского вокзала. Пришлось выворачивать карманы и расплачиваться польскими, чешскими, венгерскими, сербскими монетами. Мы выгребли все, что остава-



лось от путешествия. Не хватало. Все пережитые эмоции сложились в жуткое чувство стыда. Официант махнул на нас рукой. Поезд еще стоял. Мы бросились в купе за чемоданами и выскочили на пахнущую гарью и паровозным дымом венскую платформу.

Мы последними сошли с поезда, и на перроне было почти пусто. Еще не совсем рассвело. Горели фонари. Высокий человек отделился от столба и двинулся нам навстречу. В его руке знакомо голубела обложка «Нового мира».

## ПРАГА, ВЕСНА, ЗИМА...

Для того чтобы понять, что такое советская власть, нужно пересечь границу и прожить некоторое время там, где эта власть особенно противоестественна, — в стране, которая жаждет свободу.

Я понял это, приехав в жаждавшую свободу Польшу, которая хотела, пыталась с холодным польским изяществом обойти советскую власть, как грязную лужу.

В Чехословакии ничего этого не знали — про грязную лужу. Переглядывались, переспрашивали: что такое грязная лужа, которая, говорят, хочет затопить их страну.

Когда пришло известие о советских дивизиях, повисших на Чехословацкой границе, я написал письмо писателям Чехословакии. В письме было сказано: «Я антифашист, антикоммунист. Если сейчас Советский Союз попытается своими солдатами и орудиями уничтожить независимость страны, которую я люблю за ее стихи и соборы, улицы и историю, за ее достоинство и жажду свободы, то я, человек с умирающим сердцем, искалеченным советскими пытками, пойду добровольцем, антифашистом, антикоммунистом, как шли в интербригады писатели во время испанской войны».

Ответа не было.

Незадолго до этого я послал в пражскую литературную газету «Литерарне листы» текст своего письма в Союз писателей СССР, в котором писал о том, что советским писателем себя не считаю и из Союза писателей выхожу.

Ответа не было.

Я позвонил в посольство Чехословакии в Вашингтоне, разговаривал с атташе по культуре.

Ответ был вежливый.

Мне пришлось встретиться со многими людьми в Чехословакии: писателями, историками, журналистами, выступать перед студентами.

Увы, наши друзья оберегали нас, и поэтому настоящих мерзавцев нам не удалось повидать.

— Приедете к себе домой, — хором говорили наши друзья, — там этого добра наглядитесь, а у нас Вы в гостях. Посмотрите, как прекрасен собор святого Витта.

Собор святого Витта был прекрасен, прекрасны были Карлов мост и Карлов университет. Прекрасным было настроение у наших пражских друзей. Хотя иногда оно омрачалось. Оно омрачалось серьезными причинами. Одна из этих причин была в том, что люди, которых еще недавно привела к власти захватившая всех жажда свободы, решили (получив власть), что свободы уже достаточно. Были и другие причины, омрачавшие настроение наших пражских друзей. Однако, несмотря ни на что, все они были молодцами (оптимистами). Я с недоумением вслушивался в слова, летающие по стране: все говорили о свободе, а не об *освобождении*. Меня поразило, насторожило то, что прекрасное оптимистическое чехословацкое настроение ни разу не омрачилось тем, что Чехословакия граничит с Советским Союзом. Советский Союз не вызывал особенного опасения, страха и ненависти. У оптимистической пражской интеллигенции он вызывал здоровый познавательный интерес. У пессимистической (ее было совсем, совсем мало) — обычное, привычное отношение — отвращение.

Было 1 мая. Огромная, никем не согнанная демонстрация протекла по переливающему солнечными бликами, улыбающемуся, приходящему в себя городу. Город был во флагах — чехословацких, чешских, красных (как нам объяснили — «социалистических») и советских. Мы спускались по ступеням Градчан, величавым и неисчерпаемым. Медленно спускались писатели и художники, которые все знали про каждый камень.

— Да, конечно, Советский Союз — жандарм Европы, — сказал молодой писатель (оптимист).

— И Азии, — добавила милая молодая художница (пессимистка). — Не надо преуменьшать.

— Не надо преувеличивать, — сказал молодой писатель.

Шли студенты. Услышав русскую речь, поздоровались, извинились, рассказали, что были в Москве и в Волгограде. Попросили передать в Советском Союзе, что у них теперь свобода. Прошла группа солдат. Спела «Катюшу». И мы прошли половину прекрасного, незабываемого, удивительного города.

Не пугайтесь, не огорчайтесь, — сказала мне милая молодая художница. — Посмотрите, что здесь написано.

Она показала на стену огромного серого дома. Как горький укор легкомыслию, опасной привычке, ослеплению и иллюзиям была надпись на доме: «Зачем вы вывесили советские флаги? Разве вы не свободный народ, а колония?» — перевела милая молодая художница.

Но еще за несколько месяцев до моего письма чехословацким писателям я и моя жена хотели остаться в Чехословакии. Мы хотели остаться

в этой прекрасной стране, потому что она ждала и искала свободу, потому что здесь можно было сопротивляться советскому режиму, потому что она — Европа, а Европа знает, что такое войны, фашизм, коммунизм, человеческие страдания, разрушенные и восстановленные соборы, древний камень, горе, муки, история, накапливавшаяся десятилетиями.

Я (неофициально) просил предоставить мне и моей жене политическое убежище в Чехословакии.

Это вызвало панику. Нет, не панику, — приступ ужаса, припадок удушья, лихорадку страха, паралич кошмара.

Вот тут-то в первый (и последний) раз я услышал о советских дивизиях, повисших на чешских границах. Ни до, ни после этого разговора никто советскими дивизиями не интересовался. Наверное, те, у кого я попросил политическое убежище, думали, что это я могу вызвать оккупацию страны, я, а не скотская ненависть советской власти к свободе.

Первые же шаги Чехословакии к свободе, то есть к нормальному, то есть демократическому, то есть не советскому способу существования, вызвали в Москве бешенство, иступление, ослепление. Настоящие советские люди — секретари Правления Союза писателей СССР, полковники государственной безопасности, пожарники и лауреаты — злобно загибали пальцы: Китай, Албания, Югославия, польские писатели, венгерские молодчики. Это что же остается от великой империи? — «Вы что, Чехословакию захотели?» — задыхаясь, кричали все громче и яростнее люди, которые не хотели не только Чехословакию 1968 года, но и Россию 1956-го. «Чехословакию захотели!!» — неслось по московским издательствам и редакциям, академическим институтам, выставкам, киностудиям, театрам.

На заседании идеологической комиссии, предшествовавшем апрельскому пленуму ЦК партии, в чрезвычайно тревожном и резком тоне руководителям издательств было предложено обратить особое внимание на рукописи и книги, в которых могли оказаться какие-то бы ни было несовместимые с официальным мнением высказывания о Чехословакии. За два дня до апрельского пленума главный редактор издательства «Советский писатель» Валентина Михайловна Карпова, написавшая в былые времена доносы на десятки людей и зарезавшая во все времена сотни книг, в которых была искра жизни, бежала все редакции своего ведомства и распорядилась немедленно прекратить движение всех рукописей, версток и сверок, в которых упоминались Чехословакия и Польша. В первых числах апреля этот приказ был отменен, заменен распоряжением снимать все тексты, в которых имеются чехословацкие и польские имена. В это же время из советских газет исчезли сообщения о Чехословакии.

Когда едешь по недвижной долине Влтавы, видишь удочки всех рыбаков этой золотистой и зеленоватой страны. Она вся прозрачная, вся просвечивается, вся простреливается.

Ее судьба решена на штабной карте пятью жирными полукруглыми стрелами, которым не на что наткнуться и которых нечем остановить.

Это начинаешь понимать, когда поезд и ты, и вода и небо обрушиваются на голый и белый, дикий, недвижимый и страшный адриатический, югославский камень, созданный для бед, слез и стога, партизанской войны, голодной осады и пытки.

Советская власть не может воевать в «братской» стране два месяца. В 22.30 она должна прорвать первую линию, а в 2.00 быть в столице. Серьезную роль в югославской политике Сталина играла югославская география. Югославская география не хуже ее трагической истории научила людей этой страны воевать, умирать, убивать и страдать.

После победы, одержанной шестисотпятидесятитысячной армией пяти доблестных социалистических держав над органом Союза писателей Чехословакии «Литерарне листы», оптимистической интеллигенции Чехословакии и оптимистической интеллигенции других стран (такая интеллигенция верит только в добро, прогресс и слова) стало совершенно ясно, что прошлое повториться не может.

И оптимистическая интеллигенция была, как всегда, права: прошлое действительно оказалось неповторимо. Потому что в 1948 году, когда Югославия отказалась подчиняться приказам Советского Союза, Сталин не рискнул ввести в непокорную страну танки, а двадцать лет спустя ввести танки в Чехословакию Брежнев рискнул.

В этой прекрасной европейской стране, узнавшей, что такое советская власть, а потом на несколько минут, казалось бы, избавившейся от нее, я понял, что лучше быть колонией, чем жандармом, конкистадором, завоевателем, покорителем чужих земель, убийцей. Потому что у колонии есть надежда, ибо она стремится к свободе. Страна-завоевательница, страна-убийца безнадежна: ей не к чему стремиться.

*Август 1969<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Дата проставлена автором. — Н.Б.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

*Посвящается памяти  
американского дипломата Адольфа Дабса,  
убитого в Афганистане*

Вы революционеры, но не в нашем смысле.  
*Проф. Р. Джексон,  
Йельский университет (США)*



# Глава 1

Наталья Белинкова

## ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ НАДЕЖДЫ

*Венские беседы. Обращение к Президенту Соединенных Штатов Америки. Короткая остановка в Мюнхене. «Мы, западная интеллигенция, не разделяем ваши взгляды». Над Атлантическим океаном. Забастовка в аэропорту Кеннеди (США). Аркадия готовят к операции на сердце.*

Нас поселили на 9-м этаже в многокомнатной квартире, похожей на квадратный бублик. Середину жилого пространства занимала «шахта». Из одного окна квартиры можно было разглядеть внутренний дворик с бачками для мусора. Из других окон был виден город, который пульсировал где-то далеко в голубоватой дымке. Видимо, мы находились на окраине Вены в большом комплексе современных домов. Ничего венского.

В той же самой квартире будет жить Билл Уэст. Это он встретил нас на перроне. Билл чуть не пропустил нас. Допоздна он сидел в своем офисе и ждал звонка о предполагавшихся беглецах. Не дождавшись, отправился было домой. Захлопнул дверь и пошел по коридору. Вслед ему из-за закрывшейся двери — звонок. Бегом обратно. «Едут!»

Билл произвел на нас впечатление человека, до тонкости осведомленного в области русской истории и современной литературы. Совсем не похож на следователя из «органов»! Аркадий предположил: должно быть, сведущего университетского профессора попросили выяснить, кому же американцы помогли бежать.

Меня ни о чем не спрашивали. За обоих ответ держал Аркадий. Часа четыре в день уходило у него на «дачу показаний», которые выглядели вполне невинным обменом мнений, хотя между собеседниками и стояла пишущая машинка (не магнитофон). Аркадий наконец мог откровенно выговориться перед понимающим человеком и по поводу порочности советской системы, и на предмет преступности советской власти, и насчет продажности советской интеллигенции... Идет такой интересный диалог!

Аркадий уверенно: «Россию ожидает ресталинизация».

Билл молчаливо: «???»

Он, как и все прогрессивные американцы того времени, не верит в возможность реставрации сталинизма. А удачливый беглец тешится западной свободой и не замечает внезапно возникшей настороженности.



Аркадий: «В материалах I съезда Союза писателей СССР 34-го года...»

Билл: «Не 32-го?»

Обоюдное недоумение. (Позже мы узнали, что в русской зарубежной литературе пользуются другой точкой отсчета: датой не открытия съезда, а решения о его созыве.)

Аркадий: «Движение инакомыслящих раздавлено».

Билл: «Но оппозиция ширится, число судов над диссидентами возрастает!»

Недоразумения накапливаются.

День идет за днем. Картина советской действительности в изображении человека оттуда не сходится с представлением американского собеседника. Может быть, этот перебежчик — самозванец?

Собеседование продолжается.

Оторванный от письменного стола, от своей пишущей машинки, от привычных книжных полок со словарями и справочниками, Аркадий чувствует себя неуютно, как теперь говорится, некомфортно, но упорно стоит на своем.

Билл внимательно прислушивается.

И в один прекрасный момент наш профессор сдается.

Он с треском вырывает страницу из-под валика пишущей машинки и вставляет новый белоснежно-чистый лист бумаги: «Больше я не задаю Вам вопросов! Рассказывайте сами».

Споры-разговоры с Биллом Уэстом нашли отражение в рассказе «Побег» и в публицистических работах Белинкова 68-го — 70-х годов.

Неделю мы находились как бы под «домашним арестом». В кавычках, потому что дом был, конечно, не наш. Мы никуда не выходили, никому не звонили, ни с кем не переписывались. Подолгу сидели на балконе с видом на недоступный нам город. Когда мы начинали особенно нервничать, Билл выезжал вместе с нами прогуляться по Вене. Тогда мы опять превращались в отчаянных туристов и самозабвенно осматривали и собор Святого Стефана, и дворцы, и магазины с их сверкающими витринами. Однажды мы даже обедали в роскошном загородном ресторане, расположенном в Венском лесу.

Билл в некотором роде был таким же узником, как и мы. Он тоже никуда не отлучался. Рано утром кто-то приносил продукты. Билл с этим кем-то обменивался несколькими словами в полутемной прихожей. Еду готовил тот же Билл. Я пыталась ему помогать, но он ужасно боялся, как бы мое участие не выглядело эксплуатацией. Тем не менее за несколько дней я успела ознакомиться с особенностями ведения домашнего хозяйства на Западе, в частности с «бумажками, без которых нельзя жить в Америке!» Так торжественно назывались рулоны фольги и пергаментной бумаги, в

которую мы заворачивали еду, прежде чем положить ее либо в духовку, либо в холодильник. Таких «бумажек» в советском обиходе еще не было. В кухне что-то отчаянно гудело, особенно сильно, когда включали вентилятор, поэтому Билл называл наше совместное поле действий «музыкальной кухней». Держался наш узник-тюремщик безупречно: дружелюбно, заботливо и весело. Аркадий считал большой удачей, что первый американец, встретившийся на нашем пути, оказался именно таким человеком. При всех неприятных неожиданностях и разочарованиях, пережитых нами впоследствии, этот самый первый контакт с жителем свободного мира создал основу для некоего душевного баланса.

Не правда ли, тем, кто сам не пережил тюрьмы, фронта, больницы и других несчастий, покажутся почти невозможными шутки и смех, сопровождающие большие испытания? Не обошлось без комических интермедий и у нас.

В Вене было не по сезону жарко. Мы изнывали от духоты. Аркадий надел самую легкую рубашку, какую мы только смогли отыскать в нашем багаже. На мне было дешевое ситцевое платье, которого я стеснялась, не зная, что ситец на Западе в большой моде. Билл щеголял в одних шортах. В нашей квадратной квартире мы раскрыли окна на все стороны, и по ней гуляли сквозняки. Ничто не помогало.

Вдруг сильный порыв ветра поднял бумажный вихрь на письменном столе Билла и сдул показания Аркадия во внутренний двор. Белые листы бумаги, плавно покачивая краями, опускались на баки с мусором. Билл заметался: и одних нас оставлять нельзя, и шокировать церемонных европейцев полуголым видом невозможно. Но бумаги-то надо спасти! Одеваться некогда. Секунду поколебавшись, с криком «Не открывайте никому!» он, как и был, — полуголый — рванулся из конспиративной квартиры на лестничную площадку. Лифт пополз вниз.

Наконец — одни! Появилось озорное желание — убежать. Куда глаза глядят. Но это была как раз та ситуация, по поводу которой Аркадий острил: «Если человек может идти на все четыре стороны, значит, идти ему некуда». Через какие-нибудь пять минут Билл вернулся. Мы открыли ему дверь. Он успел собрать все странички.

Аркадий напряженно работал над открытым письмом «Без меня» — о выходе из Союза советских писателей, которое намеревался опубликовать сразу же по приезде в Соединенные Штаты. США, как место проживания, были выбраны по одному-единственному признаку: лучше всего развита славистика.

С некоторой долей натяжки можно сказать, что письмо фактически было начато в Москве на Малой Грузинской в 1965 году, после ареста Синявского и Даниэля. Арест двух писателей, печатавших свои произведения за границей, стал поворотным пунктом на пути к ресталинизации стра-

ны и вызвал бурю протеста по обе стороны границы. В высшие инстанции посыпались письма в защиту писателей, несмотря на то что подпись под каждым обращением была чревата репрессиями. Поэтому в письма попадали «дипломатические» строчки вроде такой: «Хотя мы не одобряем тех средств, к которым прибегали писатели...» Приходилось защищать арестованных, как бы осуждая их. Осудить писателей даже ради их спасения Аркадий, сам дважды осужденный за литературную деятельность, никак не мог. Он сел писать свое, личное письмо.

Но вместо защиты писателей он накинулся на правительство, санкционировавшее, как он выразился, «первый открытый идеологический процесс».

*«Ваши спутники и рекорды — это не предмет гордости, а состав преступления, потому что они явились не в результате естественного развития народного хозяйства страны, а в результате очередного грабежа и без того ограбленного и нищего народа...»*

*Вы очень не любите, когда выносят сор из избы, и вас можно понять. Конечно, если вы предстанете в обнаженном виде перед почтенной публикой, то кто же соблазнится этим телом в язвах и гнояниках, из которых сочится измученное колхозное крестьянство, убитая, замордованная, продавшаяся советская интеллигенция, конституция, большая рахитом, уголовный кодекс, задыхающийся от ожирения. Кто же соблазнится и сам захочет стать таким? Вы-то понимаете, что если все увидят вас в таком виде, то буржуазные писаки станут задавать недоуменные вопросы: зачем ваша власть, что принесла ваша революция, что сделало (зачем) ваше государство, которые [так в тексте] приносит только неволю, тюрьмы, казни, страдания людям, животный страх, полуголодное существование, разрушение нравственности. Поэтому вы предпочитаете принимать выгодные позы и поворачиваться к публике искусственными спутниками и искусственными успехами на хозяйственном и культурном фронте.*

*Выносите сор из избы: чище будет».*

В то время он еще был уверен, что западная интеллигенция смотрит на советскую действительность теми же глазами, как и он сам.

*«Ничему вас не научили ни история с Зощенко и Ахматовой, о которых вы не велите упоминать, ни зловекий эпизод с Пастернаком, о котором вы вспоминаете с тяжелым вздохом, ни гнусный случай с Синявским и Даниэлем, о котором вы говорите, что все правильно, хорошо зная, во что вам это обошлось... ничему не научили вас все ваши просчеты, конфузы, наслаения, субъективизм и волюнтаризм.*

*...Замученные писатели: Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Бабель, П. Васильев, С. Третьяков, Зощенко, Заболоцкий, Булгаков, Оксман, Белый, Бахтин, Гумилев, Розанов, Волошин, П. Опешко, Клюев, Платонов.... Отправившиеся в изгнание: Мережковский, Гиппиус, Ходасевич, Струве... Да это целая национальная литература!*

*Но больше всего вы, правительство преступников, будете рассчитывать не за тюрьмы и казни, не за разрушенное хозяйство страны, не за захватнические войны, не за бесстыжие союзы, а за то, что вы воспитали покорное, на все готовое стадо, готовое все слушать, во все верить, слепо следовать за вами, принимать участие в ваших преступлениях».*

Слухами земля полнится. Письма еще не было, был его черновик, когда, не предупредив даже телефонным звонком (что вполне по тем временам понятно), к Аркадию нагрнул официальный защитник арестованных писателей Э.М. Коган. Ознакомившись с черновиками письма, Эрнест Михайлович приложил все свое умение, чтобы Аркадия охладить: его письмо противоречит выработанной концепции защиты, безусловно повредит подсудимым и наверняка обеспечит арест самому автору. Собеседники (юрист и бывший зэк) понимали, чем грозит третий арест. «Ваше дело писать ваши книги. Этим вы принесете всем нам больше пользы», — убеждал Коган. Красноречие адвоката! Убедил.

Надо сказать, что из-за тщательной отделки любого текста — внутренних рецензий, частных писем, формальных заявлений (не говоря уж о работах, предназначенных для печати) — Аркадий зачастую не поспевал за событиями, вызывавшими его на ответ. Так, он не уложился в сроки, чтобы объявить о своем намерении вступить в израильскую армию (для письма Подгорному ему понадобилось больше дней, чем Израилю для окончания шестидневной войны), он не успел отказаться от выдвижения на Сталинскую премию за «Юрия Тынянова» (выдвижение на премию было отклонено раньше, чем был написан отказ). Нечто подобное случилось и в этот раз.

Эта тщательность, кстати, была моей «охранной грамотой», каждый раз, когда Аркадий опаздывал, я с облегчением вздыхала.

Понимал ли Белинков, чем кончились бы его письменные эскапады, если бы они состоялись на самом деле?

Ответ на этот риторический вопрос находится в набросках к его воображаемому последнему слову на воображаемом последнем для него суде. (Наброски эти хранились в той же папке, что и черновик забракованного Коганом письма.)

*«От души поздравляю вас с первым политическим процессом во втором пятидесятилетии существования советской власти...*

*Моя преступная политическая деятельность началась в 1940 году на втором курсе Литературного института. Это произошло на семинаре по марксизму-ленинизму. Этим семинаром руководила Слава Владимировна Щирина.*

*Преступление заключалось в следующем.*

*— Белинков, — сказала Слава Владимировна Щирина, — почему Маркс считал материализм Фейербаха стихийным?*

— Я должен ответить, Слава Владимировна, так, как об этом написано у Маркса, или так, как я сам об этом думаю?

— Что? Что вы сказали?! Повтори!!

Я повторил, чувствуя, что попал в какую-то очень нехорошую историю, но еще не понимая, за что и какая грозит мне беда.

— То есть ты хочешь сказать, что ты думаешь не так, как Маркс?!

Тогда я понял, что произошло нечто непоправимое, и ответил, что я думаю иначе, чем Маркс, но не настаиваю на том, что прав именно я. Может быть, я даже уверен, что Маркс, как человек более опытный в вопросах философии, более прав. В конце концов я только хочу, чтобы меня опровергли.

Вопль и лай покрыли мои слова.

Так за мной началась слежка, и так я стал заклятым врагом советской власти».

Далее он собирался говорить о романе «Черновик чувств», о вызове героини романа (надо ли сказать, прототипа?) в Народный комиссариат государственной безопасности, о ссоре влюбленных перед его арестом и о том, что он не надеялся пережить следствие, о рецензиях Ермилова и Ковальчик — поставивших его работы в разряд антисоветских. Он сравнивал цену, которую заплатил за «Черновик чувств» (арест), с полученным выигрышем: «Книга не спасла меня от ареста, но спасла от гибели: я знал, за что советская власть меня посадила, мы были с ней квиты...»

В письменном столе на Малой Грузинской лежала бомба замедленного действия.

Покидая СССР, Аркадий передал свои черновики на хранение друзьям. Эти и другие работы, упоминающиеся в этой книге, невзирая на опасность, были ими бережно сохранены и с большим риском перевезены из СССР на Запад Ю. Китаевичем и М. Лейсли в годы, когда над границами СССР еще нависал пресловутый «железный занавес», но когда Аркадия в живых уже не было.

В Праге весной 68-го года Аркадий воспроизвел открытое письмо правительству по памяти и переадресовал Союзу писателей. В Вене он дал ему название «Без меня» и подписал не «Москва», а «Таллин — Москва», отдавая дань встречам со свободолобивой прибалтийской интеллигенцией.

«Открытое письмо» было закончено. Нас, очевидно, хорошо проверили. Билл Уэст с легким сердцем передал Президенту США Джонсону просьбу Белинкова о въезде в Соединенные Штаты и в своем сопроводительном письме сравнил его с Замятиным<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Евгений Замятин (1884—1937) — прозаик, автор известного романа-антиутопии «Мы», опубликованного за границей, что привело к преследованиям писателя на роди-

Прошение имело такой вид:

ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

*Я прошу разрешения на въезд в Вашу страну.*

*Я прошу об этом, потому что всю свою жизнь искал свободу, но в Союзе Советских Социалистических Республик, где я родился, жил и писал, я мог лишь метаться среди решеток и камней застенка.*

*На пути к своему окончательному решению я искал независимости и свободы у себя на родине, и лишь невозможность найти их привела меня к тягчайшему выбору.*

*Этот выбор трагичен, потому что для писателя (а я никогда не был академическим ученым), для политического писателя, живущего в языке своей страны, существование в чужой стране, в чужом языке, в чужой истории тяжело безмерно. Даже в Уголовном кодексе, по которому меня судили за мои книги, изгнание следует сразу за смертной казнью (статья Уголовного кодекса РСФСР, издание 1954 года).*

*Всей своей жизнью, своими уничтоженными и изданными произведениями я связан с Россией, но лишь с той, с несколькими квадратными метрами той земли, которая сохранила достоинство, честь и жажду свободы.*

*Мое решение принято добровольно, без какого бы то ни было влияния страны, у которой я прошу разрешения на въезд, и вызвано отвращением к тирании, которая приобретает все более омерзительное обличье в мире, где я родился и на языке которого я пишу.*

*В первый день свободы. Аркадий Белинков.*

Прошение было рассмотрено государственным секретарем Д. Раском и удовлетворено в трехдневный срок.

Мы сердечно простились с Биллом и в серо-голубом автомобиле покинули Вену. Кроме шофера с нами были врач и какой-то юркий человек. «Ну, как дела у нас там на родине?» — был его первый бесцеремонный вопрос. Мы не нашлись что ответить и промолчали. Нас попросили пристегнуться. Не зная, что выполняем обычные, принятые на Западе меры предосторожности на скоростных дорогах, мы подумали было, что возможна погоня. Было рано, и движения на шоссе почти не было. На границе Австрии с Западной Германией наши спутники помахали документами через стекло автомобиля. К нашему удивлению, пограничники не проверили бумаг и только понимающе кивнули.

---

не. Замятин обратился к Сталину с просьбой о выезде: «Для меня, как для писателя, смертным приговором является лишение возможности писать в атмосфере травли». В 1932 году писатель покинул СССР.

Следующая остановка — окрестности Мюнхена. Тут мы должны ждать оформления виз и получения билетов на самолет.

Вместе с нашими провожатыми нас устроили в скромном домике со спальнями на втором этаже. Чтобы избежать лестниц, нам пришлось переместиться на первый этаж, для ночевки не приспособленный. Это создавало неудобства для всех, но выхода не было. По просьбе Аркадия ему отыскивали пишущую машинку с русским шрифтом. Можно было отредактировать и перепечатать текст «Открытого письма».

В предместье Мюнхена нас окружали другие люди. Безукоризненно вежливые и предупредительные, они всего-навсего хорошо выполняли задание по переброске нас в США. Распорядитель нашей судьбой на этом этапе, назовем его «Х», ознакомившись с «открытым письмом», небрежно, на хорошем русском языке произнес: «Мы, западная интеллигенция, не разделяем Ваши взгляды». У нас внутри все оборвалось. Куда и зачем мы в таком случае едем?

За ужином Аркадий и «Х» начали ссориться. «Х» посоветовал нам выйти прогуляться перед сном.

Мы ходили по маленькому немецкому городку, залитому сияющим светом луны. Казалось, наступила зима. Два цвета окрашивали пейзаж: лунный, казавшийся белым, и земной — черный. «Что хотите, то купите, черный с белым не берите». В центре городка возвышалась крошечная стройная кирха. Мы ходили вокруг нее по маленькой, почти что игрушечной площади, как заключенные по прогулочному дворику.

До истечения обратной визы (в Советский Союз, разумеется) у нас остается один, два дня. Были ли замечены наши передвижения? И вряд ли нам помогут вернуться в Югославию...

Моя обязанность — по совету врачей, добровольно на себя взятая, — обеспечивать Аркадия положительными эмоциями. Самое время пустить их в ход. «Послушай, — сказала я, — мы едем в действительно свободную страну, если человек, которому поручили заняться нашим делом, может так независимо высказывать свое мнение». Обосновавшись на свободной земле, мы убедились, что западная интеллигенция, считающая себя прогрессивной, взглядов Аркадия на природу советского тоталитаризма не разделяла.

Въездные визы в США (они назывались «преимущественными», так как давали право на немедленное устройство на работу) прибыли. Наступил день переезда в Америку. Провожали нас тепло. Мы брали с собой новую пишущую машинку с русским шрифтом, футляр которой был немедленно расколот и тут же склеен липкой серой лентой, дабы она правдоподобно выглядела привезенной из Москвы, подержанной. (Работники ЦРУ опасались своим подарком скомпрометировать нас перед прогрессивной западной интеллигенцией, но не учли, что подобной ленты в России еще не

водилось.) Были и другие подарки: колечко для ключей от будущей машины, номер журнала «House and Garden» с подзаголовком «Ваш первый дом» и резная немецкая свечка. Свечку я все еще берегу. Она обгорела на две трети. Я жгла ее всю ночь с 14-го на 15-е мая в 1970 году, соблюдая традиции еврейских похорон. Была еще бутылка мозельского вина, но мы ее сразу же уронили и разбили вдребезги. Все сказали: «К счастью!»

В блокнотике, которому так и не случилось стать заполненной до конца записной книжкой, Аркадий успел записать в суматохе отъезда:

*«Мюнхен 23—27 июня 1968 г. 11 ч. 55 м.*

*Отъезд из Мюнхена — это уже больше, чем прощание с Россией. Это конец Европы, — той земли, частью которой ты был.*

*Но человек должен быть на всей Земле.*

*В Америке есть три вещи, без которых писатель не может жить: бумага, перо и свобода».*

Наш маршрут Мюнхен — Гамбург — Нью-Йорк.

С нами «Х» и еще двое. Этих видим первый раз. Они расхаживают по аэродрому в темных очках, огромные перстни на пальцах, поднятые воротники пиджаков, кольца, оттопыривающие карманы (патриархальные времена, когда еще не угоняли самолеты). Мы чувствуем себя персонажами из фильма о нравах дикого Запада. У Аркадия вид весьма независимый. Сидит себе нога на ногу. Ему все это чрезвычайно нравится. Как-никак, он сам заварил такую кашу. Я же — авантюрист начинающий. К тому же — это мой первый полет. И все то же бедное ситцевое платьице. Вид у меня, должно быть, жалкий. Ко мне подходит «Х» и небрежно роняет: «Изобразайте богатую американку!» А как?

Летим первым классом. Непосредственно за нами — «Х», где-то позади кинематографические типы. (Нам было сказано, что сопровождают они нас на всякий случай и что никто, даже мы сами не сможем их различить в толпе пассажиров.) Через проход от нас — две седенькие головки — пожилая супружеская чета. У него на животе фотоаппарат. Может быть, это богатые американцы, а может быть, скромные пенсионеры, позволившие себе роскошь путешествия в Европу. Теперь они возвращаются домой. Время обеда. Тоненькие, тщательно причесанные стюардессы повезли на пышно декорированной коляске ростбиф, зелень, какие-то не то цветы, не то перья (оказалось — ананасы) и шарики цвета семги (оказалось — дыня). Чистый Голливуд! Коляска останавливается между нами и старичками. Такое великолепие грешно не заснять. Старичок проворно нацеливает фотоаппарат. «Кольты» срываются со своих мест и самоотверженно заслоняют собой двух беглецов, то есть нас, от воображаемой пули. Вдруг фотоаппарат выстрелит?

Кадр испорчен. Легкая суматоха. Короткое объяснение «Х» со стюардессами. Наш полет в неизвестность продолжается.



Футляр от машинки ломали напрасно. В аэропорту имени Кеннеди решительно никто не знал о прибытии таких важных пассажиров. Мы спокойно сошли по трапу. В здании аэропорта никто не помешал нашим сопровождающим оттереть нас за будку с паспортным контролем. В тесной, полутемной комнате, похожей на полицейский участок из социально озбоченного фильма, произошли какие-то молниеносные переговоры, мелькнули документы, и мы, не успев опомниться, благополучно вынырнули в светлый, наполненный воздухом зал аэропорта. Пересечена последняя граница. План, вымечтанный Аркадием, осуществлен. 28 июня 1968 года.

Нас подвели к вальяжному седому господину, дожидавшемуся нашего появления. Это наш адвокат Роберт Найт. При нем переводчик Питер Глик — студент, владеющий русским языком, сын беженцев из Венгрии.

С этого момента мы надолго оказались в распоряжении г-на Найта. Аркадий перестал быть режиссером своей судьбы.

Ему предстоит обследование в клинике Майо. Переночевав в гостинице на территории аэропорта, мы немедленно должны отправиться в Рочестер (штат Миннесота), где находится больница, знаменитая своими специалистами по сердечным заболеваниям.

Влетели мы в Америку в тот день, когда началась забастовка служащих аэропорта. Постели не менялись. Кафе не работало. Еду и питье можно было достать только из автоматов, установленных в коридорах. Наутро, встав с мятых постелей и закусив черствыми булочками, мы подошли к окну. Не только неподвижное небо, весь мир был серым. Серым было ближайшее шоссе, серыми были машины, которые неслись по нему с удручающе равными интервалами. Вдалеке — ленты дорог, вблизи — здания непонятого назначения, людей не видно. Чужеземные «smog» и «traffic». На какой мы планете?

«Добро пожаловать!» Мы в Америке.

Рочестер. С нами опять другие люди и переводчик — Питер Глик. Аркадия сразу помещают в больницу. Он лежит в невиданно чистой палате на одного. Окружен невероятным уходом. Что там литфондовский санаторий Малеевка! Мой муж — опытный пациент, знает латынь (выучил в лагере, когда работал помощником лекаря). Но он не знает английского, а врачи и сестры — русского. Хорошо, что у него есть переводчик.

Мы с Аркадием голы и босы. Даже то небольшое, что было с нами, мы ухитрились испортить замороженным апельсиновым соком. Аркадий с запасливостью ээка сунул в чемодан консервную банку. При перелете она вздулась и лопнула. Я живу в гостинице в одном номере с Синтией. Она помогает мне купить необходимые вещи: белье, халат. Синтия водит меня завтракать и ужинать. День я провожу в больнице. Вечером в баре она и ее товарищи из нашей охраны попивают тройной мартини. Я неизбежно при этом присутствую.

Чего-то Аркадий все же недопонял. Он думает, что проходит обычное обследование, но врачи готовят его к операции на сердце. Пациент узнает об этом чуть ли не случайно и категорически от операции отказывается: у нас еще нет работы, нет денег, нет жилья. Куда мы отправимся после выписки из больницы? В больничном журнале появляется запись: «Пациент отказался от операции, сославшись на неотложные обстоятельства».

## БЕЗ МЕНЯ

### Открытое письмо в СП СССР

Уничтожению великой русской литературы способствовало много обстоятельств, исторических катаклизмов, учреждений и лиц, и в их списке, вместе с Центральным комитетом Коммунистической партии Советского Союза и Комитетом государственной безопасности Совета министров СССР, ответственная роль принадлежит Союзу советских писателей.

Возникновение литературной империи с огромным аппаратом законодателей, исполнителей, судей и палачей было неминуемо и произошло в то же время и по тем же причинам, по каким были организованы массовые уничтожения 30-х годов. Союз писателей СССР был создан в 1934 году, с которого начинается летопись советского самоистребления: она начинается с убийства Кирова, давшего возможность убивать всех. Нужно было уничтожить все, что носило блеск дара. Ибо дар нетерпим к злу. Стране навязывали величайшее зло: царствование бездарностей. Союз писателей был придуман для того, чтобы управлять литературой (ставшей, наконец, «частью общепролетарского дела»), то есть получать от нее то, что нужно безжалостной и нетерпимой, невежественной, всепожирающей власти. Власти нужно было воспитать злобных и преданных скотов, готовых развязывать войны, завоевывать земли, убивать инакомыслящих и единомышленников, дуть в торжественную фанфару славы замечательного человека, которому удалось истребить самое большое количество людей на земле.

Я никогда не писал и строки, какая требовалась от благонамеренного советского писателя, и никогда не считал себя верноподданным государства лжецов, тиранов, уголовных преступников и душителей свободы.

Союз писателей является институтом полицейского государства, таким же, как и все остальные его институты, не хуже и не лучше милиции или пожарной команды.

Я не разделяю взглядов советского полицейского государства, его милиции, пожарной команды и других институтов, в том числе и Союза писателей.

Я считаю, что мое пребывание в писательской организации совершенно противоестественно. Мне просто нечего там делать. Пить коньяк в ресторане Центрального Дома литераторов (в обществе Кочетова и Федина)? Благодарю вас. Я непьющий.

Я никогда не предавался иллюзиям и надеждам на то, что советская власть может исправиться. Но со времени прихода последнего самого тупого, самого ничтожного, самого неинтеллектуального правительства советской власти стало ясно, что наступила уверенная и неотвратимая реставрация сталинизма, что слегка прищемленные за чувствительные места сталинские деятели расправляют плечи, засучивают рукава и поплевывают на ладони, дождавшись своего часа. Началось возвращение сталинско-бериевско-ждановских идей; застоявшиеся реваншисты строятся в колонны и проверяют списки врагов. Я считаю, что наступило время, когда об этом нужно сказать громко.

Советская власть неисправима, неизлечима.

Ее смысл и цель в безраздельном и безудержном господстве над людьми, и поэтому свое полное и совершенное выражение она получила в тиранах, из которых Ленин еще не все мог, потому что не успел уничтожить оппозицию, а Сталин мог все, потому что оппозицию уничтожил.

Сталин стал самым чистым, самым высоким и самым выразительным воплощением советской власти. Он — ее символ, портрет, флаг. И поэтому все, что происходит или будет происходить в России, всегда окажется связанным с большим или меньшим количеством выпущенного в общественную жизнь сталинизма. Ничего лучше советская власть не могла открыть в своих недрах, потому что в нем было исчерпывающее соединение потребности диктаторского государства и личных качеств злодея. И поэтому все, что произошло после него, было связано лишь с ослаблением или усилением магнитного поля, которое то отпускало немного, то снова тянуло к судам и расправам, пещерной цензуре, разнузданной лжи и замоскворецкому самодовольству. И поэтому самый тяжелый удар этой мощной и хищной власти пал на человека, который первым замахнулся на самое чистое воплощение идеала.

Мстительная ненависть к Хрущеву была настояна на обожании лучших образцов советской власти. Лучшим образцом был Сталин. Хрущев плюнул в душу Президиума ЦК КПСС, милиции и народа, показав, что их самоотверженная любовь, горячая преданность и припадочное обожание были отданы мрачному марксисту, тупому маньяку, хитренькому интригану, тюремщику, отравителю и возможному сотруднику царской охраны — истинному и полному воплощению советской власти, ее символу, портрету и флагу.

Страна отлучена от политической жизни. Горстка политических заговорщиков, захватившая власть, решает судьбы задавленного, оглушенного пропагандистской трубой народа.

Только не продавшиеся, не соблазненные, не развращенные и не запуганные люди в этом классовом, иерархическом, сословном, полном субординационных предрассудков обществе, которое объявили «социалистическим», только люди, понявшие, что снова настало время уничтожения остатков физической и духовной свободы, оказывают сопротивление. Началась уже неостановимая война свободной интеллигенции с жестоким, не выбирающим средств государством, и государство, тяжело раненное разоблачениями 1956—1962 годов, поняло, что если оно не выиграет эту битву сразу, то потом оно может ее проиграть навсегда. И оно стало эту битву выигрывать. Способы были старые, испытанные и проверенные на Шалапине и Гумилеве, Булгакове и Платонове, Мейерхольде и Фальке, Бабеле, Мандельштаме, Заболоцком, Пастернаке, Зощенко и Ахматовой. Зная былую безошибочность способа, государство посадило в тюрьму профессиональных писателей и только что начавших работать молодых литераторов — Бродского, Синявского и Даниэля, Хаустова, Буковского, Гинзбурга, Галанкова и многих, многих других, засадило в сумасшедший дом поэтессу Инну Лиснянскую, математика Есенина-Вольпина, генерала Григоренко, писателя Нарису и многих, многих других, запретило исполнять свои произведения композитору Андрею Волконскому, выгнало с работы Павла Литвинова, исключило из партии и выгнало с работы Зоркую, Пажитнова, Шрагина, Золотухина и многих, многих других, ссыпало наборы книг Кардина и Копелева и многих, многих других, разослало по издательствам и редакциям черный список авторов, которым запрещено печататься, исключило из Союза художников Бориса Биргера, из Союза писателей Алексея Костерина, Григория Сvirского, выпустило с очередной разбойничьей речью (на большее он не годится) «бывшего писателя, награжденного авторитетом и ставшего пугалом, вандейца, казака, драбанта, городского русской литературы» — Михаила Шолохова (я горжусь тем, что эти слова напечатаны в моей книге «Юрий Тынянов», изд. 2-е, «Советский писатель», М., 1965, стр. 56—57), издало трехтомник Кочетова, однотомник Грибачева, пригостило и аккуратненько положило на склад дожидаться своего часа двухтомник избранных произведений своего корифея и учителя, лучшего друга советской художественной литературы Иосифа Виссарионовича Сталина.

Четыре года идет побоище из-за издания повести «Раковый корпус» и романа «В круге первом» великого русского писателя Александра Исаевича Солженицына. Эта битва не выиграна, и я не уверен, что писатель выиграет ее на советском издательском поле. Но великие рукописи есть — и уничтожить их уже невозможно. Они бессмертны и неоспоримы в отличие от перепуганной тиранической власти, которую неумолимо ждет Нюрнбергский процесс.

Как много сделано для уничтожения русской культуры, человеческого достоинства, физической и духовной свободы! Но план еще не выполнен, битва не выиграна, свободная интеллигенция еще не уничтожена до конца. Сажают, исключают, снимают, выгоняют, издают, не издают. Не помогает. Почему так прекрасно помогало в прежние времена, при Сталине, и так плохо помогает при этом жалком, самом непопулярном даже в России правительстве, где с Ивана Грозного всегда обожали крутую власть? (Такого бездарного и безнадежного правительства не знала даже Россия, которая привыкла ко всяким правительствам, прости господи. Разве что при Александре III. Только, говорят, в исторических источниках нашли, что картошки больше было. На душу населения.) Не помогает. Не помогает. А почему не помогает? Потому что мало. Сажают мало. А сажать сколько нужно — бояться. Вот бывший председатель Комитета государственной безопасности Семичастный на заседании Идеологической комиссии при ЦК КПСС (ноябрь 1966 года), когда обсуждали, как Советская Держава (площадь 22,4 млн кв. км, население 208 827 000 чел. в 1959 г.) должна организовать планомерную борьбу со стихами начинающего поэта, умолял, чтобы ему дали посадить 1200, всего 1200! отщепенцев, лакеев Запада и евреев, поганящих наше в основном здоровое общество и разлагающих его в основном замечательную молодежь. Но ему не дали. Ему дали несколько спустя под нежное и разросшееся на ответственной службе место. Боятся. Боятся умного юноши Хаустова, решившегося сказать драконоподобным и дикообразным советским судьям, что он отвергает советскую веру (марксизм), боятся замечательного художника России Александра Солженицына, боятся Америки, боятся Китая, боятся польских студентов и чехословацких неслухов, боятся югославских ревизионистов, албанских догматиков, румынских националистов, кубинских экстремистов, восточногерманских тупиц, северокорейских хитрецов, восставших и расстрелянных рабочих Новочеркасска, восставших и расстрелянных с самолетов воркутинских заключенных и раздавленных танками заключенных Экибастуза, крымских татар, согнанных со своих земель, и еврейских физиков, выгнанных из своих лабораторий, боятся голодных колхозников и разутых рабочих, боятся друг друга, самих себя, всех вместе, каждого в отдельности.

У секретарей ЦК дыбом встает шерсть на хребте. Председатели Советов министров союзных республик приседают на задние лапы. Страх трясет их, страх трясет их. И уж если эти низко организованные животные что-нибудь поняли и запомнили, так это то, как их выворачивало наизнанку от страха при Сталине. Они пытливо вглядываются друг в друга и с ужасом спрашивают себя: «А вдруг этот (Шелепин? Полянский? Шелест?) — Сталин?»

Нужна сильная личность, чтобы обуздать наконец этих вечных врагов полицейского государства — этих мальчишек, художников, поэтов, евреев. И сильная личность действительно всегда начинает с обуздания их. И кончает убийствами всех. Их предшественники тоже хотели обуздать оппозицию и кликнули для этого сильную личность. Сильная личность пришла и обуздала. А обуздав, стала уничтожать всё. И теперь они уже знают, что такое сильная личность. Но бывают такие тяжелые времена, когда лучше уж сильная личность, чем мальчишки, художники, поэты и евреи.

Все, что я пишу сейчас, мои уважаемые братья по Московскому отделению Союза писателей РСФСР и сестры по переделкинскому Дому творчества, ничем не отличается от того, что я писал раньше. Впрочем, разница есть. Она заключается в том, что в своих работах, напечатанных в советских издательствах, я, когда уже не было никакой возможности, называл злодейство Иваном Грозным или Павлом I, а теперь называю его вашим именем. Из сотен писем я узнал, что мои читатели хорошо понимают кто — Иван Грозный.

Но Павел I и Иван IV — это не только аллегории, аналогии, ассоциации и аллюзии. Они — ваш источник и корень, ваше прошлое, почва, на которой вы выросли, и кровь, которая течет в ваших сосудах. Я писал о них, потому что история и народ, которые породили и терпели злодеев, обладают врожденными свойствами, готовыми породить злодеев. И поэтому история этой страны и этого народа сделала только то, что могла сделать: самую реакционную монархию в Европе она заменила самой реакционной диктатурой в мире.

Я так мало пишу о могучем Союзе писателей СССР и о чахоточной советской литературе, потому что — зачем же писать о второстепенном зле, когда нужно писать о главном? Главное зло — это скотский фашизм советской социалистической идеологии.

Послехрущевское правительство, с нарастающим ожесточением реабилитирующее Сталина, неминуемо оказалось вынужденным с нарастающим ожесточением усиливать репрессии. И ренессанс Сталина в числе главных имел и эту цель. По рождению и профессии я принадлежу к кругу людей, подвергающихся постоянным нападкам советской власти, то есть к интеллигенции, не терпящей нарушения ее суверенитета. Как и многие другие интеллигенты, я слышу в различных вариациях один и тот же вопрос: «Зачем могущественнейшему государству преследовать людей, несогласных с его идеологией, государству, хорошо знающему, что эти преследования больше всего раздражают общественное мнение всего мира?» Это недоумение я никогда понять не мог.

Существа, стоящие во главе Советского государства, душат свободу, растаптывают человеческое достоинство и истребляют национальную культуру не потому только, что они плохие политики, но потому, что они

обречены душить, растаптывать и уничтожать. И если они не будут душить, растаптывать и уничтожать, то даже в этой стране с ее тягчайшей исторической наследственностью и постоянной склонностью к абсолютизму могут возникнуть нормальные общественные отношения, то есть такие, когда люди, думающие по-одному, не смогут уничтожать людей, думающих по-другому. И тогда неминуемо окажется, что люди, думающие по-другому, безмерно выше и значительнее властителей, и это неминуемо приведет сначала к неистовой политической борьбе, а потом из-за трагических особенностей русского исторического развития, азиатской ненависти к демократии, традиционной привычки к жестокости и резко континентальных свойств национального характера — к гражданской войне. И поэтому катастрофично не только то, что во главе этого жестокого и надменного рабовладельческого государства стоят плохие политики, душащие свободу, растаптывающие человеческое достоинство и истребляющие национальную культуру, но то, что в государстве, имеющем форму советской власти, другие стоять не могут. И это не исторически преходящая частность, это закономерность советской и всякой другой фашистской концепции. И то, что происходит в Китае или Испании, Албании или Египте, Польше или Южной Африке, отличается от советской нормы лишь национальным характером нелепости и количеством употребленной хищности.

Советская власть неисправима, неизлечима; она может быть только такой, какая она есть, — мстительной, нетерпимой, капризной, заносчивой и крикливой.

Я отвергаю господствующее среднелиберальное мнение: мы за советскую власть плюс электрификация всей страны, минус совершенно ненужная и даже вредная мелочная опека над творческой интеллигенцией. Я утверждаю: советская власть неисправима и с ней необходимо бороться. С ее идеологией и политикой, методологией и характером мышления. Но самое опасное — это забыть ее собственный страшный опыт: прибегать к способам (во имя «высшей цели»), в которых есть хоть тень безнравственности и оттенок насилия.

Сейчас для советской интеллигенции, то есть для того ее круга, который не служит разрушительной власти, после исключений, арестов, расправ и насилий, начавшихся по решению Центрального Комитета сразу же за пятидесятилетним юбилеем Октябрьской революции, возможность сопротивления значительно ограничилась. Обожаемое правительство торжествует победу над своим вечным врагом — мыслящей частью человечества. Прищуренным глазом следит оно за историей гонений и снова убеждается в испытанной верности своего метода: сокрушать всякое сопротивление, пока оно еще не осознало свою силу.



Сокрушает оно сопротивление из государственных и личных побуждений, которые, как известно, у подлинно советского человека никогда разделить нельзя.

Так и случилось с двумя подлинно советскими людьми — Константином Александровичем Фединым, исполняющим обязанности классика советской литературы, и Леонидом Ильичем Брежневым, простым советским человеком и металлургом.

Простой советский человек и металлург, посажав, поубивав, сколько успел в добрые сталинские времена (будь они прокляты), в либеральные денечки (будь они прокляты), после изнурительных тренировок на гуманное отношение к людям (тренировка производилась на шести южнорусских овчарках) решил стать мудрым государственным деятелем. Поэтому в бешеных сварках на Президиуме ЦК (коллективное руководство и демократия!) после ареста Синявского и Даниэля он отстаивал преимущества тихого удушения всех антисоветчиков перед громким процессом только над двумя из них.

Для того чтобы укрепиться в решении и привести в доказательство народ, Леонид Ильич решил создать историческую встречу.

Константин Александрович тоже придавал огромное значение исторической встрече.

Но герой рассказа Синявского-Терца «Графоманы» Константин Александрович Федин стонал во сне от желания собственными вставными зубами выгрызть глаз (а потом и другой, а потом и другой!) у гнусного антисоветского клеветника и в безумном своем ослеплении не смекнул, зачем явился к нему человек с металлургической душой подлинно советского производства.

Поговорив о том о сем — о западногерманском реваншизме да израильском экстремизме, о маоизме и подлом ревизионизме, Первый секретарь ЦК КПСС спросил у Первого секретаря Правления СП, что он думает о том о сем, да о предстоящем процессе над паразитами, ползавшими девять лет по здоровому и чистому телу советской литературы.

Константин Александрович, еще в какой-то мере сумевший сохранить спокойствие при обсуждении вопроса об империализме и даже нашедший в себе физические и моральные силы, чтобы сдержаться при обсуждении срочных мероприятий по резкому подъему народного антисемитизма, услышав имя отщепенца и клеветника, бывшего члена СП СССР, в ярости выскочил из собственных штанов и, со скрежетом выплевывая зубные протезы девичьего нежно-розово-белого цвета, стал кричать осатанелые слова, все больше повторяя такие, как «дыба», «костер», «колесование», «четвертование», «уксусная кислота» и «акулы империализма».

Потом он несколько пришел в себя, влез в штаны, воткнул протезы и сразу стал председателем Общества советско-германской дружбы и классиком.

Так и сидели друг против друга первые секретари в литературных сугробах Переделкина.

И ничего не смекнувший секретарь долго, настойчиво и убедительно доказывал уже все смекнувшему секретарю острейшую необходимость в эпоху империализма, как высшей стадии капитализма, конца колониализма и наступления ревизионизма, когда особенно нетерпима дискредитация в его лице советской литературы, в которой партией и народом ему поручен трудный, но почетный пост классика, как можно более скорой и как можно более строгой расправы над двумя подлыми антисоветчиками и отщепенцами. И доказал.

Отложенный накануне процесс был назначен на 10 февраля 1966 г. В этот день сто двадцать девять лет назад был убит Пушкин и за семьдесят шесть лет до этого родился Пастернак.

Советское правительство всегда смертельно боялось каких-либо омрачающих осложнений в час своего торжества. Оно ненавидит тех, кто может испортить их праздник. Поэтому в сталинские времена оно в предпраздничные дни набивало до исступления тюрьмы, а в нынешние устроило в Ленинграде процессы, на которых судило людей, якобы замышлявших в юбилейные дни террористические акты против него.

Советское правительство, одержав победу (как оно полагает) над интеллигенцией, празднует час своего торжества. Я считаю, что как раз в это время лучше всего и испортить светлый советский праздник.

Я пишу это письмо в доказательство того, что интеллигенция России жива, борется, не продается, не сдается, что у нее есть силы.

Я не состою в вашей партии. Не пользуюсь вашими привилегиями, нежели те, которыми пользуется всякий работающий человек в вашем государстве. У меня нет ваших чинов и нет ваших наград. Я не заслужил вашего благоволения, расположения и похвал и очень этому рад. Не стыдите меня высшим образованием, квартирой и поликлиникой, августейше дарованными вашей властью. Не попрекайте меня хлебом, который я ем, и салом, которое я не люблю. Я отработал ваш хлеб, ваш кров 13 годами тюрем и лагерей, номером 1-Б-860, которым вы меня наградили. Для того чтобы учиться, получить кров и хлеб, не обязательно иметь еще и советскую власть с тюрьмами и цензурой. Все это имеют даже народы, стонущие под игом империализма. Но вы не можете не хвастать, не попрекать, не судить, не уничтожать. Вы сожгли мои старые книги и не издаете новые. Но даже вы, даже сейчас в статьях, которыми выпалили в первые строчки моей последней книги (одно название которой вызывает у вас судорогу — книга называется «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша»), даже вы никогда не говорили, что я пишу плохо или несерьезно, или бездарно. Вы всегда говорили другое: «В ваших книгах, — говорили вы, — слишком много неуместного отвращения к насилию, нетерпимости и фанатизму». И еще вы спрашивали, тыча в страницу об инквизиции: «Что

это — намек? да? это про нас? да?» Страна рабов, страна господ... Страшно жить с вами рядом, читать ваши книги, ходить по вашим улицам. К счастью, единственная связь, которая существует между вами и мной, — это пребывание в бесстыжей организации — Союзе писателей СССР, — которая, вместе с вашими партийными архиереями, вашей охранкой, вашей армией, развязывающей войны и обращающей в рабство страны, отравляла нищий, несчастный, жалкий, послушный народ, эта связь, это единственное соприкосновение с вами вызывает у меня отвращение, и я оставляю вас восторгаться неслыханными победами, невиданными урожаями, поразительными достижениями, разительными свершениями и умопомрачительными решениями без меня, без меня. Ни вам, ни мне разлука не принесет горечи и печали. А расправиться со мной вы успеете этой ночью.

Я возвращаю вам билет члена Союза писателей СССР, потому что считаю недостойным честного человека пребывание в организации, с собачьей преданностью служащей самому жестокому, бесчеловечному и беспощадному политическому режиму всех веков человеческой истории.

Художники и ученые этой замученной, задерганной страны, все, кто сохранил достоинство и порядочность, придите в себя, вспомните, что вы писатели великой литературы, а не официанты сгнившего режима, бросьте в лицо им свои писательские билеты, возьмите свои рукописи из их издательств, перестаньте участвовать в планомерном и злонамеренном разрушении личности, презирайте их, презирайте их, презирайте их бездарное и шумное, бьющее в неумолимый барабан побед и успехов бесплодное и беспощадное государство.

*20 июня 65—68 гг.*

*Таллин — Москва — Прага — Вена*

## Глава 2

Наталья Белинкова

### «СПАЛЬНЯ» НЬЮ-ЙОРКА

*Временная жизнь в предместье Нью-Йорка. Американский дядюшка. Загородный клуб с бассейном — это не для нас. Интервью для журнала «Тайм». Нам даровано политическое убежище. Аркадий подписывает контракт на работу в Йельском университете.*

Нам предстояло перебраться в городок Гринвич поближе к мистеру Найту — адвокату солидной нью-йоркской фирмы Shearman and Sterling, занимавшейся алжирской нефтью. Роберт Найт временно взял на себя обязанности адвоката двух беглецов. Ему предстояло оформить наше политическое убежище и помочь устроиться на работу. Это он дождался нас в аэропорту в первый день нашего появления на американской земле.

Из Рочестера нас везли на машине. Почему-то я плохо помню это первое путешествие по Америке, кроме того, что по дороге мы остановились на ночь в маленьком поселке Spring Valley. Здесь Аркадий закончил рассказ «Побег», по горячим следам начатый им в больнице Майо.

Но «Побег» не документальный очерк, а рассказ (fiction), хотя повествование в нем идет от первого лица, и вызван он только что пережитыми событиями. Рассказывать о том, как все происходило на самом деле, Аркадий считал преждевременным. Поэтому одни эпизоды в «Побеге» воображены, другие искажены, третьи перемещены во времени. Реконструкция по ним маршрута бегства привела к ошибкам, блуждающим по статьям о Белинкове уже много лет. Никто не обратил внимания на то, что автор сам дает ключ к осторожному прочтению этой вещи, демонстративно играя сносками: «\*Струве — подлинное имя. \*\*Клод — вымышленное имя». В одном сборнике даже изъяли сноску «\*Сталин — подлинное имя», не поняв авторского намерения.

Вот примеры, в которых автор переиначил реальные факты:

Мы решились на добровольное изгнание, как и герои рассказа, но его отправной географической точкой была не Эстония, а Югославия.

В рассказе мы смотрим на топтуна с балкона. В жизни мы натыкались на него у подъезда нашего дома и узнавали по жесту — он засекал по наручным часам время нашего возвращения.

Уничтожение третьего издания «Юрия Тынянова» действительно произошло, но с поправкой во времени: оно погибло не до нашего бегства, а в результате его.

У героини рассказа Наташи мое имя. О моей драке с кагэбэшниками не может быть и речи. Однако сумка в черно-красную клетку, как будто нахлобученная мной на агента, списана с сумки, которую нам подарил профессор Лейденского университета Карел ван Хет Реве, исполнявший в Москве обязанности корреспондента амстердамской газеты «Пароль».

Обыск в квартире с конфискацией книг — вымысел, однако предваривший всего на несколько недель реальное событие. Коробки с конфискованными книгами были сгружены в прихожей библиотеки при СП СССР, и об них долго спотыкались читатели библиотеки, получая объяснение: «Это библиотека Белинкова».

А вот подлинные факты и события из жизни автора:

Совпадение имен автора и героя рассказа — Аркадий.

Ранение осколком взорвавшейся мины под Новым Иерусалимом. Белинков короткое время работал корреспондентом Совинформбюро и был членом комиссии по расследованию зверств фашистских оккупантов во время войны.

Второй двадцатипятилетний срок.

Пребывание героя рассказа в больнице Спасского отделения Песчаного лагеря, где его в бессознательном состоянии положили в морг.

Расторжение договора на книгу об Олеше.

«Побегом» Белинков еще раз предсказал свою судьбу: беглец из тоталитарной страны не найдет общего языка со своими коллегами на свободном Западе. Брат и сестра — Клод и Дези целиком выдуманы. Когда Аркадий ввел их в рассказ, у них не было даже прототипов. Но их заблуждения относительно процессов, происходящих в СССР, — подлинные. Вымышленный персонаж Дези, встретив беженцев, говорит: «Да, теперь у вас хорошо. Очень хорошо... Позвольте, зачем же вы тогда бежали?!»

В рассказе есть и предвидение того, что может произойти в России: «В любую минуту все может вернуться к прежнему и уже возвращается, потому что однопартийный режим не терпит единственной гарантии свободы — оппозиции».

Когда проза Белинкова, пролежавшая в архивах КГБ пятьдесят лет, стала доступна, то обнаружилось, что нарочитое смешение реальных фактов и художественного вымысла — характерная особенность его письма, как это и полагалось по теории «необарокко».

«Побег» — последнее художественное произведение Белинкова. Через три дня после того, как он его написал, в «Нью-Йорк Таймс» появилось сообщение о писателе, покинувшем СССР.

С переездом в бесцензурную Америку, с перемещением в иную идеологическую среду стиливой «сплав», отличающий его творческую манеру, распался на свои составные части: публицистику, литературоведение, прозу.

В зеленом городке Гринвич (штат Коннектикут) в часе езды от Нью-Йорка мы простились с Синтией и ее друзьями.

Как нам объяснили, Гринвич — это «спальня» состоятельных бизнесменов с Уолл-стрита. Утром они уезжают делать деньги, а вечером возвращаются отдыхать от своих тяжелых финансовых трудов. Здесь жил «наш» адвокат, и здесь же неподалеку от себя он снял временное жилище для нас. Нам предстояло жить в доме № 409 по улице Round Hill, откуда мы не устроимся на работу. Здесь у Аркадия брали интервью, здесь мы повстречали интереснейших людей, здесь мы нашли настоящих друзей. И здесь Аркадий много работал. Он подготовил к печати открытое письмо в СП СССР, написал документальный очерк о судьбе Солженицына и его книга и поставил последнюю точку в рассказе «Побег».

Роберт Найт, Питер Глик и владелец дома Даниель Напп внесли в просторную гостиную два чемодана, пишущую машинку и связку с книгами. Когда мы успели ими обзавестись? В комнаты через большие, как будто только что вымытые окна с любопытством заглядывают огромные деревья. В гостиной — нежные акварели, мягкий диван, уютные кресла — совсем как на иллюстрациях журнала «House and Garden». Но все это мы разглядели потом.

Сейчас мы были слишком измучены. Нам долго объясняли, как пользоваться электрической плитой, посудомоечной машиной, стиральной машиной, с нами условливались, когда встретимся завтра, обсуждали, в какие газеты следует посылать «Открытое письмо в Союз советских писателей», показывали, в каких шкафах находится постельное белье и где стоит посуда, инструктировали, по какому телефону звонить Роберту Найту домой и по какому — его секретарше на Уолл-стрит.

Притулившись в углу длинного дивана, я уже с трудом понимала, о чем идет речь. Аркадий же, несмотря на свою болезнь, более выносливый, чем я, продолжал планировать свою жизнь на завтра и на послезавтра и вперед на долгие, как он надеялся, годы. Он удобно расположился в кресле с широкими подлокотниками и машинально поглаживал гладкую, тугую, как ему казалось, ручку кресла. Вдруг под его ладонью «ручка» шевельнулась и медленно поплыла в сторону. Аркадий замолк и с легким испугом оглянулся. На мгновение все тоже замолчали и сразу одновременно прыгнули: оказалось, он гладил не ручку кресла, а голову большой рыжей собаки. Находясь вместе со своим хозяином в своем доме, она доверчиво подставила голову под незнакомую руку. Рядом равнодушно зевала дру-

гая, такая же рыжая. Спыхватившись, что уже поздно, все стали прощаться и скоро оставили нас одних.

Собаки навещали нас все время, пока мы жили в Гринвиче. Они свободно заходили и беспрепятственно уходили, так как двери тут не запирались. Они присутствовали при деловых и дружеских разговорах. Они сопровождали нас на прогулках. Мы гуляли по улицам, но улиц, собственно, не было — усадеб где-то за деревьями и тротуаров нет. Только со свистом проносятся лакированные машины по чистеньким дорогам, обрамленным цветущими кустами. Может быть, добродушные псы остерегали нас от неосторожного шага?

Итак, мы поселились в поразившей нас уютной роскошью просторной усадьбе, которую сами американцы шутя называли «маленьким фермерским домиком». Может быть, и в самом деле здесь когда-то жила фермерская семья. Теперь владельцем дома был журналист, имевший какое-то отношение к журналу «Тайм». Незадолго до нашего приезда он опубликовал книгу о прошлом и настоящем городка Гринвич, обильно снабдив ее фотографиями местных достопримечательностей<sup>1</sup>. С теплой дарственной надписью он подарил нам свое произведение. Теперь у меня есть возможность сравнить свои впечатления новичка со взглядом старожилы. Они не совпадают.

По неизвестной нам причине Даниелю Наппу ни под каким видом не давали приобщиться к литературной судьбе Аркадия Белинкова. Сдав на лето свое поместье, он оставался жить где-то по соседству и приходил к нам просто «поболтать». Поболтать! Всего-то он знал, как составить порусски один вопрос. А мы и того меньше. Забавно переставляя слоги, он спрашивал: «Пап-ка русски — coffee?» Надо было понимать: «Как порусски — кофе?» Мы отвечали: «кофе». «Пап-ка русски — communist? Пап — ка русски — park?» Мы отвечали: «коммунист, парк». И все трое весело смеялись. Легкий нрав был у Даниеля Наппа.

Нами занимался мистер Найт.

Днем он пребывал в офисе своей фирмы по адресу: 20 Exchange Place, New York. Вход в современное здание, где находилась фирма, был декорирован колоннами, говорят, вывезенными из Помпей.

Ночевал он в доме величиной с большой американский амбар. Жилое помещение — с гостиными, спальнями и кухней — и было встроено в старинный амбар. Гостей водили «на экскурсию» показывать часть незастроенную. Наиболее храбрые даже поднимались по скрипучей деревянной лестнице на примыкавшую к зданию высокую башню с часами. Здесь это было принято — кокетничать переделками и перестройками (в их первоначальном смысле).

<sup>1</sup> Knapp D. Muskets and Mansions. The Greenwich Story. Greenwich, 1966. (Мушкеты и поместья. Прошлое Гринвича.)

Мы долго находились под благожелательным покровительством Роберта Найта и были от него зависимы. Вальяжный преуспевающий адвокат распоряжался нашими деньгами, договорами, литературными и академическими связями. «Вам предлагают сто долларов за рецензию? — переспрашивал он нас, безденежных. — Откажитесь, это слишком мало». Роберт Найт связал Белинкова с первыми «иностранцами», занимающимися русской культурой и политикой: Максом Хейуордом, Альбертом Тоддом, Эдуардом Клайном, Патришей Блейк, Виктором Эрлихом и другими. Он приглашал нас к себе на party и в торжественные моменты провозглашал тосты «за Америку». И он не знал русского, как и мы — английского.

Вежливую безапелляционность «нашего» адвоката, смягчала его жена Alice. Произносится — Эллас. По российским меркам она могла бы считаться домашней хозяйкой: нигде не служила, воспитывала пятерых детей, выдавала дочерей замуж и устраивала торжественные приемы. Забот достаточно. Но вскоре мы узнали, что по совместительству Эллас Найт — преданная учительница в воскресной школе, талантливая, не раз выставленная художница, незаурядная писательница. В частности, она написала книгу о популярном в 60-е годы французском теологе Тейяре де Шардене, труды которого были некогда запрещены Ватиканом и циркулировали среди духовенства только в рукописной форме. Тоже ведь «самиздат»!

Наша Алиса из страны американских чудес тоже не говорила по-русски. Но как хорошо мы друг друга понимали! От нее мы узнали и запомнили первую фразу на чужом языке: «идет дождь». И всего-то она протянула руку через спущенное окно автомобиля и поймала первую каплю, произнеся «it is rain». Годом позже шесть бесконечных часов провела Эллас вместе со мной в вестибюле нью-хейвенского госпиталя, ожидая исхода операции на сердце Аркадия.

Впрочем, в жизни каждого беженца тех времен найдется американка, для которой невозвращенец — сирота. Он без своей страны все равно как без своей семьи. Такая женщина, следуя давним обычаям американских пионеров, приветит, накормит и введет в новую жизнь. А в нашей жизни их было больше чем одна.

От первых дней в Гринвиче осталось впечатление, будто мы только то и делали, что принимали гостей. И как было не накормить человека, заявившегося даже в неурочное время? Я металась между кухней и столовой, то расставляя посуду, то убирая ее со стола. Крутилась посудомоечная машина. Постоянно приходилось просить Питера Глика докупать продукты. Жили мы на занятые деньги, и сравнительно с ошеломляющим изобилием в магазинах наше угощение казалось мне удручающе скромным. А наши посетители, как я теперь понимаю, изнывали от «русского госте-



приимства». Кабы знала я тогда, что у них lunch точно в полдень, а dinner — в 5 вечера и все они на диете!

Много разного народу перебивало в доме на Круглом холме (Round Hill и значит круглый холм).

Одной из первых приехала Маша Воробьева — она тогда заканчивала Колумбийский университет в Нью-Йорке и писала дипломную работу о Юрии Тынянове. Русская по происхождению — родители ее принадлежали второй, послевоенной волне иммиграции, — Маша и по стилю жизни, и по образованию — американка. Но ей довелось узнать на трагическом примере своего отца, как трудно бывает беженцу приспособиться к новой среде. Она лучше всех понимала, с какими проблемами сталкиваются ее друзья из России. Сколько страниц заявлений, предложений, прошений, писем, неизменно сопровождающих жизнь новичка на чужой земле, перевела она для нас с одного языка на другой! Прошли годы. Так же самоотверженно она помогала Иосифу Бродскому. (И настолько же скромно. Эта страница жизни поэта так и осталась никому не известной<sup>1</sup>.)

В доме на Круглом холме побывал даже «американский дядюшка», которого нам удалось разыскать через отдел иммиграции во Флориде. О его существовании мы узнали за несколько месяцев до побега. Лев Наумович Гамбург — родной дядя Аркадия — покинул Россию в годы Гражданской войны в надежде добраться до Америки и стать миллионером. Он прошел через Польшу, Италию, попал на Кубу, там сделал свой первый миллион и там же потерял его: «Вошли такие же, в кожаных куртках и прямо к сейфу...»

В Америку, страну своей мечты, он попал в качестве беженца. Старый человек с опухшими ногами, он работал теперь продавцом в магазине ламп во Флориде. Дядя привез племяннику, которого до того никогда не видал, соломенную тарелку с засахаренными фруктами и, когда дарил, сказал: «Дорого стоит...»

К вечеру он позвонил по телефону другому родственнику, из штата Нью-Джерси. Старики говорили по-русски. На другом конце провода были явно озабочены нашим финансовым положением и предлагали денежную помощь. Дядя из Флориды важно отвечал: «Что ты! У них все будет в порядке. Тут стол на тридцать человек накрывают!» За стол садилось от силы человек восемь. Преувеличил дядюшка и наше будущее благополучие.

Но тогда все было полно веселой суматохи, в которой мы растворяли и пережитый страх, и радость от достижения цели, и неясные надежды, и

---

<sup>1</sup> В настоящее время это утверждение можно считать устаревшим; ср.: для Бродского «ближайшим человеком, по существу, верной заботливой сестрой стала <...> Маша Воробьева» (Лосев Л. Иосиф Бродский: опыт литературной биографии. М., 2006. С. 204 (серия «Жизнь замечательных людей»). — *Примеч. ред.*

предчувствия неведомых несчастий, и тревогу за брошенных на произвол советской судьбы родителей. В приподнятой, почти радостной обстановке первых дней нас не сразу встревожили признаки грядущих бед.

На журнальном столике лежал машинописный текст «В круге первом». Многочисленные гости читали название, с любопытством брали в руки рассыпающиеся страницы, говорили: «О-оо!» И откладывали в сторону: «Прочитаю, когда выйдет из печати. Аркадий Викторович, а что подадут в России на завтрак?» Как эта реакция была отлична от той экзальтации пополам со жгучим чувством страха, когда Солженицын читался в «самиздате»! Проглотив чужое равнодушие, мы оправдывали его, принимая за положительный знак: «Подумать только! Какая счастливая уверенность в том, что в с е может быть напечатано, и то, что напечатано, может быть безнаказанно прочитано!»

Мы плохо представляли себе западную жизнь, но здесь еще меньше было известно о советской России. Судя по некоторым вопросам, в Америке еще были люди, верившие в «белых медведей в окрестностях Кремля». Нам удивлялись: мы умели пользоваться бытовыми приборами — будильником, электрическим утюгом, телевизором; мы пили кофе, а не чай, как полагалось бы типичным русским. Когда однажды к нам нагрянули неожиданные гости и я, бросившись к телефону, поспешно набрала номер Маши Воробьевой (нужен был переводчик), мною стали шумно восхищаться: «Она так быстро научилась справляться с телефоном!» Но рассказ о том, что в Москве от заявки на телефон до его установки может пройти несколько лет, американцы принимали то за остроумную шутку, то за клевету. Убежденные в бытовой отсталости нашей страны, они делали вывод и о «недоразвитости» нашей диктатуры. По их мнению, мы, антисоветчики, сильно преувеличивали недостатки советского строя. Это американцы. Немного позже русские эмигранты придут к заключению о том, что мы преувеличиваем недостатки царского режима, и назовут нас «советскими товарищами».

Постепенно расхождения во взглядах как с американцами, так и с русской эмиграцией становились все заметнее. Почему бы и нет? Аркадий из «Побега» предсказал Аркадию из Москвы, что его ожидает. Находясь еще в Гринвиче, Белинков начал делать такие записи: *«На меня произвели устрашающее, обескураживающее впечатление разговоры с людьми Запада, которые изо всех сил защищают от меня советскую власть. Так как это очень хорошие люди, то я начинаю опасаться, что мои воззрения окажутся близкими людям с откровенно реакционным мировоззрением... Мои представления ничем не отличались от представления моих друзей. Правда, я старался об этом написать, а они предпочитали говорить, а писать по-другому. Но никогда моим друзьям не покажутся дикими взгляды, которые произвели удручающее впечатление на моих новых знакомых».*

Хлопоты Роберта Найта о предоставлении нам политического убежища подходили к концу. Оставалось только выполнить некоторые формальности. По условиям существовавшего соглашения между США и СССР такому решению американского правительства должна была предшествовать встреча беглецов с советским послом. У Роберта Найта возникло было сомнение в безопасности этого предприятия<sup>1</sup>. Но, подумав, он пришел к выводу, что было бы глупо, если бы советские решились на провокацию. Сам же Аркадий отчаянно желал этой встречи и, готовясь к ней, набрасывал черновик выступления: *«Не грезятся ли Вам, господин Добрынин, лавры Вашего коллеги Пономаренко? Не ждете ли Вы, что я выброшусь из окна, как доведенная Вами до отчаяния учительница? Не надеетесь ли Вы на то, что я, как советский инженер в Лондоне, сначала попрошу политическое убежище, а потом позволю, чтобы мне сделали укол (любви к родине), и побегу в советское посольство? Не рассчитывайте на это. Я давно и убежденно отношусь к вам с глубочайшим презрением. Мое отвращение к вам проверено. Уверенность в преступности вашего существования безгранична. Я пишу двадцать пять лет, и все эти годы были посвящены борьбе с вами. Я приехал в свободную страну для того, чтобы лучше бороться с вами. Я верю в то, что здесь это можно сделать гораздо лучше, чем у себя на родине».*

Похоже, бывший узник ГУЛАГа не забыл своих мушкетерских забав.

А в это время шли другие, международные игры.

На Дальнем Востоке над советской границей нависли китайские войска. Американцы завязли во Вьетнаме. Великие державы накопили столько ядерного оружия, что мир стал чреват глобальной катастрофой.

Необходимость разрядки международной напряженности представлялась настолько очевидной, что, когда в Прагу въехали советские танки, Запад предпочел увидеть в этом всего лишь нежелательный инцидент в советской зоне влияния. В такой обстановке кому, спрашивается, были нужны два беглеца с их обличениями советского тоталитарного режима?

Едва Роберт Найт начал подыскивать нейтральное место для свидания Белинковых с Добрыниным, как на пресс-конференции советского посольства его представитель Олег Калугин заявил: «Эта чета нас не интересует»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Опыт «холодной войны» показывал, что беженцы из СССР не были в безопасности даже на американской территории. Случались покушения и совершались похищения с последующей насильственной или «добровольной» отправкой на родину.

<sup>2</sup> В 2004 году в Гуверовском институте (Пало Алто, Калифорния) на конференции, посвященной работам западных радиостанций в период «холодной войны», я мирно беседовала с Олегом Калугиным, перешедшим на положение невозвращенца в 90-е годы.

Не следует понимать это заявление буквально. В покинутой нами стране к этой чете был проявлен максимальный интерес.

21 августа Управлением Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР по Москве и Московской области против нас было возбуждено «Дело № 299» по статье 64а (измена родине). В соответствии с Уголовным кодексом РСФСР, действовавшим в 1968 году, Аркадию грозила третья судимость.

Следственное дело проходило заочно. На допросы вызывали наших родителей и наших друзей, проживавших в России. Все допрошенные подписывали обязательство о неразглашении. Но утечка информации случилась. Так я узнала о том, как допрашивали моего отца.

На гневный вопрос: «Как вы воспитали такую дочь?!» — отец возразил было, что последнее время его дочь скорее находилась под влиянием мужа. «А-а-а, значит, у Вас были разные взгляды?» И отец честно показал, что между ним и зятем во взглядах наблюдались жестокие расхождения. И уточнил: «На искусство. Он любит древнерусскую живопись, а я — искусство художников-передвижников».

Так он виртуозно перевел стрелку беседы с аспектов политических на эстетические. Не удивительно. Во время оно отец пережил и арест, и допросы, и заключение.

Через год Комитет госбезопасности занялся поиском компромата на дочь Сталина и заодно на жертву сталинского режима Аркадия Белинкова<sup>1</sup>. (Подробнее я рассказываю об этом в главе «Новые небеса».)

В 1999 году «Дело № 299» было «прекращено за отсутствием состава преступления». В Уголовном кодексе РСФСР, действующем с 97-го года, этот состав был исключен из статьи «Государственная измена».

За семь дней до возбуждения «Дела № 299» прокуратурой «Литературная газета» опубликовала зубодробительный фельетон<sup>2</sup>. Прибегая к цитатам из «Черновика чувств», скрывшийся под псевдонимом автор доказывал, что Аркадий Белинков всегда был внутренним эмигрантом, что он заслуженно предстал перед советским судом во время Великой Отечественной войны, а освободившись, не исправился, продолжил свои клеветнические выпады против родины в книге об Олеше.

Аркадий воздал должное остроумному названию фельетона.

Связь «Литгазеты» с КГБ получила доказательство — «Черновик чувств» можно было найти только там.

В подцензурной советской печати началась публикация злополучного романа (пока только цитатами)!

---

<sup>1</sup> Файман Г. Еретик // Независимая газета. 1996. 27 сент.

<sup>2</sup> Жуков Вл. Васисуалий Белинков избирает «Воронью свободу» // Литературная газета. 1968. 14 авг.

Встреча с советским послом не состоялась. К огорчению Аркадия, пресс-конференция не имела места. Нам была продлена виза с правом на работу в США и вскоре даровано политическое убежище.

Выполнив по отношению к нам главную свою задачу, Роберт Найт уезжал в командировку и почему-то настойчиво советовал до поры до времени воздерживаться от общения с корреспондентами. Правда, перед отъездом он успел разослать копии открытого письма о выходе Белинкова из Союза советских писателей (или «Заявления...», как оно было названо в «Новом русском слове») в ряд радиостанций, газет и журналов. Среди них — в США: «Time», «Newsweek», «The Washington Post», «The New York Times», «The Washington Star», «Christian Science Monitor» и в Европе: Италию («Corriere della Sera»), Швейцарию («Neue Zurcher Zeitung»), Англию («The Guardian»), Германию («Die Welt»), Францию («Le Monde»).

Перед этим Роберт Найт долго и настойчиво убеждал Аркадия в необходимости переделок: «По-английски текст письма звучит намного резче, чем по-русски. И надо бы смягчить некоторые места в переводе. Если этого не сделать, то надо быть готовым к тому, что на это письмо будет отрицательная реакция сторонников сближения с Советским Союзом» (выделено мной. — Н.Б.).

«Смягчить». Но Аркадий-то бросил страну, чтобы не смягчать, а заострять!

Он не понизил голоса: «Люди на Западе удивляются силе выражений, которые я употребляю: ведь и так все слышно. Вероятно, они не понимают, что это здесь слышно, когда каждый дает другому говорить и слушает его. В России ведь совсем другое. Там нужно перекричать трубы, барабаны и канонаду советской пропаганды».

Отрицательной реакции не было. Никакой реакции не было. Западная пресса просто молчала.

В английском переводе оказались опубликованными всего лишь несколько цитат из открытого письма<sup>1</sup>.

Полный текст документа появился под разными названиями только в русской зарубежной прессе

При желании западные советологи и специалисты по русской литературе могли с открытым письмом ознакомиться, но широкому читателю на Западе оно осталось неизвестным.

Перелистываю записные книжки и просматриваю записочки первых месяцев на новой земле. В них неимоверное количество адресов и те-

---

<sup>1</sup> Aspects of Intellectual Ferment and Dissent in the Soviet Union. Document № 106. Washington, 1968. P. 50. Подготовлено по рекомендации сенатора Томаса Додда. Составители С. Якобсон и П. Аллен.

лефонов, каждодневные памятки и вопросы самим себе. Как сказать 284-4424 телефонистке, не зная языка? Как выручить рукопись статьи о декабристах, пересланную в Прагу еще до вторжения советских войск? Где достать русско-английский разговорник? Сколько стоит питание на один день для одного человека? Для двоих? Какой сорт бумаги подходит к нашей пишущей машинке? Какова структура американских университетов? Как связаться с редактором «Нового журнала»? Почему срывается пресс-конференция? Живя на средства Мирового литературного содружества, как нам объяснили, сможем ли мы расплатиться? Кому здесь надо, чтобы в статьях мы смягчали выражения? Откуда у местных такая любовь к Стране Советов?

Каждый вопрос — виток в туго скручивающейся пружине. Через два года эта пружина развернется и ударит по одному из нас.

Мы скоро заметили, что нашему новому западному окружению не только взгляды Белинкова на природу советского строя казались реакционными, им не хотелось верить даже фактам. Аркадию, например, не поверили, когда он сообщил о советских танках на чехословацкой границе. То есть не то что посчитали его лжецом, но находили множество доводов против.

Среди недоверчивых были и наши будущие друзья со «Свободы». Утром 21 августа 1968 года на Круглом холме раздался телефонный звонок. Звонили с радиостанции: «Аркадий Викторович! Поздравляем Вас. Советские войска вошли в Чехословакию!» Ну не вздор? (Мы даже не сразу сообразили, что поздравляли не с вторжением, а с точностью прогноза.) Пределов нелепому — нет. Слависты Карлова университета, протестуя против советских танков на улицах Праги, перестали пользоваться машинками с русским шрифтом. Аркадию пришло такое письмо — написанное по-русски, латинскими буквами. Очень точный для выражения протеста адресат!

Контрасты, контрасты. Однажды августовским зеленым утром за нами заехали Эд и Джил Клайны. Они пригласили нас на целый день в загородный клуб — отдохнуть от напряжения последних месяцев. С Клайном мы встречались уже несколько раз и знали, что у этого милого долговязого парня репутация миллионера и что у него есть связи в издательских кругах. Иногда он привозил нам книги, за которые каждый раз Аркадий норовил расплатиться. Его жену Джил, красивую брюнетку, мы видели впервые. Она озабоченно осведомилась о наших купальных костюмах. Растерявшись, я залепетала что-то о двух чемоданах, с которыми мы бежали. Джил что-то решительно сказала. Эд перевел. «Куда бы Вы ни ехали, всегда надо брать с собой купальный костюм». С тех пор я беру купальник, а то и два в любые поездки, хоть на Северный полюс.

Чудом нашли мы, в чем купаться, но ожидаемого отдыха эта поездка не принесла. Выходя из дома, Аркадий вынул из почтового ящика несколько конвертов. Среди них было письмо от Карела ван Хет Реве<sup>1</sup>. Он с подробностями писал о разгроме демонстрации московских диссидентов, открыто выступивших на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию. Среди арестованных — внук бывшего наркома иностранных дел Максима Литвинова Павел. Сенсация! Для журналистов во всем мире. Для нас же — удар. Павел — сын наших ближайших друзей, Флоры и Миши Литвиновых.

Есть поговорка о небе, показавшемся с овчинку. Эту овчинку мы пристально рассматривали по дороге в загородный клуб. Приехали. Голубой бассейн, полосатые курортные зонтики, лоснящиеся от защитного крема тела. Показалось, кто-то острой бритвой полоснул по нашим глазам.

«Дорогой Билл! — писала я Биллу Уэсту в Вену. — Мы ехали в свободную страну, где, надеялись, Аркадий будет печататься, а приехали в страну, замиряющуюся с Советским Союзом, мы ехали в деловую страну, а приехали в доброжелательную. Мы живем хорошо — в богатом доме с “air-conditioning”, ездим в богатом большом автомобиле, у нас бывают очень интересные, добрые, славные, милые люди.

Порой нам кажется, что мы не уезжали из Москвы. В нашем положении ничего не изменилось.

Все началось с того, что Аркадию посоветовали “смягчить стиль”, потому что “слишком резко написано”, потом Аркадию советуют очень настойчиво и до сих пор разные вещи, например, не давать пресс-конференцию, когда он хочет ее дать, или, наоборот, давать, когда он уже не хочет давать... С изданиями старых и новых вещей пока тоже ничего не известно. Живем мы в долг, чего никогда не было. Предполагалось, что, как только мы будем на американской земле и все будет в порядке — мы напишем Вам. Мы не писали долгое время не потому, что забыли Вас, и пишем сейчас не потому, что все уже устроилось.

Вчера мы видели в саду дома, в котором мы живем, синюю птицу, мы подумали, что это метерлинковская синяя птица счастья. А сегодня нам рассказали, что эта птица ест яйца других птиц с еще не вылупленными птенцами. Этот рассказ произвел на нас большое впечатление.

Повторяю еще раз. Мы живем очень хорошо. Я пишу свою работу о похоронах... Кажется, я рассказывала Вам о таком замысле...»<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Карел ван Хет Реве — профессор Лейденского университета в Голландии, иностранный корреспондент в Москве, автор нескольких книг о современной России. Создатель издательства «Фонд им. Герцена», в котором опубликованы работы Павла Литвинова, Андрея Амальрика, Юлия Даниэля. С Карелом и его женой Иозиной мы подружились в Москве.

<sup>2</sup> Замысел не был осуществлен. Фрагмент его вошел в главу «Елка погасла!».

Первоначальные хлопоты Роберта Найта о нашем благоустройстве все же дали свои плоды.

В Гринвич приехала корреспондентка журнала «Тайм» Патришия Блейк брать у Аркадия интервью о Солженицыне. На нас, сбитых с толку пропастью между возможностями, открывающимися в свободной стране, и трудностями осуществления наших планов, эта блестящая, холодная представительница незнакомого журналистского мира произвела ошелмляющее впечатление.

Ее, естественно, интересовал Солженицын, а не Белинков. Но Патришия сразу поняла, что нашла хороший источник информации. Ловко скрывая свое незнание реальной ситуации в СССР, она умело задавала вопросы о положении творческой личности в тоталитарной системе. Конечно, она не могла не заметить, что взгляды Аркадия на процессы, происходящие в Советском Союзе, расходятся с представлениями американских советологов, но сумела острые моменты обойти.

Патришия Блейк приезжала к нам несколько раз или одна, или в сопровождении Макса Хейуорда<sup>1</sup>. Непременным участником встреч с эффективной журналисткой стал Вадим Ляпунов, будущий коллега Аркадия по Йельскому университету. Он блестяще выполнял взятые им на себя обязанности переводчика.

На основании нескольких интервью, взятых у Белинкова, появилась первая на Западе обстоятельная статья о Солженицыне — «Писатель как совесть России»<sup>2</sup>. Давая интервью, Аркадий сознательно сыграл роль невидимки: он просил не указывать свое имя — опасался, что упоминание о нем, жителе западной «свободки», может повредить писателю в «отечестве нашем свободном». Он был очень осторожен. И все же, введенный в заблуждение профессиональной сноровкой опытной журналистки, иног-

---

<sup>1</sup> Макс Хейуорд — английский ученый, преподаватель русской литературы в Оксфорде — одно время был сотрудником британского посольства в Москве, где сформировалось его понимание советской действительности и развилось сочувственное отношение к советским литераторам, лишенным творческой свободы. Когда Роберт Найт получал для Белинкова статус политического беженца, то обратился к Хейуорду за письменным показанием под присягой (affidavit). Показания М. Хейуорда заканчивались так: «Репутация Белинкова как ученого, писателя и литературного критика была мне известна задолго до его приезда в США. С моей точки зрения, А. Белинков — один из ведущих авторитетов в области русской литературы и истории культуры России. В дальнейшем его исследовательская и творческая работа будет, несомненно, представлять интерес для ученых всего мира. Я подписываю этот affidavit с чувством высокого профессионального и личного уважения к нему». Макс познакомился с работами А. Белинкова благодаря тому, что тот сумел передать экземпляр «Юрия Тынянова» Мани Харрари — совладельца английского издательства «Харвилл», для которого Макс переводил Пастернака и Солженицына.

<sup>2</sup> Cover Story: The Writer as Russia's Conscience // Time. 1968. September 27. P. 22—27.



да был более откровенен, чем ему хотелось бы. Спohватившись, он каждый раз настоятельно просил вычеркнуть опрометчиво вылетевшее слово. Журналистка этим пренебрегла. Получив номер «Тайм» со статьей, Аркадий был взбешен. К моему ужасу, при всяком удобном случае он стал называть элегантную журналистку не иначе как «Патришия Бэ». Что имелось в виду под этой аббревиатурой, русскому читателю объяснять не надо.

Но время для настоящих разочарований еще не пришло. Наоборот, журнал, довольный статьей о Солженицыне, купил у Белинкова статью о нем самом. Редакция хотела также иметь сведения о Сахарове и Пастернаке, Синявском и Даниэле, о диссидентах, о цензуре, о советских лагерях и тюрьмах (предпочтительно в благожелательных тонах). Вместе со статьей журнал покупал и ее темы, и Аркадию пришлось через Найта специально договариваться о беспрепятственном доступе к ним для выступлений и публикаций на русском языке.

Специфические требования распространялись и на форму подачи материала. Не сам Аркадий должен был описывать свою судьбу — Аркадий Викторович, Вы не знаете вкусов читателей «Тайм», — а опытный западный журналист будет писать статью с его слов. Аркадий беспокоился: не попадает ли он в положение полуграмотной доярки, за которую напишет все, что ни потребуется, второразрядный член Союза писателей СССР?

С облегчением мы узнали, что журнал заключил договор с Максом Хейуордом. Насколько Макс — англичанин — знал американских читателей и нравы американских издателей, мы знать не могли.

Начавшись в Гринвиче, работа над статьей об Аркадии Белинкове надолго затянулась. Макс даже перебрался на время из Англии в США.

Доброжелательный, спокойный, с мягкими манерами, он располагал к искренности и доверию. Аркадию поначалу легко было с ним работать. Говорит, как бывалый москвич, и полное взаимопонимание!

Оба не только понимали друг друга с полуслова, а и мыслили одинаково. Казалось, они исполняли не хорошо слаженный диалог, что было бы естественно, а по очереди вступали в один и тот же монолог. Письменный стол стоял торцом к окну. Макс пристроился поближе к Аркадию с противоположной стороны стола. Он работал по старинке, без машинки и магнитофона.

**Аркадий** (убежденно): Входящее в силу молодое поколение играет все более ответственную и все более гнусную роль в жизни Советского государства.

**Макс** (со смешком): Политический процесс зависит от прозревших болванов.

**Аркадий**: При издании поэмы Максима Горького «Девушка и смерть» нельзя было не поместить сталинского факсимиле: «Эта штука посылнее Фауста Гете. Любовь побеждает смерть». Но в своем изрече-

нии корифей всех времен и народов «любовь» написал без мягкого знака. В редакции паника. Кто решится править самого Сталина? Главный редактор находит выход: «Не править. Товарищ Сталин учит нас, что *любовь* слово твердое!» А на месте мягкого знака на всякий случай предлагает поставить ма-а-а-аленькую (и, сложив указательный и большой пальцы так, как будто он берет щепотку соли, Аркадий показывает, насколько маленькую) марашку<sup>1</sup>.

Макс: Очевидно, он посчитал, что за кляксу дадут меньший срок, чем за исправление!

Аркадий: Мария Вениаминовна Юдина пришла на могилу Пастернака. Сидит задумавшись. Пианистка. Начала она перебирать пальцами по деревянной скамейке. Вдруг, чувствует, наткнулась на жесткий предмет. Ощупала скамейку и вытянула магнитофон. Уходя, выбросила его в речку. Тут-то и подходит к ней некто в штатском и обвиняет «в расхищении государственной собственности»!

Макс: Комментарии излишни.

Но анекдоты и притчи, по требованию редакции, изгонялись из текста. Попадали в текст только голые факты.

Фактов, неизвестных «Тайм», было больше, чем в журнале хотели знать, и больше, чем могло поместиться в статье: подпольные выставки художников в частных квартирах, прохождение рукописей в издательствах, тайные фотолаборатории, суды над диссидентами, условия содержания заключенных, шмоны в лагерях. Факты толпились, как голодные люди перед дверьми столовой, и их не так просто было выстроить в благообразную очередь.

Макс Хейуорд знал, что такое Советский Союз, но инстинкта советского человека у него не было, и он все никак не мог пробиться через толпу. А кроме фактов были еще выводы, заключения, откровения и характерные для Белинкова лирические отступления. Они тоже рвались занять свое место. Но Макс понимал: рассуждения и выводы беглецов здесь не очень-то нужны. На то есть западные специалисты, советологи. «Факты, только факты, — диктовали в журнале. — Выводы, приемлемые для нашего читателя, мы сделаем сами».

Появилось уже несколько вариантов статьи, а редакция предъявляла все новые и новые требования. Макс, от всего сердца сочувствующий Белинкову, оказался между двух огней. Работа топталась на месте. Настроение у него стало портиться. Жалуются, у него рука болит. Аркадий забеспокоился. Потом присмотрелся. Его собеседник держит запястье на весу! «Макс, Вы не хотите опереться на стол локтем?» Уставший и расстроенный Макс устроился поудобнее, почувствовал облегчение. Работа про-

---

<sup>1</sup> Марашка — клякса (типографский термин).

должалась, но радости больше не доставляла. Приходилось уступать, менять, сокращать. Статья расплывалась, авторское «я» делалось безликим.

Аркадий: Чтобы поступить в Литературный институт имени Горького, не мешает иметь рекомендации от известных писателей. Захватив с собой несколько стихотворений, я отправился в подмосковный поселок Переделкино к Пастернаку. (Я познакомился с ним благодаря моей матери.) Поэт встретил меня очень приветливо. Своим характерным грудным голосом он спросил меня:

- Ну, что ты привез?
- Стихи... — ответил я робко.
- Читай! — коротко сказал он.

После того как я кончил читать, он превознес меня до небес. Было поздно, и меня оставили ночевать в доме Пастернака.

Я лежал, смотрел на звезды через незанавешенное окно и взволнованно думал о том, что, наверное, в моих стихах что-то есть, если их похвалил сам Пастернак.

Наутро за завтраком он спросил меня:

- Ну, что ты привез?
- Стихи... — ответил я, обмирая.
- Читай! — приказал он.

Я опять их читал, на этот раз бесчувственно и машинально, и опять, так же машинально, он похвалил мои стихи.

Макс (торопясь, записывает): Когда я кончил школу, я поступил по рекомендации Пастернака в Горьковский Литературный институт. Я поехал к Пастернаку в Переделкино, прочитал ему свои стихи, он их очень похвалил и дал мне бумагу для поступления в институт.

Чем не диалог из «Записных книжек» Ильфа и Петрова, которым Аркадий баловался еще в Москве:

Редактор: Короче!

Репортер: Шея!

Статья наконец была сдана. Макс Хейуорд уехал к себе в Англию. Мы переехали в другой город. Подходила годовщина нашего пребывания на Западе. Первого мая 1969 года редактор журнала Э. Керн позвонил Роберту Найту. (Сохранился пересказ его звонка в переводе на русский.)

«[Керн] приносит глубочайшие извинения за то, что так долго не мог заняться статьей, объясняя задержку чрезвычайной занятостью.

Статья произвела на него чрезвычайно большое впечатление. Редакция придает огромное значение ее публикации. И редакция, и он сам прилагают максимальные усилия к тому, чтобы она в кратчайший срок была напечатана. Он полагает, что так оно и будет, поскольку он освободился от неотложных дел и теперь займется статьей, не отвлекаясь ничем.

В то же время в том виде, в каком статья написана М. Хейуордом, она опубликована быть не может. Нужна стилистическая и иная правка, удовлетворяющая стандартам «Лайфа»<sup>1</sup>. Он не обвиняет М. Хейуорда, привыкшего к другому жанру, но не может и не считается с требованиями журнала.

Есть и еще одна трудность: сочетание биографического материала с аналитическим. Возможно, было бы разумнее сделать не одну статью, а две. Все эти трудности отнюдь не являются непреодолимыми, и теперь, когда он все свое время посвятит этой работе, можно быть уверенным, что в самое ближайшее время статья будет закончена, будет удовлетворять требованиям журнала и при этом будет обладать высокими литературными достоинствами.

При этом он не может не предупредить автора, что невозможно предвидеть всех обстоятельств и что, как всегда в журнале, не исключена возможность, что в последнюю минуту статья будет отклонена. Однако он считает такое обстоятельство фактически исключенным».

Сколько надежд! И все зеленые!

Статья была в конце концов отклонена. Но, думаю, виной этому было даже не качество статьи. Время для политически заряженной биографии было упущено. Вступал в свои права «детант». Мир радовался начинающейся разрядке международного напряжения. Восстанавливались разорванные «холодной войной» международные связи. Самолет «Аэрофлота» приземлился в Нью-Йорке на аэродроме имени Кеннеди — возобновились перелеты из одной страны в другую. Антисоветская статья очередного перебежчика оказалась весьма некстати. Узнав, что заказанная ему статья не будет напечатана, Хейуорд вернул редакции журнала выплаченный ему гонорар.

Наше первое американское лето сменялось осенью. Однажды вместе с Вадимом Ляпуновым к нам приехал шумный, лохматый и, как нам показалось, по-переделкински милый человек — Виктор Эрлих<sup>2</sup>, заведующий кафедрой русского языка и литературы Йельского университета (в городе Нью-Хейвен недалеко от Гринвича). Он предложил Белинкову должность лектора. Аркадий, толком не знающий стоимости ни доллара, ни званий, с радостью подписал контракт, не уточнив даже его сроков.

29 августа мы покинули спальню Нью-Йорка. Увертюра закончилась. Начиналась новая жизнь лицом к лицу с Америкой. Всерьез.

---

<sup>1</sup> «Лайф» — издательство, которому принадлежали два журнала: одноименный «Лайф» и «Тайм». Здесь речь идет об издательстве.

<sup>2</sup> Виктор Эрлих — профессор, специалист по русской и советской литературе. Известен выдержавшей три издания книгой «Russian Formalism» (The Hague — Paris, 1969).

## ПОБЕГ (фрагмент рассказа)

Когда поезд тронулся, я заглянул в паспорт. В голубоватом его небе висел черный орел Федеративной Республики Германии.

— Куда мы едем? — синела от страха и бешенства, просипел я.

— В Федеративную Республику Германию, — как мне показалось, пошутила Наташа. — Все переменялось. Я забыла тебе сказать. Между прочим, шведских уже не было. Расхватили.

Уходила, убывала, таяла земля великой России, гениальной страны, необъятной тюрьмы. Из этой страны-тюрьмы пытался бежать Пушкин и бежал Герцен. Прощай, прощай, прощай, Россия. Прощай, немытая Россия. Прощай, рабская, прощай, господская страна. Страна рабов, страна господ, страна рабов, страна господ...

Я десять раз видел смерть и десять раз был мертв. В меня стреляли из пистолета на следствии. По мне били из автомата в этапе. Мина под Новым Иерусалимом выбросила меня из траншеи. Я умер в больнице 9-го Спасского отделения Песчаного лагеря и меня положили в штабель с замерзшими трупами, я умирал от инфаркта, полученного в издательстве «Советский писатель» от советских писателей, перед освобождением из лагеря мне дали еще двадцать пять лет, и тогда я пытался повеситься сам. Я видел, как убивают людей с самолетов, как убивают из пушек, как режут ножами, пилами и стеклом на части, и кровь многих людей текла на меня с нар. Но ничего страшнее этого прощания мне не пришлось пережить. Мы сидели вытянутые, белые, покачивались с закрытыми глазами.

В Мюнхене нас встретили старинные московские друзья, милые и добрые брат и сестра, пишущие вместе и написавшие десяток книг и сотню статей по истории, литературе, социологии и общественной мысли в России. О России они знали все.

— Аркадий! — закричал Клод<sup>1</sup>, увидев нас в окне подъезжающего поезда. — Это правда, что на Урале обнаружены документы, подтверждающие, что Сталин<sup>2</sup> был гуманист и очень тонкий политик?

---

<sup>1</sup> Вымышленное имя.

<sup>2</sup> Подлинное имя.

Поезд долго шел вдоль длинной платформы, и Клод с Дези<sup>1</sup>, размахивая цветами, бежали за ним.

— Что? — кричал я. — Документы? Обнаружены, обнаружены. А вы, наверное, очень беспокоились, что они где-нибудь затерялись?

— Мы страшно волновались! — кричала Дези, отставшая на два вагона.

— Не волнуйтесь! — кричал я, вываливаясь из окна. — Я сам обнаружил «Историю ВКП(б). Краткий курс». Там все написано, как вы говорите.

Поезд остановился. Мы стояли в вагоне, брат и сестра, розовые и страшно довольные, на перроне.

— Да, теперь у вас хорошо. Очень хорошо, — кивал розовый Клод.

— Как я им завидую! — прелестно вздохнула розовая Дези. — Позвольте... — она закрыла рот и раскрыла глаза, — зачем же вы тогда... — она раскрыла и рот, и глаза, — бежали?!

— Дези, — тихо и с отвращением сказал я, — у нас тоже есть такие. Им ужасно хочется, чтобы все было хорошо. Особенно им самим. И они необыкновенно искренне стараются решительно ничего не понимать. И многим это удается прекрасно. Они предлагают вниманию почтенной западноевропейской и восточноевропейской публики (раскланиваются) два цирковых номера, я хотел сказать две идеи: при Сталине было хуже, а сейчас лучше, и возврат к сталинизму невозможен.

— Да-да, — кивали Дези и Клод, — как это правильно. Действительно, как много еще таких людей. Мы тоже так думаем.

Может быть, поезд перевели на другой путь, быть может, мы уже были в Бразилии — я встречал добрых и хороших людей в разных странах, — а мы все стояли, разделенные железной стенкой вагона и беседовали об истории, литературе, социологии и общественной мысли России. Только мы были голодные, а они добрые.

Мюнхенская ночь стрекотала электрическими вспышками, шинами автомобилей, скрипками и стихами, вспыхивала и мерцала.

Мы бродили по темной спальне, наткаясь на мебель, говорили не друг другу, а широкому кругу советской и западноевропейской, восточноазиатской и южноафриканской либеральной интеллигенции фразы, иногда очень резкие, об истории, литературе, социологии и общественной мысли России.

О, я еще не забыл длинные реки московских бесед о том, возможен ли возврат к сталинизму или невозможен. А в это время уже арестовывали и тайно судили, избивали, обыскивали, снимали с работы, выгоняли из университетов, жгли книги.

Люди должны понять, что нельзя предаваться иллюзиям, нельзя утешать себя и обольщаться надеждой. Год 1937-й тоже начинался не с

<sup>1</sup> Вымышленное имя.

«бесмысленных» репрессий. «Бесмысленными» их стали называть потом, когда их стало выгоднее называть бессмысленными, чем естественными для жандармско-коммунистического государства. Не прельщайтесь выгодным для наших дней сравнением со сталинскими временами. В любую минуту безответственный однопартийный режим, пошептавшись в углу со специалистами в разных областях усмирения, с Богом, идя навстречу пожеланиям трудящихся, может устроить кровавую пляску и уже устраивает ее. А мотивы могут быть такими: по мере продвижения к социализму наступление внутренних врагов становится все более ожесточенным. И поэтому нужно беспощадно уничтожать всех, кто выступает против нашего великого дела. Или такими: по мере продвижения к коммунизму наступление внешних врагов становится все более коварным. И поэтому нужно беспощадно уничтожать редких, но еще встречающихся в нашем здоровом обществе отщепенцев, которые мешают нашему великому делу.

В любую минуту все может вернуться к прежнему и уже возвращается, потому что однопартийный режим не терпит единственной серьезной гарантии свободы — оппозиции. Не обольщайтесь звериной внутривнутрипартийной борьбой: она не принесет нам свободы. Потому что это лишь борьба одних негодяев против других негодяев, и победа одних над другими не приведет ни к чему. Сейчас в России есть только одна сила, способная сдержать бешеное наступление сталинизма, фашизма, — несдавшаяся интеллигенция. Та интеллигенция, которая знает, что такое настоящий советский террор, помнящая, как он начинался, и понимающая, что он начинается снова. Мы — единственные носители идеи национальной свободы, и нас сосредоточенно и серьезно слушает молодое поколение России. Все это гораздо опаснее, чем думают владельцы страны, концепция которых не выходит за пределы разумения милиционеров.

Утром я написал письмо и телеграфировал известному русскому ученому Глебу Петровичу Струве<sup>1</sup> о том, что мы на свободе, а вечером мы получили в ответ от него телеграмму. Глеб Петрович каким-то образом догадался, что мы голодны, и весьма сердито велел нам немедленно взять деньги у своего мюнхенского знакомого в счет издания моих книг на английском языке. Кроме того, он поручил нас своему другу, видному адвокату мистеру Роберту Найту<sup>2</sup>.

Потом мы поехали в американское консульство и подали заявление о предоставлении нам политического убежища в Соединенных Штатах и выдаче въездных виз.

---

<sup>1</sup> Подлинное имя.

<sup>2</sup> Подлинное имя.

В консульстве поудивлялись, повздыхали, закивали головами, спросили, какая погода в Москве и когда придет на гастроли Леонид Коган. Про визы забыли, потом вспомнили, ужаснулись и пригласили зайти на следующий день.

Бежав из Советского Союза, мы совершили преступление, предусмотренное статьей 64 Уголовного кодекса РСФСР, и должны быть судимы и осуждены на тюрьму или лагерь, или смертную казнь.

Я не считаю ваши законы имеющими юридическую и моральную силу, и я отвергаю глупенький аргумент касательно того, что если ты живешь в стране, то обязан подчиняться ее законам.

Вы забыли о том, что был Нюрнбергский трибунал, который осудил главных нацистских преступников именно потому, что они создали преступные законы и действовали по ним.

Вы не считаете свои законы преступными, и рейхсминистр Риббентроп был такого же мнения о своих. Однако же представитель советского обвинения вместе со своими западными коллегами настаивал на том, чтобы этого законодателя повесили, и его повесили.

Я настойчиво советую вам, советские законодатели и исполнители, внимательно изучать материалы процессов над всеми злодеями.

Но можно предлагать не только глупенькие советские аргументы. В историческом существовании людей, общества и государства действительно возможен вопрос: во что превратилось бы человеческое бытие, если бы люди жили лишь по тем законам, которые они признают?

Вероятнее всего, здесь возможны лишь два случая. В одном — жизнь была бы превращена в ад, подобный тому, который устроили вы, нарушив законы Российской империи и заменив глубоко реакционную монархию откровенно преступной диктатурой. В другом случае — произошло бы обновление цивилизации, как это было в эпоху Возрождения, когда подверглись разрушению наиболее консервативные законы эпохи-предшественницы.

Переезд из одной страны в другую нравственные — то есть главные — нормы не запрещают, а болтовня об измене родине отношения ко мне не имеет, ибо я не солдат, присяги вам не давал и отношение к вашим идеалам у меня не менялось. Я всегда относился к ним одинаково: с гадливостью. Именно поэтому, когда мне едва исполнилось двадцать два года, вы посадили меня в тюрьму и по своим хищным законам поступили совершенно правильно. Я с глубоким удовлетворением думаю о том, что просидел около тринадцати лет в советском застенке не за песни, посвященные доблестной власти, а за то, что, как мог, убеждал людей в том, что это вы, договорившись с Гитлером в 1939 году, развязали Вторую мировую войну, получив за это Западную Украину и Западную Белоруссию, Бессарабию, Эстонию, Латвию и Литву. Как мог, убеждал я людей в том, что бо-



лее жестокой, бессмысленной, жадной, лицемерной и безнравственной власти, чем советская власть, история мира не знала. И уже есть люди, которых мне удалось убедить. Я хорошо знал, что делаю. Книгу, за которую я был арестован, называли «Антисоветский роман», книгу, за которую я получил двадцать пять лет лагеря особого назначения, называли «Антифашистский роман».

Свобода открылась неожиданной догадкой, что она существует, что она реальна. Покачиваясь и переливаясь, она понесла нас в новые измерения людей и событий.

Мы благодарим всех вас, кто дал нам хлеб, кто дал нам кров, кто дал нам перо и бумагу, на которой мы рассказали вам о себе, отвечая лишь перед совестью, истинной и неистребленной жаждой свободы.

Косо и быстро летел Атлантический океан. Качнулся и исчез под крылом Нью-Йорк. Потом — болезнь, госпиталь Святой Марии. Потом Рочестер, Чикаго, опять Нью-Йорк, Гринвич... Может ли сразу понять человек из России, что он на свободе? Прощайте все, кого мы любили и любим, милые и дорогие... Соленая горечь утрат и потерь... Прощайте, прощайте...

*9 июля 1968 года. Спринг Велли, Миннесота<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Дата поставлена автором. — Н.Б.

## ИЗ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ЖУРНАЛА «ТАЙМ» (фрагменты; перевод с английского)

**Лагерь. Как я узнал о смерти Сталина.** Меня отправили в Карлаг в Северном Казахстане. Тут я замечу, что территория этого лагерного комплекса равнялась территории Франции. Неудивительно поэтому, что, когда через несколько лет сюда же попал Солженицын, мы с ним не встретились и только потом узнали друг от друга, что побывали в одном и том же лагере. Этот лагерь описан в «Одном дне Ивана Денисовича».

Незадолго до освобождения я снова попал под следствие, был осужден военным трибуналом на двадцать пять лет и отправлен в спецлагерь Песчлаг.

Спецлагеря были созданы по секретному приказу Сталина в 1947 году в целях немедленной ликвидации всех находящихся в них заключенных в случае войны. Режим содержания заключенных в этих лагерях был намного суровее, чем в обычных лагерях. Мы голодали, были лишены права переписки, нам не оказывали медицинской помощи.

Режим в спецлагере становился все хуже и хуже, а прибывающих заключенных, в подавляющем большинстве евреев, — все больше и больше. И каждый день жизни Сталина делал лагерное бытие все более и более тяжелым.

Но вот однажды наступил день, когда барак, который закрывался только на ночь, не открыли и утром. Не вынесли парашу, не принесли хлеба и даже не пересчитали нас. Потом ворвались надзиратели, учинили обыск и из культурно-воспитательной части изъяли вещи, которые никогда раньше не изымались, — балалайку и домино.

Два дня мы сидели голодными. Но постепенно жизнь как будто начала входить в норму. На второй день заключенный Клаузис — немецкий дирижер и композитор — был вызван к начальнику надзорслужбы. Он на дому обучал его сына игре на балалайке. Вечером, возвратившись после трудового дня, бледный Клаузис трясущимися руками взял у меня коробку с махоркой, но уронил ее. И мы оба начали собирать крошки махорки. Он этим воспользовался, чтобы нацарапать на обрывке бумаги для козьей ножки следующее:

† Stalin 5/III/53

Обезумев от страха, мы глядели в глаза друг другу, не веря потрясающей вести и еще больше удивляясь тому, что уже совершилось необратимое: нам довелось пережить его!

Смерть Сталина вызвала такой испуг и отчаяние у людей, которые нас сторожили, что они из боязни потерять власть над нами, над собой, над страной, — зная, что все они делают правильно, продолжали делать то же, только лучше, то есть стали избивать нас больше и кормить хуже, и надежда на освобождение, если она еще теплилась в чьем-то воображении, в этот момент угасла навсегда.

И вот наступил другой день, когда утром до поверки снова не открыли бараки. В окна мы увидели, что к поселку вольнонаемных на краю котлована стягивается несколько десятков грузовиков с солдатами и собаками. Грузовики останавливаются на равных дистанциях друг от друга. Из них выскакивают солдаты. Часть их оцепила поселок, а другая бросилась в дома, из окон которых тотчас же полетел обычный домашний скарб и раздались женские вопли. У лучших людей страны — работников государственной безопасности — был устроен грандиозный «шмон». В этот день был арестован Лаврентий Павлович Берия. За несколько дней до этого мы — с удивлением и боязнью поверить в догадку — в обрывке газеты, сообщавшей о посещении руководителями партии и правительства оперы Шапорина «Декабристы», не досчитались лучшего друга искусства Берия.

Тогда рухнуло все.

Режим в Песчлаге смягчился — стал таким, как до установления спецлагерей. Разрешили переписку.

Начали ходить слухи, что распустят лагеря. Прошло три года, и все это действительно совершилось.

Но оказалось, что обманулись все: и те, кто страдал, и те, кто заставлял страдать других. Последние с ужасом поверили, что их власть кончена. Но они ошиблись. Власть их не кончилась. Через несколько лет это узнали венгры, а совсем недавно — чехи.

В то время как один наивный американец восхищался советской демократией, вздымая руки горе и восклицая: «О, если бы президент Эйзенхауэр мог сказать, что и в Америке нет политических заключенных, как заявил Хрущев о своей стране, то я поверил бы в миф об американской демократии!» — как раз в это время, т.е. когда Хрущев заявил, что в Советском Союзе нет политических заключенных, десятки тысяч сидели по тюрьмам и лагерям. Кроме общеизвестных московских процессов (Синявский, Гинзбург, Хаустов, Буковский) было огромное количество процессов в других городах, о которых стало известно из разговоров в длинных очередях перед прокуратурой, Верховным судом и в приемной Президиума

Верховного Совета. Там стоят заплаканные женщины из Костромы, Еревана, Владивостока, Алма-Аты и других отдаленных мест нашей любимой родины. И тут можно узнать размеры и географию происходящих ныне арестов и процессов. В газетах о них, конечно, ничего нет.

А тюрьмы и лагеря — прежние, сталинские, советские...

Многие и называются по-старому. Они отличаются от прежних тем, что заключенные не носят номеров, и еще тем, что голод, который в сталинские времена казался предельным, стал еще более невыносимым. Теперь для того, чтобы получить посылку, заключенному надо ее заслужить. Заслужить ее можно не только хорошей работой и примерным поведением (как было раньше), но и активным восхвалением любимой партии и обожаемого правительства. Поэтому умирающие от голода старики выталкиваются на сцену и беззубым от лагерной цинги ртом шамкают: «Да здравствует Коммунистическая партия!», после чего, если с воли им высылают посылки, они могут их получить.

**Хрущев.** Хрущевское правление было переходным, противоречивым. При нем Советское государство было не совсем «советским». Эпоха Хрущева, возникшая на выжженной земле, была самой либеральной и в какой-то мере почти человеческой за всю историю Советского государства.

Что сделал Хрущев для счастья своего народа? Навсегда скомпрометировал марксизм, показал, что такое «социалистическая демократия», развалил мировую социалистическую систему, освободил из тюрем и лагерей миллионы людей, стал строить дома, отменил займы, показал, что такое «лживая буржуазная печать», которая десятилетиями твердила об ужасах диктатуры пролетариата, и которой никто не верил, и которая оказалась святой в сравнении с советской печатью.

Но не будем преувеличивать прогрессивную деятельность человека, который в 1937 году был первым секретарем Московского областного и городского комитетов партии и без санкции которого (правда, формальной) ни один человек в Москве и Московской области не мог быть арестован и уничтожен. Это верно, что единственным из руководителей Советского государства, кто все-таки стеснялся проливать человеческую кровь морями, — был Хрущев. (Он старался своих политических противников судить за бытовые и уголовные преступления. Так он поступил с Иосифом Бродским.) В то же время Хрущев возродил старинную русскую традицию, возникшую за век с четвертью до него, — сажать людей в сумасшедшие дома. Отчасти это следует объяснить его желанием маскировать расправы над интеллигентами (и в этом тоже сказывается его сравнительная мягкотелость). Этот гуманный человек расправился с венгерской революцией и с тысячами людей, пытавшихся воспользоваться плодами некоторой либерализации.

Марксизм оказался скомпрометированным не одним Хрущевым, но также и откровенными убийцами, свергнувшими его. Сейчас этот марксизм торжествует на улицах Праги и на границах Румынии, на судебных процессах над писателями, в глушилках, забивающих радиопередачи радиостанций свободного мира. Однако многим все еще кажется, что это не марксизм разоблачает себя, а нехорошие дяди из Политбюро делают нехорошие дела.

**«Самиздат» и засекреченные издания.** Каждое произведение передается в издательство или редакцию журнала, газеты в надежде обрести свою естественную форму: печатное издание. Это никогда не удастся, если в произведении имеются антисоветские высказывания — в толковании, конечно, КГБ, — и тогда зачастую оно возвращается к читателям в форме машинописи и распространяется в бесчисленных перепечатках, становясь достоянием «самиздата».

Передача в редакцию рукописи, заведомо обреченной на возвращение, делается для того, чтобы ее распространение не было связано с самим автором только. Проходя через руки многих лиц, рукопись как бы утрачивает хозяина, и человек, притянутый к ответу, если и не может отказаться от своего авторства, то по крайней мере может отрицать свое участие в ее распространении. Это имеет особое значение, когда рукопись публикуется за границей.

Иногда в «самиздате» мы читали произведения, уже пошедшие в набор, но в последнюю минуту изъятые из номера журнала. Так мы прочитали в гранках «Нового мира» роман Камю «Чума», который впоследствии был размножен и превратился в типичную рукопись «самиздата».

Кроме произведений, обреченных на хождение в «самиздате», но имеющих хотя бы тень надежды на издание (если не целиком, то хотя бы частично), по стране ходят книги, которые самый наивный оптимист не мог бы себе представить изданными в советском издательстве.

Существует целая библиотека строжайше засекреченных изданий для самых ответственных работников так называемого идеологического фронта, крупных партийных работников, связанных с вопросами идеологии, и сановников по делам культуры.

Могут спросить, откуда я это знаю, не будучи сановником в области культуры? Это связано не с положением, а с адресом. Я жил в Доме Союза писателей СССР, и в нем жили настоящие советские сановники, которые иногда по разным причинам считали нужным делиться с другими тем, что предназначалось только для них. Таким образом мне удалось прочитать «Бунт масс» Ортеги де Гасет<sup>1</sup>, «Эра Хрущева и после Хрущева»

---

<sup>1</sup> Транслитерация имени автора: Ортега-и-Гассет, перевод названия книги — «Восстание масс». — *Примеч. ред.*

Джузеппе Боффа, «Русский формализм» Виктора Эрлиха, «Историю русской советской литературы» Глеба Струве<sup>1</sup>.

**Вернется культ личности или не вернется?** Я покинул свою родину в дни, когда оптимистические интеллигенты в Москве (а потом оказалось, что и в других крупных политических и культурных центрах не только России) продолжали спорить: вернется культ личности или не вернется? А за двадцать три года до этого мне тоже пришлось покинуть столицу и культурный центр всего прогрессивного человечества в «черном вороне» и без пересадки проследовать из Бутырской тюрьмы во Владимирский политизолятор. Во Владимирском политическом изоляторе (я родился под счастливой звездой) меня поначалу засадили не в одиночку, а пустили в общую камеру.

В общей камере было шумно, грязно и весело. Здесь было много чрезвычайно интеллигентных людей, преимущественно политических комиссаров и палачей, расстреливавших по приговору советских судов. Эти люди уже сидели от восемнадцати до двадцати трех лет, и мой предшественник попал в эту тюрьму недавно — за восемь лет до меня, в 1937 году. Политические комиссары и палачи яростно спорили: будет война или не будет. Это случилось осенью 1945 года. Война окончилась полгода назад.

Я и моя жена бежали от советского фашизма, когда лишь бывшим политическим комиссарам, оптимистам и двадцать лет просидевшим в неведении людям казалось не совсем ясным: реален или иллюзорен возврат к сталинизму.

Мы покинули страну, в которой родились и на языке которой писали, когда стало ясно, что сопротивление интеллигенции сломлено и что те приемы борьбы, которые были выработаны в двенадцатилетие после 1956 года, исчерпали себя.

Интеллигентская оппозиция в ее прежних формах раздавлена. Внутрипартийная борьба остается. Поэтому Россию ждут новые государственные перевороты. Но государственные перевороты совершаются сильными личностями, а сильные личности не приспособлены для насаждения демократии.

Московские, пражские, будапештские и нью-йоркские оптимисты яростно спорили: будет сталинизм или не будет?

Это случилось осенью 1968 года. Сталинизм уже был.

1968 г.

---

<sup>1</sup> К вопросу о секретных изданиях западной литературы А. Белинков вернется через два года на лондонской конференции по цензуре. — Н.Б.

## Глава 3

Наталья Белинкова

### НОВЫЕ НЕБЕСА

*Мы знакомимся с американской интеллигенцией. «Аркадий Викторович, неужели Вам нравится Гитлер?!» В гостях у Светланы Аллилуевой. Контракт на трилогию в издательстве Doubleday. Интервью о Викторе Луи в больничной палате. Операция на сердце. Вермонт. У микрофона «Свободы».*

Трава в Нью-Хейвене зеленая — цвета надежды. «New Haven» значит «Новая гавань», но русским старожилам больше нравилось: «Новые небеса» (что было бы New Heaven). Посередине небольшого городка раскинулся большой квадратный газон с тщательно подстриженной травой. Он обрамлен высокими деревьями и называется соответственно — square. Запомнить легко: сквер. Если встать в левом углу его на автобусной остановке, то позади будут находиться здания городской администрации, справа суд, слева универсальный магазин Macy's. Это downtown — центр города.

Облик его определяют три церкви: католическая, протестантская, лютеранская. Они расположились на одинаковом расстоянии друг от друга по четвертой стороне сквера. Три острых изящных шпиля, голубое небо, английская зелень создают открыточную красоту. Между церквями ни оград, ни заборов. Планировку городов штата Коннектикут определила мечта о мирном сотрудничестве без какой бы то ни было напряженности. Люди думали, что на новой земле они строят другую жизнь — без злобы, без зависти, без интриг. К привычным европейским названиям прибавляли «новый», и как грибы росли «Новый Амстердам», «Новая Англия», «Новый порт». Сложилась традиция. Появились «Новый журнал», «Новое русское слово», а потом и «Новый колокол», и «Новый американец».

Сквозь зеленую траву проросли воспоминания. За торопливыми темпами строительства новой жизни длинной тенью тянулась тоска по старине, по истории...

В Нью-Хейвене разместился Йельский университет. Его строили в «средневековом стиле»: вертикальные силуэты зданий, обильная резьба по дереву, потолки с расписными балками, стрельчатые арки окон. Когда к концу строительства все стекла вставили в мелкие соты латунных решеток, по каменным коридорам прошли рабочие с чертежами в руках и

аккуратно, молоточками, некоторые из стекол разбили. Следом за ними с теми же чертежами прошли другие и латунными нашлепками аккуратно трещины залатали. Старина получилась всамделишная.

Поначалу Америка была к нам щедра. Одна переброска из Белграда в Нью-Хейвен чего стоила! Аркадий все порывался расплатиться, но его останавливали: денег не хватит, как бы он ни старался.

Из документов у нас с собой были только просроченные советские заграничные паспорта да новенькая въездная виза. Дипломы — в Москве, куда пути заказаны. Администрация университета поверила нам на слово. Ну, может быть, не нам, а Роберту Найту. Только вот время для побега с точки зрения бухгалтерии мы выбрали неудачное. Изыскивая подходящую графу, по которой нам платить зарплату, там не удержались: «Почему они не бежали в декабре?!» В готовую смету, которая составляется в конце года, было трудно втиснуть две новые штатные единицы.

У Новых небес была и другая сторона. Но мы ее не сразу увидели. На окраине города недалеко от кладбища стояли дома с заколоченными окнами. Их бывшие обитатели, владельцы маленьких еврейских лавочек с деликатесами, покинули свою разгромленную улицу во время беспорядков 60-х годов.

А в столице Соединенных Штатов был разрушен целый квартал. Нам его показывали как своеобразную достопримечательность. Жутковато было оказаться среди выморочных после погрома домов. В черной пасти квартала нетронутым торчал только старый книжный магазин Камкина. Находчивый хозяин выставил в окне огромный портрет Ленина. (Необходимо напомнить, что в шестидесятые годы в Европе и Америке движущей силой волнений молодежи были несколько подновленные идеи марксизма-ленинизма.)

«Не обращайтесь внимания, — успокаивал нас наш новый друг Джим Кричлоу, — мы, американцы, часто увлекаемся крайностями. Подростками мы ели золотых рыбок... Потом это проходит».

Пример с золотыми рыбками не показался убедительным. Может быть, эти забавы и привели к эксцессам 60-х годов? Но, с другой стороны, в шестидесятые началась благородная борьба за права человека. Может быть, всегда летят щепки, когда рубят лес? Или в том и состоит жизненная сила Америки, что в этой стране периодически поднимаются волны отрицания старых порядков?

Надо быть американцем, чтобы понять: если корабль качает, значит, он в открытом море, а не в загнивающей гавани.

Мы поселились недалеко от университета в доме на Whitney avenue — улице, сквозным стержнем пронизывающей несколько городков Новой Англии. Квартиру мы сняли запущенную, и новая жизнь началась с чистки, мытья, покраски и побелки. На маляров денег не было, красили сами.



Нам весело помогали будущие студенты. Среди них выделялась Присила — хрупкая девушка с нежным личиком, обрамленным светлыми, прямо-таки боттичеллиевскими кудрями. Дочь адвоката и поэтессы, она жила вместе с родителями. В их гостеприимном доме мы провели первые три Нью-Хейвенских дня.

Присила вводила нас в курс американских ценностей, старательно объясняясь на выученном русском языке. Она учила экономить деньги, поделившись с нами тем, что никогда не покупает воду и мороженое в поезде — у разносчиков все дороже. Показывала, как не гнушаться любой работой. Я застала Присилу на коленях перед унитазом в нашей еще не отмытой квартире. «Что Вы делаете?!» — закричала я в смятении. «“Аjax”, — ответила девушка спокойно, показывая банку с яркой наклейкой, — этот порошок хорошо работает», — и с необыкновенным упорством продолжала оттирать фаянс, пожелтевший от многоцветного употребления бесчисленными квартирносъемщиками.

К началу занятий в университете наш быт более или менее наладился. Я даже вывела тараканов. Главное же, мы обзавелись большим письменным столом, который купили в специализированном магазине с помощью Виктора Эрлиха. Аркадий немедленно водрузил на него пишущую машинку. Знакомые интересовались, почему мы не начали обустраиваться с кровати. Странно. Они не понимали, что спать можно и на полу.

Два года пребывания на новой земле подарили нам встречи с удивительными людьми. Список их длинный, и он продолжится в других главах.

Только мы устроились на Уитней-авеню, за нами заехали Ранниты — Алексей Константинович<sup>1</sup> и его жена Татьяна Олеговна: «Смотреть закат!»

Закаты в Нью-Хейвене знаменитые. Они разливаются на полнеба и кровоточат долго-долго... Спустя год мы сами ездили смотреть закат. Но тогда... Еще бежит по перрону моя мама, боясь опоздать к отходу поезда, не зная, может быть, предчувствуя, что это последнее прощание. Еще дрожит моя рука, протягивающая пограничнику паспорт с чужим именем. Идут допросы наших родственников и знакомых, арестовывают близких, неосталинизм надвигается, советские танки в Чехословакии, то ли еще предстоит...

«Смотреть закат!» В те дни, когда нам еще не верилось, что побег удался, в то время, когда Аркадию надо было нагонять тринадцать лагерных лет...

---

<sup>1</sup> Алексей Константинович Раннит — эстонский поэт, полиглот, знаток не только русской — мировой литературы. (Alexis Rannit — его литературное имя в Америке.) Он заведовал Славянским отделом библиотеки Йельского университета. По его настоянию и рекомендации Белинков вступил в 1969 году в члены ПЕН-клуба.

Мы постеснялись отказаться и поехали.

И увидели. Небо было больше и объемнее наших земных несчастий.

В Раннитах мы нашли тех западных людей, к которым мысленно апеллировали, живя в СССР, и которых не досчитались, оказавшись в Америке.

Вместе с ними мы встретили первый Новый 69-й год на новой земле и с тех пор часто посещали их скромное, московских размеров жилище в многоквартирном доме. Гостиная, единственная спальня, кухня, даже балкон заполнены книгами, картинами, архивом поэта и несметным количеством всевозможных рамок и рамок (Алексей Константинович был еще и заядлым коллекционером). Казалось, не заметишь, если из квартиры вынесут всю мебель, настолько она теряется среди предметов искусства, собранных в ней. Внешнему виду всего, что тут находится, придано особое значение: в книгах — обложкам, в картинах — рамам, на столе — чашкам. Это гостеприимный, открытый дом, но и в общении с людьми оформление играет свою роль. Здесь п р и н и м а ю т гостей. И не смешивают жанры: обед — роман, чаепитие — повесть, короткий деловой визит неприятного человека — эпиграмма.

Вечера в доме Раннитов часто заканчивались чтением стихов. Алексей Константинович обладал удивительным умением вводить слушателей в поэтический мир поэтов самых разнообразных направлений. Это мог быть и Константин Бальмонт, и Александр Блок, и Зинаида Гиппиус, и Владимир Маяковский. Читал он, как будто бесстрастно, как бы издали прислушиваясь к мелодии стиха, вроде бы холодно любясь совершенством стихотворной структуры, но через внешнее безучастие просвечивало чувство скрытого ликования от того, что кто-то так замечательно сумел написать.

Читал он и свои стихи на эстонском языке (16 падежей и несколько оттенков у гласных). Это было похоже на вечернее пение птиц, когда после первого горлового «квок-квок» что-то на минуту замирало, как будто удивляясь собственному звуку, а потом долго и необыкновенно мерно продолжало звучать в тишине и, отзвучав, переходило к следующей, на этот раз более уверенно взятой ноте.

Свою принадлежность к эстонскому народу Алексис нес со спокойным достоинством человека, равного среди других национальностей, и не случайно, что в русском писателе Аркадии Белинкове, еврее по национальности, он оценил «качество сверхнационального мышления», о чем и сказал над его могилой.

Бескорыстных, внимательных, понимающих людей намного больше, чем некоторые думают.

Незнакомая женщина позвонила по телефону, назвалась Верой Данам и предложила Аркадию... денег. Данам по мужу, Вера Сандомирская — родилась в России и давно жила в Америке. Она профессор, автор многочисленных статей о современной русской литературе. Когда мы позна-

комились, Вера работала в Детройте в Университете Уэйн и заканчивала книгу «Ценности среднего класса в советской художественной литературе»<sup>1</sup>. Не имея иного доступа в советское общество, кроме как через литературу махрового социалистического реализма, — одна-две поездки с американскими делегациями в СССР, конечно, не в счет, — она сумела обнаружить и проанализировать процесс формирования элитарного советского мещанства, пошедшего на службу тоталитарному государству. Чем не «сдача и гибель советского интеллигента»?

Мы подружились. Часто бывая в Нью-Йорке, Вера каждый раз заезжала к нам в Нью-Хейвен. Давно обосновавшись в Америке, она лучше нас знала эту страну и остро чувствовала ее социальное неблагополучие, вынудившее западную интеллигенцию искать идеал в том социалистическом раю, из которого Белинков только что вырвался. Одновременно Вера всей душой понимала, что способность проникнуть в сущность советского ада дана только тем, кто прошел через круги его: Синявский, Амальрик, Белинков. Не случайно, что Вера Данам стала соавтором энциклопедической статьи об Аркадии, написанной уже после его кончины<sup>1</sup>.

Неожиданно нас посетил выдающийся американский журналист Isaac Don Levine<sup>3</sup>. Мы встретились с ним впервые в США, хотя наше знакомство началось еще в СССР. Оно было заочным.

Однажды, еще в Москве, Флора и Миша Литвиновы принесли нам номер журнала «Тайм» со статьей о Сталине в переводе на русский. Журнал пришелся на то время, когда имя Сталина, запрещенное было после знаменитого XX съезда, все чаще и чаще возвращалось на страницы газет и журналов. Да еще в положительном контексте. Упоминание или умолчание имени тирана служило барометром политической атмосферы в стране. Американский журналист доказывал, что вождь всех времен и народов

<sup>1</sup> *Dunham V.S.* In *Stalin's Time. Middleclass Values in Soviet Fiction.* Cambridge University Press, 1976.

<sup>2</sup> *Belinkov N., Dunham V.S.* Arkadiy Viktorovich Belinkov / Ed. by Harry Weber // *The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literature.* Florida: Academic International press, 1978. P. 150.

<sup>3</sup> Как мы потом узнали, Isaac Don Levine в Америке был признан выдающимся журналистом не потому, что успевал идти по следам событий, а потому, что его репортажи сами становились событием, а книги, соответственно, — бестселлерами. В сферу его внимания кроме широких международных тем входили и русские: гибель царской семьи, Троцкий, Максим Горький, Керенский, Сталин. Isaac Don Levine — автор не менее пятнадцати книг о советской России. Его соратники по перу убеждены, что, будучи прозорливым экспертом по советским делам, он мог бы играть значительную роль в советско-американских отношениях, если бы американское правительство к нему прислушивалось. Но кто будет считать мнение писателя бесспорным, если он часто попадает под перекрестный огонь критиков? Для консерваторов он оказывался слишком либеральным, для левых — чересчур правым.

в юности служил информатором в царской жандармерии. Правда, в длинной цепи убедительных доказательств, подтвержденных письменными документами и фотографиями, было одно слабое звено. Фотография грузинского кувшинчика с длинным горлышком ничего не объясняла. Очевидно, она была использована для местного колорита. Но в наших глазах ничто не могло уничтожить ценности статьи, компрометирующей образ диктатора!

Мы немедленно обзвонили знакомых, выразительно приглашая их «на чай с сухими фруктами». (Тогда в магазинах не было сухих фруктов.) Включившись в конспиративную игру, гости незамедлительно собрались. Расположившись на диване, стульях, прямо на полу, читали, передавая страницы по кругу. Последний гость унес перевод с собой. Статья перекочевала в «самиздат».

Обратив внимание на частицу «дон», все предположили, что автор статьи не иначе как испанский аристократ.

Позвонив из предместья Вашингтона, американский журналист через шесть часов постучался в нашу квартиру. Мы открыли дверь супружеской паре: сутулому, подслеповатому, но бодренькому старичку и высокой, энергичной, моложавой даме. Они вошли к нам шумно и весело, с непосредственностью и доверчивым дружелюбием, отличающим скорее москвичей, чем «иностранцев». Во внешности мужчины ничего от испанского идаляго не было. Он безупречно говорил по-русски и ловко переводил нашу беседу своей жене Руфи.

Пока мы рассказывали о хождении его статьи по «самиздату», выяснилось, что у нас в гостях вовсе не испанец Дон Левин, а Исаак Донович Левин, сын переплетчика из города Мозырь, что на реке Припять. Еще до революции он прибыл в США начинающим журналистом на открытие памятника Марку Твену да так и остался в этой стране. Исаака Доновича насмешило его производство в испанские гранды: «Здесь не употребляют отчество, а я очень любил своего отца. Вместо нашего “Донович” сохранил короткое “Дон”. Получилось “Isaac Don Levine”».

Он скромно называл себя свидетелем истории, хотя в такой же степени был и участником ее. При этом он ухитрялся быть на равных и с Керенским, и со Светланой Аллилуевой (частые посетители его дома), и с малоизвестными на Западе Белинковыми.

Он был журналистом, историком, ученым. И выдающимся учеником. Ученый знает все. Ученик хочет знать все.

Позже я заметила за ним еще одну особенность. Приглашая к себе гостей, Исаак Донович любил сталкивать нервных, только что прибывших из СССР русских с вежливыми англосаксами, старожилками. Возможно, это помогало ему ближе подойти к правде. Сказал же он о себе: «Кто постоянно сомневается, тот постоянно ищет. Я ищу истину. Пусть я ее ни-

когда не познаю. Но как бы далеко я ни отстал от нее, я всегда буду следовать за нею».

Подарив мне свою последнюю книгу «Свидетель истории»<sup>1</sup>, Исаак Донович не забыл прибавить к лестному автографу: «...с нежной памятью о ее замученном муже».

Вольный ветер гулял по кампусу университета, где нам предстояло работать.

Университетская атмосфера — беспечная и веселая. Между студентами и профессорами отношения не то что на равных — преподаватели слегка заискивают, а ученики настойчиво требуют. В готических коридорах и в близлежащих магазинчиках с писчебумажными товарами, в кафе и прачечных висят плакаты с портретами членов правительства, которое тут бесцеремонно называется «администрацией». На лицах президента и вице-президента нарисованы сужающиеся к центру круги с аккуратно обозначенной точкой в середине. Это мишени. В темных кинозалах и в светлых аудиториях стоит терпкий запах марихуаны. В здании церкви идет «Ревизор», и Городничий с Хлестаковым вежливо говорят друг другу: «How are you?», по-нашему: «Как поживаете?» Студенческая газета — несколько страниц, высокая печать. Гораздо внушительнее рукописной, во всю стену «Комсомолии», которой так гордился мой Московский университет. На первой странице — красавец в берете и с бородой. Он еще более импозантен, нежели на экранах советского телевидения. Это Фидель Кастро. Его портрет украшает статью американского студента, с неподдельным энтузиазмом повествующего о том, как он во время летних каникул съездил на Кубу. Там его поднимали спозаранку и гнали на уборку сахарного тростника, и это ему нравилось.

В конце 60-х воображение академического и журналистского мира занимали советские диссиденты и Солженицын. Оппозиционные настроения советской интеллигенции казались им схожими с протестами либеральной части западного общества в своей стране. На семинар Белинкова по Солженицыну, который он назвал «Государство и писатель», записалось много студентов, уже выучивших русский язык. Сначала они слушали его с пристальным вниманием, но вскоре начали удивляться.

Их преподаватель рассматривал не творчество Солженицына само по себе, а творчество писателя в контексте неприглядной советской действительности. Где же структуральный анализ, к которому они привыкли? И вообще, зачем увязывать литературу с историческим процессом? Известно, что в Советском Союзе какая-никакая, а демократия. А вот гамлетовское «вся Дания — тюрьма» — приложимо к Америке. Цензура? Здесь тоже есть

---

<sup>1</sup> *Levine I.D. Eyewitness to History. Memoirs and Reflections of a Foreign Correspondent for Half a Century. N.Y., 1973.*

цензура — например, на Марка Твена и на порнографию в школах<sup>1</sup>. Права человека? Тут они тоже ущемляются. Еще как! Женский труд? Женщинам в США платят меньше, чем мужчинам. КГБ? Но наша страна только что пережила маккартизм!

**А р к а д и й:** К следующему семинару постарайтесь ответить на вопрос, почему американская интеллигенция отрицательно относится к фашизму и лояльно к сталинизму?

**С т у д е н т ы** (они знают, что их преподаватель — еврей): Аркадий Викторович! Неужели Вам нравится Гитлер?!?!?!?

Учеников своих, в дырявых, лохматых джинсах, а они все ходили в рваных джинсах — мода, — Аркадий считал бедными. Бедных студентов надо кормить. Раз в неделю в нашей просторной из-за отсутствия мебели квартире мы устраивали «чай». Аркадий хотел говорить с молодыми людьми по душам. Никто не ел моих закусок, но чай пили, и разговоры были. Аркадий все пытался довести до сознания студентов, что советская литература зависима от государства. С их точки зрения, это пахло пропагандой. Я всю старалась отвлечь студентов от скользкой темы рассказами о житье-бытье.

Пространно повествую о том, что фрукты в России едят преимущественно осенью — зимой они исчезают с полок магазинов. Люди стараются запастись яблоки, но хватает их ненадолго, так как хранить их в городе негде. В зимние месяцы пробавляемся кислой капустой — в ней много железа и других полезных вещей. Вообще-то мы едим и мясо, и рыбу, но мясо стоит дорого, а свежую рыбу достать или трудно, или невозможно. Русские пирожки? Надо стоять в очереди за мукой, которую продают только накануне больших праздников. К весне появляется зеленый лук. Он продается неочищенным и взвешивается в магазине вместе с землей. Мы чистим его, мелко режем и крошим на отварную картошку — витамины.

Вокруг меня юные, открытые, честные лица. Слушают с интересом, но недоверчиво. Одна пара голубых глаз прямо-таки буравит меня. До поры до времени их обладатель сдерживается, старается не перебивать. Он вежлив. Но я еще не успеваю сообщить про нехватку хлеба, про очереди, про колхозников, приезжающих в Москву за продуктами, как голубоглазый слушатель взрывается:

«Как же так? Всю зиму без салата?!» Поймал-таки меня на вранье! И выражение лица такое ехидное.

Не подозревая подвоха, — «Да!» — отвечаю.

---

<sup>1</sup> Что — правда. Писатель называл беглого Джима негром, а это ко времени нашего приезда в Америку считалось оскорбительным. Надо бы ему в девятнадцатом веке вместо «негр» писать — «черный». Что в американских школах считалось порнографией в шестидесятых годах прошлого века — выяснить сейчас представляется затруднительным.

Тут-то мой собеседник и укладывает меня на обе лопатки.

«Да ведь это же ВРЕДНО — всю зиму без салата!» — звенит его ликующий голос.

Нью-Хейвен — за исключением университетского кампуса — одноэтажный, добропорядочный городок. Вечерами тут темно и глухо. На правах старого знакомого к нам заходит Вадим Ляпунов — молодой преподаватель Йельского университета. Подростком попав в Америку вместе с русскими родителями и получив американское образование, он извлек лучшее из обеих культур. Вадим — подходящий собеседник.

На улицах безлюдье. В доме — тихо.

А р к а д и й: ...Социализм. Фашизм. Самодержавие, подчиняющееся своим собственным законам. Абсолютизм, преступающий свои же законы. Поэт, чернь. Революция, термидор. Пушкин, колокол...

Единственный слушатель терпеливо выжидает: Когда же старший коллега доберется до главного?

Дождался.

А р к а д и й заговорщически шепчет: Обратите внимание на первые строки «Медного всадника»: *На берегу пустынных волн /Стоял он, дум великих полн...* (и хорошо поставленным театральным голосом — в детстве ему ставил произношение логопед сталинской эпохи, — набирая звук, изображает густой, медный, торжественный звон: **онн** — **думм** — **бимм** — **бомм**). Это колокол гудит, раскачивается. Колокола лили из меди. Медный звон, медный всадник... Установка на звуковой образ.

Л я п у н о в оживляется. Должно быть, думает: Это как раз то, что нам нужно. Почему у Белинкова на кафедре все складывается не совсем так, как надо?

А р к а д и й (он еще не знает, какие неприятности у него впереди) продолжает: Медный колокол. Вече. Вольный Новгород. Народ. Бунт. Самодержавие. Диктатура...

Л я п у н о в томится, ждет, что будет дальше.

Дальше разбирается значение буквы «л» в контексте «Медного всадника».

«И вдаль глядел». Оказывается, надо обратить внимание на это «л» — оно несет такую же смысловую нагрузку, как «л» в оде «Вольность».

Вот это подходит. Это вполне в традициях западного литературоведения.

Каким контрастом были эти вечера с московскими! Один выступающий — это Аркадий, один слушатель — это Вадим. И глухая ночь за окнами.

Вадим Ляпунов искренне полюбил своего старшего коллегу. При мне он писал некролог «Аркадий Викторович Белинков»<sup>1</sup>. При мне же вычер-

---

<sup>1</sup> Ляпунов В. Аркадий Викторович Белинков // Новый журнал. 1970. № 99. С. 250.

кнул строчку: «Здесь его уважали, уговаривали беречь себя и... частенько посмеивались над его открытым и совершенно бескомпромиссным антикоммунизмом». Вадим убирал насмешки над своим другом. И во всем держался с подлинно благородным достоинством по отношению к его памяти. Но если отвлечься от личных взаимоотношений, то в характере их бесед на научные темы уже можно было усмотреть начало разлада между беглецом из советской Страны Советов и академическим миром Америки.

Зато в Америке Аркадий сразу нашел общий язык, с кем бы вы думали? С дочерью Сталина! Только жила Светлана в Принстоне, и связь между ними была по преимуществу телефонная.

Мы только начинали свой первый год после побега, а ее первый год уже завершился. Наше знакомство началось с ее телефонного звонка. Светлана сообщила, что возвращается из Бостона к себе домой и по дороге может к нам заехать. Так просто!

Встреча произошла в июне 1968 года в Гринвиче. Невысокого роста, хрупкая, рыжеватая женщина была сердечной, мягкой. При этом внешнее сходство Светланы с отцом повергало собеседника в легкое смятение... Представьте себе уже описанный мной «деревенский» дом в предместье Нью-Йорка. Безмятежный покой в парке за окнами. Лицо товарища Сталина склоняется над своей ускользнувшей жертвой, а руки его дочери нежно касаются сутулых плеч Аркадия. И тихий голос: «Все будет хорошо, все будет хорошо...» Кого уговаривала Светлана в тот раз, его или себя?

Наши «заграничные» судьбы были так схожи! Договорились, что при первой же возможности мы приедем в Принстон. «И будем пить чай на кухне! Да?» — радовалась Светлана возобновлению московских привычек. «Какой-нибудь вечер в кухне, за чашкой жидкого московского чая, бывал откровением...» — писала она в одной из своих книг.

Спустя некоторое время мы отправились в Принстон на улицу Elm Road, № 85. Дом этот уже описан самой Светланой. Она сняла его на год у женщины, отправившейся не то в Африку, не то в Азию собирать колыбельные песни. Собирательница народного песенного творчества выучила одну фразу на языке каждой страны, где ей предстояло побывать: «Как пройти к американскому посольству?» В те времена — безопасный вопрос.

Это был просторный американский дом с большой гостиной, в которой стоял рояль, висели первоклассные гравюры и акварели. Дом украшали еще и цветы из пластмассы. (Светлана упрятала их в первые попавшиеся бельевые ящики встроенных шкафов, и жесткие пружинистые букеты готовно выскочили во всем своем яростном великолепии, когда мы устраивались на ночлег в предоставленной нам комнате.) Кухня была вместительной. В ней можно было сидеть за квадратным деревянным столом, пить чай и откровенничать. Еще и еще раз мы рассказывали друг другу о



том, как бежали, вспоминали общих друзей, оставленных в России, узнавали персонажей, из-за осторожности не названных ею в первой ее книге, сетовали на западную либеральную интеллигенцию, которая не хотела знать, что на самом деле происходит в России; жаловались на зависимость от американских адвокатов, распорядившихся нашими публикациями и нашими деньгами; удивлялись бестактному поведению русской эмиграции: одни относились к Светлане враждебно из-за того, что она — дочь тирана, другие — подобострастно, как к наследной принцессе, третьи... третьи были не прочь жениться или, на худой конец, занять денег...

Не разбираясь в нюансах эмигрантских взаимоотношений, Аркадий воспользовался пребыванием у Светланы, чтобы встретиться с одной русской писательницей, преподававшей в Принстонском университете. Он предложил ей зайти к Светлане, не обратив внимания на заминку в разговоре по телефону. (У нас тогда еще не было машины, а общественный транспорт в американских городах не всегда найдешь.)

Стройная дама, моложавая, несмотря на солидный возраст — ее молодость пришлась на двадцатые годы двадцатого века, — уверенной походкой вошла в гостиную, села на стул чуть ли не посередине комнаты и, демонстративно не снимая новых перчаток, деловито беседовала с нами, едва обменявшись с хозяйкой дома двумя-тремя репликами. У меня даже сложилось впечатление, что перчатки были куплены специально для этого случая. Они давно вышли из моды. Но, возможно, было холодно. Имя писательницы теперь более известно в России, чем в эмиграции. Я сама восхищаюсь ее литературным даром и ее железным характером. Описанный эпизод — случайный штрих для нее, но весьма типичный для эмигрантского общества.

Ко времени нашего визита Светлана Аллилуева завершила работу над рукописью «Только один год». Как всякому писателю, оторванному от знакомой среды и еще не успевшему вклиниться в новую, ей нужны были свои читатели. Находясь у нее в гостях, мы выполняли эту роль. Аркадий высоко оценил рукопись. Только по поводу самой дорогой для Светланы главы «Берег Ганга» у него возникли сомнения: не замедляет ли она развитие главного действия.

В следующем году книга была опубликована и подарена нам. В эпилоге Светлана нашла нужным упомянуть Белинковых и Кеннана<sup>1</sup> как первых читателей рукописи.

После описанной встречи мы расстались друзьями и часто перезванивались. Но потом что-то переломилось. Через год Светлана пришла к выводу о «бескрылости души» Белинкова, хотя и отдавала должное «изоциренности» его ума. (Такая же характеристика досталась и Анатолию Куз-

<sup>1</sup> О Дж. Кеннане см. ниже, в преамбуле к главе 5. — Н.Б.

нецову, оставшемуся в Англии через год после нашего бегства на Запад.) Своими соображениями она поделилась с редактором «Нового журнала» Р.Б. Гулем<sup>1</sup>, не зная, должно быть, что подливает масла в огонь. Как раз в это время Гуль отказывался печатать статью Аркадия «Страна рабов, страна господ...». Начинались ссоры с русской эмиграцией и разногласия с западным миром.

Не знали мы, и не знала Светлана, что вместе с нами ее книгу прочитали там где надо. Читали внимательно. Читали более чем внимательно. В результате Председатель Комитета госбезопасности Андропов в декабре 1969 года поручил отделу пропаганды «продвинуть в западную печать тезисы о том, что новая книга является результатом коллективного труда таких лиц, как Д. Кеннан, Л. Фишер, М. Джилас, Г. Флоренский, А. Белинков» и приказал «включить в эти материалы имеющиеся в распоряжении КГБ сведения, компрометирующие этих лиц в личном плане». Нет, он не был озабочен медленным течением Ганга, тормозящим действие. Он спас репутацию Ленина. В книге Светланы чуть ли не впервые была открыто высказана идея о том, что Сталин есть не извращение Ленина, а продолжение его. Кстати, в то время такая идея многим казалась дочерним оправданием тирана. (Приведенная цитата взята из материалов, опубликованных Г. Файманом в «Независимой газете» в 1996 году, когда исторические оценки были уже расставлены.)

Пока же мы паслись на зеленых лужайках надежды.

«В Америке есть три вещи, без которых писатель не может жить: бумага, перо и свобода», — писал беглец из «страны рабов, страны господ». Но он не учел еще одно необходимое условие: писатель не может осуществиться без издательства.

И вот крупное нью-йоркское издательство «Double-day» заинтересовалось трилогией о разных видах отношения художника к тоталитарной власти. В трилогию входили книги о Тынянове, Олеше и о Солженицыне, над рукописью которой Аркадий начал работать еще до побега. Вернее, интерес был только к Солженицыну, но он был так велик, что русская редакция согласилась и на Олешу, и на Тынянова. Был найден и переводчик — профессор Морис Фридберг. Представительница русской редакции — Линн Деминг говорила по-русски. К концу 1968 года появились надежды на заключение контракта.

Но надежды сосуществовали с опасениями.

«Я не имею никакого представления о том, какое предложение может быть сделано, но опыт взаимоотношений с «Тайм» и «Лайф» научил меня

<sup>1</sup> Переписка Светланы Аллилуевой и Ольги и Романа Гуля (Новый журнал. 1986. № 104. С. 167—195).

осторожности. Вероятно, я жил до сих пор в атмосфере неземных иллюзий, совершенно убежденный в том, что свобода делает всех людей благородными джентльменами... Увы, опыт показал, что еще не все сделались благородными джентльменами... печальный опыт переговоров с советскими, а теперь и с западными издательствами убедил меня в том, что издательства могут хорошо постоять за себя...

Свой первый инфаркт я получил в тюрьме, а второй в издательстве, поэтому я часто не делаю существенного различия между этими двумя учреждениями», — писал Аркадий в письме Роберту Найту 2 января 1969 года.

В том же месяце Аркадий получил стандартный проект договора, состоявший из 25 пунктов. Не все пункты удовлетворяли Аркадия. 13 февраля он писал нашему адвокату:

«Мне кажется, что все пункты этого произведения вполне приемлемы, но, несмотря на обилие этих пунктов, там все-таки кое-чего не хватает. Я очень просил бы Вас, дорогой Роберт, чтобы издательство не препятствовало изданию моих книг по-русски, может быть, даже помогло в этом решающем вопросе... Не могли бы Вы сказать, когда договор вступает в законную силу? Это имеет для меня очень большое значение, потому что мне необходимо установить точную дату, до которой должно хватить моих нервов».

Еще через месяц контракт был подписан обеими сторонами и вступил в законную силу. Срок завершения трилогии — 31 декабря 1971 года. Несмотря на непривычную для него академическую занятость, Аркадий собирался закончить последнюю книгу — «Судьба и книги Александра Солженицына» вовремя. Он не рассчитал своих сил.

Если бы Белинков ограничился семинарами в Йеле! За два года пребывания в Америке он прочитал публичные лекции в университетах Вашингтона, Принстона, Питсбурга, Нью-Йорка (Колумбийский университет), колледжах Дартмунта, Мидлбери, Университете штата Индиана.

Первая лекция в Индиане в сентябре 1968 года обернулась предложением провести во втором семестре этого учебного года семинар по творчеству Солженицына. С февраля по май 1969 года мы дважды в месяц из Нью-Хейвена прилетали на самолете в Блумингтон, ночевали в гостинице и через день возвращались обратно.

У русскоязычных слушателей Аркадий всегда имел шумный успех, особенно когда речь заходила о противостоянии творческой личности и власти. Однако слава блестящего лектора укрепляла его репутацию антисоветчика, что в конце концов поставило его перед угрозой потери работы. Кстати, это в Индиане студенты пошли к ректору жаловаться на то, что новый преподаватель попросил их ознакомиться с Уголовным кодексом

РСФСР: «Мы пришли изучать литературу, а не юриспруденцию». Как им, вкушающим зеленый салат в любое время года, объяснить, что такое советский ад? Аркадий, как мог, объяснял.

Мало полетов в Индиану. Однажды Аркадий согласился на обратном пути прочитать лекцию в колледже Дартмунта. Мероприятие чуть не кончилось очередной госпитализацией. Правда, после этого мы приобрели еще одного друга. Им стал Ги де-Маллак, заведующий кафедрой русской литературы колледжа.

Многочисленные лекции, выступления, статьи, внештатная работа на радиостанции «Свобода», участие в разнообразных конференциях и тысячи других вещей, необходимых для вживания в новый климат, новый быт и новую идеологическую атмосферу, сильно подрывали большой организм бывшего лагерника. К весне 69-го года стало ясно, что операции на открытом сердце ему не избежать. Она была назначена на 13 мая.

За неделю до операции Роберт Найт ввел в больничную палату трех человек: канадского журналиста Питера Уортингтона, Питера Глика, Вадима Ляпунова.

Уортингтон был озабочен предстоящей тяжбой с небезызвестным Виктором Луи, подавшим на него в суд за клевету. «Клевета» состояла в том, что Уортингтон назвал Луи агентом КГБ, кем он и был на самом деле. Канадцу нужны были свидетели. Он «вычислил», что беглец из СССР, знакомый с исправительно-трудовыми лагерями, мог кое-что знать и о Викторе Луи, о котором было известно, что он тоже побывал в ГУЛАГе. Аркадий действительно встречался с ним в лагере. И даже дрался.

Магнитофон, которым пользовался журналист, был еще громоздким, работал от электрической сети, и по всей больничной палате тянулись провода. Они путались с проводами больничной аппаратуры. Входили и выходили медсестры, измеряли пульс, проверяли давление, снимали показания с датчиков, угощали всех завтраком. В этой обстановке Аркадий отвечал на вопросы журналиста.

Он вспомнил, как он впервые увидел Луи в лагере. Прибыла партия очередных заключенных, и среди них один в коротких шортах и пробковом шлеме! Ляпунов перевел. В это трудно было поверить. Лица присутствующих приняли вежливое выражение.

Должно быть, Найт широко рассказывал об удивительном интервью, которому ему пришлось быть свидетелем. Года через два общий знакомый — наш и Роберта Найта — Дж. Джемисон брал в Испании интервью у очередного бегльца из СССР, тоже бывшего узника ГУЛАГа. Едва успев вернуться, Джемисон счел нужным сообщить мне, что в беседе тот тоже вспомнил и пробковый шлем, и его владельца. Должно быть, спервоначалу всем сильно не верилось Белинкову. «Этакого не может быть, значит, не

было!» На подобное недоверие Аркадий нарывался довольно часто. А совсем недавно мне рассказали, как Луи, проходивший чуть ли не весь лагерный срок на костылях, лихо отбросил их, едва выйдя за зону после освобождения. Про костыли Аркадий тоже упомянул.

Белинков охотно соглашался выступить свидетелем на суде. Роберт Найт весьма энергично возражал: «Советские наверняка выставят лжесвидетелей, решение будет в пользу Луи, а Вы, Аркадий Викторович, до конца своих эмигрантских дней не расплатитесь по судебным издержкам». Суд этот не состоялся. Но запись интервью с Уоррингтоном сохранилась.

Через пару десятков лет советологи, интересующиеся личностью Виктора Луи, узнали по статьям в американской и канадской прессе, что он окончил юридический факультет МГУ. Смолоду был завербован КГБ. Пять лет провел в ГУЛАГе. Свою карьеру международного дезинформатора начал с переводческой работы для корреспондента журнала «Тайм». Передавал «нужную» информацию за границу. У западных журналистов заслужил репутацию человека, у которого можно получить сенсационный материал. В годы перестройки его связи с Западом оборвались, и он занялся выпуском путеводителей и телефонных справочников, вскоре им вообще перестали интересоваться.

Операция на сердце прошла, как нам сообщили врачи, успешно. Аркадию казалось, что он поправляется. И мы оба приняли приглашение проф. Беккера, директора летней русской школы при колледже Middlebery, провести семинары в штате Вермонт: Аркадий — по Солженицыну, я — по русской литературе XIX века.

Мы отправились туда на машине, хотя научились править совсем недавно. Шофером была я. По незнакомой местности мы тащились часов шесть вместо двух с половиной. Сумерки, а потом и ночь застали нас в дороге. Это была глухая — по американским, не по русским понятиям — местность с малочисленными фермами в отдаленных перелесках и с первоклассным шоссе. К моему удивлению, редкие встречные машины, поравнявшись с нами, включали дальний свет. Проявление деревенской галантности в Америке? Когда, совершенно измученные, мы, наконец, прибыли и я с восторгом рассказала о том, как все нас приветствовали по дороге, меня подняли на смех: нам давали сигнал, что мы забыли включить фары.

Учитывая послеоперационное состояние Аркадия, нас, вопреки правилам школы, поместили не в общежитии вместе со студентами, а в частном доме на окраине маленького поселка. За домом был лес, в который нельзя было ходить из-за зарослей ядовитого кустарника, перед домом расстилались поля, а у входа раскинулась небольшая зеленая лужайка. Однажды на эту лужайку заползла толстая, красивой раскраски змея. Мы, ничего не понимая в змеях, любовались незваной гостьей. Проходящие мимо

женщины с детьми отчаянно кричали и показывали жеста́ми, что змея ядовитая и что ее надо убить. Аркадий — единственный среди нас мужчина — не мог не исполнить их отчаянную просьбу. Схватив близлежащую лопату, он неумело убил змею. Вся сцена была безобразна и, без сомнения, противопоказана человеку после операции на сердце.

В летней школе создавали подобие России. Проф. Беккер очень гордился «русским духом» школы. Лекции и разговоры в столовой на русском языке, русские вечера и спектакли, «многая лета» на дне рождения и такие русские песни на пикниках, которые «даже Танечка не знает!» Танечка — молодая учительница, недавно вышедшая замуж за американца. Она прибыла в Америку из советских 60-х годов. Ее русские песни — это Галич, Высоцкий, Окуджава... Их тут не пели. Россия в Миддлеберри оставилась на 1916 году. Или в Вермонте забежали вперед с возрождением национального самосознания?

Аркадий внес в русскую атмосферу школы политические проблемы 60-х годов, без них невозможно было касаться современной русской литературы. Но это не вызвало ни конфликтов, ни диссонанса как в русском, так и в американском обществе колледжа. Наоборот, мы приобрели много новых друзей. Среди них был бывший рижанин канадский художник Евгений Климов. Он сделал несколько портретов Аркадия<sup>1</sup>. Самый удачный из них купил директор школы и повесил у себя в кабинете. Роберт Найт, посетивший нас в Вермонте, сфотографировал этот портрет, но не успел ни проявить негатив, ни передать его нам. Негатив вскоре сгорел во время пожара в его доме.

К осени мы вернулись в Нью-Хейвен и переехали в другую, более благоустроенную квартиру, двухэтажную. Аркадий надеялся на полную поправку после операции и уже не избегал лестниц. Наши окна выходили в парк, сквозь зеленые листья которого просвечивала голубая вода Атлантического океана. Начинался второй период нашей жизни в Новом свете.

Зеленая трава начала приобретать другой цвет. Об этом мне предстоит рассказать в последующих главах.

Особую страницу (или главу) в жизни Аркадия Белинкова за границей представляет собой его сотрудничество с радиостанцией «Свобода». Оно началось с первых дней его жизни в Америке и продолжалось в течение двух лет.

«Свобода» среди либеральных кругов на Западе считалась орудием холодной войны, которую разжигают правые силы в Америке. Прогрессив-

---

<sup>1</sup> Портреты Аркадия Белинкова, Наума Коржавина, Александра Солженицына и др. писателей русского зарубежья, созданные Е. Климовым, опубликованы в журнале «Даугава» (1989. № 5).

ная западная интеллигенция была озабочена тем, что деятельность станции мешает разрядке международного напряжения, что ее передачи направлены против оплота мира во всем мире — СССР. В связи с этим старое название станции «Освобождение» заменили «Свободой». Первое в атмосфере детанта показалось слишком агрессивным. А в 70-х годах по случайному совпадению вскоре после смерти Аркадия сенатор Фулбрайт поставил вопрос о закрытии радиостанции. Предлогом для закрытия были непопулярные источники финансирования. Ряд видных советологов — Морис Фридберг, Глеб Струве, Виктор Франк, Питер Раддевей и другие — встали на защиту станции, и в результате ряда реорганизационных мер она была сохранена.

Для жителей СССР западные радиостанции, вещавшие на Советский Союз, были бесценным источником правдивой информации как о мире, так и о событиях, происходящих в своей собственной стране. Передачи «Свободы» глушились специальными аппаратами. Советским слушателям приходилось нелегально присоединять к радиоприемникам некие приставки для приема коротких волн. Лучше всего было слышно глухой ночью или в провинции, и жаждущие правдивой информации устраивали ночные дежурства или выезжали за сто километров от Москвы. Передачи переписывались на магнитофоны, а потом переключивались в «самиздат». Таким образом, совершался прорыв через цензуру в воздухе, а не только в печати между строк.

Особенная заслуга «Свободы» в том, что она ставила своей задачей освещение мировых и отечественных событий с точки зрения людей, живущих в стране, принимающей вещание. Руководство радиостанции искало сотрудников среди русских эмигрантов, и поэтому она стала связующим звеном между оппозиционной интеллигенцией России и русской диаспорой.

13 июля 1968 года «Свобода» передала сообщение о переезде Белинкова в Соединенные Штаты. Затем последовала передача его открытого письма в Союз писателей СССР — «Без меня». Первая же подача письма по радиостанции «Свобода» благополучно прорвалась через глушилки, и крамольный текст переключивался в «самиздат». Неудивительно, что среди первых гостей в нашем доме на холме были сотрудники «Свободы».

После передачи «Открытого письма в СП СССР» в «самиздате» появился ответ, который впоследствии был перепечатан в эмигрантской печати.

«Вы утверждаете, что «советская власть неисправима, неизлечима, она может быть только такой, какая она есть», но советская власть не существует, — возражал Аркадию человек, вступивший с ним в диалог. — Да, ее нет. Советы не имеют никакой власти, ни законодательной, ни исполнительной. Никакой. Властью обладает партия, точнее, ее правящая верхушка. И только она. Вы пишете: «не попрекайте меня хлебом, который я

ем, и салом, которое я не люблю. Я отработал ваш хлеб, ваш кров тринадцатью годами тюрем и лагерей". В контексте это звучит сильно, беспощадно и без тени рисовки. Но это неправильно. Вы говорите ваш (хлеб и т.д.), а он не их, а наш. Это они едят наш хлеб»<sup>1</sup>.

От тех, кто принадлежал к так называемой «третьей эмиграции», я позже узнала, что некоторые слушатели «Свободы» имели другое мнение об «Открытом письме...». Они укоряли автора за то, что, возвращая свой писательский билет, он призывал к тому же других советских писателей, сам находясь в безопасности за границей. Должно быть, такие критики просто-душно забывали о том, что он оказался за границей, пойдя для этого на довольно большой риск.

Был бы жив Белинков, он бы с удовлетворением узнал, что о его «язвительном письме-обвинении Союзу писателей, страстно обсуждавшемся московской интеллигенцией»<sup>2</sup>, не забыли и через двадцать пять лет.

Аркадий до конца оставался верен своим оставленным в России друзьям, и его передачи давали ему единственную надежду на то, что связь с ними не прервалась. Он говорил о том, что интересовало их в такой же мере, как и его самого.

Когда умер известный правозащитник писатель А.К. Костерин, Аркадий произнес по радио «Слово о Костерине». В годовщину оккупации Праги советскими войсками он выступил с передачей о «Чехословацкой весне». Мировое общественное мнение было занято судьбой Солженицына — по «Свободе» передали его очерк «Александр Солженицын и больные ракового корпуса». (Очерк об обсуждении «Ракового корпуса» в ЦДЛ помещен в первой части книги.) При поддержке радиостанции Аркадий принял участие в Лондонской конференции по цензуре и начал подготовку к изданию сборника «новых эмигрантов». Рассказу об этом посвящена глава «Новый колокол».

Включившись в университетскую жизнь, Белинков стал реже выступать по радио, но тесное сотрудничество с русским отделом «Свободы» продолжалось. Он систематически давал отзывы на передачи, отвечал на разнообразные анкеты, участвовал в совещаниях и вообще был доступен дома по телефону в любое время дня и ночи, поскольку добровольно взял на себя обязанность консультанта. Его часто навещали сотрудники радиостанции, и тогда трудно было различить границу между деловой консультацией и дружеской беседой.

Если состояние здоровья Аркадия позволяло, мы сами приезжали на «Свободу». И хотя до Нью-Йорка надо было добираться — на электричке

<sup>1</sup> Шевцов И. Ответ А. Белинкову // Вестник РСХД. 1969. № 94. Здесь цитируется по машинописной копии, присланной мне сотрудниками радиостанции «Свобода».

<sup>2</sup> Хазанова М. Русский евреец Вадим Сидур // Новое русское слово. 1993. 23 июня.



или в машине — часа два, мы оба любили эти утомительные поездки. Как рады были мы окунуться в привычную для нас жизнь большого города с его музеями, парками, магазинами, концертными залами и шумной человеческой толпой на улице! Грандиозность Манхэттена и бешеное движение на хайвеях восхищали Аркадия чрезвычайно. Возбуждение давало странный, хотя и временный, эффект выздоровления. Точно такой, как когда-то при первой длительной поездке в Псков и Новгород. Превращаясь в мальчишку и высовывая голову из окна автомобиля, — ухватить бы взглядом самые верхние этажи небоскребов — он каждый раз восторженно, с придыханием восклицал: «Ну и городишко!»

В последние месяцы своей жизни — апрель—май 1970 года — Аркадий с трудом начитал для «Свободы» двенадцать отрывков из рукописи «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Понимая, что советской аудитории вряд ли удастся прослушать все передачи подряд и по ним проследить динамику творческого оскудения писателя, он не ограничился чтением готовых отрывков, а каждую часть цикла сделал независимой от других, написав новые начала и концовки для каждой из передач.

О поездках в Нью-Йорк в то время уже не могло быть и речи, запись производилась у нас дома. Вместе с опытным техником обычно приезжал литературный сотрудник радиостанции Владимир Юрасов<sup>1</sup>.

Аркадий радостно, с полной отдачей работал для «Свободы». Он ощущал, что здесь он нужен. Здесь у него не возникало недоразумений или конфликтов. Его не замалчивали, и ему не оказывали противодействия. Правда, иногда и тут считали нужным оговорить, что с ним не во всем согласны, как это сделали, например, перед его передачей «Прага, весна, зима...», но это были редкие исключения.

На радиостанции долго вспоминали Аркадия Белинкова после его смерти.

Морис Фридберг, профессор Университета штата Индиана: «[Он] следовал традициям тех русских писателей-критиков, которые совмещали заботу и любовь к прекрасному с гражданской страстностью. Это пушкинская традиция».

Леонид Ржевский, литературовед и прозаик: «Аркадий Викторович был воплощением той творческой русской культуры, которая внутренне всегда была и остается поныне свободной и жертвенной» — и цитировал Пастернака: «Цель творчества — самоотдача»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Владимир Юрасов — прозаик, беглец из Советского Союза на исходе Второй мировой войны, автор нашумевшего в эмигрантских кругах романа «Параллакс».

<sup>2</sup> Оценки, данные Фридбергом и Ржевским, взяты из текстов передач, находящихся в домашнем архиве А. Белинкова. Их можно найти в фонотеке радиостанции.

Виктор Семенович Франк, известный комментатор «Свободы», отдал должное своеобразной трактовке Белинковым образа птицы-тройки: «Вы помните, конечно, что в образе птицы-тройки Гоголь видел неисповедимые судьбы России... Читая этот знаменитый пассаж, все, — по-моему, действительно все — упустили одно, самоочевидное, казалось бы, обстоятельство. На это обстоятельство обратил внимание Аркадий Викторович: «...незабываемая птица-тройка. Она неслась, оставляя за собою народы и государства. Тройка была заложена в бричку, а в бричку был заложен Павел Иванович Чичиков... теперь неотложной задачей является синтезирование тройки, брички и Чичикова...» ... И Достоевский, и Аксаков, и Бердяев, и Блок... пропустили мимо ушей это простейшее обстоятельство. Так что, когда она, эта тройка, доберется до своего тайного, конечного назначения, из нее вылезет не кто иной, как именно Павел Иванович Чичиков. Предвидел ли Гоголь, что история России завершится триумфом пошлости и посредственности?»<sup>1</sup>

«Белинков у микрофона радиостанции “Свобода”» — эта тема не выделена в отдельную главу по ряду причин. Выступления Белинкова большей частью касались тем, затронутых в его статьях или книгах. Их устное воспроизведение было чистым повтором, в чем легко убедиться, сравнив университетские лекции о Солженицыне с беседой у микрофона с Виктором Франком. Я уже упоминала о том, что разговоры Аркадия с друзьями были своего рода устными черновиками. Теперь такими черновиками становились беседы с радиослушателями. Радиопередачи с их импровизацией, шутками, сарказмом — совершенно другой жанр, нежели литературное творчество. Они уходили в эфир и не оставляли следов.

О том, что «Свобода» успешно расшатывала советское единомыслие и формировала демократические идеи в среде оппозиционной интеллигенции, хорошо известно. Как была налажена работа внутри станции, какие конфликты случались между ее сотрудниками и какие силы требовали закрытия станции, рассказывают теперь наши друзья<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Франк В. Белинков и «мертвые души» // По сути дела. Лондон, 1977. С. 108.

<sup>2</sup> Critchlow H.J. Radio Hole-in-the-Head // Radio Liberty. Washington DC, 1984; Владимиров Л. Жизнь номер два // Время и мы. М.; N.Y. 1999. № 144; Sosin G. Sparks of Liberty. An Insider's Memoir of Radio Liberty. Pennsylvania, 1999 (в переводе на русский: Сосин Дж. Искры свободы / Пер., общ. ред. и вступ. ст. И. Толстого. Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена, 2004).

## БЕСЕДА С ВИКТОРОМ ФРАНКОМ У микрофона радиостанции «Свобода»

**Франк:** Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Виктор Франк. Мы приветствуем сегодня в нашей студии именитого гостя, Аркадия Викторовича Белинкова, известного русского литературоведа и писателя. Аркадий Викторович — автор книг о писателях Юрии Тынянове и Юрии Олеше. До 68-го года профессор Белинков проживал в Советском Союзе, в Москве, но в июне 68-го года он и его супруга — Наталия Александровна Белинкова — выехали из Советского Союза. В настоящее время Аркадий Викторович Белинков живет и работает в Америке, в Соединенных Штатах, где преподает в Йельском университете.

Аркадий Викторович, можно Вам задать личный вопрос? Что побудило Вас выехать из Советского Союза и перейти на положение невозвращенца?

**Белинков:** Все то же, что делало мою жизнь в Советском Союзе внутренне осмысленной и, может быть, имеющей некоторое общественное значение: борьба со всеми видами тоталитаризма — с коричневым, черным, желтым и красным фашизмом.

Ничего не изменилось с момента, когда я покинул свою родину, землю, по которой я ходил, язык, на котором я говорил и писал, историю, которая была естественной составной частью существования всякого мыслящего человека. Ничего не изменилось: остались те же враги, и остались те же идеалы. Враги — это тоталитарный режим, идеал — это демократическая свобода. Изменилось лишь место, в известной мере, форма этой борьбы. Я не уходил из русской литературы и не уходил из русской общественной борьбы. Свою пишущую машинку из кабинета на Малой Грузинской в Москве я перенес в свой кабинет на Уодвард-авеню в Нью-Хейвене. Ничего не изменилось. Я продолжаю то же дело, которое на протяжении едва ли уже не тридцати лет делал в России, делал у себя дома, делал в лагере и теперь продолжаю делать в изгнании.

**Франк:** Аркадий Викторович, я читал напечатанные еще в Советском Союзе в журнале «Байкал» главы из Вашей книги о Юрии Олеше. С Ваших слов я знаю, что Вы задумали трилогию в составе книг о Юрии Тынянове,

Юрии Олеше и об Александре Солженицыне. Можно мне попросить Вас вкратце сказать нашим слушателям, почему Вы избрали Солженицына как тему вашей третьей, заключительной книги из трилогии?

Беллинков: Я должен буду, очевидно, сказать несколько слов о [задуманной] трилогии, для того чтобы стало понятно, почему третья книга написана именно о Солженицыне.

Дело заключается в том, что эти книги не о Тынянове, не об Олеше и не о Солженицыне; это книги о взаимоотношениях художника и общества. Мне кажется, что имеется лишь три естественных возможности этих взаимоотношений, тем более если иметь в виду, что речь идет о взаимоотношениях художника с тоталитарным государством.

Тынянов жил и писал в те годы, когда известные элементы лояльности во взаимоотношениях еще могли существовать. Тынянов сохранил честность и именно поэтому сохранил себя как художник. Юрий Олеша, писатель, наделенный огромным физиологическим художественным дарованием, не устоял перед соблазнами, страхом, искушениями, которым он подвергался, живя в стране с тоталитарным режимом. Книга об Олеше называется вовсе не «Юрий Олеша», она называется «Сдача и гибель советского интеллигента» — гибель художника в результате сдачи, в результате невозможности и нежелания главным образом борьбы с этим удушающим тоталитарным режимом.

Наконец, есть третья возможность взаимоотношений художника и государства; это такие взаимоотношения, когда художник не уступает государству, когда он не сдается, и это единственный случай, когда выстоявший художник может создать истинно художественные ценности. Солженицын — не единственный из писателей, которому удалось выстоять в борьбе с тоталитарной властью; но он обладает некоторыми другими качествами, о которых я скажу несколько позже.

Франк: Насколько я понимаю из того, что Вы сказали, Аркадий Викторович, кривая вот этих взаимоотношений между государством и писателем шла вниз между периодом или эпохой Тынянова и эпохой Олеси. Теперь, если Вы избрали героем вашей третьей книги Солженицына, то кривая, пожалуй, пошла по крайней мере в его случае опять вверх. Верно Вас понял?

Беллинков: Если Вы имеете в виду, говоря о кривой вверх, возможность художника бороться с удушающей, с раздавливающей его властью, то, вероятно, это не совсем то, что имел в виду я; когда я говорил об этих возможностях, связанных с Солженицыным, то я имел в виду не общественные обстоятельства, которые складываются вокруг писателя и дают ему разрешение, а личность писателя, которая может этим обстоятельствам противостоять. Солженицын и оказался таким писателем, который мог этим обстоятельствам противостоять: он оказался выстоявшим худож-

ником не потому, что ему разрешил советский режим выстоять, а потому, что он оказался сильнее того давления, которое оказывал на него советский режим. Солженицын так важен, так нужен, так дорог русской литературе, русской литературе не фединых и не кочетовых, а великой русской литературе «Медного Всадника», литературе «Бесов», лирики и эпоса Пастернака, Мандельштама и Ахматовой; Солженицын так важен, так нужен и дорог русской литературе, потому что он появился тогда — в те годы, в те дни, когда казалось, что русская литература исчерпана.

Она была, казалось, исчерпана с последней строкой Анны Андреевны Ахматовой. Она кончила свое великое, почти двухсотлетнее бытие, оставив руины, на которых покоились могильными плитами Федор Гладков, Федор Панферов и Александр Фадеев. Он появился в высшей степени неуместно, с их точки зрения неуместно и несвоевременно, и неожиданно. Казалось, все кончено — одна из величайших в мире национальных культур исчерпана. И вдруг в этой пустыне появился писатель — надежда новой, молодой России.

Появление Солженицына в эпоху, которая названа словечком, в высшей степени неточно отражающим явления, которые возникли после смерти Сталина и названы «Оттепелью», — к этому явлению Солженицын никакого отношения не имеет. Та оттепель — официальная, официозная, полуразрешенная, полузапрещенная, на которую глядели сквозь пальцы, оттепель Евтушенко и Вознесенского — никакого отношения к Солженицыну решительно не имела. Солженицын — писатель великой литературы, а не момента, когда разрешили немного больше или запретили немного меньше.

**Ф р а н к:** В чем Вы видите основное значение Солженицына? Только ли в том, что его произведения дышат правдой, или Вы видите в нем также какие-то новые формальные элементы, которые отличают его от его современников?

**Б е л и н к о в:** Я охотно отвечу на этот вопрос, потому что существуют, как мне кажется, в высшей степени неуместные заблуждения по поводу того, что может быть необычайно интересное содержание и в высшей степени традиционная форма, или, если угодно, наоборот. Это так называемый «формализм» из газеты «Культура и жизнь». Ничего подобного в искусстве не бывает. Не бывает интересного содержания в неинтересной форме, и не бывает интересной формы с неинтересным содержанием. Когда приходит великий художник и приводит с собой нового героя, то он приводит его в новой форме. Для того чтобы появилась бахрома на штанах Раскольников, эта великая метафора великого писателя, — нужно, чтобы появился новый герой и новая форма романа. Новая форма романа Достоевского была, несомненно, связана чрезвычайно тесными узами с тем новым открытием мира, которое совершил великий писатель.

Солженицын — художник XX века; он обладает некоторыми чрезвычайно специфическими особенностями нашего времени, связанного [очень] сложными синтетическими путями с ритмом, со звуком, с тем, что Блок называл «музыкой времени»; он обладает чрезвычайно острой видимостью предмета. Если Вы исчислите количество информации на единицу текста у Солженицына, то вы увидите, что там сообщено необычайно много, гораздо больше, чем на подобную же единицу в классическом произведении. Дело не в том, что Солженицын пишет хуже или лучше, чем писали русские или западноевропейские классики, он пишет по-другому, он пишет так, как мыслит, ощущает себя, движется во времени XX века, века, чрезвычайно насыщенного информацией. Коммуникации Солженицына необычайно сложны, не прямы и связаны с необыкновенно разветвленным, сложным кругом ассоциаций и аллюзий. Что же касается другого элемента, который назван был, скажем в советской поэтике, «содержанием», то здесь у Солженицына есть одна особенность, которая сделала его действительно важнейшим писателем России. Как всякий великий писатель, Солженицын говорит о главном. Главное, о чем рассказал Солженицын, — это о преступлении, которое всегда, начиная с Книги Бытия, с рассказа о Каине, почиталось за величайшее преступление, величайшее непрощаемое преступление. Солженицын рассказал об убийстве. И та ненависть, которую он встретил со стороны официальной России, была совершенно естественной, потому что он рассказал о самом жестоком преступлении, которое когда бы то ни было творилось в мировой истории. В мировой истории много крови; в мировой истории было много убийств, но так много за такой короткий срок убить людей смогла только советская власть. Солженицын рассказал об этом со всей обстоятельностью, как о главном преступлении режима, и он стал главным писателем века.

Франк: Я понимаю, что Вы имеете в виду, Аркадий Викторович, но ведь преступления не измеряются только количественно. Меня всегда поражало в советской литературе, что к моменту смерти или умерщвления относятся чисто внешне, механически, а у Солженицына поражает духовное отношение к смерти. В этом также его отличительная черта, если сравнить его с другими произведениями его эпохи.

Белнкoв: Конечно, смысл и значение Солженицына вовсе не только в том, что в его книгах изображено большое количество убитых. И мы ценим «Гамлета» и, в частности, последнюю сцену, завершающую трагедию, не потому что там оказалось восемь убитых, что там убиты все, а оттого что все предшествующие пять актов «Гамлета» психологически и социально мотивируют это убийство. И конечно, значение Солженицына не в том, [что] там у него много смертей и много убитых, — этим нас не удивит. Мы люди — современники разных фашизмов. Мы видели и итальянские убийства, мы видели немецкие убийства, мы видели совет-

ские убийства, и смысл и назначение Солженицына вовсе не в том, что он рассказывает еще раз о жестокости, о смерти, о гибели людей, а в том, что он показал неизбежность, неизбежную мотовированность этих убийств; он показал, что тоталитарный режим ни на что другое способен быть не может, что он может делать спутники, но он не может отказаться от уничтожения людей. Он может заставить писать симфонии, но он не может создать благо.

История советской власти — это история постоянного уничтожения духовных ценностей. Если за эти 52 года из духовных ценностей что-то осталось, то это осталось только потому, что было оказано сопротивление, и благодаря этому сопротивлению удалось в какую-то минуту победить советскую власть. «Мастер и Маргарита», книги Солженицына, лирика Ахматовой, лирика и эпос Пастернака — это победы над советской властью; если бы их не было, то ничего из того, о чем я сейчас говорил, существовать не могло бы.

**Ф р а н к:** Аркадий Викторович, Вы, конечно, согласитесь со мной, что сила и значение Солженицына заключаются не только в том обличительном моменте, о котором Вы так убедительно говорили, но и в том, что ему удается на этом страшном фоне показать нечто, что обычно называется пошлым словом, — положительного героя; в частности, я имею в виду такой образ, как Матрену, эту старую бабу, которую он показал; ему удалось создать, воссоздать тот образ, который бытовал в русской литературе еще до него, но он показал это в новых условиях.

**Б е л и н к о в:** Вы совершенно правы. Я только к этому добавил бы то, что Солженицын создал и другого положительного героя, который до него не существовал. Он создал положительного героя Нержина, он создал других положительных героев и в «Раковом корпусе», и в «Круге первом», и это явление уникальное, феноменальное и исключительное. Если Матрена восходит к классическим образам положительных героев русской литературы, предшествующей Солженицыну, то герой-протестант, герой-борец положительный потому, что он борется за высокие идеалы демократии. Это уже создано Солженицыным.

**Ф р а н к:** Один формальный вопрос, Аркадий Викторович. Вы считаете на основании Вашего изучения больших романов Солженицына — я имею в виду «Раковый корпус» и «В круге первом», — что это произведения уже оконченные или там есть элементы еще такой, недостаточной обработки самого автора?

**Б е л и н к о в:** Нет законченного произведения до тех пор, пока сам автор не выпустит свою книгу. Выпускал свои книги на Западе не Солженицын; попали они на Запад в *одном* варианте. Писатель никогда не считает свою вещь законченной, и всякий большой писатель стремится ко второму изданию не для того, чтобы повторить то, что он сказал раньше,

а для того. чтобы сказать что-то новое, что-то прибавить к тому, что уже было сказано; и каждый раз, когда читаешь предшествующий вариант, первое, скажем, издание, оно вызывает всегда чувство глубочайшего неудовлетворения. И когда Солженицын говорит о том, как его искажают западные издатели, то он говорит, несомненно, с глубочайшей искренностью и горечью об этом. Я, зная многие варианты отдельных кусков или целых произведений Солженицына, могу засвидетельствовать, что из изданного на Западе выбрано не лучшее. Но такова судьба русского писателя, который не может держать корректуру, который не может спорить со своим редактором, который не может видеть свой текст в печати, исправить его, дополнить, закончить

**Франк:** Аркадий Викторович, Вы мне говорили в частном разговоре, что Ваш жизненный путь и путь Солженицына несколько раз скрещивались. Может быть, Вы расскажете об этом нашим слушателям?

**Белнкoв:** Да, это произошло совершенно случайно, если говорить о ранней поре этих путей, и не случайно, очевидно, тогда, когда нам уже довелось познакомиться в Москве после того, как оба мы были освобождены. Что касается начальной стадии этого знакомства, то оно произошло случайно, если вообще можно считать случайным то, что большое количество русских писателей сидят в тюрьме, и, естественно, поскольку их много, то могут там встретиться.

Случайность заключалась в том, что на Большой Лубянке, начиная с 44-го года и дальше в 45-м году, в течение некоторого времени мы сидели на одном этаже, я — в 56-й камере, Александр Исаевич Солженицын — в 53-й камере, и, по установленному во внутренней тюрьме режиму, я трижды в день, а чаще и больше, если вызывался на допрос, проходил мимо камеры Солженицына, уж никак не думая, что я прохожу мимо человека, который впоследствии станет лучшим писателем России, с которым мне доведется встретиться.

Неожиданно оказалось уже при знакомстве, что кроме одного этажа у нас был и один следователь, некто Иван Иванович Езепов, и Солженицын чрезвычайно картинно изображал этого следователя. Я хорошо помню многие из приемов, к которым он прибегал для того, чтобы получить нужные ему — бесплодно — сведения и от Солженицына, и от меня.

Впоследствии мы оказались в одном лагере. Этот лагерь описан в «Одном дне Ивана Денисовича» с такой потрясающей точностью, что, когда я читал — задолго до того, как в одиннадцатом номере 62-го года «Нового мира» появилась повесть Солженицына — «Один день...», я был поражен тем, как необыкновенно похожи все лагерь. Оказалось, что это тот же лагерь. Мы сидели с Солженицыным, с Иваном Денисовичем, в одном и том же лагере в Северном Казахстане; однако этот маленький, ничем не замечательный, ординарный советский лагерь — не чета Колыме, где



поместятся две с небольшим Европы, — это лагерь, в котором поместится небольшая страна, Германия. Встретиться в этом лагере нам не удалось, поскольку — как Вы понимаете — мы не имели возможности свободного перемещения и поиска интересующих нас встреч. Встретились мы с Солженицыным позже уже в Москве, когда был написан «Иван Денисович», четыре варианта которого мне удалось прочитать.

**Ф р а н к:** Ваши первые две книги из Вашей трилогии, Аркадий Викторович, о Тынянове и об Олеше, имеют в виду, то есть касаются писателей, уже скончавшихся. Ваша третья часть касается человека еще живого, который еще, как мы надеемся, далеко не закончил то, что ему суждено будет написать на своем веку. Вы не видите в этом определенной трудности?

**Б е л и н к о в:** Несомненно, эта трудность существует, но она в то же время для меня теряет существенный смысл, потому что я верю в то, что Солженицын не изменит свой творческий путь. Я не боюсь того, что тот образ, который я пытаюсь воспроизвести на страницах своей работы о Солженицыне, может быть неожиданно изменен уходом Солженицына от своего великого поприща.

**Ф р а н к:** Недавно Солженицын был исключен из Союза советских писателей. Этот поступок со стороны советских властей вызвал огромное возмущение на Западе. Вам приходилось, вероятно, слышать об этом, Аркадий Викторович, беседовать об этом. Что Вы думаете об этом?

**Б е л и н к о в:** Я думаю, что исключение Солженицына из Союза писателей — это так же прекрасно, как получение Нобелевской премии, скажем, Пастернаком, потому что все самые лучшие советские писатели — Пастернак, Ахматова, Зощенко — были исключены из Союза писателей... Я не был исключен из Союза писателей, а возвратил свой билет, не желая соприкоснуться с этой омерзительной организацией, и, таким образом, я тоже хотел бы приобщить себя если не к большим русским писателям, то по крайней мере к тем, которые оказались вне связи с учреждением, которое работает теми же методами и для пользы того же дела, какими работают органы государственной безопасности, Министерство культуры, пожарная команда, Институт мировой литературы им. Горького и другие учреждения, которые насаждают растление в умах людей, увы, не только в пределах своей территории, но и далеко выходя за эти пределы на Западе.

Исключение Солженицына из Союза писателей — явление ординарное, великолепное с точки зрения того, что он это заслужил, и в то же время оно имеет чрезвычайно большое значение с точки зрения того, что интеллигенция Запада проявила большое внимание к этому, еще одному преступлению тоталитарного советского режима в отношении еще одного замечательного русского писателя.

Вопрос, который Вы мне задали, в известной мере выходит за пределы того, что связано, собственно, с самим Александром Исаевичем Солженицыным. Речь идет о том, что все мы называем взаимоотношением западной демократической интеллигенции с советской оппозицией.

Я заговорил об этом, несколько уклонившись от темы нашей беседы, от прямо поставленного Вами вопроса, для того чтобы сказать, что же такое сочувствие Запада, западной интеллигенции к Солженицыну и советской оппозиции.

Советская интеллигенция может что-нибудь сделать только тогда, когда она имеет помощь своих братьев на Западе. Внутри страны обстоятельства сейчас таковы, что рассчитывать на какую бы то ни было серьезную работу без помощи западной интеллигенции не приходится. Западная интеллигенция должна привозить в Россию книги и должна увозить из России рукописи. Она должна с чрезвычайной осторожностью относиться к людям (служащим советской власти), которые приезжают сюда и рассказывают басни о великолепии социалистической демократии.

Я рассказываю Вам о том, что нужно делать здесь для того, чтобы помочь нам.

Ф р а н к: Благодарю Вас, Аркадий Викторович.

## СЛОВО О КОСТЕРИНЕ У микрофона радиостанции «Свобода»

10 ноября в Москве в центре города был убит человек.

Его убила шайка преступников, уже несколько десятилетий убивающая людей в этой стране.

По делу об убийстве ведется следствие теми, кто поклялся служить справедливости и закону.

Преступники будут строго наказаны.

Люди, поклявшиеся служить справедливости и закону, предупреждают их именем Нюрнбергского трибунала.

Имя убитого в Москве человека — Алексей Евграфович Костерин, писатель.

Его убила шайка преступников, уже несколько десятилетий терроризирующая страну, убивающая людей и уничтожающая ее духовные ценности.

Эта шайка называется — советская власть.

Советская власть продержала писателя Костерина 16 лет в тюрьмах и лагерях, не печатала его книги, исключила из Союза писателей и из партии, устраивала обыски и учиняла допросы, отказалась похоронить.

10 ноября в Москве было совершено политическое убийство, еще одно политическое убийство в неисчислимом списке убийств, которые совершала, совершает и будет совершать советская власть.

Его убили не в тюрьме, не ночью в лесу, он умер без палача и убийцы от инфаркта в больнице, как умирает человек от нанесенных ему ран, которые оказались смертельны.

Я знал Алексея Евграфовича, человека, писателя и по неожиданному совпадению обстоятельств — соседа. Мы жили в Москве, в доме писателей на Малой Грузинской в пяти минутах от улицы Горького, он с женой Верой Ивановной в 70-й квартире, мы с женой в 69-й. У нас был общий длинный балкон, разделенный железной пожарной лестницей, и мы выскакивали из своих кабинетов, из-за тяжелых писательских столов, которым отдана жизнь, замученные нашим трудным писательским ремеслом. Встречались, пошучивали, перекидывались двумя-тремя фразами, долго смотрели направо, туда, где сначала был хорошо виден с нашего девято-

го этажа длинный ствол Ивана Великого в Кремле, а потом стал пропадать, уменьшаться из-за каждого нового этажа строящегося дома, который становился все больше и больше. Мы видели в вечерней заре, как вспыхнул, погас и исчез золотой купол.

Мы встречались не только на балконе. На двери квартиры Костериных было написано «Всегда открыто». Как сердце. Мы ходили друг к другу, не предупреждая телефонным звонком и забыв постучать, оглядываясь, прислушиваясь, боясь чужих глаз, полные страха, обычного московского страха. — Были? — Нет, еще не были. — А у вас? — Ушли. Вон лифт ползет.

Убили человека, еще одного человека убили, еще одного писателя.

В феврале, совсем недавно, Алексей Евграфович пришел к нам; вздыхал, водил пальцем по книгам на полках, начинал фразу, снова отворачивался и водил, выпил чашку кофе, как рюмку водки, одним глотком, закинув голову, вздохнул, сел, лег в кресло.

Он был много лет в партии, еще с царских времен, и для него все, что происходило в стране, которую он задумывал по прекрасным эскизам, свободной, полной творчества и счастья, в дореволюционной тюрьме, безбрежная, еще не осознанная трагедия этой страны была непереносима.

Он был одним из многих, кто понимал свою ответственность и ошибку.

Ему было гораздо тяжелее, чем мне, никогда не верившему в возможность осуществления такими способами такого идеала.

Он был в партии-казарме, партии-застенке, партии-крысоловке, куда иным и охота войти да нельзя выйти. Алексей Евграфович покинул эту партию.

Он пришел к нам, чтобы рассказать, что вышел. Я и моя жена были мало подходящими собеседниками для такого разговора, и я не очень понимаю, почему он пришел к нам. Мне чужда их партия и не всегда понятны муки немногих честных людей, состоявших в этой партии, непонятны, потому что слишком давно уже все стало ясно и уже давно безнадежно. Но, может быть, я не могу быть им судьей, потому что никогда в их партии не состоял и идея этой тюрьмы всегда была мне отвратительна.

Передо мной, у меня в кабинете в кресле лежал старый, больной, необычайно живой, добрый, резкий, сердитый и умный человек. Этого человека убили, просто убили, убили за то, что он говорил не то, что кто-то велел говорить. Это может понять только тот, кто совсем недавно еще жил в этой стране, где убивают за то, что говорят не то, не так, как это считается нужным, вот сейчас нужным, а вчера было ненужным, а завтра будет нужным не это.

Он достал из-под старенького свитера школьную тетрадку в синей обложке, раскрыл ее, откашлялся, пожевал губами, надел, снял, снова надел очки.

Потом начал читать.

Я запомнил, я думаю, что запомнил без ошибок все, что он нам прочитал.

«Подводя итоги своей жизни, — медленно читал человек, которого скоро должны убить и который знал, что его убьют. — Подводя итоги своей жизни, нужно честно определить, к какой партии я принадлежал».

Это был первый день весны, как цинковый лист поблескивал за окном московский день, в конце февраля, недавно. Он писал о том, что принадлежал к партии, которая давно, еще в древности потеряла в борьбе за власть высокие идеалы (или слова об идеалах) и которая сейчас стремится только к уничтожению всякого инакомыслия для сохранения, для спасения своего безудержного господства.

Честный, умный и пронизательный человек не мог принадлежать к этой партии.

Вечером мы провожали наших пражских друзей. Они уезжали в веселую, полную надежд «Пражскую весну», в свободную страну (как они говорили), не задумываясь, не веря в то, что через полгода та же шайка преступников, убивающая людей у себя, придет, убьет их веселую, древнюю, молодую страну, до краев полную историей, добротой и искусством. Они ушли, и за ними захлопнулась дверь, на которой было написано «Всегда открыто».

К ночи мы уехали в Дом творчества, а утром позвонили Алексею Евграфовичу справиться о делах, о почте, о том о сем, кого сняли, кого выгнали. Обычный московский разговор.

«Алексей Евграфович заболел», — трудным голосом сказала Вера Ивановна.

Мы все поняли: арестован. На языке московских интеллигентов, всегда ждущих ареста, «заболел» — это «арестован». Многие бумаги Костерина были спрятаны у нас, и наши бумаги, совсем некстати, у него. Все московские интеллигенты, не сдавшиеся и не примирившиеся, ждали тогда обысков и арестов, прятали рукописи, жгли, закапывали. Мы бросились в Москву. Оказывается, действительно — заболел. И мы, и Вера Ивановна легко вздохнули. Это лучшее, что может быть с советским писателем: просто очень тяжело заболеть.

Накануне поздно вечером пришел следователь, снял допрос, грозил. Алексею Евграфовичу стало плохо. Ночью его привезли с инфарктом в больницу. У палаты покачивались органы государственной безопасности. К лету он выздоровел, просился домой, как все выздоравливающие, капризничал. У его постели всегда были люди, по больничным, да и не по больничным понятиям, в неслыханных количествах. Он просился домой, и его, еще не выздоровевшего, неохотно пустили.

За два дня до его смерти я получил пакет, в котором было обращение «К прогрессивной общественности мира», подписанное писателем Алексеем Костериным и генералом Петром Григоренко. «Мы верим, — писали они, — что совесть нашего народа, понесшего столь тяжелые утраты в годы сталинщины, что совесть честных людей всего мира не допустит новых незаконных расправ над мужественными борцами против произвола сталинщины».

Убили замечательного человека, доброго и вспыльчивого, не умеющего болеть, не умеющего быть спокойным, не терпящего несправедливости, цинизма, лицемерия, ханжества и хамства, не умеющего спокойно смотреть на истребление людей, русской литературы, человеческой нравственности, духовной жизни страны. Убили в Москве, в центре города, замечательного человека, настоящего писателя Алексея Евграфовича Костерина<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Белинков А.* Слово о Костерине // Новое русское слово. 1969. 30 мая.

## О ВИКТОРЕ ЛУИ

### Интервью в американской больничной палате<sup>1</sup>

**А.Б.:** Виктор Луи фигура собирательная, значительная и вовлекающая в орбиту своего существования большое количество людей.

**П.У.:** А где Вы впервые встретились с ним?

**А.Б.:** Впервые я встретился с Виктором Луи в Северном Казахстане летом 1954 года в Девятом Спасском отделении Управления Песчаного лагеря, лагеря особого назначения (или инвалидного), который к этому времени, уже после расстрела Берия, перестал быть лагерем особого режима.

**П.У.:** В котором году?

**А.Б.:** Как я сказал, в 1954-м. Летом.

**П.У.:** Не можете ли Вы рассказать об обстоятельствах этой встречи?

**В.Л. (Аркадию):** Вас спрашивают о первом моменте... Как человек выглядел?

**А.Б.:** Может быть, на это не стоит тратить времени и лучше прочитайте отрывок из моей статьи для «Лайфа»?

**П.У. (обращаясь к В.Л.):** Нет, пусть он расскажет. Это совершенно уникально, и я хотел бы услышать, как он это сам рассказывает. Как он увидел Луи в первый раз?

**А.Б.:** Летом, вероятно, в июле, может быть, в июне (с тех пор прошло пятнадцать лет) в лагерь прибыл этап из нескольких человек. Один из прибывших имел весьма примечательную внешность: высокий красивый блондин с серо-голубыми глазами, в очках, в золотой оправе, с костылем (о чем я скажу позже). Хорошо сложен, загоревший...

Надо Вам сказать, что каждый раз, когда в лагерь приходят этапы, это становится большим событием для заключенных. (*Обращаясь к Уортингтону.*) Вы по-русски немножко понимаете?

**П.У.:** Немножко.

---

<sup>1</sup> **А.Б.** — Аркадий Белинков. **П.У.** — Питер Уортингтон. **В.Л.** — Вадим Ляпунов. Магнитофонную запись обработал Александр Корсунский.

**А.Б.:** Новые люди — новые вести. Естественно, все, что происходило по ту сторону проволоки, представляло большой интерес. Все мы бросились к воротам, что запрещается. Если бы этот лагерь оставался лагерем особого режима, спецлагерем, то нас бы всех просто перестреляли, да мы бы и не полезли. Но в обычном лагере, когда все стало разваливаться после смерти Сталина, после смерти Берия, это было допустимо. И хотя нам кричали: «Разойдись!», мы продолжали стоять.

Из грузовика вышло несколько человек с конвоем, и один поразил нас решительно не похожим на всех остальных, и на нас в том числе, видом.

Осенью 1953 года с нас сняли лагерные номера и разрешили носить собственную одежду. Поэтому появление заключенного без номеров в гражданской одежде не произвело особенного впечатления. Поразила сама одежда: белые ослепительные шорты, белая сорочка без рукавов и пробковый колониальный шлем. Надо вам сказать, что не только в лагере, я и на свободе подобных людей никогда не видал. Это было настолько поразительным зрелищем, что сразу же возникла дискуссия.

Одни решили, что приехали актеры (в лагере иногда устраивали спектакли). Другие (есть группа заключенных, которая всегда занята чисто политическими проблемами) тотчас же все поняли: «Ввиду того что уже началась новая мировая война, это первый английский военнопленный, которого привезли в лагерь».

Человек, которого принимали не то за актера, не то за английского военнопленного колониального легиона, после обыска, как и все другие, перешел через вахту с тяжелым чемоданом, — что в общем-то довольно редко для заключенных, — и тотчас же, раскланявшись, сообщил, что он есть Виктор Луи.

Виктор Луи оказался в том же кругу заключенных, что и я. На всех нас он произвел очень хорошее впечатление своей внешностью, прекрасным московским литературным языком, начитанностью, образованностью и многими другими привлекательными чертами. Правда, нас немного смущал его странный маскарадный костюм. Он объяснял это так, как насколько я понимаю, объясняют нынешние хиппи: вызов обществу...

Луи нам сообщил, что его срок 25 лет, он находится в заключении приблизительно полтора года, был в другом лагере, у него тяжелый костный туберкулез: туберкулез бедра, который он получил во время следствия в Москве.

Его пребывание в инвалидном лагере вызвало удивление. Крепкий и красивый человек попал к калекам и старикам. Объяснить это одним костылем было нельзя. (*Обращаясь к В.Л.*): «Спросите, пожалуйста, у Питера, интересна ли ему история Луи?»

**П.У.** (*кивает головой в знак согласия*).



**А.Б.:** Больные по прибытии в лагерь сразу же подвергаются медицинскому осмотру. В осмотре принимают участие как вольнонаемные врачи, так и врачи-заключенные. Они-то мне и сказали, что никакого туберкулеза у Луи нет. Врачам-заключенным, моим друзьям, я не мог не доверять.

Лагерники обычно защищают своего товарища по заключению, стараясь навязать ему какую-нибудь болезнь, а тут вольнонаемные врачи настаивают на том, что здоровый человек болен!

К тому же, хотя это и был инвалидный лагерь, некоторые из заключенных работали в обслуге самого лагеря. Луи же не посылали на работу, и это тоже вызывало подозрение.

Однако лагерная подозрительность немногого стоит, и мы продолжали относиться к нему доброжелательно и разговаривать с ним достаточно откровенно.

**П.У.:** Он рассказал Вам, как он попал в лагерь?

**В.Л.:** Питер интересуется причиной, его собственным объяснением, почему его арестовали.

**А.Б.:** Луи рассказал историю, которая оказалась неожиданной даже для тех людей, которые много видели и многое слышали. Хочу подчеркнуть, говорю о тех, кто имел большой лагерный срок: от десяти до двадцати лет.

Он сказал, что сидел по двум статьям: 58-1А — измена родине и 59-8 — нарушение закона о валютных операциях. Сам он признавал себя виновным в совершении уголовного, а не политического деяния. Обычно бывает наоборот: люди, сидящие по уголовной статье, попав к политическим, умалчивают об этом.

Луи был человеком «без определенных занятий», без специальности (кажется, он пробовал поступить в Институт иностранных языков) и придавал особое значение материальному благополучию и успеху. Он нашел способ, как этого достигнуть: через связь с иностранцами.

Это были последние годы сталинского режима: конец 40-х — начало 50-х, когда связи с иностранцами карались самым жестоким образом. Луи пренебрег опасностью и поступил на службу в какое-то латиноамериканское посольство в качестве переводчика с английского на русский. Его продержали там полтора-два месяца, выплачивая жалование в валюте, и уволили, не получив утверждения его на должность переводчика от соответствующего отдела Министерства иностранных дел. Он перешел на такую же службу в другое посольство. История повторилась не один раз.

Его уголовное дело заключалось в том, что он торговал валютой в кругу латиноамериканцев.

**П.У.:** Он сообщил Вам об этом?

**А.Б.:** Я рассказываю всю эту историю или со слов Луи, или на основании того, что видел непосредственно.

Оказывается — я, к сожалению, очень плохо осведомлен в этих вопросах — между разными валютами в Латинской Америке существуют разные паритеты. Разница в паритете дает какую-то сумму. Эту сумму между собой делили. (Обращаясь к Питеру Уоррингтону: «Вы понимаете?»)

**П.У.:** Понимаю.

**А.Б.:** Каким-то образом это было обнаружено. Может быть, он работал на две разведки. «58-А» дается советским гражданам за измену родине и за шпионаж. Судя по тому, что он рассказывал сам, можно было понять, что никакой измены родине он не совершал, а просто работал на одну из разведок. Все это заставило нас серьезно задуматься над тем, что же представляет собой Виктор Луи.

**П.У.:** О деятельности Луи в лагере?

**А.Б.:** Я думаю, что человек всю жизнь в разных вариациях делает одно и то же дело. Он это делает до тюрьмы, в тюрьме и даже в эмиграции. Если человек начал как жулик до тюрьмы, как спекулянт валютой, то и в тюрьме он продолжает то же самое. Известно, этому есть подтверждение в юридической статистике. Как правило, люди садятся второй раз по той же самой статье, по которой они сели первый раз.

Луи осудили за спекуляцию, и спекуляцией он продолжал заниматься в лагере. После расстрела Берия в лагере разрешили ларек. В ларьке заключенные продавали заключенным. Луи за взятку устроился туда на работу. Как можно заработать в ларьке? Продать полкилограмма хлеба за 550 грамм. Значит, украсть у своего товарища. Луи проворовался, его избили, из ларька выгнали... После лагеря он продолжал заниматься спекуляцией на гораздо более высоком уровне, торгуя уже не песетами и дукатами, а книгами Светланы...

**П.У.:** Вы говорили со Светланой о Викторе Луи?

**А.Б.:** Да.

**П.У.:** Она думает совсем как Вы?

**А.Б.:** Я думаю, что лучше она сама расскажет...

**П.У.:** О'кей.

**А.Б.:** Один случай убедил нас, что Луи работает в органах государственной безопасности. Надо Вам сказать, что подобные подозрения часто возникают в лагере от недоброжелательства. Ну что может быть хуже того, что человек служит в органах? Трудно придумать. Тем более что все это бездоказательно. Я же рассказываю об этом с совершенной уверенностью, потому что следующий эпизод произошел со мной.

В лагере, где все окружено тайной, заключенные находят выход в рассказах о самих себе. Обычно они не выходят за пределы того, что уже известно следствию. Так как мое следствие началось за десять лет до того, как я встретился с Виктором Луи, то многое у меня стерлось в памяти, а кое-чему я не придавал значения, и в беседах с Луи я рассказал о кое-

каких деталях, которые не вошли в протоколы первого судебного разбирательства.

**П.У.:** В лагере было известно, по какой статье сидел Луи?

**А.Б.:** Да, конечно. Это утаить нельзя. Потому что при проверках, когда выкликают вашу фамилию, нужно ответить имя, год, статью, срок, начало срока, конец срока, кем судим, когда судим, в какой находишься бригаде, в каком бараке. Чаще всего надзиратели этого не дослушивают, потому что все хорошо друг друга знают, и на доске, на барачной доске, эти все данные есть. И это утаить невозможно.

**В.Л.** *(подробно по-английски разъясняет процедуру Уортингтону).*

**А.Б.:** Почти сразу по приезде в лагерь меня вызвали на допросы в связи с Ахматовой, Зощенко и другими писателями, о которых меня в свое время допрашивали и которых в это время жестоко оплевывала советская печать. Я еще не знал этого и думал, что следствию зачем-то понадобились мои показания по второму разу.

После 46-го года никаких допросов мне не чинили. И вдруг летом 54-го года с меня снова снимают показания, хотя уже и не в том тоне, в котором велись допросы в сталинское время, однако достаточно энергично и ночью. Спрашивают о людях, с которыми я встречался до своего ареста. Сначала я не мог понять, откуда эти вопросы возникли, но на втором или третьем допросе я понял, что сведения у следователя недавние.

Я вспомнил, что в этапе 53-го года один человек рассказал мне о судьбе моего близкого друга Георгия Ингала. Ингал, автор романа «Иллюзии Клода Дебюсси», был арестован и попал в лагерь в конце 44-го — начале 45-го года. Там он был убит по совершенному недоразумению бандеровцами. Писатель, естественно, делал записи. Другие заключенные заподозрили, что он пишет на них донос, и потребовали, чтобы он показал свои записки. По легкомыслию, неопытности и наивности он отказался. Его убили, и когда прочитали, что он там написал, оказалось, про Клода Дебюсси.

Примерно за месяц этот рассказ, о котором никто, кроме меня и человека из этапа, не знал и в котором не было скрыто никаких тайн, я передал Виктору Луи. Теперь следователь, спрашивая об Ингале, употреблял те же выражения, в которых я пересказал этот трагический эпизод Луи. Потом возникли вопросы более серьезные.

Стало ясно, что я, уже десять лет находящийся в лагере, оказался жертвой в общем очень дешевого стукачества и копеечной провокации.

Мы с Луи находились в одном бараке. После допроса я подошел к нему и ударил его по физиономии.

**П.У.:** Луи?

**А.Б.:** Я ударил его. Другие заключенные поддержали бы меня, потому что стукачей в лагере бьют. Но я им не успел рассказать. Я только что

вернулся с допроса, и, вместо того чтобы хладнокровно подумать обо всем, я его кулаком... Началась драка. Мне в этой драке досталось. Я попал в больницу. Не столько из-за побоев, а потому что у меня был сильный сердечный приступ.

Вечером мне стало легче. Я вышел из больницы на крыльцо. Вдруг на меня кто-то набросился и начал жесточайшим образом избивать. Оказывается, меня подкарауливал Виктор Луи. Тут мне уже очень сильно досталось. Когда я немного пришел в себя, я увидел, что избивают его. Значит, пока я был в больнице, история каким-то образом стала известной. Сильно досталось и ему. В лагере бьют насмерть. В лагере не занимаются пустяками.

Ночью меня посадили в карцер. И сразу же на 10 суток. Это серьезно. Начальник лагеря имеет право сажать только на 7 суток. Чтобы дать 10, нужно разрешение начальника Управления всего Песчаного лагеря. Эпизодическая драка — дело простое, за это могут посадить, могут не посадить. Драка с Луи стала достоянием администрации. Ему ничего не дали. Подобные вещи не сводят к тому, кто прав, кто виноват. Я просидел в изоляторе сутки или двое. По состоянию здоровья меня опять положили в больницу. Луи был переведен в другой лагерь. Всех людей, с которыми он общался, начали десятками вызывать к следователю. Подошли этапы из других лагерей. Появились основания подозревать, что его перевели в наш лагерь, потому что в другом с ним произошла аналогичная история. Так подтвердилось, что Луи работает в органах государственной безопасности.

Стукачи рано или поздно себя раскрывают. Для того чтобы механизм раскрытия стукачей стал понятнее, я хочу вас отослать к рассказу о Сыромахе в романе Солженицына «В круге первом».

**П.У.:** Насколько Вам известно, Солженицын и Луи встречались?

**А.Б.:** Нет, не встречались. Я тоже в лагере с Солженицыным не встречался. Я с ним встретился уже после освобождения. Когда я Солженицыну об этой истории рассказывал, это было для него совершенной неожиданностью, несмотря на то, что мы все сидели в одном лагере.

**П.У.:** Когда Луи посадили? До или после смерти Сталина?

**А.Б.:** Я думаю, его посадили при Сталине. После смерти Сталина его бы, думаю, не посадили. После смерти Сталина КГБ своих работников не сажал. А Сталин сажал.

**П.У.:** Виктор когда-нибудь вспоминал или вообще говорил о Сталине?

**А.Б.:** Все мы говорили о Сталине, но это мнение было общее. Конечно, ругали Сталина. Сталин уже умер. И это было безопасно. В лагере нельзя было хвалить Сталина.

**П.У.:** Понял.

**В.Л.:** Луи писал о Солженицыне, и Питер хотел бы услышать Вашу, хотя бы короткую оценку Солженицына как литератора.

**А.Б.:** Солженицын настолько значителен как выдающееся явление русской литературы и общественной мысли, что ответить односложно и коротенько на вопрос, который Вы мне задали, я бы не рискнул. Мне это тем более трудно, что я пишу книгу о Солженицыне и прочитал два цикла лекций о нем.

Солженицын так важен, так нужен, так дорог для русской литературы, для русской культуры, русской общественной мысли, потому что он появился как писатель тогда, когда, казалось, все уже истреблено, когда казалось, что почва русской литературы начисто иссякла, когда никакие свежие соки в нее уже не приходили.

Из этого можно сделать по крайней мере один вывод. В гибели русской культуры повинна только советская власть. Потому что, как только эта советская власть дает возможность хоть немножечко что-то сказать, сразу выбрызгивается великолепный эстетический фонтан из недр великого народа. При Хрущеве появилось такое феноменальное явление, как Солженицын. Если бы появился только он один, то можно было бы счесть это за частный случай. Но вместе с Солженицыным появилась целая плеяда прекрасных писателей. На этом общем высоком уровне Солженицын занимает место самое высокое.

*(Входит медсестра и предлагает всем кофе.)*

**П.У.:** Согласны ли Вы выступить свидетелем в суде, если Виктор Луи появится в Канаде?

**А.Б.:** Я готов быть свидетелем на суде по обвинению Виктора Луи.

**П.У.:** Скажите пожалуйста, почему Вы были в лагере и сколько лет провели там?

**А.Б.:** Я был в заключении около тринадцати лет. Я был арестован за то, что написал книгу «Черновик чувств».

7 мая 1969 г.

СУДЬБА И КНИГИ  
АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА  
(На основе стенограмм лекций и записок  
к семинарам в Йельском университете  
и Университете штата Индиана. 1969 год)

*Почему был напечатан  
«Один день Ивана Денисовича»?*

Александр Исаевич Солженицын — явление совершенно необычайное в советской литературе по ряду обстоятельств.

Необычайное заключается в том, что он замечательный писатель. Это для советской литературы 60-х годов нашего века — явление парадоксальное и неожиданное.

Это сочетание исключительности и парадоксальности, может быть, не входящее в намерение самого Солженицына, было особенно ощутимо, потому что он явился в эпоху поражающую, повергающую в изумление своей замечательной, ничем не сравнимой духовной бездарностью.

Поэтому всякое незаурядное явление, а замечательное и вовсе, воспринималось как неожиданность и парадокс. И такой неожиданностью, парадоксом был для русского духовного бытия Солженицын.

Исключительность и неожиданность Солженицына заключалась в том, что он выполнил назначение поэта: он рассказал людям о самом главном, что они должны были узнать.

Солженицын важен, нужен и дорог великой русской литературе. Не литературе фединых и кочетовых, а той двухсотлетней литературе, которая умирала и возрождалась, которая создала «Медного Всадника» и «Бесов», «Войну и мир», лирику Пастернака, Мандельштама, Ахматовой. Солженицын так важен, так дорог русской литературе потому, что пришел, когда эта литература была уже мертва. Эта великая литература умерла вместе с предсмертной строчкой Ахматовой. Ушли последние великие писатели русской литературы: Замятин, Мандельштам, Бабель, Булгаков,

Зощенко, Платонов, Заболоцкий, Пастернак. Они были убиты, затоптаны, замучены, уничтожены, заперты, затравлены. Русская литература была исчерпана. Гладков и Панферов могильными плитами лежали на искусстве страны. Появление «Одного дня Ивана Денисовича» было величайшим событием социальной жизни России. Это произведение приобрело историческое значение не только потому, что Солженицын первым рассказал о непомерном злодеянии, которое совершала десятилетиями советская социалистическая диктатура, хотя и этого было бы достаточно, чтобы совершить подвиг, но потому что в эту высохшую и отравленную литературную пустыню пришел великий писатель н о в о г о поколения, когда казалось, что это поколение уже ничего не могло дать. Надо понять простую вещь. Все, что было создано в 20-х годах, создавали писатели другого поколения, другой эпохи, другой концепции. Они были связаны с великой русской литературой начала века, непосредственной преемницей русской классики. Это были писатели н е п р е в а н н о й литературной традиции. Они еще были свободными людьми и к советской власти отношения не имели. Те, которые по возрасту вошли с ней в непосредственное соприкосновение, оправдывались, как Пастернак. Другие, сначала ничего не подозревая, а потом, предаваясь иллюзиям, неуверенно твердили, что террор, без которого революция существовать не может, но для которого, конечно, есть моральное оправдание в революционное время, непременно кончится, и тогда же придут, должны прийти, свобода, справедливость, разум, гуманизм, материальное изобилие и духовное раскрепощение. Так думал, так говорил, что думает, так утешал себя Бабель.

Исключительность и неожиданность Солженицына заключалась в том, что он выполнил назначение поэта: он рассказал людям о самом главном, что они должны были узнать.

Значение Солженицына измеряется той же мерой, какой всегда мерилось явление духовной жизни людей: тем, что он написал о самых главных вещах, игравших самую главную роль в жизни людей. Я хочу пояснить, что значение художника, конечно, не меряется величиной описываемого им здания. Может быть величайшее произведение о тучке («Тучки небесные...») или о жуках («День гаснул...») и ничтожное об индустриализации («Дорогой станочек мой...»).

Но материал, на котором работает художник, его выбор — есть акт художественного созидания, и по тому, каков он — значителен или ничтожен, — мы судим художника так же, как и за все другие его художественные проявления (метафора, сюжет, язык).

Значение Солженицына не только в том, что он рассказал о самом важном, что пережили его современники, это делали и другие писатели, а в том, что он правильно понял происходящее.

Ни одно правительство в истории мира не уничтожило 18 миллионов своих подданных. Были разные преступные правительства и они совершали ужасные преступления. Но если мы с вами согласны в том, что убийство, — а со времен Книги Бытия это сомнений не вызывало, — самое страшное преступление, то самая преступная государственная, социальная и идеологическая система — советская, потому что она убила самое большое количество людей за всю мировую историю. О том, что это было убийство невинных людей, сообщила она сама. Если к этому прибавить, что ни одна страна в мире не дала такое количество изгнанников, а изгнание даже по советскому законодательству считается самым тяжелым после смертной казни наказанием (статья 30 старого Уголовного кодекса — ныне отменена), то мы получим достаточно полную и достаточно выразительную картину, которая, по моим наблюдениям, производит большое впечатление на всех, вплоть до племен, населяющих дельту реки Амазонка, кроме, конечно, людей, которые скромно именуют себя «либеральной западной интеллигенцией».

В советской литературе тюремную тему выдумал не Солженицын. Она была и до него. Солженицын догадался только, что и на эту тему надо писать хорошо.

Вот как писали на эту тему те, которые не догадались. Я прочитаю Вам отрывок из повести А.Тарасова-Родионова «Шоколад». В этой повести рассказывается о председателе ЧК, которого в одном городе обвиняют в совершении преступления. Обвинение оказывается ложным, председатель ЧК чист, как новорожденная девочка. Однако жителям города уже стало известно о том, что председатель — преступник. Положение в городе было напряженным, и оправдание его могло вызвать неприятные для советской власти последствия. Председатель ЧК сидит в тюрьме, но он уже знает, что оправдан, и радуется предстоящему освобождению. Открывается тяжелая тюремная дверь, председатель бодро вскакивает. Навстречу ему идет член суда, только что оправдавший его. Бывший подсудимый и судья ведут оживленный разговор, который оканчивается так: «Ну, а теперь о разных мелочах...» — говорит судья и сообщает о том, что председатель ЧК для того, чтобы не дать повода для всяких толков, приговаривается к расстрелу. «Ну, а теперь о разных мелочах. Мы постановили не медлить и привести приговор в исполнение сегодня же вечером. Не так ли?» Председатель ЧК, невинный человек (так утверждает автор), в восторге от такого мудрого решения. Перед расстрелом он рассуждает так: «В этом упрямом, вечном движении вперед и только для будущего, и только для счастья несчастных — весь коммунизм, и ради этого стоит жить и погибнуть!» Зудин (председатель ЧК) гордо и весело распрямился, сверкнул дерзко искрами глаз, быстро сев прямо на стол, стал от нетерпения барабанить по нему пальцами».



Солженицын догадался, что надо писать хорошо, поэтому он не писал о дегенератах, которых выдавал за нормальных людей, а если писал о дегенератах, то не выдавал их за нормальных. И поэтому его чекисты радуются не своей смерти на благо родины, а радуются, когда им на благо родины удается убить кого-нибудь другого.

Солженицын для советской литературы 60-х годов этого века явление парадоксальное и неожиданное и поэтому в высшей степени для советской власти неприемлемое и ненужное явление, с которым успешно борются и, я думаю, в значительной степени уже победили. Я имею в виду чисто простую, формальную сторону дела: взять и уничтожить человека... В советской России это делается очень просто. Из рассказов Солженицына это хорошо известно, как это в советской России делается.

Но Солженицын кончил свое письмо четвертому Съезду писателей фразой, с которой не может справиться даже страна, имеющая десяти-миллионную армию, громадный Военно-воздушный флот и танковые дивизии...

Не всегда она может справиться с бранным, жалким человеческим телом, с этим тростником, с этой человеческой теплой, тридцатисемиградусной плотью, которая пишет книги, создает идеи.

Солженицын закончил свое письмо четвертому Съезду писателей такой фразой: «Что касается меня, то за свою писательскую судьбу я не беспокоюсь. Свой писательский долг я выполню, и из могилы лучше, чем при жизни».

Солженицын замечателен не только тем, что он написал свои книги, но и тем, что всех нас ошеломил возможностью существования; доказал, что можно существовать.

Литература, работающая в русском языке, дала две литературы: литературу советского периода и советскую литературу.

Я в этом убедился, когда попросил студентов в Йельском университете составить списки прочитанных ими советских книг. Там были писатели, никакого отношения к советской литературе не имеющие. Там была Ахматова, там был Пастернак, там был Булгаков, там был Платонов, и иногда появлялись имена, которые им самим казались случайными и которых студенты стеснялись: скажем, Новиков-Прибой, Федор Панферов, Лебедев-Кумач и так далее... Люди не понимали, что вот это-то и есть советская литература. Академическая история советской литературы в этом отношении более поучительна. Если вы посмотрите на монографические главы, которыми удостоены лучшие с точки зрения Центрального Комитета партии советские писатели, то вы увидите, что Пастернак там появился только в последнем издании.

То, что в лице Солженицына пришел писатель н о в о г о поколения, было не только важно для русской литературы, но и симптоматично. Это заставило задуматься над тем, что еще не все истреблено. Если невозможно все истребить теми методами, к которым прибегали (а прибегали к совершенно тотальным, танковым методам), то нужно думать, что при всей жестокости нынешних обстоятельств в современной России теперь так скоро все уничтожить не удастся. Правда, так называемая литературная «Оттепель» в России действительно кончилась... Но Александр Исаевич Солженицын никакого отношения к этой «Оттепели», которая была августейше дарована XX съездом партии, никакого отношения не имел... Никогда литературные оттепели не выходили за пределы списка более или менее охотно разрешаемых книг.

Александр Исаевич Солженицын — это неразрешенный писатель России. Это писатель из тех, которых когда-то убивали на дуэли, или сажали в тюрьму, или убивали из-за угла, или не давали писать. Это писатель из тех, чей творческий путь кончали пулей, камнем или стеной.

Поэтому мне кажется нерациональным сводить к чисто литературоведческому аспекту то, что я хотел бы сказать о Солженицыне.

История литературы не может быть изучаема только как остров. История литературы — это огромный архипелаг, как континент, который омывается морями других литератур. Произведение литературы связано с какими-то конкретными, реальными литературными обстоятельствами.

Пушкин погиб не только потому, что у него была красивая и легкомысленная жена, но еще и потому, что Пушкин не смог пережить свой третий литературный спад (их было три — мы их не замечаем, но они были). Одним из поводов к его дуэли, которая так похожа на самоубийство, было и то, что он оказался литературно для себя несостоятельным — не смог выполнить ту задачу, которую он себе поставил. Если бы не было Дантеса, то был бы кто-нибудь другой.

Мы знаем, что самоубийство Маяковского было связано с важнейшими историко-литературными причинами, которые погубили его, — он одним из первых понял, что пришел термидор и что революционный идеал погублен, — и тогда понадобилась Лиля Брик, понадобилась простуда, чтобы человек дважды выстрелил в свое сердце.

Литература и литературоведение, как все живое, существуют не в кабинете литературоведа, а в очень определенной и всегда чрезвычайно важной для писателя или художника, которые творят свое произведение, атмосфере.

Здесь допускают известную ошибку, занимаясь только кабинетным историко-литературным процессом, занимаясь вопросами, связанными только с абстракциями, в которых само по себе художественное произведение как бы не существует.

Я уверен, было бы интереснее и важнее, если бы я предложил вам не глубокий литературоведческий анализ, а один день, раковый корпус и в кругу первом советской литературы.

К этому методологическому заключению я пришел, размышляя о том, что бы произошло, если бы в соседней аудитории студенты слушали курс греческой драмы золотого века афинской демократии и в аудиторию вошел бы человек, который пил чай с Софоклом (496—408 гг. до н.э.). Даже если бы он не был специалистом по греческой драме золотого века, нам было бы интересно, как же все это происходило на самом деле. Не правда ли? Тем более что греки той эпохи чаю не пили.

Я четверть века (с тринадцатилетним перерывом) пил чай советской литературы, горький, мутный, невкусный советский чай.

Я думаю, что вам, людям, занимающимся советской литературой именно потому, что она советская, то есть закрытая, запечатая, спрятанная, и вы ничего о ней не можете прочитать, важно узнать, о чем говорят за советским чайным столом.

О чем говорят за чайным столом советской литературы? О самых важных вещах: как ее уничтожить, не напечатав все лучшее, что написано, и как ее спасти, пробравшись сквозь сомкнутый строй редакторов, рецензентов, цензоров, партийных надзирателей за искусством и майоров государственной безопасности.

Как говорят в России? Шепотом и оглядываясь. Те, кто хочет русскую литературу спасти.

Что касается литературоведческого анализа трудов Солженицына, то они в большом количестве были написаны и без меня. Я расскажу вам о том, как появились эти книги и как они были важны в тех домах, в которых мы жили, пили чай, обменивались мнениями.

Началось все это с того, что никому неведомый человек на протяжении нескольких лет после того, как был освобожден, — а освобожден он в феврале 53-го года, за месяц до смерти Сталина, и был отправлен в ссылку, — лихорадочно писал. То, что он писал тогда, считалось им самим не очень существенным для литературы. То, что он писал, он показывал своему в высшей степени ученому коллеге, с которым вместе работал в шарашке, описанной в «Круге первом», к тому времени серьезному профессиональному литературоведу, специалисту по германистике. (Я был с Солженицыным в одном лагере, но уже после его шарашки. Мы были в одном и том же лагере, том самом, который описан в одном из дней Ивана Денисовича.

Мы познакомились с Солженицыным позже, когда я уже вернулся в Москву. И этому не стоит удивляться, потому что, хотя это и было в маленьком лагере, но этот маленький лагерь был расположен на территории, равной примерно Франции. Там от Балхаша до Акмолинска примерно

столько же километров, сколько от Гавра до Марселя. Если не ошибаюсь, то тысяча восемьсот километров. Повторяю, это был паршивенький, обыкновенный, заурядный советский лагерь. Это вам не Колыма.

И даже в этом маленьком лагере мы с Солженицыным не встретились. А вот другой коллега — писатель, исключенный из Союза писателей, Лев Копелев — с ним встретился. Александр Исаевич показывал ему свои рукописи, и Копелев их очень хвалил.)

Затем события сложились таким образом, что с 56-го по 62-й год появилась некоторая возможность сделать что-то даже в литературе. «Даже в литературе», поскольку литература является первейшим помощником партии, то, стало быть, за ней особый пригляд. И в связи с этим сделать что-либо в ней гораздо труднее, чем в какой-нибудь другой, менее наблюдаемой области.

И вот в это время начинаются события, которые привели к появлению Солженицына в русской литературе.

Один из самых замечательных периодов истории советской литературы начинался в журнале «Новый мир». (Вся моя жизнь до ареста прошла рядом с домом, где была расположена редакция «Нового мира», на Пушкинской площади, и я с детства знаю эти зеленые заплесневелые стены и остатки орнамента 10-х годов, эпохи модерна в русской архитектуре.) Летом 1962 года мы с женой жили в Доме творчества писателей в Переделкине. Говорят, что на Западе этот подмосковный поселок известен чуть ли не как Ясная Поляна. Именно там и создаются все художественные ценности советской литературы. В это же время в Переделкине жил А.М. Марьямов, который работал в редколлегии «Нового мира». Он каждый день ездил на работу, днем сообщал краткие сводки по телефону, а вечером привозил развернутое коммюнике. (Я употребил этот военный термин не случайно, это было время чрезвычайно напряженное для «Нового мира».)

Однажды утром в конце июля 1962 года за чайным столом в Переделкине очень заспанный Марьямов подсел к нам и спросил привычно хриплым голосом:

— Как вы думаете, что я сегодня ночью делал?

— Мы предположили два естественных обстоятельства: либо спал, либо лежал пьяным... может быть, у себя дома, а может быть, в доме самого Твардовского. Это в России, в русской литературе бывает.

— Нет, — оглядываясь, сказал Александр Моисеевич Марьямов. — Я занимался формированием литературного процесса.

Тут мы с малознакомым западной интеллигенции скепсисом предположили, что он занимался этим делом в ресторане Союза писателей. Но оказалось, что мы ошиблись. Он действительно впервые принимал участие в формировании литературного процесса.

«Впервые», потому что обычно этот процесс проходит с точки зрения советского редактора, то есть человека, который превращает хорошую рукопись в плохую книгу. Потому что все советские книги — это испорченные рукописи. Или уж это должна быть такая плохая рукопись, которую даже редактор, владеющий обыкновенной литературной речью, может превратить в нечто, что можно будет читать.

На каком уровне, какими людьми решается литературный процесс, видно из одного старого анекдота: «У министра здравоохранения были именины. И другие министры собрались обсудить — что же ему подарить на именины. И министр железнодорожного транспорта сказал: — Подарим ему книгу! — Нет, — сказал военный министр. — Книга у него уже есть». Это старый анекдот, и это хорошо, что старый, — он говорит не только о нашей литературной и политической эпохе, но и о предшествующих. Надеюсь, что апелляция к анекдоту рассеяла ваше недоверие. Я понимаю, что анекдот — всего-навсего анекдот. Но в то же время анекдот всегда подразумевает некоторую приближенность к истине и если и удаляется от нее, то только на дистанцию гротеска.

Не хочу отвлекаться, поскольку дальше Софокла (496 год до нашей эры) я еще не сдвинулся, но на пути мне вспомнился Пастернак.

Когда тридцать первого сентября 1958 года Белградское радио сообщило о присуждении Нобелевской премии Пастернаку, то тотчас же Хрущев вызвал к себе Суркова — тогда первого секретаря Правления СП СССР — и спросил его: «Что это такое?» Сурков очень подробно, очень обстоятельно, очень толково доложил Хрущеву о том, что Пастернак всегда был врагом советской власти, русской земли, русской литературы, Дмитрия Донского, Куликовской битвы, друг татарского нашествия... Со всей обстоятельностью он процитировал много строчек, которые считались советскими, антисоветскими, околосоветскими и так далее. Это был исчерпывающий доклад, поскольку Сурков — человек образованный, умный, хитрый, бездарный, ничтожный.

Но он забыл в этом докладе рассказать об одном: о том, что Пастернак был всемирно известный писатель. Это было чрезвычайно существенно. Если бы он сказал об этом, то никогда Хрущев, а следом за ним «Литературная газета», а в «Литературной газете» покойный Заславский и главный редактор непокойный Косолапов, — ныне директор Гослитиздата, — никогда бы не рискнул помещать письма товарища Токаря: «Вы вот Пастернак... Это такая овощь, вы знаете, а книга у него уже есть. Пастернак — такая овощь».

На этом же уровне были написаны все остальные статьи, на этом же уровне было выступление министра председателя Комитета государственной безопасности товарища Семичастного, которого я не буду цитировать.

И тогда Хрущев вызвал к себе Суркова и, топая ногами и визжа фальцетом, требовал от него объяснения — не по поводу литературы, которая его мало занимала, а по поводу того, что Сурков не сообщил ему об этом чрезвычайном обстоятельстве. Дело Пастернака могло вызвать и вызвало международный скандал.

Дело Солженицына тоже может вызвать международный скандал. Я еще недавно писал о том, что единственная гарантия свободы Солженицына — это его всемирная слава. Поэтому, когда меня спрашивают: «А можно ли писать о Солженицыне?» — я отвечаю: «Ради бога. Если Вы будете писать и печатать — могут быть неприятности. Чем больше вы о нем будете писать, чем больше вы о нем будете говорить, присуждать ему премии, — может быть, это его уберезет».

Я возвращаюсь в Переделкино.

Оказывается, Марьямов действительно занимался формированием историко-литературного процесса.

Ночью ему позвонил Твардовский... (Что не очень удивило Марьямова.)

— Как ты думаешь, что я делаю, Саша?

Марьямов предполагает два естественных обстоятельства.

— Знаю, либо спишь, либо пьянствуешь.

— Вот и неправда. Я читаю.

Это странно. Обычно писатели пишут, а не читают. Когда пишешь, то читать некогда.

— Читаешь?

— Я не просто читаю. Я встал с постели, надел черный костюм, галстук. Сажусь за письменным столом. Читаю.

Наверно, это выдумка, тут же сочиненная Твардовским. Может быть, он читал, сидя в халате, может быть, лежал в постели. Но реплика о черном костюме кажется мне значительной. Черный костюм в России надевается в особо торжественных случаях и на похоронах. Черный костюм — это метафора похорон.

Рукопись, которую читал Твардовский, была обречена на гибель.

Рукопись же он получил так

События развивались с бойкостью, не свойственной солидной медлительности толстого советского журнала.

В связи с этим я стремительно ввожу новое действующее лицо.

Новое действующее лицо зовут Ася, фамилия лица Берзер. Все вместе — лицо, имя и фамилия вызывают ужас и отвращение у всех смрадных, бездарных деятелей министерства советской социалистической литературной промышленности, потому что Ася Берзер принадлежит к числу самых ядовитых, непримиримых, самых блестящих и талантливых критиков и литературоведов несдавшейся, расстреливаемой, ссылаемой, уничтожаемой под улыбки наших западных коллег России. Ася Берзер заведует

отделом прозы в «Новом мире». И в нем печатается лучшее, что сделано в советской литературе. «Новый мир» журнал по преимуществу прозаический. Это очень просто — сам Твардовский поэт и хорошие стихи печатать не захочет. То же делает Лакшин в отделе критики.

Ася Берзер с помощью Л. Копелева получила «самотечную» рукопись, просмотрела ее и была сражена. Это была настолько поразительная рукопись, что для человека, который 30 лет профессионально занимается литературой, это было то же что вдруг взять в руки классическое произведение. Это надо представить себе картинно. Вообразите человека, который никогда не читал Толстого и вдруг увидел «Войну и мир». Она читала произведение, не останавливаясь (как все мы, когда читали его в рукописи), и испугалась. Она поняла, что сейчас решается судьба новой русской литературы и что она решает эту судьбу. И от того, насколько она умна и тонка, деликатна и осторожна, зависит, что же с нами со всеми будет, — потому что это все должно создать прецедент.

«Самотечная рукопись» — это рукопись, которую издательство или журнал не заказывали. Это — бедствие, это — несчастье всех литературных журналов и организаций Союза писателей, где даются литературные консультации.

Это обычно толстые многотомные собрания сочинений в стихах и прозе, и к «самотеку» относятся с привычным неуважением, скукой.

Начинающий автор такой рукописи, не дожидаясь просьбы редакции, берет большой конверт, вкладывает в него свое творчество и пишет адрес «Нового мира», а внизу свой адрес: «Рязань, улица Ленина, дом № 6, Солженицын А.И.»

Ну что такое для московского литературного комбината, где все крутится, перепечатывается и уничтожается, рязанский Солженицын А.И.?

Ася Берзер получила «самотечную» рукопись и отнесла ее к пяти часам вечера злому Твардовскому, потому что до пяти часов вечера Твардовский 20 раз вызывался в ЦК, ему 30 раз звонил оргсекретарь Воронков, 40 раз звонили из «Правды», приходило 100 графоманов, приезжало 200 начальников, 300 чиновников. Раздраженный Твардовский собирает у себя заведующих редакцией, членов редколлегии, и они ему рассказывают, что же произошло за день, и кладут рукописи, которые, с их точки зрения, могут быть или напечатаны, или представляют некоторый интерес, то есть такие, в ответ на получение которых можно написать «Ваше произведение замечательное, однако мы напечатать его не можем, когда будет еще замечательнее, пришлите, пожалуйста». Обычный разговор редактора и автора.

Анна Самойловна Берзер тихо положила на стол рукопись. Твардовский недовольно сунул ее в портфель, потом сунул в портфель еще одну рукопись и еще, выругался, потому что портфель стал очень толстым, и

поехал домой. Выпил. Раскрыл портфель. Выпил. Лег спать. Положил на тумбочку рукопись. Листнул. Вскочил. Надел черный костюм и позвонил Марьямову.

Перед Твардовским лежало такое замечательное произведение, что даже и не историк литературы не мог не понимать, что это — новая эпоха. В истории русской литературы это был так называемый период «Оттепели». И Твардовский и Марьямов понимали, что, хотя в это время и были замечательные вещи, но они утрачивали право на значительность в сравнении с тем, что сейчас лежало перед Твардовским.

Перед советским писателем стоит метафора, сложенная из очень прочного камня в форме стены. Эта метафора реализуется в весьма вещественных камнях — тяжести, глухоте и толщине застенка. И писатель стоит перед ней. Но стены обладают одной особенностью, которую архитектор может предвидеть, но которую не может предотвратить: даже циклопические стены в какой-то момент дают трещину. И вот в эту трещину можно просунуть руку. В старой дореволюционной России коммивояжер знал один секрет: нужно постучать в дверь и в тот момент, когда откроют — просунуть ногу, чтобы дверь не закрылась совсем, чтобы ее не захлопнули. В эту маленькую щелочку нужно успеть что-то сказать — и тогда, может быть, что-то получится.

Советская прогрессивная литература стоит перед циклопической стеной и ждет, когда там образуется щелочка. И вот те, у которых есть рукопись, надеются, и иногда это бывает не совсем необычным, что рукопись превратится в книгу.

Солженицын стоял перед циклопической стеной с рукописью, которая в очень определенном аспекте открывала вещи, которые власть больше всего прячет. И все знали, что такую рукопись напечатать невозможно.

Но Твардовский снял черный костюм, надел обычный дневной, заверстал в очередной сентябрьский номер «Нового мира» повесть «Один день Ивана Денисовича» и, как будто ничего не происходит, вложив бомбу в номер, как бонбоньерку, отправил номер в Главлит. Но Главлит (советская цензура) — это не дамский будуар. Там эту бомбу увидели и решили немедленно обезвредить. Но такой силы взрывчатые вещества обезвреживает уже не Главлит, а ЦК. Рукопись отнесли в Центральный Комитет партии и Отдел управления пропаганды и агитации Советского Союза тогда еще живому Поликарпову. Товарищ Поликарпов черного костюма надевать не стал, а даже сбросил свой дневной и стал топтать ногами. Рукопись была зарезана.

Живя в то лето в Переделкине, мы с трепетом ожидали сводок и коммюнике из Москвы. После того как Поликарпов вернул рукопись с категорическим запрещением пытаться печатать ее дальше, Твардовский (в 62-м году это было естественно; впоследствии, к сожалению, он вел себя



иначе) отнес эту рукопись помощнику Хрущева по литературе Лебедеву. У Хрущева были разные помощники — по чугуну, по гвоздям и, конечно, по литературе. Иногда их меняли. Это никакого значения не имело. Я не шучу. Есть такое советское выражение: «Его бросили на чугун». Руководящий человек должен быть в номенклатуре, то есть в списке очень высоких сановников, и его бросают то на молоко, то на кукурузу, то на чугун. Он должен справляться с различными прорехами и прорывами на фланге вверенного ему производства. А подобный человек, обладающий необычайными дарованиями в разных областях, естественно, может справиться как с чугуном, так и с литературой. А если он не справляется с литературой, то не справится и с чугуном. Я думаю, что замечательные успехи советского литературоведения, равно как и других видов искусства в стране, явным образом связаны с тем, что преобладают такого рода специалисты, которые не знают, что у фамилии Пастернак есть омоним.

Специалист Лебедев был именно таким человеком, и от него зависели судьбы русской литературы.

Это был 62-й год, год двадцать второго съезда. Но пока съезда еще не было, и о том, что будет на этом съезде, решительно никто не знал. Потому что знали другое: это будет время настоящей внутрипартийной баталии. А кто победит, было совершенно не ясно. Правда, предполагалось, что после исключения Молотова, Кагановича и Маленкова из партии могут выскочить как раз те, на кого на Западе возлагают наиболее оптимистические надежды, — молодое поколение. Надо сказать, что самый молодой в Политбюро ЦК — это товарищ Шелепин.

Вот это самое молодое поколение в лице товарища Шелепина, олицетворяющего самые злые, самые омерзительные, самые гнусные силы этого режима, готовилось стать победителем. Готовилось долго и только недавно преуспело в этой области.

Товарищ Шелепин занимался в то время тем, что стало очень определенным физиологическим комплексом в советской истории культуры, — завинчиванием гаек. Начинали насаждать неосталинисты, начинали овладевать страной. Теперь они овладеют миром помаленьку. Хрущеву нужно было что-то необычное, чтобы ударить. Надо думать, что Хрущев, как всякий диктатор, стремился к абсолютной безраздельной власти, а для этого нужно было сделать что-то такое, чтобы эта власть далась ему в руки. Самым испытанным, проверенным способом оказался сталинский: заставь людей трепетать и делай все, что хочешь. Но Сталин уже пересажал всех, кого можно было пересажать, и довел до высокой степени разрушение хозяйства и экономики страны. Хрущев уже не мог продолжать делать то, что делал Сталин. Кроме того, и силы не те, и человек не тот. И тогда Хрущев по закону, который хорошо знают психологи, сделал нечто противоположное: он решил быть добрым.

Доклад Хрущева на XXII съезде представлял собой зрелище удивительное. Обычно такие вещи печатаются на гладкой веленовой бумаге в типографии ЦК, в лучшей типографии в стране в нескольких десятках экземпляров и представляют собой в высшей степени аккуратное полиграфическое произведение. Доклад Хрущева представлял собой что-то похожее на неудачно склеенную лапшу (полоски бумаги). Есть такой полиграфический термин. Эта разнополосистая лапша была связана с тем, что на протяжении всех двух предшествующих суток пытались найти компромисс между молодым поколением и пожилым поколением (которое как раз выражало более либеральные тенденции). Компромисс сказался в том, что вместо Китая была названа Албания.

В этих обстоятельствах решались отнюдь не только дипломатические и общеполитические проблемы, но и вытекающие из них идеологические и, в первую очередь, литературные. Хрущеву нужен был союзник. Хрущев, который знал не все буквы русского алфавита, советовался с людьми, которые знали тоже немного больше, но уж аз, буки, веди знали. Вот тов. Лебедев буквы знал все. Кроме того, он обладал и другой замечательной анатомической особенностью: у него был необычайный нос. Нос этот мог вертеться с необычайной быстротой, откуда дует ветер. И вот Лебедев своим замечательным носом повертел и услышал, что еще не все безнадежно. Кроме того, он посоветовался с Ниной Петровной Хрущевой. Она была баба умная, целый день сажала помидорную рассаду и решала судьбы советской литературы. Лебедев поговорил с ней и про помидоры, а то и про грибки, выпили, и он ей сказал, что есть такая книжечка, которая очень может пригодиться при случае Никите Сергеевичу.

Нина Петровна всплакнула над печальными страницами рукописи. Ей стало очень жалко людей, которых так обижают, так обижали, а она и не знала, что обижали. И когда ее супруг был секретарем Московского комитета партии в 37—38-м годах, тоже не знала.

В те годы без подписи секретарей (как партии, так и Союза писателей) не арестовывали.

Поэтому, устыдившись прошлого, когда люди стали возвращаться из лагерей, застрелился известный писатель Фадеев, бывший тогда секретарем СП СССР. Другие же не обладали такими тонкими чувствами и не застрелились.

Кстати, я думаю, что если бы все обладали такими чувствами, то наступила бы катастрофа. Одна половина России, сажавшая другую половину России, должна была бы немедленно разрядить себе в сердце патрон. Но, к счастью, люди в России обладают очень хорошо закаленной нервной системой. Их часто бросают на чугун.

Нина Петровна в перерыве между помидорами и вышиванием читала рукопись и страдала. «Никита, — сказала она, — вот какие были безобразия, а мы и не знали».

«Какие? — спросил Хрущев. — Да, да, действительно были злоупотребления. Я всегда говорил. Был культ личности».

Я говорю о Хрущеве в прошедшем времени, потому что из восьми председателей Совета министров великой державы шесть умерли как тати. Это совершенно уникальный случай, как уникальна вся система, как уникально все, что там происходит.

«Никита, — сказала Нина Петровна, — Никита, печатай ты эту рукопись. Это поможет тебе в борьбе с культом личности».

И тогда Хрущев приказал отпечатать в типографии ЦК на великолепном велюре 16 экземпляров повести «Один день Ивана Денисовича». Эти 16 экземпляров были розданы 16 секретарям партии на следующий день. Они читают очень медленно и, не дочитав, пришли на заседание. «Ну как?» — спросил Хрущев. А кто же из секретарей скажет «как», пока не сказал сам Хрущев! «Вот и хорошо, — сказал Хрущев, — молчание — знак согласия. Будем печатать!»

### *Почему не был напечатан «Раковый корпус»*

В России судьбы литературы находятся в руках власти и политических обстоятельств. Поэтому в 1945 году Солженицын был арестован, в 1956 году освобожден, в 1962—1963 годах смог издать свои первые вещи, в 1963—1965 годах пытаться издать «Раковый корпус», потерять надежду на издание в 1967 году, а в 1968-м оказаться под угрозой ареста.

Я покажу вам, как меняющееся время и политические ориентации отразились на судьбе Солженицына.

Наказали ли Солженицына за издания на Западе?

Наказали. Наказали тем, что не издают его на Востоке.

В то время когда я еще был в Москве, его два романа — «Раковый корпус» и «Круге первом» — еще не были изданы, и Солженицын не был наказан. Но люди, занимающиеся наказаниями — в Центральном Комитете и в Союзе писателей, — прекрасно понимали, что повесть «Раковый корпус» и роман в «Круге первом» будут изданы и готовились к этому. Что они, собственно, хотели от Солженицына? Ведь уже не в его власти было вернуть рукописи, размноженные в бесчисленных экземплярах теми людьми, которые понимают его значение в литературе. Размноженные в бесчисленных экземплярах рукописи разными путями попали за границу. Эти рукописи Солженицын, естественно, не смог бы, даже если бы захотел, изъять из обращения. Что же касается запрещения печатать, то я не уверен в том, что западные издатели его обязательно послушались бы. И власти и руководство СП СССР, чтобы сделать хоть какую-нибудь гадость

Солженицыну, потребовали, чтобы он хотя бы отказался от звания «лидера оппозиции», звания, присвоенного ему на заседании секретариата Союза писателей 22 сентября 1967 года Алексеем Сурковым. Очевидно не очень ясно представляя себе, чего они, собственно, должны добиться от Солженицына, они стали добиваться покаянного письма и в апреле некую его имитацию получили. Это письмо было опубликовано в «Литературной газете». На секретариате разгорелся старый спор о том, кто сделает первый шаг — Солженицын с не очень ясными требованиями об опровержении клеветы или они с очень ясными требованиями Солженицыну: дезавуировать письмо съезду, покаяться, стать таким, как они, — очень плохим советским писателем.

Теперь стало совершенно ясно, что они Солженицына блистательным образом обманули. Надо сказать, что для этого следует обладать действительно большим дарованием. Солженицын, несомненно, один из замечательных умов современной России, один из самых трезвых, твердых, настойчивых и пронизательных людей, которых мне приходилось встречать. Его обмануть не так просто. Безусловно, на это было потрачено много человекоднев и занимались этим лучшие умы Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Союза писателей, Комитета государственной безопасности и многие научно-исследовательские институты Академии наук СССР. Обманули же его так: он написал письмо, в котором протестовал против изданий его произведений на Западе, имея в виду качество переводов, а также искажения, сделанные переводчиками, и невозможность внести какие-либо исправления, поскольку ему недоступен его собственный текст, неминуемо подвергшийся искажениям во время бесчисленных перепечаток. Как я предполагаю, вспоминая то, что знал раньше, до отъезда из Москвы, это было платой за печатание «Ракового корпуса» или за издание однотомника с уже опубликованными вещами. Солженицын письмо написал, «Литературная газета» его напечатала, и именно тогда, когда сочла для себя это подходящим, взяв его в клещи огромной редакционной статьи. В клещах этой статьи письмо выглядит странно и не представляется победой писателя. Что же касается «Ракового корпуса», то здесь разразились жесточайшие баталии, в которых советская власть применила обычные для нее в высшей степени омерзительные приемы.

История, собственно, началась давно и вышла за пределы писательских споров. На совещании руководителей коммунистических и рабочих партий в Будапеште руководители социалистических стран, а также лидеры европейских коммунистических партий умоляли советских деятелей издать наконец в СССР произведения Солженицына, потому что если они будут изданы на Западе, то западные компартии окажутся очередной раз в глупейшем положении и станут очередной раз объектом насмешек и

издательств буржуазной печати. Они были настолько настойчивы и обстоятельства настолько трудны, что советские деятели вынуждены были пойти навстречу пожеланиям трудящихся. Было решено, что «Раковый корпус» в основной своей части (приблизительно две трети текста, около двадцати трех авторских листов), измененный насколько удастся добиться, начнет печататься в «Новом мире» в 1967 году. И он действительно начал печататься.

Но в это время — ноябрь 1967 года — советским деятелям удалось маленько прищемить своих восточно- и западноевропейских холуев, и публикация была перенесена на февраль 1968 года. В это время должно было произойти очередное партийное совещание, и предполагалось, что на нем можно будет помахать перед носами европейских неслухов свеженькими листами солженицынской корректуры. Однако политические обстоятельства внутри страны и в особенности на Западе изменились, на западноевропейских неслухов можно было в этот удачный момент наплевать и во втором номере «Нового мира» «Раковый корпус» не печатать.

В реальных обстоятельствах все это выглядело так.

В начале января 1968 года членам редколлегии «Нового мира» была разослана верстка второго номера. В числе других получил ее и Константин Александрович Федин. Константин Александрович читал внимательно и корректуру не подписал. На вопрос Твардовского, почему не подписал, прославленный лицемер Федин произнес замшевым баритоном длиннейший монолог о добродетелях отечественной литературы, о собственном вкладе и о том, что «Раковый корпус» добродетелью не является. Скорее даже наоборот: упомянутое произведение является ценным вкладом в арсенал западной антикоммунистической пропаганды в силу своей идейной порочности и художественной незрелости. Он протестует как советский человек, как писатель, как член редакционной коллегии, как секретарь Союза писателей СССР, как председатель общества советско-германской дружбы, как член общества по распространению политических и научных знаний, как депутат Верховного Совета СССР, как профессор Литературного института, как благородный человек и замечательный писатель, секретарь, председатель, депутат и член. Остальное было обыкновенной советской ложью, потому что всякий болван понимал, что такой человек, как Федин, — лакей очередного заведующего Отделом культуры ЦК, ничего не решает, а лишь повторяет то, что ему объясняют в этом самом Отделе культуры. Твардовский прекрасно знал цену фединским добродетелям и не меньше того про добродетели ЦК КПСС. Твардовский пошел к Демичеву. Демичев (любезный человек) развел руками и готовно сказал, что партия всегда была, как учил Ленин, против мелочной опеки, и поэтому спор между главным редактором и членом редколлегии лучше разрешить в самом журнале. С помощью месткома.

Солженицына не издают не только потому, что это вредно советской власти, хотя это действительно так, потому что советской власти вредно все, что талантливо и в чем есть истина. Но дело не только в этом. Дело в том, что им самим сейчас не до советской власти. Не до того им. У этой власти нет концепции, нет перспективы. Она дошла в своем историческом развитии до совершенной исчерпанности, и ее интересует только, сохранит ли она сегодня, в этот час свое господство, свои привилегии, свое богатство, свою власть. Солженицына не печатают не из-за концепций, а потому что если будут печатать его, то кто же станет читать Кочетова и Федина, Софронова и Шкловского?

<...>

«Раковый корпус» не был напечатан по двум причинам: потому что после 1966 года советская власть стала возвращаться к своему обычному, то есть удушающему все живое, существованию, и потому, что произведения Солженицына, напечатанные на родине до 63-го года, носили гораздо более умеренный характер, чем два его романа, напечатанные за границей. Решительное, безоговорочное осуждение власти было во всех произведениях Солженицына, напечатанных в Советском Союзе, но ни Иван Денисович, ни Матрена, ни Тверитинов, ни Лидия Георгиевна, ни другие герои не выступали активно против советской власти. Осуждение ее было в сюжете, в материале произведений, в их окраске, но только в «Раковом корпусе» и в «В круге первом» появился прямой политический протест.

В истории попыток напечатать «Раковый корпус» и «В круге первом» в Советском Союзе оба эти обстоятельства и сыграли решающую роль.

Дело не только в изменившемся времени, в решительном восстановлении культа, о чем уже не спорят сейчас даже откровенные дураки, называющие себя, конечно, не как-нибудь, а демократами и либералами, а в том, что «Раковый корпус» — это подлинное, замечательное произведение, из которого советской власти нечего извлечь. Из «Ивана Денисовича» можно, а из «Ракового корпуса» нельзя. Нельзя, потому что в нем нет того, что осуждалось на XX и XXII съездах, т.е. того, что связано с откровенными преступлениями сталинизма. Поэтому роман «В круге первом» (по существу, более страшное с точки зрения советской власти произведение, чем «Раковый корпус») имел больше надежд на издание: в нем — тюрьма, Сталин и другие откровенные советско-фашистские вещи, все-таки осужденные самой властью. А «Раковый корпус» — «настоящее художественное произведение, вскрывающее раковую опухоль нашего общества».

Раковая опухоль обычно неизлечима. И лучшие люди России уверены, что общество и государство современной России неизлечимо, что оно может только заражать вокруг себя, и оно заражает. Я знаю лишь три типа людей, которые думают иначе: темные, невежественные люди, советские

государственные и общественные деятели и некоторые западные интеллигенты, — по отвратительному невежеству или по омерзительным корыстным соображениям, чаще всего не имеющим никакого отношения к этой несчастной стране.

Несмотря на то что в СССР «Раковый корпус» не напечатан как наиболее опасное произведение, он поразил бы людей меньше, чем «Иван Денисович». Это в первую очередь связано с тем, что «Иван Денисович» был первой книгой о самом страшном зле советской власти — о лагерях, с тем, что это была самая талантливая проза за тридцать лет.

На Западе все произошло наоборот: «Иван Денисович» показался менее важным, чем романы. Это вообще характерно для восприятия литературы одной страны в другой стране. Вот самые популярные в России американские писатели: Эдгар По, Майн Рид, Лонгфелло, Бичер-Стоу, Джек Лондон, Эптон Синклер, Теодор Драйзер, Говард Фаст. Правда, в России любят Хемингуэя. Мелвилла и Гертруду Стайн знают лишь специалисты по американской литературе.

Я видел, кого читают на Западе в качестве советских писателей: Пастернака, Мандельштама, Ахматову, Булгакова, Солженицына. Но, кажется, любят все-таки советских — Евтушенко, Вознесенского и особенно Казакова.

Все люди оценивают книги и другие вещи и явления по «избирательному сродству». На Западе тюремная тема «избирательного сродства» не вызвала. В Солженицыне было прочитано нечто другое, чем в СССР. В СССР решающей, конечно, была тюремная тема. На Западе — это экзотика. А экзотику никто серьезно не принимает.

### *Ответственный пост героини советского рассказа*

Я бы хотел спросить вас об одной очень простой, очень естественной вещи, очень далекой от академического литературоведения: «Какой рассказ — “Матренин двор” или “Для пользы дела” — понравился вам больше?» Услышав ответ, я, как и любой человек, задам самый естественный вопрос: «Почему этот рассказ вам понравился больше того?» Отвечать можно как угодно: в бытовых, литературоведческих, социологических, метафизических или трансцендентальных категориях.

Я впервые задал этот малопрофессиональный вопрос в высокопрофессиональной академической аудитории. И начавшаяся дискуссия вышла за пределы привычного разговора о книжных новинках.

Подавляющему большинству людей рассказ «Для пользы дела» понравился меньше других произведений Солженицына. Однако мотивы этой

оценки были самыми разнообразными и обычно не выходили за пределы обычных критериев художественных достоинств. Я думаю, что ответ на всегда нелегкий вопрос, почему одно произведение лучше или хуже другого, в солженицынском случае имеет право не на вкусовое, а на литературоведческое разрешение и связывается с некоторыми проблемами его творчества, и в частности с проблемой выбора героя.

Выбор героя для Солженицына особенно важен, и интерес к этому читателей особенно остр, потому что каждый из нас понимает, что один из самых значительных умов России общается с нами через своего героя. Это, конечно, не единственное, но, несомненно, существенное [соображение]. Если герой в какой-то мере является для читателя *alter ego* автора, то для нас оценка событий, людей и явлений представляет существенный интерес, потому что оценивающий обладает для нас достоинством признаваемого нами авторитета. И поэтому герой Б. Дьякова — коммунист, считающий, что советская власть сажала всех правильно, а его посадила неправильно, — в своих суждениях дальше от истины, чем герой Солженицына, высказывающий прямо противоположные идеи. И с идеями героя Солженицына мы согласимся скорее, чем с идеями Б. Дьякова<sup>1</sup> и его героями. Или с идеями председателя ЧК из повести Тарасова-Родионова «Шоколад».

Единственный человек из положительных героев Солженицына, с которыми Солженицын согласен, оказался тем, чья концепция, судьба, общественное положение, идеал, связь с миром глубоко враждебны Солженицыну, и близость автора и его героя оказалась мимолетным союзом, минутным согласием по частному тактическому вопросу.

Я говорю о героине рассказа «Для пользы дела» Лидии Георгиевне, Лидочке. Что роднит ее с Солженицыным? Нравственные проблемы — ненависть к обману, боль за людей, желание им добра.

Во всем же остальном — они не только разные, но и просто враждебные друг другу люди. Ведь Лидия Георгиевна — это советский человек, только пока что хороший. Советский человек может быть хорошим только до того момента, когда он не начинает делать общее советское дело, а советское дело — это злодеяние, и человека очень быстро заставляют стать соучастником злодеяния.

Достаточно сравнить Лидию Георгиевну с Иваном Денисовичем, с Твритиновым и, особенно, с Костогловым и Нержиным, и каждому станет ясно, как они непохожи и в чем причина этой непохожести.

Я думаю, что меньшая удача рассказа «Для пользы дела» сравнительно с другими не была заранее обдуманном намерением автора. Вероят-

---

<sup>1</sup> Дьяков Б.А. — советский писатель, член компартии, репрессирован в 1949 году. — Н.Б.



но, он думал, что имеющегося в рассказе достаточно, для того чтобы показать людям, что такое настоящая советская жизнь и какими бывают настоящие советские люди.

У Солженицына есть другой случай, когда он изображает настоящего, хорошего советского человека, лейтенанта Зотова, преданного и обреченного на смерть невинного. Но хороший советский человек лейтенант Зотов — негодяй и убийца, которого Солженицын показывает не со своей точки зрения, а с точки зрения таких же, как Зотов, хороших советских людей.

Лидия же Георгиевна хороший человек по мнению самого Солженицына, вступающего в противоречие с главным своим тезисом, по которому человек может быть или советским, или хорошим.

Один раз Солженицын поручил ответственную роль человеку, который с ней не смог справиться, и появилась провинциальная сцена, на которой плохой актер пыжится сыграть короля Лира — проблему поруганной нравственности. Лира не вышло. Человек, которому поручается решение ответственных задач, должен иметь серьезную квалификацию. Лидия Георгиевна не справилась с возложенными на нее обязанностями. Я бы ее с ответственного поста героини рассказа снял.

### *Что происходит в «В Круге первом»?*

О чем этот роман? О том, что всякое человеческое движение, всякий гуманный поступок в обществе, в котором живет герой его романа, вызывает гибель.

Что произошло в романе? Вполне советский, проверенный всеми доступными способами человек пытается предостеречь другого человека от поступка, который может привести его к катастрофе.

В поступке старого врача нет ничего преступного, но человек, который хочет его предостеречь, понимает, что врача провоцируют на поступок, который будет стоить тому жизни. И дипломат предупреждает провокацию. Он не спрятал «преступника», не помог ему замести следы. Нет, он только хотел помешать ему сделать неосторожный шаг. В других обстоятельствах его должны бы были лишь благодарить за это. Но его не благодарят. Его сажают в тюрьму<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> А. Белинков излагает сюжет романа в той же редакции, которая была написана Солженицыным в надежде на преодоление цензурных запретов (так называемый «Круг 87», по количеству глав в этой редакции. Напечатан на Западе в 1968 г.; восстановленная ранняя редакция в 96 главах — «Круг 96» — была впервые издана в 1978 г.). — *Примеч. ред.*

С этой противоестественной для нормального человеческого разума ситуации начинается сюжетный ввод в роман.

Кто этот человек, который не стал главным героем произведения по отведенному ему месту, но является главным по сюжету? Молодой преуспевающий дипломат, представитель советской элиты, высшее общество, господствующий класс. И он гибнет. Гибнет так же, как откровенный враг этой гнусной бесчеловечной власти — Нержин; как самый разлюбленный на Западе советский герой, человек, который не против советской власти, а только против некоторых недостатков, которые, как ему кажется, так легко исправить, — Рубин; как человек, далекий от интеллигентских, не всегда бескорыстных заблуждений, — дворник Спиридон; как человек, который еще не успел достаточно определенно сформироваться, — Родька.

А.И. Солженицын в романе «В круге первом» рассказал о посещении Элеонорой Рузвельт Бутырской тюрьмы, в которой она увидела просторную камеру, белую скатерть, упитанных плотного телосложения преступников и пачку «Казбека». Такую прибранную тюрьму, довольных заключенных и пачку «Казбека» видят в России американские советологи.

Русские советологи смеются над американскими и называют их «советолухами».

Дело не в том, что жена президента была дурой. Дело в том, что интеллигентная и часто политическая Америка тоже хочет быть дурой.

Что должна была сделать вдова президента, если бы она узнала, что такое настоящая советская Бутырка, в которой (в менее просторных камерах) помещается население уездного города царской России (50—60 тысяч человек)?

Изменить свою русскую, изменить свою западную политику, сделать то, что предложил в Фултоне Черчилль, признать себя виновной в отвратительном преступлении — выдаче (вместе с англичанами) от двух до пяти миллионов русских перемещенных лиц на растерзание советской власти, не позволить арабам выгнать французов и англичан с Ближнего Востока, победить во Вьетнаме и вообще сделать много трудных и лишенных изящества серьезных вещей по спасению человечества от коммунистического уничтожения.

Так называемой «либеральной» или «демократической» интеллигенции Запада тоже пришлось бы начать трудную жизнь, если бы она захотела, не обманывая себя и других, заняться изучением России. Для этого ей пришлось бы отказаться от счастья спать в одной постели с советским жеребцом, который доставляет ей академическое удовольствие.

Не всякая американская девушка готова проявить такую научную самоотверженность.

Я говорю о литературе, которая могла выстоять и победить, потеряв в борьбе тридцатисемилетнего Пушкина, двадцатишестилетнего Лермонтова, отдав Сибири десять лет жизни Достоевского, сделав изгнанником Герцена, заставив Некрасова печатать за границей «Размышления у парадного подъезда», а в России — оду Муравьеву-вешателю<sup>1</sup>.

### *Сталин у Солженицына*

Оборот телескопа. Все видят Сталина великим и гениальным. А Солженицын показывает его маленьким. Все рисуют его как мыслителя, а он очень плохо говорит.

Одной из наиболее дискуссионных, а для некоторых и сомнительных фигур в романе Солженицына является фигура Сталина. Дискуссии и сомнения возникают в связи с тем, что такой Сталин не мог бы сделать таких дел (такой истории).

Нам предлагают сравнение искусства с жизнью.

Эта концепция не может быть зачеркнута и не может победить остальные. В искусстве яблоко, изображенное на холсте, может быть похоже на лежавшее на столе, а может быть и не похоже.

Яблоко, не похожее на жизнь, в картине, где все на жизнь похоже, выпадает из системы образов этой живописи.

Яблоко на холсте Сезанна на жизнь не похоже, но входит в систему образов этой живописи.

Находка Солженицына: дело не в Сталине, а в системе. Сталин — слабый старичок, а система — самая жестокая. Ничего, что породило Сталина, — не изменилось.

Представьте себе Наполеона, который рычит и делает глупости, и Кутузова, который спит на военном совете в Филях.

Если согласиться, что они были такими, то нужно переделать всю мировую историю для того, чтобы подогнать ее к таким Наполеону и Кутузову.

---

<sup>1</sup> А. Белинков допускает ошибку: стихи Н.А. Некрасова, посвященные графу М.Н. Муравьеву, были прочитаны поэтом на торжественном обеде в надежде спасти журнал «Современник» от цензурного запрета. В печати они не появились. В журнале «Русский архив» (1885) П.И. Бартнев напечатал текст «Стихи Некрасова графу Муравьеву», они были включены К.И. Чуковским в Собрание стихотворений Некрасова 1920 года; позднее К.И. Чуковский публиковал этот текст в разделе «Стихотворения, приписываемые Некрасову». Однако, как было установлено Б.Я. Бухштабом, автором стихотворения является И.А. Никитин. Текст Некрасова неизвестен.

Неточен А. Белинков в отношении «Размышлений у парадного подъезда». Они были впервые действительно изданы за границей (в «Колоколе» А.И. Герцена, 1860, 15 янв.), но с 1863 года публиковались во всех собраниях стихотворений Некрасова. — *Примеч. ред.*

Эта история не имела бы никакого сходства с той, которая существует в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».

Сталин в романе Солженицына «В круге первом» существует не как портрет, отделенный рамочкой от других факторов произведения, а как элемент в системе его образов.

Система образов соотнесена не только и не главным образом с историей, которая нам известна из других, нежели Солженицыну, источников информации, но главным образом с задачей, которая осуществляется в романе.

В романе о безумии, гибельности и противоестественности режима один из его главных героев соотнесен с художественной концепцией произведения, — он безумен, гибелен и противоестественен.

В системах Байрона, Пушкина, Стендаля, Гюго не один, а четыре Наполеона, и Наполеон Стендаля соотнесен с его же Жюльеном Сорелем больше, чем с Наполеоном Виктора Гюго, который не имеет ничего общего с системой стендалевского романа, но входит, как в свой дом, в роман «Отверженные».

Сталина вынимают из России...

## Глава 4

Наталья Белинкова

### СЕЙ ПУСТОШЬЮ ВЛАДЕЛ ЕЩЕ ПОКОЙНЫЙ ДЕД!

*Светские гостиные. Протоиерей Александр Дмитриевич Шмеман. Профессор из Беркли Глеб Петрович Струве. Редактор «Нового журнала» Роман Борисович Гуль. «Страна рабов, страна господ...» — статья, отвергнутая в СССР из-за очевидного подтекста, попадает через оккупированную Чехословакию в США и воссоединяется с автором. Здешние читатели не понимают Эзопа.*

Оказавшись на Западе, мы не то что осознали, а почувствовали, что русская иммиграция делится на «волны», первая — послереволюционная, вторая — послевоенная, третья — послесталинская. Истории было угодно, чтобы интервалы между ними измерялись четвертями века. Каждое следующее поколение привозило с собой другое представление о своей родной земле. Различие, как правило, определялось отрезком времени, прожитым каждой «волной» у себя дома. Для одних Россия была потерянной сказкой, для других — большой зоной ГУЛАГа. Этим и определялись взаимоотношения между всеми нами в новой среде обитания.

На первой же публичной лекции произвел большое впечатление даже внешний облик Аркадия: «...ожидали увидеть “комок нервов”. И были очень удивлены, увидев спокойное достоинство, сдержанность, услышав живую, но отнюдь не экспансивную речь, остроумную, окрашенную тонкой иронией, но без всякой злости. И ко всему этому элегантность, во всем — в костюме, в манерах, в интонациях. Прекрасно воспитанный светский человек, как будто не знавший другой обстановки, кроме университетских аудиторий и светских гостиных»<sup>1</sup>.

Мы, в самом деле, побывали в светских гостиных зарубежья. В том же Йельском университете, где преподавал Аркадий Белинков, читал лекции его тезка Аркадий Небольсин. Он принадлежал к старинному дворянскому роду и любил повторять, что дом его родителей был самым западным в Европе. Соль шутки была в том, что имелось в виду географическое расположение дома на Атлантическом побережье Португалии, а отнюдь не

---

<sup>1</sup> Крузенштерн-Петерец Ю. Великая любовь // Возрождение / Под ред. князя С.С. Оболенского. 1977. № 222. С. 126.

взгляды его владельцев. Небольсин был заядлым коллекционером. Он «коллекционировал» знакомства со знатными личностями преимущественно царского или королевского происхождения. Однажды, оказавшись вместе с нами в Нью-Йорке на конференции университетских преподавателей страны, он повел нас на прием к неким важным особам, где мы были представлены принцессе Португалии — скромной молодой женщине в серой вязаной кофточке.

Говорят же, «человек — это стиль». Небольсин по-своему оценил Белинкова и его положение в среде западных ученых: «...страдающий Геркулес среди безразличных олимпийцев... своим примером показал, что только подвижник облагораживает (ennoble) свою профессию. В противном случае она деградирует до бюрократического уровня»<sup>1</sup>. Английское enoble — имеет два значения: «облагораживание» и «пожалование дворянством».

В другой раз Аркадий Небольсин познакомил нас с претендентом на царский престол по линии Романовых. «Историческая встреча» чуть не сорвалась по нашей вине. По дороге на прием к «леди Джимми» — светской даме полурусского Нью-Йорка, где и должно было произойти знакомство, мы заблудились в огромном городе, безнадежно перепутав «East», «West», «авеню» и «стриты».

В каком-то проходе между небоскребами мы натолкнулись на женщину в длинной юбке на сборах и в платочке «бабушка», как называют здесь сложенный треугольником и завязанный под подбородком платок. Ее бабий наряд на фоне небоскребов выглядел маскарадным костюмом. «Заплутались?» Женщина указала нам дорогу и приятным украинским говорком поведала, что она давняя обительница Нью-Йорка: «...моя хата тут с краю, на Fifth avenue». («Пятая авеню» — одна из фешенебельнейших улиц мира!)

На прием мы все-таки попали. В гостиной, куда нас ввели, — изобилие диванов с горами подушек и подушечек разной фактуры и окраски. Еще больше щебечущих дам. Почти все они были в легких развевающихся одеждах, похожих не то на хитоны, не то на театральные костюмы для восточных танцев. Мне тоже подарили что-то полупрозрачное. (До сих пор берегу!) Показалось, что мы в птичнике, тем более что дамы не говорили, а ворковали, не ходили, а порхали и бойко вертели стриженными головками. Резко пахло пудрой и духами. Аркадий был ошеломлен, растерян и необыкновенно рассеян. Вошел небольшого роста человек. Прошелестело: «Романов! Романов!» К Аркадию торжественно подвели мужчину весьма заурядной наружности. «Много слышал о Вашей фамилии», — сказал

<sup>1</sup> Небольсин А. Памяти А. Белинкова // Slavic and East European Journal. 1970. Vol. 1 (цитируется по рукописи без упоминания страниц в журнале).

будущий царь, крепко пожимая ему руку. «Я тоже много слышал о Вашей фамилии...» — очумело ответил беженец из страны, свергнувшей царскую династию. Многозначительность встречи этим исчерпалась. Я же долго задумала своего мужа находчивым ответом.

Не только Аркадий... в подобной ситуации растерялась даже Мирра Гинзбург — первоклассная переводчица с русского на английский, познакомившая англоязычный мир с Замятиным и Пильняком. Попав на бал, где собрались Оболенские, Загряжские, Разумовские, она тоже чуть было не представилась: «Мирра Бобруйская!» А что? Она родилась в еврейском местечке под Бобруйском.

Два элегантных священнослужителя — протоиерей Александр Шмеман<sup>1</sup> и отец Кирилл Фотиев<sup>2</sup> шумно вошли в нашу еще неустроенную квартиру и сразу заполнили собой все ее пространство. Они были такие жизнерадостные, такие бодрые, — как будто только что умытые, — хотя и проделали довольно утомительный путь от Нью-Йорка до Нью-Хейвена. В холемом их присутствии наши скромные пожитки съезжились и пожухли. Наспех что-то проглотив с дороги, наши гости, как голодные, набросились на человека, только что вынырнувшего из-под «железного занавеса».

Расположившись в креслах, священники задавали бесчисленное количество вопросов, наклоняясь и как бы вытягиваясь вперед, чтобы быть поближе к рассказчику. Ни елейности, ни агрессивности, ни тем более ограниченности. Живой, проникновенный интерес к людям страны, которой оба служили за ее пределами. Какой резкий контраст с тем, что нам пришлось встретить впоследствии! Нашим гостям мешали цепочки с массивными крестами. Вдруг оба единым и одинаковым жестом подхватили в большие ухоженные ладони свои тяжелые кресты и одним махом заправили их во внутренние карманы черных форменных пиджаков, и теперь только белые узкие воротнички обнаруживали в них священнослужителей.

Они хотели знать, как новоприбывшие относятся к установлению связей зарубежных православных церквей с Московской патриархией, обрванных революцией.

Установить такую связь можно было, только приняв автокефалию<sup>3</sup>. Тут необходимо пояснение. Исторически сложилось так, что в Америке

<sup>1</sup> Александр Шмеман, протоиерей Владимирской духовной академии в Уестчестере, богослов, автор популярных книг «Исторический путь православия» (Нью-Йорк, 1954), «Дневники. 1973—1983» (М., 2000) и др. В течение 30 лет был внештатным сотрудником радиостанции «Свобода», вел цикл «Воскресные беседы», рассчитанный на широкие слои русской интеллигенции.

<sup>2</sup> Настоятель одной из православных церквей в Нью-Йорке, автор статей о русской литературе в журналах «Грани» и «Посев».

<sup>3</sup> Автокефалия — термин, относящийся к первым временам христианства. Кефалос по-гречески — голова. В православии автокефальной церковью называется самоглавен-

действуют два церковных объединения, исповедующие ту же самую веру и соблюдающие те же самые обряды: *Русская православная церковь за рубежом* и отколовшаяся от нее *Американская православная церковь*. Первая по традиции, сложившейся после революции, не хотела иметь ничего общего с верховной церковной властью в советской России. Вторая решалась принять автокефалию. Иными словами, получить для своей юрисдикции официальное признание Московской патриархии и, в определенном смысле, подчиниться ей. Инициатором сближения с Москвой был Александр Димитриевич Шмеман — один из умнейших и талантливейших деятелей русского церковного мира. Понятно его стремление быть ближе к стране, веру которой он проповедовал, стране, где разоблачен культ личности, где зародилось диссидентское движение, появились новые священники.

Русская эмиграция, основную массу которой до «третьей волны» составляли православные верующие, противники «безбожной», как они говорили, советской власти, была взволнована: как можно признать главенствующее положение коммунистической церковной Москвы! Еще не зная этих настроений русской эмиграции, Аркадий, к удивлению Шмемана, к ним присоединился. Ему, только что бежавшему из страны, где, как он знал, церковная жизнь полностью подчинена КГБ, странным показалось это стремление к консолидации церковных кадров, и он страстно отговаривал Шмемана от опрометчивого шага. Разговор сводился к следующему:

— Там все контролируется КГБ.

— Но там же вырастает плеяда самоотверженных священнослужителей. И, может быть, после получения автокефалии удастся оказывать воздействие на высшую духовную власть?

— Независимость в этой стране — иллюзия. Никакого влияния американской церкви на московских владык не произойдет. В природе тоталитарного государства — давить только в одном направлении: от центра к периферии.

Протоиерей отнесся к Аркадию с большим интересом и уважением. Бывший зэк признал в Шмемане смелого мыслителя, блестящего организатора, подпал под его человеческое обаяние. Но переубедить друг друга они не сумели, хотя и встречались не раз.

В общем, поначалу Аркадий нашел общий язык с могиками русского рассеяния. Общение сводилось к жадному обмену сведениями, стремлению понять, что же происходило по обе стороны «железного занавеса»,

---

ствующее православное объединение, канонизированное той церковью, из которой оно по какой-либо причине выделилось.



разорвавшего русскую культуру. Первые статьи о Белинкове в русскоязычной прессе зарубежья появлялись под более чем лестными заголовками: «Разящее слово», «Принадлежит России», «Высокое служение», «Критика поэтическая и непримиримая», «На всех стихиях человек». В общей сложности за два года, которые он прожил на Западе, появилось чуть ли не около ста такого рода газетных и журнальных публикаций. Ничто не предвещало ни недоразумений, ни огорчений, ни тем более неистового неприятия. Правда, сразу стали широко известны только публицистические выступления Белинкова, опубликованные на Западе без оглядки на цензуру.

Редко кому удалось ознакомиться с его работами, изданными в СССР. А для тех, кто прочитал, камнем преткновения оказались иносказания в подцензурной печати. Правда, одному человеку было ясно, что «внутренняя обращенность [книги «Юрий Тынянов»] к послеоктябрьской — не николаевской — действительности вряд ли у кого-нибудь вызовет сомнения: перед нами фрагменты авторского самовыражения ... читатель не вправе проглядеть их или обойти мимо»<sup>1</sup>. Многие проглядели...

Первым предостережением, которого мы не поняли, был визит к нам Глеба Петровича Струве, когда мы находились еще в Гринвиче.

Этот визит Аркадий воспринял как большую честь: находясь в эмиграции, легендарный Струве приложил немало сил к сохранению русской культуры. Вместе с Борисом Андреевичем Филипповым он был организатором издания многотомных собраний сочинений, немислимых в ту пору в СССР: Ахматовой, Мандельштама, Гумилева, чем вызвал особую ненависть к себе у советских надзирателей за идеологическим порядком. Встречу с ним мы ожидали с особым трепетом, помня о роковой роли письма, адресованного ему Юлианом Григорьевичем Оксманом.

Струве привез в подарок Аркадию свою первую опубликованную в США книгу «Русский европеец. Материалы к биографии современника Пушкина князя П.Б. Козловского»<sup>2</sup>. А мне преподнес, к полному моему недоумению, полупрозрачный камешек, найденный его женой на калифорнийском пляже.

«Ну, как там дела в России?» — спросил прямо с порога безупречно выбритый, аккуратный, по-европейски одетый Глеб Петрович.

Не дожидаясь ответа, он начал рассказывать о своих встречах с многочисленными деятелями русского зарубежья (назывались поэты, полити-

<sup>1</sup> *Ржевский Л.* Тайнописное в русской послеоктябрьской литературе // Новый журнал. 1970. Кн. 98. С. 112.

<sup>2</sup> Книга была издана в 1850 году в Сан-Франциско; посвящена литератору и дипломату князю П.Б. Козловскому, сотруднику Пушкинского «Современника», корреспонденту Ж. де Сталь, Ж. де Местра. — *Примеч. ред.*

ки, прозаики, критики, издатели, жены, возлюбленные, вдовы). Его знание истории литературы русской эмиграции, как и ее быта, было ошеломляющим, память великолепной и точной.

Почетный гость провел у нас пять дней.

Струве позже писал, что это была его первая встреча с человеком из Советского Союза, с которым он нашел общий язык и почерпнул «много интересного о советских писателях, литературных критиках и ученых, равно как и об условиях жизни в местах заточения»<sup>1</sup>. Как он во все это вник — загадка, потому что Глеб Петрович не столько слушал, сколько говорил, говорил, говорил...

Нелегко нам дался его визит.

Длительное активное общение со словоохотливым собеседником требовало большого напряжения, вынуждая к посильному участию в беседе. Врачи давно предупредили меня, что ритм возбужденной речи и сердечная аритмия, которой страдал Аркадий, несовместимы. И мне приходилось прерывать или даже прекращать самые оживленные и ответственные его беседы.

Вот и сейчас мне иногда удавалось уговорить Глеба Петровича пойти отдохнуть и подняться наверх в приготовленную ему спальню. Пока гость набирался сил, хозяин нагонял упущенное время за письменным столом. Не проходило и полчаса, как порозовевший Глеб Петрович спускался со второго этажа, и Аркадий, посиневший от усталости и сердечного недомогания, возобновлял роль внимательного младшего коллеги.

Оба увлекались, и казалось, что между ними устанавливается полное понимание. Но понемногу начинало обнаруживаться и некоторое несогласие: то в датах литературных событий, то в оценке творчества отдельных писателей. В частности, гость считал Олешу «одним из самых честных и независимых» советских писателей, а также попенял, что в печатных трудах Аркадия нет ссылок на его, Глеба Петровича, работы. Не знал о нашей цензуре?

Не придав большого значения всплывшим расхождениям, «все это — подумали мы — сущие мелочи». Хотя горячих дружеских чувств между Глебом Петровичем и Аркадием Викторовичем не возникло, в дальнейшем они продолжали и переписываться, и общаться по телефону.

Опираясь на привычные ему нормы взаимоотношений между коллегами, Аркадий года через полтора обратился к Струве за рекомендацией для поступления в другой университет. В ответ Глеб Петрович прислал нравоучительное письмо: за рекомендацией обращаются наниматели, а не те, кто ищет работу. Все выглядело так, как будто Аркадий просил Струве устроить ему место по благу. Это письмо сильно охладило их отношения и стало еще одним витком сжимающейся пружины.

---

<sup>1</sup> Струве Г. Памяти Белинкова // Новое русское слово. 1970. 20 мая.

Струве даже в некрологе счел возможным укорить Белинкова за строптивость, хотя и отдавал должное его таланту и знаниям: «Да будет легка ему земля страны, которую он не успел полюбить и оценить и которую судил порой несправедливо-жестoko, несмотря на оказанное ему гостеприимство»<sup>1</sup>. Это был намек на обращение Белинкова в ПЕН-клуб, о котором речь впереди. Конфликт, возникший у Аркадия в академической среде, Струве перенес с профессиональной арены на всю страну.

Через несколько недель после кончины Аркадия произошла моя встреча с Глебом Петровичем. Он приехал с лекцией в Йельский университет, где я еще продолжала работать. Направляясь к лектору, чтобы поблагодарить его за выступление, я заметила в нем какую-то перемену. Подошла. Мое приветствие Глеб Петрович опередил вопросом: «Ну, как вам понравилась моя... — я думала, скажет — лекция, а он сказал — борода?» И ни слова о покойном Аркадии. Тогда-то я и вспомнила его первый визит, гладко выбритый подбородок и камешек, найденный на пляже. Неадекватность реакции на мою любезность объяснилась позже, после выхода в свет сборника новейших эмигрантов «Новый колокол».

Русские люди за границей не были безразличны к судьбам своего отечества. Этим определялось их отношение к беженцам из Страны Советов: и хвала, которой они поначалу нас удостоили, и последовавшая за нею хула.

Поначалу и Роман Борисович Гуль<sup>2</sup>, этот сухой, подтянутый, знающий себе цену сдержанный человек, встретил Белинкова, что называется, с распростертыми объятиями: принимал дома, подарил с теплыми автографами два своих романа — «Конь Рыжий» и «Скиф в Европе» и охотно предоставил ему страницы своего журнала для памфлета о Скорпионе и Жабе. (Роман Гуль убрал слово «жопка» в прямой речи главного персонажа и весь эпиграф из Маяковского со словом «блядь» в дательном падеже множественного числа.) В опубликованном в следующем номере до-

---

<sup>1</sup> Струве Г. Памяти Белинкова // Новое русское слово. 1970. 20 мая.

<sup>2</sup> Р.Б. Гуль (1896—1986) — прозаик, автор книг, связанных с проблемами революции, революционного подполья, эмиграции. Участник Гражданской войны. С 1918 г. жил за границей (Берлин, Париж). В 1950 г. переселился в США, где стал редактором «Нового журнала», основанного М. Алдановым (автором исторических романов). В его «толстом» литературно-публицистическом журнале печатались лучшие силы русской эмиграции разных поколений: прозаики, поэты, философы; публиковались произведения писателей, запрещенные в СССР, а также воспоминания, архивы, письма, материалы «самиздата». Публикация произведений из Советского Союза началась с фрагментов «Доктора Живаго» Б. Пастернака и продолжилась Л. Чуковской, А. Солженицыным, В. Шаламовым. Журнал всегда отличался высоким качеством материалов, и его редактор пользовался большим уважением, как в эмиграции, так и среди оппозиционной советской интеллигенции (той, разумеется, которой журнал был доступен).

кументальном очерке с описанием обсуждения «Ракового корпуса» редакторского вмешательства не было, но настораживающая оговорка была: «редакция не разделяет взгляды автора».

Благожелательное единодушие критиков распалось после того, как Р.Б. Гуль внимательно прочитал статью инакомыслящего из СССР «Страна рабов, страна господ...» и публично высказал о ней свое нелицеприятное мнение.

О том, как статья эта, вызывающе названная лермонтовской строчкой, отпочковалась от книги «Юрий Тынянов» и была отклонена московским журналом «Театр», я уже рассказывала в первой части книги.

У статьи двойное дно. Аркадий делал все возможное, чтобы через исторический материал просвечивала современность: жестокость подавления оппозиции в любых ее формах, сервильность интеллигенции, готовность признать себя виновным на следствии, нетерпимость властей к публикациям соотечественников за границей и т.д.

В то же время текст предназначался для советской печати, а значит, и для неизбежного прохождения через цензуру, от которой надо было уметь укрыться. Как опрокинуть зло авторитарной власти на советскую действительность? Как со всею горечью и отчаянием высказать свое отношение к современной интеллигенции, поддерживающей эту власть? Может быть, назвать свой век эпохой, «которая объявила себя *прямой наследницей декабристов*»? Чтобы прозорливые читатели поняли, а цензоры не догадались, он мешал газетную лексику двадцатого века с историческими фактами прошлого и, наоборот, стиль девятнадцатого века с недавними событиями: «Вы Аристофана осуждали за то, что у него *нет ничего святого*, Пастернака за то, что его стихи абсолютно *непонятны народу*. Герцена за то, что он *печатался за границей*... Но, помилуйте, как же он мог печататься в России? Да, конечно, но в то же время... *выносить сор из избы*...» или «... когда декабриста ставят перед *тысячеваттной электрической лампой*...» (выделено мной. — Н.Б.).

Особенно ярко тут светит тысячеваттная электрическая лампа — не с Лубянки ли? — которую Аркадий вывешивал перед узником Петропавловской крепости, как ключ для вскрытия подтекста. Он запрашивал больше возможного.

А возможностей в СССР становилось все меньше.

В Чехословакии, наоборот, расцветала весна. Слависты Карлова университета попросили у Аркадия что-либо для журнала «Svetová (Мировая) Literatura». К этому времени скромная вставка в «Юрия Тынянова» разрослась в солидную статью, и он передал ее в пражский журнал. Чешские слависты опоздали. В Прагу въехали на танках товарищи из страны господ. Предполагаемой публикации «Страны рабов, страны господ...» в «Световой литературе» предшествовала статья профессора Карлова

университета М. Очадливой. Ее «Рассказ об Аркадии Викторовиче Белинкове» был заверстан в третий номер журнала вместе с «Темной в полдень» Кестлера и стихотворениями Бродского. Тираж не успел поступить в продажу до вторжения советских войск и пошел под нож. Один экземпляр журнала сохранился, он был вынесен из типографии сочувствующим наборщиком. Гранки статьи М. Очадливой удалось вывезти из Чехословакии Мартину Дьюхерсту — профессору университета в Глазго, принимавшему участие в Пражской конференции славистов в 1968 году. На гранках мрачная надпись: «Это моя последняя работа. Милуша Очадликова». (В 1971 году эта статья с эпиграфом из Чаадаева была опубликована в журнале *Svědectví*.) Пражские друзья ухитрились также переслать в США машинопись неопубликованной работы Белинкова «Страна рабов, страна господ...».

Что делает автор, получив на свободном Западе пропавшую было статью? Он немедленно посылает ее в благорасположенный журнал.

Роман Борисович Гуль, главный редактор «Нового журнала», быстро статью прочитал. И с отвращением вернул.

В пространным эмоциональном письме, которое, собственно, было развернутой рецензией, он настаивал, что эта работа — не что иное, как «арсенал пропаганды большевиков», что «рукопись представляет из себя памфлет и фактически и исторически неверный и по духу своему незаслуженно и необоснованно антирусский».

Если сопоставить тексты письма старого эмигранта и статьи новоприбывшего писателя, получится донельзя абсурдная картина.

Б е л и н к о в: «Суд в России не судит. Он все знает и так...» (Употреблено настоящее время, следовательно, советский суд.)

Г у л ь: «Но неужели Вам не известно, что в дореволюционной России суд стоял на небывалой высоте? Неужели Вы с такой легкостью зачеркиваете великие судебные реформы Александра Второго и их последствия?» (Забыто, что великие судебные, как и другие, реформы действовали только в исторически прошедшем времени.)

Б е л и н к о в: «Русское общество в России всегда готовно и решительно шло навстречу...» (Имеется в виду сервильная часть русского общества.)

Г у л ь: «... в русском обществе до революции была как раз обратная тенденция — вечной оппозиции к власти вообще». (Имеется в виду свободомыслящая часть русского общества.)

Б е л и н к о в: «*В то время* еще не все народонаселение России состояло из рабов, льстецов, дрожащих от страха прохвостов и звероподобных душителей» (выделено мной. — Н.Б.).

Г у л ь: «Вот характеристика *всего* народонаселения. Неужто Вы думаете, что эта характеристика может быть для кого-то убедительна?» (Подчеркнуто им самим.)

Эта характеристика, — как и вся статья, — была убедительна для тех, кто пережил 60-е годы в России. Там принимали отклонение от истины на дистанцию гротеска. Новый эмигрант из России (как нас тогда называли) однажды в беседе со мной сказал, что Белинков превращает исторический эпизод в разоблачение современного тоталитарного режима. В работах А. Белинкова советские читатели видели непревзойденный образец эзопова языка. «Через творчество Тынянова Белинков говорил о нашей истории и современности, о революции и интеллигенции, об авторитарной власти и о народе, о тоталитарном государстве и обществе...»<sup>1</sup> — пишет непосредственный свидетель того, как прорывались его современники сквозь цензуру. В США статью перепечатывали редакторы новых газет и журналов «третьей волны»: С. Довлатов («Новый американец»), В. Перельман («Время и мы»), а также Т. Жилкина, продолжающая выпускать журнал старой эмиграции «Грани» в современной России.

У многоопытного редактора «Нового журнала» не было навыка советских людей читать между строк. В некоторой степени он был простодушен. Он никак не мог согласиться с Белинковым, что программа будущего государственного устройства, предложенная Пестелем, может привести к термидору, к диктатуре, которая будет похожа на современную, потому что не понимал, зачем Белинкову это утверждение нужно. Его возмущало, что Белинков показал с неприглядной стороны не только аристократическую знать, но и некоторых славных представителей нашей культуры, осудивших декабристов после поражения восстания: Карамзина («ужасные лица, ужасные слова»), Жуковского («презренные злодеи»), Тютчева («Вас развратило Самовластье, / И меч его вас поразил...»). И он знал, что такое хорошо, что такое плохо: русское — значит отличное!

Аркадий с ужасом осознал, что он переоценил способность редактора эмигрантского журнала прочитать «тайнописное» советских 60-х годов. Если Гуль ничего не понял, то что же другие? Неужели здесь, где нет цензуры, ему придется перелицевать наизнанку свой дар говорить между строк: вынести на поверхность современные проблемы, чтобы закамуфлировать непопулярное в русской диаспоре отношение к истории отечества? Может быть, перед словом «Россия» надо каждый раз упоминать «советская»? А может быть, вместо «Россия» придется писать «СССР»? Именно тогда Белинкову пришла мысль о собственном журнале.

Итак, работа Белинкова запнулась за советскую цензуру, освежилась «Пражской весной», споткнулась на вторжении советских войск, пересекла Атлантический океан с его Азорскими островами, легла на редакторский стол эмигрантского журнала и была отвергнута еще раз.

Однако Р. Гуль еще не рвал с автором и даже попросил прислать что-либо взамен отвергнутой статьи, но у Белинкова были только «Декабрист-

<sup>1</sup> Иванова Н. Смена языка // Знамя. 1989. № 11. С. 226.

ты». Аркадий не был уступчив с редакторами. Он мог предложить только эту статью, хотя бы и с купюрами и переделками. Повторялась знакомая по советским временам ситуация, автор готовился к бою с редактором.

Роман Борисович неожиданно согласился: «Свободны у Вас, стало быть, только “Декабристы”. — И подчеркнул: — В новой редакции, буду рад, если пришлете»<sup>1</sup>.

Своего журнала у Аркадия не было, и он приготовился к переделкам. В его папке «Декабристы» («Декабристы», а не гневная лермонтовская строчка) я нашла следующее:

1. Эта работа написана в России и обращена против гнусного советского патриотизма.

2. Советская история — это русская история, только выбравшая из нее все самое реакционное, омерзительное, шовинистическое, кровавое и забывшая все благородное, чистое и прекрасное.

3. Все, что происходит в мире, — это производное народного духа. «Фауст» — это эманация гения германского народа. А «Майн кампф»? Одного Гитлера?

4. Главное, что нужно ввести в новый вариант «Декабристов», — это какие бывают свободы (крестьянам нужна была земля, буржуазии — снижение тарифов... и пр., только узенькому кругу интеллигенции нужна была духовная свобода)<sup>2</sup>.

Переделать статью Аркадий не успел. При его жизни она нигде не была напечатана, а история ее публикации переросла в историю взаимоотношений между разными поколениями эмиграции.

От «добрых людей» я узнала, что Гуль, возмущаясь «русофобией» «советских товарищей» (так он стал нас называть в глаза и за глаза), широко распространял в русской писательской среде собственный отзыв на отвергнутую им статью. С одной своей корреспонденткой он, например, поделился таким образом: «Белинков — странный человек... То, что он писал, было совершенно беспомощно и никому не нужно. К тому же у него какая-то патологическая русофобия. Он прислал мне большую статью “Декабристы”, в которой доказывается, что декабристы были прохвосты и трусы, что Пушкин, Некрасов, Тютчев и др. были тоже прохвосты, что русская интеллигенция всегда состояла из прохвостов и только и делала, что помогала полиции... Я развел руками, вернул ему статью»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Письмо от 30 декабря 1969 года. Домашний архив Белинкова.

<sup>2</sup> Этот текст опубликован мною в предисловии к первому изданию книги «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» (Мадрид, 1976). — Н.Б.

<sup>3</sup> Переписка Светланы Аллилуевой и Ольги и Романа Гуля (Новый журнал. 1987). См. письмо от 25 сент. 1969 г. (с. 135).

Как только слух о русофобии Белинкова распространился, его начали читать более пристально и на этот раз безо всякого удовольствия.

Известный в эмиграции прозаик и критик Николай Ульянов заявил, что все беглецы и невозвращенцы (Белинков в том числе) проходят через «какую-то международную организацию, вклинившуюся между Советской Россией и русским зарубежьем»<sup>1</sup>, и все их выступления используются КГБ. В другой статье — «Загадка Солженицына» — он сумел «доказать»: Солженицына не существует в природе, а его книги изготовлены в том же комитете. Парижский критик Сергей Рафальский еще при жизни Белинкова успел ему посоветовать добиваться освобождения России единственно, по его мнению, достойным путем: не покидая страны. И, если надо, сидя в тюрьме. Другой парижанин после кончины Белинкова корил беглеца в манере советских фельетонов: «получил высшее и среднее образование», «пристроился в Совинформбюро», «распустил свой язык и перо», «был освобожден и, мало того, получил право возвратиться в Москву», «был признан начальством прекрасно перекованным». По мнению этого критика, главная причина бегства Белинкова — разочарование в том, что он не получил Ленинскую премию<sup>2</sup>. Одна писательница вообще вычеркнула его имя из русской истории, потому что он — «чужой» и «не стоял часами перед портретом предка». Другой литератор, Михаил Коряков, был озабочен не предками, а собственными современниками. Он выступил с обвинением Белинкова в неряшливости на том основании, что тот ставил Шкловского, Сельвинского и Катаева в один ряд с Грибачевым, Софроновым и Кочетовым<sup>3</sup>. Критик, очевидно, хорошо помнил, что первые три некогда были замечательными русскими писателями, и его не задевало, что они стали полноценными советскими.

Какое совпадение с опасениями Замятина! «Мне очень нелегко будет и за границей... если здесь [в СССР] в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде — меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком»<sup>4</sup>.

Конечно, Гуль, как главный редактор журнала, имел право не печатать то, что ему не нравится. Но распространять собственный отрицательный отзыв на им же самим отвергнутую и пока еще нигде не напечатанную статью? То, что Ульянов, работавший в одном университете с нами, приложил немало усилий, чтобы с нами ненароком не повстречаться в коридорах университета, — невелика беда. Но утверждать в печати, что все беглецы из Советского Союза выполняют задания КГБ? Разумеется, Коряков мог

<sup>1</sup> Ульянов Н. Новый повод для старых размышлений // Новое русское слово. 1970. 4 янв.

<sup>2</sup> Станюкович Н. Среди книг и журналов // Возрождение. 1972. № 239.

<sup>3</sup> Коряков М. Неряшливость // Новое русское слово. 1970. 27 авг.

<sup>4</sup> Замятин Е. Письмо Сталину // Лица. Нью-Йорк, 1967. С. 281



по-своему интерпретировать творческий путь любого из советских писателей. Но свое непонимание процессов, происходящих в СССР, выдавать за «неряшливость» другого? Личное дело Рафальского вступаться за левые круги на Западе или выступить против них. Но считать лагерные годы бывшего зэка не тяжким опытом, а лишь кокетливым, как он утверждал, аргументом?

Статьи с нападками на Белинкова стали появляться немедленно после его кончины, и я, не сдержавшись, послала в «Новое русское слово» возмущенную статью под названием «Корякорафальские». «Звуковой жест», — сказали бы формалисты. «Вселенская смазь», — отреагировал Гуль. Редактор газеты Андрей Седых напечатал мою статью, но, чтобы не дразнить гусей, он назвал ее поскромнее<sup>1</sup>. Как ни странно, за эту статью я и получила много комплиментов именно от старых эмигрантов, но гуси гоготали.

Должна признаться, я остереглась в этой статье назвать по имени Романа Борисовича Гуля. Упомянула только его положение — «редактор толстого журнала». Но он себя узнал и ответил зубодробительной статьей<sup>2</sup>. Эта статья, за исключением вступления, точь-в-точь повторяет письмо, отправленное Белинкову. Аркадий предстал перед читающей публикой, незнакомой с его работой, русофобом, а мое упоминание о распространении им порочащих писем превратилось в инсинуацию. Знал бы он, что одно из этих писем — Светлане Аллилуевой — после его кончины будет напечатано в его собственном журнале — и у меня будет возможность его процитировать!

Авторитет Гуля в русском зарубежье был велик. Его мнение было почти что равносильно инструкции, спущенной из ЦК КПСС в Советском Союзе: предписывалось, как следует читать Белинкова и как вообще к нему относиться.

Критическая масса — как еще назвать? — перевернулась на 180 градусов.

Уточняли: «следовало бы писать не о великой любви Белинкова к правде, а о его ненависти к России». Утверждали: «разуверился в революционном идеале». Улюлюкали: «проклят Россией!» Уверяли: «его ненависть к России хуже розенберговской». (Это замечательное высказывание принадлежит Крузенштерн-Петерц, поначалу восхищавшейся светским обликом Аркадия.) А дальше уж совсем непонятно: «и поставил под сомнение национальное начало». (Русское? Еврейское?)

---

<sup>1</sup> Белинкова Н. Кое-что о Коряковых, Рафальских и иже с ними // Новое русское слово. 1970. 4 янв. 1970.

<sup>2</sup> Гуль Р. Об инсинуации и русофобии // Новое русское слово. 1970. 14 нояб.

Как всегда, последователи оказались святее папы. Недоумение Гуля превратилось у них в ненависть. Несогласие во взглядах — в реакцию на национальную принадлежность. (К чести редактора толстого журнала надо сказать, что в сотом номере юбилейного «Нового журнала» он напечатал отрывок из еще неопубликованной книги Белинкова об Олеше, как бы следуя традиции «Байкала».) Ящик Пандоры раскрылся. И раньше нет-нет да появлялись туманные упоминания о «нерусских, говорящих по-русски». Теперь после моей перепалки с Гулем нашлось для всех невозвращенцев родовое слово: «руссофобы».

Тем, кто не понимал, в чем дело, стали объяснять прямо: «Наши люди пера и национальных мыслей не задавались, как казалось, целым рядом вопросов о том, кто такие эти Якиры, Амальрики, Синявские, Галичи да Белинковы?»

К этим именам добавляют имена Солженицына, Максимова и других, недавно прибывших, назвав их «примазавшимися сомнительными христианами». Слегка перепутав поколения отцов и детей, спросят: «Почему их дух восстал против той самой тирании, которую воздвигали и организовали в деталях их родичи и они с ними вместе?» От риторики спустятся поближе к земле: «Откуда деньги у этой подсоветской голытьбы?»

И сами объяснят: «Ответ на этот вопрос нужно искать, конечно, у истоков мировой иудейской солидарности. Зазвонил свой аларм “Новый колокол”. И вот на сцене новый рупор мирового мнения журнал “Континент”».

Мутный поток вылился на третью волну и потек на нашу общую родину: «Демократическое движение, поставляющее “Континенту” сотрудинок, пытается присвоить себе монополию на всякую свободную мысль в Советском Союзе»<sup>1</sup>.

Трудно, должно быть, глядя из современной России, представить себе глубину пропасти, которая существовала в шестидесятые-семидесятые годы между двумя русскими культурами, разорванными острыми складками «железного занавеса».

«Там, в Советском Союзе, я был “агентом империализма”, здесь, в эмиграции, я — “агент Москвы”. Между тем я не менял позиции, а говорил одно и то же... И те же улики, — это говорит о себе не Аркадий Белинков, а Андрей Синявский. — Конечно, не посадят в лагерь. Но ведь лагерь — это не самое страшное. Там даже хорошо по сравнению с эмиграцией, где скажут, что ты ни в каком лагере не сидел, а послан “по заданию”...»<sup>2</sup>

А вот и запись Белинкова, обнаруженная мной в его архиве:

---

<sup>1</sup> Вышеприведенные цитаты взяты из журнала «Зарубежная Русь» (1967. № 6—7).

<sup>2</sup> Терц А. Диссидентство как личный опыт // Путешествие на Черную речку. М., 1999. С. 415.

«Н. Ульянов всех нас — новейших эмигрантов, равно как и борцов с советским режимом, живущих в СССР, — скопом и хором считает не заслуживающими доверия и выпущенными для того, чтобы разрушить цитадель борьбы с коммунизмом за рубежом. В доказательство приводится история деревянной лошади, которую спартанцы оставили на берегу под стенами Трои, перед уходом (обманным) начинив своими отборными солдатами. Лошадь внесли в город и т.д.

Других доказательств нет, поскольку ни Аллилуева, ни Кузнецов, ни Финкельштейн до сих пор не пойманы на выполнении лошадиных заданий. Судя по известиям, поступающим из Москвы, все они испортили много крови тем, кто их, по мнению Ульянова, прислал в чреве коня.

Что же касается деятельности Ульянова, который стремится скомпрометировать деятельность людей, которые столь много сделали для борьбы с советской властью и в ее пределах, и за пределами ее границ, то она вызывает определенное чувство недоверия. Мне начинает казаться иногда, что г-н Ульянов, так хорошо помогающий своей клеветой советской власти, является ее агентом с очень определенной задачей, такой же, как задача Кочетова или газеты «Голос Родины» или очаровывающих совпатриотов (К. Симонов), — дискредитировать в глазах русской эмиграции и западного общества людей, бежавших из застенка и серьезно борющихся с советской властью в изгнании».

Похоже, он собрался добавить к двум открытым письмам, опубликованным за границей, — заявлению о выходе из СП СССР и обращению в ПЕН-клуб — еще одно, на этот раз посвященное русским зарубежным писателям. Не успел.

«Страну рабов, страну господ...» я опубликовала в сборнике «Новый колокол» — подобии журнала, о котором мечтал Белинков. Рецензия на нее Р.Б. Гуля включена в сборник его сочинений, составленный им самим<sup>1</sup>.

Мои попытки публиковать наследие Белинкова в эмигрантской печати удавались не всегда. Однажды на бланке газеты «Новое русское слово» я получила такой ответ, который говорит сам за себя и многое объясняет.

25 июня 1974 г.

«Дорогая Наталия Александровна!

Прочел с громадным интересом отрывок из книги А. Белинкова «Юрий Тынянов». А потом мне стало грустно, потому что я не могу его напечатать.

Прежде всего — причина формальная. В отрывке 28 страниц...

Есть, конечно, и другая сторона. С Пушкиным, по желанию, можно обращаться как угодно: сделать из него бунтаря, друга декабристов, врага тирании или, если угодно, — слугу царя: при желании можно сколько угодно найти у него стихов, восхваляющих монарха.

<sup>1</sup> Гуля Р. Об инсинуации и русофобии // Гуля Р. Одвуконь. Нью-Йорк, 1975. С. 209.

*Наш читатель, нравится это нам или нет, хочет видеть в нем слугу царя. Статья эта Белинкова, или отрывок из книги, читается как обвинительный акт монархии. Я-то не склонен выступать в роли защитника монархии или протестовать против "Страны рабов, страны господ...". Но Вы знаете, как к этому относится наш читатель. Нужно с этим считаться и не размахивать перед его лицом красной тряпкой, — ведь мы — единственная газета, и газета существует только потому, что мы всегда были осторожны и старались обходить острые углы. Напечатал я "Три любви Достоевского", — ведь все это давно известно, а вот читатели негодуют: жида стараются доказать, что великий богоборец и поборник христианства Достоевский был половым психопатом, девочек любил и пр. ...Все это довольно про- тивно, но мне не хочется губить газету, а это легко сделать.*

*Очень мне обидно и неприятно возвращать Вам отрывок.*

*Получил письмо от [Михайло] Михайлова<sup>1</sup>... Из письма я заключаю, что он рад будет сотрудничать в [Новом] Колоколе...*

*Как устроилось с Вашей работой? Остаетесь ли Вы в Вашингтоне или едете в Калифорнию?*

*Жму Вашу руку. Всего Вам доброго.*

*Ваш Андрей Седых<sup>2</sup>.*

Часы каждого поколения эмигрантов останавливаются на времени пересечения ими отечественной границы. «Страна рабов, страна господ...» Аркадия Белинкова, написанная в СССР, оказалась лакмусовой бумажкой в идеологическом климате русского зарубежья, поэтому, вопреки принятому мной хронологическому принципу, я поместила ее не в первой части этой книги, а в части второй.

Тут пора бы было поставить точку. Но подобная ситуация повторилась четверть века спустя в стране, освобождающейся от последствий сталинизма. Одна газета перепечатала рецензию Гуля на работу Белинкова, практически в СССР не известную. При этом вместо «инсинуация» в газете было напечатано «инструкция». Получилось: «Об инструкции и русофобии». Причину ошибки определять психологам. И только через несколько лет в стране, которая опять стала называться Россией, в 1994 году в издательстве «Весть» был опубликован репринт «Нового колокола» со статьей о рабах и господах. Исторический рефрен? Причину определять социологам.

---

<sup>1</sup> Михайлов М. — югославский писатель, диссидент периода советской «Оттепели» и «Пражской весны». — *Н.Б.*

<sup>2</sup> Седых А. (наст. имя Яков Моисеевич Цвибак) — секретарь И. Бунина, редактор «Нового русского слова», прозаик. Известен книгами «Занесло тебя снегом, Россия!» и «Иерусалим — имя радостное». — *Н.Б.*

## СТРАНА РАБОВ, СТРАНА ГОСПОД...

Так было и так будет впредь.

Из речи министра внутренних дел  
и шефа жандармов А.А. Макарова.  
Государственная дума. Третий созыв.  
Стенографические отчеты 1912 г.  
Сессия пятая, ч. III, 1912, стр. 1953

В России власть побеждает легко. В России, чтобы победить, нужно только поймать. Суд в России не судит, он все знает и так. Поэтому в России суд лишь осуждает. Но для того, чтобы осудить не только того, кого поймали, но и тех, которых пока не поймали, нужно, чтобы ловила не одна полиция, а все общество. И общество в России всегда охотно, готовно и стремительно шло навстречу.

Поэтому в эпохи, когда свобода, достоинство и мысль людей уже до конца сожраны государством, общество всей душой начинает заверять победителей в том, что его не во всем правильно поняли и что оно всегда в мыслях своих было со своими душителями.

Декабристы начали писать первые страницы раскаяний и верноподданных заверений. Потомки этими раскаяниями и заверениями залили российскую историю, особенно в эпоху, которая объявила себя прямой наследницей декабристов.

Что же думали сами декабристы о том, что они сделали?

А вот что:

«Я желал обнаружить перед его величеством всю искренность нынешних моих чувств. Это единственный способ, которым я мог доказать ту жгучую и глубокую скорбь, которую испытываю я в том, что принадлежал к тайному обществу. Верьте, Ваше превосходительство, сия скорбь непрерывно сокрушает мое сердце горем и страданием...»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Значительная часть документов, которые я цитирую, собраны в публикации Н.К. Пиксанова «Дворянская реакция на декабризм» в кн.: Звенья: Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли. М.; Л.: Academia, 1933. Т. I. (Все сноски в статье сделаны автором. — Н.Б.)

Это написано через пять недель после восстания — 21 января 1826 года автором «Русской правды», вождем самого радикального крыла декабризма П.И. Пестелем.

Приговоренный к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, другой декабрист писал:

«Я хотел революции? Я, который говорил, что если есть в России что-либо похожее на элемент революции, то сей элемент есть единственно крепостное состояние нескольких миллионов. Желанием, целью моею было отстранить сей элемент революции, — я хотел революции!..»

Рапорт следственной комиссии представил все адское дело во всей полноте, со всеми подробностями беспримерного разврата и бешеной кровожадности... Душа моя содрогнулась, ужасные ощущения ее терзали. Тогда я увидел, что совещания, на коих я присутствовал, превратились, наконец, в настоящее скопище разбойников, я увидел, что люди, с которыми я некогда разговаривал, явили себя истинными злодеями...»

В отличие от предшествующего письма это было написано не в петропавловской одиночке, человеком, закованным в железа, а в Лондоне действительным статским советником Н.И. Тургеневым, которому решительно ничего не угрожало и который мог писать все, что хотел, в том числе и обличительные инвективы. Но один из создателей и вождей «Союза благоденствия» и в Лондоне, где через двадцать девять лет Герцен начнет издавать «Полярную звезду», на знаменитой обложке которой будут изображены пять казненных декабристов, не захотел писать обличительных инвектив и не пытался представить в благородном свете дело, за которое близких повесили, а тебя самого приговорили к вечной каторге.

В тетради 1828 года, где Пушкин писал «Полтаву», несколько раз повторен рисунок виселицы с пятью телами. Эти рисунки опубликованы в 1908 году и вокруг них не раз бушевала полемика и до сих пор царит недоумение. В полемике выяснилось, что рисунки сделаны не в 1828 году и относятся не к подавленной попытке освобождения Украины (у Пушкина это изображено как патриотическая борьба России со шведской экспансией), а в 1826 году и относятся к подавленной попытке освобождения России от тиранической власти.

Что же касается недоумения, то оно было вызвано тем, что один из рисунков находится под строкой: «И я бы мог как шут на...»<sup>1</sup> Рисунок и подпись оказались в соседстве с потрясшим Пушкина известием: «...услыхал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева 24 [июля 1826 года]»<sup>2</sup> (шифром).

<sup>1</sup> Надпись читается как «И я бы мог, как [шут] ви<сеть>» (?). Ср., например: Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина. М., 1987. С. 179, 183, и воспроизведение рисунка на с. 180. — *Примеч. ред.*

<sup>2</sup> Эфрос А. Рисунки поэта. М.: Academia, 1933. С. 358.

Повешены друзья, погибло дело, которому они служили и в которое он, по своему, верил, сгорели надежды, кончилась молодость. Его миновала страшная чаша сия, и слава богу, а ведь в деле много было такого... и он бы мог как шут...

Как шут, то есть как декабристы. Декабристы — люди, с которыми он учился в лицее, дружил в Петербурге, Москве, Каменке, которым посвящал стихи, — Пущин, Кюхельбекер, Рылеев, Пестель, В. Давыдов, И. Якушкин, Никита Муравьев — шуты? Все это странно, трудно объяснимо. Несмотря на то что издан академический «Словарь языка Пушкина», смысловая особенность и оттенок слова «шут» в этом контексте неясны. «Словарь» устанавливает, что Пушкин в своих произведениях двадцать семь раз употребил это слово<sup>1</sup>. Его значение было изменчиво, но чаще всего оно было связано с тем, кто «своим видом или поведением вызывает насмешку, является общим посмешищем»<sup>2</sup>.

Сразу же вслед за пушками выпалил в декабристов еще совсем молоденький, но уже сильно последовательный двадцатитрехлетний Федор Иванович Тютчев:

Вас развратило Самовластье,  
И меч его вас поразил, —  
И в неподкупном беспристрастье  
Сей приговор Закон скрепил.

Народ, чуждаясь вероломства,  
Поносит ваши имена —  
И ваша память для потомства,  
Как труп в земле, схоронена...

<sup>1</sup> Словарь языка Пушкина. Т. I—IV, 1956—1961. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей. АН СССР. Ин-т языкознания, 1961. Т. IV. С. 990.

<sup>2</sup> Три раза это слово Пушкин относит к себе самому: «Но я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у царя небесного» (Полн. собр. соч. Т. 12. С. 329). «Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога» (Т. 5. С. 156). «Хорошо, коли проживу лет 25, а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать, и что скажут Машка, а в особенности Сашка. Утешения им мало будет в том, что их папеньку схоронили как шута, и что их маменька ужас как мила была на Аничковых балах» (Т. 15. С. 180).

Все три «шута» написаны в 1834 году. Первое стихотворение, которое он написал в 1834 году, было таким:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

В конце июля или в начале августа 1834 года в ресторане Дюма Пушкин знакомится с Дантесом. (А. Белинков цитирует академическое Полное собрание сочинений А.С. Пушкина в 16 т. — *Примеч. ред.*)

Это одно из самых трагических, точных и несправедливых стихотворений в русской лирике.

Существенно, что в нем отмечено обстоятельство, на котором стеснительные историки избегают останавливаться: «народ», лучшими проверенными идеологиями почитающийся за хранителя истины и чистоты и поэтому чуждый в высшей степени отвратительного ему «вероломства», «поносит» имена людей, погибших за свою свободу, доля которой, несомненно, была бы уделена и ему.

Так думал молодой поэт.

А вот как думал старый историк:

«Я был во дворце с дочерьми, выходил и на Исаакиевскую площадь, видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало к моим ногам. Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев с Полярною звездою, Бестужевым, Рылеевым и достойными их клеветами...»

Это писал через пять дней после восстания, за полгода до смерти великий писатель Николай Михайлович Карамзин писателю Ивану Ивановичу Дмитриеву.

А вот что писал через день после восстания В.А. Жуковский (арзамасская «Светлана»): «Какая сволочь! Чего хотела эта шайка разбойников?.. Можно сказать, что вся эта сволочь составлена из подлецов и малодушных...»

И какой дух низкий, разбойничий! Какими бандитами они действовали! Даже не видно и фанатизма, а просто зверская жажда крови, безо всякой, даже химерической цели».

По свежим следам 26 декабря еще один писатель, А.Ф. Воейков, сообщил княгине Е.А. Волконской:

«Все, что избрал Ад, французские якобинцы, гишпанские и итальянские карбонары и английские радикалы, было придумано нашими переимчивыми на злодейство Пугачевыми».

Либеральный деятель в высшей степени пристойного «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» известный баснописец А.Е. Измайлов неистовствует:

«Ах, скоты, скоты, мерзавцы! Представьте себе, сочинили конституцию (верно хороша) и назначили кандидатов в сановники Республики... Выйдет в свет подробное описание этого злодейского и вздорного заговора».

Интеллектуальная элита отнеслась к декабризму сурово, испуганно и мстительно.

Примерное поведение российских любителей словесности, наук и художеств производило вполне выгодное впечатление на строгое, но справедливое и умеющее ценить по заслугам начальство...



Управляющий III отделением собственной его величества канцелярии Максим Яковлевич фон Фок писал Александру Христофоровичу Бенкендорфу:

«Дух здешних литераторов лучше всего обнаружился на вечеринке, данной Сомовым (взятого наилучшим образом по делу 14 декабря, но выпущенного с «очистительным аттестатом». — А.Б.) 31 августа 1827 года по случаю новоселья. Здесь было не много людей, но все, что, так сказать, напутствует мнение литераторов: журналисты, издатели альманахов и несколько лучших поэтов... За ужином, при рюмке вина вспыхнула веселость, пели куплеты, читали стихи Пушкина, пропущенные государем к напечатанию. Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих государь сравнивается с Петром.

Начали говорить о ненависти государя к злоупотреблениям и взяточникам, об откровенности его характера; о желании дать России законы, и, наконец, литераторы до того воспламенились, что как бы порывом вскочили со стульев с рюмками шампанского и выпили за здоровье государя. Один из них весьма деликатно предложил здоровье цензора Пушкина, чтобы провозглашение имени государя не показалось лестью, — все выпили до дна, обмакивая стансы Пушкина в вино».

Так думали, так говорили и поступали писатели, лучшие умы, друзья повешенных и растоптанных, люди, которые не могли не понимать, что чем больше они будут помогать государю императору и III отделению его канцелярии, тем больше эта самая канцелярия будет показывать им, что такое власть, которую они обожают.

А вот что думали и утверждали те, кого мы по справедливости не считаем лучшими умами, а также надеждой России.

Петербургская аристократия:

«Я часто спрашиваю себя, не сплю ли я и неужели же у нас, в России, могли быть задуманы все эти ужасы, которые с минуты на минуту могли произойти! Перо мое не в состоянии описать вам все то, что чудовища замыслили в адских своих планах... возбуждение же против них так велико, что никто не пожалел бы их, если бы они были приговорены к смерти...»<sup>1</sup>

«...они (заговорщики. — А.Б.) везде, да поможет господь их всех переловить... Здесь, слава богу, открывают новых и спешат их отправить в крепость, в которой скоро не хватит места для помещения»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Графиня М.Д. Нессельроде, жена министра иностранных дел — М.Д. Гурьевой, жене видного дипломата Н.Д. Гурьева.

<sup>2</sup> В.П. Шереметева. Дневник В.П. Шереметевой, урожденной Алмазовой. М., 1916. Запись от 18 декабря 1825 года.

«О безумие! О злодейство! Я говорю: злодейство, потому что если бы этим, просто сказать, разбойникам удалось сделать переворот, то они бы погрузили Россию в потоки крови на 40 лет»<sup>1</sup>.

«Надобно казнить убийц и бунтовщиков. Как, братец, проливать кровь русскую! Надобно сделать пример: никто не будет жалеть о бездельниках, искавших вовлечь Россию в несчастье, подобное Французской революции...»<sup>2</sup>

«Надеюсь, что это не кончится без виселицы и что государь, который столько собой рисковал и столько уже прощал, хотя ради нас будет теперь и себя беречь и мерзавцев наказывать»<sup>3</sup>.

Это переговаривается между собой исполненная рыцарских доблестей и патрицианских добродетелей аристократия обеих столиц. (Далее А.Б. приводит аналогичные цитаты из писем провинциального дворянства, купечества, духовенства. — Н.Б.)

... Великие поэты и кавалерственные дамы, крепостные крестьяне и наместники края, почт-директор и католическая истеричка, придворный историограф и владимирский семинарист, президент Академии художеств и симбирский воспитатель, отставной министр юстиции и костромское купечество, артист императорских театров и жена вице-канцлера, финляндский генерал-губернатор и военный священник, знаменитый партизан 1812 года и прославленный сыщик, профессора университетов, редакторы журналов, дипломаты, помещики, чиновники, журналисты, баснописцы с визгом торжествовали победу над людьми, которые стремились к свободе.

И они не зря, не зря вешали и визжали, пороли и улюлюкали.

Пушки на Петровской площади в четыре часа пополудни прочистили уши русского общества, и оно тотчас обнаружило, что решительно ошибалось в старых своих мнениях. Так, прежде оно думало, что Рылеев и Бестужев суть истинные и обещающие таланты, Якубович — храбрец и brigand (браво!), князь Сергей Трубецкой — высокий ум, а оказалось, что это шайка бездельников, вероломных убийц, карбонаров, мошенников, трусов и безмозглых глупцов.

А вот Николай Павлович решительно всех восхитил своим геройством и поистине ни с чем не сравнимым великодушием. Недавно же, еще в три часа пополудни, все думали совсем, совсем не так. Все, напротив того,

<sup>1</sup> А.Н. Оленин (статс-секретарь и президент Академии художеств) — В.А. Олениной (своей дочери). 24 декабря 1825 года.

<sup>2</sup> Московский почт-директор А.Я. Булгаков — своему брату, петербургскому почт-директору К.Я. Булгакову. 22 декабря 1825 года.

<sup>3</sup> Новороссийский генерал-губернатор и наместник Бессарабии граф М.С. Воронцов — финляндскому генерал-губернатору А.А. Закревскому. 7 февраля 1826 года.

думали, что Николай Павлович, «бывший бригадный и дивизионный начальник», известный «неприятностью... сурового нрава», вызвавший «неудовольствие гвардии за учения и экзекуции», «за жестокое обращение с офицерами и солдатами», «был ненавидим, особенно войском», «пристрастный к фрунту, строгий за все мелочи и нрава мстительного», «зол, мстителен, скуп»<sup>1</sup>.

«Скажем всю правду, — с тяжелым вздохом произнес Ф.Ф. Вигель, — он совсем не был любим».

А что оказалось на самом деле? На самом деле оказалось, что «если мы, дети и жены наши не зарезаны, алтари не осквернены, престол не опровергнут, столица не в пепле и Россия стоит еще, то всем этим обязаны мы единственно присутствию духа и геройской храбрости молодого императора нашего Николая Павловича...»<sup>2</sup>.

Вот каким оказался Николай Павлович. А некоторые уже поняли, что даже еще лучше. А ведь как недалёковидны люди и как не понимают они, что всякий мерзавец может стать великим политическим деятелем и корифеем науки, чуть только он волей судьбы или безволием людей получит возможность убивать, выгонять, уничтожать, сажать в тюрьмы миллионы людей, резать книги, спускать с цепи цензуру, выкручивать руки, отрывать головы, заплевывать национальную культуру.

У нас любят героев. У нас героем становится любой, особенно такой, который устанавливает порядок, борется за искоренение сельского хозяйства и укрепляет неокрепшие умы. В связи с этим все, кто был по-настоящему заинтересован в дальнейшем улучшении дальнейшего исторического процесса нашей родины, захлебнулся от счастья, поняв, наконец, как прекрасен Николай Павлович:

«В день своего восшествия на престол император Николай спас Россию. Эти слова включают в себе также ту любовь и преклонение перед ним, которые испытывают к нему все его подданные. Он был восхитителен»<sup>3</sup>.

«На него вся надежда, он все знает, он все видит, всем занимается, при нем не посмеют угнести невинного, он без суда не погубит, при нем не оклеветают понапрасну, он только не любит взяточников и злодеев, а смиренного и доброго при нем не посмеют тронуть»<sup>4</sup>.

Вот как в нашей могучей стране, населенной нашим великим народом, создавшим своими героическими руками самую лучшую в мире историю и в рекордно короткие сроки самые выдающиеся электростанции, обожа-

<sup>1</sup> Из письма А. Кучанова, показаний на следствии декабристов М.А. Фонвизина, Д.И. Завалишина, Г.С. Батенькова, А.М. Булатова.

<sup>2</sup> А.Ф. Воейков — княгине Е.А. Волконской. 26 декабря 1825 года.

<sup>3</sup> М.Д. Нессельроде — П.Н. Гурьевой. 19 декабря 1825 года.

<sup>4</sup> М.Я. фон Фок — А.Х. Бенкендорфу. Декабрь 1828 года.

ют душителей, особенно с того дня, когда они окончательно обретают власть, от которой укрыться нельзя.

А зачем укрываться? Кто же станет укрываться от милостей, которыми тебя осыпают за заслуги перед родиной и народом? Только злодеи. Именно злодеи... А преданные родине и народу люди никогда не станут укрываться. Напротив, они испытывают чувство искренней и трогательной благодарности:

«Милостей пропасть. Поздравляю тебя с двумя фельдмаршалами: Сакемом и Витгенштейном, восемь Андреевских лент, шестнадцать полных генералов, бездна других орденов и такая же генерал-лейтенантов и генерал-майоров. Три дюжины фрейлин, с дюжину камергеров и камерюнкеров и четыре графа: бар. Строганов, Курута, Чернышев и Татищев»<sup>1</sup>.

А в это время перед высочайше утвержденным Комитетом для следственных изысканий о злоумышленных обществах арестованные отвечали так:

«Заимствовал я сей нелепый, противозаконный и на одних безмозглых мечтаниях основанный образ мыслей от сообщества Бестужева и Рылеева не более как с год. Родители же мои дали мне воспитание, приличное дворянину русскому, устраняя от меня как либеральные, так вообще и противные нравственности сочинения». Так чернил себя и своих ближайших друзей князь Александр Иванович Одоевский, человек чести, аристократ, превосходный поэт, друг и родственник Грибоедова, через год пришедший в себя и написавший:

... цепями.  
Своей судьбой гордимся мы,  
И за решетками тюрьмы  
В душе смеемся над царями...

Один из самых решительных деятелей Общества соединенных славян, сторонник народной революции, человек, давший клятву убить императора и готовившийся для «нанесения удара государю», во время восстания Черниговского полка пытавшийся поднять окрестные войска, Иван Иванович Горбачевский, приведенный к Левашову, забормотал:

«Так как я обязан своим несчастьем братьям Борисовым, то они, больше никто (при этом он в первом же своем письменном показании выдал шестнадцать человек. — А.Б.) мне сии преступные мысли вложили... они знали... мою преданность к государю и к своему долгу... следовательно, имели ли они Бога в душе так жестоко, так обманчиво поступить с человеком, который никакого зла им не желал?»

<sup>1</sup> В.И. Туманский — жене. 24 августа 1826 года.

И разгоряченные, с пылающими от страстного возбуждения щеками победители, потирая от удовольствия руки и перебирая ногами, тут же стали тыкать пальцем в подловатые признания поверженного врага. Победители нахохлились, напыжились от собственного благородства, укрепились в сознании своей храбрости, а в трусости, ничтожестве и мизерности своих врагов утвердились.

А их враги заложили тягчайшую традицию русских политических процессов, полных разоблачений, выдач, предательств, раскаяний, измен и отступничества. Люди, не раз встававшие перед судьями в длинном и тягостном списке русских политических процессов (особенно после юбилея восстания), не сохранили душевных сил и не поняли, что самые героические поступки до суда немедленно теряют значение, забываются и компрометируются жалким поведением на суде.

Декабристы и те, кто впоследствии стал называть себя их наследниками, отвратительным, презренным поведением на следствии и суде опочили великое дело, на которое они шли и за которое претерпели кару, не меньшую, чем та, которая постигла бы их, если бы на суде они продолжали бы дело, начатое до суда.

Нет ничего слаще обществу, всегда дрожащему от страха, увидеть поверженного врага, но во сто крат слаще увидеть врага, который поносит себя сам. И таких врагов это ничтожное общество рабов, потомков рабов и пращуров рабов увидело перед собой.

Вот над чем торжествовали обомлевшие от страха и едва пришедшие в себя победители:

«... эти негодяи, при составлении заговора считавшие себя римлянами, оказались ничтожествами: будучи схвачены, они без конца говорят и пишут, есть надежда, что все удастся раскрыть...»<sup>1</sup>

«Многие из них показали гадкую слабость души, многие друг друга обличали и сказывали имена тех, которых еще не знали за сообщников...»<sup>2</sup>

«Более всех трусили из них Рылеев, Сомов и князь Трубецкой»<sup>3</sup>.

Русское общество, обнаружив «гадную слабость души» своих врагов, торжествовало и требовало расправы, а власть, в России всегда являющаяся тем же обществом, только таким, на которое напялили мундиры и наляпали погоны, охотно кивала обществу во фраках, а когда возникла необходимость, то и в поддевках, и в пиджаках, и в зипунах, и в робах.

Но бывали минуты, когда эта самая российская власть пыталась немного сдержать это самое общество дрожащих от страха и злобы скотов. Русское правительство просто не может себе позволить такой кровожадности, которой требует от него общество...

---

<sup>1</sup> М.Д. Нессельроде — Н.Д. Гурьеву. 30 декабря 1826 года.

<sup>2</sup> Ф.С. Хомяков — А.С. Хомякову. 24 декабря 1826 года.

<sup>3</sup> А.Е. Измайлов — П.Л. Яковлеву. 4 января 1826 года.

«Мнение всех благомыслящих людей сильно клонится в пользу правительства, его действий и его направления. Даже больше: находят, что следовало бы строже наказывать, чтобы зажать рты сочинителям разных вестей и тем, которые распускают слухи без всякого основания»<sup>1</sup>.

А общество клопочет от гнева. Нет предела его возмущению. Оно положительно взбешено.

«Где была полиция? — трясясь от негодования, срывающимся голосом визжит общество. — Что делали градоправители наши и военные начальники? У них под носом составилась и приведен в исполнение заговор обширный, гибельный!... Полиция крепко почивала и ничего или почти ничего не ведала!»<sup>2</sup>

Правда, все правда. Конечно, куда глядели? Где был с ночи 13 декабря да утром 14-го военный губернатор столицы? А? Где был? Не знаете? А я скажу вам. У Катеньки Телешовой, танцорки. Да еще явился перед императором близ строя бунтовщиков, застегивая пуговицы. Хорошо это? Эх, Россия, Россия, и бунт упредить не умеют, и вешают то не тех, то не так, и всегда мало. ...

А полиция... никак не может поспеть: «Деятельность надзора растет с каждым днем, и у меня едва хватает времени для принятия и записывания всех заявлений»<sup>3</sup>. Не хватает дня? Сиди ночью. А не справляешься, найдем другого. Незаменимых нет. Самое ценное — это люди, кадры.

Правительство иногда поправляло общество, общество, как это всегда свойственно истинной, а не фальшивой демократии, восхищалось мудростью правительства, и все шло как нельзя лучше. От победы к победе. Потому что главное — это единство правительства и народа. Это единство строилось на крепком фундаменте: общество восхищалось правительством, правительство тем, кто это делал, не жалея себя, объявляло благодарность.

Тут сошлись все: члены Государственного совета и девицы с веселой набережной реки Охты, пристально и неумолимо изучающие жизнь писатели и станковые приставы, дамы, чарующие своей неотразимой красотой, и густопородистые кобылы Клайдесдальского завода, сильфиды из балета «Пламя Парижа» и вросшие в свои чугунные бороды нигилисты.

И все прокляли их. И правильно сделали. Потому что они хотели свободы. А это для нашей родины хуже, чем жрать битое стекло. Хочешь свободу? Поезжай на острова Капингамаранги, Океания, 1°14' северной широты, 155°17' восточной долготы. Только мы тебя немножко проверим на станции Чоп, 48°28' северной широты, 22°15' восточной долготы.

---

<sup>1</sup> М.Я. фон Фок — А.Х. Бенкендорфу. 11 августа 1827 года.

<sup>2</sup> А.Ф. Воейков — княгине Е.А. Волконской. 26 декабря 1825 года.

<sup>3</sup> М.Я. фон Фок — А.Х. Бенкендорфу. 14 августа 1826 года.

В крепости «Санкт-Питер-бурх», заложенной царем Петром в устье реки Невы на Заячьем острове, по которой — крепости — потом был именован зачатый здесь город, в этой крепости, прозванной спустя время по святым апостолам Петру и Павлу, общественная мысль России навсегда определила свое течение и свое свойство, лишь изредка — в 40-е, 60-е и 80-е годы нарушавшиеся. В той крепости и в те дни началось осмысленное, хорошо и навсегда задуманное тесное и искреннее единение правительства и общества, православия, самодержавия и народности, веры, царя и отечества, под разными названиями и в разное время навсегда в этой стране обретшими несокрушимую силу, неприкосновенность, непрекаемость, неприкасаемость и власть. <...>

Итог сердечному единению общества и правительства подвел сам Николай Павлович:

«Здесь все усердно помогают мне в этой ужасной работе, — пишет он усталой рукой, — отцы приводят ко мне своих сыновей<sup>1</sup>, все желают показать пример и, главное, хотят видеть свои семьи очищенными от подобных личностей и даже от подозрений подобного рода»<sup>2</sup>.

А закованные в железа и заключенные в одиночки каялись, сдавались, клеветали друг на друга, плакали, проклинали, клялись в верности государю императору, доносили на своих товарищей, божились, предавали, лгали.

Я где-то слышал, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Нас пытаются уверить (разными способами, среди которых преобладают тюрьмы, цензура, гонения, клевета, голод, убийство), что никак нельзя.

Это вам нельзя, тем, кому это общество до смерти нравится, кто вместе с ним участвовал в злодействах, кто дрожит от страха перед этим обществом, у кого нет желания, нет сил, не хватает смелости освободиться, у кого нет уверенности в своей правоте. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества? Никак нельзя? Но из какого же общества пришли те, кто его разрушал? Из какого общества прибыли братья Гракхи? Откуда взялся Лютер? С кем рядышком были Вольтер, Руссо, Бомарше? Откуда явились Робеспьер и Оуэн, Гейне и Жорж Занд? В каком обществе жили и от какого общества были свободны Герцен, Толстой, Бакунин, Мандельштам? Все значительные личности, протестанты, истинные художники, мыслители и духовные вожди были свободны от общества, а кто свободен от общества, тот враждебен ему. Даже если эти протестанты,

<sup>1</sup> В другие эпохи сыновья приводят своих отцов и особенно часто — жены своих мужей. Первый мотив разрабатывается преимущественно в поэзии, второй — в драматургии.

<sup>2</sup> Письмо великому князю Константину Павловичу. 23 декабря 1824 года.

художники и вожди, как Гете, Бальзак, Гоголь, Гончаров, Достоевский, разделяли мнение общества, в своих произведениях они всегда выступали его разрушителями.

А декабристы? И декабристы, кающиеся, проклинающие, рыдающие, тоже были свободны от общества. Не очень долго — девять лет, с 1816 по декабрь 1825 года, — но ведь создавая Союз спасения и Союз благоденствия, Общество соединенных славян, Северное и Южное общества, они, очевидно, были свободны от мнения графини Марии Дмитриевны Несельроде и княгини Дарьи Христофоровны Ливен, от суждений начальника артиллерии и смотрителя императорской конюшни, от миропонимания кавалергардов и мировоззрения начальника караула.

Оттого, что все-таки декабристы вели себя на следствии омерзительно, оттого, что Пушкин написал обесчестившие его стихи «Клеветникам России», за которые его горько осуждал Вяземский, ставший через двадцать пять лет после этого поганым царским цензором, оттого, что Боккаччо, перепуганный насмерть монахом-картезианцем, стал усердно каяться и почти перестал писать, струсивший Некрасов кланялся и писал оду Муравьеву-вешателю, Радищев, попав в руки Шешковского, вел себя мерзко, Галилей испуганно отрекся, совершенно не следует, что нельзя быть свободным от общества.

Ибо, когда декабристы создавали тайные организации и выводили солдат, Пушкин писал «Вольность» и «Поэт и толпа», Боккаччо — «Декамерон» и Галилей — «Диалог о двух главнейших системах мира», они были свободны. Одни и те же люди в разных обстоятельствах бывают свободными или схвачены железом. Историческое значение имеет только независимость от общества.

Но в обществе, даже русском, не всегда, нет, не всегда все бывает так благополучно, как этого бы хотелось. Особенно лучшим представителям нации. И поэтому среди всеобщего злобного клочкотания и злорадного взвизгивания вдруг чье-нибудь чуткое (полицейское) ухо услышит чье-либо неудовольствие.

Можно жить в обществе и быть свободным от общества, если ты видишь, что общество гнусно и у тебя хватает чести и смелости сказать об этом...

И было несколько случаев в России, а не на островах Капингамаранги, Океания (1°14' северной широты, 155°17' восточной долготы), когда действительно сказали.

Князь Петр Андреевич Вяземский вот что сказал:

«И после того ты дивишься, что я сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником их палачей? Как не быть у нас потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках... Я охотно верю, что ужаснейшие злодеяния, безрассудные замыслы должны рож-



даться в головах людей, насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в крюк? Откройте не безграничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги...»<sup>1</sup>

Не пресеченной оказалась чисто декабристская поэтическая традиция. Стихи профессиональных и непрофессиональных поэтов, не перебежавших к победителю, написаны людьми, внимательно читавшими запрещенные стихи Пушкина и незапрещенные стихи Рылеева и Кюхельбекера:

Придет ли сей великий день,  
Когда для русского народа  
Исчезнет деспотизма тень  
И встанет гордая свобода?  
Но трепещи, страшись, Деспот,  
Придет день общего волнения...<sup>2</sup>

знаменитые языковские стихи:

Рылеев умер, как злодей! —  
О вспомяни о нем, Россия,  
Когда восстанешь от цепей  
И силы двинешь громовые  
На самовластие царей<sup>3</sup>.

А вот что пишет Е.П. Сушкова (в замужестве графиня Ростопчина):

Удел ваш не позор, — но — слава, уваженье,  
Благословение правдивых сограждан...

Это написано после восстания, разгрома, арестов, допросов, суда, сразу же после казни.

---

<sup>1</sup> П.А. Вяземский — В.А. Жуковскому. Март 1826 года.

<sup>2</sup> Стихотворение юнкера Зубова. Автор этого стихотворения был посажен в дом умалишенных (Отголки декабристского восстания 1825 года // Красный архив. 1926. № 16. С. 193).

<sup>3</sup> Стихи Зубова и Н. Языкова написаны в 1826 году, то есть после пушкинского стихотворения «К Чаадаеву» (1818) со строками: «*Но в нас горит еще желанье, / Под гнетом власти роковой / Нетерпеливою душой / Отчизны внемлем призыванье. / Мы ждем с томленьем упованья / Минуты вольности святой...*» и до «*Во глубине сибирских руд*» со строфой: «*Оковы тяжкие падут, / Темницы рухнут — и свобода / Вас примет радостно у входа, / И братья меч вам отдадут*». Очевидно, Пушкин уже в 1818 году создал очень устойчивую систему, вскоре потерявшую авторство, а в 1827 году сам написал так и о том, что стало общепозитической системой, нормой, оставшейся после разгрома восстания, близкой каким-то очень немногим людям, не предавшим своих друзей, свою привязанности, свою молодость.

&lt;...&gt;

В те годы не все народонаселение России состояло из рабов, льстецов, дрожащих от страха прохвостов и звероподобных душителей, хотя уже многое свидетельствовало о том, что в процессе вековой эволюции народонаселение под благотворным воздействием абсолютистской идеи превратится в стадо предателей, доносчиков, палачей и свободоненавистников. Но в те годы не все было совершенно благополучно. Вот что позволяли себе неокрепшие умы.

«Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец»<sup>1</sup>.

Другой молодой человек не только страдал и желал быть взятым, но имел значительные идеи.

Этим молодым человеком был Герцен.

Он сказал: «Мальчиком 14 лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии (по случаю коронации Николая Павловича. — А.Б.), и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронем, с этим алтарем, с этими пушками».

Начиная с 1827 года в столичных журналах, альманахах и даже отдельными изданиями стали печататься стихи и проза Рылеева, А. Одоевского, А. Бестужева, Кюхельбекера. Конечно, без имени или подписанные инициалами автора. (Одна из немногих, может быть, уникальных гуманных традиций русской литературной жизни: так печатали Чернышевского.)

Этим или почти только этим исчерпывается сочувствие страны к декабристам и особенно к их делу. Русское общество приплясывало на плахе и, кланяясь, облизываясь, приседая и рабствуя, подносило оды, дифирамбы, гимны, величания и песнопения на восемь гласов августейшей фамилии, III отделению, флигель-адъютанту, целовальнику, действительному статскому советнику, коменданту крепости, палачам и тюремщикам, доносчикам и предателям, знатным педерастам и влиятельным метресскам, члену Государственного совета и собаке дворника, спасшим отечество от самого страшного несчастья, которое только могло выпасть на долю нашего любимого, столько выстрадавшего отечества, от моровой язвы, труса, мора и глада, саранчи и татар, от потопа и засухи, пожара и дыбы, — от свободы.

Во все времена все политические неудачи вызывают к себе одинаковое отношение: общество презрительно осуждает неудачников.

Для того чтобы осуждение не очень заметно совпадало с официальным, которое даже интеллигентному человеку часто бывает противно, искали и, вспотев, находили серьезные недостатки у тех, кто потерпел

<sup>1</sup> Кошелев А.И. Записки. Изданы после его смерти в 1884 году.

неудачу. Хари пигмеев перекашивались от ненависти и страха. Они — хари — дули прямой кишкой, содрогаясь при мысли о возможных последствиях на основании глубокого изучения русской истории. Облизывая пересохшие губы, припоминали, не сказано ли когда чего-нибудь лишнего, и, чтобы не было уже совсем стыдно, торопливо придумывали, за что бы укорить мерзавцев, которые не дрожали. И находили.

Аристофана они осуждали за то, что у него нет ничего святого. Пастернака за то, что его стихи абсолютно непонятны народу. А Герцена за то, что он печатался за границей. Вот если бы он печатался в России... Но, помилуйте, как же он может печататься в России?! Да, конечно, но в то же время печататься за границей... в этом есть что-то безнравственное... выносить сор из избы...

Так жила, думала, радовалась, маялась, злобствовала и умирала страна.

А в этой стране, которая никогда не знала и никогда не узнала, что такое свобода, и которой свобода никогда не была нужна, бродили какие-то «странные господа», узнавшие, что человек имеет право думать что хочет, говорить что хочет, писать что хочет, то есть думать, говорить и писать, что он считает нужным, полезным и важным, что он имеет право бороться с произволом и несправедливостью и утверждать, по русским понятиям — совершенно ни с чем не сообразное, — что правительство невежественно и жестоко, что оно захватило прерогативу решать, что полезно и что вредно отечеству и своим подданным, ввергать свою и чужую страны в войны и разбойничьи дипломатические заговоры, что самые способные влачат жалкое существование, а тупицы, негодяи, прохвосты и наглецы, уничтожавшие миллионы людей, сначала жандармы Европы, а потом и Азии, торжествуют победу.

Общество с такой жадной жестокостью осуждает людей, погибающих за свободу, потому что ему в иные времена нужна не свобода, а хоть какая-нибудь уверенность в том, что не оторвут руки-ноги.

Люди, боровшиеся за свободу, замахнулись на власть, а власть в России не только душила, но и сторожила общество, чтобы его, упаси бог, не утащили либералы.

Победа и поражение всегда связаны с состоянием общества и приходят в зависимости от того, что обществу нужно. Поэтому, когда восставших постигает неудача, общество начинает их оплевывать за измену родине и предательство, а вот когда приходит победа, тогда общество с искренним восторгом приветствует восставших, потому что они спасли родину от тирании и упадка сельского хозяйства. Но так как победы редки, то большую часть времени русское общество благодарно холопствует перед государством, а в трудную минуту братья и сестры и вовсе связывают себя с государством неразрывной веревкой. Единение общества с

государством всегда было и навсегда останется симптомом распада, разложения, испуга, подкупности, продажности общества и всевластности государства. Если общество осуждает людей, борющихся за свободу, это значит, что оно уже неисправимо испорчено рабством рабов и рабством господ.

При всем этом и те и другие рабы могут иной раз шепнуть, оглянувшись, что-нибудь этакое, почти полулиберальное, четвертьпрогрессивное.

Никогда нельзя обольщаться ропотом, шепотом и ворчаньем общества. Да, да, общество ужасно возмущено тем, что иногда нет качественных галстуков и даже гречневой крупы или, еще хуже того, — не печатают некоторые очень хорошие стихи, которые еще больше укрепили бы могущество родины. Но попробуйте сказать этому обществу об устоях, о каменных плитах, на которых оно стоит, и это общество сразу забудет и про галстуки, и про стишки, и даже про гречневую кашу. Оно сразу же вспомнит о том, что — это его родимое государство, которое его защищает от пакостников, от внешних и внутренних врагов, что вместе с этим родимым государством оно выигрывало войны, одерживало победы, участвовало в одних преступлениях, плясало на одних фестивалях.

Нет, когда восставшие терпят поражение, общество всегда считает, что вешают мало, охраняют плохо и что нет подлинной заботы.

<...>

Общество неистовствовало от злорадства, отвращения и страха. Страх был русский: увязывали теплые вещи и ждали стука в дверь.

Страх надо было как-то прятать, и его прятали, прикрываясь верой. Клялись, что верят в сообщении о «маловажном происшествии», напечатанном в «Прибавлении» к «Санкт-Петербургским ведомостям», в царский манифест, в то, что «изверги решились... открыть гроб императорский... начать убийства»<sup>1</sup>...

Потому что если во все это не верить, то надо или сказать, что ты тоже с клеветниками и вешателями, или восстать и погибнуть. Здесь правительство помогло обществу: оно лишь несколько месяцев побуждало его клеймить преступников, а потом перестало само о них говорить и велело помолчать до особого распоряжения (1826—1855).

Это был один из самых умных, самых верных приемов борьбы русского правительства со своими врагами, прием, ставший классическим, к которому в будущем стали прибегать все чаще и все успешнее, — замалчивание.

Постепенно совершенствуясь, классический прием приобрел канонический норматив: газетная травля, официальное заявление, гневные обличения академиков, слесарей, колхозного крестьянства, полковников в

<sup>1</sup> А.Ф. Воейков — княгине Е.А. Волконской. 26 декабря 1825 года.

отставке, творческой интеллигенции, пенсионеров, дорогих коллег (особенно), искреннее раскаяние ошельмованного, поношение самого себя и признание им своих злодейских ошибок, исключение (варианты: снятие, разжалование), объявление сумасшедшим, арест, восторженные аплодисменты трудящихся, молчание.

Это молчание никогда не было глупостью, презрением или трусостью. Оно всегда было хорошо рассчитано и начиналось в заранее выбранное время. Было понято, что лучше врага забыть, чем поносить, потому что когда долго поносят, то люди начинают задумываться, и, глядишь, кому-нибудь и покажется, что в газетной травле, официальном заявлении, негодующем осуждении полковника в отставке, самооплевывании ошельмованного и его уничтожении, а также в одобрении трудящихся некоторые моменты не кажутся абсолютно убедительными. А если замолчать, то и дело сделано, и урок показан, и оставлено впечатление, созданное таким могучим инструментом истины, как вопли уязвленных, рев толпы, палка власти, битие в барабан и треск невиданных успехов, на фоне которых совершается гнусное злодеяние.

Испытанное умение общества превратить страх в веру и соучастие многое определило в позиции тех, кто сам боролся с этой удушающей властью и знал, что надо готовить шубу и сапоги.

Страх, безоговорочная уверенность в справедливости расправы, мастерство, с которым было скомпрометировано освободительное движение правительством и гораздо лучше самими декабристами, клевета и замалчивание создали впечатление, что с декабризмом покончено. И многие люди, продолжая декабристское дело, думали, что они делают нечто совсем другое.

<...>

(Написав о беспросветной, сохранившейся навсегда и неизменной при всех исторических обстоятельствах, традиционной подлости русского интеллигентного общества, я не спешу с оговоркой, приписанной специально для вас: «некоторая часть», или даже «большая часть», или «значительная», или «преобладающая часть» этого общества. Я не делаю этого не для того только, чтобы показаться вам совершенно невыносимым, и не для того, чтобы еще раз показать вам свое презрение, но главным образом потому, что судьбу всего русского общества определяет именно эта «большая» или «значительная», или «преобладающая часть», а «меньшая» или «незначительная», или «убывающая часть» не имеет никакого значения. При таком решающем обстоятельстве точный счет теряет какой бы то ни было практический смысл.)

Не для того обращался я к страницам Н.К. Пиксанова, чтобы приветствовать его решающие выводы, которые выглядят так:

«Декабристы могли отрицать существующие порядки и бороться с личной властью, но в пределах своего родного класса.

Этим объясняется многое в возникновении, ходе и исходе их борьбы с правительством, и без этого многое было бы загадочным и необъяснимым»<sup>1</sup>.

«...Исход восстания мог бы оказаться иным, если бы декабристы-дворяне захотели опереться на солдат, рабочих и крепостных крестьян»<sup>2</sup>.

Здесь начинается марксизм, который при неудачах, постигающих его (то культ личности Сталина, то культ личности Мао Цзэдуна, то дурное поведение Тито, то неуместные выходки Ходжа, то нейтрализм Чаушеску, то исторические постановления в области литературы и искусства 1946—1948 годов, то подавление Венгерского восстания, то убийство Пастернака), называется уже не «марксизм», а «вульгарный социологизм», или «ревизионизм», или «догматизм», или бог весть еще как. Не знаю. Никто не знает, как он называется, и я не знаю. Убедился в невежестве после того, как лучшие годы жизни отдал изучению этой науки (главным образом не в книгохранилищах). По истечении лучших лет начал заниматься другими науками и чувствую, что стал образованнее.

Все эти публикации и все размышления над ними публикатора с быстротой рассеивающегося дымка утрачивают какое-либо значение, когда таким способом нас пытаются убедить в том, что революции — это только форма классовой борьбы, и все дело исключительно в неразрешимых противоречиях между производительными силами и производственными отношениями, а интеллигенция, прости господи, не то прослойка, не то подстилка.

Ни трудом Н.К. Пиксанова, ни какими-либо другими трудами Ивана Шевцова, Сергея Михалкова и академика М.В. Нечкиной убедить в этом всех не удалось до сих пор. Несмотря на то что нас уже можно убедить во всем, ибо мы пережили коллективизацию и оппозицию, войны справедливые (освобождение Западной Украины, Западной Белоруссии, южной части Финляндии) и несправедливые (потеря Конго — Киншаса, Западного Берлина, Южной Кореи, Синайского полуострова, западной части Иордании, западной части Сирии), культ личности и волюнтаризм, а также исторические постановления в области литературы и искусства.

И все-таки, несмотря на войны, уничтожения и постановления, оказалось, что убедительно написать о заведомо лживых вещах нельзя. То есть убедить можно, а убедительно написать нельзя. Высказывалось предпо-

---

<sup>1</sup> Пиксанов Н.К. Дворянская реакция на декабризм // Звенья: Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли. М.; Л.: Асадемия, 1933. Т. II. С. 187.

<sup>2</sup> Там же. С. 193—194.

ложение, что правильность мысли о производственных силах и производственных отношениях, а также подлинного места интеллигенции внушается людям часто не научными трудами, а другими способами.

Всю жизнь, изучая научные труды, большая часть которых посвящена доказательству лживых идей, научные труды, рекомендованные мне такими авторитетными учреждениями, как 125-я средняя школа города Москвы, искусствоведческий факультет Московского государственного университета, Литературный институт им. А.М. Горького Союза писателей СССР, и другими заведениями, предприятиями и организациями, в которых я учился или преподавал или мимо которых я с благоговением проходил, стараясь держаться подальше, я ни в одном из этих научных трудов не обнаружил того, что помогло бы мне понять, почему главной задачей русской истории всегда были попытки задушить свободу и почему русская интеллигенция всегда охотно этому помогала.

Это я понял, читая совсем другие книги и черпая образованность на протяжении тринадцати лет из иных кладезей мудрости, нежели 125-я средняя школа города Москвы, искусствоведческий факультет Московского государственного университета, Литературный институт им. А.М. Горького Союза писателей СССР, и других заведений, учреждений, предприятий и организаций, лучшими из которых были Культурно-воспитательные части (КВЧ) 19-го Долинского комендантского отделения, 3-го Сарептского лечебно-санитарного отделения, 26-го Ишень-Гельинского, 4-го Самарского, 7-го Катурского, 18-го Карабасского отделений Управления Карлага МВД СССР, а также 8-го Ново-Майкадукского и 9-го Спасского отделений Управления Песчаного лагеря МВД СССР.

Многomesячным и многолетним следствием, голодом, пытками, карцерами и одиночками, ночными допросами и дневным бдением, стоянием на коленях, стоянием на цыпочках, стоянием навтыжку, стоянием по стойке смирно, стоянием с перегнутой под прямым углом поясницей, уныло и бесконечно воняющей парашей, светом тысячеваттной лампы, сжигающим глаза, и воем, разрывающим уши, холодом и жарой, арестом родных и изобличениями недавних друзей, десятисуточными конвейерными допросами, изменой, ложью, лицемерием, клеветой, перлюстрацией писем и записями подслушанных телефонных разговоров, поиском пятого угла и камерными стукачами, принудительным лечением и запрещением оказывать медицинскую помощь, плесенью на стенах камеры и бронзой в генеральских кабинетах, неотступной тоской по женщине и лишением книг, лязганьем ключей надзирателей и папироской следователя, потушенной в ухе, очными ставками и «черными воронами», нарами с прогнившей соломой и голыми электрическими проводами, вдавленными в рот, боксами, в которых можно сидеть только на корточках, и камерами, в которых можно висеть на соседях, мокрым цементным полом и склизким

деревянным намордником на окне, клопом и вошью, лишением передач, запрещением курить, пересылками и этапами, неизвестностью, искушениями и соблазнами, доносом любимой женщины, доносами близких, доносами соседей, доносом дворника, доносами друзей и доносами врагов, доносами знакомых и доносами незнакомых, доносами старух и доносами детей, доносом университетского профессора, у которого ты был любимым студентом, и доносом факультетского швейцара, который любил тебя за то, что ты вежливо раскланивался с ним, доносом водопроводчика, которого ты в темноте не заметил, и доносом монтера, которому ты заплатил больше, чем следовало, доносом молодого поэта, робко постучавшегося к тебе, которого ты похвалил, и доносом пожилого прозаика, которого ты разругал, доносом неудачника, живущего в квартире слева, и доносом счастливчика, живущего в квартире справа, доносом курьера, доносом карьериста, доносом лентяя и доносом энтузиаста, доносом холерика и доносом сангвиника, доносом меланхолика и доносом флегматика, доносом труса и доносом храбреца, доносом слепца и доносом ясновидца, доносом блондина и доносом брюнета, доносом дурака и доносом умника, доносом любимого писателя и доносами любящих сослуживцев, доносом актрисы, которая тебе нравилась, и доносом ее любовника, которому ты не нравился, доносом актера, которого ты любил, и доносом его любовницы, которая не любила тебя, доносом жены твоего приятеля, которая боялась твоего разлагающего влияния, и доносом приятеля, который боялся твоего влияния на его жену, доносами пожарников, летчиков, астрономов, агрономов, жуликов, министров, кинозвезд, могильщиков, литературоведов, клоунов, кораблестроителей, пионеров и октябрят, стрелочников и живописцев, футболистов и энтомологов, венерологов, социологов, паразитологов, палеонтологов и отоларингологов, доносами доброхотными и доносами подневольными, доносами друг на друга, доносами на самих себя, доносами всей страны на тебя и на всех, доносами, доносами, доносами, доносами, четырьмя стенами тюрьмы и тюремной решеткой власти, которая судит, часто удается убедить подсудимого в том, что она лучше знает, что именно полезно отечеству.

Конечно, когда декабриста ставят перед тысячеваттной электрической лампой, а за его спиной, развалясь, сидят торжествующие враги, то ему это снести труднее, чем ходить под ядрами по Бородинскому полю, зная, что сзади стоят восхищающиеся друзья.

<...>

Декабристы так охотно осудили сами себя и так готовно разрешили себя уничтожить, потому что еще до поражения подозревали, а после поражения убедились в том, что их дело, кроме них самих, никому не нужно. И они были правы! В такой стране, как Россия, где образованное общество и народ испорчены и развращены потомственным рабством и рабовладением, страхом, национальной традицией и исторической на-



следственностью, свобода никогда не была нужна. Образованное общество, то есть рабовладельцы, пользовались необходимой ему свободой, а народу нужна была свобода не в форме бесцензурного книгопечатания, а в форме хлеба. Образ правления — абсолютная монархия, конституционная монархия, демократическая республика, республиканская диктатура — его не интересовал.

Декабристы были разгромлены, потому что боролись за свободу в стране, которая всегда ненавидела эту свободу во всех классах, потому что в этой стране они неминуемо должны были погибнуть, потому что в этой стране должен погибнуть всякий, борющийся за свободу. Но всегда надо помнить о том, что если в этой обреченной стране перестанут бороться за свободу, то будет уничтожено, сожрано, вытоптано, заплевано все, что веками создавалось теми, кто оставался свободным.

Общество, не игравшее в России никакой роли и, таким образом, как бы не существующее (общество осознается как социальная организация, когда оно кому-нибудь противопоставлено), позволило абсолютизму захватить безудержную, не ограниченную не то что конституцией, но простой разумностью власть, оказалось само втянутым в преступления диктатуры.

Декабристам не на кого было опереться в борьбе и не с кем было делить победу. Победе грозило достаться только победителям, то есть тем, кто захватил власть. Другим людям, живущим в этой стране, для которых будто бы добывалась победа, пришлось бы довольствоваться лишь ливнем поднимающих на новые трудовые подвиги фраз.

И поэтому декабризм мог кончиться или поражением, или военным бунтом, после которого к власти пришла бы горстка людей, вынужденная защищаться от огромного количества поверженных, и, защищаясь, применять беспощадные методы подавления, вернувшись, таким образом, к тому, против чего начиналась борьба, — к самовластию и диктатуре. ... Далеки были декабристы от народа или близки ему, может быть, и представляет какой-то интерес, но только в связи с вопросом о победе и поражении. Все остальное к народу отношения не имеет. Все остальное связано с вопросом, кому нужна победа.

Декабристы вышли на Петровскую площадь не для защиты интересов донских казаков и татарских крестьян. Они были небольшой группой людей — единственной в русском обществе 20-х годов, — которой была нужна свобода, потому что они уже были интеллигенцией.

Интеллигенция всегда была и навсегда останется единственной общественной группой, которая не может существовать без свободы духа. Всем остальным людям нужна другая свобода: свобода власти, богатства, хлеба, войны. Абсолютистское государство может дать людям богатство, хлеб, власть, войну, может не дать, может дать одним и не дать другим.

Но свободу духа абсолютистское государство не может дать никому.

И поэтому интеллигенция в самовластной стране существовать не может: она или уничтожается, или растлевается, или — реже всего — хранит гордое терпенье.

Революция интеллигентов была раздавлена, потому что в России интеллигенты всегда были ненавистны властителям и отвратительны вековым отвращением народа.

<...>

Декабризм был первым радикальным движением интеллигентной России, и поэтому его главным назначением было завоевание личной свободы. Именно это обстоятельство и выводило программу Пестеля за пределы истинного назначения декабризма, ибо Пестель думал не о свободе, а о победе. Что же касается свободы, то, поскольку завоевать ее трудно, да и вообще неизвестно, что из нее может получиться, самое верное — это установить временное (на десять лет) неограниченное правление, то есть диктатуру. В случае если десяти лет окажется мало, то особые обстоятельства позволят ее продлить. Особые обстоятельства могут быть разными. Об одном сообщает А.В. Пожио в своих показаниях:

«...“Я полагаю, что временное правление не продлится более одного года, а много-много два”. На сие он (Пестель. — А.Б.) мне возразил: “О нет, не менее десяти лет: ...разделение земель одно займет много времени... Что же делать! А впрочем, между тем можно будет обратить внимание общее на внешнюю какую-нибудь меру, как то: объявить войну Порте и восстановить Восточную республику в пользу греков”»<sup>1</sup>.

Как видим, диктатуру установить ничего не стоит: всегда может что-нибудь случиться, или можно найти, что случилось, или устроить, чтобы случилось.

Декабризм был общественным движением, стремившимся свергнуть абсолютизм, то есть диктатуру. И поэтому когда Никита Муравьев говорит о том, что насилие родит насилие, то это не церковноприходская банальность, а важнейший пункт спора с Пестелем о целях и способах изменения общественного строя. Никита Муравьев думал, что изменение общественного строя должно принести людям свободу, то есть счастье. Пестель полагал, что изменение общественного строя должно принести людям имущественное равенство. И, вероятно, недоумевал: о каком еще беспокоиться счастье, когда вот оно — вот, пожалуйста, — имущественное равенство.

В отличие от европейского общества, которое только влияет на государство, русское общество всегда само себе государство. Оно всегда было и навсегда осталось обществом генералов, сановников, вельмож, ученых-генералов, поэтов-сановников, клерикалов-вельмож. И никакая свобода этим генералам, сановникам и вельможам была не нужна, пото-

<sup>1</sup> Декабристы. С. 201.

му что та свобода, которая им требовалась, была у них в полной мере. Им было за что обожать свою власть, своего монарха, своего жандарма, свое отечество, свою верноподданническую литературу.

Декабристы, естественно, собирались выдвинуть совсем иной слой, и они так же, как и предшественники, стали бы добиваться, чтобы этот слой служил их государству. И добились бы. Только генералом стал бы подпоручик Лаппа, сановником прапорщик Бечаснов, вельможей штаб-лекарь Вольф. <...>

До победы было совершенно ясно, что общество, которое заняло бы место ушедшего, никак на прежнее не похоже, потому что Пушкин это не Дмитриев, Корнилович не Магницкий, а Пестель не Аракчеев. Но все это было ясно в годы, когда к победе только стремились. А если бы победили? Установили бы временное правление, и на смену диктатуре alexandroвских генералов, сановников и вельмож пришла бы пестелевская диктатура генералов сановников и вельмож. В обоих случаях подлежащее концепции — диктатура — остается. Подлежащее — главный член предложения, концепции, и оно подавляет все второстепенные члены.

Люди приходят и уходят. Диктатура остается. И пестелевская диктатура подавляла бы Пушкина с не меньшей энергией, чем alexandroвская, и диктатуре Пестеля, быть может, поэт, который не клонит гордой головы, был бы еще более отвратителен, чем диктатуре Александра.

Все это неминуемо, потому что обстоятельства, возникающие после революционного переворота в абсолютистской стране, требуют (или люди, совершающие переворот, думают, что требуют, или, зная, что другие так думают, пользуются этим) поступиться такими не являющимися жизненно необходимыми вещами, как демократия, искусство, во имя интересов народа, то есть государства, которое все делает для блага народа.

И тогда после нескольких месяцев или нескольких дней единодушия государства и общества начинается новое социальное расслоение, и снова одна часть общества яростно защищает свою власть, а другая — как всегда, меньшая и, как всегда, лучшая — борется с нею.

Победа декабризма была бы прекрасна и имела бы смысл лишь в одном случае: если бы она не отняла возможности бороться с ним. И эту возможность даже в России пытался предусмотреть Никита Муравьев и решительно отвергал Пестель. И он, конечно, был прав: таких диктатур, которые позволяют бороться с ними, не бывает. Нет ничего отвратительнее и страшнее диктатуры, независимо от побуждений, которыми она вызвана, и от целей, которые она ставит<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Статья «Страна рабов — страна господ...» дается в сокращении, главным образом, за счет цитат, приводимых автором. Впервые статья полностью опубликована в сборнике «Новый колокол» (Лондон; Нью-Йорк, 1972). Журнальные варианты вместе с сопроводительным текстом Н. Белинковой под названием «Любовь и ненависть Аркадия Белинкова» см. в: Время и мы. Нью-Йорк; Иерусалим; Париж, 1987. № 95. Под названием «Любовь и ненависть к отчизне» в: Грани. М., 1999. № 190. Все сноски принадлежат автору и оставлены без изменения.

## Глава 5

Наталья Белинкова

### ДРОБИ, МОЙ ГНЕВНЫЙ ЯМБ, КАМЕНЬЯ!

Не пуля Дантеса убивает поэта, а общество.

А. Белинков, «Юрий Тынянов»

*Поездка в Израиль отменяется. Левые в России становятся правыми, полав на Запад. Редакторские замечания американского издательства «Doubleday» совпадают с требованиями советского издательства «Искусство». Открытое письмо в ПЕН-клуб. Не податься ли обратно в Югославию?*

Явные признаки несовместимости беглеца из СССР и его западных коллег были поначалу восприняты нами как временные и преодолимые недоразумения.

Но они распространялись на широкие области, накапливались и постепенно перерастали в трагедию.

Желая помочь Аркадию «обустроиться» в новых условиях, Светлана Аллилуева устроила у себя дома встречу с Джорджем Кеннаном<sup>1</sup>, от которой остался горький осадок. Между дипломатом, блестящим и уверенным в себе, и эмигрантом, еще не освоившимся в новом мире, с первых же минут возникло напряжение. У каждого из них было свое мнение о России и о путях, по которым ей идти. К тому же Аркадий затронул «неприличную» тему: он был озабочен переправкой «самиздата» на Запад и «тамиздата» в Россию — следствие тщательного обследования спальных вагонов в международных поездах. Со стороны это, должно быть, выглядело мелким жульничеством. Кто знает, как бы Кеннан отнесся к проектам Белинкова, если бы сам испытал голод по свободной литературе в тоталитарной стране? Не исключено также, что бывший посол пришел с уже предвзятым мнением, и скрываемое им недоброжелательство сковало Аркадия. Светлана же рекомендовала его Кеннану как одного из умнейших людей России. В глазах последнего Белинков такой характеристики, по-видимому, не оправдал.

---

<sup>1</sup> Джордж Кеннан — бывший американский посол в СССР. Историки считают, что сформулированная им концепция невмешательства в период «холодной войны» надолго определила международную позицию США. Дж. Кеннан сыграл решающую роль в получении Светланой Аллилуевой политического убежища в Америке.

В год нашего бегства пост полномочного представителя Государства Израиль занимал Исаак Рабин, а пост пресс-атташе при посольстве — Наум Леванон.

Наум Иосифович Леванон посетил нас в Нью-Хейвене, едва только мы там обосновались, а потом навещал нас довольно часто.

С большим интересом и недоверием опытного дипломатического работника он выслушивал повествование Аркадия о нашем побеге, с глубоким вниманием государственного человека — рассказы о советском обществе и тенденциях в литературном мире, с очевидным удовольствием — о нашем удивлении перед наивностью американских интеллектуалов.

Я ставила на шатающийся кем-то выброшенный карточный столик под расписной клеенкой шикарный обед из американских банок. Приготовить такой обед не составляло труда, и в новинку он казался нам очень вкусным. Вместе с нами Леванон вежливо вкушал щедрую трапезу, но когда я, не удержавшись, похвалила компот из консервированных фруктов, он не стерпел: «Я тоже так питаюсь, когда жена оставляет меня одного!»

Что-то заинтересовало пресс-атташе в личности беглеца из тоталитарной страны, не находящего покоя и на благополучном Западе. До поры до времени он даже игнорировал белинковский космополитизм. Он что-то передумывал, пересчитывал... Однажды, как бы вне связи с темой беседы, признался с огорчением, что, по-видимому, в Израиле было неправильное отношение к первым репатриантам из СССР.

Спустя некоторое время он принялся хлопотать о приглашении Аркадия почетным гостем в Израиль. Уже начались переговоры с нашим адвокатом Робертом Найтом. Нам предстояло преодолеть иммиграционное препятствие — по въездным документам у нас еще не было права на возвращение в Америку, если мы ее покинем хотя бы ненадолго. Роберт Найт сказал, что это можно будет устроить.

Всего лишь оставалось произвести хорошее впечатление на израильского посла. Наша встреча с будущим премьером Государства Израиль состоялась в частном доме. За обедом, на котором нам полагалось ему понравиться, разговор вертелся вокруг «национального вопроса». Вспоминая наши недавние поездки в Польшу, мы с восторгом распространялись о поразившем нас так развитом у поляков чувстве достоинства, об их умении хранить свои национальные традиции... ну, еще и о роли католической церкви в борьбе с тоталитарными режимами... и, как всегда у Аркадия, о преступности советской системы...

Что-то в нашей экзальтации оказалось неуместным, неприемлемым. Нам дали это понять недвусмысленным и недипломатичным способом. Почетного гостя из Белинкова не вышло. Одной заботой для Роберта Найта стало меньше.

На исходе 68-го года Аркадий был приглашен с выступлениями в столицу страны, названную именем первого президента. За несколько дней, проведенных в Вашингтоне, он выступил в Институте советско-китайских отношений на тему о методах подавления интеллектуальной оппозиции в нашей стране, в Ассоциации преподавателей русского языка участвовал в дискуссии об оппозиционных настроениях в среде советских литераторов, в Университете имени Джорджа Вашингтона прочитал публичную лекцию о брожениях в литературных кругах в СССР, побывал на «Голосе Америки», встретился с хозяином магазина русских книг Виктором Камкиным, познакомился с яркой фигурой русской эмиграции Борисом Филипповым, вместе с Г.П. Струве издававшим многотомные собрания Мандельштама, Ахматовой и Гумилева. Поездка эта со всеми ее встречами была организована заведующей кафедрой Славянского отделения Джордж-Вашингтонского университета Еленой Александровной Якобсон<sup>1</sup>. Нас надолго связала с нею искренняя дружба.

Лекции и выступления Белинкова проходили с неизменным успехом — говорит как пишет, поражает эрудицией, собирает многочисленных слушателей, но вот беда: его взгляды на положение советского писателя и природу тоталитарного режима резко расходятся с представлением о стране социализма либерально настроенных студентов и преподавателей. Елена Александровна это предвидела, но была достаточно твердой и академической моде не подчинялась. Должно быть, она брала Белинкова в союзники.

Через два года после кончины Аркадия она организовала в своем университете ежегодные «Белинковские чтения». На первом чтении выступал известный деятель польского оппозиционного движения лауреат Нобелевской премии Чеслав Милош. В Славянском отделении университета ею была устроена «Полка Белинкова» — маленькая библиотечка диссидентской литературы в СССР — «самиздата», «тамиздата» и трудов западных специалистов на темы оппозиционного движения в социалистических странах. О событии были извещены все славянские кафедры американских университетов. Открытие «полки» было обставлено со всей торжественностью: большой портрет Белинкова, ленточка, которую разрезали, специальный фотограф. С подобающей случаю речью выступил Виктор Эрлих. Церемония открытия предваряла большой университетский вечер,

---

<sup>1</sup> Елена Александровна Якобсон — профессор Университета им. Джорджа Вашингтона, автор нескольких учебников и пособий по преподаванию русского языка. Одно время она работала на радиостанции «Голос Америки», была постоянным организатором многочисленных конференций, собраний, встреч. Она даже была переводчицей первой леди — жены президента Никсона. О себе самой она рассказала в книге: *Yakobson H. Crossing Borders. From Revolutionary Russia to China, to America.* N.J., USA: Hermitage, 1994.

посвященный Солженицыну, что в глазах участников усиливало многозначительность события.

Елена Александровна умело вводила нас в академическую среду американской интеллигенции, но предусмотреть, где именно мы наткнемся на подводные камни, было, конечно, не в ее силах.

В тот первый приезд в Вашингтон мы были приглашены на обед к Абраму Брумбергу, сотруднику Информационного агентства США. Предполагалось, что у него дома (в неформальной обстановке, что особенно ценится в Америке) Аркадий сможет ближе познакомиться с крупными американскими журналистами. И тут мы хорошо измерили пропасть между нами, прибывшими из медвежьей страны, и западными интеллектуалами.

Аркадий отправлялся на эту встречу хотя и с серьезными намерениями, но без больших иллюзий (опыт с Патришией Блейк в знаменитом «Тайм» его уже многому научил). Все же он не сомневался, что разговор пойдет на равных. Разговора на равных не вышло. На нас смотрели как на людей с другой планеты. Бестактные вопросы и замечания — нас давно остерегали от американских журналистов сами же американцы — спровоцировали нелিপеприятный обмен мнениями по поводу левизны ведущих американских газет. Нас поставили на место: «А чего вы, собственно, хотите? У вас же есть работа, которой вы зарабатываете на хлеб!» В подобных случаях взрывался Аркадий. В этот раз не удержалась я. Взывая к справедливости, я что-то восклицала — горячо и беспомощно. Женская истерика подлила масла в огонь. Защищая меня, Аркадий включился в резкую словесную перепалку. Кое-как досидели мы до конца обеда и ушли опустошенными.

В этом журналистско-издательском мире нам не годилось совать нос в чужие дела и расставлять свои оценки.

Но надо было вгрызаться в новую жизнь, приходилось поддерживать деловые отношения с самыми разными людьми. Примерно год спустя Брумберг заказал Аркадию статью для своего журнала. И опять что-то повернулось не так. Память, к сожалению, не удержала названия ни статьи, ни журнала. Однако сохранился черновик письма Аркадия, в котором он отказывался работать с Брумбергом: его редакторские манеры слишком напоминали советские. Письмо заканчивалось припиской: «С приятным воспоминанием о приеме-засаде, который Вы устроили в своем доме людям, только что пережившим разрыв со своей родиной».

Через 25 лет в России об этом приеме мне напомнил москвич С.И. Григорянц<sup>1</sup>, которого в тот день в Вашингтоне и в помине не было.

---

<sup>1</sup> Сергей Иванович Григорянц — борец за права писателей, организатор нескольких конференций международного значения на тему «Писатель и КГБ»

Оказывается, Брумберг, встречаясь с московскими писателями, хихикая рассказывал о том, «как мы провалили Белинкова». Для него это было только забавной историей. У нас ломалась жизнь.

Все же американские специалисты, особенно из тех, кто ездил в СССР по обмену, обращались к Белинкову то за советом, то за адресочком. Творческих секретов Аркадий не признавал и очень дорожил поддержанием связей между старыми друзьями и новыми знакомыми. Он старался посылать в Россию книги, теплые вещи. В редких случаях у нас брали письма. В этой скрытой от посторонних глаз деятельности Аркадий, как и в случае с журналом «Тайм», часто играл роль невидимки. На приеме в Университете штата Индиана к нам подсел тогда еще никому не известный профессор Карл Проффер. Он был очень мил и внимателен. Аркадий — доверчив. Проффер, готовившийся вместе с женой к поездке в Москву, получил от Аркадия адреса хранителей московских архивов, в частности Елены Сергеевны Булгаковой. Вскоре было создано крупное издательство Ardis, успех которого начался с публикаций материалов из архива Булгакова.

Долгие разговоры с коллегами в Йеле нашли свое отражение в статье Виктора Эрлиха «Surrender of Viktor Shcklovsky», которую он мне подарил на вечере, посвященном выходу в свет первого издания книги «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша».

Один нью-йоркский журналист часто ездил в СССР. Он печатался в «Литературной газете», одновременно ухитряясь встречаться с оппозиционно настроенными писателями и диссидентами. В частности, он стал своим человеком в доме Литвиновых. Однажды он заехал к нам в Нью-Хейвен перед очередной поездкой в Москву. Мы быстро собрали посылочку. Пока я ее заворачивала, гость и хозяин успели поспорить на тему об ответственности западной и советской интеллигенции перед человечеством. Что бы им поговорить о погоде!

Мне в тот день надо было попасть на радиостанцию «Свобода», и я отправилась в Нью-Йорк вместе с нашим гостем — сначала поездом, а последний отрезок пути — на сабвее. В сложной сети маршрутов нью-йоркского метро я еще плохо разбиралась и надеялась, что мой спутник меня в крайнем случае выручит. Начатый у нас дома разговор продолжился. Я записала его по памяти в тот же день. Запись сохранилась.

«Я (*передавая посылку*): Письма Вам никакого не даем, чтобы не испортить Ваши отношения с советской властью.

Он (*щеголяя знанием русского языка*): Добре.

Я: Пустяки писать нет смысла, а то, что Вы не захотите передать другое письмо, можно было догадаться по Вашим статьям.

Он: Добре.



Я: Вот свитер Павлу, сумка Флоре, часы Тане.

Он: Очень хорошо.

Объявляются остановки: "19-я стрит", "5-я авеню".

Он (*пытаясь шутить*): Теперь мы по крайней мере будем знать разницу между авеню и стритами.

Я: Да, в этом разобраться легче, чем в настроениях американской интеллигенции.

Он: Что Вы имеете в виду?

Я: Любовь к некоторым институтам, с которыми борются Синявский, Солженицын, Павел Литвинов.

Он: А именно?

Я: Социализму, коммунизму, тоталитаризму, диктатуре.

Он: Ну, где Вы таких нашли? Кого Вы имеете в виду?

Я: Вас!

Он: Зачем же так, Вы меня не знаете...

Я: Знаю по Вашим статьям в "Литгазете".

Он: А что... Я писал то, что думаю. Тане [Литвиновой] понравилось. Я писал, что здешние студенты анархичны и отклоняются от истинного марксизма. Если Вы это имеете в виду, то я за марксизм.

Я: Но ведь это смешно. Марксизм, который дает такие результаты, давно изжил себя.

Он: В том, что марксизм исказили, Маркс не виноват.

Я: Неужели результаты марксизма Вас ничему не научили?

Он: Нельзя же так чернить. О марксизме здесь спорят очень серьезные люди.

Я: Здесь спорят аргументами, а там кровью, нервами, жизнью.

Объявляется остановка "42-я стрит!"

Он: Ваша остановка.

Я: Счастливой поездки».

Пусть известный журналист, бывший завсегдаем в Москве и Переделкине, останется неназванным. Отсутствие подлинного имени выведет этот эпизод из частного случая в общую тенденцию.

Белинков отличался от своих коллег не только взглядами и методами исследования литературных произведений, но и поведением в быту. К пяти часам дня американские профессора отходили от книжных полок в университетских офисах, отодвигали стулья от солидных письменных столов, прекращая деловой разговор на полуслове, прощались с коллегами и, как заурядные бизнесмены, возвращались в свои чистенькие, беленькие домики.

Профессиональная часть жизни кончалась, и вступала в свои права частная. Иногда она прерывалась вежливыми приемами, о времени и ме-

сте которых приглашенные уведомлялись за месяц вперед подобающими случаю открытками. Состав гостей зависел от того, «принадлежали» вы или «не принадлежали». Белинков принадлежал, но не вписывался. К такой форме социального общения, как small talk — болтовня, умение говорить ни о чем, он оказался не способен. В споре Аркадий не умел быть беспристрастным. Для него литература была не профессией, а формой существования. К сожалению, советская литература, которой он занимался, была связана с политикой. И за это он уже дорого заплатил. Он не мог оставить часть себя за закрытой дверью канцелярии после пяти часов вечера. Канцелярии не было.

Внешний мир вламывался в дома заголовками газет, последними новостями с телевизионного экрана, письмами со всего света. Но из частных домов его изгоняли. На церемонных приемах в Новой Англии говорить о своей работе, беде, болезни, а тем более о политике считалось и, должно быть, и сейчас считается дурным тоном. Да и наши студенты, выслушав рассказы о том, как мы проводили вечера с друзьями в России — откровенный разговор по душам, сообщение о передачах иностранных радиостанций, обмен мнениями о последних событиях, которых наши подцензурные газеты и не касались, — удивленно спрашивали: «Зачем же собираться, чтобы говорить о неприятном?» Политикой, этим грязным делом, предоставляется заниматься конгрессменам, сенаторам, обозревателям новостей и, конечно, президенту страны. Политический аспект, привнесенный в разговор, лекцию, статью, — это пропаганда. «Пропаганда» — ругательное слово. Специалист по литературе и пропаганда? Две вещи несовместные. Над откровенным антисоветизмом Аркадия, оказывается, тихонько посмеивались. Мы не знали этого, но чувствовали себя не в своей тарелке. «Почему, пока вы в России, вы все левые, а когда приезжаете сюда, становитесь правыми?» — откровенно спрашивали нас более молодые коллеги. Но к критике американского образа жизни, что было модно в либеральных кругах в 60-е годы, мы еще не были готовы. Какое бы уважение мы снискали, если бы, как приезжавший из СССР Евтушенко, публично скорбели о том, что «звезды скатываются с американского флага»!

В Йельском университете составляли программы на следующий (70/71-й) учебный год. К великому облегчению декана факультета Александра Шенкера, сменившего Виктора Эрлиха, Аркадий отказался от повторения семинара «Государство и писатель». Он предложил совершенно аполитичный (на первый взгляд) курс «Двенадцать лирических стихотворений в русской поэзии». Радость декана была безмерна. В ответ Аркадий в длинной темпераментной речи стал доказывать, что радоваться нечему, что русская литература никогда не была аполитична, что эстетские стихи Пушкина — это такие политические стихи, что даже ритм русских стихо-

творений диктуется дыханием времени. И, цитируя Блока, неистово кричал в трубку: «Дроби, мой гневный ямб, камня!» (Разговор происходил по телефону.) Декану становилось яснее ясного, какой курс собирается читать его коллега.

Между тем иллюзия, что операция на сердце дала хорошие результаты, мало-помалу испарялась. Усилились и уже не прекращались боли в груди. Не хватало свежего воздуха, и теперь даже зимой Аркадий работал за письменным столом у открытого окна. Число студентов сократилось. Семинары были перенесены на дом. Они прерывались, если преподаватель оказывался в больнице. Но и из больницы он продолжал руководить своими учениками. А однажды врачи разрешили ему уйти «в отпуск». Аркадий прочитал лекцию в Колумбийском университете о методологии преподавания русской литературы и вернулся долеживать в больницу.

Причины, по которым Аркадий не вписывался ни в университетскую, ни в журналистскую среду, сублимировались постепенно. Но кризис наступил сразу.

К весне 1970 года (конец учебного 69/70-го года) атмосфера на кафедре резко переменилась. Репутация Аркадия (и как ученого, и как писателя) перестала играть прежнюю роль. Многочисленных блестящих лекций в университетах Америки как будто не было. Печатных работ, как в СССР, так и за рубежом, как будто не существовало. Бывшее членство в Союзе писателей, приравнивавшееся в СССР к кандидатской степени, во внимание не принималось. Прием в члены международного ПЕН-клуба никого не касался. Начались разговоры о том, что занимаемая Белинковым ставка — временная. Роберт Найт уже не занимался нами так, как раньше, и не у кого было спросить, откуда была получена и куда уплывала ставка. Эрлих, принимавший нас на работу, давал по этому поводу весьма туманные объяснения. Возможно, что нам, как беженцам, была обеспечена только временная помощь из неизвестных нам фондов или (что сомнительно) государственных источников. Последнее в глазах прогрессивной американской интеллигенции и вольнолюбивых студентов считалось зазорным. Может быть, факультет хотел административно очиститься, может быть, надо было избавиться от Белинкова из-за его «реакционных» взглядов, может быть, он просто не оправдал возложенных на него надежд.

Для продолжения работы в университете были выдвинуты новые условия. Вдруг возникла необходимость обзавестись американской докторской степенью и для этого сдать соответствующие экзамены, написать диссертацию и, конечно, овладеть английским языком. Без выполнения этих условий, обязательных для каждого американского аспиранта, делающего первые шаги в избранной им специальности, то есть без получе-

ния полноценной американской докторской степени Ph.D.<sup>1</sup>, контракт на работу не возобновлялся. Аркадию предлагалось принять участие в спектакле «Сдача экзаменов на профпригодность».

Признаться, что вас выживают из университета, где вы в данный момент преподаете, невозможно. Вы начинаете искать работу в другом месте, а вам говорят: «Вы хотите уйти из Йеля? Да это лучший университет страны!» Тогда вы — в зависимости от географического нахождения другого места работы — лепечете, что мечтаете жить в большом городе с музеями и концертными залами или что врачи вам советуют уехать в глухую деревню на свежий воздух... Вам, конечно, не верят.

Тогда и полетели письма в Европу: в Мюнхен на радиостанцию «Свобода», в «Институт по изучению СССР», друзьям в Восточную Европу. Аркадий писал их и в госпитале, и дома в промежутках перед госпитализациями. Письма были деловые, отчаянные, шуточные. «В одной из газет я прочитал приблизительно следующее: “Колледж Св. Антония, Оксфорд, Англия, остро нуждается в преподавателях русской литературы, языка, истории и социологии. Низкая квалификация претендентов не может служить препятствием для получения должности. Главное требование — сносное знание русского языка”». Закончив цитату, почерпнутую из «Нового русского слова», Аркадий добавил: «Могли бы еще написать: “и не является полным идиотом”... Если главное достоинство претендентов — это невежество, то, может быть, и у меня есть некоторые шансы на получение должности в одном из лучших университетов. ...Конечно, нам хотелось переехать в Европу, и, если для этого нужно утверждать, что “Кавалер Золотой Звезды” написал Лев Толстой, то я это сделаю не хуже профессора Джаксона, Yale University, или профессора Терпаса, Pennsylvania University, и профессора Поплюйко, George Washington University».

Отсюда, по-видимому, и возникло представление о том, что Аркадий «не полюбил Америку». Но он выбирал не страну, а рабочую среду.

Казалось, что отдушина нашлась в Университете штата Индиана, где его уже хорошо знали по семинару о Солженицыне и готовы были принять на работу нас обоих. Здесь тоже надо было создать видимость прохождения через аспирантуру, но в более «щадящем режиме», как выражаются врачи. Вместо диссертации засчитывалась либо готовая книга об Олеше, либо материалы к книге о Солженицыне (по выбору автора). Вместо экзамена предстояло собеседование с коллегами, а не с экзаменаторами. Английский язык? Достаточно было, что Аркадий им уже занимается. По этому поводу сохранилась переписка Белинкова с профессорами уни-

---

<sup>1</sup> Ph.D. — американская ученая степень. Получивший эту степень в Америке называется «доктором». Советская ученая степень «кандидата наук» в США приравнивается к Ph.D.

верситета М. Фридбергом и Б. Эджертоном: «У нас, как и повсюду, еще не изжиты пережитки канцелярщины... описывать Вам подробности докторской и магистратской программ (последняя предназначалась для меня. — *Н.Б.*) почти неловко, так как, в сущности, вы наши коллеги, а не начинающие аспиранты. Другое отношение к вашим программам с нашей стороны было бы немыслимо как для вас, так и для нас». Как резко это отличалось от письма ректора родного Йельского университета: «Если Вы будете зачислены [в аспирантуру], Вы будете обязаны выполнить все обычные условия, которые требуются от дипломников и аспирантов».

Но и в Индиане не все шло так гладко, как хотелось бы. Преподаватели, участвующие в программах по обмену с Советским Союзом, выразили беспокойство. Если антисоветчики Белинковы станут их коллегами, то как бы не сорвалась университетская программа по обмену. Поездки в СССР — вещь, важная для карьеры. (Замечу, что слово «карьер» не имеет на Западе отрицательного оттенка.) К ректору обратилась с протестом целая делегация — в нее вошли, как нам сказали, знакомые нам люди: профессор Проффер и племянница того дяди Марка, который в первые дни предлагал нам денег.

Аркадий продолжал просить ректора Йельского университета о допуске к экзаменам в аспирантуру и одновременно подавал бумаги в Университет штата Индиана. О том, что в «спасительной» Индиане климат невыносим даже для здорового человека, мы тогда не подумали. Последние свои дни Аркадий тратил на составление списков прочитанных курсов, рецензий на свои работы, заполнение анкет.

Обоим университетам «повезло». Ни одному из них не пришлось ни увольнять Белинкова, ни отказывать ему в приеме на работу.

Аркадий чувствовал, что на последнем жизненном экзамене, который он назначил себе сам, он проваливается: побег оказывался безрезультатен, жертвы, принесенные свободе, — бессмысленны. И еще был стыд — ему казалось, что его жизнь — так, как она сложилась в Америке, — компрометирует Запад его мечты. Как он боялся, что обо всем этом станет известно московским друзьям и знакомым!

Стало известно. Один из первых «легальных» эмигрантов третьей волны привез в Америку вопрос нашей московской среды: «В чем же заключалась трагедия Белинкова?» Тогда я ответить на этот вопрос не сумела. Пытаясь разобраться в трагедии сам, мой собеседник привел слова неизвестного мне агента ЦРУ: «Белинков совсем не понимал американской интеллигенции и не был ею принят»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Глазов Ю. Адаптация // Новый мир. 1998. № 3. С. 156.

Сам Аркадий тоже хотел понять, что происходит. Он задумчиво повторял: «Они не плохие люди, они — другие». Принят — не принят. Само по себе его это не очень беспокоило. Беспокоило то, что «Олеша» еще не издан, трилогия еще не завершена.

Но издательские поезда двигались медленно. Книги его были длинными, с лирическими отступлениями, с литературоведческими обобщениями, с политическими обвинениями, с притчами, подтекстом и иронией. Переводить их было трудно. Второй план, который схватывался на лету в России, здесь был чужд, непонятен и потому, казалось, не нужен. Аркадию предлагали изменения: смягчить, сократить, подстричь под общую гребенку, привести к общему знаменателю.

В январе 1970 года редактор русского отдела «Doubleday» мисс Лина Деминг прислала четыре страницы замечаний по рукописи «Олеша». Большею частью они были связаны с требованием убрать или сократить экскурсы в русскую историю, размышления о сходстве различных тиранических режимов, обращения к советской истории, параллели между СССР и Германией, цитаты из нацистских документов, а также атаки, как ей показалось, личного характера по адресу отдельных советских литераторов, в частности «выдающегося советского критика Шкловского». Цитирование советской прессы тоже показалось ей ненужным и подлежало удалению. И, самое главное: «статистические данные, подтверждающие упадок советской литературы», являются «бесмысленными для западного читателя. То же относится и к вкладу Олеша в этот процесс».

Спрашивается, что же оставалось от книги «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша»?

Советский писатель сумел напечатать в сибирском журнале «Байкал» то, что свободному человеку невозможно напечатать в нью-йоркском издательстве Doubleday.

Через четыре месяца Аркадия не стало. Вместо трех книг издательство решило было выпустить одну. Предполагалось, что в нее войдут отрывки из его книг о Тынянове и Олеше, черновики из книги о Солженицыне и мой краткий обзор современной литературы — эдакий Тянитолкай в разные стороны! Со мной даже перезаключили старый договор, что, казалось, говорило о серьезных намерениях издательства. Но вскоре кто-то опомнился. Договор был расторгнут еще до предоставления рукописи.

Были свои проблемы (а иногда и курьезные недоразумения) и с русскими изданиями.

Сотрудница издательского отдела радиостанции «Свобода» уговаривала Аркадия издать книгу о «Тынянове» (это не опечатка!) в объеме двухсот страниц. И такой книжечке предстояло заменить исправленное и дополненное третье издание, подготовленное автором для «Советского писателя»! Во втором издании «Юрия Тынянова» было 635 страниц. В тре-

тьем, набор которого был рассыпан после нашего бегства, должно было быть около тысячи.

Но больше всего трудностей возникло со «Сдачей и гибелью советского интеллигента». Об издании этой книги на русском языке Аркадий вел переговоры с издательствами «Фонд Герцена», «Fink Verlag», «Mouton». Переговоры затягивались. Снова все упиралось в объем.

Еще сложнее дело обстояло с Народно-трудовым союзом, издававшим журналы «Посев» и «Грани».

Там готовы были напечатать всю книгу, но с тем только (на мой взгляд, естественным) условием, что на титуле будет помещена логограмма «НТС». Возникла щекотливая переписка. Аркадий был непоследователен. Он делал издательству комплименты: «НТС — единственная серьезная политическая антисоветская организация». В то же время он хотел избежать обнародования своей связи с организацией, которую к тому времени не успел хорошо узнать. По складу своему он не терпел никаких организаций.

«Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» долго оставалась рукописью. Когда я начала хлопоты по ее изданию уже после кончины Аркадия, я получила совет профессора Чижевского, переданный мне Виктором Франком: издавать книги размером не более двухсот страниц. В рукописи «Олеши» их было около тысячи.

Книгу удалось выпустить в свет только в 1976 году в Испании не без помощи издательского отдела «Свободы» (часть тиража за мой счет, подготовка к печати, вычитка корректур, предисловие — мои). Книга напечатана в русской типографии Алексея Владимировича Ставровского в Мадриде по совету нью-йоркского печатника Александра Доната<sup>1</sup>. В Испании печать и бумага были дешевле, чем в США. Второе (сокращенное) издание «Олеши» вышло в Москве в 1997 году.

Через год после побега Аркадий понял: ему не преодолеть пропасти, отделяющей его от «либеральной» интеллигенции Запада. Может быть, из Америки надо бежать? Позади Россия, Польша, Чехословакия. Куда? В Югославию!

Завязывается переписка с югославскими литераторами<sup>2</sup>.

Аркадий Белинков: «Я не могу тосковать по своей родине: больше ее нет, и не будет. Но я могу позволить себе счастье отчаяния тосковать по близкой земле».

---

<sup>1</sup> А. Донат был владельцем единственной в Нью-Йорке типографии, располагавшей русскими шрифтами. У него набирался «Новый колокол». А. Донат — составитель уникальной антологии «Неопалимая купина» (Нью-Йорк, 1973), в которой собраны еврейские темы в русской поэзии от Симеона Полоцкого до В. Высоцкого.

<sup>2</sup> Ниже приводятся выдержки из писем из личного архива Белинкова.

Далибор Брозович: «Диапазон и потенциал Вашего духа слишком широки и глубоки для югославских масштабов. Люди Вашего калибра и в Югославии — “внутренние эмигранты”, они действуют в международном плане — живут за границей, а живут в Югославии, так как их родина в Югославии. Но Вы не южный славянин, почему Вам ехать и работать в такой глуши? С другой стороны, все-таки ясно, что для Вас Америка тоже не подходит».

Аркадий Белинков: «Вы и Ваши друзья возвращаете меня в атмосферу привязанностей и интересов, с которыми я прожил всю жизнь и от которых отказаться я не смогу никогда».

Милон Добрович: «Мы все, кто помнит Вас и имели счастье слушать Ваши замечательные выступления и читать Ваши выдающиеся труды, счастливы и рады, что увидим Вас снова в нашей стране».

Не скрою от Вас, что в наших кругах, как научных, так и политических, некоторые высказывают взгляды, что прибытие в Югославию такого известного человека, как Вы, сопряжено с небезопасностью лично для Вас со стороны советской полиции и вызовет серьезные трения между югославской и советской стороной, чего наши функционеры считают нежелательным».

Аркадий Белинков: «Я мог бы принести некоторую пользу Вашей стране, а для меня это значит и своей».

Далибор Брозович: «Здесь [в Америке] пропадете непременно. У Вас нет иммунитета к Западу. Вам надо жить одной ногой в славянском мире. Для Вас самое лучшее было бы жить и работать в Вене, приезжать часто, хотя бы и только в Югославию, и уезжать, когда угодно, с западным паспортом в кармане. В Вене — хороший университет... Вас возьмут, как только им дадите намек...»

Аркадий Белинков: «Я не ответил сразу же, потому что на следующий день должен был встретиться с Фрицем Франклом и корреспондентом ТАНЮГ Богоевичем. Это была очень дружеская, очень неофициальная и очень откровенная встреча. Я думаю, что понял правильно этих людей, трудности положения Вашей страны исключают, по крайней мере сейчас, мое официальное пребывание там и, в частности, получение политического убежища (на что я смотрю как на самый отдаленный пункт всей программы)».

Переписка оборвалась и не возобновилась.

Через несколько недель Аркадий перенес операцию на сердце. Трудно сказать, продлила она его жизнь или сократила. Ему суждено было оставаться в Америке еще год и бросить вызов распространенному в то время либеральному мнению: государственный строй тоталитарной страны прекраснее демократического.



В сентябре 1969 года во Франции в Ментоне происходил конгресс ПЕН-клуба. На повестке дня — вопрос о положении писателей в СССР. Только что ставши членом международного клуба (секция «Русские писатели зарубежья»), Аркадий Белинков обратился к конгрессу с открытым письмом «Западная интеллигенция, советская оппозиция и свобода, которой угрожает смерть», выступая не столько против притеснений интеллектуальной свободы в Советском Союзе, сколько против западных либералов, непомерные восторги которых от «успехов и достижений» Страны Советов неминуемо делают из них пособников тоталитарного режима.

Под письмом стоит двойная дата: 27 июня 1968 года — 10 сентября 1969 года. Первая — день, когда мы приземлились на международном аэропорту имени Кеннеди. Последняя — день, когда обращение было закончено.

Письмо это перевел на английский язык и в сокращенном виде доставил на конгресс Алексис Раннит.

О причинах недовольства западным образом жизни и заигрывания интеллигенции свободных стран с советским руководством (или наоборот, советского руководства с западной интеллигенцией) высказались и другие русские литераторы, те, что на себе испытали ограничение творческой свободы по-советски и в 60-е годы сумели перебраться на Запад.

«На Западе есть множество людей, недовольных по тем или иным причинам жизнью. Против правительств, против существующих гнилых государственных институтов бунтует их гордый дух. Они бичуют, протестуют, разоблачают, они “глаголом жгут сердца людей”. Они придерживаются разных взглядов, — но все они с удовольствием называют себя левыми.

Эти люди видят в своих странах только темные стороны, только скверные, отталкивающие явления. Но если так, то должен же быть где-то другой, светлый полюс. С целью его отыскания они едут на месяц в Советский Союз и возвращаются в полном восторге»<sup>1</sup>.

«Советский Союз — фашистская страна. А на Западе все толкуют о каком-то диалоге с этим миром, о каких-то надеждах на либеральные преобразования в СССР, о каком-то коммунизме с “человеческим” лицом.

И вот, воспитанные среди западной демократии, некоторые писатели приезжают в СССР, сразу же получают полный комплект потемкинских деревень, деньги, водку, икру (которой, кстати, сами русские не видят) — и растаивают от удовольствия. С ними работают сотрудники КГБ, а они ведут с ними “диалоги”»<sup>2</sup>.

С письмом Белинкова в ПЕН-клуб повторилось то же, что и с письмом в Союз писателей СССР. Оно не было оглашено, не было напечатано в

---

<sup>1</sup> Владимиров Л. Западные либералы и СССР // Зарубежье. 1969. № 4.

<sup>2</sup> Кузнецов А. Обращение к ПЕН-клубу // Зарубежье. 1969. № 12.

свободной западной прессе (кроме одного журнала — немецкого «Ориентирунг») и валялось на столе конгресса вместе с другими второстепенными материалами «для ознакомления».

В первоначальном варианте письмо опубликовали только в русской зарубежной прессе, где оно получило неожиданное освещение и вызвало широкое обсуждение. С лихвой возместив молчание западных газет, полемику начал известный парижский критик. Он громко возмущался тем, что Белинков тянет всех иностранцев под свою «стену плача»; он рьяно отстаивал право западной интеллигенции на выбор любой идеологии, включая марксистскую; отвергал необходимость поддержки оппозиции в СССР и заканчивал сногшибательным заключением: «Для советских людей остается только один путь к освобождению, но он ведет не через заграничные ПЕН-клубы, а через советские каторги и тюрьмы... — И, обращаясь к автору письма: — Терновому венцу полагается быть на голове, а не в петлице»<sup>1</sup>.

У литератора, по тогдашней терминологии «новейшего», последние строки вырвали вопль возмущения, вынесенный в заголовок его статьи: «Знает ли Рафальский что-либо о Белинкове?»<sup>2</sup>

У «старых» эмигрантов, как у тех, кто недолюбливал свою смену, так и у тех, кто приветствовал ее, статья Рафальского вызвала возмущенный поток писем и статей в «Новое русское слово». Некоторые читатели угрожали прекратить подписку на газету.

Один из ее постоянных авторов сообщил, что он провел опрос среди выходцев из России в городке, где он живет и работает, и получил соотношение десяти к одному против статьи Рафальского<sup>3</sup>.

Другой нашел, что к концовке статьи Рафальского только и остается, что прибавить: «Крови, Яго, крови!»<sup>4</sup>

Третий выразил уверенность, что письмо Белинкова — образец «новой русской стали, из которой со временем выкуется тот меч, который и отрубит голову “научного ленинизма”»<sup>5</sup>.

Сам Аркадий ответил критику через редактора газеты Андрея Седых:

*М.г.г. редактор!*

*В статье «Путь к освобождению» С. Рафальский призывает меня бороться с советской властью «не через заграничные ПЭНКлубы, а через советские каторги и тюрьмы».*

*Я не думаю, что этот путь единственный и лучший.*

<sup>1</sup> Рафальский С. Путь к освобождению // Новое русское слово. 1969. 29 сент.

<sup>2</sup> Штейн Э. Знает ли Рафальский что-либо о Белинкове? // Там же. 1969. 11 окт.

<sup>3</sup> Бондаренко В. Дорога в кабалу // Там же. 1969. 10 окт.

<sup>4</sup> Галин Г. И не смешно и не грешно // Там же. 1974. 20 июля.

<sup>5</sup> Женук С. О пути к освобождению // Там же. 1969. 13 окт.

Я пришел к этому заключению не сразу. Перед этим мне пришлось просидеть тринадцать лет в советских тюрьмах и лагерях. Теперь я пробую другие способы борьбы с советской властью. В изгнании они бывают не менее трудными, чем в России, но я надеюсь, что здесь они будут более плодотворны.

Аркадий Белинков<sup>1</sup>.

Письмо в ПЕН передавали по Би-би-си, «Голосу Америки», «Свободе», оно распространялось в «самиздате», и о нем расспрашивал А.Д. Сахарова заместитель Главного прокурора СССР Маляров. «Я считаю Белинкова выдающимся писателем-публицистом. В частности, я высоко ценю его письмо в ПЕНклуб, в котором он протестует против притеснений интеллектуальной свободы в Советском Союзе»<sup>2</sup>, — ответил Андрей Дмитриевич.

«В чем дело? Почему нам здесь так трудно?» — спросила я как-то своих американских друзей. «Наташа, — сказал Макс Ралис, — там вы заранее могли предвидеть реакцию на ваши слова и поступки. Здесь для вас все непредсказуемо». Вскоре Аркадий эту непредсказуемость сформулировал в парадоксальную формулу: «так называемая “либеральная” интеллигенция — это сейчас господствующий класс».

В одной из своих лекций он насчитал двенадцать крупнейших ошибок западных специалистов по Советскому Союзу:

*«1918 год. Советский Союз не продержится и полугода.*

*1924 год. Раздираемая внутрипартийными распрями после смерти Ленина советская власть потеряет контроль над страной и будет заменена более жизнеспособным режимом.*

*1929 год. В стране с отсталой промышленностью, окончательно разрушенной мировой и гражданской войнами, индустриализация в масштабе, предусмотренном пятилетним планом, неосуществима. Советский Союз вынужден будет обратиться за помощью к развитым западным государствам, а это неминуемо приведет к зависимости от капитализма и перерождению большевистского строя.*

*1929 год. Массовая коллективизация в стране вызовет жестокое сопротивление крестьян, которое может привести к гражданской войне и падению непопулярного правительства.*

*1937 год. Уничтожение наиболее видных деятелей партии, вождей революции должно привести и уже приводит к резкому ослаблению советского строя.*

*1939 год. Союз Сталина с Гитлером ставит Советский Союз в положение катастрофической изоляции, которая окажется для него губительной.*

---

<sup>1</sup> Белинков А. Письмо в редакцию // Новое русское слово. 1969. 12 окт.

<sup>2</sup> Sakharov Dialogue with Malykov // The New York Tomea. 1973. Aug. 29. P. 73.

1942 год. Потери, понесенные советской Россией, настолько велики, что шансы на победу в войне фактически равны нулю.

1945 год. Война нанесла такой ущерб народному хозяйству страны, что без экономической помощи Соединенных Штатов восстановление нормальной жизни населения не представляется возможным. Экономическая помощь Соединенных Штатов будет, несомненно, сопровождаться политическими условиями.

1956 год. Мир узнал из чудовищных разоблачений, сделанных в докладе Никиты Хрущева, какие средневековые преступления с пытками, казнями, уничтожениями целых общественных групп и народов творились в стране, в которой все либерально и демократически настроенные люди на Западе видели социальное обновление мира. Это разоблачение трижды благотельно, потому что оно служит подлинной и надежной гарантией, что какое бы то ни было пренебрежение демократией не будет допущено.

1962 год. Смертельный конфликт этих держав (Советского Союза и Китая) в ближайшее время приведет к вооруженному столкновению между ними, финалом которого будет изменение государственной и общественной систем этих держав.

1966 год. Процесс над писателями Синявским и Даниэлем показал слабость власти, основанной на терроре, и силу либеральной интеллигенции, которая заставит правительство пойти на либеральные реформы.

1968 год. Вооруженное вмешательство в дела Чехословакии безусловно исключено.

Что я вам прочитал? Выдержки из высказываний американских советологов.

Теперь я могу ответить на вопрос, который больше, собственно, озадачил вас, чем меня. Вопрос был такой: знаю ли я, что во всех своих устных и письменных высказываниях, во всей своей концепции преступности и неминуемости и конечной победы советской власти непримиримо расхожусь со всей американской советологией?

Я непримиримо расхожусь с американской советологией, стоящей на уровне домашнего самообразования».

Через два десятка лет после того, как мы вступили на землю Соединенных Штатов, Союз Советских Социалистических Республик был назван «империей зла». Берлинская стена пала. СССР распался. Западная либеральная интеллигенция продолжает упорствовать в своих заблуждениях.

Говорили, что Белинков не был готов к Западу. Может быть, Запад не был готов к Белинкову?

# ЗАПАДНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, СОВЕТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ И СВОБОДА, КОТОРОЙ УГРОЖАЕТ СМЕРТЬ

## Открытое письмо в ПЕН-клуб

В литературе так много легких вещей, что их уже и не хочется делать. Не стоит сравнивать глаза женщины с бирюзой, а с жемчугом — зубы.

В прекрасном курортном городе Ментоне, расположенном в 2877 километрах от Москвы, легко выразить неодобрение Союзу писателей СССР за то, что он не защищает своих членов. Это легко и безопасно и, может быть, даже нужно, если приходится выбирать лишь между неодобрением и равнодушием.

Гораздо труднее, и безусловно более необходимо, в этом курортном городе сказать людям, которые считают себя гуманистами и либералами, что они пособники секретарей Правления Союза советских писателей и палачей и что их пособничество привело к гибели Мандельштама и Цветаевой, сговору Сталина с Гитлером, расстрелу венгерского восстания, травле Пастернака, суду над Синявским и Даниэлем, оккупации Чехословакии, трагедии Солженицына. Это вы вместе со своими советскими товарищами по перу обожествляли Сталина, это вы вместе с советскими прокурорами обвиняли на процессах 37-го года, это вы пишете о том, что писатели, бежавшие из советского застенка, — шкурники.

Люди, которые убили Мандельштама и Бабея, Пильняка и Цветаеву, делают свое дело, потому что они советские коммунисты и их делу не следует удивляться, как не удивляемся мы делу хорька, который душит ни в чем не повинные и беззащитные существа. Отвратительное животное нельзя ни перевоспитать, ни исправить, ни научить нравственности. Его нельзя порицать, его нужно уничтожить.

Гораздо хуже то, что мы не можем перевоспитать, переубедить и заставить задуматься людей, которые сами неповинных и беззащитных существ не душат, но уверяют нас, что в определенные эпохи это, увы, исторически неизбежно. Еще труднее заставить опомниться тех, кто вообще удушение категорически осуждают, но клянутся, что если бы пришли дру-

гие более образованные и молодые хорьки, то они Осипа Мандельштама и Марину Цветаеву ни за что бы не задушили. Нас просят, нас умоляют подождать, когда придет образованный и интеллектуальный, слушающий Би-би-си и имеющий диплом Московского государственного университета подлинный советский хорек.

Подпрыгивая от заложенного в них гуманизма, эту концепцию на разные голоса излагают некоторые советские и многочисленные западные интеллигенты.

В связи с озадачивающей оригинальностью аспекта возникают разнообразные вопросы, из которых я считаю важным выделить более академический: какой дурак лучше?

Я спрашиваю вас: какой дурак лучше — советский или американский (французский, голландский, мадагаскарский)?

Хорошо. Я отвечаю на этот вопрос вместо вас, и, поверьте, не только как патриот своей великой советской родины, но главным образом как человек, стремящийся только к подлинно научной истине: советский дурак лучше. Он лучше потому, что страстно, самоотверженно хочет стать умным, но на его пути стоит неумолимый социально-экономический процесс. Ему гораздо, просто неизмеримо труднее быть умным, чем американскому дураку, которому созданы все условия для самоусовершенствования и который пренебрежительно отворачивается от них. Роковая безвыходность состоит в том, что американский дурак может быть умным, но из высших соображений не хочет, а советский не может. Советский дурак обречен, потому что его надежда на исправление советской власти вызвана тем, что практически он не может получить надежную информацию, которая опровергла бы безумное заблуждение. Американский дурак может. Он хуже советского, потому что пренебрегает информацией, которой от него не прячут, либо плохо понимает ее, либо не доверяет ей.

В то же время советским дураком быть выгоднее, чем американским; глупость может сохранить ему жизнь, а при удачных обстоятельствах даже выстроить дачу.

В Советском Союзе на глупость можно выстроить дачу, а в Америке нет.

Вы не доверяете этой информации? Напрасно. Каждый человек в Советском Союзе, обладающий хоть крупницей ума, понимает всю противоречивость, бесчеловечность, бессмысленность этой власти, а за такое понимание в моем отечестве вместо дачного участка дают участок на лесоповале недалеко от города Потья (Мордовская АССР). Многие советские писатели выбирают дачный участок в Переделкине. Сейчас пойдут некоторые дефиниции. Некоторая часть жителей Переделкина переезжает туда не только потому, что обладает наиболее распространенной и наименее социально опасной формой глупости — отсутствием ума, но

потому, что обладает другой и гораздо более опасной формой глупости — лицемерием. Лицемерие — это такая форма, когда советский писатель все очень хорошо понимает, но пишет о том, как прекрасна советская власть.

Для того чтобы вам стало ясно, почему так стимулируется советский дурак, я расскажу вам случай, который некоторым из вас может показаться занимательным, а другим — не лишенным обобщающего значения.

Через несколько месяцев после смерти Сталина и через несколько дней после расстрела Берия нас, заключенных 9-го Спасского отделения Песчаного лагеря КГБ СССР<sup>1</sup>, согнали на поверку, и заместитель начальника лагерного отделения по политработе капитан Ветров закричал:

— Партия и правительство идут навстречу пожеланиям; кто будет хорошо работать, того будем хоронить в гробах!

До этого хоронили иначе — бирка к ноге.

Я рассказал вам этот занимательный эпизод не в жанре «картинки быта и нравов», а для обобщения.

Это эпиграф ко многим институтам Советского Союза и даже к такому ответственному, как взаимоотношения государства и общества.

Общество должно отдавать Советскому государству все; назад получает оно немного: кто хорошо работает, того хоронят в гробах. И общество старается работать хорошо. Особенно интеллигенция. Для того чтобы хоронили в гробах, она пишет подлые романы и романсы, ставит спектакли, снимает фильмы, создает концепции и межконтинентальные ракеты.

Тем, кто не хочет писать романсы и создавать концепции для этого государства и в формах, которые требует это государство, привязывают бирку к ноге.

Гробы в Советском Союзе имеют разнообразную форму. Для особенно выдающихся они приобретают форму вышеописанных переделкинских дач, автомобилей и государственных лупанаров.

Гробы американских (французских, голландских, мадагаскарских) интеллигентов имеют другую форму и несут иную функцию.

Американский (французский, голландский, мадагаскарский) интеллигент чаще всего нахваливает советскую власть и уверяет, что она с каждым годом становится все лучше, не за дачу в Кейп Коде.

Дача в Америке стоит недорого, и в конце концов ее можно купить, не делая гадость, а заработать, правдиво описав бензоколонку. Разнообразии гробов и изощренности их использования в современном мире, переживающем неслыханные социальные и невиданные психологические ка-

---

<sup>1</sup> А.Б. неточен: КГБ был образован только в марте 1954 года, до этого, с марта 1953 года, его функции принадлежали МВД СССР, объединившему бывшие МВД СССР и МГБ СССР. — *Примеч. ред.*

таклизмы, часто таковы, что явному предательству они предпочитают форму благородного стиля.

Почему Сартр нахваливает советскую власть? Потому что ему не нравится система французского образования, ханжество буржуазии, не одобряющей его не оформленный законом брак, и реакционные тенденции V республики. И когда он спорит с Французской республикой, он приводит в доказательство Союз Советских Социалистических Республик. Когда же Советский Союз делает что-либо неприятное (сажает писателей в тюрьмы, развязывает войны и преследует евреев), то Сартр обижается на него. И это можно понять: ведь даже Сартру очень трудно выдать оккупацию Чехословакии за освобождение человечества от мрака Средневековья. И тогда он снова получает дивиденд: он порицает великую прогрессивную колониальную державу и, таким образом, выигрывает в объективности.

Все, что я говорю здесь, обращено против интеллигенции, которая называет себя «либеральной», потому что осуждает несовершенства западной демократии и приветствует бурные успехи социалистического строительства. В прошлом такая интеллигенция называлась иначе: монархической, обскурантной, реакционной и профашистской. На моей родине эту интеллигенцию мы считали более отвратительной и опасной, чем собственных налетчиков на нашу свободу.

Положение либеральной западной интеллигенции, конечно, сложнее, чем это кажется советской оппозиционной интеллигенции. Сложность заключается в том, что она выполняет сразу две функции: либеральную и реакционную. Ее роль в собственной стране чаще всего действительно прогрессивна, но, борясь за прогресс у себя, она обращается к союзу с самой отвратительной реакцией, которую когда-либо создавала щедрая на злодеяния всемирная история. Эти союзы либеральной интеллигенции нужны для победы в ее собственной борьбе. И она борется за свою демократию, как она ее понимает. И ничего больше ее не интересует. И поэтому Россия, наша кровь, наше горе, горечь и смерть для нее значения не имеют, и Россия привлекается лишь как доказательство в споре, для доказательства и победы.

Нужно понять, что скорбные фразы о печальной судьбе России, произносимые либеральной интеллигенцией Запада озабоченным голосом, — лицемерие и выполнение обязанности по демократическому амплу. Упомянутую либеральную интеллигенцию не интересуют ни судьбы России, ни, возможно, и окружающее ее мироздание. Эту часть человечества занимают преимущественно только ее собственные треволнения и сложнейшие перипетии различных частей собственной души.

По нынешним обстоятельствам на идеологическом рынке для получения прибыли выгоднее презрительно отворачиваться от западной демократии и с энтузиазмом приветствовать освежающую новизну молодого



мира. У этой концепции давняя традиция, начатая Тацитом и продолженная Габриэле Д'Аннунцио, Кнудом Гамсуном, Луи Селином, Максимом Горьким и многими другими нашими братьями по перу, приветствовавшими кто германцев, кто фашистов, кто нацистов, кто коммунистов.

Вы, конечно, плюете на наши заботы, и мы, конечно, тоже не посыпаем головы пеплом из-за ваших бед. Но никто из вас ни об одной из своих забот не может сказать, что она угрожает человечеству рабством или уничтожением. А мы можем. Это не ваши реакционеры уничтожили миллионы людей в своей стране, захватили треть Европы, половину Азии, четверть Африки. Никому из ваших реакционеров не удалось уничтожить национальные культуры, вытоптать свободу, запереть на замок еще недавно свободные страны, депортировать народы. А нашим реакционерам это удалось, и в этом помогаете им вы.

Речь идет о жизненно важных вещах: о взаимоотношениях советской оппозиции и западной интеллигенции. Это жизненно важно, потому что советскую оппозицию физически уничтожают и помощь она может принять не от генералов, а от интеллигентов. Эти взаимоотношения — советской оппозиции и западной интеллигенции — очень сложны, и сложности возникают не только от недоразумений или непонимания. Это не вы, это мы защищаем свободу, погибая в лагерях, уходя в изгнание, обрекая себя на голод, страдания и смерть. А вы убеждаете нас в том, что советская власть вообще не так плоха, а в ближайшие дни станет еще лучше. Мы говорим с вами как с людьми, которые предали нас.

Слезы обиды, обиды либеральных, добрых людей, у которых есть дети, книги, а у некоторых даже Ленинские премии мира, слезы обиды забрызгали мой письменный стол. Это мы не знаем, но вы-то знаете, что сделали столько добра нам: вздыхали по Синявском и Даниэле, со всей резкостью сказали «Руки прочь от Чехословакии (и Вьетнама)», писали, что Солженицына надо издавать в Советском Союзе, потому что от этого советской власти будет только одна польза. Многие из вас никогда не скрывали, что с искренним уважением, а некоторые даже с любовью относятся к либеральной советской интеллигенции. Это может подтвердить Евгений Евтушенко, которого вы так тепло принимали в трудный для него час появления крайне неприятной заметки о его стихотворении в газете «Вечерняя Москва».

Увы, я должен вас огорчить. Я не хотел этого, не хотел. Случалось ли вам полюбить женщину, которая вас не любила?

Решающая причина, по которой прогрессивная интеллигенция СССР, та интеллигенция, которая борется с советской властью, с неприкрытой враждебностью относится к интеллигенции Запада, которая называет себя «либеральной», заключается в том, что советская интеллигенция, та, которую сажают в тюрьмы, которой не дают говорить и писать, борется со своими врагами — советскими диктаторами, а западная интеллигенция,

которая называет себя «либеральной», ездит к этим врагам в гости, обменивается с ними рукопожатиями, повторяет их ложь и разрушает ту демократию, которая кажется им недостаточно совершенной и которая для советской интеллигенции является недостижимым идеалом.

Мне пришлось много пережить, прежде чем я преодолел эту враждебность и постарался увидеть и иногда действительно видел среди западных интеллигентов искренних и серьезных людей, чья неосознанная трагедия в том, что они в ожесточенной борьбе со своими врагами не замечают, как оказываются союзниками преступников.

Разговаривая с западными интеллигентами, я часто слышу слова сочувствия к своим друзьям в Советском Союзе. Но никто из моих друзей не просил передать этим сочувствующим благодарность. Женщина, которую вы полюбили, с презрением и скорбью отворачивается от вас.

Вы и советская свободолюбивая интеллигенция боретесь против разных врагов. Советские интеллигенты борются против советского фашизма, а вы — против демократии. То, что вы называете более совершенной формой человеческого устройства, в реальной истории обращается фашизмом разных цветов, сейчас с преобладанием красного.

Нет, самая несовершенная демократия лучше самого хорошего фашизма.

Я говорю уже довольно долго и сказал много неприятных слов — фашизм, предательство, стоны расстреливаемых и еще не произнес ни слова о застенке, из которого только что вырвался и который литературно образованные люди художественно называют Союзом писателей СССР. Я и дальше не собираюсь о нем рассуждать. И не только потому, что на этом собрании беседуют об искусстве слова, а не о том, как советская литература много делает для истребления человечества, но потому, что западная интеллигенция и про Союз писателей и про истребления знает еще лучше советской, поскольку она читает статьи господина Солсбери в оригинале. Я вижу свой долг не в обнажении язв советской власти, а в том, чтобы одним западным интеллигентам показать, как гнусны другие западные интеллигенты, предающие свободу сначала моей родины, а потом и своей.

Что действительно прекрасно в западной либеральной интеллигенции, так это ее поэтическое бескорыстие и непрактичность: она не откладывает про черный день, она не рантье, чтобы делать социальные сбережения и вообще заботиться о будущем своем собственном и остальной части человечества, которое тоже кое-что стоит. Прелестная в своем легкомыслии так называемая либеральная интеллигенция Запада очаровательно не понимает, что если она ошибается, то, увы, навсегда. Она не понимает, что советскую власть нельзя попробовать, а если не понравится — выплюнуть. В сущности, либеральная интеллигенция Чехословакии в феврале 1968 года так и хотела сделать, но, как мы теперь знаем, так и не выплюнула.

Что касается Соединенных Штатов Америки, Объединенного Королевства, Франции, Новой Зеландии, Гренландии и Лапландии, то в этих странах кадры либеральной интеллигенции формируются из людей, научно или художественно занимающихся Советским Союзом.

При тщательном изучении процесс формирования названных кадров представляется так.

Кто занимается советской Россией? Русисты. Чье мнение о России авторитетно? Русистов. Где черпают русисты свои сведения о России? В России. Каких русистов пускают в Россию? Хороших. Какие русисты хорошие? Те, которые любят советскую власть.

Любя советскую власть и стараясь помочь советским хорькам, они говорят, что у американцев дома гораздо больше забот, чем на Луне, и что ботинки Нила Армстронга слишком дорого обходятся налогоплательщикам, в связи с чем дети Черной Африки и старики Юго-Восточной Азии голодают. Юрий же Гагарин самоокупается, и народы Советского Союза расцветают под сенью стратегических ракет класса «Земля—Земля», а советские писатели, бегущие на Запад, — шкурники.

Все это совершенно очевидные, во всех странах одинаковые интеллигентские непотребства, и в этом смысле западные интеллигенты мало чем отличаются от своих советских коллег. Только таких на моей родине мы никогда не называли «либералами».

Знаете ли вы, интеллигенты Запада, что и вас советская власть уже перевоспитала? Что и вы, приехав в гости к советской власти, или еще хуже, готовясь к поездке, ведете себя как перевоспитанные? Как своих, кто плохо себя ведет, советская власть не пускает за границу, так и вас, если вы плохо себя ведете, она не пускает к себе. И как советские, уже хорошо воспитанные интеллигенты, так и вы, западные, ведете себя хорошо, чтобы вас пускали. А если кто-нибудь у себя в Нью-Хемпшире вел себя плохо, то его сначала пустят, а потом посадят. Следующий приезжающий будет хорошим. Это не все. Советская власть держит вас в страхе, как держит она и своих. Попробуйте попросить кого-нибудь из наших дорогих коллег провезти книгу или позвонить в Москве кому-нибудь из друзей, и вы увидите такие же испуганные глаза ливерпульца, какие я еще недавно видел у хабаровца.

Для перевоспитания западной интеллигенции советская власть применяет те же методы, что и для своей: страх и подкуп.

Бирку к ноге привязывали лучшим русским писателям Есенину, Мандельштаму, Бабелю, Цветаевой.

Это делали простые советские люди: прокуроры и судьи, секретари ЦК партии и секретари Правления Союза писателей, университетские профессора и учащиеся средней школы.

Теперь к ним присоединяется либеральная интеллигенция Запада. Либеральная интеллигенция Запада старательно и с увлечением трудится над изготовлением для еще свободной части человечества бирки к ноге.

Из наиболее старательно вычерчивающих, строгающих и полирующих бирку следует назвать Лилиан Хеллман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра, Джеймса Олдриджа, Вильяма Сайрона.

В связи с тем что поспраивание гуманизма и идеи свободы осуждается пунктом III хартии ПЕН, призывающей «бороться за идеалы всего человечества», я предлагаю Лилиан Хеллман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра из состава ПЕН-клуба исключить.

И на основании пункта IV, который провозглашает свободу печати и борется с «произволом цензуры в мирное время», принять в ПЕН-клуб самых достойных русских писателей, борющихся за освобождение людей от тирании: А. Марченко, А. Синаевского, Ю. Даниэля, А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, И. Бродского и А. Солженицына.

\*\*\*

Нельзя обличительной статьей французского писателя или английского публициста остановить шестисотпятидесятитысячную армию, оккупирующую Чехословакию. Но вы должны понять, что если из 90 строк советского сообщения от 22 августа 1968 года об оккупации Чехословакии 68 строк посвящены идеологическим мотивам (нападкам на радио, телевидение и журналистов), то из этого с несомненностью следует, что вопросы идеологии являются для Советского Союза решающими, и с такой же несомненностью следует, что люди другой идеологии для Советского Союза опасны.

Люди, собравшиеся на конгресс писателей в курортном городе, далеко не всегда производят впечатление идеологических противников советских прокуроров, судей, палачей. В лучшем случае они производят впечатление людей, которые считают, что советские руководители действительно иногда допускают грубые ошибки, которые другие советские руководители, более молодые и интеллигентные, никогда себе бы не позволили. Это курортная социология.

Трагедия России в том, что советская власть, если бы и захотела, то не смогла бы сделать добро. Она даже попробовала его сделать. Немного, но все-таки попробовала весной и летом 1956 года. А потом перестала. И не могла не перестать. За 52 года своего существования она причинила людям столько зла и страданий, что люди уже не могли считать себя удовлетворенными только тем, что оставшихся в живых выпустили из тюрем, еще не посаженных не посадили, злодеяний Сталина обещали не повторять и стали печатать стихи Евтушенко.

Трагедия России в том, что если бы она не посадила Синаевского и Даниэля за печатание своих книг за границей, то за границей стали бы печатать свои книги десятки писателей, а если бы она не разогнала два десятка человек, вышедших с лозунгом на Пушкинскую площадь, то через два дня на Пушкинскую площадь пришло бы две тысячи протестантов. Она

хорошо понимает, что если бы не расстреляла венгерское восстание, не подавила бы чехословацкую демократию, то оказалась бы без Восточной Европы. Если бы она не сажала украинских националистов, прибалтийских сепаратистов и крымских татар, то рассыпалась бы гигантская империя. И люди, вышедшие на Пушкинскую площадь, печатающие свои книги за границей, распространяющие рукописи в самиздате, могли бы сделать то же, что сделали такие люди в Чехословакии, а в Чехословакии первое, что они сделали, это лишили палачей власти. Советские палачи не хотят, чтобы их лишили власти, и они хорошо понимают, гораздо лучше, чем западные интеллигенты, что такую власть они могут сохранить только такими методами. Трагедия России в том, что советская власть демократической быть не может, а перестать быть советской не хочет.

Интеллигентская оппозиция России раздавлена. Внутрипартийная борьба остается. Поэтому Россию ждут государственные перевороты, которые совершат сильные личности. Но сильные личности совершают государственные перевороты не во имя демократии. Могут уничтожить Брежнева, но это не значит, что Шелепин остановится перед румынской или югославской границей или перед оппозицией переделкинской интеллигенции.

Из моих слов вы сделаете вывод, в котором есть соблазнительная убедительность: если все так безнадежно, то зачем же бороться с советской властью, которую победить нельзя?

Когда в ночь с 13 на 14 декабря 1825 года на квартире Рылеева собрались люди, которые через несколько часов должны были вывести войска для насильственного изменения государственного строя, то они знали, что восстание кончится поражением, а сами они погибнут. Но через несколько часов они вышли. Восстание кончилось поражением, и они погибли. Люди, которые не вышли на площадь свергать монархию в России, говорили, что только безумцы могут пойти на верную смерть. Но нельзя представить себе, чем же была бы история России, если бы ее абсолютизму, ее монархизму не мешали безумцы, обреченные на поражение. Эти безумцы мешали абсолютизму вытоптать все живое. Советскую власть уничтожить нельзя. Но помешать ей вытоптать все живое можно. Только это мы в состоянии сделать. И это стоит того, чтобы бороться и умереть.

*Аркадий Белинков*

*27 июня 1968 года — 10 сентября 1969 г.  
Соединенные Штаты Америки<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Дата и подпись проставлены автором. — Н.Б.

## МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### *Теория ситуации<sup>1</sup>*

Моя работа связана с историей русской литературы, а русская литература полна трагизма и горечи.

В этой литературе произошла вот такая история.

Один статный молодой мужчина увлекся невинной девицей и, переодевшись в женское платье, нанялся кухаркой в дом к матери упомянутой девицы. Это было на окраине столицы Российской империи, в городе Санкт-Петербурге.

А в это время Российская империя после победоносной войны с Персией заканчивала победоносную войну с Турцией. И это было так замечательно, что, несомненно, нуждалось в том, чтобы было воспето поэтом. Поэт поехал на Турецкую войну, но по дороге встретился с трупом другого поэта, которого везли хоронить с Персидской войны, и, возвратившись, написал: «Четырехстопный ямб мне надоел... Я хотел давным-давно приняться за октаву...» И принимается. И пишет 50 октав. Последнюю, пятидесятую, он заканчивает так: «Больше ничего / Не выжмешь из рассказа моего».

Я коротко рассказал сюжет и историю возникновения пушкинской поэмы «Домик в Коломне». Я рассказал это для того, чтобы подчеркнуть, что литература — это *одно из дел* человечества, окруженное другими делами.

Понять литературное дело можно лишь вместе с другими. История, литературная борьба, человеческие отношения деформируют писателя, заставляют его отвечать на удары врага (жизни) своими орудиями борьбы (книгами). Совершенно очевидно, что понять «Домик в Коломне» можно, только далеко продвинувшись за сообщение о намерениях мужчины, проникшего в девичью спальню. С некоторым удивлением первые ис-

---

<sup>1</sup> В основу этого плана неосуществленной работы положена стенограмма лекции, прочитанной в 1970 году в Колумбийском университете, с добавлением записок к лекциям в Университете штата Индиана. — Н.Б.

следователи поэмы обнаружили, что из спальни им пришлось отправиться на Кавказ и приступить к внимательному изучению Русско-персидской войны 1826—28 годов и Русско-турецкой войны 1828—29 годов (особенно). Исследование поэмы приняло такой неожиданный характер, когда выяснилось, что от Пушкина ждали и требовали поэтических тулумбасов во славу обычной грабительской войны, а он — автор «Вольности» и «Поэта и черни» — хотел оставаться свободным человеком и писать то, что он, а не другие, считает нужным. И свободный человек, вернувшийся с войны, пишет в высшей степени не парадный и не батальный «Домик в Коломне», а вызывающе обращенный против парадной, батальной, патриотической литературы: «Больше ничего не выжмешь из рассказа моего». Взаимоотношения сюжета и строфы этой поэмы можно понять только в истории литературной борьбы 1830 года.

Одна из самых соблазнительных и распространенных литературоведческих иллюзий, которую любовно и бессознательно поддерживают историки и университеты, заключается в том, что люди думают, будто они изучают историю литературы, в то время как они настойчиво и трудолюбиво занимаются изучением хороших книг.

О том, что такое история русской литературы, в разные эпохи думали неодинаково, но сейчас пришли к единодушию, похожему на заговор.

Вот что такое история русской литературы в изображении Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР: «Глава 3. Ф. Глинка. Глава 4. Катенин. Глава 5. В. Раевский, Глава 6...»<sup>1</sup>

История русской литературы XX века (дооктябрьского периода) Государственному учебно-педагогическому издательству Министерства просвещения РСФСР представляется в таком фантастическом виде: «Творчество А.М. Горького дооктябрьского периода», «Пролетарская литература», «Демьян Бедный», «Серафимович»...<sup>2</sup>

Институт мировой литературы им. А.М. Горького Академии наук СССР уверен, что история советской литературы такова: «М. Горький», «А.С. Серафимович», «Всеволод Иванов», «Д.А. Фурманов»...<sup>3</sup>

В другом издательстве привычно повторяют: IV — Александр Сергеевич Пушкин. V — Николай Васильевич Гоголь. VI — Иван Сергеевич Тургенев...»<sup>4</sup>

<sup>1</sup> История советской литературы. Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. VI.

<sup>2</sup> Бурлаков Н., Пелисов Г., Уханов И. Русская литература XX века. Дооктябрьский период. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещения РСФСР. М., 1957.

<sup>3</sup> История русской советской литературы: В 4 т. Академия наук СССР. Институт мировой литературы им. А.М. Горького. М.: Наука, 1967. Т. 1.

<sup>4</sup> Muchnic H. Ph.D., Prof. of Russian Literature. *Smith College*. An Introduction to Russian Literature. New York: Doubleday Company Inc. Garden City, 1947.

Существенное отличие этого учреждения от Государственного учебно-педагогического издательства Министерства просвещения СССР в том, что оно расположено в десяти тысячах миль от РСФСР и имеет гарантированное конституцией право думать самостоятельно.

В отличие от занятия, которое состоит в перечислении хороших книг или анализа образа Татьяны, когда одно явление искусства отделено от другого толстым переплетом, история литературы представляет собой непрерывную линию, не пересеченную рвами, в которые сбрасываются плохие писатели. История художественной литературы — это сумма сложнейших общественных образований, разнообразных взаимоотношений, создающих такую ситуацию, при которой происходит важнейшее историческое событие: создается хорошая книга. В этом процессе сложнейших общественных образований вместе с мировыми войнами и техническими революциями почетное место занимают плохие книги. Их изучение безоговорочно важно, потому что ни в одной литературе мира без них хорошие книги не появлялись. Шедевры художественной литературы не вырастают на специально возделанной для них и хорошо удобренной почве, политой обильными дождями; они вырастают на реальной земле, на той же самой, по которой ходят рядом с Гоголем очень нехороший Бурачок и вместе с Пушкиным очень плохой Каченовский, которых — Бурачка и Каченовского — Краткая литературная энциклопедия игнорирует, сосредоточивая внимание целиком на Архилохе и Достоевском.

Нужно понять, что история хороших книг очень легко превращается в историю кому-то нравящихся или не нравящихся книг. Именно поэтому во всех без исключения историях советской литературы, изданных с 30-х до 1956 года, ничего не говорилось или говорилось лишь гнусности о Мандельштаме, Ахматовой, Пастернаке, Булгакове, Платонове, Бабеле, Заболоцком, Зощенко. История литературы, понимаемая как исследование непрерывного литературного ряда, не подразумевает изучение всех книг на свете. Имеется в виду изучение замечательных книг и тех, которые оказали влияние на их возникновение. Иногда это бывает очень просто: Булгарин пишет статью, в которой ругает Пушкина, а Пушкин отвечает стихотворением «Моя родословная», иногда сложнее: катастрофический распад и уничтожение великой национальной литературы требуют подвига: приходит Солженицын с «Одним днем Ивана Денисовича».

Изучение творчества только великих писателей — это дилетантство и добрая университетская традиция. Если бы так изучалась военная история, то мы получили бы толстые тома жизнеописаний генералов. Даже в Московском и Колумбийском университетах знают, что в одно и то же время живут хорошие писатели и плохие. Знают это и в других университетах.

Генералы только выигрывают войны. А история войн это история трагических кровавых конфликтов государств, социологий, концепций, армий,



состоящих из солдат, сержантов, офицеров и небольшого количества генералов. В одно и то же время в литературе живет и работает много солдат, сержантов, офицеров и очень немного великих писателей. В этой мировой войне, которая называется «историей литературы», нужно изучать разнообразные вещи, чтобы понять победу.

Изучение русской литературы часто представляет собой какую-то литературоведческую метонимию: изучается часть состава художественного произведения — какой был частный пристав по произведениям Златовратского, или образ русской девушки по романам Тургенева, или же функция анафор или полисиндрома в стихотворении Пушкина «Пророк». Эту часть (какой бы характер она ни носила — социологический или эстетический) хотят выдать за целое. За русскую художественную литературу. Если бы мы так изучали Толстого (а часто именно так и делается), то это привело бы к тому, что изучалось бы художественное творчество без религиозно-нравственного учения или религиозно-нравственное учение без художественного творчества. Но Толстой, разделенный на две части, понят быть не может. Шестидесятилетие его жизни делится пополам — с 1851 («Детство») по 1880 (до «Исповеди») и второй период с 1880 до 1910 г. Ни ранняя трилогия (1851—1856), ни поздний «Хаджи-Мурат» (1890—1904) не существуют без «искусства» и без «нравственности». И изучать их нужно, имея в виду оба компонента творчества Л. Толстого.

Если посмотреть оглавление 3-го номера за 1863 год журнала «Эпоха», издававшегося Ф.М. Достоевским, то, кроме «Зимних заметок о летних впечатлениях» самого Достоевского, в этом журнале ничего значительного нет. Все это знают, и все пишут: Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев.

Нужно понять, что литература — это не остров, на котором живут одни книги. И нужно понять, что изучать историю литературы можно только как сложнейшую зависимость причин рождения, жизни и смерти книг вместе с жизнью и смертью людей и созданных ими общественных отношений. Каждое произведение литературы неминуемо связано с какими-то очень конкретными, очень реальными обстоятельствами, в том числе и с другими произведениями литературы. Языковые, исторические и социальные особенности определяют черты и границы национальных литератур. Неминуемая взаимозависимость всех частей мирового организма создает всемирную историю литературы, но национальный язык, история и социология каждую из национальных литератур обособляют, выгораживают и настойчиво оговаривают суверенитет каждой из литератур. Законодательство всемирной литературы не во всем распространяется на национальные. Чаще всего они живут по своим конституциям и сводам законов.

Я так настойчиво говорю о неминуемости введения нелитературного материала и о взаимозависимости хорошей и плохой литературы в изуче-

нии истории русской литературы, потому что на судьбу ее, гораздо больше, чем на судьбы других литератур, влияли исторические, социальные, правовые обстоятельства абсолютистского государства. Именно поэтому из всех великих литератур мира русская менее других оказалась пригодной для метода исследования, который она создала и который оказался самым плодотворным для изучения других литератур. Я говорю о формальном методе. Невозможность изучения русской литературы формальным методом неминуемо продлится до тех пор, пока круг доступных компонентов структуры не будет распространен на историческую и социальную ситуацию, в которой возникает художественное произведение. Я думаю, что сейчас уже следует говорить не только о методе, но и о границах материала исследования или совокупности обстоятельств, в которых возникает художественное произведение. Вероятно, уже сейчас можно обнаружить намерение изучать общую систему этих обстоятельств. Я назвал бы ее теорией ситуации возникновения художественного произведения.

Литература не есть лишь явление языка и не может изучаться только как особенно организованная речь. Существуют две развитые и совершенно самостоятельные литературы английского языка — английская и американская. Существует два десятка литератур еврейского языка — русская, польская, американская, израильская, литовская. В Средние века во всех странах писали по-латыни. Но французская литература от этого не становилась итальянской. Также существуют четыре литературы русского языка последнего пятидесятилетия русской истории. Их связи сложны и в отличие от других литератур одного языка антагонистичны и вызваны не одним лишь языковым родством. Это: русская литература, советская литература (литературу, которую на Западе считают советской, Академия наук СССР считает «антисоветской», в то же время литературу, одобренную Академией наук СССР, на Западе не считают литературой — и не без оснований). Наряду с этими двумя литературами существует третья — литература «самиздата» с такими писателями, как А. Солженицын. Наконец, есть четвертая русская литература — литература эмигрантов, самая большая эмигрантская литература в мире, несравненно большая, чем литература Шатобриана, Константа, Сталь, Томаса и Генриха Маннов, Бруно Франка, Бехера Гюго, Золя и др., — литература трех миллионов изгнанников, начатая такими писателями, как Бунин, Ходасевич, Замятин, и живущая до наших дней. Таким образом явственно определяются четыре литературы, сравнительно легко делящиеся на две: официальную с Фадеевым, Кочетовым, Грибачевым и прозябающую или в компромиссах, или в «самиздате», или в изгнании. Это литература А. Белого, Бальмонта, Платонова, Пастернака, Ахматовой, Мандельштама.

Литература не есть явление только стилистики, то есть системы специально организованной речи. Исследование художественной литературы неминуемо подразумевает изучение решающих элементов образования художественного произведения.

Структуральная методология по своим возможностям является наиболее синтетическим способом исследования художественного явления. Но именно структурализм потерял целые области литературоведения — или генеральную область — историю литературы: сюда структурализм и не заходил.

Изучая художественное произведение, он стал изучать только художественное произведение, то есть потерял литературный ряд, связь между произведениями одного писателя и произведениями другого писателя, между писателями, национальными литературами, эпохами, стилями. Структуральный метод программирует лишь малую часть того, что входит в состав литературы. Он сознательно отворачивается от сложного комплекса компонентов художественного произведения. Изучая эпитет «Тем и вариаций» или литоту «Мертвых душ», мы изучаем лишь часть русской литературы. Падение интереса к генетике художественного явления, к теории стиля, к сюжету, источнику, прототипу и биографии, то есть к тому, что является неминуемым компонентом образования всякого художественного произведения, независимо от авторского намерения, связано с нежеланием соприкоснуться с социологией литературы. Что такое социология русской литературы? Всякий, кто станет ею заниматься, неминуемо придет к выводу, что это история уничтожения великой литературы литературой официальной. Не всякий хочет иметь еще и научные доказательства этого процесса.

Формализм (это не изучение формы, а изучение искусства через его единственную реальность — форму) родился в самой неподходящей для него литературе, потому что эта литература больше, чем другие великие литературы, выполняла общественное назначение. Но формализм был неминуем для этой литературы, ибо в стране, где он родился, начали уничтожать ее великолепное искусство. Там, где уничтожают искусство и людей, не терпящих диктатуры, особенно строго запрещают говорить об уничтожении. И тогда люди, не терпящие диктатуру, ищут возможности хотя бы не становиться соучастниками преступления. И тогда они становятся «эстетам». Так стал «эстетом» автор «Вольности», написавший «Поэта и толпу». В русской истории пассивное сопротивление диктатуре стало самым распространенным способом сохранения искусства. Этот опыт имеет богатую столетнюю традицию. Программа сопротивления диктатуре наиболее полно была сформулирована Пушкиным в стихотворениях «Поэт», «Поэту», «Поэт и толпа», «Ответ анониму». В самую отвратительную эпоху русской истории — в годы советской власти — уходили

от литературы в сопротивление эстетством лучшие писатели России — Мандельштам, Ахматова, Пастернак, Булгаков, ученые ОПОЯЗа (без Виктора Шкловского).

Что же такое русская литература?

Приглашая меня прочитать лекцию в каком-либо университете, декан чаще всего просит меня говорить о литературе. Это совершенно естественно. О чем же еще может говорить литературовед? При этом как-то случайно упускается то обстоятельство, что я занимаюсь историей русской литературы.

Поговорим о русской литературе.

За первые пять лет существования Союза писателей, то есть с 1934 года до начала Второй мировой войны, было убито 626 человек из 1826, или одна треть всего Союза писателей. Эти цифры были сообщены С. Щипачевым в 1962 году на пленуме Правления Московского отделения Союза писателей.

Поговорим о литературе.

О русской литературе нельзя говорить так, как мы говорим о других литературах, потому что она существовала в государстве, история и социология которого обременена традицией, иной, чем у западных государств.

Русская литература полифункциональна. Она восполняла то, что должны были делать другие общественные институты. Отсутствие парламента и политических партий, конституции, цензура, крепостное право и др. формировали [так в тексте. — *Н.Б.*] особенные качества русской литературы. Однако, как только Россия вступила на более или менее нормальный путь общественного развития, то есть с реформ Александра II, то есть когда возникли нормальные социально-правовые институты, литература высвободила силы для выполнения своего чисто эстетического назначения. Так возник русский символизм. Является ли выполнение литературой обязанностей нелитературного характера чем-то, что делает ее ущербной? Лучше ли русский символизм литературы Гоголя, Толстого и Достоевского? Литература тогда перестает быть искусством, когда от нее начинают требовать выполнения только утилитарных задач.

Русская литература существовала и существует в стране, в которой всегда отсутствовали демократические институты и где особенное внимание правительства всегда сосредотачивалось на вопросах политики и поэтому — политических наук. Возможности людей, которые работали в области социологии, философии, права, возможности журналистов, публицистов, политических ораторов были предельно ограничены. В стране за ее тысячелетнюю историю лишь несколько лет существовал парламент, не было конституции, свободное высказывание считалось уголовно наказуемым деянием. Единственным выходом из немоты была литература.

Произошло это по многим причинам, и одна из причин заключалась в том, что все шедшее с Запада всегда в России считалось враждебным и подрывающим основы. Литература же Запада конца XVIII века представлялась не очень опасной. Новая русская литература, то есть литература Карамзина, Жуковского и Батюшкова, восприняла лишь морализирующие тенденции европейской литературы и действительно была не опасна монархическому абсолютистскому государству. Так оказалась заложена традиция (оказавшаяся, естественно, очень нестойкой) договаривающихся о лояльности сторон — государства и литературы (музыки, живописи). Все дальнейшие взаимоотношения строились как раз на взаимных нарушениях договора.

Страна, не имевшая парламента и конституции, пресекавшая всякую оппозиционную мысль в социологии, публицистике, прессе и, уж конечно, в политике, могла выразить себя только в искусстве и, главным образом, в литературе, потому что в литературе легче возместить отсутствие конституции, чем в музыке.

Поэтому понять, что такое русская литература, — это значит понять трагическую историю ее народа, тягчайшую историческую судьбу страны, катастрофическую историческую наследственность, политическую, нравственную, социальную ответственность и виновность. И поэтому изучение истории русской литературы без ее существования в русской истории так же невозможно, как невозможно изучение сердца без сердечно-сосудистой системы, которая приносит и уводит от него кровь. Изучать русскую литературу без русской истории, социологии, взаимоотношений художника и общества — это то же самое, что есть бутерброд без масла, то есть хлеб с маслом без масла. Хлеб с маслом без масла — это абсурд, нонсенс, логическая нелепость, этого не может быть. Русская литература без социологии не существует, ее нет, это иллюзия и фикция, и изучать тут нечего. И это вы должны понять, понять навсегда, как закон русской литературы, а поняв, методологически переучиться, перейти в новую область не только знания, но и мышления. В этой новой области нужно найти правильные, то есть реальные, соотношения между составляющими частями и понять, что морфологическое и только морфологическое изучение русской литературы не только бесплодно, но и нелепо, потому что вместо явления, которое называется «литература», вы стали бы изучать лишь его часть, выдавая его за целое.

Я думаю, что, изучая русскую литературу дореволюционного периода и литературу на оккупированной территории (так мы будем называть советскую литературу), нужно иметь в виду следующие обстоятельства: эта литература возникла и создавала свои ни с чем не сравнимые шедевры в трагических условиях реакционного абсолютизма XIX века, потому что этот реакционный абсолютизм, самый реакционный в Европе, был воплощением гуманизма, законности, либерализма и простой человеческой порядоч-

ности в сравнении с тем, что произошло после октября 1917 года, когда страну оккупировали откровенные злодеи, убийцы, уголовные преступники и воришки. И вы должны понять, что когда я или другие историки (не советские, конечно) говорят о реакционности царской России, то имеется в виду сравнение русской истории с английской, в которой в 1215 году уже появился зачаток конституции, в 1265 году парламент, или французской, в которой в 1830 году парижские блузники и интеллигенты свергли одну из самых традиционных монархий Европы (Бурбонов) из-за того, что Карл X подписал 11 ордонансов, один из которых ущемлял свободу журналистов. Вы должны понять, что апелляция к тому, что в царской России не было самолетостроения, а в Советском Союзе оно есть, нелепа, потому что пятьдесят лет назад этой промышленности нигде не было и самое главное, что ее можно создать, не прибегая к уничтожению миллионов людей, к непрекращающемуся кризису недопроизводства, без страданий двухсотмиллионного народа и угрозы уничтожения мира.

Почему же в так называемой реакционной России могло существовать великое искусство, а в реакционном так называемом Союзе Советских Социалистических Республик оно существовать не может?

Зависимость русской литературы от политической жизни до революции была выполнением не хватающих обществу идеологических институтов. После революции эта особенность была использована государством для его практических целей.

Почему общественное служение русской литературы до революции было прогрессивным, а после революции стало реакционным?

Потому что до революции литература относительно свободно выражала свои идеалы, а после революции ее заставили выражать идеалы реакционного государства.

Государство — это всегда орудие подавления, и поэтому по своей природе оно всегда в известной степени реакционно. Но демократическое государство это такое [государство], когда оно не может справиться с обществом и становится его орудием. Степень демократичности государства всегда находится в большей или меньшей зависимости от демократичности общества. В России после революции было создано мощное государство, подавившее общество и его институты, в частности такой, как литература. В послереволюционной России произошло явление единственное в своем роде и никогда в такой полной мере не существовавшее даже в самые реакционные эпохи в самых реакционных государствах: не государство было судимо литературой, а литературу стало судить государство. Это не следует путать с расправами, которые всегда учинялись над художниками: государство могло пытаться повлиять и влияло на отдельных людей, но никогда не использовало искусство.

Художественное творчество людей не является изображением жизни, а является одним из частей самой жизни. Из этого обстоятельства проистекают по крайней мере два существенных соображения: нам становится понятнее происхождение таких родов искусства, как музыка и архитектура, и таких видов, как абстрактная живопись. Второе важное соображение заключается в том, что у искусства нет никакого специального назначения влиять на людей, и если оно влияет или не влияет, то так же, как и все другие предметы, окружающие человека: войны, имущественные отношения, любовь, климат. Почему-то до сих пор приходится останавливаться на том, что если два мальчика — один в Южной Африке, а другой в Северной Дакоте — будут читать одни и те же книжки, то они все же останутся очень разными мальчиками.

В Управлении пропаганды и агитации ЦК КПСС глубоко убеждены в том, что искусство — это мощное орудие воспитания людей, и они правы. Особенно если бы не допускали одной существенной ошибки. Ошибка заключается в том, что, действительно, сделав своим искусством многих вполне порядочных людей негодьями и обманув значительную часть интеллигенции Запада, они воспитали этих людей не искусством, а строжайше запрещенными даже в Советском Союзе методами его применения. Когда людей заставляют все учителя, профессора, критики, журналисты, председатели, представители, секретари и майоры госбезопасности думать, что «Как закалялась сталь» есть замечательное создание мировой литературы, если за неодобрение Горького и теории социалистического реализма сажают в тюрьму и если столетие мировой культуры, которое называется «декадентством», оказывается подверженным запрету, то людям ничего не остается, как воспитываться под влиянием литературы.

Во имя каких идеалов и кого же воспитала советская литература? (Советская классика: «Любовь Яровая», «Разлом», «Павлик Морозов»...)

Все это придумали не Сталин, не Жданов, не Хрущев, не Ильичев... Все это придумал Ленин («Партийная организация и партийная литература»).

Русская литература всегда выполняла высокую общественную функцию. Это было связано с тем, что в недемократической стране она должна была делать то, что входит в обязанность других институтов в демократических странах.

Нам важна стереометрия русской литературы, многообразие ее обликов и проявлений, трагедии ее уничтожения, ее сопротивления и добровольной сдачи, газеты, которые она читала, постановления, которые она терпела, милиция, которая водила ее в участок, Союз писателей, который ее предал. И поэтому надо изучать судьбу и книги Александра Солженицына вместе с судьбой страны, где он пишет свои книги, с ее тюрьмами и вождями, мучениками и доносчиками, героическими поэтами и тягчайшей исторической наследственностью.

Как произошло уничтожение великого искусства?

Служение литературы обществу — всегда было одной из важнейших функций русского искусства, но уничтожение его произошло не из-за того, что оно служило обществу, а из-за того, что обществу была навязана диктатура, и оно стало служить диктатуре.

Что такое советская литература, кто ее осуществляет, кому она служит?

Если режим порождает однопартийную систему, то однопартийная система порождает одного вождя.

Советская диктатура не приносит выгоды даже тем, кто ее осуществляет, потому что, несмотря на неограниченную власть, люди, осуществляющие диктатуру, ограничены в своих проявлениях. Советская диктатура осуществляется не столько для удовольствия, сколько из страха потерять власть и понести наказание. И этот страх действительно не выдуман. (Венгрия, Дудинцев, Синявский, Чехословакия, Даниэль.)

Демократия — это один из способов обретения свободы. Крохи демократии, выданные в 56-м году, гораздо больше показали людям, что они рабы, чем когда они были рабами, не подозревая этого.

Неразрешимое противоречие советской власти не в том, что она не хочет дать свободу, а в том, что она не может ее дать. Ибо если она даст свободу, то станет очевидной ее противоестественность, которую люди постараются победить.

Кто осуществляет советскую диктатуру и кому она необходима? Кто эти люди, получающие власть? В подавляющем числе случаев это неудачники в своей прямой профессии (Шелепин, Демичев, Брежнев). Так как в Советском Союзе нет учебных заведений, изучающих политические науки (в высших партийных школах лишь повышают квалификацию те, кто уже на партийной или государственной работе), то на партийную или государственную (что одно и то же) работу идут люди, оказавшиеся неудачниками в той профессии, которую они избрали.

Конечно, человек, потерпевший неудачу в одной профессии, может в другой проявить себя как большой и оригинальный талант. Но если металлург-неудачник решает для себя, что удача может прийти, когда он станет Генеральным секретарем ЦК КПСС, то, став им, он дает возможность людям судить о том, проявил он или не проявил большой и оригинальный талант. Если мы осуждаем советскую политику в Польше и Чехословакии, колхозную систему и взаимоотношения с интеллигенцией, гибель миллионов людей и сталинизацию режима, то мы неминуемо отрицаем большой и оригинальный талант металлургов, филологов и химиков, осуществляющих этот режим, эту политику, эту идеологию.

Бездарности и неудачники становятся во главе государства, и для того чтобы осуществить свою власть, они, не умея защитить ее с помощью идей, защищают ее силой.



Как же произошел этот парадокс, в результате которого талантливые люди были отстранены от управления страной бездарностями? Так же, как и всегда в тоталитарных государствах: сила побеждает ум. Это произошло потому, что в России, начиная с Ивана Грозного и дальше, с не очень длительными перерывами, сила побеждала ум. Советский большевизм явился не в пустыне, а в истории русского монархического абсолютизма и явился в известной мере продолжением его традиции. (Об ответственности народа. «Фауст» — порождение немецкого гения, а нацизм — проявление черт германского милитаризма. Барбаросса — Фридрих II — Гитлер; Иван IV — Павел I — Сталин.) Традиция должна была быть преодолена революцией, но вместо этого сама революция была преодолена термидором, а термидор вызвал такие явления, которые никогда в самой традиции не существовали (массовый террор, глобальное проникновение государства в частную жизнь людей, уничтожение общества государством, цензура).

Неудачники, то есть люди, которые не смогли делать хорошо свое дело, люди, лишенные таланта, ума и образованности, в руках которых сосредоточилась абсолютная власть, пожелали получить ту литературу, которая им нравится, и получили ее. Так как в Советском Союзе откровенно декларируется покровительство тому, что партия считает для себя полезным, и ведется борьба с тем, что считается вредным, то страна получает ту литературу, которая нравится неудачникам, то есть людям, лишенным таланта, ума и образованности. Такую литературу создают люди, лишенные таланта, ума и образованности.

Чем больше победу революции приходилось защищать не идеями, а силой, тем более интенсивно происходило уничтожение интеллекта и вакуум заполнялся бездарностями.

История советской культуры — это история победы бездарностей над талантом.

## Глава 6

Наталья Белинкова

### «НОВЫЙ КОЛОКОЛ»

Мы вскормлены одной культурой, люди, покидающие страну, будут жить за нас т а м ...

Ю. Даниэль

*Автомобильная катастрофа. Искрометная встреча нового 1970 года. Международный симпозиум по цензуре в Лондоне. Будем издавать свой журнал! Реакция на «Новый колокол» в СССР и США.*

Декабрь 1969 года застал нас за границей. В январе следующего года в Лондоне открывался международный симпозиум по советской цензуре. Мы могли бы лететь в Англию прямым рейсом. Но кто ограничится одной страной, пересекая Атлантический океан? Тем более мы, еще не видевшие Европы по-настоящему? Решили начать с Италии, что с непредвиденными осложнениями мы и осуществили... Мы снова в своей туристической тарелке. Попали в когда-то недоступные капстраны.

На этот раз наше путешествие за границу совершалось не из России, а из Америки. Время от времени кто-нибудь из нас восклицал свое «Ах!». И тогда мы спрашивали друг друга: «Ты ахаешь, потому что ты из Москвы, или потому, что ты из Нью-Йорка?»

Рим нам показывал Дмитрий Вячеславович Иванов. К моему великому разочарованию, мы быстро проехали мимо Колизея, мимо Форума, куда-то за город... — «...покажу, где мы живем...» — что за мания у людей показывать, где они живут? Мимо дома, «где мы живем», проходим к собору на высоком холме. Что из того? Весь Рим на высоких холмах. И всего-то шестнадцатого века собор! К нему примыкает ограда, за оградой кладбище. Туда ведет полусгнившая калитка. Она уже целую вечность как заперта и не открывается. Заржавленная ручка, заржавленная замочная скважина. Надо наклониться и посмотреть в нее.

«Ах!»

Перед нами в легкой голубоватой дымке весь город. «И ты пылал и восставал из пепла, / И памятливая голубизна / Твоих небес глубоких не ослепла»<sup>1</sup>. Ave, Roma!

---

<sup>1</sup> *Иванов Вяч.* Римские сонеты // *Иванов Вяч.* Стихотворения. Поэмы. Трагедия. СПб., 1995. С. 140.

В канун Рождества Христова мы были на площади Св. Петра. Огромная толпа нарядно одетых людей с волнением ожидала появления Папы на балконе его дворца. Мы волновались тоже. Шторы одного из окон раздвинулись. Театр! Папа торжественно вышел на балкон и благословил всех нас.

Утром следующего дня мы отправились во Флоренцию на автомобиле, взятом напрокат. Считалось, что Аркадий научился водить машину лучше меня. Ехал он довольно быстро. По дороге из-за неаккуратной езды случайного, вскоре исчезнувшего автомобильчика Аркадий потерял управление. Мы вдруг со страшной скоростью понеслись в сторону от шоссе. С ходу на нас наскочила стенка из белого камня, которым укрепляют дороги в горах. Все случилось так быстро, что мы не успели осознать, что происходит. Мне грезилось, что я сладко дремлю, опустив голову на руль. Просыпаться так не хотелось! Оказалось, Аркадий «будит» меня, а мы оба лежим на дороге. В каком состоянии находился он сам, он, по-моему, не очень понимал. Когда нас забирала «скорая помощь», мы увидели наш автомобиль. Он стоял носом к белой стенке, и из него выпучивался вверх весь мотор. Трубы и трубочки — как кишечник.

Нас доставили в больницу при католическом женском монастыре, расположенном в старинном замке городка Мальяно Сабино. Место живописное, мы увидели его мельком, когда выписывались. Здесь мы провели две страшные ночи. Обнаружилось, что у Аркадия кроме ушибов были переломы на обеих ногах, но врачей беспокоило его недавно оперированное сердце. Оно выдержало. Со мной, кроме полученных синяков и ранки на глазнице (около года я ходила, как бы прищуриваясь), ничего серьезного не произошло. На третий день в госпитале неожиданно появился незнакомый нам солидный господин. Леонид Финкельштейн! Первая наша встреча. По переписке мы уже знали друг друга. Через пять минут его солидность куда-то испарилась, и мы стали друзьями на всю жизнь. На наше счастье, Леня почти одновременно с нами приехал по своим делам в Италию. Узнав каким-то образом о катастрофе, он, бросив все, занялся пострадавшими. Это в его характере. С его помощью мы вернулись в Рим, переночевали в гостинице, а на следующий день утром все вместе вылетели в Лондон, мы — так и не повидав Флоренции, Финкельштейн — не повидав страны, — это была его первая поездка в Италию. Более подробно о нашей встрече он рассказал сам<sup>1</sup>.

31 декабря в кресле на колесиках, предоставленном самолетной компанией, Аркадий со своими гипсовыми ногами подкатил к выходу из аэропорта. Здесь нас встречали новоиспеченные англичане: Анатолий Куз-

---

<sup>1</sup> Владимир Л. Жизнь номер два // Время и мы. М.; Нью-Йорк, 1999. № 144. С. 250—251.

нецов и Сильва Рубашова, которую мы знали по письмам из Израиля в Москву, да и то адресованным не нам, а Люше Чуковской. И было в них присутствие иной, недоступной, свободной жизни.

С Толей мы познакомились тоже по письмам. Эти письма шли из Англии в Америку. Он попросил политическое убежище на Западе через год после нас. Толя отчаянно настаивал на том, чтобы по приезде в Лондон мы остановились у него. При встрече же в аэропорту он смущенно признался, что у них в доме испортился лифт. Англия? Испорченный лифт? Мы поверили. Лифт работал исправно. Просто незадолго до встречи с нами Толя встретил Иоланту — мать его будущего ребенка. Сильва немедленно предложила остановиться у нее, хотя снятая ею новая квартира была совершенно пустой: всего за несколько дней до начала симпозиума она вместе с мужем переехала из Израиля в Лондон. По российской нелюбви ко всяким казенным домам, включая гостиницы, а также, возможно, по неизжитому чувству российского коллективизма мы согласились. Сильва настаивала: «Наташа, поезжайте с Аркадием прямо ко мне, — и упрямо ввинчивала мне в руку ключ от квартиры. — Там вас встретит Генри (это ее муж), а мы вместе с Толей и Леней привезем какую-нибудь постель». Ее не смущало, что Генри (англичанин) не знает русского, а мы английского. «Он ко всему привык!» — уверяла нас Сильва. Представив себе, как ее Генри встретит на пороге своего дома неизвестного мужчину на костылях и в гипсе, мы одни ехать туда не решились. Всей ватагой ввалились в первый попавшийся мебельный магазин — Аркадий ждал нас в такси — и купили раскладной диван. Очень хорошенький. Одно из чудес западного мира: он был доставлен в тот же день! Правда, он был дешевый и через год развалился. К вечеру Толя Кузнецов привез одеяла и подушки.

Был канун Нового года. Жена Лени Кира приготовила роскошный новогодний ужин. Все было продумано — и блюда, и сервировка, и состав гостей. Но в скромном вертикальном доме Финкельштейнов одна комната громоздилась над другой, образуя неудобную трехэтажность. Подниматься в гостиную надо было по такой узкой лестнице, что ни в кресле на колесиках с помощью друзей, ни самостоятельно на костылях Аркадий туда взобраться не смог бы. Кира чуть не плакала от огорчения. Не провести этот вечер всем вместе было немислимо. У нас было общее прошлое. Все мы начинали новую жизнь. И нас было мало. Тогда решили: завернуть индюшку и привезти ее в пустую квартиру к Сильве. Так и сделали.

В гостиной, казавшейся просторной и торжественной из-за того, что, кроме длинных шелковистых штор, в ней абсолютно ничего не было, растянули на полу одеяла, покрыли скатертью, на скатерти разложили закуски, поставили шампанское, сами на полу расположились вокруг. В одном углу на инвалидном кресле восседал Аркадий, в другом стояли его костыли. Я была одета совсем не по-праздничному, и вместо приличествующих

случаю дамских побрякушек меня украшали синяки. Но как же всем нам было весело! Более счастливой, более искрометной встречи Нового года я не помню. Мы резвились как дети. Сильва совершала какое-то представление с куклами, перебивая друг друга, все рассказывали о том, кто как просил политическое убежище, все любили друг друга, и заря свободы разливалась перед нами все шире и шире. «Содвинем стаканы, поднимем их разом!»

Это было то счастливое мгновение, которому мы забыли сказать: «остановись».

Причины катастрофы на скоростной автостраде были не ясны. Итальянские литераторы были уверены в покушении. Журналисты в Англии из «Дейли телеграф» подхватили эту версию, хотя сам факт покушения не был доказан. (Кстати, вскоре при похожих и тоже невыясненных обстоятельствах на итальянском шоссе погиб известный издатель Фельтринелли.) Приезжали репортеры, снимали Аркадия на костылях на фоне квартиры Сильвы (респектабельный «флэт», по соседству с которым, по словам Лени, в молодости жил Черчилль). Сильва возбужденно кричала: «Фатеру зашухарили!»

Потом начались праздничные будни единственного в своем роде международного симпозиума, который велся на русском языке. Дело было, напомним, задолго до падения как Берлинской стены, так и «железного занавеса». Достоверных сведений о том, что же представляет собою советская цензура, было мало. Внутри страны о ней было еще менее известно, чем за границей. Наличие цензуры в СССР цензурой же и замалчивалось.

Симпозиум, на который мы ехали таким длинным путем, был организован радиостанцией «Свобода» совместно с мюнхенским «Институтом по изучению СССР» (ныне не существует). Он был посвящен столетию со дня смерти Герцена. Место для симпозиума подходящее — герценовский «Колокол» родился в Лондоне. Заседания проходили в конференц-центре So paught Rooms. Председатель симпозиума Макс Хейурд — наш старый знакомый, участники — советологи и специалисты по русской литературе из Европы и Америки и литераторы, недавно покинувшие СССР, — А. Кузнецов, Л. Финкельштейн, А. Белинков, Юрий Демин, А. Якушев, И. Ельцов, Мих. Гольдштейн и автор этих воспоминаний. Мы-то и были докладчиками.

В конференц-центре царило радостное возбуждение: знакомства с западными журналистами и учеными, встречи с бывшими соотечественниками, переживание заново событий московской литературной жизни, о которых до того каждый знал порознь. Настроение Аркадия не было испорчено даже тем, что под итальянским гипсом у него чуть не началась гангрена. К счастью, Глория и Джин Сосины заподозрили неладное и на-

стояли на медицинском вмешательстве. Английские врачи быстро исправили положение и наложили новый гипс.

Между заседаниями и медицинскими осмотрами нам удавалось осматривать Лондон. К счастью, лондонские такси — самые просторные в мире, и в них легко было закатывать кресло на колесиках.

Бывшие советские литераторы, на себе испытавшие давление советской цензуры, досконально обрисовали картину государственного контроля над печатью в оставленной ими стране. Западные специалисты по Советскому Союзу получили представление о надзоре не только над литературой, но и над музыкой, кино, научно-исследовательскими институтами. Они впервые узнали тонкости многоступенчатого прохождения рукописей через цензуру, ближе познакомились с Главлитом, сращенным с пенитенциарной системой. Но этим дело не кончилось. Им пришлось разбираться в разнице между самоцензурой и способами обхода цензуры. Кое-кого привело в смятение сообщение о том, что редакторы в советских издательствах часто бывают более придирчивы, чем сам цензор.

— Где же конфликт между системой и творческой интеллигенцией? Трудно поверить, что цензоры подкапываются под систему наравне с самими творцами...

— Совсем наоборот, — отвечали мы, — большинство творческой интеллигенции (писатели и редакторы в равной мере) равняются на цензоров!

Совершенно сбивало с толку, что цензура вмешивается и в музыкальные дела.

— Ну еще можно понять, почему «Тринадцатая симфония» Шостаковича запрещена, но почему и скрипичный концерт Стравинского? Ведь там же нет слов!

— Слишком продвинутый. Не соответствует требованиям Главлита. То же и с «Пятой симфонией» Чайковского, конечно. Но это другое дело, это — русская классика.

Главное, нам сообща удалось сформулировать принципиальное отличие цензуры в СССР от подобных институтов в других странах и в другие времена: *советская цензура не только запрещает, но и указывает, что и как писать.*

Белинков назвал этот уровень контроля *рекомендательной* цензурой. Он выступил на симпозиуме с двумя докладами — о приемах обхода цензуры (на собственном опыте) и об истории цензуры — от царского времени до советского. Он больше не уподоблял советскую цензуру дореволюционной. Этот прием за ненадобностью отпал при пересечении советской границы. Докладчик просто сравнивал две эпохи: до революции искажали отдельные произведения, после революции — весь литературный про-

цесс: «Если восстановить все, что запрещено советской цензурой, мы получим *другую литературу*».

Английский «Дейли телеграф»<sup>1</sup> уделил симпозиуму несколько слов. Мелькнули две статьи в русской зарубежной периодике. Радиостанция «Свобода» посвятила этому событию цикл из семи передач. В СССР не преминули отметить, что на симпозиуме, организованном английскими спецслужбами, измышления политических эмигрантов использовались для подрывной антисоветской деятельности. Один журналист (С.К. Цвигун) даже назвал наше собрание «тайным фронтом». О том, что на нижней площадке широкой лестницы, ведущей в зал заседаний конференц-центра, толпились «искусствоведы в штатском» в ботинках советского образца, упомянуто не было.

Осязаемым результатом работы симпозиума стали две книги: «The Soviet Censorship»<sup>2</sup> — стенограмма заседаний, снабженная обширной библиографией, и «Новый колокол»<sup>3</sup> — литературно-публицистический сборник писателей-невозвращенцев — предшественников третьей волны иммиграции из России. Обе книги посвящены памяти Аркадия Белинкова.

Не только осмотром достопримечательностей были заполнены наши европейские дни. Помимо выступлений на симпозиуме Аркадий читал лекции в Высшей школе экономики и политических наук Лондонского университета. Он встречался с редакторами различных издательств, близко познакомился с людьми, полностью разделяющими его взгляды: Леонардом Шапиро, Тибором Самуэли, Леопольдом Лабецем, Виктором Франком... В Лондоне жили Макс Хейуорд, Леня Финкельштейн... Недалеко, в Голландии находился Карел ван Хет Реве. Серьезные разговоры за чашкой чая не считались здесь неприличными, как в штате Коннектикут. Не обошлось и без многочисленных встреч и публичных выступлений и по дороге домой. На этот раз Аркадий выступал в Мюнхенском «Институте изучения СССР». И здесь были близкие по духу люди — сотрудники «Граней», «Посева», мюнхенского отделения радио «Свобода». В выступлениях Белинкова никто не находил «русофобии», не пугался «антисоветизма». Мечта Аркадия перебраться в Европу окрепла. Я же опасалась, что он заменял состояние коренного жителя положением гостя, мне казалось, что страны большой и красивой западной земли отличаются только климатом и архитектурой. Все же остальное — неоновые витрины, нейлоновые рубашки, газолиновые станции, кредитные карточки, апельсиновые дольки,

---

<sup>1</sup> *Floyd D. Belinkov Appeals for Understanding for Russian Exiles* // *The Daily Telegraph*. 1970. January 10.

<sup>2</sup> *The Soviet Censorship* / Ed. by Martin Dewhirst and Robert Farrell. New Jersey, 1973.

<sup>3</sup> *Новый колокол*. Лондон; Нью-Йорк, 1972. Основатель А. Белинков. Главный редактор Н. Белинкова.

любяльность и вежливость, недоумения и прозрения и даже непонимание опасности коммунизма — более или менее везде одинаковы. Аркадий был обречен на распря с веком в любой стране.

Распря — спор, не обязательно ссора. Для участия в споре на равных нужен свой плацдарм, свой печатный орган. Лучшего времени и места, нежели симпозиум по цензуре, для создания такого плацдарма трудно было придумать. К концу заседаний его русские участники единодушно согласились с Аркадием, что необходим *свой* журнал. Ну, если не журнал, то по крайней мере — сборник. Профиль журнала/сборника был очевиден: ориентироваться на интересы советской оппозиционной интеллигенции, донести сюда ее идеи, избежав при этом узкой «партийности». Бессмертным образцом заграничного вольного слова был, конечно, «Колокол» Герцена. Значит, «Новый колокол». Название не было придумано ни Белинковым, как можно было бы предположить, и ни кем-либо из только что созданной редколлегии. Его как бы подсунули из СССР под «железный занавес». Задолго до симпозиума сюда дошел слух о том, что в Москве заговорили о «Новом колоколе». Главным редактором нового издания единодушно выбрали Аркадия Белинкова. Еще до поездки на симпозиум Аркадий предусмотрительно обратился за поддержкой к «Свободе» в поисках спонсора. Намерение создать литературно-политический сборник силами недавних невозвращенцев там одобрили и окончательное решение о его создании приняли с энтузиазмом.

Весть о том, что «новейшие» будут издавать какой-то сборник, быстро распространилась по русскому зарубежью. К этому времени восторженные встречи писателей и журналистов, бежавших из СССР, прекратились. Все мы превратились в «советских товарищей».

Вскоре после нашего возвращения из Европы Аркадию позвонил Александр Григорьевич Бармин, с которым Аркадий познакомился полтора года назад, когда никаких конфликтов со старой эмиграцией еще не предвиделось. (Говорили, будто бы Бармин в свое время служил в советском посольстве в Испании, но когда был отозван в Москву, вместо восточного направления выбрал западное и одно время работал на «Голосе Америки».)

Александр Григорьевич предложил незамедлительно встретиться. Оказалось, что он живет недалеко от нас в Нью-Хейвене.

Аркадий признался, что после автомобильной катастрофы в Италии он не очень здоров.

Александр Григорьевич, ссылаясь на свой возраст и усталость, настаивал на встрече у него дома.

Аркадий согласился, хотя садиться с костылями в автомобиль и выбираться из него было весьма затруднительно.

Водителем теперь была я.



Добрались до уютного, уютного зеленого домика. Постучались. Дверь открыл немолодой седой подтянутый господин. По-моему, ему стало неловко, когда он увидел перед собой покачивающегося на костылях бледного человека в костюме и галстуке — так непохожего на самоуверенного товарища в кожаной куртке.

Бармин вызвал (лучшего слова не подберу) Аркадия, чтобы отговорить его от издания сборника. Судя по всему, он выражал коллективное мнение. Убедившись, что отговорить не сможет, он начал убеждать гостя в необходимости избавиться от «антирусского» направления в новом печатном органе. Обнаружив, к своему удивлению, что Аркадий ненависти к России никак не проявляет, Бармин все же вывернулся: критика тоталитарного режима, в той манере, которой пользуются новейшие, может быть плодотворна только в том случае, если она ведется изнутри страны исхода. В эмиграции она становится неприемлемой. Очень это смахивало на рекомендации Рафальского. «Те же самые идеи воспринимаются иначе в зависимости от того, где они высказаны», — такими словами заключил Бармин встречу. Должно быть, он был прав. Но он разговаривал с человеком, который не менял свои взгляды применительно к тому, как и кем они воспринимаются.

После того как из Лондона все разъехались по домам, на будущих авторов *своего* собственного сборника напал род апатии. Обещанные материалы поступали медленно. Или так казалось нетерпеливому редактору, который всегда спешил, как бы стремясь догнать украденные у него заключением двенадцать с половиной лет.

Отбросив вежливость и старомодную изысканность, которые обычно отличали его письма, он писал друзьям в Лондон: «...сборник я не дам провалиться. Понимаете, не дам. Я сидел в тюрьмах, валялся в больницах, метался в тифу, таскал наручники и мечтал. Мечтал, что когда-нибудь мы соберемся, горстка единомышленников, и впервые в жизни сами! Будем печатать что хотим, что написали без редактора и его вопросительного крючка и обожания собственного мировоззрения. Понимаете, без Гуля (патриота), без Кожевникова<sup>1</sup> (шовиниста), без «Возрождения»<sup>2</sup> с ятями, без «Мостов»<sup>3</sup> с Хомяковыми и без прочей сволочи с амбицией, обидами, нервами и зубками! Впервые в жизни напечатать то, что хочешь и то, что

---

<sup>1</sup> Кожевников В.М. — советский литератор, общественный деятель, Герой Социалистического Труда. А. Белинков ставит на одну доску квасной эмигрантский и советский патриотизм.

<sup>2</sup> Журнал русской эмиграции (Париж, 1949—1974), преемственный по отношению к «органу русской национальной мысли» газете «Возрождение» (Париж, 1925—1940). — *Примеч. ред.*

<sup>3</sup> «Литературно-художественный и общественно-политический» альманах (Мюнхен, 1958—1970), редактор Г. Андреев (Г.А. Хомяков). — *Примеч. ред.*

хотят твои товарищи по нашему страшному ремеслу. И я буду бить по этим зубкам наотмашь и топтать эту амбицию и буду наворачивать на кулак эти самые нервы и прокляну с того света, если мне помешают делать наше святое дело — хоть раз сказать все что хочешь!»<sup>1</sup>

Решение издавать журнал было принято в январе, а в мае Белинкова не стало. Он только и успел, что наметить приблизительный круг авторов и набросать черновики с планами и проектами. По этим черновым чертежам и был выстроен «Новый колокол». Его называют детищем Аркадия Белинкова. Думаю, что с таким заключением надо быть осторожным. Неизвестно, каким бы был этот сборник, если бы его основатель сам осуществлял свой замысел. Дело в том, что обязанности редактора мне пришлось взять на себя. На войне, — рассказывал мой отец, — он был свидетелем случая, когда осколком снаряда человеку снесло голову, а его туловище продолжало идти. Когда вокруг меня образовалась пустота и все наши дела замерли, мне стало страшно, и машинально я пошла... разбираться в оставшихся черновиках.

Вы помните поговорку «На ловца и зверь бежит»?

По передачам «Свободы» слушатели узнали, что писатели и журналисты, недавно получившие политическое убежище на Западе, решили выпустить сборник статей на темы, которые волнуют людей в СССР. В «Новый колокол» потекли материалы «самиздата».

Летом следующего года я была в Европе по делам «Нового колокола». Директор «Отдела изучения запросов радиослушателей» в парижском отделении радиостанции Макс Ралис предложил мне встретиться с писателем из Москвы. Из Москвы! При «железном-то занавесе»! Соглашаюсь с замиранием сердца.

Встречаемся втроем на квартире у Макса. Первый вопрос москвича: «Вы меня помните?» Я его не только не помню, но и не узнаю! Вижу, человек волнуется ужасно. «Д-д-да...» — говорю, не имея на то никаких оснований, и сразу же раскаиваюсь. Кого я подвела? Моя неуверенность, конечно, заметна обоим. Теперь Макс, чего доброго, думает, что моего «знакового» подослали из КГБ. Приезжаем из СССР, скорее всего, кажется, что он угодил в сети заграничных спецслужб. Я в замешательстве. Не знаю, что говорить и как себя вести...

— Наташа, Вы помните «Варшавянку»? У Лени? — выводит меня из затруднения гость.

Чтение «Варшавянки» у Лени Зорина в Москве! Его квартира на Аэропортовской резко и нарочито выпадала из картины привычного трудного

---

<sup>1</sup> Письмо К. и Л. Финкельштейнам от 22 апреля 1970 года — за 22 дня до кончины. Не опубликовано.

советского быта. Зорин как бы отгораживался от реальности старинной мебелью красного дерева, книгами в красивых переплетках. В просторных комнатах блестели полы, блестели стекла. Хозяйка была красиво причесана, сам Леня повязан кокетливым шейным платком. Слегка смущаясь, этот известный уже драматург читал мягким, немного вкрадчивым голосом, и, волнуясь, следили мы за судьбой двух влюбленных молодых людей, Гели и Виктора. Их дорогу к счастью преграждал закон, запрещающий браки с иностранцами. Читка проходила в отдельной, как бы специально для этого предназначенной комнате. Кроме автора, его жены и нас с Аркадием в ней находился еще один человек. Теперь я встретилась с ним в Париже.

Из прихожей парижской квартиры мы переместились на кухню. Так по-московски!

Макс привычным жестом включает приемник. Тихое журчание музыки...

— От наших? — спрашивает гость.

— Нет, от наших. — отвечает хозяин.

Напряженная бдительность времен «холодной войны».

Первая неловкость смяла радость общения, но итог встречи превзошел все мои ожидания. Писатель сказал, что узнал о сборнике по передачам «Свободы», и молча преподнес мне несколько машинописных страничек. Драгоценный подарок! Это было его письмо для публикации в «Новом колоколе». Москвич выступал от лица тех, кто не принимал «бесчеловечного полицейского режима на нашей родине». Он считал, что наш сборник должен стать голосом думающей и читающей России: «Смотрите на вещи нашими глазами!»

Мы в Париже. Назавтра мне улетать в Нью-Йорк. Ему возвращаться в Москву. Если его не выследят здесь, его могут узнать по пишущей машинке там — однажды на многолюдном собрании в Доме литераторов это старательно разъяснил писателям крупный работник КГБ. Макс тут же сел переводить письмо с русского на английский. Оригинал мы сожгли на свечке. Он вспыхнул и почти мгновенно сгорел. Макс собрал пепел в ладонь и стряхнул его в раковину.

На следующий день прямо из аэропорта Кеннеди — к Мирре Гинзбург. Ее девочкой привезли из России в Америку в двадцатые годы. Мирра — первоклассная переводчица. Она подарила американским детям русские сказки и взрослым американцам — Замятина и Пильняка. Мы дружим с первых дней нашего появления в Штатах. Я знаю, она принципиально не имеет дела с «политической» литературой, пренебрегла даже Солженицыным. Однако вот взялась перевести привезенные мной странички с английского обратно на русский. Мы назвали их «Письмо из России» и просидели над ними до двух часов ночи. Интересно было бы сравнить ее перевод с оригиналом. Во всяком случае, буквально переведена подпись:

*Reader.* По-русски — *Читатель.* За ней скрывается первый слушатель «Варшавянки» известный писатель Аркадий Ваксберг.

Мне пришлось еще раз выслушать возражения Бармина. В этот раз он приехал ко мне. Но меня уговорить было еще труднее: вдовы упрямы. Главное его возражение было против «Страны рабов...». Бармин не сомневался, что статья будет включена в сборник, и предостерегал меня от этого шага. Я возражала. Тогда он посоветовал (не смейтесь, пожалуйста!) переправить ее... в российский «самиздат». Если в «Хронике текущих событий» будет положительная рецензия, — настаивал он, — здесь поверят, что ничего оскорбительного для русского народа в статье нет. По горячим следам я писала Максу Ралису: «Ко мне приезжал Бармин и на протяжении пяти часов уговаривал меня: 1. Не оскорблять русский народ (великий, конечно); 2. Не смешивать с грязью моих бывших друзей, оставшихся в СССР; 3. Не способствовать закрытию радиостанции “Свобода”; 4. Не протаскивать в журнал из личных соображений “Вашего покойного мужа” Белинкова; 5. Снять всю публицистическую линию и оставить только рассказы, а если таковых нет, то пусть каждый из нас напишет по рассказику».

Спонсоры тоже старались направить материалы сборника в правильное, с их точки зрения, русло. В частности, мне вежливо, но настойчиво советовали включить в сборник статью А. Якушева «Либерально-демократические настроения советской интеллигенции», хотя она носила академический характер и не очень вписывалась в литературно-публицистический сборник, и убеждали отказаться от статьи Джона Скотта «Справедливый мир во Вьетнаме» (перевод с английского А. Климова) — название и тема статьи все еще казались слишком острыми. Обе эти работы, как и «Страна рабов, страна господ...», в «Новый колокол» были включены.

Каким же «Новый колокол» предстал перед читателем?

Наряду с бывшими советскими писателями, выступавшими на симпозиуме по цензуре, в сборнике приняли участие и другие «новейшие»: Алла Кторова, Александр Варди, Юрий Кротков, Виктор Лавров, С. Мирский, а также три автора самиздата.

Прислали свои работы легендарный политический деятель Милован Джилас (автор книги «Новый класс») и активный деятель «Пражской весны» Иван Свитак (автор книги «Чехословацкий эксперимент»). Дебютировал в «Новом колоколе» иммигрант из Польши Эдуард Штейн, ставший впоследствии известным специалистом по русской эмигрантской литературе.

В списке авторов сборника числятся английский советолог Джеральд Брук (провел четыре года в заключении за распространение зарубежной литературы в Москве), профессор Редингского университета в Англии

Тибор Самуэли (сын венгерских политических эмигрантов, был арестован КГБ после окончания Московского университета), американский журналист Джон Скотт (специальный корреспондент «Тайм», дававший сводки с места военных действий во Вьетнаме).

Из Израиля была прислана статья специалиста по вопросам международного еврейского движения — автора книги «Путешествие в страну Зека» — Ю. Марголина «Существует ли “политический невроз”?».

Статья С. Мирского «Почему Израиль не Спарта» и статья Джона Скотта «Справедливый мир во Вьетнаме» составили раздел «Международная жизнь».

Приняла наше предложение, но не успела приготовить главу из книги о своем великом отце Татьяна Львовна Толстая.

В статье «Хождение по свободе» я осмеливалась подводить итоги нашего короткого пребывания на Западе, не осознав еще, что идеи прогрессивной интеллигенции Запада и оппозиционной интеллигенции Советского Союза к одному знаменателю не сводимы.

О тусклой и безнадежной современной советской действительности дает представление художественная часть сборника. На его страницах отразились и трагикомические конфликты в коммунальной квартире, и трагические столкновения на засекреченном атомном полигоне за полярным кругом; кровавая резня заключенных в лагере и смехотворная попытка политвоспитания иностранцев полуграмотными вертухаями; зэку выпадает «счастливая карта»: его актируют по болезни и потере трудоспособности; разрабатывается операция по компрометации иностранных подданных; нацистский преступник Эрих Кох в польской тюрьме дает совет еврею-диссиденту: «будь осторожен». Тут и «Побег», с его смешением правды факта и правды вымысла, и «Попытка спасения» из антиутопии «Тейч Файв» А. Кузнецова. Тут и рассказ Джиласа «Засада» (перевод с сербского Б. Сергеева). Эти «картинки с советской выставки» дополняются статьями о советской пропаганде (В. Лавров), цензуре (М. Гольдштейн), завоевании космоса (Л. Финкельштейн).

Но оказалось — сборник нацелен не столько на обличение тоталитарных режимов и приемов подавления человеческой личности, сколько на поиски причин несостоятельности творческой интеллигенции в противостоянии этим режимам. «Оказалось», потому что наличие материалов по этому поводу — совпадение, а не чей-либо сознательный подбор на заданную тему.

Тибор Самуэли (в статье «Интеллигенция и революция») считал, что созданный революцией новый строй не столько развивал традиции самодержавия, сколько абсорбировал ментальность революционной интел-

лигенции. Иван Свитак («Кризис левой») видел причину поражения пражской интеллигенции в том, что, предаваясь иллюзиям, она не имела представления о реальных функциях режима, который хотела реформировать. А. Якушев приходил к выводу, что «демократическое мышление» 60-х годов формально опирается на цели и идеи советской государственной системы. По Белинкову выходило, что во всякой революции заложено ее термидорианское завершение.

Кроме «Побега» и «Страны рабов...» в «Новом колоколе» были также напечатаны черновики Белинкова об Ахматовой и Солженицыне — героях несостоявшейся третьей части трилогии о независимом художнике, противостоящем давлению власти.

В оформлении издания принял участие Борис Пушкарев. Предполагалось, что голубой цвет обложки «Нового колокола» установит зрительную ассоциацию с «Новым миром». Книжка отпечатана в Нью-Йорке, на старинных линотипах в типографии легендарного Александра Доната. Напоминая о герценовской традиции, на титуле вместо «Нью-Йорк» значится «Лондон». Эта маленькая мистификация помешала получить номер в Библиотеке Конгресса, значительно сократив количество читателей сборника.

«Новый колокол» помогли осуществить самоотверженные энтузиасты. Особенно это относится к Ольге и Эдуарду Штейнам, бескорыстно взвалившим на себя всю черновую работу по вычитке корректуры, — мы жили в одном городе и общались почти ежедневно. С Леней Финкельштейном (Леонид Владимиров) и добровольным секретарем сборника Сильвой Рубашовой я советовалась в основном по почте — нас разделял Атлантический океан. На обороте титула «Нового колокола» упомянута мисс Т. Сооди. Тася Сооди — дочь эмигрантов, попавших в Америку из Прибалтики во время Второй мировой войны. Переводы, звонки, поездки, переписка с разбросанными по зарубежью авторами — это ее щедрый вклад в «Новый колокол». Будет несправедливо не упомянуть Макса Ралиса, Джина Сосина и Джима Кричлоу, ответственных сотрудников радиостанции «Свобода», помощь которых выразилась в том, что они стали моими друзьями и тем самым друзьями «Нового колокола».

Чтобы отметить выход в свет «Нового колокола», Е. Якобсон и Ю. Ольховский, в то время заведовавший русской кафедрой Университета имени Джорджа Вашингтона, организовали в вашингтонском отделении Литературного фонда вечер, на котором должны были выступать участники сборника.

Накануне мне позвонили.

О л ь х о в с к и й: Наташа, давай откажемся...

Я: Что случилось?

Ольховский: Понимаешь, у меня тут обрывают телефон...

Я: В чем дело?

Ольховский: Грозят сорвать вечер. Будет скандал.

Я (уже наученная американским образом жизни): Вот и хорошо!

Ольховский: Обещают стекла бить!

Мне жаль казенного имущества. Но есть люди, которые едут издалека. Мы не успеем их предупредить. Мне, конечно, жаль и Ольховского — испорчу ему репутацию в русском обществе города Вашингтона. Но разве можно сдаваться?

Решаем проводить вечер, но на всякий случай вызвать полицию.

Скандал в Вашингтоне не состоялся. После выступлений по обычаю — пирожки. Все довольны. Одна русская дама подходит ко мне и смущенно показывает адресованное ей письмо с цитатами из статьи Гуля о русофобии Белинкова. Отправители письма советовали бойкотировать вечер. Сборы от мероприятий Литфонда идут нуждающимся русским литераторам по всему зарубежью. В этот раз со вспомоществованием будет не густо.

Глава Славянского отдела Нью-Йоркского университета проф. Коджак объединил авторов «Нового колокола» с третьей, уже «легальной» волной — в лице Льва Наврозова и Вероники Штейн (однофамилица Оли) — и устроил нашу встречу со студенческой молодежью русской кафедры. Иммиграция из СССР была уже в полном разгаре. В зале были недавно приехавшие в США Борис Шрагин и его жена Наташа Садомская. Повторилась атмосфера лондонского симпозиума. Расхождений во взглядах между невозвращенцами и официально уехавшими из СССР не было.

Присутствовали на встрече и представители русской зарубежной печати. Появилась более или менее объективная оценка «Нового колокола». В «Новом русском слове» Вяч. Завалишин приветствовал попытки его издателей преодолеть непонимание между западной либеральной и советской оппозиционной интеллигенцией: «Встреча со сборником будет для пытливого читателя встречей с мыслящей, негодующей, протестующей Россией». Однако двух человек из «мыслящих, негодующих и протестующих» он исключил: «В острой неприязни к русской истории Наврозов превзошел самого Белинкова».

Ему вторил бескомпромиссный литератор, правда слегка запоздавший с сообщением о лондонском симпозиуме. Он изобразил Аркадия эдаким всадником без головы. Судите сами: «Открывает симпозиум ныне покойный Беленков. Сев на своего любимого конька, он заявляет: «Советская история — это лишь новая глава в русской истории, из которой она за-

имствовала отрицательные черты»<sup>1</sup>. Я, конечно, не могла не обратить внимание на то, что в отличие от лагерного доносчика эмигрантский критик не потрудился проверить, как пишется фамилия его покойного оппонента.

В хор хулителей влился голос Н.В. Станюковича. Его особенное возмущение вызывает, естественно, «Страна рабов, страна господ...». Он послушно идет вслед за Р.Б. Гулем: «статья предназначалась для ненавистников России и в ее историческом, и в советском образе»<sup>2</sup>. Попутно критик отказывается поверить, что «искренно нами уважаемый Г.П. Струве» ознакомился с материалами сборника. И правильно делает, что сомневается.

Глеб Петрович Струве действительно не имел к нашему сборнику никакого отношения. Как он оправдывался! «...Ни с одной статьей в “Новом колоколе” я наперед ознакомлен не был... почему Н.В. Станюкович участников сборника называет моими “протезе”?» Это в начале его письма, а в конце: «Не понравилось мне... название сборника, не понравилось и подчеркнутое отгораживание этой т.н. “новой” эмиграции от нас, старых эмигрантов... То, что я прочел о “Новом колоколе”, более или менее подтверждает мое априорно-критическое отношение»<sup>3</sup>. Обратите внимание, не «в» сборнике, а «о» сборнике...

В этом хоре выделяется голос Александра Димитриевича Шмемана. Привожу полностью (в современной орфографии) его письмо, сохранившееся в моем архиве. Особое внимание обращает на себя вторая, критическая половина его письма. Шмеман — по облику своему человек XIX века — обратил особое внимание на бездуховность авторов сборника и вплотную подошел к трагическому выводу, которому не хочет верить сам: наше духовно ограбленное поколение обречено на поражение в борьбе с тоталитаризмом.

9 августа 1972 г.

*Дорогая Наталья Александровна,*

*Я давно уже собираюсь написать Вам о «Новом колоколе» (как видите, пишу по старой орфографии, так научили в детстве, но это не признак идеологической “зубрости”), но, погруженный в очень спешную работу, все откладывал. Ваше милое и откровенное письмо меня подтолкнуло. Рецензии я пишу, как, впрочем, и все, что меня по-настоящему интересует, страшно медленно, и когда она родится, не знаю; ибо, повторяю, «своего» времени у меня ужасно мало. Поэтому хочу сразу же сказать Вам глав-*

---

<sup>1</sup> Крыжицкий С. Советская цензура // Новый журнал. 1974. С. 296. (Точная дата не установлена.)

<sup>2</sup> Станюкович Н.В. «Новый колокол» // Возрождение. 1972. № 239. С. 140.

<sup>3</sup> Струве Г. О «Новом колоколе» // Возрождение. 1973. № 240. С. 160.



ное, что чувствую в отношении Вашего сборника. Пишу без плана и, поэтому, несистематично, но дело не столько в «идеях», в которые, скажу по совести, я верю все меньше и меньше, а в том, что услышал и как, и как реагировал на услышанное своим собственным нутром. Не знаю, что о моей реакции — первой и поверхностной — сказал Вам о К.Ф. [отец Кирилл Фотиев], но эта первая реакция, действительно, была не лишена некоего «гулевского» (от Р.Б. Гуля) оттенка: сборник я сначала воспринял не только как «антисоветский», но и не в меру «антирусский». Поверьте, мне не только чужд, но и глубочайшим образом противен всякий шовинизм и ура-патриотизм, будь то советского, будь эмигрантского извода (да они, в сущности, того же поля ягодки), но именно поэтому мне показалось обратной крайностью это ударение на «страна рабов, страна господ», это стремление советчину чуть ли не целиком вывести из вековечного «рабства» русского народа.

Потом я перечитал сборник медленно и с рассуждением, и, вот, плод этого более углубленного чтения я и повергаю на Ваше усмотрение. Его можно, как водится, разбить на две колонки: положительную и критическую. Начинаю с первой. В целом, конечно, Ваш «Новый колокол» — явление замечательное по многим причинам. Во-первых, уже по тому одному, что это первый сборник людей, действительно, недавно вырвавшихся оттуда и, действительно, говорящих свободно и открыто то, что они думают, и так, как они это думают. Первое качество, которое я сильнее ощутил при втором чтении, — это именно свобода. Свободы нет в России, это ясно всем, но ее не так уж много и в эмиграции, а это ясно далеко не всем. Тут свои генералы, свои «эстаблишменты», и тронь только их пальцем, гонение и грубая брань, бойкот и духовный террор обеспечены. В «Новом колоколе», если его проанализировать «научно», никто, в сущности, до конца не согласен ни с кем и можно было бы «обличить» сотню-другую противоречий, но это-то и хорошо. По Белинкову, например, только русская интеллигенция одна во всей России хотела духовной свободы, а по Тибору Самуэли, она совсем ее не хотела, а служила идолам и утопиям. Про себя я заметил, что почти в каждой статье я согласен с половиной и столь же не согласен с другой половиной. Но, повторяю, в конечном счете это хорошо. «Новейшие» учат свободе! Свободе от штампов, свободе от страха кому-то наступить на мозоль, свободе от идеологической узости. Не все в сборнике того же качества, но многое замечательно, талантливо, остро и интересно. Кстати сказать, и совсем не для комплимента, мне очень понравилось то, что написали именно Вы. Вообще-то, если по сборнику судить о теперешней, «новейшей» русской интеллигенции — и это для меня главное в свидетельстве «Нового колокола» — то просто поразительна ее внутренняя свобода, мужество и ее интеллектуальный уровень. Поэтому обязательно, обязательно продолжайте! Вне всякого

сомнения, это свежий воздух, даже если он вызывает преувеличения. Они от боли, подлинной и живой, а не от внутреннего цинизма или личной обиды.

Теперь дружественная критика. В сборнике **не хватает** целостности не в смысле согласия и идеологического единодушия (это не партийный орган и этого совсем и не нужно), а в каком-то другом, более неуловимом смысле. Пример: статья Ю. Марголина сама по себе очень интересная. Но Марголин — никак не «новейший», и выходит так, что из всех старых Вы выбрали почему-то его одного. Между тем в «старой эмиграции» было очень много сказано важного, нужного и совсем не устаревшего на те темы, о которых пишут участники сборника. Одно дело, если участие в сборнике ограничено «новейшими», тогда все ясно. Совсем другое, если в него, по нигде не объясненному мерилу, допускаются «иногородние». Но это, в сущности, мелочь. Для меня гораздо важнее другое, и тут, конечно, Вы меня можете упрекнуть в том, что я соскальзываю в лично для меня, но не обязательно для всех, важное. Но все же скажу, и скажу откровенно: это отсутствие некоей духовной глубины. Поймите меня правильно — это не обязательно «религия», которую странно было бы навязывать, если ее нет. Но все же опыт советского рабства есть и духовный опыт, и не делает ли он очевидным, что та пресловутая свобода, которую он попирает, что она уже не может быть определима только нормально, что в современном мире она отбрасывает какую-то метафизическую тень, отделаться от которой невозможно. Да, наконец, проблематику духовной сущности свободы и ее носителя — человека — не выкинуть и из русской культуры; но ее просто нет в «Новом колоколе», и я ощущаю это как проем. Для меня это сведение всего к «структурам» — это все же засилье политического момента — недостаточно. И опять-таки здесь не нужно ни единомыслия, ни «догматов». Но неужели среди авторов нет никого, кто бы так или иначе — пускай даже критически и в «порядке дискуссии» — не оказался бы к этой теме чувствителен? Уж хотя бы по одной той причине, что к этой теме «чувствителен» такой человек, как Солженицын. Вопрос я еще могу повернуть так: почему Запад так слаб в своей и не только борьбе, но и просто в понимании «тоталитаризма». Не потому ли, что он сам растерял свой духовный капитал, из которого одного только и вырастает подлинное ощущение, подлинное понимание свободы?

Еще раз, дорогая Наталья Александровна, простите за этот запоздалый отклик. «Новый колокол» меня очень взволновал, и я много думаю о написанном в нем. Я желаю Вам успеха и роста. Второй номер — вот настоящий экзамен. А за первый большое Вам спасибо. У него уже — «лица необщее выражение». Я от души желаю, чтобы оно нашло свою глубину, чтобы боль, талант, свобода, которые отличают его «звон», превратились бы постепенно в некое убедительное и цельное видение России и ее будущей судьбы.

*Надеюсь осенью встретиться с Вами и обо всем еще и еще побеседовать.*

*Искренне преданный и уважающий Вас Ал. Шмеман.*

«Левая пресса будет нас громить», — предположил Чеслав Милош, которого Аркадий приглашал участвовать в «Новом колоколе»<sup>1</sup>. Не громили. Но вспоминается, что один польский журналист обозначил ситуацию так: Аркадия Белинкова окружило молчание, воздвигнутое американской прессой.

Лешек Колаковский в личном письме Аркадию писал: «...Мне не надо подчеркивать, что я солидарен с Вашими идеями. Я вижу, что плачевное невежество западного мира во всех вопросах Восточной Европы и Советского Союза (что мы можем наблюдать в безнадежном кретинизме американской "New Left") чрезвычайно опасно...»<sup>2</sup>

Все же один голос пробился через стену молчания американской прессы. Давая высокую оценку «Новому колоколу», Морис Фридберг, не раз упоминавшийся в этой книге, конечно же обратил особое внимание на статью «Страна рабов, страна господ...»: «Лермонтовская печальная строчка служит эпиграфом к статье, — напоминает рецензент и, в некотором роде сближаясь со Шмеманом, делает вывод, — [Белинков] утверждает, что многовековое давление на русскую интеллигенцию уничтожило ее способность сопротивляться тирании. В эпоху ревизионизма в историографии эта проблема достойна серьезного научного обсуждения»<sup>3</sup>.

Когда в России цензуру отменили, там был осуществлен репринт «Нового колокола»<sup>4</sup>. Тираж был маленький — 1000 экз. Он бесследно разошелся по стране.

Продолжения «Нового колокола» не было. Я не решилась «пойти на экзамен» второй раз. Конечно, всегда можно найти извиняющие обстоятельства, но здесь не стоит о них говорить.

Конец длинной истории о том, как стараниями писателей-невозвращенцев в начале семидесятых был создан литературно-публицистический сборник «Новый колокол», возвращает нас к ее началу.

---

<sup>1</sup> «Глубокоуважаемый Аркадий Викторович!.. Говорить Западу о том, что происходит в нашей части мира, — самое безнадежное предприятие... Дело не в том, что люди не имеют информации, ибо она доступна, а в том, что они не хотят знать. Происходит очень сложный и интересный психологический процесс самозащиты... Мне уже не хочется убеждать западных читателей ни в чем». Из письма 1 мая 1970 года (архив Белинкова).

<sup>2</sup> *Колаковский Л.* Из личного письма. 1970. 20 апр. (архив Белинкова).

<sup>3</sup> *Friedberg M.* *Novy kolokol // The Russian review.* 1973. Vol. 32. № 4. P. 452.

<sup>4</sup> *Новый колокол.* М., 1994. Репринт. Издание осуществлено при содействии фонда Анатолия Якобсона.

Открывает «Новый колокол» трехстраничное предисловие, в котором обильно процитированы подготовительные записки его основателя Аркадия Белинкова. В предисловии изложены задачи и намерения редколлегии, критерии в оценке настоящего и прошлого, принципы выбора авторов и отбора материалов. Обращено внимание на отличие «Нового колокола» от исторического «Колокола». Тут ни убавить, ни прибавить. Ни изменить. Но одна страница устарела. Она заполнена перечислением надежд советской творческой интеллигенции, казавшихся тогда вряд ли осуществимыми, почти несбыточными. Всего двенадцать пунктов. Из них такие как: «Уничтожение цензуры в области искусства и науки», «Создание независимого издательства, свободного от государственного контроля», «Амнистия писателей и авторов самиздата», «Право свободного выезда из СССР и ненаказуемого возвращения на родину». Все двенадцать пунктов на какое-то время осуществились. Временно или навсегда — это другой вопрос. Это ли не было проверкой наших эмигрантских часов, оценкой «Нового колокола» самим временем? Кто-то сказал, что «Новый колокол» не прозвучал. Этот человек не прислушался. По мертвым колокола звонят негромко.

## МЫ ПОЛУЧИМ ДРУГУЮ ЛИТЕРАТУРУ

(По стенограмме выступлений  
на Международной конференции по цензуре.  
Лондон. 1970)

Осенью 1956 года я не попал в Дом литераторов на дискуссию, которая была посвящена обсуждению романа Дудинцева «Не хлебом единым»<sup>1</sup>. Моей жене повезло. Проскользнув вместе с Симоновым через кухню, она попала в зрительный зал. А я, как и другие неудачники, остался за воротами. Медленно и угрюмо возвращался я по длинной улице Воровского от дома номер 50 к дому номер 1, к арбатскому метро. Шел я не один, а с одним очень старым, очень известным писателем, и разговаривали мы на обычные литературные темы.

— Как у вас в «Вопросах литературы»?

— Плохо.

— А как у вас в «Новом мире»?

— Плохо.

Обычный литературный московский разговор.

По длинной, черной московской улице за нами медленно ехал длинный черный писательский автомобиль.

Происходило это в 56-м году, почти пятнадцать лет назад. Мой спутник тогда сказал: «В мемуары это не войдет, хотя, возможно, “в стол” и напишу. Но, может быть, этак лет через десять или пятнадцать в иные времена напишете или расскажете Вы». Прошло пятнадцать лет.

«В 54-м году у меня на даче, — рассказывал мне мой спутник, — сидели все мы растерянные, не понимающие что к чему. Все пошло черт знает куда. Появились какие-то и что-то пишут, пишут то, что мы сами писали этак лет тридцать тому назад. Все это было странно, непривычно и, казалось, не нужно. Как писать? Что писать? Все было непонятно. И

---

<sup>1</sup> Желавших попасть на обсуждение было так много, что для наведения порядка была вызвана конная милиция. — Н.Б.

тогда Костя, Виктор и Саша сказали мне: “Слушай! Пойди к Нему и объясни. Пусть Он тебе скажет”. Я пошел к Нему. Прихожу и говорю: “Вот одни пишут это, другие то. Что делать, мы не знаем. Ну, руководите нами, как всегда было!” Он сказал: “Нет! Это дело ваше. Вы — хозяева в своем литературном доме. Делайте то, что считаете нужным. Времена культа личности миновали безвозвратно”». Дело, о котором упомянуто в этом коротком рассказе, — это советская литература. Костя — это Федин, Виктор — это Шкловский, Саша — это Бек. Рассказал мне эту историю Илья Григорьевич Эренбург.

«Вы помните, — спросил я тогда Илью Григорьевича, — сцену из Сухово-Кобылина?»

«Да», — сказал Илья Григорьевич.

А сцена была такая:

«В а р а в в и н: Господа, схватите каждого из вас за шиворот!

*(Каждый хватает другого за шиворот. Омега подбегает к Вараввину.)*

О м е г а: Меня некому схватить за шиворот!

В а р а в в и н: Господин Омега, хватайте себя за шиворот сами!»<sup>1</sup>

Кроме того учреждения, которое называется цензурой и на которое мы все ужасно обижаемся, есть еще одно обстоятельство — советская диктатура. Мы забываем, что историю советской цензуры нужно изучать в очень широком историко-литературном, общественном, социальном контексте.

Не случайно, что этот эпизод из своей жизни Эренбург рассказал мне накануне разгрома, который был учинен в послесталинские времена.

Да, я не упомянул о том, что «Он» — это Хрущев.

Ф и н к е л ь ш т е й н: Как я Вас понял, Аркадий, Вы сказали, что первый жестокий разгром послесталинского периода был учинен в 56-м году?

Б е л и н к о в: Я имею в виду Дудинцева.

Ф и н к е л ь ш т е й н: Но ведь до того была история с пьесой Зорина «Гости»?

Б е л и н к о в: Началось-то, собственно, еще раньше, с «Оттепели» самого Эренбурга, началось-то в 54-м, когда вышел номер «Нового мира» с «Оттепелью» и когда ее сразу же разнесли... К рассказу об Эренбурге добавлю одну существенную деталь: когда мы продолжали длинный путь по улице Воровского от дома номер 50 до дома номер 1, Илья Григорьевич, неожиданно остановившись, вывалил на ладонь свои протезированные челюсти, что было несколько неожиданно и странно в литературном разговоре. «Вот, — сказал он, постукивая челюстями, — все зубы пропали. Отчего? Боялся. Всю жизнь боялся. Никогда не ходил к зубному врачу». Это, если хотите, маленькая модель: советские литераторы всю жизнь боялись и кончили протезами.

<sup>1</sup> Ср.: «Смерть Тарелкина» А.В. Сухово-Кобылина, д. 1, явл. 7. — Примеч. ред.

Голос из зала: Советская литература — это, конечно, протез литературы.

Белинков: Вы совершенно правы. И, конечно, все определяет не 56-й год и, конечно, не 54-й, и даже не 37-й. Сажать стали не в 37-м году, а в 1917-м.

В том немногом, что написано о советской цензуре, нас настойчиво, трудолюбиво и последовательно убеждают, что методы цензуры советского периода мало чем отличаются от методов цензуры, которыми пользовались, скажем, в эпоху временного татарского ига или в другие прелестные эпохи отечественной или даже всемирной истории.

Но в том немногом, что написано о советской цензуре, упущено одно чрезвычайно существенное обстоятельство. Все цензуры на протяжении веков, начиная с эпохи Сервия Туллия, пользовались только запретительными приемами в области идеологии. Советская же цензура обладает особенностью, которая делает ее единственной: советская цензура — рекомендательная цензура. И это ее новое качество в сравнении с другими цензурами погубило одну из величайших культур мира — русскую культуру.

Обычно назначение цензуры заключается в том, что она что-то запрещает. Мировая история никогда не создавала такого цензурного института, по которому от писателей требовали, чтобы он делал то, а не это. Никогда ни одна цензура в мире не требовала от поэта, чтобы он писал такими рифмами, как она предписывает. По распоряжению и под руководством советского цензора наша литература борется за повышение яровых, за улучшение качества обслуживания в прачечных и за всякие другие, чрезвычайно полезные вещи, которые к литературе, казалось бы, прямого отношения не имеют. В связи с этим возникла одна из существенных проблем советской литературы, которая низвела ее с литературного достоинства в область обслуживания. Это проблема положительного героя.

Цензура требует не только ограничения выразительных средств в изображении положительного героя, но она настаивает на том, чтобы этот положительный герой был создан и чтобы он занимал определенное процентное отношение к отрицательным героям, чтобы он превалировал.

В результате цензура приобрела значение, ей не свойственное. Из оградительного и запретительного института она превратилась в такой, который формирует весь литературный процесс.

И все же, даже против такого исключительно нового качества советской цензуры можно было бы выступать с различными формами литературного протеста, если бы она была представлена только соответствующим учреждением или учреждениями. Дело обстоит сложнее. Подавляющее большинство книг или частей книг, которые люди не смогли прочитать, были уничтожены не цензурой, а были погублены или в замысле, или в

рукописи, или в процессе внутреннего редактирования, или в период редакции в издательстве. Можно по пальцам пересчитать случаи собственно цензурных гонений. Количество рукописей, уничтоженных редакторами или самими авторами, — неисчислимо.

В русской истории, которая до октября 1917 года была далека от демократического идеала, тоже бывали отдельные случаи рекомендательной цензуры, но это были случаи эксцессного, раритетного порядка. В одной статье 1842 года для журнала «Отечественные записки» было написано: «В Петербурге климат весьма нездоров и споспешествует ревматизмам». Цензор Синяков правит: «В северной столице живут одни достойные люди». *(Смех в зале.)*

Известно, что в 1826 году, когда с помощью Жуковского Николаю Павловичу Романову была представлена рукопись «Бориса Годунова», Николай Павлович августейше начертал: «Считал бы цель г-на Пушкина исполненной, если бы он переделал сию комедию в повесть или роман на манер Вальтер Скотта». Подписано: «Николай». Подпись императора, как вы знаете, покрывалась лаком.

В «Историческом архиве» было напечатано одно совершенно замечательное произведение социалистического реализма, подписанное, однако, Н.П. Романовым. Это — письмо, замечательное, кстати, своими литературными достоинствами, о «Герое нашего времени». Уверяю вас, что если бы речь шла, скажем, о «Людях с чистой совестью» и подписано было бы В.В. Ермиловым<sup>1</sup>, то никого бы это не удивило ни по стилистике, ни тем более по тем претензиям, которые предъявлялись подпоручику Тенгинского полка Михаилу Лермонтову.

Претензии были замечательные: «Неужели, — жаловался критик, — автор не мог найти ничего достойного, нежели описание пороков нашего общества? Он, глядя на людей, воспитанных в особом Кавказском корпусе, давшем нам бесчисленное количество героев, выбрал лишь характер штабс-капитана, по которому должны равняться другие герои этого отвратительнейшего произведения, столь напоминающего нам произведения западной литературы». *(Смех в зале.)*

Русская история обладала многими особенностями, свойственными монархическим режимам. Однако русская история была не однолинейна. Разные ее периоды были окрашены по-разному, и, начиная с Александра II по предвоенный период, ее развитие шло в совершенно определенном направлении. Если исключить некоторые эксцессы победоносцевского периода, в 1913—1914 годах страна уже находилась на том отрезке исто-

---

<sup>1</sup> Ермилов В.В. — советский критик, литературовед, консультант следственных органов. О его роли в первом аресте А. Белинкова упоминалось в гл. «Цена Черновика». — Н.Б.



рии, когда можно было ожидать свершения очень высоких демократических надежд. И даже когда русская история определялась такими именами, как Павел I или Николай I, в ней было как бы две истории: история, так сказать, положительная, прогрессивная и история отрицательная, регрессивная. Советская история выбрала из русской истории Ивана Грозного и Павла I.

Произошло то, что в химии называется избирательным сродством, когда одно вещество вступает в реакцию не с любым другим, а именно с тем, с каким ему хочется. Ничто не рождается ни из чего. Но все благородное, высокое и прекрасное было забыто.

Надо сказать, что в советской литературной науке не все отрицательно, хотя омерзительного так много, что приходится оговариваться, если появляется что-нибудь достойное. Например, советский пушкинизм, даже еще при живущем Дмитрие Дмитриевиче Благом, может стать на уровень, приближающийся к науке. Наука и литературоведение, как гений и злодейство, — две вещи несовместные, но советский пушкинизм действительно создал нечто очень значительное.

Еще больше создала советская текстология. Теперь с появлением счетных вычислительных машин она дала нам возможность прочитать тексты, которые считались абсолютно нереальными с точки зрения возможности прочтения. Советская текстология в той части, которая нас с вами интересует, то есть в вопросах, связанных с цензурой, проделала громадную работу. Эта работа заключалась в том, что она в лучших, в наиболее значительных образцах восстановила великую классическую русскую литературу примерно полутора, даже больше чем полутора столетий, начиная с 1735 г., с письма «Правила стихотворства российского», с Тредиаковского; с Сумарокова; с Ломоносова до 17-го года. Она восстановила первоизданных Пушкина, Герцена, Тургенева и сейчас дошла до Достоевского. Следует длинная очередь русских классиков, которые должны быть напечатаны без каких бы то ни было цензурных и иных искажений. Это — громадная работа. Но оказалось, что эта громадная работа имеет только узколитературное значение. Действительно, очень много строк было напечатано неправильно. В большинстве случаев это произошло по обстоятельствам, связанным с чисто художественными или техническими моментами. Их исправили. Кое-где были восстановлены цензурные пропуски. Ничего существенного эта работа в нашем представлении о классической литературе не изменила. Мы получили, в общем, тот же самый корпус великой русской литературы.

Если представить себе, что когда-нибудь подобная же работа будет проделана в истории советской литературы, то мы получим другую литературу. Мы получим другую литературу, потому что советская цензура (во всем ее комплексе) искажает рукописи до неузнаваемости.

Если вы возьмете сборники «Советской текстологии», издаваемой Институтом мировой литературы им. Горького Академии наук СССР, то вы увидите там нечто совершенно чудовищное. Вы увидите, какую муку претерпели их Новиков-Прибой, их Панферов, их Фадеев. Вот что совершенно поразительно!

Когда режут нас, в том числе и присутствующих здесь русских писателей, недавно приехавших сюда, то это совершенно естественно. Чего же не резать Кузнецова и Белинкова? Они для того и созданы, чтобы их резали.

**Финкельштейн:** О сборниках текстологии советской литературы была замечательная коротенькая статья Лакшина, в которой он очень осторожно и в соответствующих допустимых выражениях намекнул на то, что делалось в советской литературе, а закончил так: «... вот началась текстология советской литературы — это очень знаменательно. Теперь хорошо бы увидеть работы о таких произведениях, как “Тихий Дон” Шолохова и “Молодая гвардия” Фадеева».

Знаете ли Вы, Аркадий, что-нибудь об этом?

**Белинков:** О текстологии «Тихого Дона» написал Лукин — редактор и чуть ли не автор (столько лет он с этим возился) этого произведения. (*В зале смех.*) Этот самый Лукин — первый холуй при Шолохове — сосчитал, как постепенно «Тихий Дон» преображался, как он становился все прекраснее, необыкновеннее и замечательнее. Писатели в то время выметали сор из углов нашей великой... и так далее. То же самое делал Лукин. Он выбрасывал из романа Шолохова всякий сор. Я запомнил число. Сора было 862. Восемьсот шестьдесят два — это диалектизмы, которые «засоряли» роман. Роман чистился под хороший, газетно-журнальный, ежесекундный и ежедневный язык.

Что касается двух редакций «Молодой гвардии», то это общеизвестная и хорошо памятная история, связанная с тем, что в конце концов Фадеев покончил самоубийством (хотя это было только одной и не самой главной причиной).

Первое издание «Молодой гвардии» было бесхитростным рассказом о том, как произошла краснодонская история, но в нем не была достаточно выпукло оттенена роль партии и, конечно, товарища Сталина. Во втором издании товарищ Сталин появился необыкновенно выпукло, но произошло это в крайне неподходящий момент: когда товарищ Сталин умер, и вместо выпуклости образовалась ровная плита, и поэтому нужно было снова переделывать роман в третий раз. Фадеев был ленивый и к тому же пьющий. И вообще трижды переделывать роман то так, то эдак даже Фадееву показалось как бы недостойным, что ли. Как-то ему это сильно не понравилось. Он выстрелил себе в сердце. И услышали этот выстрел покойный Всеволод Вячеславович Иванов и Евгения Федоровна Книпович.

Упоминаю эти имена как библиографическую справку. Евгения Федоровна Книпович мой большой друг и мой первый редактор после освобождения. Даже следователи на 22-месячном следствии не получили от меня инфаркта, а она получила его очень быстро, сразу в кабинете главного редактора издательства «Советский писатель» Валентины Михайловны Карповой, с которой мы жили (в сторону Демина<sup>1</sup>) вместе с Вами в одном доме и глядели на нее через мусоропровод. Так она выглядела импозантнее. (Смех в зале.)

Демин: Я хочу добавить. Я однажды пил водку с главным юристом Союза [советских писателей]. Это такой очень интересный мужик. Он сам сидел, потом он, так сказать, уходил под землю, потом вылез, его подобрал Союз, и он стал там юристом. Он, в общем, знающий человек. И вот он мне говорит такую вещь: «Ты знаешь, все-таки Фадеев испугался до ужаса. Люди стали возвращаться»<sup>2</sup>.

Белинков: В числе прочих возвратился старый фадеевский друг эпохи РАППА писатель Макарьев. Друзья встретились, долго разговаривали, пили, а потом один и говорит:

— Слушай, Саша, а тебя (Саша — это Фадеев, а другой Саша — это Макарьев) долго таскали по моему-то делу?

— Нет, меня совсем не таскали.

— Как не таскали, а откуда же они знали?

После этого Макарьев, очевидно отрезвев, ушел домой. А на следующий день на улице Воровского, уже в доме номер 52, т.е. в правлении Союза писателей в длинном коридоре, посередине которого был кабинет Фадеева, он дождался его прихода и вlepил ему при всем почтенном собрании пощечину.

Голос из зала: Макарьев Фадееву?

Белинков: Макарьев Фадееву.

Голос из зала: Согласно тому, что было опубликовано в советской печати до его самоубийства и вскоре после, у нас было такое впечатление, что главным образом на него повлияла история с его романом «Черная металлургия», которую его заставляли как будто несколько раз переписывать. Вот, может быть, Вы могли бы как-то осветить этот вопрос.

Белинков: С «Черной металлургией» произошло то же, что и с «Молодой гвардией». «Черная металлургия» была сначала сделана как культовая вещь, потом ее надо было переделывать как некультовую и так далее. Всем приходилось переделывать. Некоторые так и умерли, не пе-

---

<sup>1</sup> Демин М. (Трифонов Г.В.) — поэт, прозаик, печатался в 60-е годы. В 70-х стал невозвращенцем, жил в Париже. Известен романом «Блатной», отрывки из которого впервые были напечатаны в «Новом колоколе». — Н.Б.

<sup>2</sup> Фадеев в качестве секретаря СП СССР подписывал документы на аресты писателей в сталинское время. — Н.Б.

ределав. Например, Погодин<sup>1</sup> умер, не переделав «Кремлевские куранты» еще в одном варианте. Первый раз они были посвящены по преимуществу Сталину, потом Ленину, потом он должен был переделывать таким образом, чтобы они были посвящены обоим, и, наконец, четвертый раз он уже не успел.

Я остановился на преддверии советской цензуры, потому что современность извлекает из истории много такого, что делает ее с этой историей связанной и похожей...

Говоря об истоках, с которых начинается, собственно, советская цензура, нельзя не вспомнить о французской цензуре. Первое постановление об учреждении французской цензуры появилось на десятый день после Великой французской революции 14 июля 1789 года, той же самой революции, в преддверии которой слово «цензура» подвергалось всяческому гонению. В постановлении от 24 июля 1789 года уже были ограничения, связанные с изданиями размером до одного авторского листа включительно, т.е. с массовыми изданиями.

Советская революция была, конечно, несомненно радикальнее, нежели французская, и преуспела гораздо больше и гораздо быстрее. Советская цензура появилась на четвертый день после возникновения советской власти. Первое постановление о цензуре было издано 28 октября старого стиля 1917 года. Мотивировано оно... Я прочитаю вам маленький отрывочек и покажу, чем оно было мотивировано и что оно требовало.

«Всякий знает, что буржуазная пресса — это одно из могущественных орудий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих и крестьян, только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага, в то время как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы. Вот почему и были приняты временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы». Дальше перечисляется то, что должно было быть ограничено и уничтожено. Кончилось это тем, что сначала были уничтожены все буржуазные газеты, а потом были столь же решительно устранены и журналы.

Декрета оказалось недостаточным. Через неделю выступил Ленин: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки». Кстати, никогда никаких официальных заявлений на этот счет не было, и большевики пришли к власти на гораздо более гуманных обещаниях, нежели те, которые сразу же стали осуществлять. — «Терпеть существование этих газет — значит перестать быть социалистом».

Но оказалось, что и этого мало. Тотчас же был учрежден революционный трибунал по печати. Сразу же идеологические институты немедленно

---

<sup>1</sup> Погодин Н.Ф. — один из столпов социалистического реализма в советской драматургии. Как тогда говорили, «колебался вместе с линией партии». — Н.Б.

были связаны с пенитенциарными. Из обычного орудия идеологической борьбы цензура превратилась в одну из форм государственного подавления. В декрете об учреждении трибунала о печати было сказано прямо: «При Революционном трибунале учреждается Революционный трибунал по печати и его ведению подлежат преступления и проступки против народа, совершаемые путем использования печати».

Итак, понятия «цензуры, идеологии» и понятия «суда, преступления и наказания» скрестились. Впоследствии это стало формулироваться соответствующими статьями Уголовного кодекса: 58-10 в первой редакции, 70-й в новой редакции. Форма выражения общественного протеста стала идеологическим преступлением, уголовно наказуемым деянием. Вскоре после учреждения Революционного трибунала по печати, как мы знаем, последовал ряд ссылок, высылки, расстрелов. Я имею в виду высылку таких людей, как Бердяев и Франк, расстрел Гумилева.

В середине 30-х годов пошел решительный и действительно уничтоживший великую литературу процесс<sup>1</sup>.

В постановлениях 14—26 августа 46-го года и в докладах Жданова, последовавших за этим, «рекомендательный» характер цензуры обнаруживает себя в словах: «мы требуем», «мы настаиваем», «мы желаем». Именно тогда была сформулирована задача по созданию положительного героя: облагородить человека не только холодильником или шкафом, но и избытком духовной культуры. Человек должен быть прекрасным, а не гадким и отвратительным, как изображает его Зоценко.

Все, что началось на 3-й день революции, отработывалось и усовершенствовалось в течение 50 лет. Советская власть и идеологические гонения неотделимы, несмотря на возможные «Оттепели», возможную или ныне уже невозможную «весну».

Как мы знаем, советские писатели прошли через бесконечные ужасы и пытки. Не меньше испытаний пришлось и на долю погубленных книг. История советской книги — это история превращения хорошей рукописи в плохую книгу. Я не знаю случая, когда рукопись, превратившись в книгу, стала бы лучше. Конечно, за исключением тех, когда авторам-графомаман советские редакторы помогают сделать книгу.

Если человек, начиная писать, уже заранее знает, что его книга не пройдет или по теме, или по конфликтам, которые возможны в ней, и поэтому соотносит свое видение мира с властью, то мы получаем явление, которое условно называется старым словом цензура, а на самом деле вмещается в гораздо более широкие, гораздо более объемлющие, более точные слова: «советская диктатура».

---

<sup>1</sup> Аркадий Белинков имеет в виду создание СП СССР и теории социалистического реализма. — Н.Б.

Я думаю, что все наши разговоры о советской цензуре несколько преувеличены, потому что не советская цензура уничтожила одну из величайших национальных культур, а уничтожила ее советская диктатура. В этом отношении цензура была одним и не самым существенным элементом.

Говоря о советской цензуре, мы не должны забывать о том, что это — и детище, и орудие, и проявление диктатуры. Мы обязаны говорить об абсолютной неотъемлемости этих двух учреждений.

Расскажу вам об одном эпизоде, показывающем, что такое теологическое государство, в котором нельзя выбросить из его «священного писания», — я прошу извинить меня, что употребил такое неудачное выражение, — ни слова, ни даже знака.

В 36-м году товарищ Сталин прочитал известную сказку товарища Горького «Девушка и смерть» и написал: «Эта штука посильнее “Фауста” Гете: Любовь побеждает смерть».

Г о л о с: И «любовь» без мягкого знака...

Б е л и н к о в: И «любовь» там была без мягкого знака... Все растерялись. Как? Править Сталина? Сначала поправят мягкий знак, потом «Вопросы ленинизма», а потом покусаятся и на основы. Тогда, конечно, нашлись. На месте мягкого знака появилась марашка... (Смех в зале.)

Трагедия советской литературы происходит часто и чаще, чем мы предполагаем, чем мы думаем, до и независимо от цензуры. Не преувеличивайте злодеяний советской цензуры, обделяя этим советскую диктатуру. Она ее породила вместе со всеми институтами и вместе с этими институтами действует не только дружно и слаженно, но и главным образом определяет те особенности и те пороки, которые существуют в советской литературе.

Предполагается, что существует ЦК, КГБ, милиция, пожарная команда, чистильщики сапог и прочая, что существуют люди, которые приказывают советским писателям писать так, а не иначе. Это совершенно неверно. Это было в 20-х годах, когда приходил комиссар, которого сначала бросали на чугун, потом на литературу, и он распоряжался. Это все кончилось. Сейчас сами писатели это делают. Я настаиваю, что в деле цензуры Союз писателей играет очень важную роль. То есть определенная группа в Союзе писателей. Без них ЦК ничего не сделает. Все выглядит весьма интимно. Они просто сидят, развалившись, в ЦК, в кабинете Шауры или Суслова, или Демичева, председателя Идеологической комиссии. И не Демичев говорит Суркову: «Ты, брат Алексей, так сделай». Нет. Сурков и ему подобные советуют товарищам из ЦК, потому что они лучше знают. Никто не решается в ЦК ни на одну сколько-нибудь серьезную акцию, не только не посоветовавшись, но и просто не потребовав, чтобы писатели сами сделали какие-нибудь предложения.

Когда 8 сентября был арестован Андрей Донатович Синявский, а 12 сентября Юлий Даниэль, то в Союз писателей на высочайший и тщательно отобранный ареопаг явились два человека — начальник 7-го следственного управления по особо важным делам Ворошилов и другой человек, фамилии которого я не помню, следователь, который вел дело Синявского и Даниэля.

Г о л о с  и з  з а л а: Не на заседание Политбюро?

Б е л и н к о в: Они приехали в Союз писателей. Приехали посоветоваться со своими товарищами, своими коллегами по милиции. Они спросили: «Что вы думаете, все-таки? Вы, литераторы. Вы лучше знаете, стóит или не стóит? Какое это произведет впечатление на мировую общественность? Что делать?» И все писатели хором, дружно закричали евангелическое: «Распни его!» И это решило судьбу Синявского и Даниэля.

Я в первой же своей публикации за границей в письме Союзу писателей подробно рассказал невыдуманную историю о том, как Брежнев приезжал к Федину и долго его спрашивал: «Что делать с Синявским?» Он приехал к первому секретарю Правления Союза писателей, забыв о том, что Федин был героем одного рассказа Синявского «Графоманы». И уж, конечно, Федин потребовал, чтобы «взбесившихся псов» — по цитате Вышинского — «расстреляли».

Они теперь хотят *советоваться* с писателями, а не просто вызывать их к себе, потому что был один чрезвычайно неприятный прецедент, который стоил судьбы такому человеку, который своей планиды не упустит, Александру Александровичу Суркову. Когда в 8 часов по Московскому времени 31 октября 1958 года Белградское радио (первый источник информации на эту тему в Советском Союзе) сообщило о том, что Борису Леонидовичу Пастернаку присуждена Нобелевская премия в области литературы и искусства, к Хрущеву был вызван Сурков. И Хрущев спросил: «Ну, что?» И Сурков доложил, что Пастернак и негодяй, и бог знает что, и стихи писал всегда такие ужасно антисоветские, и всегда очень плохо влиял на русскую литературу, и всегда настоящей советской литературе еще со времен Василия Темного мешал, и вообще все это отвратительно.

И все это было совершенной правдой, потому что Пастернак — великий писатель, и, конечно, советская власть и великий писатель, вы сами понимаете, существовать вместе не могут, и, конечно, он советской власти мешал. Потом, когда произошла вся эта история с письмами, постановлениями и всем прочим и когда мировая общественность заступилась за Пастернака, когда разразился скандал, то Хрущев пригласил к себе Суркова, взял его за пуговицу, долго тряс и произносил разнообразные слова, которые я в этом почтенном собрании повторять не буду. Надеюсь, что вы догадаетесь, какие...

Х е й у о р д: Можно говорить, не цензура. (Смех в зале.)

Белинков: Да. Но ведь в Англии и появилось слово «эвфуизм». Так вот, Хрущев долго произносил разнообразные слова, причем иногда даже ногами, и упрекал Суркова за чрезвычайно неприятное недоразумение. А ведь Сурков рассказал о Пастернаке всю правду. Он забыл сказать только о том, что Пастернак — всемирно известный писатель.

Китайской кладки идеологическая стенка, воздвигнутая для советских читателей в сталинские времена, существует и для людей, которые эту стену создавали. И оказалось, что они сами ничего не знают: эти работники ЦК, обкомов, горкомов, секретари правления Союза писателей, Союза художников и иных творческих союзов.

И тогда неожиданно появились издания в одинаковых обложках, на которых было написано: «Распространяется по специальному списку. Номер такой-то». Список этот сначала был очень узок, а потом расширился. В этих изданиях мы читали и Орвелла, и Анну Луизу Стронг<sup>1</sup>. Такой способ обхода цензуры придумала сама цензура, сама диктатура.

Но они не могут жить без того, чтобы не учить даже самих себя. Поэтому если в каком-нибудь произведении не очень хорошо отзываются о советской власти, то они пересказывают содержание своими словами: «Здесь автор клеветнически утверждает, что в Советском Союзе отсутствуют демократические институты...», а дальше снова идет авторский текст. Потом, когда появился самиздат, тогда вообще эта распространяемая по специальным спискам литература стала достаточно известной.

Абсолютное обожание цензуры приводит иногда к парадоксальным результатам. В Советском Союзе является тайным в одних случаях, а в других случаях — полутайным вопрос о реабилитации невинно репрессированных и осужденных граждан. Если это простой советский человек, то члены его семьи могут прийти в одно из управлений Комитета государственной безопасности или в Прокуратуру и получить справку о том, что их родственник (ближайший обязательно — отец, мать, сестра, муж, сын, дочь) посмертно реабилитирован.

А если вы хотите узнать, реабилитирован ли Бухарин или Троцкий, то эти сведения обычным путем получить нельзя.

Однако об этом можно прочитать в прекрасном своде, сделанном государственным институтом «Большая советская энциклопедия».

Если вы откроете 50-й том второго издания этой энциклопедии на 734-й странице, то вы увидите именную указатель, в котором встретите,

---

<sup>1</sup> Стронг А.Л. — американская писательница прокоммунистического направления. Побывала в Испании во время Гражданской войны, несколько раз посетила СССР, в 50-х годах переехала на постоянное жительство в Китай.



например, имя Пушкина, а рядом будет написано: (1799—1837). Встретите вы там и другие имена, например имя Уборевича, и рядом в скобках будут даты рождения и смерти. Но если вы заинтересуетесь Ежовым, Бухариным или Троцким, то отсутствие дат в скобках или отсутствие самих имен вам скажет многое.

Самым лучшим способом расправы с человеком, совершившим преступление с точки зрения советской диктатуры, за последние тридцать пять — сорок лет считался такой: сначала жестоко обрушиться на него, а потом замолчать. Дело доходит до совершенного абсурда. Если вы откроете все издания советских энциклопедий после 28-го года, то вы увидите, что слово «троцкизм» там есть, а слова Троцкий там нет. (Кстати, первый раз имя Троцкого упоминается в дополнениях к 7-му изданию словаря Павленкова в 1907 году.) В конце 1957-го — начале 1958 года вышел шестой том третьего издания «Малой Советской энциклопедии». Там вы не увидите имя Молотова. За три-четыре месяца до выхода этого тома из печати состоялся июньский пленум. Статья о Молотове была уже ко времени пленума набрана. Сделали выдержку. Имен Молотова, Кагановича, Маленкова в этом издании энциклопедии нет, но еще есть «примкнувший к ним».

Поэтому если вы хотите узнать, кто из видных политических, литературных и иных общественных деятелей в Советском Союзе реабилитирован, возьмите 50-й том второго издания «Большой советской энциклопедии» и, начиная с 734-й страницы, внимательно его читайте.

Вот какие неожиданные ситуации создает советская цензура.

Как отвоевать у советской цензуры даже уже и напечатанное, но запрещенное? Я расскажу вам один эпизод.

В четвертом номере «Нового мира» за 1926 год на последней странице сказано, что в следующем номере будет напечатано произведение Бориса Пильняка. Выходит пятый номер «Нового мира» за 1926 год, в котором «Повести непогашенной луны» нет. Если кто-нибудь сейчас заинтересуется этой повестью и знает ее библиографию, то он придет в библиотеку, выпишет пятый номер «Нового мира» за 1926 год и получит книжку журнала, в котором вместо «Повести непогашенной луны» напечатан рассказ Александра Сытина «Стада Аллаха». Но когда он перевернет последнюю страницу этого номера, то прочитает текст, написанный Воронским, в котором сказано: «В пятой книге журнала “Новый мир” напечатана повесть Бориса Пильняка “Непогашенная луна”. Если же тот же человек придет в Ленинскую библиотеку и напишет просто и бесхитростно: “Повесть непогашенной луны” Б. Пильняка» и ему заверит это консультант, который сидит в каталоге, то он получит листок, на котором внизу в клеточках будет напечатано: «В переплете», «У читателя», «Не выдается», «Спецхран», и в соответствующей клеточке будет стоять галочка. А если он попадет в

спецхран, комнату номер один, в которую мне было так трудно добираться, потому что там даже лифта нет, то он действительно получит «Повесть непогашенной луны», и будет она напечатана в пятом номере «Нового мира» за 1926 год.

Было два тиража. Пятая книга «Нового мира» была напечатана сначала с повестью Пильняка, но на следующий день, после того как первая типографская подача была закончена, журнал начали рассылать подписчикам...

Г о л о с и з з а л а: Мы в Киеве его получили, я читал. У нас его отобрали.

Б е л и н к о в: ... вышел новый завод, гораздо больший, чем первый, в котором были «Стада Аллаха».

Просмотрам цензуры мы должны быть чрезмерно благодарны. Недавно в «Новом мире» появилась рецензия на пьесу «Носороги», будто бы напечатанную в «Иностранной литературе». Этой пьесы в этом журнале не было, потому что в последнюю минуту ныне покойный Поликарпов<sup>1</sup> решил, что такую пьесу советскому человеку читать нельзя: она направлена против духа коллективизма, там слишком много евреев, да еще и в положительном обличье... Но это вызвало такой скандал, что в следующем номере все же эту пьесу...

Г о л о с и з з а л а: Не в следующем, не в следующем...

В т о р о й г о л о с и з з а л а: Через несколько номеров... в седьмом...

Б е л и н к о в: Да, прошу извинить...

Г о л о с и з з а л а: ... хотели в третьем, а дали в седьмом.

Б е л и н к о в: Значит, между третьим и седьмым номером шла, бог знает какой степени, ожесточенная борьба, отвратительная грызня, в результате которой Черноуцану<sup>2</sup> удалось победить. Не думайте, что Черноуцан хороший человек. Он бился за ту же советскую власть, но только чтобы она вам на Западе больше нравилась.

Нет такой книги, которая пошла бы под нож или на костер и которую удалось бы уничтожить до конца.

Однажды мой друг Лева Шубин сумрачно и угрюмо шел из издательства «Советский писатель». Посередине улицы Горького он зашел в ныне снесенный книжный магазин, где раньше был Театр Мейерхольда. У бу-

<sup>1</sup> Поликарпов Дмитрий Алексеевич (1905—1965) — в 1944—1946 годах оргсекретарь Правления Союза писателей, секретарь Московского городского комитета КПСС, в 1995-м — снова секретарь Союза, затем — заведующий Отделом культуры ЦК КПСС. — *Примеч. ред.*

<sup>2</sup> Черноуцан Игорь Сергеевич (1913—1990) — в 1953—1982 годах инструктор Отдела науки и культуры ЦК КПСС; консультант, зав. сектором, заместитель заведующего Отделом культуры ЦК КПСС.

киниста он нашел экземпляр книги «Поэзия и современность» Владимира Огнева<sup>1</sup>, которая только что пошла под нож в том же издательстве «Советский писатель». Этот экземпляр украли в типографии. В типографии обязательно воруют книги и продают после того, как выходит тираж. Он купил украденный экземпляр книги, которую только что пустили под нож, и подарил Огневу.

От 10-го номера «Нового мира» с записками Симонова<sup>2</sup>, который сожгли во дворе старого здания «Известий» — вы помните, оно находится на Пушкинской площади, — тоже осталось несколько номеров.

Существует способ обхода цензуры на тексте, который не подлежит изменению, — это классический репертуар в театре.

Судьба чеховского репертуара зашла в тупик. Чехов сыгран, начиная с 1898 года, в бесчисленных интерпретациях. Предполагалось, что отстоялась мхатовская интерпретация. И поэтому каждый, кто делал в Советском Союзе чеховский спектакль, непременно вносил туда почти цитатные интонации, почти цитатные декорации и другие компоненты, которые образовывали мхатовский спектакль. Это стало почти таким же обязательным, как изучение марксизма-ленинизма... Если вы в Ростове смотрите «Дядю Ваню», то можете не сомневаться, что в изобразительном, интонационно-композиционном и прочем решении этого спектакля в Иркутске вы увидите то же самое. Ни один автор так не канонизирован, потому что ни один автор не имел такого театра, который дожил до сих пор.

Анатолий Эфрос — один из лучших режиссеров века — долго думал, что же все-таки можно сделать: ведь Чехов действительно великий писатель, и написал он гениальную пьесу «Три сестры», которую каждый знает наизусть не только в тексте, но и в мхатовской окраске. И тогда он сделал не театральный, а чисто литературный вариант интерпретации: он решил — пусть они, действующие лица «Трех сестер», эти очень умные люди, будут еще умнее. И вот что получилось.

Вы все знаете, что чеховская тема, связанная с надеждой на великое, замечательное, светлое и необыкновенное будущее, в соответствующей

---

<sup>1</sup> Огнев В.Ф. — литературный критик. Расцвет его литературной деятельности пришелся на период «Оттепели». Зарезанную книгу, упоминаемую А. Белинковым, можно найти только у высококвалифицированных коллекционеров, благодаря тому что типографские работники успевают украсть и продать несколько книг из тиража до того, как он попадет в торговую сеть. Если после выхода книг в свет происходил скандал, то они ценились очень высоко. — Н.Б.

<sup>2</sup> Очередные записки Константина Симонова о Второй мировой (Отечественной) войне чуть не появились в «Новом мире», когда «Оттепель» уже кончалась. Этот писатель всегда верно чувствовал направление ветра, но в этот раз не успел и позволил больше, чем обычно. — Н.Б.

фразеологии проходит через все его творчество, включая «Три сестры». С замечательной надеждой и уверенностью в типовом проекте мхатовской интонации произносили: «Быть может, через двести или триста лет...»

У Эфроса чеховский герой умнее. И поэтому барон Тузенбах во втором акте произносит свои знаменитые слова так: «Через много лет, вы говорите, Ирина, на земле будет... ха-ха... прекрасное, замечательное, удивительное (хохот)... будущее».

Весь спектакль был сделан так. Получалось, что в 1903 году герои Чехова смеялись над тем зрителем, который будет в сезоне 1967/68 года смотреть пьесу и жить в «прекрасном» будущем. Этот спектакль был подвергнут жесточайшей обструкции. Приехал сам Кузнецов, заместитель Фурцевой, стал тут же на ходу спектакль переделывать, лез ногой в мизансцену.

Эфроса, до того выгнанного из «Театра ленинского комсомола» и наказанного тем, что поставили его не на должность руководителя, а всего лишь дежурного режиссера на Малой Бронной, — этакое, понимаете, парижское название, — выбросили и оттуда. Тузенбах стал говорить с надеждой и уверенностью: «Через двадцать или тридцать лет...» Пошли обыкновенные «Три сестры».

Диктатура и цензура в самых широких и самых разнообразных своих проявлениях едины, и изучать их нужно именно в этом единстве и в этом контексте.

Однако, как и во всякой истории, здесь тоже существует рельеф: вершины гонений и низменности либерализма. Люди моего поколения оказались свидетелями того, как в эпоху, которая стала называться «Оттепелью», с вершин идеологической мудрости опять постепенно начали спускаться тяжелые советские идеологические сани. Они начали спускаться в 1954 году, после появления «Оттепели», книги Эренбурга, давшей название целой эпохе, и продолжали спускаться с перерывами и осложнениями, с возвращением назад приблизительно до конца 66-го года. На ноябрьском пленуме в 66-м году было решено бороться со всякой крамолой в связи с тем, что грядет светлый праздник — 50-летие Октября, когда у всех должно быть хорошее настроение, поэтому все отрицательные явления советского быта и, в частности, советской литературы должны быть устранены.

Тем не менее в новом писательском быте, который установился после 53—56-го годов, расправа над писателями носила все-таки чисто литературный характер. В новых цензурных установлениях произошли качественные и существеннейшие изменения. За то, что уже прошло редактуру и цензуру, не сажали. Это было чрезвычайно важным и принципиально отличающим одно время от другого моментом. Весь смысл поведения писателя в предшествующую эпоху, в предшествующую историю советс-

кой цензуры заключался в том, чтобы не попасть в тюрьму, независимо от того, пропущена или не пропущена книга цензурой. После 53—54-го годов и, в особенности, после 56-го года появилось новое и весьма любопытное обстоятельство. Важно было проскочить через цензуру. Если ты проскочил через цензуру, то это гарантировало, по крайней мере, избавление от чисто физической опасности, а все остальное — исключение из Союза писателей или ссыпанный набор — было уже пустяками. И вот на этом нормальном явлении, когда исчезает патологическая цель сохранить себя и когда писатель беспокоится только о том, как издать книги, то есть явлении нормальном и существующем во всех литературах мира, там, где, естественно, еще доживает, или, как сказал Солженицын, доволакивает цензура свои мафусаиловы сроки, на этом я и хотел несколько подробнее остановиться.

**Г о л о с   и з   з а л а:** После второго издания Тынянова Вы получили много писем от читателей. Могли бы Вы нам сказать вкратце, что они Вам писали и какова была Ваша реакция?

**Б е л и н к о в:** Какие письма и какая реакция? Реакция испуганная. А письма? Ну, такие, как все, которые пишут писателям. Почему испуганная? Потому что читатели вылавливали в книге не метафоры — это ведь не Принстон, это же советская Россия, — вылавливали, ну, деликатно скажем, политическую сущность. А когда все это аккуратно выписывали на бумажке, то все это выглядело очень выразительно и уже входило в компетенцию отнюдь не одних только литературоведов. Я получал такие письма и очень обижался, потому что меня не спрашивали: «Как Вы думаете, удалось Вам это или не удалось? Хорошо или не хорошо написано?» А спрашивали: «Как удалось Вам это протащить?» (*Смех в зале.*)

Как иногда удается протаскивать вещи, которые вызывают прямой протест или на ранних стадиях редактирования, то есть в редакции, или во внутренних рецензиях, или позже уже в Главлите? Всякие неожиданности бывают... Я хочу сказать о многообразии приемов, о том, что если люди пытаются как-то пробиться сквозь цензурную стенку, то все-таки что-то удается. Я рассказываю об этом именно для того, чтобы показать, как я извлек из этого практический урок: не надо опускать руки перед этой стеной, не опускать и не поднимать руки. Очевидно, нужно засучивать рукава. Причем необязательно добиваться своего громким голосом или разбивая графин... Было и со мной такое. Есть другие способы, гораздо более умеренные, скромные и часто гораздо более продуктивные. В Институте мировой литературы имени Горького обсуждалась моя книга «Юрий Тынянов», в частности глава о Пушкине, связанная с крайне болезненной для советского литературоведения темой — политическая роль эстетства в русской литературе, и в частности в классической русской литературе. У меня идет речь о третьем периоде творчества Пушкина,

начиная с 1828 года, когда он пишет: «Поэт, не дорожи любовью народной...» А Тынянов заканчивает книгу о Пушкине 1820 годом. Это важный год в биографии Пушкина — год первой высылки его на юг. Но мне важно было не это, мне важно было сказать: «подите прочь, какое дело поэту мирному до вас...», то есть до них, до этих сотрудников ИМЛИ, СП СССР, ЦК КПСС. Они не могут возражать мне, поскольку все-таки это же не я написал «уйдите прочь, непосвященные...» и все последующее за этим. Но они говорят ужасно обрадованно: «А вы знаете, книга, о которой Вы пишете, обрывается 1820 годом. Вы же говорите о 1828 году...»

Тогда очень долго, очень напряженно, очень мучительно и старательно ломая голову, придумываю: «Книги... пишутся не словами, а линиями, и линия, которая завершилась пушкинским стихотворением “Поэт и толпа”, была начата в 1820 году».

В книге сказано — «казак, драбант, городской русской литературы» да еще «вандеец». Это сказано о Шолохове. Но ведь дело не в самом куске, а к чему он отнесен. Если такую характеристику Шолохова вставить в контекст, скажем, американской литературы, когда пишешь о каком-нибудь «отвратительном» американском или английском писателе, то это великолепно проходит.

Цензура не занимается местом куска в контексте. Поэтому очень многое из того, что благополучно проходило, прошло только потому, что этот или другой кусок вставлялся в историю. Ну, допустим, про эпоху Перикла можно говорить всякие нехорошие вещи. Про русских царей можно, но не очень много. Поэтому я получил такие комментарии на верстке: «Зачем так много эмоций уделено императору Павлу I? Зачем столько страсти Николаю I?» А там речь шла о совершенно очевидных для современников вещах.

Я хочу сказать в связи с этим, оговорить одно, меня всегда чрезвычайно огорчавшее обстоятельство. В некоторых статьях и книгах говорилось о моем некотором умении создавать аллюзии.

Я заверяю вас, что это никогда не было моей прямой целью. Цель у меня была иная. Гораздо более серьезная, научная.

Это не хитрое дело написать об Иване Грозном во фразеологии, сходной, аналогичной с описанием Сталина. Это умеет всякий. Нужно написать о таком Павле I, который был предшественником современных основоположников «культы личности». Нужно помнить, что советская история — это новая глава русской истории, извлекающая из русской истории с ее плюсами и минусами только плохое. Я никогда не сочинял никакого Павла I для аналогии со Сталиным. Это реальный Павел. И из этого реального Павла реальным Сталиным все извлечено. И поэтому я очень прошу отделять меня от людей, которые создают басни, где вместо орла — Сталин и другие, хотя животные, а все-таки, по Грибоедову, — цари. Нет, никогда ба-

сенная поэтика, поэтика аллюзий, ассоциаций меня не занимала. Я писал об истории, о том, что было, а не просто о том, что похоже.

Какое значение имеет пространство книги для того, чтобы обмануть цензуру? То, что можно сделать в книге, невозможно сделать в статье. Цензор — обычный человек, не обладающий чрезвычайно высокими интеллектуальными качествами, и поэтому сквозное чтение с пониманием построения книги, ее монтажа, ее стыков, ее архитектуры ему не под силу. Цензор читает фразу, но того, что потом проистекает из нее, он обычно все-таки не извлекает, хотя он науськан достаточно хорошо. Когда вы отдаете свою собаку в ученье в Советском Союзе, не знаю, как на Западе, вас спрашивают: «Как, на доброту или на злобность?» Цензоры, естественно, натренированы на злобность. Но, очевидно, на большую злобность, а все, что поменьше или разведено другим текстом, уже не входит в их поле зрения. В первой главе одной из своих книг я написал: «Если в истории страны имеется Фридрих Барбаросса, то есть основания предполагать, что в истории этой страны может появиться Бисмарк, позванивая шпорами». В следующей главе я написал: «Если в истории страны был Иван Грозный, то можно ожидать появления Павла I». Глава четвертая: «Если в истории страны был Павел I, то можно ожидать появления Николая I». Следующая глава: «Если в истории страны был Николай I, то мы можем ждать появления... тирана или деспота».

Когда мне пришлось потом из этой книги делать главу для «Истории советской литературы», я взял все это, собрал и поместил на одну страницу. Конечно, это немедленно не прошло. Но на пространстве книги в 650 страниц это проходит.

Есть и другие способы. Например, мне нужно было процитировать одну «ужасную» статью Зинаиды Николаевны Гиппиус. Эта статья призывала к откровенному вооруженному восстанию, что квалифицировалось пунктом 2-м Уголовного кодекса РСФСР в прежнем издании. Сейчас никакого, конечно, вооруженного восстания быть не может, и поэтому такой пункт просто отсутствует. В статье Гиппиус речь шла о том, что в эпоху татарского ига татары клали на спины пленных доски и на них плясали. Зинаида Николаевна говорит, отчего бы не стряхнуть этих татар с досок. В самом деле, татар было мало, шли они бог знает откуда, русских было много, однако вот не стряхнули. Я это процитировал. Татары, XIII век, все это никому не интересно. Интересно было другое — примечание под этой цитатой, ссылка: «“Русская мысль” под ред. П. Б. Струве, 1921, София». Хуже не придумаешь. Тогда я сделал очень простую вещь. Я сделал опечатку. Вместо 1921 года сделал 1912... Но поскольку книжка все-таки научная, то, когда это уже прошло цензуру, я, естественно, сделал на полях значок перемены цифр. Хотя опечатки и должны идти в цензуру, но такие опечатки, равно как и некоторые вычерки, не идут в цен-

зуру, и все получилось прекрасно, получился 1921 год, «Русская мысль» и даже П.Б. Струве.

Главное — это обойти цензуру, потому что если уж обошел, то тогда это в двух отношениях хорошо. Во-первых, обошел — напечатано, во-вторых, за тебя попало главному редактору. Авторам попадает меньше. Николаю Васильевичу Лесючевскому — директору издательства «Советский писатель» — за меня очень много попадало, и как-то я всякий раз чувствовал себя даже не провинившимся школьником, а человеком, сделавшим общественно полезное дело.

Когда вы видите редакторскую или цензорскую — я настаиваю на том, что это не имеет практически никакого значения, — пометку или знаменитый вопросительный крючок на полях вашей рукописи, или сверки, или верстки, то не нужно спорить, а нужно исправить. Говорят, что милиционер тоже человек. Редактор тоже человек. У него есть самолюбие. Если он поставил где-то крючок, то ясно, что автор должен немедленно этот крючок выпрямить в восклицательный знак. А уж то ли получилось, чего редактор хотел, или не то, чаще всего не имеет значения. Другое дело, если вы написали что-то откровенно неприемлемое, тогда этот прием не годится. Но мы часто встречаемся с таким количеством крючков, в таких неожиданных местах, что лучше всего иногда просто сделать, скажем, инверсию, поставить другой крючок на полях, переставить слова, по существу, сказать то же самое. Часто этим удовлетворяются.

В советской цензуре 50—60-х годов нет того энтузиазма, который мы так часто наблюдали в предшествующие периоды 30—40-х годов. Однажды я был редактором в Литературном институте Союза писателей СССР, который выпускал книги по теории литературы. Всякий раз, когда возникало какое-нибудь сомнение по поводу текста, который мог бы запретить внешний цензор, поэт Соколов, главный редактор этих книг, всего-навсего писал: «высказанные здесь мысли поэта Сельвинского являются его собственными мыслями».

В книге об Олеше я цитировал рассказ самого Олеси о том, как Париж встречал Хрущева во время его известного путешествия по программе борьбы за мир. В этом рассказе повествуется о том, как французы с необыкновенным упоением встречали вождя советского народа и друга всего прогрессивного человечества... Я цитировал Олешу в доказательство того, что он немногим дальше ушел от других песнопевцев этого режима, этих имен, этой концепции.

Но произошел октябрьский пленум 1964 года, на котором, как известно, Хрущев был отстранен, а все последующие документы стали утверждать, что он — волюнтарист и субъективист.

Когда очередной раз моя рукопись попала на стол заместителю главного редактора издательства «Искусство» Юлию Германовичу Шубу, то он



сам, своей рукой, в которой был красный карандаш, всюду зачеркнул «Хрущев» и написал «волюнтарист и субъективист». И получилась такая ситуация: «Едут по Парижу прямо на зрителя два щеголеватых эскорта мотоциклистов. Едет длинный автомобиль. А в нем *субъективист и волюнтарист*. Французы в восторге вскидывают руки и кричат: "*субъективист и волюнтарист!*"» А заканчивается этот сюжет таким образом: «Теперь французы могут спать спокойно, ибо они помнят, что им из кувшина наливает веселое молоко или светлое вино *волюнтарист и субъективист*».

Это был один из очень немногих случаев, когда я не спорил с цензурой.

В связи с выходом отрывков из «Олеши» в журнале «Байкал» я обнаружил еще одну особенность советской цензуры, которую я называл бы региональной чертой. В Москве, например, если вы просто пишете «Чингисхан», то никто не обратит на это внимания. Но оказывается, что в Улан-Удэ, который очень близко от Китая, Чингисхан и Батый — это уже фигуры, которые обращают на себя внимание. И поэтому меня попросили в четырех случаях «Чингисхан» снять, в одном оставить. Это я уступил.

Когда я сейчас говорю о том, что вот удалось это, удалось то, то я не хотел бы, чтобы у вас создалась иллюзия наших замечательных побед в борьбе с цензурой. Мы не только побеждали. В частности, я не могу себя считать победителем, потому что за первую же свою книжку получил расстрел, а за три последующие — 25 лет тюрьмы. Так что абсолютной победой это назвать нельзя. Первым моим цензурным поражением после возвращения из тюрьмы было такое: я заполнял авторскую карточку, — известно, в Советском Союзе заполняют карточки, — ... там пункт первый — фамилия, пункт второй — имя и так далее, и один из пунктов — «псевдоним».

Я заполнял аккуратно эту карточку и в качестве псевдонима написал Белинкович. Я еврей, но у меня потомственная, наследственная от прадеда русская фамилия Белинков. Так как я жил в антисемитской стране, в эпоху густопсового советско-фашистского антисемитизма, то я решил сделать подобное тому, что сделал Синявский, назвавшись Терцем.

Борьба за этот псевдоним кончилась поражением, потому что была предложена жестокая альтернатива: либо псевдоним, либо книга.

Мне была заказана статья о Блоке в «Краткой литературной энциклопедии». Статья о Блоке была одной из типовых статей, она неисчислимо количество раз переделывалась, потому что нужно было выбрать ту форму, которая могла бы служить вместе с другими статьями эталоном для будущего издания. Я написал эту статью и включил в нее слова из частного письма Блока, адресованного К. Чуковскому, почти закончив этим статью. В письме от 21 мая 1921 года, написанном за три месяца до своей смерти, Блок пишет: «Сейчас у меня ни души, ни тела нет. Я болен, как

не был никогда еще. Сlopала-таки поганая, гнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».

Это была так называемая «типовая статья», и поэтому она, естественно, в числе других восьми типовых статей попала в первую очередь на стол главного редактора энциклопедии Алексея Александровича Суркова. А.А. Сурков, естественно, вызвал заведующего отделом русской литературы Владимира Викторовича Жданова, старшего научного редактора Александра Абрамовича Белкина и, конечно, автора статьи. Осталось вызвать только Блока, но они его уже погубили за сорок с лишним лет до этого, и отвечать за него должны были мы, ну и К. Чуковский, которому было написано такое совершенно непристойное, совершенно такое неприличное письмо.

Алексей Александрович побагровел, с размаху перечеркнул страницу — статья была сравнительно большой для «Краткой литературной энциклопедии» — и определил: «Конец статьи пусть напишет другой». Уже можно было работать. Уже за это не сажали. Дописал статью Олег Михайлов, очень талантливый молодой советский критик и литературовед. Статья получилась странная, из двух половинок. Две половинки срослись как то ногами и головой. Из того, с чего начинал Блок и чем Блок кончил, единства не получилось. Ну, вообще, и только.

Пятый том «Литературной энциклопедии» вышел с большим опозданием, и все, а многие и из присутствующих здесь, очевидно, чрезвычайно негодовали, что так долго выходит 5-й том. Я должен перед вами, друзья мои, повиниться. 5-й том задержали на восемь месяцев из-за того, что там были четыре статьи: три моей жены Наташи и одна моя. Моя статья была зловещая, статья об Оксмани. Статью об Оксмани не разрешали вообще, но в сочетании Оксман—Белинков это было уже нечто совершенно недопустимое, и Сурков вертелся по кабинету некоторое время. Но так как в кабинете ничего не решишь, он побежал дальше, не то к Шауре<sup>1</sup>, не то к Поликарпову. Ну, кое-как утвердили. Все очень хорошо. Однако потом мы совершили отвратительный поступок — эмигрировали, — после чего энциклопедию задержали снова. Винаваты в этом мы. Приносим вам глубочайшее извинение.

В 5-м томе «Литературной энциклопедии» произошли некоторые любопытные вещи. Так, например, под статьями, написанными моей женой, появились три мужские фамилии: Акимов, Семенов, Савельев. А что касается моей статьи об Оксмани, то она была низведена до объема и значения библиографической справки и подписана фамилией кухарки, о чем мы узнали 26 августа [1968 г.]. В связи с этим профессор Карел ван Хет Reve

<sup>1</sup> Шауро Василий Филимонович — зав. Отделом культуры ЦК КПСС, секретарь ЦК по пропаганде. — *Н.Б.*

написал мне: «История расскажет, как кухарка вошла в историю русской литературы». Фамилия ее Колосова. Но все же эти статьи оказались напечатанными.

Сейчас нет непроходимой стены и нет болотной топи, к которой нельзя приступить. Даже при всей чрезвычайно трагической оценке происходящего я настаиваю на том, что если случается какое-нибудь очень радикальное цензурное изменение, то в этом виновата не только цензура, но и писатель, который это позволил. Сегодня еще есть возможность сопротивления. До сих пор еще, если кто-то хочет, он может что-то сделать. Я говорю это не для того, чтобы призывать к смелости. Я надеюсь, все то, что мы делаем, — связано с Россией; мы делаем это для России, и я думаю, что если мы будем говорить о том, что русское сопротивление не умерло и что оно необходимо, что оно может приобретать только новые формы, то мы будем делать, вероятно, главное из всех дел, которые мы обязаны делать.

## Глава 7

Наталья Белинкова

### НЕТ ПРОРОКА ИЗ ЧУЖОГО ОТЕЧЕСТВА

Красный лес косо и быстро встал перед ним. Белое небо качнулось и замерло под его ногами. Это была удивительная реальность, которая в точности лепится по мечте. Быстро и резко с дороги поднялся камень и ударил художника в грудь.

Аркадий Белинков

*Две шкалы ценностей. «Черные пантеры». Красные флаги в Йельском университете. Смерть художника. Кого считать героем третьей части трилогии?*

Раскладывая по порядку факты короткой американской жизни Аркадия Белинкова, я вижу, как стремительно и неуклонно она катилась к неминуемому концу. Тогда же, казалось, мы качаемся на каких-то качелях: вверх-вниз, достижения-поражения, удачи-провалы. И качаемся, и качаемся. Равновесие не приходило. «В чем дело? Почему нам здесь так трудно?» — спросила я как-то своих американских друзей. «Наташа, — ответил Макс Ралис, — там вы заранее могли предвидеть реакцию на ваши слова и поступки, а здесь — нет». В самом деле, перемены — закон жизни. Значит, дело было не в чередовании подъемов и спусков, а в том, что взлеты были непредсказуемыми, падения непредвиденными.

В одном Аркадий не сомневался — ему уготована короткая жизнь. Не зря он был лекпомом в ГУЛАГе и ставил диагнозы московским знакомым. И не остававшимся земным сроком был он обеспокоен, а объемом предстоящей работы, которую взвалил на себя и которую боялся не закончить. «Я не приехал сюда отдыхать!» — эту фразу от него слышали многие. Заколдованный круг! Чем больше он спешил, тем меньше оставалось времени, чтобы успеть.

Вам, дорогой российский читатель, живущий в другое время, может показаться, что Вы бы его ошибок не сделали. «Что же, вы этого не знали? А я так наперед просчитываю...» И самодовольство в глазах: «Меня, брат, не проведешь, я — умный». Ты «умный» с того момента, как твой предшественник разбился о препятствие на общей дороге. Твоя мудрость — заимствованный у него опыт.

Случай претворяется в событие, чередования событий — в закономерность. Вчерашнее прозрение — сегодняшняя аксиома. У анекдота выросла борода. Все сетуют, что люди не умеют извлекать уроков из истории. Умеют. То, что необходимо, не забывается. Оно неосознанно усваивается последующими поколениями.

Но только ли в характере Аркадия надо искать причину того, что называют трагедией Белинкова?

Его диалог с Западом не состоялся по совокупности многих причин.

Оказалось, нет пророка из чужого отечества. Даже способ пересечения границы — эмигрант, беглец или представитель общества дружбы — влиял на отношение ко вновь прибывшему.

Обширная литература зарубежья: мемуарного, документального и художественного характера принесла достаточно свидетельств о преступлениях советского режима, начиная с 17-го года. Но рассказы беженцев, которых сюда не звали, редко кем принимались в расчет.

То же было и с получившими политическое убежище в 60-х годах. Раскладка была такая.

**Беглецы:** Репрессии в СССР — выражение подлинной сущности советской системы.

**Западные интеллектуалы:** Нарушения «прав человека» в Стране Советов — всего лишь нежелательное отклонение от системы.

И как результат:

**Бывшие советские подданные:** На Западе живут наивные люди.

**Люди Запада:** Эти русские — всегда преувеличивают!

Как же тут можно договориться?

Супружеская пара едет по приглашению в Россию зимой. Это семидесятые годы. «Я не возьму с собой сапоги. Тяжелые. Куплю там, сразу по приезде», — говорит жена. Чуть ли не час убеждаю ее, что сразу сапоги там не достанешь. Поверила. А вернувшись, кое-что поняла и рассказала. Стоят они в своем иностранном обличье в очереди и говорят между собой на забытом русском языке: «Интересно, есть тут мороженая картошка?» А стоящий перед ними россиянин оборачивается к ним и с превеликим удивлением спрашивает: «У вас это тоже есть?»<sup>1</sup>

Оказавшись на Западе, беглецы измеряли его мерками, сложившимися у них при тоталитарном режиме. Война во Вьетнаме была войной справедливой (по крайней мере оправданной), положение негров благополучным (в отличие от СССР передовое общественное мнение, да и само

---

<sup>1</sup> «Frozen food» — популярный в американском меню быстрозамороженный продукт, — совсем не то же самое, что продукт, промерзший вследствие неадекватного хранения.

государство борются с расизмом и антисемитизмом), бездомные люди сами виноваты в своих бедах (не гнушаются ли работой?), врачебная помощь, конечно, дорогая (но в бесплатных советских больницах пациенты мрут как мухи), женский вопрос сводится всего-навсего к неравной с мужчинами оплате труда (а не к равноправию на работу молотобойца!).

Жители демократических стран мерили свою землю на свой аршин. Нашим парням нечего делать во Вьетнаме, эта война преступна. Пора изживать предрассудки рабовладельческих времен по отношению к черным! Бездомные, т.е. несчастные люди на улицах американских городов, — позор нашей богатой стране. В СССР бесплатная медицинская помощь. Для всех! Дешевые квартиры. Равные права для мужчин и женщин! Свободы нет? Лагеря? Наверное, мы бы не смогли жить у вас. Но вам, очевидно, это подходит: вы сами выбрали свое правительство.

Правота одних была выстрадана, а уверенность в своей правоте других — вычислена. Жизненный опыт обеих сторон — разный. Шкала ценностей выработана в разных странах.

Сведениям пришельцев из тоталитарной страны «люди с Запада» не то чтобы не верили, а им не верилось. Ведь в самом деле вредно жить всю зиму без салата. Невыгодно для страны уничтожать свою собственную интеллигенцию. Неудобно жить без телефона. Часто мы слышали: «Что вы говорите? Не может быть!» А потом однажды я воскликнула это сама.

Сын русского эмигранта историка Сергея Германовича Пушкарева впервые попал в Россию в семидесятых годах. Прежде чем выслушать его рассказы о поездке, я задала два вопроса. Первый: «Скажи, Борис, так ли уж Аркадий преувеличивал недостатки Страны Советов?» Он отвечает: «Нет, вроде не преувеличивал». Второй: «То, что ты там увидел, оказалось лучше или хуже того, что ты ожидал?» Борис отвечает: «Пожалуй, хуже». Тогда я и говорю: «Рассказывай!» Все сходилось в его рассказе с тем, что я помнила сама, пока он не дошел до Ленинграда. «И представляешь, — говорит, — на весь город только семь бензозаправочных станций!»

«Что ты говоришь? Не может быть!» — не веря своим ушам, слышу я свой собственный голос. Западный опыт. В России у меня автомобиля не было.

Это верно, что как раз в 50—60-е годы на Западе шумно протестовали против травли Пастернака, суда над Бродским, осуждения Синявского и Даниэля, исключения Солженицына из Союза писателей. Но, по-моему, эти протесты у многих были не столько в поддержку пострадавших, сколько в защиту собственных иллюзий: расправы с инакомыслящими компрометировали столь привлекательные идеи социализма для борцов за идею мировой справедливости. Лилиан Хеллман, цитировавшаяся в эмигрантских газетах, оспаривала разоблачительные статьи Анатолия Кузнецова,

получившего политическое убежище в Лондоне в 69-м году, примерно в таких словах: если бы опрос населения в СССР произвели сегодня, то против коммунизма высказалось бы несколько старушек, чьи папаши в свое время имели поместья на Украине. (Тогда мне казалось, что подобное утверждение работает против нее. И действительно, сработало. В 1991 году против коммунизма высказалась сама история. Другое дело, что старушки потом стали спорить с историей — высказываться за коммунизм.)

Различались не только взгляды. Манера, с которой бывшие советские вели дискуссии, была иной, чем принято на Западе. Страстный обличительный тон никак не соотносился с нарочито вежливой манерой и в академических исследованиях, и в политических речах, и в застольной беседе. Дело было не в нервозности беженцев, которую по правде можно было бы и понять, и принять, (не понимали и не принимали). Повышенный градус полемики был сродни традиции русской критики, когда-то заложенной «неистовым» Белинским.

Писателей-иммигрантов с их горькой правдой уничижительно оспаривали (редко) или замалчивали (предпочтительно).

Беглец попадал в тупик. Обретя свободу, попав в среду западных интеллектуалов, он неожиданно встречал противников там, где ожидал увидеть союзников. Можно было бы и примкнуть к большинству, но если приспособляться, то зачем же было бежать из своей страны? Так и ходили по свободе в одиночку очень разные люди: Светлана Аллилуева, Анатолий Кузнецов, Юрий Кротков, Алла Кторова. Земля, где они родились и где остались их единомышленники, была «уже за холмом», как в заповедные времена светлое солнышко князя Игоря. Повернуть вспять невозможно, разве что добровольно отправиться в ГУЛАГ. А им твердят: «Слишком громко, слишком нервно!»

Американские коллеги были разочарованы в новоприбывших не меньше. Толку в борьбе с язвами капитализма от них, как правило, не было. «Левые» в стране исхода, они превращались в «правых», подписывались не на «Тайм», а на «Национальное обозрение». Голосовали за республиканцев, а не за демократов. Ужас!

Шестидесятые двадцатого века — время коренной ломки общественного сознания во всем мире. В СССР — «Оттепель» с ее диссидентами. В Восточной Европе попытка построить социализм с человеческим лицом. На Западе движение за «права человека».

Демонстранты по обе стороны «железного занавеса» провозглашают замечательные лозунги: «мир миру», «долгой пятый пункт», «прекратить войны», «отменить цензуру», «охранять природу», «дать свободу политическим заключенным», «прекратить расовую дискриминацию», «создать гуманные условия труда для мужчин и женщин».

Почему же беглецам из Страны Советов, принесшим с собой идеи российской «Оттепели», не улыбалось «человеческое лицо» западных шестидесятих годов?

Лозунги были одинаковые. Движения — разнонаправленные.

Шестидесятники советские и шестидесятники западные суть представители р а з н ы х шестидесятых. Советские диссиденты, чье мировоззрение представляли беглецы и невозвращенцы, разоблачали тоталитарную систему, а прогрессивная интеллигенция Запада исправляла недостатки демократического общества. Одни апеллировали к свободе и демократии западного образца, другие из своего прекрасного далека грелись в лучах советской конституции. Инакомыслящая интеллигенция в СССР выдавливала из себя рабов тоталитарного режима, американская — вытрапливала следы маккартизма из общественной жизни, что совсем не одно и то же. И все стремились к *освобождению от... справедливости для... к равенству, братству и радости бытия*. Как же не быть лозунгам схожими?

Мы с Аркадием оказались свидетелями борьбы за справедливость американского образца. Наш тихий городок стал центром последнего всплеска студенческих революций.

Цвела весна. Замечено, что на Западе протесты и мятежи случаются, как правило, весной. В Нью-Хейвене происходил суд над группой членов партии «Черные пантеры»<sup>1</sup>. Дело криминальное, не политическое. Преступников судили за убийство своего же товарища, заподозренного в

---

<sup>1</sup> «Черные пантеры» — партия, ставившая своей целью защиту интересов американских негров, была создана в 1966 году. В отличие от правозащитного движения Мартина Лютера Кинга с его провозглашением мирных средств борьбы за права черных, «пантеры» избрали иной путь: беспорядки, демонстрации, насилие. Члены партии «Черных пантер» были под надзором полиции и ФБР, но, насколько мне известно, аресты в их среде случались не за политические взгляды, а за совершение криминальных преступлений (убийство полицейского в перестрелке, например). Член партии, отбывший наказание, имел и имеет полное право наравне с другими гражданами учиться в любом университете, работать в любом учреждении, стать бизнесменом, быть выбранным в жюри на суде. Один из бывших «пантер» был даже присяжным поверенным на нашумевшем в США судебном процессе об убийстве подсудимым двух человек: своей жены и ее знакомом. В ходе процесса О. Джей Симпсон — негр, бывший знаменитый спортсмен (американский футбол), ставший киноактером, — был оправдан.

В 60-е годы «Черные пантеры» пользовалась моральной и материальной поддержкой среди западной либеральной интеллигенции США: им сочувствовали композитор Леонард Бернштейн, писательница Лилиан Хеллман, доктор Спок и многие другие.

«Платформа и программа» партии «Черных пантер» выдвигала требование «свободы и власти самим определять судьбу негритянского народа; освобождения всех черных от военной службы; свободы для всех черных, содержащихся в тюрьмах». Всего десять пунктов. Последний гласил: «Если естественные права, такие как жизнь, свобода и стремление к счастью, не могут быть обеспечены правительством, то народ



осведомительстве полиции. Соратники по общему делу его разоблачили, провели свое тайное судилище, приговорили к смертной казни и, осуществив приговор, бросили тело в пруд. Труп был обнаружен. Девять членов партии арестованы. В ходе судебного разбирательства демонстрировалась магнитофонная лента с записью самосуда. Вожди партии «Черные пантеры» доказывали, что использование такого вещественного доказательства есть нарушение правил судопроизводства в штате Коннектикут. Вполне подходящий повод объявить уголовное дело политическим, да еще с расовой подкладкой. Чем больше людей участвует в протесте, тем требования выглядят внушительней. Кого привлекать под знамена? Не мелких же бизнесменов или скромных служащих — так называемое «молчаливое американское большинство»? Студенты — другое дело. Их легко поднять на борьбу за всеобщую справедливость. Еще не выветрились лозунги недавнего студенческого движения прошлых лет: «Нет политике Никсона!»; «Нет войне во Вьетнаме!»; «Нет капитализму!». К ним добавились новые: «Положить конец ограблению черных белыми!», «Освободить всех негров-заключенных на территории США», «Нет политике террора!» (Читай, террора со стороны властей.)

В городе заговорили о всеобщей забастовке в университете и о массовой демонстрации в мае.

Местные жители опасались, а лидеры надеялись, что столкновения будут кровавыми (прекрасный способ привлечь внимание прессы). Студенты предупреждали нас: «Скоро в Нью-Хейвене произойдет маленькая война». Ожидалось, что в город с населением в 138 000 человек прибудет от 30 000 до 100 000 демонстрантов из других городов. Все смешалось в городке с идиллическим названием «Новая гавань»: и неизжитая со времен рабства вражда негров по отношению к угнетавшей их белой расе, и чувство исторической вины белых по отношению к черным, и страх обывателей перед беспорядками, и надежды на обновление.

На Church Street (Церковная) — одной из центральных улиц города — расположился штаб «Черных пантер». У входа — стройные черные юноши в узких брючках, в кожаных куртках, черных беретах и с автоматами в руках. Город пестрит лозунгами, листовками, газетками, бюллетенями. Это вносят свой вклад в общую заваруху различные комитеты, рабочие организации и общественные группы. Повсюду портреты вождей нового дви-

---

имеет право изменить способ правления или уничтожить его и создать новое правительство».

«Правила поведения» внутри партии состояли из двадцати шести пунктов. Один из них — обязательное доносительство на своих товарищей партийному начальству. И «Платформа партии», и «Правила поведения» были опубликованы. С ними мог ознакомиться каждый, кто хотел.

В 1995 году по материалам событий 60—70-х годов снят фильм «Черные пантеры», не имевший, однако, успеха.

жения, а также Маркса, Ленина и Троцкого. Ленину посвящен специальный бюллетень. На его развороте шапка: «Ленин — символ будущего мира!» Партийные бунтари здесь, как и партийные бюрократы в СССР, готовятся отметить столетие со дня рождения вождя мирового пролетариата. (При этом «пантеры» осуждают советских политических деятелей за убийство Троцкого.) Их партийные газеты полны риторики: «Нью-Хейвен становится главным театром революции. Страна услышит грохот марширующих рядов, громовые раскаты мести, музыку горных ветров». Организаторы беспорядков публикуют свои платформы, правила и полезные советы: «Если вы арестованы или остановлены полицией, вы имеете право не отвечать на вопросы. Если полицейский не в форме, потребуйте у него документы».

Распространяются подробные карты города, по ним любой приезжий легко найдет адреса пунктов «Скорой помощи» и узнает расположение телефонов-автоматов. На стенах университета — броские плакаты с обозначением закусовых и общественных уборных. По улицам, забитым толпами прохожих, медленно продвигаются грузовики стекольщиков, нагруженные не стеклами, а фанерными щитами: владельцы магазинов и контор загодя заколачивают свои витрины и окна.

До поры до времени «прежние» порядки сосуществовали с «революционными». В университете продолжались занятия со студентами, проходили уроки английского языка для иностранных преподавателей.

Но однажды, придя на английский, мы застали пустую аудиторию. Мелом на классной доске: «Занятия профессора Нолен переносятся в комнату № 3 на ул. Темплъ, дом № 370».

Когда все собрались в служебном кабинете профессора Нолен, он объяснил, что занятия перенесены сюда, так как начинается забастовка студентов, и все аудитории уже закрываются.

После урока английского спешим на занятия со своими студентами, Аркадий — домой, я — в университет. Наши занятия еще никто не отменял.

С трудом пробираемся через центр города и видим: «маленькая война» уже начинается. На первом же перекрестке две толпы. По одну сторону — демонстранты с плакатами на груди и на спине: «Вы не можете засадить в тюрьму революцию!», «Тюрьма, где твоя победа?». По другую — журналисты с микрофонами и фотоаппаратами, телеоператоры с камерами. На университетских зданиях колышутся полотнища-плакаты. Из окон студенческих общежитий свешиваются красные флаги. С серпом и молотом. Жужжат обрывки тревожных и грозных фраз: «Жечь!», «Громить!», «Взрывать!»

Университет, оказывается, еще не закрыт. В моем классе один человек.

Я: Вы не бастуете?

Студент: Нет. Я не понимаю, чего они хотят. Странно как-то. Вчера был большой митинг. Сначала они просили нашей помощи...

Я: Кто — «они»?

Студент: «Черные пантеры». А потом стали нас обзывать.

Я: Как?

Студент: Свиньями!

Вечером того же дня состоялась традиционная аспирантская «среда» — совместное собрание аспирантов с преподавателями, на котором мы оба, я и Аркадий, присутствуем. Не о занятиях речь, о забастовке. Аспиранты, заинтересованные в скорейшем окончании университета, высказываются «против». Деканы — Роберт Джексон, Виктор Эрлих, Александр Шенкер — «за». Забастовка начинается на следующий день, независимо от принятого решения.

Преподаватели все же «выходят на работу», пребывая большей частью на улицах. Узнаем новости. Поджог в музее изобразительного искусства, взрыв у входа в стеклянное здание закрытого катка, пожар в хранилище книг по юриспруденции Средних веков. Аппарат для тушения огня специальной пеной не действовал, горящие книги заливали водой. Старинные фолианты рыхлыми грудями, похожими на расчищенный грязный снег, лежали по обе стороны улицы за зданием библиотеки. Старушка история любит поиронизировать.

Дважды меня зачем-то вызывал декан профессор Роберт Джексон, сменивший к этому времени Шенкера. Дважды я не заставала его на месте. На третий вызов вообще не пошла. Всеобщая забастовка! И в тот же день столкнулась с ним лицом к лицу.

— Вы не явились на мой вызов.

— Мы были увлечены революцией.

Удивляется: «Это вы-то революционеры?» И целая строчка вопросительных знаков в интонации.

Несвязно и неубедительно бормочу: «Аркадий... лагерь... “самиздат”... под страхом ареста...»

— Может быть, вы и революционеры, но не в нашем смысле!

Как отрезал!

Первое мая — кульминационный день революции местного масштаба. От нашего зеленого безмятежного пригорода до центра всего 15 минут. Выежаем под стрекот машинок, стриженных ухоженные газоны вокруг беленьких домов благополучных горожан.

«Только революции могут прогнать по сосудам времени кровь», — написал когда-то Аркадий в своем «Тынянове». История опять иронизирует! Теперь мы увидим, как это происходит.

Демонстрантов было намного меньше, чем предполагалось. Правила уличного движения действовали нормально. В небе кружил вертолет (власти следили за передвижениями в городе). В узких переулках и проходах стояли солдаты войск Национальной гвардии<sup>1</sup>. Лица молоденьких солдат были испуганными. Без препятствий доехали мы до площади с тремя мирно сосуществующими церквями.

Недавно он был так тщательно ухожен, этот сквер. Теперь его затоптали, и над ним гремит оглушающая музыка. С грузовиков, вколачивая в воздух кулаки, агитаторы произносят зажигательные речи. Совсем как в кадрах знакомых с детства фильмов об Октябрьской революции! Разливается терпкий запах марихуаны. Шустрые торгаши продают пиво и сосиски. Медленно проходит пара с мороженым в руках. Почти как при выходе из московского метро. Кто-то орошает куст, видимо не ознакомившись с направлениями в общественные уборные. Страстно обнимаются стоящие, сидящие и лежащие пары. Кто-то случайно толкает меня и машинально вежливо извиняется: «I am sorry!» Старый негр, то ли больной, то ли пьяный, отчаянно, до изнеможения, отплясывает, стараясь попасть в такт музыки, извергающейся из громкоговорителей.

«Маленькая война» не состоялась. Убитых и раненых не было. Имела место демонстрация американской свободы.

В последующие дни город медленно приходил в порядок. Тысячные толпы растаяли. Демонстранты куда-то исчезли. Владельцы магазинов отдирали с витрин фанерные щиты. Бригады уборщиков отмывали и чистили университетские аудитории от грязи и нечистот. Старинные книги, ставшие трухой, увезены на свалку. В здании катка вставлены новые стекла. В университете возобновлены занятия.

На специальном выпуске газеты «Черные пантеры» Аркадий записал: «Они еще более преступны, чем большевики: большевики не знали, что может получиться из их кровавых утопий, а эти могут познакомиться (и они хорошо знакомы) с большевистским опытом. Этот опыт, от которого отшатнулись бы многие, делавшие революцию 1917 года, этим кажется очень заманчивым». Потом он загорелся желанием взять у одного из вождей «Черных пантер» интервью... Не успел...

«Я десять раз видел смерть и десять раз был мертв. В меня стреляли из пистолета на следствии. По мне били из автомата на этапе. Мина под Новым Иерусалимом выбросила меня из траншеи. Я умер в больнице 9-го Спасского отделения Песчаного лагеря и меня положили в штабель с замерзшими трупами, я умирал от инфаркта, полученного в

---

<sup>1</sup> Национальная гвардия — военные формирования, находящиеся в распоряжении губернатора штата.

издательстве «Советский писатель» от советских писателей, перед освобождением из лагеря мне дали еще 25 лет, и тогда я попытался повеситься сам», — перечислял Аркадий в рассказе «Побег» свои российские встречи с Самой Неизбежностью. Поманила его она за собой в Новом свете. Ночью с 13 на 14-е мая 1970 года. Я вызвала неотложку. В Америке эту функцию выполняют пожарные. Они оказали первую помощь. Звоню нашему семейному врачу. Он считает возможным отложить госпитализацию до утра.

Утром Аркадий сам оделся и спустился по лестнице. Казалось, ему стало лучше. Я отвезла его в больницу. Час спустя мы без большой тревоги разговаривали по телефону. Опасность вроде бы миновала. Вдруг звонок. Аркадий: «Приезжай!» Через пятнадцать минут я была в палате. Застаю суматоху, все сдвинуто со своих мест, к койке не подойти — заставлена какими-то медицинскими аппаратами. Пружина разжалась. У Аркадия инфаркт.

Свои последние тринадцать часов он провел в реанимационной палате — по часу за каждый год тюрьмы и лагерей. Тринадцать часов я находилась у его изголовья. Мы вспоминали о посторонних вещах, строили планы новых путешествий.

А р к а д и й: Мы, наверное, не сможем поехать в Европу...

Я: Поедем в Канаду...

(Не говорить о самом главном! Не говорить! Улыбаться.)

И вдруг.

А р к а д и й: Одной будет очень трудно. Я по лагерю знаю. Выходи замуж.

Я: Я выпущу «Олешу»...

Меня вызвали из палаты. По коридору бежал Андрей Блейн, друг Маши и Вадима, наш друг. Он всегда улыбался. Сейчас его лицо было застывшим. Он примчался из Нью-Йорка, опередив нью-хейвенских друзей. Как он узнал?

Еще ничего не было известно и все было predetermined. Больничное радио прохрипело: «р-р-р-нков!», и мимо нас с чемоданчиками в руках промчались по коридору врачи. Я бросилась за ними. Через открытую дверь увидела: все провода и трубочки отключены, и врачи... что-то они там делают. И что делает Сама Неизбежность? Меня остановили и вывели в коридор. Вдоль стен стояли стулья. Мы с Андреем сели. Проползло-проскочило длинное и короткое время. Что чувствует человек, ожидая каменного слова, знает только тот, кто его дождался. Но рано или поздно и к нему приходит забвение, потому что жить с такой памятью невозможно.

По коридору приближалась фигура с опущенными плечами. Человек в белом халате подошел и сказал: «I am sorry!» — как если бы он нечаянно толкнул меня на улице.

Спустя некоторое время я вошла в другую палату, в которой, кроме Аркадия, ничего не было. Он лежал там еще не остывший, почти живой и не то отрешенный, не то довольный.

Для меня начиналась другая жизнь. Когда я оглянулась назад, среди бумаг Белинкова я нашла переписанное его почерком стихотворение Пастернака, поэтический дар которого он ценил очень высоко, стихи которого знал наизусть и великолепно их читал.

Гул затих. Я вышел на подмостки.  
Прислонясь к дверному косяку,  
Я ловлю в далеком отголоске,  
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи  
Тысячью биноклей на оси.  
Если только можно, Авва Отче.  
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый  
И играть согласен эту роль.  
Но сейчас идет другая драма,  
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,  
И неотвратим конец пути.  
Я один, все тонет в фарисействе.  
Жизнь прожить — не поле перейти.

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

### Российские единомышленники об Аркадии Белинкове

Первый читатель рукописи «Распря с веком» Иван Толстой в дружеском письме ко мне нашел много добрых слов, но добавил, что ему не хватает обзора взаимоотношений Белинкова с московской оппозиционной интеллигенцией.

Он прав. Такого обзора нет.

Каким образом в моей рукописи оказались упомянуты только некоторые из наших близких друзей и единомышленников, которые как раз и представляли собой оппозиционную интеллигенцию? Мы читали те же книги и тот же «самиздат», слушали те же передачи западного радио, ходили в те же театры, волновались по поводу тех же событий в нашей стране и за рубежом, мы спорили, мы смеялись, мы обсуждали наши «крамольные» рукописи и праздновали наши дни рождения... Я задумалась... И мысленно вернулась к названию книги и, тем самым, к ее замыслу. С людьми, не приемлющими советскую действительность, *распри* у Белинкова не было. Все вместе они были одним огромным оппозиционным телом, хотя каждый из них поступал соответственно своему характеру, своему таланту, принадлежности к своему поколению и степени своего неприятия Софьи Власьевны (расхожий в то время эвфемизм — подразумевалась советская власть). Все они были равны перед лицом государственного произвола.

Распри не было, хотя разница была.

Диссидентское брожение возникло после доклада Хрущева на XX съезде КПСС в феврале 1956 года. Люди оглянулись окрест себя, и душа их страданиями человеческими уязвлена стала. И выбрали они свои способы борьбы за права человека. Белинков же не прозревал после разоблачения культа личности. И до того он не был ослеплен солнцем сталинской конституции. Обожженный лагерным опытом, он оказался в Москве 50—60-х годов, когда многие его современники свое противостояние только начинали. И он не «лился каплей с массами», даже оппозиционно настроенными. Эту разницу однажды хорошо подметила Татьяна Максимовна

Литвинова: «Мы были благополучными хрущевцами, а он нас звал к совети».

Свое оппозиционное поле Белинков нашел в *вольном печатном слове*, право на которое он и пытался осуществить в немыслимых условиях советской цензуры. Печатное слово он считал массовым и потому более действенным средством противостояния тоталитарной системе по сравнению с письмами, «самиздатом», демонстрациями, писанием «в стол» и подпольной деятельностью в рамках 60-х годов. Тут он изворачивался в эзоповом языке. Тут он и создал формулу, вошедшую в нынешний литературный обиход, — «сдача и гибель советского интеллигента». Тут он был готов пойти, и шел на отчаянный риск. Сделав выбор, он подчинял ему все и всех. И он не щадил себя и не позволял себе отвлекаться ничем, предвидя, что «Оттепель» не будет продолжаться долго. И, когда увидел свои возможности исчерпанными, совершил побег в неизвестность. Подвижник? Романтик? Городской сумасшедший? Мы жили обыкновенной напряженной жизнью своего времени и своей страны, со всеми ее опасностями и человеческими радостями. Просто Аркадий, может быть, острее других относился к несовершенству нашего социального бытия и был немного требовательнее к себе, чем полагается по принятым человеческим нормам.

Отличие от современников было, но и тесная связь была. Те, кто помоложе, обращались к нему как к старшему товарищу, в некотором роде как к учителю. Писатели старшего поколения, те, кто не забыл идеалы своей юности, отчаянно споря с ним, принимали его как равного. Хотя он и считал, что борьбой за права человека и конвергенцией с Западом — краеугольные камни диссидентства — советскую систему исправить нельзя (тут он не был согласен с Сахаровым), он был уверен, что борьбу с тираническим режимом вести все равно нужно, иначе тот затопчет все живое. «Самый мужественный пессимист на свете», — назвал его однажды наш друг Леонид Финкельштейн.

О взаимоотношениях Белинкова с теми, кто не принимал окружающую действительность сталинского и послесталинского времени, лучше всего рассказали они сами.

Это случилось пять лет спустя после того, как с флагштока московского Белого дома был спущен красный флаг и торжественно поднят бело-синекрасный, чему мне довелось быть взволнованным свидетелем. Страна переживала первые трудности, связанные с политической, экономической и идеологической перестройкой. В бесцензурную литературу входило новое поколение, поверившее в то, что оно будет жить в свободной стране. Начинался решительный пересмотр прошлого.



Разговор произошел двадцать первого в ночь, в понедельник. В Москве, в Малом зале Центрального Дома литераторов на Большой Никитской, 53 (бывшей Герцена). 21 октября 1996 года шла презентация только что опубликованного «Черновика чувств». На повестке собрания значилось: «Вечер памяти А. Белинкова (1921—1970)».

Малый зал быстро заполнялся. Пришли: Г. Белая, Алик Гинзбург, В. Глоцер, А. Горелик, С. Григорянц, Даниил Данин, Л. Зорин, Э. Кардин, Л. Левицкий, С. Лесневский, Л. Либединская, И. Лиснянская, М. Литвинов, Ф. Литвинова-Ясиновская, Е. Мурина, П. Набоков, Л. Осповат, Б. Сарнов, А. Севастьянов, Т. Сельвинская, Ф. Сыркина-Тышлер, Ирина Уварова, М. Чудакова, Марианна Шабат, Б Штейн, знакомые и незнакомые... Всех назвать невозможно. Здесь и москвичи, и даже недавние эмигранты из Франции и Америки. Это — шестидесятники. Кое-кому пришлось устроиться, стоя в дверях. Ко мне подходит озабоченный Ю. Китаевич: «Мест не хватает. Почему не в Большом зале?» В аудитории шум. Люди, редко встречающиеся в новой, теперь по-иному тревожной столице, окликают друг друга. Рассаживаются.

В президиуме признанный литературовед и критик Б. Сарнов — ведущий вечера, известный драматург Л. Зорин и я — вдова виновника торжества.

В записи выступлений, приводимых ниже, я постаралась передать живую атмосферу вечера, допустив длинноты, повторы, противоречия и отвлечения.

Б е н е д и к т С а р н о в: Ну, я думаю, мы начнем.

Знаете, если бы в году эдак 60-м или в 61-м, когда мы с Аркадием Викторовичем гуляли по Красноармейской улице, кто-либо мне сказал, что его семидесятипятилетие мы будем отмечать вот так, как это происходит сегодня в этом зале, и что все не все, но многие московские газеты об этом сообщат, я бы счел такой прогноз, мягко говоря, не очень вероятным. Но если бы нам сказали [о том же] некоторое время спустя, когда Аркадий и Наташа были уже там, когда он именовался отщепенцем, злостным антисоветчиком, агентом ЦРУ и бог знает еще какими кличками, и, — как мы узнали в «Независимой газете» из документа, подписанного Андроповым, он [считался] чуть ли не автором книги Светланы Сталиной, — если бы тогда нам сказали, что будет вот такой вечер, посвященный его семидесятипятилетию, то мы подумали бы, что это бредит сумасшедший.

То, что происходит сейчас, мы могли бы считать самым доподлинным чудом. Но это еще не главное чудо. Главное чудо — эта вот книжечка. (*Показывает «Черновик чувств».*)

Главное чудо состоит в том, что роман Аркадия Викторовича Белинкова, который считался пропавшим более чем пятьдесят лет тому назад, канувшим где-то там, в недрах этого «министерства любви», что он вдруг

воскреснет, восстанет из пепла, что сегодня его будут продавать за самую полноценную нашу валюту, а некоторые даже получают его в подарок, — вот это и есть самое поразительное чудо.

Я далек от того, чтобы быть апологетом этого романа и говорить, что это замечательный или выдающийся вклад в сокровищницу русской литературы, особенно если учесть, что его автор сам его сжег, как мы узнали из предисловия Наташи Белинковой в журнале «Звезда». Сжег и сделал это совершенно сознательно, не в порыве страсти, а отнесясь к нему, как Гоголь отнесся к своей поэме «Ганс Кюхельгартен». Я не собираюсь по этому поводу полемизировать с автором. Я просто хочу сказать, что при всем при том это произведение поразительное. Оно поразило меня тем, что очень рано в этом романе проявился совершенно неповторимый и явно незаурядный характер этого человека.

Эта вещь поразительна по своей смелости, причем не гражданской смелости, которой Аркадию Викторовичу было не занимать, как мы все прекрасно знаем. Я бы сказал, поражает он смелостью эстетической. Своей [характерностью]... Он настаивает на том, что он *такой* вот, *каков* он *есть*.

Ведь только вспомнить, когда все это происходило! Шла война, торжествовал самый что ни на есть железобетонный социалистический реализм. Получил первую чугунную затрещину Зощенко за свою повесть «Перед восходом солнца», и печатание ее было прекращено. (Писателя громили именно за то, что он посмел во время войны, во время схватки с фашизмом заниматься «самокопанием», писать о себе, о своих чувствах и переживаниях. И Зощенко оправдывался, пытался доказать, что его вещь в основе своей антифашистская...) Вот в это время молодой человек, которому был двадцать один год, говорил: «Вот, я *такой*... Берите меня таким, *какой* я *есть*... Да, я не хочу сказать, что мы с вами одной крови, вы и я. Я — другой человек и хочу быть именно тем, что я *есть*. И я на этом *настаиваю*». Настаивал он на этом всей стилистикой своего сочинения, каждой клеточкой своей словесной ткани.

Дальше, естественно, все развивалось, как оно и должно было развиваться, и ничего удивительного нет в том, что он получил свои восемь лет и попал в лагерь. Удивительно то, как он себя там вел. Удивительно, что не раскаивался, не вилял, не входил в глухую несознанку, как это принято было. (Ничего постыдного я в этом не вижу — я думаю, многие со мной согласятся, что вовсе не надо быть откровенным со следователем.) Мало того, там, в лагере, он использует каждую возможную минуту — продолжает писать свои по-прежнему, мягко говоря, не вписывающиеся в систему советской идеологии сочинения. И кто-то настучал, и там ему намотали второе дело, после чего он попал в Казахстан, в Караганду с новым лагерным сроком.

Поскольку не все, вероятно, читали его допросы, опубликованные в «Новом русском слове»<sup>1</sup>, я приведу несколько отрывков из его ответов следователю и некоторые цитаты из его сочинений, дающие представление об этом характере, об этом человеке.

Ответ следователю, записанный суконным языком протокола: «Высказывал мысль к тому, чтобы повести решительную борьбу за уничтожение коммунизма, как формации, лишившей человеческих свобод... Я призывал к физическому уничтожению коммунистов как идеологов и носителей идей коммунизма... Основным действующим лицом я изображал себя, где выражал свои мысли словами: “Я ненавижу промысел марксизма-ленинизма”... Я считал, что идеология марксизма-ленинизма такая же реакционная, как и нацизм Гитлера».

А вот цитата из сочинения: «В 1932 году Гитлер убил дряхлого Гинденбурга и получил тупой нацизм, а в 1947 году какой-то Готвальд убил выжившего из ума Бенеша, которому больше ничего не оставалось, как умереть, и получил зверский марксизм-ленинизм. Кто из них хуже: нацизм или марксизм-ленинизм? Оба одинаковы». Это уже подлинные слова Аркадия Белинкова.

А вот их перевод на язык протокола: «Я лично считаю и убежден, что между марксизмом-ленинизмом и нацизмом никакой разницы нет».

Замечательно еще вот что: «Написанные мной рукописи не адресовались читателю, а были лишь потребностью выразить свои чувства на бумаге».

И последнее — это тоже его выражает: «За время отбытия срока наказания и пребывания в тюрьме по этому делу мои взгляды и воззрения не изменились». Тоже, знаете, не каждый так бы себя повел в этой ситуации. [Достаточно] представить себе этого худенького, хрупкого, бесконечно слабого здоровьем человека!

Меня просил сказать несколько слов Марлен Кораллов. Я только что навестил его в больнице, и он просил сказать, что он вместе с семидесятипятилетием Аркадия отмечает сорокапятилетний юбилей своего знакомства с ним. Марлен был товарищем Аркадия по заключению, и он мне рассказал такой маленький эпизод. В их лагерь пришло новое пополнение, эшелон уголовников. Было какое-то толковище, все предвещало крупную драку, скорее всего поножовщину. Но как-то это рассосалось, и Марлен возвращался в барак. Навстречу ему шел Аркадий, который, как всегда, умудрялся даже там соблюдать свой облик интеллигента. И Марлен его спрашивает: «Вы куда...» — они были на Вы и по имени-отчеству: один Аркадий Викторович, а другого там звали Михаил Михайлович. «Вы куда, Аркадий Викторович?» — «Как — куда? Драться». Надо было представить

<sup>1</sup> Поправка: в «Русской мысли». — Н.Б.

себе, что было бы с ним, если бы, к несчастью, драка состоялась и он там появился. Двух минут он там бы не просуществовал, не уцелел. Вот такой это характер, такой это человек!

Для вступительного слова я наговорил более чем достаточно и поэтому с огромным удовольствием предоставляю слово Наталье Белинковой, которая скажет все, что захочет сказать.

Наталья Белинкова - Яблокова: Я счастлива, что этот вечер наступил. Не одна я, мы все об этом мечтали. Здесь присутствуют разные поколения: люди, которые учились с Аркадием в школе, и такие, которые учились с ним в Литинституте, и такие, кто пережил похожую с ним судьбу, когда он был в лагере, а также и здешнее молодое поколение. И здесь есть одна женщина, которая была героиней первого романа, Марианна Рысс, теперь Марианна Шабат. Она сидит в первом ряду и свой букет отложила куда-то в сторону, очевидно, из скромности. Так что у вас будет возможность с ней побеседовать, а если она захочет выступить, она выступит.

Одно маленькое объяснение по ходу дела. Откуда взялись эти протоколы? Протоколы допросов были найдены и опубликованы в «Русской мысли» Григорием Файманом.

(Я также вспомнила о тех, кто сыграл большую роль в жизни Белинкова, и тех, кто, выражаясь красиво, вошел крупным шрифтом в его литературную биографию.

Я назвала Льва Шубина, с именем которого был связан прорыв через цензуру второго издания «Юрия Тынянова». Я упомянула Корнея Чуковского, Натана Эйдельмана и Африкана Бальбурова — эти три имени затаились в один узел, способствуя публикации в легендарном «Байкале» отрывков из книги об Олеше. Я не могла не назвать Мишу Левина, сохранившего большую часть архива Белинкова, без чего нельзя было бы восстановить его работы, и, конечно, я рассказала о динамике взаимоотношений Аркадия с его учителем Виктором Шкловским. Таким образом, в моем выступлении я вкратце повторила то, о чем рассказано в этой книге.)

Виктор Кардин: В минувший четверг в популярной газете «Сегодня» — не путайте с «Завтра» — была опубликована статья «От какого наследства...». Далее следовало многоточие, что должно было говорить о некоем сарказме названия и намекало на догадливого читателя. Речь шла о том, от какого наследства *надо отказаться*. Надо отказаться от традиций Твардовского, старого «Нового мира», шестидесятников. Люди, против которых [сейчас] выступают газеты, безотносительно к тому, что они делали хорошего или в чем они ошибались, были людьми, которые не только имели свою судьбу, но и *выбирали* ее. Люди же, которые сейчас выступают с подобными статьями, выступают по долгу службы.

Аркадий Белинков был человеком, который сам, с самого начала, раньше кого бы то ни было *строил свою судьбу*. Я приведу только два примера и постараюсь это доказать.

Поздней осенью 64-го года Аркадий позвал меня и сказал, что я должен явиться к нему в определенное время и, как всегда, без опозданий. Он жил тогда неподалеку от «Аэропорта», я знал этот дом... И я пришел. Там были еще два человека, которые сейчас здесь в зале: Миша Литвинов и Флора. Аркадий взял за руку Мишу, взял меня и повел нас в ванную. (*Обращаясь к Мише*). Помнишь? Пустил воду. И Миша, пока наполнялась ванна, с листа переводил нам статью, по-моему, из «Экономиста», с портретом Шурика Шелепина и обстоятельствами переворота, осуществленного на недавнем пленуме ЦК. Статья была довольно любопытная и даже с какими-то неожиданными детективными поворотами. И когда Миша закончил перевод, Аркадий сказал: «А вот что будет дальше...» И очень четко, определенно, с очень жесткими формулировками, которые он иногда умел [отчеканить], изложил все, что действительно случилось дальше. Наконец мы завернули кран (Аркадий был уверен, что его соседи — стукачи), и он всегда был очень осторожен, вероятно имея для этого основания. Я подозреваю, что именно тогда Аркадий начал думать об отъезде. Я не знаю этого, потому что тогда ни со мной, ни с кем-либо другим, даже слевой Шубиным — мы потом с ним это обсуждали, — он на этот счет не говорил. И поступал совершенно правильно. Он принимал решение, и он его доводил до конца. И делал так, как считал нужным. А то, что у него для этого была *воля* и еще кое-какие качества, не очень распространенные среди литераторов, я расскажу на другом примере.

Мы ехали с ним в переполненном троллейбусе по Русаковской. Я не помню, по какому это было поводу. Аркадий, который стоял позади меня, подвергся заурядному транспортному хамству со стороны какого-то молодого парня. То ли тот проехался по поводу его очков, то ли по поводу «бобрового» воротника или носа, я не знаю, я не слышал. В обычном представлении, Аркадий — «кабинетный» человек, педант, эстет, немного манерный. Все это было. Но вот что было еще: Аркадий сказал этому парню: «А теперь мы выйдем!» И кивнул мне. И мы вышли на зимнюю Русаковскую, и Аркадий, взяв под руку парня, который был плотнее его вдвое и крепче его вчетверо, начал читать ему мораль. Особенность заключалась в том, что он говорил на *великолепной* лагерной фене, изредка перемежая ее вполне уместной ненормативной лексикой. Реакция была поразительной. Этот парень, который мог разбить в кровь лицо, сбить очки, повторял одно: «Прости, батя, прости, пахан!» Вот каким был этот человек, написавший книги, о которых сейчас говорят, которые, наконец, получили возможность пробиться к читателю! Это книги, которые, может быть, не будут иметь широкого успеха и останутся книгами для немногих, — да он

и не рассчитывал на это, — но которые говорят о том, как же складывается судьба людей и как эта судьба отражается в том, что они делают.

Л и д и я Л и б е д и н с к а я: Осенью 42-го года я поступила в Литературный институт, перед этим окончив историко-архивный. Но у меня начали печататься статьи и стихи, и я решила, что нужно образоваться в российской изящной словесности. И вот буквально в первый же день, когда я пришла в Литинститут, я увидела там юношу, который сразу же привлекал внимание. Мне даже показался он знакомым. Я потом поняла почему. Я выросла в Ворошиловском переулке. Это рядом с Пушкинской площадью, а тогда Москва была другая, и все, кто жил в этом Тверском околотке, конечно, невольно рано или поздно встречались, особенно около памятника Пушкину на Тверском бульваре.

Аркадий очень выделялся среди всех студентов. Как тогда одевались люди? Или шинель, или телогрейки, или куртки какие-то, которые еще сохранились с довоенных времен. Это 42-й год, представляете себе? Был у нас, приходил на семинары и Сарик Гудзенко, вернувшийся с фронта, израненный весь, в шинели. А на Аркадии было пальто в талию, шляпа, белоснежные рубашки, галстуки, которые он менял. От него пахло всегда одеколоном. Это все производило большое впечатление, я должна сказать. При таком коротком знакомстве — мы познакомились на семинаре Ильи Львовича Сельвинского — у нас установились добрые отношения, которые длились не очень долго, потому что через несколько месяцев я покинула Литинститут. У меня стали рождаться дети, один за другим. А вот эти несколько месяцев мы встречались, особенно когда я сбегала с лекций Тимофеева, — я их не любила, скучные были лекции. Я не могу назвать это дружбой, мы сидели на бульваре или даже заходили к Аркадию — он жил тогда рядом, — и он читал стихи. Он тогда писал стихи. Он писал стихи очень интересные. Они производили очень большое впечатление. Но дело было даже не в этом. *Разговоры* были очень интересные. Аркадий, конечно, был образованней всех нас.

В декабре 42-го года, может быть в самом начале января 43-го, он предложил целой группе студентов свой новый роман. Мы собирались на Пушкинской площади, на квартире Николая Евдокимова. Время было холодное, голодное. Сидели в пальто. Кто-то приносил несколько вареных картошек, кто-то несколько кусочков хлеба, кто-то сахару. За хозяином оставался только кипяток.

И вот Аркадий — это длилось несколько вечеров — читал там свой роман, «Черновик чувств». И я должна сказать, что если сейчас он производит большое впечатление, то тогда на нас он произвел просто огушительное впечатление. Никто из нас, конечно, так писать не мог, да и не умел, да и просто это было невозможно. Ничего антисоветского мы в нем не почувствовали, потому что у всех копилось раздражение против наше-

го социалистического реализма. Ну, может быть [в романе Белинкова], раздражало... не то что раздражало, а вызывало удивление то, что автор настаивал: он — довоенный человек. Все-таки это была война, и приходили студенты с войны, и мы не могли не относиться к ним с уважением. Но вместе с тем я все-таки помню, что был Гудзенко, который с большим волнением слушал этот роман. Его ничего там не коробило и не оскорбляло. И я должна сказать, что какие-то сравнения, какие-то фразы настолько мне запомнились, что вот с тех лет прошли года, — вы понимаете, пятьдесят четыре года! — а я и сейчас, перечитывая этот роман, их нахожу. Сейчас можно говорить, что это детский роман. А лучше сравнить его с ранними рисунками художника. Вспомните детские рисунки Серова, в которых вы видите гениального художника. Нет, это не детский роман. Это очень серьезная, глубокая, философская вещь. Там можно найти какие-то влияния, подражательства, но он читается сейчас с необычайным интересом, и я просто счастлива, что он вышел в свет. Он передает атмосферу тех лет, холодные, голодные литинститутские годы.

Понимаете, вот в этом разворошенном мире был человек, который оставался самим собой. Это был человек с чувством чести, как потом показали и протоколы допросов. Что у нас сейчас очень редко. Бывает, и путают у нас «честь» и «совесть». А люди с совестью и без совести, они подчас поступают одинаково, только которые с совестью — мучаются, а которые без совести — не мучаются.

Он не вписывался в эту жизнь, в жизнь, которая была. Он был не только не военный и не недвоенный, он вообще был *над этим*. И делал это сознательно, и этого, конечно, потерпеть не могли.

Ну а потом мы не виделись. Я знала, что он вернулся из ссылки<sup>1</sup>, прошло уже несколько лет. Это была осень 58-го или 59-го года. Я сидела дома, мы собирались на следующий день уезжать в Ялту. Вдруг раздался звонок в дверь. Я увидела на пороге Аркадия. Мы не уславливались, он не звонил. Я очень обрадовалась, хотя и немного удивилась, пригласила его, он зашел, а мы ждали гостей. Какое-то время посидели, потом стали собираться люди. Пришли Каверины, и Аркадий как-то растерянно на меня посмотрел. Я почувствовала что-то не то, и он так тихо сказал: «Простите, пожалуйста, — мы были всегда на Вы, — но я просто попал не в ту квартиру». Он, действительно, шел к Ивановым на четвертом этаже, а мы жили на втором. Значит, зашел, мы повидались. Попрощались очень нежно.

А потом я его видела на Блоковской конференции в Тарту, где он сделал совершенно блестящий доклад «Интеллигенция и власть». Теперь,

<sup>1</sup> Распространенное бытовое выражение. Аркадий в таких случаях тихонько возражал: «из лагеря». Положение лагерника было намного тяжелее положения ссыльного. — Н.Б.

читая книгу об Олеше, я поняла, что это одна из глав этой книги. Он был уже так болен, что выступал при открытом окне, с трудом дышал. Но говорил он замечательно. Надо сказать, что он и читал — вот, когда он читал свой роман, — мастерски. Это усиливало впечатление.

В общем, я хочу поблагодарить судьбу за то, что сбываются булгаковские слова, что «рукописи не горят», что эта рукопись к нам пришла, и спасибо Наташе, которая сделала все для того, чтобы она увидела свет.

Леонид Зорин: Судьба Аркадия Викторовича сложилась в 40-х годах, но имя его стало звучно в 60-х. И с тех пор шестидесятничество считает его одним из самых ярких представителей этой поры, которую, как вы знаете, сейчас очень романтизируют. XX век вообще склонен к мифотворчеству, особенно на нашей отечественной почве. Это естественно. Это еще одна легенда. На меня 60-е годы не производят такого уж привлекательного впечатления, такой уж безумно либеральной эпохи. Начались они с разгрома в Манеже, потом, в самом начале этого десятилетия — Новочеркасский расстрел, процессы Даниэля, Синявского, Галанскова... Потом совершенно страшный, яростный разгром диссидентства, безумная, бесстыдная антисемитская кампания в связи с Шестидневной войной на Востоке и, наконец, достойное завершение этого десятилетия — распятие Праги. Но можно сказать, что у шестидесятников было одно преимущество. В этот период общественное мнение начало возникать, слово начало что-то весить. Монолит стадности дал свою трещину. Это было.

Я вспоминаю, как в 66-м году я уехал из Москвы писать пьесу — «Варшавскую мелодию». Ну, естественно, перспективы ее рисовались мне вполне безнадежными. И в таких мрачноватых тонах я и написал об этом Аркадию. Я получил от него очень примечательный ответ. Он написал мне следующее: «Автор погибает не от пули, не от яда, не от удара стилета. Автор погибает от отсутствия воздуха. Сейчас образовывается второй воздух. Этот аэродинамический феномен дает нам надежду». Таким образом, он утешал меня тем, что если пьеса не будет иметь зрителей, то она во всяком случае будет иметь читателей. Но сам Аркадий, я думаю, не собирался своей книгой тешить только небольшой круг московских фрондеров. Ему требовалась громадная аудитория, для него это было принципиально важно, ибо у него было этакое мессианское отношение к своей деятельности. Он, безусловно, разделит бы мнение, что «Свадьба Фигаро» определила Французскую революцию, и сам он себя ощущал этаким Бомарше, который обрекает Бастилию на гибель. Я должен сказать, что тогда темпераментных людей было много. Пусть не такого, радищевского темперамента, которым обладал Аркадий, но людей темпераментных было много. Они заявляли свой темперамент. Декларативность поэтому становилась едва ли не главным достоинством творчества. Называлась она тогда гражданственностью. И стихотворцы, которые оккупировали в



то время залы и площади, часто выступали как публицисты. Тогда это явление получило известное объяснение: «поэт в России больше, чем поэт» (хотя в то время, может быть, можно было сказать — и с тем же успехом, — что поэт в России меньше, чем поэт). В то время это было правомерно. Но у меня, кстати, естественно, возникала мысль, что, может быть, цензура иногда играет благотворную роль и подсознательно, против своего желания побуждает к большему художеству. Что там? Намек, недосказ... Дается большой маневр, большой люфт для читателя, для читательской аудитории.

Аркадий Викторович относился к моему обращению к истории очень положительно. С пониманием, во всяком случае, — так скажу. Одевал ли я своих героев в мундир или фрак девятнадцатого века или в античные одежды, как в «Римской комедии», он тепло к этому относился. А спектаклю «Декабристы» — он был его научным консультантом — отдал много сил. Я должен сказать, что удивительно было наблюдать, как артисты «Современника» — люди молодые, веселые — в молитвенной тишине слушали Аркадия. У них горели глаза, когда он два часа говорил об этом поразительном куске российской истории. Но сам Аркадий Викторович был человеком прямого текста, и его талант помогал ему быть человеком прямого текста. Он умел свой сумасшедший темперамент подчинить своему таланту. Талант вел этот темперамент в нужном направлении. Талант руководил вулканом, который бурлил в его душе. Талант придавал этому извержению совершенную форму. В этом смысле он был ориентиром наших дней, который поднимал инвективу на уровень искусства. Но, — многосторонний человек, — он поднимал и научное исследование на уровень искусства.

Он считал, что он должен совершить самое важное — сокрушить режим. На меньшее он не был согласен. Я думаю, что это определило его будущую судьбу. Не дождавшись выхода третьего издания «Тынянова», доработанного, дополненного, — как сейчас помню эту дачу летом, где он вместе со своим добрым отцом Виктором Лазаревичем делает вставки и вклейки в уже готовую верстку, — не дождавшись выхода тиража, который был пущен под нож, не дождавшись выхода номера «Байкала», он совершил свой побег. Он совершил его во имя своей главной книги, во имя своей песни песней. Он увез ее с собой, потому что он знал: его «Сдача и гибель советского интеллигента», его «Олеша» важен для человечества. Он хотел *преобразовать* человечество. Простодушно? Возможно. Мы тогда еще не знали, что нельзя выйти из лабиринта. Что лабиринт и есть наш дом. Но без простодушия поступков не совершается. И он пошел на переворот своей судьбы, понимая, что он может его и не перенести. Он знал масштабы своего недуга и понимал, что ему, наверное, трудно будет осилить такую страшную встряску. Он был готов к гибели, но не к сдаче. Сда-

ча была не для него. Он пожертвовал собой во имя этой книги. В этом хрупком теле билось сердце борца. Но не только. Главное, что в нем klo-котало, — гениальность. Борцы устают. Идеи гаснут, теряют свою притя-гательность, идеалы изнашиваются, происходит смена вех. Гении не сда-ются. И он не сдался, он проделал свой крестный путь до конца.

М а р и э т т а Ч у д а к о в а: Я не так-то долго знала Аркадия: полтора года после Блоковской конференции, этой знаменитой тартуской. И не стала бы выступать здесь, где столько людей, которые знали его так дол-го и так близко. Но во время первого выступления мне показалось, что есть вещи, которые нужно сказать — поскольку мы встретились именно ради Аркадия. Мы сейчас часто вспоминаем и сегодня уже говорили об этом единодушно и с печалью, то время, когда общественность *была*, — несом-ненно, когда солидарность *была*, — несомненно, когда мы чувствовали плечо и локоть многих людей в нашем литературном цехе, в нашей лите-ратурной общественности. Сейчас все сегментировано, и, собственно, попытки структурирования общественности, которые делают разные лю-ди, не очень удаются.

Но в той общественности были свои печальные особенности. В ней тоже была своя нивелировка. Она настроена была, эта среда, на то, что-бы всех стричь под одну гребенку. Она настроена была на то, чтобы пить бокал за бокалом «за успех нашего безнадежного дела». Заверяю, что далеко не все пили за этот тост. Были люди, которые ни разу не выпили за этот «успех» и ставили бокал во время этого тоста. Я думаю, что, если Аркадий и пил за компанию, внутренне он был настроен совсем на другое. И поэтому, когда на Красноармейской в тех же «писательских» домах все хором говорили, что никогда ничего не будет, и все мы *всё понимали*, когда были настроены на это *взаимопонимание* (довольно тяжелая, долж-на сказать, вещь), Аркадий умел *не понимать* всеми понимаемого и при-нимаемого.

Когда все знали, что *условия* заранее определены и *всем* понятно, как надо писать, чтобы напечатать, он знал очень важную вещь. То, что я хочу сейчас сказать, — это совсем не метафора, не попытка выразиться кра-сиво. Это самое важное, на мой взгляд, в его работе и жизни — он поста-вил целью *проверить условия* на своей шкуре, поставив эксперимент на себе. Он понимал, что принять заранее условия — что можно напечатать, чего нельзя — невозможно.

Это — первое. О втором, — о том, что он вкладывал в задачу — на-писать такую книгу, — очень верно сказал Леонид Генрихович [Зорин]. Аркадий думал не о междусобойчиках, не о том, чтобы быть автором про-грессившей верстки, — хотя тогда это было в ходу: демонстрировать ру-кописи, верстки не прошедшие, гордиться даже их наличием. Нет, он был не из тех. Он хотел, чтобы его узнали читатели всей страны, чтобы они

услышали его слово. В этом смысле он был человеком всей этой нашей огромной страны, которая для многих замыкается в пределах Садового кольца. Он не был — хотя, может быть, многим казался — ни снобом, ни человеком элитарным. Нет, он был литератором до мозга костей, и он хотел быть услышан миллионами. И старался этого достичь. И он был первый, кто, не сливаясь в этом со своей средой, — в 60-м году это был прорыв огромный — первый поставил эксперимент на себе, он написал книгу<sup>1</sup>, где не было, во всяком случае, ни одного слова, ни одной фразы, которой он мог бы стыдиться.

Он стремился писать не так, как писали очень многие вокруг, подавляющее большинство, да, собственно, самые порядочные люди, которые говорили друг другу, показывая свой очередной напечатанный опус, — я это время хорошо знаю, так как я вступала в литературу в шестьдесят первом—шестьдесят втором году, так что тут отвечаю за каждое свое слово: «Да не обращай внимания, ты на этот вот мой абзац не смотри — ты смотри на то, что у меня в следующем». Как будто читатель должен был каким-то наитием понимать: «Сейчас я пропущу эту ложь, а дальше — правда». Аркадий создавал новые взаимоотношения автора со словом и, следовательно, с читателем, — где важно и весомо каждое авторское слово, и за каждое автор готов ответить.

Он был борцом, и, конечно, этого излюбленного тогдашнего слова «никогда»: «Этого у нас никогда не будет» — он, по-моему, терпеть не мог, хотя я сейчас не могла бы вспомнить беседу на эту именно тему. Дело в том, что он мыслил в другой системе отсчета. И я знаю, что в этой системе для него не существовало слова «никогда»: он внутренне был настроен на иное. Он знал так или иначе, внутренним своим чувством ощущал, предвосхищал, что именно в этой стране, в этом ЦДЛ несчастном мы будем отмечать его семидесятипятилетие. За это вечная ему память и низкий поклон.

**Бенедикт Сарнов:** Не в порядке полемики, но хочу предложить историческую справку.

Тост «За успех нашего безнадежного дела» придумали не конформисты. Сколько мне помнится, этот тост придумал Коржавин, который конформистом не был. И этот тост употребляем был очень многими людьми, которые вели себя порядочно.

Это диссидентский тост, тост иронический. Не надо его понимать буквально. Сегодняшний юбиляр был человеком необычайной яркости даже на фоне тех необычайно ярких людей, с которыми меня сводила судьба, а меня сводила судьба с очень многими яркими людьми. Он был не одинок.

<sup>1</sup> Имеется в виду первое издание «Юрия Тынянова». — Н.Б.

Д а н и и л Д а н и н: Прежде всего Аркадий Белинков был очень красив. Я помню это свое первое впечатление от него, когда мы познакомились где-то в начале 60-х годов.

Но мне хотелось сказать о некоторых вещах, которые, может быть, прозвучат здесь не совсем так, как мне бы хотелось, — или как вам бы хотелось. Дело в том, что у меня есть воспоминание одно об Аркадии в Переделкине, когда он лежит на раскладушке под березами. Ему плохо. Он лежит с двуперстием Морозовой, и идет страшный спор о его рукописи по поводу Олеши. Он мне дал прочитать несколько глав. Я яростно напал на него за то, что он напал на Олешу. Он кричал: «Я листовочник!» Это была у него формула — характеристика собственного стиля: «Я листовочник!» То есть стиль должен быть таким отточенным, то есть таким железным, чтобы он разил. Он говорил: «Я листовочник. Я уничтожу Олешу, я уничтожу еще Каверина и Виктора Шкловского!» Я говорю: «Аркадий, побойся Бога! Побойся Бога! Олеша — трагическая фигура. Ты рассуждаешь, как Нарцисс, который горд своей непорочностью. Олеша — трагическая фигура, и это надо понимать». — «Я это отлично понимаю, но ты — конформист, — кричал он мне, — и я буду продолжать и этот спор, и эту борьбу!» — «Я буду уничтожать нашу интеллигенцию-потаскуху», — говорил он. Я говорю: «И себя тоже?» — «И себя тоже!» Я говорю: «Хорошо. Значит, кого еще?» — «Всех в этом саду». Также и Наташа, которая была такая озабоченноглазая тогда? Которая страдала за него, потому что он попросту находился в тяжелом физическом состоянии? Она... я помню, как она отвела меня в сторону и сказала: «Ну не надо так спорить с Аркадием, не надо так. Надо тише». Я тоже был в ярости некой, у меня для этого некоторые основания были: биографические и прочие. Я говорил: «Ну как же, он только что хотел уничтожить Олешу, Каверина, себя, Вас и вообще всех вокруг! — И сказал: — Он немилосерден ко всем, почему надо быть к нему милосердным?» — «Надо». На этом я успокоился. Действительно.

Еще мне хотелось сказать, что вот эта формула «Я листовочник!» — это, по-моему, достаточно унижительно для литературы, потому что Аркадий должен бы гордиться той могучей формой, мастером которой он мог бы быть. Эта *важность слова*, отточенность его, была для него, конечно, того же характера, как правильно здесь сказала Наташа, которая заставляла Шкловского видеть в нем себя раннего. И это верно. Это верно, и у меня на эту тему был впоследствии не один, а несколько разговоров со Шкловским.

Мы начинаем в своем праведном ригоризме относиться без всякого великодушия к людям, которые прошли трагические судьбы. Это не годится, Вы знаете, когда сегодня очень часто звучит слово «боец», «боец», «боец», относящееся к Аркадию Белинкову, мне хочется это слово зачеркнуть. Надо быть уставшим от этого ощущения себя как бойца. И мне

кажется, что сила Аркадия заключалась не в том, что он был боец, а в том, что он был совершенно беспощадный *анализатор*. Он на самом деле так высочайше ценил в литературе *литературу!* То есть ту силу, которая содержится в слове произнесенном и написанном. Я вспоминаю одну фразу у него: «Я оставляю эту метафору, потому что она слишком легко поддается продолжению». Вы понимаете, какая строгость по отношению к этому ощущению литературы и стиля!

Когда его принимали в Союз писателей, я попросил, чтобы мне дали его рецензировать — я был членом приемной комиссии. Я написал в своем отзыве о его «Тынянове», что он конгениален Тынянову. Позже это было напечатано в «Московском литераторе», но слово «конгениален» было вычеркнуто, естественно. Потом вышло второе издание. Хочу кончить тем, что прочитаю, что он написал, — я выписал с титульной странички.

*«Милым и дорогим... — дальше идет моя жена, и я — с заверением, что в рукописи это сочинение обладало многими преимуществами в сравнении с тем, которое прошло через руки:*

1. *Заведующей редакции критики и литературы Конюховой.*
2. *Заместителя главного редактора В.М. Карповой.*
3. *Заместителя главного редактора Б.И. Соловьева.*
4. *Заведующего производственным отделом Г.В. Лукина.*
5. *Уборщицы Н.К. Прутиковой.*
6. *А-13113.*

*К сему, Ваш Аркадий Белинков. 9 марта 66 г.»*

А-13113 — это номер Главлита. Это я к тому, что Наташа сказала, что Лева Шубин сумел избежать Главлита, он не сумел. И Аркадий считал, что во втором издании Главлит тоже сделал свои нехорошие дела.

Ну, вот, ровно 30 лет, черт возьми, прошло, а мы еще живы!

Давайте дальше существовать тоже.

Г а л и н а Б е л а я: Я постараюсь не входить в полемику, которая тут возникает, и, наверное, не может тут не возникнуть, и [начну] с конца, с Наташиной мысли о том, что шестидесятые годы очень разнохарактерные.

И «Оттепель», скажу вам, закончилась для Аркадия Белинкова не в Манеже<sup>1</sup>. «Оттепель» — и я это помню по разговорам с ним — закончилась для него, когда наши войска вошли в Венгрию в 56-м году. Это был конец. И никаких розовых иллюзий, что все продолжается, у него не было. И это первое, о чем я бы хотела сказать.

Аркадий появился на фоне людей, вернувшихся из лагеря, когда мы ждали от них информации о том мире, который был для нас закрыт, пото-

---

<sup>1</sup> В 1963 году в здании Манежа Хрущев у картин Фалька на выставке, посвященной тридцатилетию работы МОСХА, устроил скандал. Этот год некоторые считают годом разгрома творческой интеллигенции. — Н.Б.

му что родители скрывали, в институте не говорили, и мы мало, к сожалению, к стыду нашему, знали. Первым человеком, которого мы услышали в Институте мировой литературы, был Иван Михайлович Гронский. И мы совершенно не могли понять ни его партийного пафоса, ни его марксизма, ни его замороженности в том времени, когда его посадили. Все это нам ничего не давало, никакой информации о том времени не было.

И первым человеком, который заговорил о том, что произошло, и который радикально повлиял на тех, кто мог меняться и слушать, был, конечно, Аркадий Белинков. Причем дело было даже не в том, что он говорил, а в том, что он говорил всегда вещи очень резкие и *договаривал все до конца*, и он не случайно отстаивал, что он был довоенный человек. Это был человек такой ментальности, которая совершенно с нашим литературным окружением не совпадала, не пересекалась, и в этом смысле я с оценкой романа «Черновик чувств» (*обращается к Сарнову*) не согласна. Я считаю, что это не опыт юношеский, а это книга, которую будут читать, потому что на наших глазах — произведение сороковых годов, где проблемы соцреализма даны как личное дистанциальное переживание, как опыт человека, который не может с этим жить. Это не политический текст. И неприятие действительности, неприятие эпохи идет по линии стилевых и эстетических разногласий. И книга читается, на мой взгляд, замечательно. Аркадий утверждал другой тип человека, человека чести, человека достоинства, и утверждал не декларациями, а реальным поведением и поступками, свидетелями которых мы были. Я хорошо помню историю с процессом Синявского и Даниэля, письмо профессуры МГУ, и я хорошо помню, как Аркадий страдал, что он никогда не подаст руки Бонди. Для него это было непереносимо, невозможно. И это не политический жест, а сущностно-дистанциально-сердечный жест. И в этом был урок, которому нельзя тогда было не удивиться и которому нельзя было у него не учиться.

Я помню второй урок, который для нашего поколения был чрезвычайно важен. Он писал смелее, чем кто бы то ни было, и это публиковалось. И когда мы спрашивали, как ему это удастся, он говорил: «Ну, Галя, надо просто быть умнее уровня цензоров, писать на другом уровне». И это проходило. Потому что эти люди не могли даже понять, что это такое, о чем он говорил и писал.

Сейчас гадают: кого будут читать, кого не будут читать? Тут ко мне подошел на исполкоме Фонда Сороса Даниил Александрович Гранин и спрашивает: «Как Вы?» Я говорю: «Хорошо». Он говорит: «Вы не думаете, конечно, что кончается русская интеллигенция?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Вы не думаете, конечно, что кончается русская литература?» Я говорю: «Да у нас на факультете конкурс девять с половиной человек на одно место. У нас студенты подготовлены как никогда. Надо учиться [чтобы] с ними говорить, потому что они все знают. Они все читали. Они но-

вые люди». Он: «А мне кажется, что наша литература кончилась». Я пришла в университет и разговариваю со своими студентами, со своими молодыми преподавателями, и они мне говорят: «Да, его литература кончилась. Это время прошло». И я ставлю параллельный эксперимент. Когда в прошлом году я кончила читать новому четвертому курсу «Историю литературы», я у них спросила [кого они знают?] Мандельштама — знают. Пастернака, Цветаеву — читали. Ахматова вполне освоена. Я спросила: «Кто для вас — из тех, кого я давала читать, — был по-настоящему новым и интересным?» Они сказали: «Аркадий Белинков». И я считаю, это историческое признание. Это новые люди, другие.

И последнее. Я бы не хотела, чтобы мы сегодня ограничились фразой «Рукописи не горят». Эту красивую ложь мы знаем. Рукописи горят, погибают, если их не спасают люди. И я хочу сказать спасибо Алику Гинзбургу, который здесь присутствует, и особенно Григорию Самойловичу Файману, который приложил много усилий для того, чтобы рукопись «Черновика чувств» вытащить из архивов КГБ, опубликовать сначала в «Русской мысли», потом в «Независимой газете» и помочь Наталье Александровне получить эти тексты. Я считаю, что это для нас всех урок, как надо жить и действовать. Не просто любить и вспоминать, но делать что-то для того, чтобы это наследство можно было собрать. И надо собрать все письма, которые у всех нас есть, надо собрать тексты и надо добиться, чтобы вышел «Юрий Олеша», и надо перепечатать «Тынянова», и надо издать собрание сочинений Белинкова, потому что читать его будут. И новый читатель его и принимает, и понимает, и чувствует сердцем.

**Б е н е д и к т С а р н о в:** Я думаю, что сейчас, после того, что сказала Галя Белая, и с тем, что рукописи не должны гореть, уместно предоставить слово человеку, издавшему вот эту книжечку, Александру Севастьянову.

**А л е к с а н д р С е в а с т ь я н о в.** Я буду очень краток. Я по возрасту не знал Аркадия Викторовича Белинкова. Наверное, мне сегодня выступать не следовало. Но сегодня праздник у меня как у издателя, и праздник у меня как у человека, потому что я могу сегодня сказать пушкинскими словами: «Исполнен долг, завещанный от Бога». Я многим обязан Аркадию Викторовичу, которого никогда не знал. Я учился на третьем курсе филологического факультета, когда мне принесли по знакомству на ночь книжечку журнала «Байкал», где был напечатан фрагмент «Поэт и Толстяк» — фрагмент из книги об Олеше. Я очень удивился. С каких это пор литературоведение на правах диссидентской подпольной литературы передается из рук в руки на ночь? Что такое? Почему? Как начинающий филолог, я не был готов к такой судьбе литературоведения. И вдруг, начав читать, я понял, что передо мной что-то совершенно необычное, что-то совершенно непохожее на очередное литературоведение. Передо мной оказался захватывающий интеллектуальный детектив: книга в книге, где

наряду с обычным смыслом прочитанного — смысл страшный. Книга обжигала руки. Это была, действительно, антисоветская литература высшей пробы. Конечно, я книгу, журнал этот не отдал на следующий день. Я собрал своих друзей и знакомых, и мы сутки напролет читали ее вслух. Потом был «Тынянов». Мы прочитали и первое издание, и второе. Мы сравнивали и спорили, мы говорили об этой книге. И навсегда сочинения Белинкова оказались для нас высшей литературоведческой школой. Это была школа научной мысли, это была школа моральной мысли, нравственной. Это была школа политической мысли. И до сих пор для меня так два автопортрета и остались. В политической публицистике — Солженицын. В научной публицистике — Белинков. Вот поэтому я издал эту книжечку, хотя профиль моего издательства — другой. Я издаю эксклюзивные книги-альбомы с гравюрами, с монографиями, тиражом 100 экземпляров для библиотек, музеев, коллекционеров. Это совсем не мой профиль, но когда я узнал, что есть такая возможность, я понял, что мне судьба посылает редкий случай отблагодарить добром за сделанное добро. Поэтому я выпустил эту книжку.

И второе, что я хотел бы сказать очень коротко. Тираж книги очень маленький, ограниченный тысячей экземпляров. Собственником тиража является Наталья Александровна Белинкова-Яблокова. К сожалению, как стало мне недавно известно, экземпляры стали появляться в продаже помимо того тиража, который был выпущен. Вот говорят, что в киоске «Нового мира» продавалась она, возможно, еще где-то. Дело в том, что так это сложилось еще при советской власти. Типографии делают «черный», дополнительный небольшой тиражик и с этого живут. И эта традиция перешла и в наше постсоветское время. Я призываю всех присутствующих, если увидите где-то в сомнительном киоске издание, посмотрите накладную. Если там нет подписи Натальи Александровны, смело забирайте книгу. Не платите за нее ни копейки. Она ворованная. Деньги потом отдайте хозяйке. Спасибо за внимание.

Станислав Лесневский: Мне довелось познакомиться с Аркадием Белинковым, будучи еще совсем молодым человеком в 56-м году в Литературном институте. Вот пришел туда человек, двенадцать с половиной лет отсидевший в лагере, — конечно, он об этом не говорил каждую минуту, — и мы этого совершенно не чувствовали. Один раз только он рассказал о пережитом, обмолвившись, что знает наизусть *много стихов* Пушкина и что его постоянно окружали заключенные, которые тоже знали хоть какой-нибудь отрывок из «Евгения Онегина». И они друг другу «Онегина» читали. Это был редкий случай. А вообще, на эту тему он не говорил. Но прежде всего это был человек феноменальной одаренности, которая в нем пульсировала непрерывно. На любого молодого человека, каких угодно убеждений, это производило неизгладимое впечатление.



Был еще [в Литинституте] Павел Иванович Новицкий, «осколок», непонятно как доживший до нашего времени, очень старомодный, очень образованный — удивительный человек. И вот были два таких собеседника, которые жили искусством, поэзией. В старинном смысле слова «поэт» — это и есть «художник», «писатель». Белинков, по-моему, знал все стихи, которые только есть на русском языке. В этом смысле все для него в литературе было поэзией. И, вы знаете, он не производил впечатления диссидента. Я преклоняюсь перед всеми нашими диссидентами — и теми, кто отдал свою жизнь, и кто рисковал. Но вот это слово *диссидент* терминологически к нему не подходит. Потому что он не был политическим деятелем — это не достоинство и не недостаток — он просто был *таким* человеком. Он не ставил перед собой никаких отдельных от своей духовной жизни целей. И поэтому демонстративно он никому себя не противопоставлял. Он просто делал [свое дело]. И хотел, чтобы все было *так* напечатано, как он написал. Это было так *удивительно*. Это было такое *непонятное для нас желание* в то время, когда это было практически невозможно.

Для него было неприемлемо, чтобы менялся ритм его абзаца, ритм его страницы. И такое поведение было совершенно неслыханно. И, конечно, это отнимало у него массу сил и массу здоровья. Мы все — друзья, мы все были знакомы. На наших глазах шли эти издания «Тынянова». Даже то, что мы слышали об этом, даже от рассказов его мы страдали, потому что такого человека нельзя подвергать такой обработке. Никого, конечно, нельзя, но он был совершенно не создан для этого: мы до сих пор, по-моему, не имеем такого «Тынянова», как его написал Белинков.

Вообще, какая это судьба! Как по нему прошлась одна полоса, другая полоса, якобы благоприятная! Это своего рода Грибоедов в нашей жизни. Мы имеем такого блестящего человека! Этот зал об этом свидетельствует. Тут собралась в лучшем смысле этого слова творческая элита. Вы все знаете, кто такой Белинков. Но ведь кроме вас-то этого никто не знает! Это же ужасно! Мы с Наташей учились на одном курсе и даже в одной группе. И вот я сегодня многих о нем спрашивал, звал наших товарищей, однокурсников. Наташу они знают, а имени Белинкова не помнят, а они литераторы, они филологи.

Каким потрясением были для нас эти книжечки «Байкала»! Это переворот. Хотя мы и до сих пор считаем, что Олеша был хороший человек, что его нужно ценить, а не «уничтожать», но все-таки подлинный-то критерий задал Белинков. Это ошарашивало. Ведь как мы раньше говорили: «Вот, он же написал *такое* стихотворение, в котором герой хочет землю крестьянам в Гренаде отдать! Какое замечательное стихотворение!» И он этим жил. И разве это плохо? Но что в это время здесь делали с крестьянами? Да и теперь мы слышим иногда, что стихотворение «Коммунисты, вперед»

тем, оказывается, хорошо, что написано таким же ритмом, как «Мне на шею бросается век-волкодав». А ведь и это стихотворение, и судьба Мандельштама чем-то отличаются и от этого стихотворения, и от судьбы этого автора. Я ничего плохого не хочу сказать, никого не хочу шпынять. Боже избави! Это все нам близкие люди и наша общая трагедия. Но вот Белинков предъявил такой простой критерий: тот, кто сдал позиции интеллигента, тот и сдал. И отступить от него мы уже не можем, если бы хотели. Это непоколебимо. И Белинков нас этому научил.

Но, понимаете, это не была только политическая, общественная заслуга. Белинков был артист в полном смысле этого слова, в высшем смысле моцартианского пульсирующего начала. Я думаю, что жизнь его будет очень долгая. Он чувствовал нерв русской культуры. Вы знаете, среди смогистов был некто Леня Губанов<sup>1</sup>. У него была такая курьезная фраза: «Россию понимают лишь евреи». (*Голос Сарнова. Ну, это преувеличение, конечно.*) Конечно. Есть и такие, как Александр Львович Дымшиц<sup>2</sup>. И вообще, тут евреи ни при чем. (*В зале дружелюбный смех.*) Но Белинков, как никто, понимал и судил русскую трагедию и чувствовал музыку русской культуры. Он был рожден с этим, и, конечно, этого удивительного человека не только будут читать, но и будут ему радоваться.

Платон Набоков: Теперь уже трудно узнать сидящих здесь моих сокурсников по Литературному институту. Я пришел в институт из госпиталя в конце 42-го года. Вскоре мы познакомились с Аркадием. Тут уже говорили об обстановке того времени, и я не буду повторяться. Вспомню только, как нас по красной дорожке вызывали по очереди к Федосееву, директору института. А у Федосеева сидел некий человек в синей косоворотке и говорил: «Вы, вот, фронтовик. Вы та-та-та-та. Вы та-та. И Вы должны нам говорить, какие мысли у студ...» — «Я контужен, у меня вот голова пробита! Я в истерику могу! Я не помню, что я вчера говорил!» — «Ах, идите, идите...» Я уже был битый: отца расстреляли в 34-м, отца в 37-м. Все мои тетки, сестры моей матери, пострадали, их мужья пострадали, попал в Литературный институт, горегорьковский литинститут, я понимал, как себя надо вести.

Сегодня вспоминали многое.

Не вспомнили, пожалуй, главное. То, что Аркадий создал вокруг себя группу наиболее талантливой, одаренной молодежи.

Я не могу о них не вспомнить поименно:

<sup>1</sup> Леонид Губанов (1946—1991) — поэт, председатель неформальной литературной группы СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев, сер. 1960-х гг.). — *Примеч. ред.*

<sup>2</sup> А.Л. Дымшиц — официозный литературовед; ему, в частности, принадлежит предисловие к первому посмертному советскому сборнику стихотворений Осипа Мандельштама. — *Примеч. ред.*

Надя Рашеева-Романовская. Она прекрасно знала поэзию Блока, написала о нем исследование. Больной человек, — она была арестована, выжила в лагерях и умерла вскоре после возвращения.

Георгий Ингал. Он написал прекрасную повесть-роман, очень сложную — они сродни в этом смысле с Аркадием — о Дебюсси. Начал писать роман о Чайковском. И Георгий, и Аркадий интересовались мной: все-таки я воевал, был пулеметчиком, многое видел. Помню один из наших последних разговоров с Георгием о будущем, которое нас ожидает после войны. От его жены я узнал, что он был убит в лагере. Когда я сам попал в лагерь, мне подтвердил это один заключенный. Георгий пытался *восстановить* роман о Дебюсси и прятал свои бумаги, что было совершенно недопустимо. Ты должен был показать заключенным, своим соседям, что ты пишешь, что ты делаешь. Это надо было делать открыто. Его приняли за стукача, а может быть, это была определенная провокация со стороны внутренних органов — кагэбэшных, лагерных. И заключенные его убили.

Продолжаю перечислять.

Боря Штейн. Прекрасный человек. Умница. Почему его сегодня нет здесь? *(Отвечая на голос из зала.)* Хотел прийти? *(Внезапно.)* Ой! Боря, покажись, дорогой.

Приходил Шенгели — переводчик.

Генрих Эльштейн — очень интересный литературовед.

Миша Левин — о нем тут говорили.

Володя Саппак.

Мур (Георгий Сергеевич, сын Цветаевой).

Захаживали Борис Привалов и Валя Жегин.

Боря Гамеров.

Многие из названных были посажены. Меня арестовали последним.

Я освободился через четыре с лишним года, хотя мне дали десять. Мать хлопотала, был пересмотр дела, мне снизили срок, подвели под амнистию, и я был реабилитирован в конце 91-го года. Когда я пошел за реабилитацией, мне показали фразу, написанную моей рукой: «Да, мы, конечно, войдем в Берлин по трупам сумасшедших немцев, но неужели останется советская власть, неужели останется советское правительство?» Георгий знал об этих словах, знал и не сказал ни слова на следствии. Правда, запомните, друзья мои, на следствии могут выбить все. Вы это знаете, по этому поводу есть даже анекдоты. Поэтому я лично ни в одного человека не брошу камень.

О себе могу сказать: «Я за собой никого не потащил».

Не одни мы с Георгием думали так, как это подтверждает моя записка. Многие из нас так думали и так писали. А Аркадий был самым начитанным, самым элитарным в своих знаниях, и он всем нам был необходим.

И мы ему были также необходимы как свидетели многих частей мозаики жизни.

Я могу только добавить, что мы тайно читали Олешу, тайно читали Тынянова. Тайно! Собирались и читали. Дом 29, квартира 1. Был определенный набор цифр. Войдешь в этот маленький затхлый как бы предбанник, налево дверь, определенное количество звонков. Тайно собирались! Горела свеча. На столе лежала шпага...

Почему Аркадий потом «пошел», как говорится, на Олешу? Да совершенно все понятно. Аркадий оказался более чистым человеком, может быть, за счет молодости, может быть, за счет лагеря. Он не пошел на поводу у своих учителей: ни у Олеси, ни у Тынянова, ни у Шкловского, который *единственный* везде писал, что Аркадия надо спасти. Ну, там Толстой написал или не написал письмо [в защиту Белинкова], неизвестно.

И последнее. Я вспоминал об Аркадии в книжке «Озерлаг», которая вышла во Франции, и в сборнике «Озерлаг. Как это было», который вышел в Иркутске, и в моей последней книжке «Других не будет берегов». Я вспоминаю об Аркадии светло и честно. Да будет ему вечная память.

Екатерина Мурина: Мое знакомство с Аркадием Белинковым длилось недолго — всего один 1943 год. Аркадий, по воспоминаниям его вдовы, не зря гордился тем, что он «сидел за дело». А тут на презентации это бунтарское начало его биографии осталось без внимания. Получилось, что Белинков, как и рассуждающие о нем ораторы, пробудился после идеологического морока в хрущевскую «Оттепель», о чем-де свидетельствовали его выдающаяся книга «Юрий Тынянов» и последующие публикации. Но никаким шестидесятником он не был. В отличие от его почитателей Аркадию свободомыслие было присуще с ранней юности — чуть ли не с детства. Надо все же сказать, что его биография свободомыслящего писателя и человека началась задолго до приснопамятной «Оттепели»<sup>1</sup>.

Бенедикт Сарнов: В заключение я хочу поделиться крошечным микроменуаром, — начал Бен и продолжил рассказом о своем разговоре с Маршаком. (Разговор этот подробно описан им в сборнике «Возвращение» и приведен в восьмой главе этой книги.)

Наталья Белинкова - Яблокова: Мне остается поблагодарить всех, кто пришел, кто вспомнил, кто выступил, и надеюсь, что лет через 25 мы опять соберемся и добавим что-нибудь еще.

Кто-то другой написал бы другую книгу о Белинкове, его характере и привычках, упомянул бы о других людях и эпизодах из его жизни. Понял и

---

<sup>1</sup> См.: Мурина Е. Белинков в 1943 году // Вопросы литературы. 2005. № 6. Цитируется по электронной версии журнала, помещенной на сайте [www.russ.ru](http://www.russ.ru). В отличие от выступавших на презентации Е.М. выступила в печати.

осветил бы их иначе. И сделал бы это более умело. Более объективно. Или более эмоционально. Я не ответила на все вопросы, которые возникли или могут возникнуть у читателей, хорошо знавших Аркадия, или у тех, кто только слышал о Белинкове, или у тех, кто не знал о нем ничего. Последних — большинство. Может быть, я рассказала что-то лишнее... Может быть, что-то упустила... Да и надо ли все рассказывать? Некоторые вещи могут быть поведаны только самим человеком, скорее всего при соответствующих обстоятельствах. «Наташа, забудьте о своих чувствах, — говорила мне, — Ваше дело — рассказать об Аркадии». Я старалась.

Белинков переиздается. Критики гадают: будет он принят новыми поколениями или не будет? Наиболее благожелательные говорят о возвращении. Вернуться в новое время, если свое прошло? Если он не успел завершить что наметил? Все равно что опоздать на поезд. Читатели уехали с ночным, последним. Мои попытки собрать литературное наследие Аркадия Белинкова, наметить вехи его *издательского пути* обращены к нашей окаянной советской истории, вспоминая или читая о которой мне иногда хочется воскликнуть: «Что вы говорите? Не может быть!»

Хотелось бы, чтобы читатель, которому не верится в то, чего он не пережил сам, не отбросил чужой опыт, а задумался бы и извлек урок из нашей судьбы.

Трилогия о характерных творческих типах, задуманная Белинковым, не была им осуществлена. Но ведь вот что говорит один наш современник: «Программа жизни Аркадия Белинкова включала создание литературоведческой трилогии: о попытке выстоять, о попытке сдаться и о попытке оказать сопротивление. Первая часть вышла в Москве (дважды). Вторая была издана посмертно... Третья, полагают, вообще как будто не состоялась. Третьей следует считать не столько наброски и фрагменты, сохранившиеся в его архиве, сколько собственную биографию Аркадия Белинкова, его жизнь и литературу, его резистансную судьбу»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Петровский М. Шум и ярость Аркадия Белинкова // Егупец. 1999. № 5. С. 228.

## БИБЛИОГРАФИЯ

### *А. Белинков. Опубликованные работы*

Юрий Тынянов. М.: Советский писатель, 1960.

Краткая литературная энциклопедия. М., 1962. Т. 1; 1964. Т. 2. Статьи: Андроников И.Л., Аничков Е.В., Айхенвальд Ю.И., Батюшков Ф.Д., Бестужев А.А., Бестужев Н.А., Блок А.А., Богданович А.И., Бонди С.М., Венгеров С.А., Гершензон М.О., Гиппиус В.В., Горнфельд А.Г., Гроссман Л.П.

Юрий Тынянов. 2-е изд. М.: Советский писатель, 1965.

Юрий Тынянов. История русской советской литературы. М.: Наука, 1967. Т. II.

Поэт и Толстяк // Байкал. 1968. № 1, 2.

Без меня... (Открытое письмо в СП СССР) // Новое русское слово. 1968. 20 июля; Русская мысль. 1968. 5 сент; Посев. 1968. Август; Kultura. 1968. № 8, 9; Die Orientierung. 1970. № 255.

Печальная и трогательная поэма о взаимоотношениях Скорпиона и Жабы, или Роман о государстве и обществе, несущихся к коммунизму // Новый журнал. 1968. № 92; Звезда. 1995. № 2.

Александр Солженицын и большие ракового корпуса // Новый журнал. 1968. № 93.

Молекулярный уровень исследований Солженицына // Новый журнал. 1968. № 93.

The remarkable merit of Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn's works / Introduction by D. von Mohrenschildt // Russian Review. 1969. Vol. 28. № 4. Oct.

Прага, весна, зима... // Новое русское слово. 1969. 10 авг.; Kultura. 1969. № 3; Грани. 2002. № 3.

Был хороший писатель // Новое русское слово. 1969.

Слово о Костерине // Новое русское слово. 1969. 30 мая.

Западная интеллигенция, советская оппозиция и свобода, которой угрожает смерть // Новое русское слово. 1969. 16, 17, 18 сент.; Зарубежье. 1969. № 4; Посев. 1970. Июнь; Время мы. 2000. № 148.

Что делал Ю. Олеша в газете «Гудок»? // Новый журнал. 1970. № 100.

Собирайте металлолом! // Грани. 1976. № 100.

Проглоченная флейта // Время и мы. 1976. № 6.

Собирайте металлолом! // Время и мы. 1976. № 7.

Soviet Intelligentsia and Socialist Revolution. On Yury Olesha's «Envy». Part 1 // The Russian Review. 1970. Vol. 30. № 4.

Soviet Intelligentsia and Socialist Revolution. On Yury Olesha's «Envy». Part 2 // The Russian Review. 1972. Vol. 31. № 1.

Страна рабов, страна господ... // Новый колокол. Лондон; Нью-Йорк, 1972; // Время и мы. 1987. № 95; // Новый колокол. Репринт. М.: Весть. 1994.

Побег // Новый колокол. Лондон; Нью-Йорк, 1972; Стрелец. 1994. № 1 (73).

Победа Анны Ахматовой, Сталин у Солженицына (и др. заметки из писательского архива) // Новый колокол. Лондон; Нью-Йорк, 1972; Стрелец. 1994. № 1 (73).

What is the Soviet Censorship? Evading the Censor // The Soviet Censorship. Metuchen, New Jersey, USA: The Scarecrow Press, 1973.

Смерть поэта // Русская мысль. 1976. № 3099. 15 апр.

Юрий Олеша. (Сдача и гибель советского интеллигента). Мадрид, 1976.

Мы получим другую литературу // Время и мы. 1980. № 54.

Анна Ахматова и история // Грани. 1985. № 136.

Первая книга о толстяках. (Сокращенный фрагмент «Поэта и Толстяка», опубликованного в «Байкале») // Детская литература. 1990. № 7, 8.

Цветок, садовник, узник и каменщик // Волга. 1990. № 7.

Почему был напечатан «Один день Ивана Денисовича» // Звезда. 1991. № 9.

Фашизм с человеческим лицом. [Редакционное название] // Новый журнал. 1993. №1.

Письмо из лагерной больницы о стиховедении // Вопросы литературы. 1994. Вып. 1.

Яйцевыворождающая проехидна / Публ. Ольги Кучкиной // Новое время. 1995. № 4.

Открытое письмо конгрессу ПЕН-клуба (копия «самиздата») // Студия. 1996. № 2.

Белингов А., Владимиров Л. (Финкельштейн Л.). Как произошло уничтожение великого искусства // Студия. 1996. № 2.

Черновик чувств // Звезда. 1996. № 8.

Черновик чувств. М.: Изд. дом А. Севастьянова, 1996.

Иллюзии и разочарования Екклесиаста / Публ. и предисл. И. Уваровой // Новое литературное обозрение. 1996. № 18.

Человечье мясо // Время и мы. 1996. № 132.

Россия и черт // Время и мы. 1997. № 138.

Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. 2-е изд.

М.: Культура, 1997.

Страна рабов, страна господ... // Грани. 1999. № 190.

Россия и Черт. (Протоколы допросов. Проза: «Черновик чувств», «Человечье мясо», «Россия и черт», «Побег»; пьеса «Роль труда в процессе превращения человека в обезьяну»). СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2000.

Прага, весна, зима... // Грани. 2002. № 201.

О стиховедении // Зеркало. 2003. № 2.

*Избранные статьи и упоминания об А. Белинкове*

В журналах и газетах на русском языке

*Абросимова В.* Ахматовский мотив в письмах А.В. Белинкова к Ю.Г. Оксману // Знамя. 1998. № 10.

*Аллилуева С. и Гуль О. и Р.* Переписка // Новый журнал. 1986. № 164.

*Андреев Ю.* Своевольные построения и научная объективность // Литературная газета. 1968. 15 мая.

*Бараев Вл.* Московские встречи // Восточно-сибирская правда. 1968. 25 янв.

*Белая Г.* Затонувшая Атлантида // Московский комсомолец. 1990. 2 сент.

*Белинкова Н.* Кое-что о Коряковых, Рафальских и иже с ними // Новое русское слово. 1970. 7 нояб.

*Белинкова Н.* По поводу статьи С.О. // Русская Мысль. 1975. 29 мая. № 3053.

*Белинкова-Яблокова Н.* История книги // *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша / Подготовила к печати Н. Белинкова. Мадрид. 1976.

*Белинкова-Яблокова Н.* Аркадий Белинков, его черновики и книги // Звезда. 1996. №8.

*Белинкова-Яблокова Н.* Слово об Аркадии Белинкове // *Белинков А.* Черновик чувств. М. 1996.

*Белинкова-Яблокова Н.* Правда вымысла прокладывает дорогу правде факта // *Белинков А.* Россия и Черт. СПб. 2000.

*Белинкова-Яблокова Н.А.* История с библиографией (Оценка творчества литературоведа А.В. Белинкова в печати) // Библиография. Российская книжная палата. 2007. № 2 (349).

*Богатырчук Ф.* О новых эмигрантах и приемах полемики // Новое русское слово. 1970. 8 дек.

*Брейтбрат Е.* Взглянуть себе в лицо // Континент. 1984. № 40.

*Вегин П.* Если бы не... Опальный писатель как трагедия русской литературы // Панорама. 2001. 25 мая.

*Мунблит В.* Еще заметен след... // Вести. 1997. 15 окт.

*Владимиров Л.* Жизнь номер два // Время и мы. 1999. № 145.

*Г.Ф. Еретик* // Независимая газета. 1996. 27 сент.

*Герт Ю.* Сопротивление // Новое русское слово. 2001. 14—15 апр.

*Глазов Ю.* Адаптация // Новый мир. 1998. № 3.

*Гольдштейн А.* Игра в аду: Белинков и соц-арт // Окна. 1994. 28 апр.

*Гольдштейн А.* Иносказания Белинкова // Знак времени. 1991. № 9.

*Горбаневская Н.* Блеск и нищета советского интеллигента // Континент. 1977. № 11.

*Горчаков Г.* Следствие // Новый журнал. 1989. № 174.

*Горчаков Г.* Век волкодав и Аркадий Белинков // Русская мысль. 1992. № 3953—3956.



Гуль Р. Об инструкции и русофобии. [Так в тексте: «инструкции» вместо «инструкции»] // Согласие. 1990. № 2.

Данин Д. О новых членах СП СССР // Московский литератор. 1961. 14 сент.

Дедков И. Цена свободных слов // Зеркало. 1991. 16 апр.

Донатов Л. Дело Белинкова // Посев. 1968. № 11.

Донатов Л. Принадлежит России // Посев. 1970. № 6.

Донатов Л. Сдача и гибель // Посев. 1977. № 1.

Жуков Вл. Васисуалий Белинков избирает «Воронью свободу» // Литературная газета. 1968. 14 авг.

Завалишин Вяч. Встреча с «Новым колоколом» // Новое русское слово. 1970—1971. Точных данных не сохранилось.

И.Д. О советской творческой интеллигенции // Новое время. 1997. № 8..

Иванов Вяч. Вс. [О важнейших событиях года] Интервью // Новое русское слово. 1996. 31 дек.

Иванова Н. Смена языка // Знамя. 1989. № 11.

Йованович М. Еще об Аркадии Белинкове // Русская мысль. 1996. 18—24 янв.

Каверин В. Я поднимаю руку и сдаюсь // Весть. М.: Книжная палата, 1989.

Кардин В. Един в двух лицах // Знамя. 2001. № 10.

Кардин В. До самых до окраин. Явная и тайная жизнь Аркадия Белинкова // Еврейское слово. 2003. № 16. 16—29 апр.

Козлова О. Деспотизм омерзителен всякий // Новый журнал. 1993. № 1.

Коряков М. Неряшливость // Новое русское слово. 1970. 27 авг.

Лацис А. О лишнем человеке сороковых годов, о мнимой и подлинной смелости, об Аркадии Белинкове и «Черновике чувств» // Культура и свобода. 1993. № 3—4.

Левенштейн В. Метростроевские диверсанты // Время и мы. 2001. № 151.

Левицкий Л. Современная книга об историческом романе // Новый мир. 1961. № 7.

Лемпорт В. Эллипсы судьбы // Время и мы. 1991. № 113.

Лесин Е. «Черновики чувств» не горят // Книжное обозрение. 1996. 12 нояб.

Литературная газета. Еще раз о критическом своеволии. Редакционная статья. 1968. 5 июня.

Литинский Г. Энциклопедия о Тынянове // Театр. 1967. № 2.

Прекрасный цвет лица // Ляпунов В. Аркадий Викторович Белинков // Новый журнал. 1970. № 99.

Михайлов М. Классика и позиция литературного исследования // Огонек. 1968. № 31.

Мурина Е. Аркадий Белинков в 43-м году // Вопросы литературы. 2005. № 6.

Недошивин Вяч. О возвращении забытых имен // Советская культура. 1988. 7 апр.

Неизвестный автор. Четырнадцатого мая в США... // Хроника текущих событий. 1970. Вып. 14. 20 июня.

- Новое русское слово. Аркадий Белинков. Редакционная статья. 1997. № 17—18. Май.
- Новое русское слово. Писатель Белинков перешел на положение невозвращенца. Редакционная статья. 1968. 14 июля.
- Оренов В.* Четыре оливы на аллее критиков // Театральная жизнь. 1991. № 17.
- Панченко И. А. В.* Белинков — учитель, наставник // Новый журнал. 2007. № 248. Сент.
- Петровский М.* Шум и ярость Аркадия Белинкова // Егупец. 1999. № 5.
- Премия имени Аркадия Белинкова. Присуждается издательством «Третья волна» критиком Михаилу Золотоносову и Наталье Ивановой за публикации в альманахе «Стрелец» за 1993 год // Стрелец. 1994. № 1.
- Рассадин Ст.* Продолжение спора // Вопросы литературы. 1996. № 10.
- Рафальский С.* Путь к освобождению // Новое русское слово. 1969. 26 сент.
- Редлих Р.* Ум и сердце // Русская мысль. 1968. 5 сент.
- Ржевский Л.* Критика поэтическая и непримиримая // Новое русское слово. 1976. 13 нояб.
- Ржевский Л.* Тайнописное в русской послеоктябрьской литературе // Новый журнал. 1970. Кн. 98.
- Сарнов Б.* [Значительные события в культуре в первой половине сентября]. Интервью // Новая газета. 1996. № 38. 14—20 окт.
- Сарнов Б.* Случай Эренбурга // Лехаим. 2003. № 1.
- Свирский Г.* Судьба Аркадия Белинкова. Гениальность. Тюрьма // Панорама. 1997. 2—8 апр.
- Симкин Я.* Русские писатели последней четверти XX века в Америке // Второе дыхание. Бостон, 2002.
- Синявский А.* Вопросы и уточнения к статье советского Образованца // Русская мысль. 1975. № 3048. 24 апр.
- Смелков Ю.* Связь времен // Комсомольская правда. 1966. 12 нояб.
- Смирнов А.* Тираноборчество и клоунада // Новый мир. 1997. № 8.
- Станюкович Н.* «Новый колокол» // Возрождение. 1970. № 239.
- Струве Г.* Памяти Белинкова // Новое русское слово. 1970. 20 мая.
- Терехов Л.* Интервью с Лидией Либединской // Панорама. 1997. 14—20 мая.
- Терц А. (Синявский А.)* Памяти павших. Аркадий Белинков // Континент. 1975. № 2.
- Толстой И.* Аркадий Белинков «Сдача и гибель советского интеллигента» (Предисловие к публикации фрагмента из одноименной книги) // Волга. 1990. № 7.
- Толстой И.* Плененная муза // Новое русское слово. 2001. 3—4 нояб.
- Толстяков А.* Сюжеты из ахматовианы // Библиофил. 2000. № 2 (3).
- Уварова И.* Новая книга // Московский комсомолец. 1966. 24 авг.
- Уварова И.* Лагерная тетрадь Аркадия Белинкова (Предисловие к публикации одноименной статьи) // Новое литературное обозрение. 1996. № 18.

- Ульянов Н. Новый повод для старых рассуждений // Новое русское слово. 1970. 14 янв.
- Файман Г. Горе уму (Предисловие и публикация протоколов А. Белинкова) // Русская мысль. 1995. № 4095—4099.
- Файман Г. Гибель без сдачи. (Продолжение публикации) // Русская мысль. 1996. № 4123—4127.
- Филиппов Б. Аркадий Белинков // Русская мысль. 1970. 4 июня.
- Хейфец М. Урок судьбы Аркадия Белинкова // Вести. 1996. 30 сент.
- Чуковский К. Многие наши критики пишут сейчас молодо // Байкал. 1968. № 1.
- Чуковский К.И. Личность писателя неповторима // Вопросы литературы. 1965. № 8.
- Шабат М. Как это было // Звезда. 1996. № 8.
- Шабат М. Высшей страсти отданы места // Грани. 1999. № 190.
- Шевцов И. Ответ А. Белинкову // Вестник РСХД. 1969. № 94.
- Шенталинский В. Воскресшее слово // Новый мир. 1995. № 3.
- Шкловский В. Талантливо // Литературная газета. 1961. № 43.
- Шкловский В. Четыре письма. (Публикация Галушкина) // Странник. 1991. Вып. 2.
- Шкловский Е. Белинков против Олеси // Знамя. 1997. № 7.
- Штейн Эд. Знает ли Рафальский что-либо о Белинкове? // Новое русское слово. 1969. 11 нояб.

#### Главы и упоминания в книгах на русском языке

- Белинкова Н. Предисловие и комментарии // Аркадий Белинков. Россия и черт. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2000.
- Белинкова-Яблокова Н. Слово об Аркадии Белинкове // Аркадий Белинков. Черновик чувств. М.: Изд. Александра Севастьянова, 1996.
- Борев Ю. Фарисея. М., 1992.
- Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
- Васильева Л. Кремлевские жены. Гл. «Жемчужина в железной оправе». М., 1992.
- Вертман Ю. Записи и примечания. Гл. «Аркадий Белинков». М., 1992.
- Данин Д. Бремя стыда. М.: Московский рабочий, 1996.
- Герт Ю. Раскрепощение. Гл. «Записки врача». Алма-Ата, 1990; Семейный архив. Гл. «Караганда». Owings Mills, 2002.
- Горчаков Г. (Эльштейн Г.) Л-1-105. Иерусалим, 1995.
- Губерман И. Пожилые записки. Иерусалим: Агасфер, 1996.
- Гуль Р. Одвуконь. Гл. «Об инсинуации и русофобии». Нью-Йорк: Мост, 1973.
- Даниэль Ю. Я все сбиваюсь на литературу. Письма из заключения. М., 2000.
- Зорин Л. Авансцена. М.: Слово, 1997.
- Каверин В. Эпилог. М.: Московский рабочий, 1989.
- Казак В. Белинков Аркадий Викторович // Он же. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. Лондон, 1988.
- Китаевич Ю. Почти жизнь. Нью-Йорк, 2003.

- Консон Л. Краткие новеллы. Париж: La Presse Libre, 1983.
- Кторова А. Сладостный дар. Гл. «Двойное дно фамилий потомков Кирибеевичей». Вашингтон, 1990.
- Левицкий Л. Утешение цирюльника. СПб.: Изд-во Сергея Ходова, 2005.
- Мальцев Ю. Вольная русская литература. Гл. «Сатира». Франкфурт: Посев, 1976.
- Набоков П. Озерлаг. Как это было.
- Набоков П. Других не будет берегов.
- Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. Гл. «Предтеча» // Воспоминания о непрошедшем времени. Анн-Арбор: Ардис, 1983.
- Разгон Л. Плен в своем отечестве. М., 1994.
- Рассадин Ст. Самоубийцы. М.: Текст, 2002.
- Российская еврейская энциклопедия. Белинков Аркадий. М., 1994. Т. 1.
- Сарнов Б. С художниками это бывает // Возвращение. М., 1991.
- Сарнов Б. Скуки не было. Первая книга воспоминаний. М.: Аграф, 2004.
- Сарнов Б. Скуки не было. Вторая книга воспоминаний. М.: Аграф, 2006.
- Сарнов Б. Случай Эренбурга. М.: Текст, 2004.
- Сахаров А. О стране и мире. Нью-Йорк: Хроника, 1975.
- Сидур В. Памятник современному состоянию. Гл. «Анкета». М.: Вагриус, 2002.
- Солженицын А. Архипелаг ГУЛаг. Париж: Имка-Пресс, 1974. Т. 3—4.
- Солженицын А. Двести лет вместе. М.: Русский путь, 2001. Т. 1; 2002. Т. 2.
- Терц А. (Синявский А.). Путешествие на Черную речку. Гл. «Памяти павших. Аркадий Белинков». М., 1999.
- Толстой И. Курсив эпохи. Главы: «Сигма, или Судьба Аркадия Белинкова». СПб.: Новый колокол, 1993.
- Файман Г. Уголовная история советской литературы. Гл. «Аркадий Белинков. Антисоветчик. 1944 г.». М.: Аграф, 2003.
- Фигурнова О.С., Фигурнова М.В. Осип и Надежда Мандельштамы. М.: Наталис, 2002.
- Франк В. По сути дела. Гл. «Белинков и мертвые души». Лондон, 1977.
- Цвигун С.К. Тайный фронт. М.: Изд-во политической литературы, 1974.
- Чудакова М. Так яркий ток, оледенев... (Предисловие) // Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М.: РИК Культура, 1997.
- Чудакова М. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001.
- Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. (Запись 5 июня 62 г.). Париж: Имка-Пресс, 1980; СПб.: Нева; Харьков: Фолио, 1996.
- Чуковский К. Дневник (Записи 1962 и 1964 гг.) Т. 2. М.: Современный писатель, 1994.
- Шрагин Б. Противостояние духа. Гл. «Вместо эпилога». Лондон, 1977.
- Шрагин Б. Мысль и действие. Гл. «Письма». М.: РГУ, 2000.
- Штурман Д. Аркадий Белинков и «Новый колокол» // Русские евреи в Великобритании. Редакторы-составители М. Пархомовский, А. Рогачевский. Т. II (VII). Иерусалим, 2000.
- Эйдельман Ю. Дневники Натана Эйдельмана. М.: Материк, 2003.

Рецензии и упоминания на иностранных языках

- Barron J.* KGB N.Y.: Reader Digest Press, 1974.
- Belinkova N., Dunham V.* Belinkov Arkadii Viktorovich // The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literature / Ed. by Harry Weber. 1978.
- Bonamour J.* Belinkov: un des grands homs de la pensée d'opposition // Le Monde. 1969. 1 janvier.
- Constant S.* Kremlin men are scared // The Sunday Telegraph. 1968. 28 July.
- Constant S.* Soviet author hurt in KGB crash dies // The Washington Post. 1970.
- Critchlow J.* Radio Hole-in-the-Head/Radio Liberty. Washington D.C., 1984.
- D. von Monrenscildt. A.V.* Belinkov's Defense of Solzenitsyn's The cancer Ward // The Russian review. 1969. Vol. 28. № 4. Oct.
- Dewhirst M.* Soviet literarily criticism // Studies of Soviet Union. 1969. № 3.
- Dieter S.* Anshlag auf Schriftsteller? // Frankfurter neue Presse. 1970. Jan. 10/11.
- Dunham V.S.* Message from Moskow. Voice of Dissent // Time. 1968. 19 July.
- Dunham V.S.* The new Russian Tragedy // The New York Times Book Review. 1969. Nov. 23.
- Erich V.* Arkadi V. Belinkov // Slavic Review. 1970. 22 Oct.
- Floyd D.* Émigré Russians meet to plan censorship fight // The Daily Telegraph. 1970. Jan 8.
- Floyd D.* Belinkov appeals for understanding for Russian exiles // The Daily Telegraph. 1970. Jan. 10.
- Fosty V.* L'écrivin russe Arcadi Bélinkov... // Le Soir. 1970. 19 June.
- Friedberg M.* «Novy kolokol» // The Russian review. 1973. Vol. 32. № 4. October.
- Friedberg M.* «Sdacha I gibel Sovetskogo intelligenta»: Iurii Olesha / By A. Belinkov / Slavic review. 1977. Vol. 36. Jun.
- Friedman M.* Notable and Quotable // The Wall Street Journal. 1976. Jan. 21.
- G.M.* Arkadij Victorovii Belinkov // Dictionnaire des littératures étrangères. Ecylo-pédie Universitaires. Paris, 1974.
- Gavrilovic K.* Alexander Solzhenitsyn in Exile // The Washington Post. 1974. Feb-ruary 24.
- Gladkov A.* Meetings with Pasternak / Commentary by Max Hayward. N.Y., 1973.
- Heller M., Nekrich A.M.* Utopia in Power. N.Y.: Summit books, 1985.
- Herlinf G.* Protesta a più voci nell URSS. Roma, 1972(?).
- Hingley R.* Russian Writers and Soviet Society. N.Y.: Random House, 1970.
- Kasack W.* Belinkov Arkady Viktorovich // Dictionary of Russian Literature since 1917. New York: Columbia University Press, 1988.
- Kruczek A.* Uwagi czitelnika // Kultura. 1975. № 3.
- Nebolsin A.* In memory of Arkadij Belinkov // Slavic and East European Journal. 1970. Newsweek. 1968. July 15. Announcement. «Soviet writer defects».
- Očadliková M.* Velká pře Arkadije Viktoroviče Bělinkova «Svědectví». 1971.
- Parry A.* Russia's Underground Press // New York Times Magazine. 1970. March 15.
- Pawlikowski M.* Novy kolokol // Wiadomości. 1972.

Russia's Other Writers, introduced by Michael Scammell / Foreword by Max Hayward. Praeger publishers, 1970.

*Reining Ed.* Allusion to A. Belinkov. Tulimuld. 1970.

*Riccio Di C.* Assenti ingiustificati // Il Messagero. 1972. 25 sept.

*Ripellino A.M.* I topi del regime // L'Espresso. 1967. № 25. 18 giugno.

*Ripellino A.M.* Tagliate L'autostrada al nemico // L'Espresso. 1970. Jan. 18.

*Russia's O.W.* Selected by Michael Scammell / Foreword by Max Hayward. N.Y.; Washington: Praeger Publishers, 1970.

*Sakharov* Dialogue with Malyrov // The New York Times. 1973. Aug 29.

*Salajczyk J. A.* Belinkov. Yuriy Tynanov // Slavia Orientalis. 1962. № 3.

*Scammell M.* Solzhenitsyn. NewYork; London, 1984.

*Shragin B.* Defying Doublethink. The New Leader, 1978.

*Solzhenitsyn A.* Critical Esseys and Documentary Materials / Ed. by John B. Dunlop. Belmont; Massachusetts: Nordland Publishing Co, 1972.

*Sosin G.* Sparks of Liberty. Pennsylvania, 1999.

*Struve G.* Arkadij Belinkov // Wiadomości. 1970. 9 Aug.

*Struve G.* Russian Literature under Lenin and Stalin. 1971.

The Nabokov — Wilson Letter. (Foreword by Simon Karlinsky) / Editor Simon Karlinsky. HarperàRow, 1979.

The New York Times. 1968. 15 Aug. «Moscow denounces a recent defector».

The New York Times. 1970. May 16. Special to The N.Y. Times. Arkady Belinkov. Ex-soviet writer.

The Soviet Censorship. Dedicated to the memory of Arkadij Belinkov / Ed. by Martin Dewherst Martin and Farrell Robert. Metuchen, USA: The Scarecrow Press, 1973.

The Washington Post. 1970. May 18. Arkady Belinkov, Soviet Literary Critic.

U.S. Government printing office. Washington. 1968. 4 oct. Document № 106. At the request of Senator Thomas J. Dodd. «Aspects of intellectual ferment and dissent in the Soviet Union».

*van het Reve K.* Courage of the Soviet Left // Observer. 1970. Aug. 2.

*van het Reve K.* In memoriam A. Belinkov // Hollands Maandblad. 1970. May.

*van het Reve K.* Met twee potten pidakaas naar Moskou. Amsterdam, 1971.

*Welles B.* A soviet writer defects to U.S. // The New York Times. 1968. July 13.

*Yakobson S.* The State of the Word. Book Reviews, 1974.

*Yakushev H.* Belinkov, A. Sdacha I gibel' sovetskogo intelligenta. Iurii Olesha // The Russian review. 1978. Vol. 37. January.

*Шифрін А.* Четвертий вимір. Мюнхен, 1997.

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абашидзе И. 265  
Абросимова В. 226, 280, 288  
Аввакум 150, 301  
Айхенвальд Ю.И. 117  
Акмальдинова М.В. 166, 167, 311  
Аксаков С.Т. 409  
Александр I 118, 490  
Александр II 460, 523, 551  
Александр III 357  
Александр Великий 80  
Александр Григорьевич см. Бармин А.Г.  
Александр Исаевич см. Солженицын А.И.  
Алексеев Н. 182  
Алексей Евграфович см. Костерин А.Е.  
Алексей Константинович см. Раннит А.К  
Алигер М.И. 43  
Алиса см. Найт Э.  
Алкей 74  
Аллилуева С.И. 195, 390, 395, 399, 400, 401, 423, 462, 464, 466, 491, 574, 584  
Амальрик А. 374, 394  
Анастасьев Н.А. 202, 203  
Андерсен Г.-Х. 84, 96, 172  
Андреев Г. см. Хомяков Г.А.  
Андреев Л.Н. 257  
Андреев Ю. 199, 211  
Андроников И.Л. 300  
Андропов Ю.В. 584  
Анна Андреевна см. Ахматова А.А.  
Анненский И.Ф. 222, 232  
Антокольский П.Г. 31  
Антонина Петровна см. Оксман А.П.  
Аракчеев А.А. 490  
Ардовы 217, 219  
Аристотель 80  
Аристофан 273, 459  
Армстронг Н. 514  
Арсеньева Е.А. 131  
Архилох 74, 519  
Асанов Н. 262, 266  
Асеев Н.Н. 30, 207  
Африкан Андреевич см. Бальбуров А.А.  
Ахмадулина Б.А. 258  
Ахматова А.А. 8, 120, 121, 143, 159, 185, 206, 209, 215, 217—219, 221—234, 236—249, 283, 294, 298, 313, 346, 356, 412, 414, 416, 426, 429, 432, 446, 456, 493, 519, 521, 523, 541, 597  
Бабаевский С. 104, 111, 172  
Бабель И.Э. 150, 215, 298, 313, 346, 356, 429, 430, 508, 514, 519  
Багрицкий Э.Г. 207  
Байрон Д.Г. 91, 247, 451  
Бакунин М.А. 478  
Бальбуров А.А. 185, 192, 193—195, 199, 587  
Бальзак О. 84, 247, 273, 479  
Бальмонт К.Д. 227, 393, 521  
Бараев В. 191, 192, 194, 198, 294, 295  
Барант Э. де 131  
Баратынский Е.А. 241

- Барбаросса см. Фридрих I  
 Баренблат И.Г. 319  
 Бармин А.Г. 535, 536, 538  
 Бартенев П.И. 450  
 Барто А. Л. 147  
 Баруздин С.А. 265, 266  
 Батеньков Г.С. 474  
 Батый 568  
 Батюшков К.Н. 524  
 Бахтин М.М. 346  
 Бедный Демьян (Придворов Е.А.) 518  
 Бек А.А. 549  
 Беккер 405  
 Белая Г. 157, 160, 201, 219, 285, 584, 596, 598  
 Белинков В.Л. 19, 22, 29, 33, 64, 65, 296, 592  
 Белинкова М.Н. (в девич. Гамбург Мари-ам) 19, 22, 26, 277, 300  
 Белинкова-Яблокова Н.А. (в девич. Дергачева) 36, 142, 217, 410, 506, 531, 541, 543, 545, 569, 571, 585, 587, 591, 595, 596, 598, 599, 600, 603  
 Белинский В.Г. 89, 141, 289, 309, 310, 315, 574  
 Белкин А.А. 116, 288, 569  
 Белый А. (Бугаев Б.Н.) 76, 80, 174, 227, 346, 521  
 Бенеш Э. 586  
 Бенкендорф А.Х. 153, 175, 472, 477  
 Бердяев Н.А. 409, 556  
 Березко Г.С. 258, 262, 263  
 Берзер А.С. 437, 438  
 Берия Л.П. 386, 422, 423, 425, 510  
 Берта Яковлевна см. Сельвинская Б.Я.  
 Бестужев (Бестужев-Рюмин) М.П. 469, 470, 473, 481  
 Бечаснов В.А. 490  
 Бетховен Л. ван 102  
 Билл см. Уэст Б.  
 Биргер Б. 356  
 Бисмарк (Шёнхаузен О.Э.Л. фон) 566  
 Бичер-Стоу Г.-Е. 446  
 Благой Д.Д. 552  
 Блейк П. 367, 375, 376, 494  
 Блейн А. 580  
 Блок А.А. 22, 76, 77, 113, 116, 117, 143, 156, 159, 190, 205—208, 222, 224, 226, 230—232, 234, 236, 241, 273, 315, 393, 409, 498, 568, 569, 602  
 Богоевич 503  
 Бойко М. 261  
 Боккаччо Д. 23, 24, 479  
 Большаков И.Г. 301  
 Бомарше П. 178, 478, 591  
 Бондарев Ю.В. 145  
 Бондаренко В. 505  
 Бонди С.М. 117, 275, 298, 299, 317, 597  
 Борисов И.Б. 262  
 Борисовы А.И., П.И. 475  
 Боровой С. 288  
 Борщаговский А.М. 263  
 Боффа Д. 389  
 Брежнев Л.И. 166, 340, 360, 516, 527, 558  
 Брик Л.Ю. (Каган Л.У.) 433  
 Брик О.М. 80  
 Бродский И.А. 115, 122, 165, 356, 368, 460, 515, 573  
 Брозович Д. 503  
 Брук Д. 539  
 Брумберг А. 494, 495  
 Бруштейн А.Я. 261  
 Брюсов В.Я. 76, 236, 239  
 Бубнова Е. 54  
 Буковский В.К. 356, 386  
 Булатов А.М. 474  
 Булгаковы А.Я., К.Я. 473  
 Булгаков М.А. 185, 208, 215, 346, 356, 429, 432, 446, 519, 523  
 Булгакова Е.С. 495  
 Булгарин Ф.В. 519



- Бунин И.А. 227, 521  
 Бурачок С.А. 519  
 Бухарин Н.И. 559, 560  
 Бялый Г.А. 310
- Вагнер Р. 180  
 Ваксберг А. 539  
 Вальцель О. 80  
 Варди А. 539  
 Варшавский Я. 173  
 Василий II Темный 558  
 Васильев П. 346  
 Васильева Л. 33  
 Вельфлин Г. 80  
 Венгеров С.А. 117  
 Веновитинов Д.В. 289  
 Вера см. Данам В.  
 Вербицкая А.А. 172  
 Вигель Ф.Ф. 474  
 Виктор Борисович см. Шкловский В.Б.  
 Винкельман И.И. 80  
 Винниченко 263  
 Виноградов А. 119  
 Виньи А.В. де 271  
 Витгенштейн П.Х. 475  
 Владимиров Л. см. Финкельштейн Л.  
 Владимиров С. 261  
 Владимирский А.К. 169  
 Воейков А.Ф. 471, 474, 477, 483  
 Вознесенский А.А. 279, 412, 446  
 Волин П. 261  
 Волконская Е.А. 471, 474, 477, 483  
 Волконский А.М. 356  
 Володин Б. 261  
 Володя см. Бараев В.  
 Волошин М.А. 298, 313, 346  
 Вольтер 80, 478  
 Вольф Ф.Б. 490  
 Воробьева М. 368, 369  
 Воронков 264, 438  
 Воронский А.К. 560  
 Воронцов М.С. 473
- Ворошилов 558  
 Востоков А.Ф. 73  
 Врубель М.А. 226  
 Высоцкий В.С. 405  
 Вышинский А.Я. 32, 558  
 Вяземский П.А. 479, 480
- Гагарин Ю.А. 514  
 Галанов Б. 187  
 Галансков Ю.Т. 356, 515, 591  
 Галилей Г. 479  
 Галин Г. 505  
 Галич (Гинзбург) А.А. 59, 60, 63, 121, 122, 405  
 Галушкин А. 277, 278  
 Гамбург Л.М. 368  
 Гамеров Б. 602  
 Гамсун К. 512  
 Гаршин В.М. 289, 310  
 Гегель Г.В.Ф. 80  
 Гейне Г. 10, 52, 93, 99, 478  
 Гейченко С.С. 322  
 Генрих см. Эльштейн Г.  
 Георгий Сергеевич см. Эфрон Г.С.  
 Герт Ю. 57  
 Герцен А.И. 5, 141, 180, 181, 287, 301, 310, 315, 380, 450, 459, 469, 478, 481, 482, 532, 535, 552  
 Гершензон М.Д. 117  
 Гете И.В. 74, 273, 376, 479, 557  
 Гиль Р. 81  
 Гинденбург П. фон 586  
 Гинзбург А.И. 356, 386, 515, 584, 597  
 Гинзбург Л.Я. 6  
 Гинзбург М. 454, 538  
 Гиппиус З.Н. 227, 346, 393, 566  
 Гитлер А. 325, 390, 397, 462, 506, 508, 528, 586  
 Гладков Ф.В. 412, 430  
 Глазов Ю. 500  
 Глик П. 352, 365, 403  
 Глинка Ф.Н. 518

- Глоцер В. 584  
 Гоголь Н.В. 59, 126, 289, 315, 479, 518—  
 520, 523  
 Голицын А.Н.? 175  
 Голлербах Э.Ф. 233  
 Гольдштейн Мих. 532, 540  
 Гончаров И.А. 299, 301, 479  
 Горбачевский И.И. 475  
 Гордин Я.А. 122  
 Горелик А. 584  
 Горчаков Г. см. Эльштейн Г.  
 Горчакова Л. 142  
 Горький М. (Пешков А.М.) 50, 120, 376,  
 512, 518, 526, 557  
 Готвальд К. 586  
 Гракхи Т., Г. 478  
 Гранин (Герман) Д.А. 597  
 Грейг А.С. 133, 179  
 Грибачев Н.М. 116, 298, 313, 356, 463,  
 521  
 Грибоед см. Грибоедов А.С.  
 Грибоедов А.С. 115, 163, 176, 180—184,  
 315, 475, 565, 600  
 Григоренко П.Г. 356, 421  
 Григорьев А.А. 76, 81, 82  
 Григорьев Ю. см. Оксман Ю.Г.  
 Григорянц С.И. 202, 494, 584  
 Грин Р. 80  
 Гронский И.М. 597  
 Гроссман Л.П. 117  
 Губанов Л. 601  
 Губерман И.М. 197  
 Гудзенко С. 589, 590  
 Гуль Р.Б. 401, 452, 458—466, 536, 542—  
 544  
 Гумилев Н.С. 22, 227, 247, 346, 355,  
 456, 493, 556  
 Гуревич А. 198  
 Гурьев Н.Д. 472  
 Гурьева М.Д. 472, 474, 476  
 Гюго Б. 521  
 Гюго В. 111, 271, 451  
 Д'Аннунцио Г. 512  
 Д'Орвилли Ж.А.Б. 43  
 Дабс А. 332, 341  
 Давыдов В.Л. 470  
 Даль В.И. 118, 133, 141  
 Данам (Сандомирская) В. 393, 394  
 Данин Д. 164, 584, 595  
 Даниэль Ю.М. 122, 164, 166, 195, 262,  
 299, 345, 346, 356, 360, 374, 376,  
 507, 508, 512, 515, 527, 529, 558,  
 573, 591, 597  
 Данкевич К.Ф. 26, 219  
 Данте Алигьери 23, 24, 87, 172, 273  
 Дантес Ж.Ш. 245, 433, 491  
 Дарий Гистапс 91  
 Дебюсси К. 33, 426, 602  
 Дельвиг А.А. 472  
 Демин В.П. 202  
 Демин М. (Трифонов Г.В.) 554  
 Демин Ю. 532  
 Деминг Л. 401, 501  
 Демичев П.Н. 444, 527, 557  
 Дергачев А.Ф. 19  
 Дергачева М.Т. 19  
 Джексон Р. 341, 578  
 Джемисон Д. 403  
 Джилас М. 401, 539, 540  
 Джонсон Б. 80  
 Джонсон Л.Б. 348  
 Дикий А.Д. 284  
 Диккенс Ч. 84  
 Дмитриев И.И. 471, 490  
 Дмитрий Донской 436  
 Добрович М. 503  
 Добролюбов Н.А. 310  
 Добрынин А.Ф. 370  
 Довженко А.П. 314  
 Довлатов С.Д. 461  
 Долматовский Е.А. 43  
 Донат А. 502, 541  
 Донатов Л. См. Финкельштейн Л.  
 Донген К. ван 28

- Достоевский Ф.М. 53, 63, 76, 78, 172, 261, 409, 412, 450, 467, 479, 519, 520, 523, 552
- Драйзер Т. 446
- Дубчек А. 328
- Дудинцев В.Д. 116, 527, 548, 549
- Дымшиц А.Л. 601
- Дьюхерст М. 460
- Дьяков Б.А. 447
- Евгения Иоаникиевна см. Шабат Е.И.
- Евгения Федоровна см. Книпович Е.Ф.
- Евдокимов Н. 29, 33, 589
- Евтушенко Е.А. 194, 279, 412, 446, 512, 515
- Ежов Н.И. 560
- Езепов И.И. 415
- Елена Александровна см. Якобсон Е.А.
- Елизавета I 95
- Елизавета Алексеевна см. Арсеньева Е.А.
- Ельцин Б.Н. 202
- Ельцов И. 532
- Ельчич Ж. 330
- Емельянова И. 55
- Ермилов В.В. 31, 32, 33, 72, 159, 298, 313, 551
- Есенин С.А. 116, 514
- Есенин-Вольпин А.С. 356
- Ефремов О.Н. 123
- Жданов А.А. 227, 526, 556
- Жданов В.В. 288, 289, 569
- Жегин В. 602
- Жемчужина П.С. (жена В.М. Молотова) 33
- Женук С. 505
- Жерико Т. 147
- Жилкина Т.В. 461
- Жирмунский В.М. 326
- Жуков Вл. 34, 371
- Жуков Ю.Н. 261
- Жуковский В.А. 461, 471, 480, 524, 551
- Заболоцкий Н.А. 346, 356, 430, 519
- Завалишин Д.И. 474, 542
- Закревский А.А. 473
- Замятин Е.И. 215, 348, 349, 429, 454, 463, 521, 538
- Занд Ж. см. Санд Ж.
- Западов А.В. 118
- Заран Ф. 80
- Заславский Д. 436
- Захарченко 135
- Зелинский 298, 313
- Зильберштейн И.С. 310
- Златовратский Н.Н. 520
- Золотухин В.С. 356
- Золя Э. 521
- Зорин Л.Г. 121, 123, 154, 252, 287, 537, 549, 584, 591, 593
- Зоркая Н.М. 356
- Зощенко М.М. 26, 30, 149, 185, 279, 346, 356, 416, 426, 430, 519, 556, 585
- Зубов 480
- Иван III 17, 148, 150
- Иван IV Грозный 17, 149, 314, 357, 358, 528, 552, 565, 566
- Иванов Вс.В. 146—150, 518, 553
- Иванов Вяч.Вс. 37, 202
- Иванов Вяч.И. 529
- Иванов Д.В. 529
- Иванова Н. 157, 164, 461
- Ивановы Вс. и Т. 590
- Ивинская О. 55
- Игорь, князь 574
- Измайлов А.Е. 471, 476
- Израильская С. 187
- Иисус Христос 95, 232, 233
- Ильин В.Н. 169, 261, 262, 263
- Ильичев Л.Ф. 526
- Ильф И.А. 126, 378
- Илья Львович см. Сельвинский И.Л.
- Ингал Г. (Жора) 33, 426, 602

- Иоанны см. Иван III, Иван IV  
 Иосиф см. Сталин И.В.  
 Исаак Донович см. Левин И.Д.
- Кабо Л.Р. 262  
 Каверин В.А. 199, 263, 283, 285, 286,  
 590, 595  
 Каганович Л.М. 21, 440, 560  
 Казакевич Э.Г. 145  
 Казаков Ю.П. 446  
 Калугин О.Д. 370  
 Каменев Л.Б. 210  
 Камкин В. 391, 493  
 Кампанелла Т. 87  
 Камю А. 388  
 Кант И. 27, 80  
 Капельзон Т.М. 107  
 Караганов А.В. 197, 198  
 Карамзин Н.М. 141, 174, 461, 471, 524  
 Кардин В. (Э.В.) 144, 145, 160, 584, 587  
 Карл Великий 95  
 Карл X 525  
 Карлайл О. 257  
 Карпова В.М. 161, 162, 281, 339, 554,  
 596  
 Карякин Ю.Ф. 263  
 Кастро Ф. 396  
 Катаев В.П. 463  
 Катенин П.А. 289, 518  
 Катков М.Н. 315  
 Катулл 74  
 Каховский П.Г. 141, 154, 469  
 Каченовский М.Т. 519  
 Кедрина З. 262, 263  
 Кеннан Д. 400, 401, 491  
 Кербабаев Б. 262  
 Кермайер 60  
 Керн Э. 378  
 Кестлер А. 460  
 Кира см. Финкельштейн К.  
 Китаевич Ю. 168, 348, 584  
 Клайн Э. 367, 373
- Климов А. 539  
 Климов Е. 405  
 Ключев Н.А. 346  
 Книпович Е.Ф. 120, 158—164, 297, 553,  
 554  
 Княжнин Я.Б. 315  
 Коваленков А.А. 135, 298  
 Ковальчик Е. 31, 33  
 Коган Л.Б. 383  
 Коган П.Д. 24  
 Коган Э.М. 347  
 Коджак А. 542  
 Кожевников В.М. 265, 536  
 Козловский П.Б. 456  
 Колаковский Л. 546  
 Колосова Б.И. 289, 569  
 Кони А.Ф. 289  
 Консон Л. 52, 53, 58  
 Констан Б. 271, 521  
 Константин Александрович см. Фе-  
 дин К.А.  
 Константин Павлович, великий князь  
 478  
 Конюхова Е. 166, 311, 596  
 Копелев Л.З. 253, 435, 438  
 Кораллов М.М. 586  
 Коржавин Н.М. 6, 405, 594  
 Корней Иванович см. Чуковский К.И.  
 Корнейчук А.Е. 264  
 Корнилович А.О. 490  
 Коряков М. 463  
 Косолапов В. 436  
 Костерин А.К. 321, 356, 407, 418—421  
 Кох Э. 540  
 Кочетов В.А. 116, 195, 298, 313, 355,  
 356, 445, 463, 466, 521  
 Кошелев А.И. 481  
 Кранах Л. 303  
 Крестинский Ю.А. 277  
 Кричлоу Д. 391, 541  
 Кротков Ю. 539, 574  
 Крузенштерн-Петеретц Ю. 452, 464

- Крученых А.Е. 78, 280, 281  
 Крыжицкий С. 543  
 Крымова Н.А. 124  
 Кторова А. (Шандор В.И.) 162, 539, 574  
 Кузмин М.А. 76, 22  
 Кузнецов (зам. Фурцевой) 563  
 Кузнецов А.В. 401, 466, 504, 530, 532,  
 540, 553, 573, 574  
 Кузнецов 198  
 Кукольник Н.В. 89  
 Кулькин А.М. 169  
 Кульчицкий М.В. 24  
 Курута Д.Д. 475  
 Кустодиев Б.М. 253  
 Кутузов М.И. 450  
 Кучанов А. 474  
 Кюхельбекер В.К. 179, 199, 315, 470,  
 480, 481
- Лабец Л. 534  
 Лавров В. 539, 540  
 Лазарев Л. 278  
 Лакшин В.Я. 438, 553  
 Лаппа Д. 490  
 Ларошфуко Ф. де 80  
 Лацис А. 35  
 Лебедев А.А. 121  
 Лебедев В.С. 440, 441  
 Лебедев-Кумач В.И. 432  
 Леванон Н.И. 492  
 Левашов В.В. 475  
 Левин И.Д. 394, 395, 396  
 Левин М. 54, 587, 602  
 Левицкий Л. 584  
 Лейсли М. 348  
 Лемпорт В. 114  
 Ленин (Ульянов) В.И. 29, 123, 296, 355,  
 391, 401, 444, 506, 526, 555, 577  
 Леня см. Финкельштейн Л.  
 Леонид Ильич см. Брежнев Л.И.  
 Леонов Л.М. 31
- Леонтович М.А. 54  
 Лермонтов М.Ю. 81, 118, 124, 128, 131,  
 135, 165, 287, 289, 310, 450, 551  
 Лермонтов Ю.П. 128  
 Лермонтова М.М. 131  
 Лесаж А.Р. 178  
 Лесли см. Милне Л.  
 Лесневский С. 584, 599  
 Лесючевский Н.В. 161, 567  
 Лешковцев В. 27  
 Либединская (в девич. Толстая) Л.Б. 24,  
 190, 584, 589  
 Ливен Д.Х. 479  
 Лиснянская И.Л. 356, 584  
 Литвин Е. 277  
 Литвинов Максим Максим. 374  
 Литвинов Мих.Макс. 200, 294, 374, 394,  
 584, 588  
 Литвинов П.Мих. 200, 356, 374, 496  
 Литвинова (Ясиновская) Ф. 160, 200,  
 201, 374, 394, 584, 588  
 Литвинова Н.Мих. 200, 201  
 Литвинова Т.Макс. 293, 496, 583  
 Литвиновы 495
- Ломоносов М.В. 174, 552  
 Лонгфелло Г.У. 446  
 Лондон Д. 446  
 Лосев Л. 368  
 Лотман Ю.М. 191  
 Луи В. 390, 403, 404, 422—428  
 Лукин Г.В. 596  
 Лукин Ю.Б. 553  
 Лукьян Исаевич см. Питерский-Злобин-  
 ский Л.И.  
 Людмила Ильинична см. Шклов-  
 ская Л.И.  
 Лютер М. 478  
 Люша Чуковская см. Чуковская Е.Ц.  
 Ляпунов В. 370, 398, 403, 422  
 Магницкий М.Л. 490

- Маира (Маира Владимировна) см. Ак-мальдинова М.В.
- Макарьев А. 554
- Макс см. Ралис М.
- Максимов В.Е. (Самсонов Л.А.) 465
- Маленков Г.М. 440, 560
- Маликов В. 197, 198
- Маллак Ги де 403
- Малхазова М.Я. 166, 168, 202, 311
- Мальц А. 515
- Мальцев Е.Ю. 263
- Маляров М.П. 506
- Мандельштам Н.Я. 26
- Мандельштам О.Э. 25, 26, 185, 215, 236, 298, 313, 346, 356, 412, 429, 446, 456, 478, 493, 508, 509, 512, 519, 521, 523, 597, 601
- Манн Г. 521
- Манн Т. 521
- Мао Цзэдун 485
- Марголин Ю. 540, 545
- Марианна см. Шабат
- Марина Яковлевна см. Малхазова М.Я.
- Мария Михайловна см. Лермонтова М.М.
- Марке А. 40
- Марков Г.М. 263
- Маркс К. 53, 75, 348, 577
- Мартынов Н.С. 131
- Марченко А.Т. 515
- Маршак С.Я. 22, 261, 275, 299, 300, 301, 603
- Марьямов А.М. 435, 437, 439
- Матисс А. 40
- Маяковский В.В. 10, 25, 39, 53, 76, 78, 116, 120, 143, 146, 207, 219, 234, 247, 311, 315, 393, 433, 458
- Медведев В. 202
- Межелайтис Э.Б. 261
- Межиров А.П. 24
- Мейерхольд В.Э. 356
- Мейлах Б.С. 310
- Мелвилл Г. 446
- Мережковский Д.С. 315, 346
- Мериме П. 271
- Мечиев К. 261
- Милне Л. 217, 218
- Милош Ч. 493, 546
- Мильтон Д. 180
- Мильтон Д. 84, 87
- Минц З.Г. 191
- Мирбо О. 247
- Мирра Наумовна см. Белинкова М.Н. 222
- Мирский С. 539, 540
- Михайлов М. 467
- Михайлов Н. 199
- Михайлов О. 117, 569
- Михалков С.В. 485
- Мишель см. Лермонтов М.Ю.
- Модзалевский Б.Л. 309, 310
- Модильяни А. 220, 221
- Молотов (Скрябин) В.М. 28, 33, 210, 440, 560
- Мордовченко Н.И. 310
- Морозов Ю. 23
- Морозова Ф.П., боярыня 595
- Мосешвили Г.И. 37
- Мотяшев И.П. 188
- Мур см. Эфрон Г.С.
- Муравьев (Апостол) С.М. 469
- Муравьев М.Н. («вешатель») 450, 479
- Муравьев Н.М. 153, 154, 470, 489, 490
- Мурадели В.И. 16, 26, 219
- Мурина Е. 584, 603
- Мюссе А. 271
- Набоков П. 584, 601
- Наврозов Л. 542
- Надсон С.Я. 227

- Найт Р. 352, 363, 365—367, 370, 372, 375, 378, 382, 391, 402—404, 492, 498
- Найт Э. 367
- Наполеон Бонапарт 450
- Напп Д. 365, 366
- Направник Э.Ф. 109
- Нарица М.А. 356
- Наровчатов С.С. 24
- Наталья Александровна см. Белинкова-Яблокова Н.А.
- Натан см. Эйдельман Н.Я.
- Наташа см. Белинкова-Яблокова Н.А.
- Небольсин А. 452, 453
- Недоброво Н.В. 247
- Недовесова В.Г. 56, 57, 65
- Недошивин В. 201
- Некрасов В.П. 261
- Некрасов Н.А. 230, 450, 462
- Нессельроде М.Д. 472, 474, 476, 479
- Нечкина М.В. 485
- Никита Сергеевич см. Хрущев Н.С.
- Никитин И.А. 450
- Николай I Павлович 17, 154, 170, 175, 176, 473, 474, 478, 481, 551, 552, 566
- Никулин Л.В. 224, 298, 313, 314
- Нина Петровна см. Хрущева Н.П.
- Новиков Вл. 285
- Новиков-Прибой А.С. 432, 552
- Новицкий П.И. 600
- Огнев В.Ф. 562
- Одоевский А.И. 475, 481
- Одоевский В.Ф. 169
- Ожегов С.И. 107, 237
- Озеров В.А. 315
- Оксман А.П. 287, 311
- Оксман Ю.Г. 117, 118, 121, 122, 163, 164, 224, 226, 275, 280, 287—292, 309—311, 346, 456, 569
- Окуджава Б.Ш. 121, 405
- Олдридж Д. 515
- Оленин А.Н. 473
- Оленина В.А. 473
- Олеша Ю.К. 8, 23, 28, 120, 126, 164, 185—189, 196, 197, 202, 204—211, 213—216, 251, 256, 282—284, 294, 295, 298, 301, 303—305, 313, 371, 401, 410, 411, 417, 457, 499, 501, 567, 587, 591, 595, 598, 600, 603
- Ольховский Ю. 59, 541
- Ольшанский И.Г. 117
- Опешко П. 346
- Орвелл см. Оруэлл Д.
- Орлов В.Н. 310
- Орлова Р. 164, 283
- Ортега-и-Гассет Х. 388
- Оруэлл Д. (Блэйр Э.А.) 559
- Осип Эмильевич см. Мандельштам О.Э.
- Осокин А. см. Оксман Ю.Г.
- Осват Л. 584
- Остолопов Н.Ф. 73
- Островский Н.А. 23
- Оуэн Р. 478
- Очадликова М. 460
- Павел I 17, 118, 157, 160—162, 170, 358, 528, 552, 565, 566
- Павленков Ф. 107
- Пажитнов Л.Н. 356
- Панферов Ф.И. 412, 430, 432, 553
- Паперный З.С. 135
- Парни Э. 322
- Пастернак Б.Л. 24, 39, 41, 55, 76, 109, 122, 149, 185, 195, 215, 219, 222, 233, 234, 273, 280, 296, 298, 311, 313, 346, 356, 360, 376—378, 412, 414, 416, 429, 430, 432, 436, 437, 440, 446, 459, 485, 508, 519, 521, 523, 558, 559, 573, 581, 598
- Первенцев А.А. 103

- Перельман В.А. 461  
 Перикл 565  
 Перро Ш. 91  
 Пестель П.И. 118, 123, 152—154, 461, 469, 470, 489, 490  
 Петр I 140, 170, 222, 472, 478  
 Петрарка Ф. 23, 24, 175, 238  
 Петров (Катаев) Е.П. 126, 378  
 Петровский М. 604  
 Пикассо П. 149, 234  
 Пиксанов Н.К. 468, 484, 485  
 Пильняк Б.А. 454, 508, 538, 560, 561  
 Питерский-Злобинский Л.И. 190, 191  
 Платонов (Климентов) А.П. 166, 215, 346, 430, 432, 519, 521  
 По Э. 446  
 Погодин Н.Ф. 555  
 Подгорный Н.В. 347  
 Пожио А.В. 489  
 Поликарпов Д.А. 161, 267, 439, 561, 569  
 Полянский Д.С. 357  
 Пономаренко П.К. 370  
 Потенба А.А. 125  
 Привалов Б. 602  
 Проффер К. 495, 500  
 Пруст М. 247  
 Прутикова Н.К. 596  
 Пугачев Е. 153, 471  
 Пузилов А.И. 297  
 Пузис Б. 52  
 Пушкарев Б.С. 541, 573  
 Пушкарев С.Г. 573  
 Пушкин А.С. 51, 63, 74, 76, 78, 79, 91, 98, 115, 117, 131, 132, 143, 165, 173, 175—177, 180, 189, 205—207, 222, 226, 231, 232, 234, 235, 238, 239, 245, 247, 270, 273, 275, 287, 289, 299, 309, 310, 315, 317, 321, 360, 380, 433, 450, 451, 462, 466, 469, 470, 472, 479, 480, 490, 497, 518—521, 551, 552, 560, 564, 565, 599  
 Пушкина Н.Н. 301  
 Пущин И.И. 141, 470  
 Рабин И. 492  
 Раддеев П. 406  
 Радищев А.Н. 479  
 Раевский В.Ф. 518  
 Разгон Л. 56  
 Разин С. 67, 80, 149  
 Ралис М. 506, 537, 538, 539, 541, 571  
 Раннит А.К. 226, 392, 393, 504  
 Раннит Т.О. 392  
 Рассадин Ст. 164  
 Рафальский С. 463, 464, 505, 536  
 Рахманинов С.В. 226  
 Рашеева-Романовская Н. 33, 602  
 Ржевский Л. 157, 408, 456  
 Риббентроп И. 28, 383  
 Рид М. 446  
 Робеспьер М. 478  
 Розанов В.В. 346  
 Ролан Р. 38  
 Роман Борисович см. Гуль Р.Б.  
 Романов Н.П. см. Николай I Павлович  
 Романовы, династия 453  
 Россихина О. 198  
 Рубашова С. 531, 532, 541  
 Рубинштейн Н.Н. 37  
 Рудницкий К. 198  
 Рузвельт Э. 449  
 Руссо Ж.-Ж. 80, 478  
 Рыбаков Ю.С. 123, 124  
 Рылеев К.Ф. 122, 289, 310, 469—471, 473, 476, 480, 481, 516  
 Рысс М. см. Шабат М.Ц.  
 Садомская Н. 542  
 Сажин П. 164  
 Сайрон В. 515  
 Сакен (Остен-Сакен) Ф.В. 475  
 Сакулин П.Н. 309  
 Салов И.А. 261  
 Салтыков-Щедрин М.Е. 178



- Самарин Р.М. 224  
 Самойлов (Кауфман) Д.С. 24  
 Самуэли Т. 534, 540, 544  
 Санд Ж. 111, 478  
 Саппак В. 602  
 Сарнов Б. 37, 263, 301, 584, 594, 598, 601, 603  
 Сартр Ж.-П. 510, 515  
 Сафо 74  
 Сахаров А.Д. 63, 376, 506, 583  
 Светлана см. Аллилуева С.И.  
 Свирский Г. 356  
 Свитак И. 539, 541  
 Севастьянов А. 37, 584, 598  
 Севастьянов Е. 198, 199  
 Северянин (Лотарев) И.В. 217, 226, 227  
 Седых А. (Цвибак Я.М.) 51, 464, 467, 505  
 Сезанн П. 450  
 Селин (Детуш) Л.Ф. 44, 512  
 Сельвинская Б.Я. 297  
 Сельвинская Т. 584  
 Сельвинский И.Л. 24, 30, 34, 38, 76, 115, 120, 135, 208, 275, 282, 295—297, 311, 314, 315, 463, 567, 589  
 Семенихин В.В. 261  
 Семичастный В.Е. 228, 357, 436  
 Серафима Густавовна см. Шкловская С.Г.  
 Серафимович (Попов) А.С. 23, 518  
 Сервантес (Сервантес Сааведра М. де) 172  
 Сервий Туллий 550  
 Сергеев Б. 540  
 Сергей Михайлович см. Бонди С.М.  
 Сергиевский И.В. 310  
 Серебрякова Г.И. 33, 193  
 Серегин И. 115  
 Серов В.А. 109, 254, 590  
 Сидоров Е.Ю. 202  
 Сидур В. 114, 407  
 Сильва см. Рубашова С.  
 Сим Р. 73  
 Симонов К.М. 35, 43, 215, 277, 278, 314, 466, 548, 562  
 Синклер Э. 446  
 Синявский А.Д. (Терц А.) 51, 122, 159, 165, 167, 195, 262, 267, 299, 345, 346, 356, 360, 376, 386, 394, 465, 496, 507, 508, 512, 515, 527, 558, 568, 573, 591, 597  
 Синяков 551  
 Скавронский А. 261  
 Скотт В. 551  
 Скотт Д. 539, 540  
 Скрыбин А.Н. 226  
 Слава Владимировна см. Щирин С.В.  
 Славин Л.И. 196, 198, 283  
 Слуцкий Б.А. 24  
 Смеляков Ю. 191  
 Смеляков Я.В. 145  
 Соколов 198, 567  
 Соколов-Скаля П.П. 147  
 Солженицын А.И. 6, 8, 156, 165, 185, 195, 228, 251—261, 264—274, 327, 356, 357, 365, 369, 375, 376, 385, 396, 401, 402, 404, 405, 407, 411—417, 427—435, 437—439, 442, 443, 445—451, 463, 493, 496, 499, 501, 508, 515, 519, 521, 526, 538, 541, 545, 564, 573, 599  
 Соловьев Б.И. 596  
 Соловьев В. 314  
 Сологуб Ф. (Тетерников Ф.К.) 227  
 Соломон Давыдович 74, 78, 79, 80  
 Сомов О.М. 472, 476  
 Сооди Т. 541  
 Сорос Д. 202, 203, 597  
 Сосины Г., Д. 409, 532, 541  
 Софокл 434, 438  
 Софронов А.В. 116, 195, 271, 298, 313, 445, 463  
 Спенсер Г. 125

- Сперанский М.М. 153  
 Ставровский А.В. 201, 502  
 Стайн Г. 446  
 Сталин И.В. 25, 56, 63, 157, 210, 254, 268, 284, 325, 340, 355, 356, 357, 358, 363, 371, 377, 380, 381, 385, 386, 394, 399, 401, 412, 423, 426, 434, 440, 445, 450, 451, 485, 506, 508, 510, 526, 528, 553, 555, 557, 565  
 Сталина см. Аллилуева С.И.  
 Сталь Ж. де (де Сталь-Гольштейн) 521  
 Станюкович Н.В. 463, 543  
 Стасов В.В. 299  
 Стендаль (Бейль А.М.) 271, 451  
 Степанова А.О. 113  
 Стравинский И.Ф. 533  
 Страхов А. 261  
 Строганов С.Г.? 475  
 Стронг А.Л. 559  
 Струве Г.П. 290, 291, 346, 363, 382, 389, 406, 452, 456—458, 493, 543  
 Струве П.Б. 566, 567  
 Стругацкие А.Н. и Б.Н. 196  
 Сулимов В. 53, 54  
 Сумароков А.П. 315, 552  
 Суок С.Г. 186  
 Сурикова (Хвостова) Е.А. 289  
 Суркина-Тышлер Ф. 584  
 Сурков А.А. 239, 265, 269, 436, 437, 443, 557—559, 569  
 Суров А. 173  
 Суслов М.А. 557  
 Сухово-Кобылин А.В. 549  
 Сухозанет И.О. 175  
 Сушкова (в замуж. Ростопчина) Е.П. 480  
 Сытин А. 560  
 Тарасов-Родионов А. 431, 447  
 Татищев А.И. 475  
 Тацит П.К. 87, 512  
 Твардовский А.Т. 143, 192, 268, 435, 437—439, 444, 587  
 Твен М. 397  
 Телешова Е.А. 477  
 Терц А. см. Синявский А.Д.  
 Тимофеев 589  
 Тимофеев Л.И. 23, 169  
 Тимофеев Ю. 27  
 Тито И.Б. 331, 485  
 Тодд А. 367  
 Толстая Т.Л. 540  
 Толстой А.К. 76, 315  
 Толстой А.Н. 34, 120, 207, 208, 276—278, 282, 284, 314, 603  
 Толстой И. 37, 409, 582  
 Толстой Л.Н. 76, 80, 126, 172, 177, 274, 438, 451, 478, 499, 520, 523  
 Толя см. Кузнецов А.  
 Тоом Л. 23  
 Трбоевич Б. 326  
 ТрEDIAKовский В.К. 552  
 Третьяков С.М. 200  
 Третьяков С.М. 200, 346  
 Троцкий Л.Д. 559, 560, 577  
 Трубецкой С.П. 473, 476  
 Трумэн Г. 55  
 Туманский В.И. 475  
 Тургенев И.С. 80, 287, 289, 309, 310, 518, 520, 552  
 Тургенев Н.И. 469  
 Туровская М. 327  
 Тынянов Ю.Н. 8, 23, 28, 52, 114, 118—120, 124, 134, 156, 159, 160, 164, 165, 167—169, 173, 174, 176—184, 199, 225, 226, 251, 284, 285, 294, 368, 401, 410, 411, 416, 461, 501, 564, 596, 603  
 Тютчев Ф.И. 76, 126, 147, 230, 234, 240, 241, 461, 462, 470, 565  
 Уборевич И.П. 560  
 Уварова И. 63, 98, 160, 164, 584

- Ульянов Н. 463, 466  
 Уортингтон П. 403, 404, 422  
 Усакина Т.И. 310  
 Уэст Б. 343, 344, 345, 348, 374
- Фадеев (Булыга) А.А. 23, 57, 67, 159, 412, 441, 521, 553, 554  
 Файман Г.С. 35, 36, 371, 401, 587, 598  
 Фальк Р.Р. 222, 356  
 Фаст Г. 446  
 Фатеева А. 188  
 Федин К.А. 31, 207, 208, 264, 266, 355, 360, 444, 445, 549, 558  
 Федосеев Г.С. 601  
 Фейербах Л. 347  
 Фельтринелли Д. 532  
 Феоктистов Е.М. 289  
 Феофан Грек 321, 322  
 Фет А.А. 241  
 Филиппов Б.А. 291, 456, 493  
 Филиппов В.А. 262  
 Финкельштейн (Владимиров, Дона-  
 тов) Л.В. 37, 156, 466, 409, 504, 530, 531, 532, 534, 537, 540, 541, 549, 553, 583  
 Финкельштейн К. 531, 537  
 Фишер Л. 401  
 Флобер Г. 43, 75, 76  
 Флора см. Литвинова (Ясиновская) Ф.  
 Флоренский Г. 401  
 Фогт Б.А. 27  
 Фок М.Я. фон 472, 474, 477  
 Фонвизин М.А. 474  
 Форш О.Д. 119, 120, 207  
 Фотиев К. 454, 544  
 Франк Б. 521  
 Франк В.С. 406, 409—417, 502, 534  
 Франк С.Л. 556  
 Франкл Ф. 503  
 Франс А. 91  
 Фридберг М. 401, 406, 408, 500, 546
- Фридрих I 528, 566  
 Фридрих II 528  
 Фролова В.Ф. 29  
 Фулбрайт Д. 406  
 Фурманов Д.А. 518  
 Фурцева Е.А. 12, 563
- Хазанова М. 407  
 Хаустов В. 356, 357, 386  
 Хейурд М. 113, 367, 375, 377—379, 532, 534, 558  
 Хеллман Л. 515, 573  
 Хемингуэй Э. 186, 261, 446  
 Хет Реве К. ван 289, 364, 374, 534, 569  
 Хлебников В.В. 76, 78  
 Ходасевич В.Ф. 346, 521  
 Ходж Э. 485  
 Хомяков Г.А. 536  
 Хомяковы А.С., Ф.С. 476  
 Христос см. Иисус Христос  
 Хромченко Я. 53  
 Хрущев Н.С. 5, 166, 191, 219, 222, 284, 319, 355, 386—388, 428, 436, 438, 440—442, 507, 526, 549, 558, 559, 567, 568, 582  
 Хрущева Н.П. 441, 442
- Цветаева М.И. 298, 313, 346, 508, 509, 512, 598  
 Цвигун С.К. 534  
 Цезарь Георгиевич см. Шабат Ц.Г.  
 Цирель С.Д. 81
- Чаадаев П.Я. 131, 460  
 Чагин (Болдовкин) П.И. 73  
 Чайковский П.И. 533, 602  
 Чаушеску Н. 485  
 Черноуцан И.С. 561  
 Чернышев А.И. 475  
 Чернышевский Н.Г. 481  
 Черчилль У. 449, 532  
 Чехов А.П. 172, 213, 236, 562

- Чижевский Д.И. 502  
 Чингисхан 568  
 Чудакова М.О. 190, 202, 283, 285, 584, 592  
 Чуковская Е.Ц. 531  
 Чуковская Л.К. 224, 225, 226, 283, 300  
 Чуковский К.И. 22, 117, 164, 192, 224, 247, 275, 283, 293—295, 300, 308, 450, 568, 569, 587  
  
 Шабат Е.И. 42, 48, 49  
 Шабат И. 75  
 Шабат М.Ц. 24, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 38—40, 42, 43, 45—51, 61, 67, 68, 584, 587  
 Шабат Ц.Г. 45, 48  
 Шаламов В.Т. 6, 228  
 Шаляпин Ф.И. 356  
 Шапиро Л. 534  
 Шапорин Ю.А. 386  
 Шарден Тейяр де 367  
 Шарипов А. 264  
 Шатобриан Ф.Р. де 247, 521  
 Шауро В.Ф. 557, 569  
 Шаховской А.А. 315  
 Шверник Н.М. 277, 278  
 Швыдкой М.Е. 202  
 Шевцов И. 407, 485  
 Шекспир В. 80, 91, 123, 273, 300, 301  
 Шелепин А.Н. 24, 357, 440, 516, 527, 588  
 Шелест П.Е. 357  
 Шеллинг Ф.В.Й. 81  
 Шенгели Г.А. 24, 27, 30, 115, 602  
 Шенкер А. 497, 578  
 Шергова Г.М. 29, 33  
 Шереметева (Алмазова) В.П. 472  
 Шешковский С.И. 479  
 Шиллер И.К.Ф. 315  
 Шифрин А. 55  
 Шкловская Л.И. 278  
 Шкловская С.Г. 279, 280, 281  
 Шкловская-Корди В.Г. 25, 26  
 Шкловский В.Б. 8, 23, 25—27, 30, 34, 52, 53, 80, 120, 122, 161, 163, 164, 186, 187, 196, 215, 225, 229, 275—286, 295, 297, 303, 305, 307, 445, 463, 501, 523, 549, 587, 595, 603  
 Шкловский Е. 203  
 Шмеман А.Д. 452, 454, 455, 543, 546  
 Шолохов М.А. 264, 298, 313, 356, 553, 565  
 Шопен Ф. 147  
 Шостакович Д.Д. 26, 53, 109, 149, 186, 219, 533  
 Шрагин Б. 356, 542  
 Штейн Б. 584, 602  
 Штейн В. 257, 542  
 Штейн О. 541  
 Штейн Э. 505, 539, 541  
 Штейн Ю. 258  
 Штеренберг Д.П. 147  
 Шуб Ю.Г. 198, 567  
 Шубин Л. 166, 284, 561, 587, 588, 596  
  
 Щипачев С.П. 523  
 Щирина С.В. 29, 347, 348  
  
 Эджертон Б. 500  
 Эзоп 452  
 Эйдельман Н.Я. 118, 121, 193, 194, 587  
 Эйзенштейн С.М. 284, 307  
 Эйхенбаум Б.М. 236  
 Эллас см. Найт Э.  
 Эльсберг Я.А. 224  
 Эльштейн (Горчаков) Г. 27, 33, 53, 57, 134, 137, 141, 142, 602  
 Энгельс Ф. 75  
 Эренбург И.Г. 207, 215, 282, 284, 285, 549, 564  
 Эрлих В. 367, 379, 389, 392, 493, 495, 497, 498, 578  
 Эфрон Г.С. (Мур) 602  
 Эфрос А.В. 469, 562

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

---

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Юдина М.В. 377                                    | Якубович П.Я. 473                 |
| Юрасов В. 408                                     | Якушевы А., Е. 329, 532, 539, 541 |
| Юрий Карлович см. Олеша Ю.К.                      | Якушкин И.Д. 470                  |
| Юрий Петрович см. Лермонтов Ю.П.                  | Ярошенко Н.А. 109                 |
| Яблокова-Белинкова Н. см. Белинкова-Яблокова Н.А. | Critchlow H.J. 409                |
| Языков Н.М. 480                                   | Danham V.S. см. Данам В.          |
| Якобсон А. 225                                    | Don Levin I. см. Левин И.Д.       |
| Якобсон Е.А. 493, 541                             | Knapp D. см. Напп Д.              |
| Якобсон Р.О. 80, 196, 298                         | Ripellino A.M. 196                |
| Яковлев П.Л. 476                                  | Sosin G. см. Сосины Г., Д.        |

## Об авторах

Наталья Александровна Белинкова  
(по второму мужу Н. Яблокова)

Родилась в 1930 году в Москве.

Окончила МГУ. Работала в средней школе, в Литературном институте при СП СССР, в Издательском отделе Полиграфического института, в журнале «Москва», в Отделе перспективного планирования Комитета по радиовещанию. Первые публикации состоялись в «Новом мире». В 1957 году вышла замуж за Аркадия Викторовича Белинкова.

В 1968 году вместе с ним эмигрировала в Америку, где работала по специальности, преподавая русский язык и литературу (Йельский университет в штате Коннектикут, Колледж в Вермонте, Институт русского языка в Калифорнии). Принимала участие в передачах радиостанции «Свобода». Издала «Новый колокол», сборник, задуманный А. Белинковым. Широко печаталась в эмигрантских газетах и журналах: «Грани», «22», «Современник», «Время и мы» и др. После 1991 года — в журналах «Звезда», «Вопросы литературы», «Знамя».

Н. Белинкова-Яблокова живет в Калифорнии. Занимается публикацией литературного наследства А. Белинкова.

Аркадий Викторович Белинков (1921—1970)

Прозаик, литературовед. Родился в Москве (СССР), скончался и похоронен в Нью-Хейвене (США).

Учился в ИФЛИ и Литературном институте при СП СССР. В 1944 году арестован за дипломный роман «Черновик чувств», который был признан следствием антисоветским. Осужден на восемь лет. В заключении продолжал тайно заниматься литературным трудом, возводя, по определению суда, «клевету на советскую действительность». Был осужден еще на 25 лет. Заключение отбывал в исправительно-трудовых лагерях Казахстана.

В 1956 году Белинков был освобожден, вернулся в Москву и продолжил литературную деятельность.

В начале шестидесятых известность Белинкову принесла книга «Юрий Тынянов», за которую он был принят в Союз писателей СССР.

В конце шестидесятых он предпринял попытку издать книгу о причинах творческой гибели советского писателя на примере Юрия Олеши. Попытка не удалась, если не считать публикации двух отрывков в журнале «Байкал».

В 1968 году, воспользовавшись поездкой в Югославию, он перебрался на Запад. В СССР против него заочно было возбуждено третье уголовное дело.

Белинков поселился в США. Преподавал в Йельском университете. Разъезжал с лекциями. Выступал на радиостанции «Свобода». Печатался в «Новом

журнале» и «Новом русском слове». Был принят в ПЕН-клуб. Участвовал в международной конференции по советской цензуре в Лондоне в качестве ведущего докладчика. Задолго до периодических изданий эмиграции «третьей волны» задумал издавать журнал «Новый колокол», который превратился в литературно-публицистический сборник.

В 1963 году его первое дело было прекращено «за отсутствием состава преступления».

В 1989 году Президиум Верховного суда Казахской ССР «за отсутствием состава преступления» прекратил второе дело Белинкова.

В 1999 году Прокуратура Российской Федерации на основании «Закона РСФСР о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 г.» прекратила «за отсутствием состава преступления» третье дело Белинкова.

Большая часть работ писателя опубликована посмертно.

# СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Белинкова.</i> Пролог .....	5
<i>А. Белинков.</i> Печальная и трогательная поэма о взаимоотношениях Скорпиона и Жабы, или Роман о государстве и обществе, несущихся к коммунизму .....	10

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ГЛАВА 1

<i>Н. Белинкова.</i> Цена черновика .....	21
<i>А. Белинков.</i> Черновик чувств (фрагменты романа) .....	38

### ГЛАВА 2

<i>Н. Белинкова.</i> Как можно писать в лагере? .....	51
<i>А. Белинков.</i> Человечье мясо (фрагменты романа) .....	66
<i>А. Белинков.</i> Задачки по химии и алгебре стиха .....	73
<i>А. Белинков.</i> Иллюзии и разочарования Екклесиаста (фрагменты) .....	83
<i>А. Белинков.</i> Ирония судьбы (вариант: Ирония трубы) .....	99

### ГЛАВА 3

<i>Н. Белинкова.</i> Поиски жанра .....	113
<i>А. Белинков.</i> Искусство и образ. Искусство прозы .....	125
<i>А. Белинков.</i> Мишель Лермонтов .....	128
<i>А. Белинков.</i> Даль .....	133
<i>А. Белинков.</i> Письма однодельцу .....	134
<i>А. Белинков.</i> Главному редактору журнала «Новый мир» А.Т. Твардовскому .....	143
<i>А. Белинков.</i> О книге Кардина «Верность времени» .....	144
<i>А. Белинков.</i> О романе Вс. Иванова «Кремль» .....	146
<i>А. Белинков.</i> «Декабристы» в «Современнике» .....	152

### ГЛАВА 4

<i>Н. Белинкова.</i> Цензорский номер вместо лагерного .....	156
<i>А. Белинков.</i> Ответ внутренним рецензентам .....	171
<i>А. Белинков.</i> «Юрий Тынянов» (фрагменты) .....	176



## ГЛАВА 5

<i>Н. Белинкова. Другие и Олеша</i> .....	185
<i>А. Белинков. «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша»</i> <i>(фрагменты)</i> .....	204

## ГЛАВА 6

<i>Н. Белинкова. Елка погасла!</i> .....	217
<i>А. Белинков. Судьба Анны Ахматовой, или Победа Анны Ахматовой</i> .....	229

## ГЛАВА 7

<i>Н. Белинкова. Я — только свидетель</i> .....	251
<i>А. Белинков. Александр Солженицын и больные ракового корпуса</i> .....	260
<i>А. Белинков. Молекулярный уровень исследований Солженицына</i> .....	270

## ГЛАВА 8

<i>Н. Белинкова. Учителя и ученик</i> .....	275
<i>А. Белинков. Двойной портрет Юрия Олеша и Виктора Шкловского</i> .....	303
<i>А. Белинков. Прекрасный цвет лица</i> .....	307
<i>А. Белинков. Из дневника</i> .....	308
<i>А. Белинков. Ю.Г. Оксман</i> .....	309
<i>А. Белинков. Кукиш в кармане</i> .....	311
<i>А. Белинков. Спадают краски ветхой чешуей</i> .....	312
<i>А. Белинков. Неотправленное письмо</i> .....	317

## ГЛАВА 9

<i>Н. Белинкова. Маршрут: Москва — Вена</i> .....	319
<i>А. Белинков. Прага, весна, зима...</i> .....	337

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## ГЛАВА 1

<i>Н. Белинкова. Зеленый цвет надежды</i> .....	343
<i>А. Белинков. Без меня. Открытое письмо в СП СССР</i> .....	354

## ГЛАВА 2

<i>Н. Белинкова. «Спальня» Нью-Йорка</i> .....	363
<i>А. Белинков. Побег (фрагмент рассказа)</i> .....	380
<i>А. Белинков. Интервью для журнала «Тайм»</i> .....	385

## ГЛАВА 3

<i>Н. Белинкова.</i> Новые небеса .....	390
<i>А. Белинков.</i> Беседа с Виктором Франком .....	410
<i>А. Белинков.</i> Слово о Костерине .....	418
<i>А. Белинков.</i> О Викторе Луи .....	422
<i>А. Белинков.</i> Судьба и книги Александра Солженицына .....	429

## ГЛАВА 4

<i>Н. Белинкова.</i> Сей пустошью владел еще покойный дед .....	452
<i>А. Белинков.</i> Страна рабов, страна господ... ..	468

## ГЛАВА 5

<i>Н. Белинкова.</i> Дроби, мой гневный ямб, камень! .....	491
<i>А. Белинков.</i> Западная интеллигенция, советская оппозиция и свобода, которой угрожает смерть .....	508
<i>А. Белинков.</i> Методология изучения русской литературы .....	517

## ГЛАВА 6

<i>Н. Белинкова.</i> «Новый колокол» .....	529
<i>А. Белинков.</i> Мы получим другую литературу .....	548

## ГЛАВА 7

<i>Н. Белинкова.</i> Нет пророка из чужого отечества .....	571
Вместо эпилога. Российские единомышленники об Аркадии Белинкове .....	582

## Библиография

<i>А. Белинков.</i> Опубликованные работы .....	605
Избранные статьи и упоминания об А. Белинкове	
В журналах и газетах на русском языке .....	607
Главы и упоминания в книгах на русском языке .....	610
Рецензии и упоминания на иностранных языках .....	611
Именной указатель .....	614
Об авторах .....	629

*Аркадий Белинков, Наталья Белинкова*

**РАСПРЯ С ВЕКОМ**  
**В два голоса**

Художник  
*С. Кистенев*  
Редактор  
*А. Ранчин*  
Корректор  
*Э. Корчагина*  
Компьютерная верстка  
*С. Пчелинцев*

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:  
129626, Москва,  
абонентский ящик 55  
Тел.: (495) 976-47-88  
факс: 9495) 977-08-28  
e-mail: [real@nlo.magazine.ru](mailto:real@nlo.magazine.ru)  
Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 60x90/16  
Бумага офсетная № 1  
Усл. печ. л. 40. Тираж 1500. Заказ № 6805  
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс  
"Ульяновский Дом печати"»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ**  
**Теория и история литературы, критика и библиография**

Периодичность: 6 раз в год

Первый российский независимый филологический журнал, выходящий с конца 1992 года. «НЛО» ставит своей задачей максимально полное и объективное освещение современного состояния русской литературы и культуры, пересмотр устарелых категорий и клише отечественного литературоведения, осмысление проблем русской литературы в широком мировом культурном контексте.

В «НЛО» читатель может познакомиться с материалами по следующей проблематике:

— статьи по современным проблемам теории литературы, охватывающие большой спектр постмодернистских дискурсов; междисциплинарные исследования; важнейшие классические работы западных и отечественных теоретиков литературы;

— историко-литературные труды, посвященные различным аспектам литературной истории России, а также связям России и Запада; введение в научный обиход большого корпуса архивных документов (художественных текстов, эпистолярия, мемуаров и т.д.);

— статьи, рецензии, интервью, эссе по проблемам советской и постсоветской литературной жизни, ретроспективной библиографии.

«НЛО» уделяет большое внимание информационным жанрам: обзорам и тематическим библиографиям книжно-журнальных новинок, презентации новых трудов по теории и истории литературы.

*Подписка по России:*

«Сегодня-пресс»

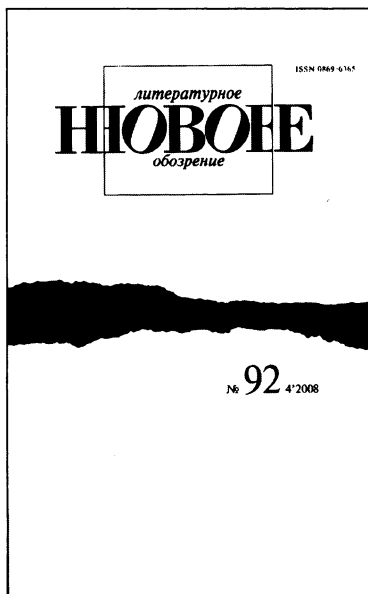
(в объединенном каталоге «Почта России»):

подписной индекс 39356

«Роспечать»:

подписной индекс 47147 (на полугодие)

48947 (на весь год)



## НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

### Дебаты о политике и культуре

Периодичность: 6 раз в год

«НЗ» — журнал о культуре политики и политике культуры, своего рода интеллектуальный дайджест, форум разнообразных идей и мнений.

Среди вопросов и тем, обсуждаемых на страницах журнала:

- идеология и власть;
- институции гуманитарной мысли;
- интеллигенция и другие сословия;
- культовые фигуры, властители дум;
- новые исторические мифологемы;
- метрополия и диаспора, парадоксы национального сознания за границей;
- циркуляция сходных идеологем в «правой» и «левой» прессе;
- религиозные и этнические проблемы;
- проблемы образования;
- столица — провинция и др.



*Подписка по России:*

«Сегодня-пресс»  
(в объединенном каталоге «Почта России»):  
подписной индекс 42756

«Роспечать»:  
подписной индекс 45683

★ память. история.  
идентичность  
★ советская власть  
конфессии  
и верующие

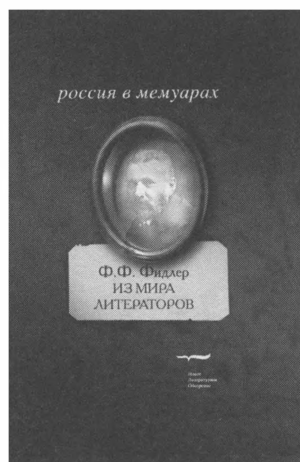


Издательство  
**НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ**  
В 2008 г. вышли:

Серия «Россия в мемуарах»

**Ф.Ф. Фидлер**  
**ИЗ МИРА ЛИТЕРАТОРОВ**

Впервые публикуется на русском языке дневник переводчика, коллекционера и педагога **Ф.Ф. Фидлера** (1859—1917) — одной из центральных фигур петербургской литературной жизни 1880-х — 1910-х годов. Дневник запечатлел колоритные (подчас интимные) подробности литературного быта и частной жизни русских писателей того времени: **Н. Лескова, Я. Полонского, К. Фофанова, А. Чехова, Д. Мамина-Сибиряка, А. Куприна, Л. Андреева, Вяч. Иванова, З. Гиппиус, Д. Мережковского, Ф. Сологуба, М. Кузмина** и многих других.

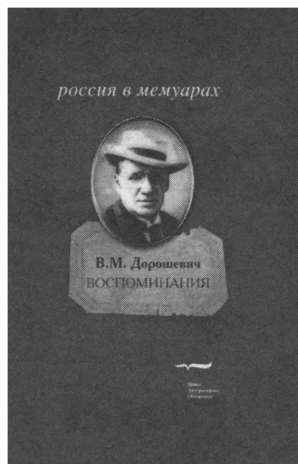


**П.Н. Зайцев**  
**ВОСПОМИНАНИЯ**

Издательский работник и литератор **Петр Никанорович Зайцев** (1889—1970) в течение ряда лет был близким другом и помощником **Андрея Белого**, о чем и оставил подробные мемуары, впервые публикуемые полностью в данной книге. Существенно дополняет их и представленная в качестве приложения переписка между **Зайцевым** и **Белым**. В том включены также воспоминания автора о литераторах, с которыми ему доводилось встречаться (**В. Брюсов, В. Маяковский, С. Есенин, М. Булгаков, М. Цветаева, А. Ахматова** и др.).

Издательство  
**НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ**  
В 2008 г. вышли:

Серия «Россия в мемуарах»



В.М. Дорошевич  
**ВОСПОМИНАНИЯ**

Впервые в одном томе собраны ранее печатавшиеся преимущественно в газетах воспоминания «короля русской журналистики» Власа Дорошевича (1865—1922). Перед читателями проходят сочно и с юмором описанные сцены жизни Москвы последней трети XIX века, портреты предпринимателей, политических деятелей, ученых, актеров, преступников, писателей и журналистов. С иронией пишет Дорошевич и о себе — об учебе в гимназии, попытках сделаться актером, первых журналистских опытах.

Е.Г. Полонская  
**ГОРОДА И ВСТРЕЧИ. КНИГА  
ВОСПОМИНАНИЙ**



Поэтесса и переводчица Елизавета Григорьевна Полонская (1890—1969) повидала в своей жизни немало: детство провела в Двинске и в Лодзи, участвовала в революционном движении, была в парижской эмиграции, получила медицинское образование и принимала участие в Первой мировой войне в качестве врача, видела революционный Петербург, входила в литературную группу «Серрапионовы братья» (М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Тихонов и др.) и т.д. Описывающая все это ее мемуарная книга «Города и встречи» фрагментарно печаталась на страницах журналов и сборников, а теперь впервые выходит в полном виде.

Издания

**«Нового литературного обозрения»**

(журналы и книги)

можно приобрести в следующих магазинах:

**в Москве:**

«Политкнига» — ул. Малая Дмитровка, 3/10. Тел.: (495)200-36-94

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7. Тел.: (495)951-93-60

«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6. Тел.: (495)924-46-80

«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21. Тел.: (495)332-47-28

«Гнозис» — Зубовский проезд, 2, стр. 1. Тел.: (495)247-17-57

«Книжная лавка писателей» — ул. Кузнецкий Мост, 18.

Тел.: (495)924-46-45

«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8. Тел.: (495)238-50-01

«Москва ТД» — ул. Тверская, 8. Тел.: (495)797-87-17

Московский Дом книги — Новый Арбат, 8 (а также во всех остальных магазинах сети).

Тел.: (495)203-82-42.

«Старый свет» (книжная лавка при Литинституте) —

Тверской бульвар, 25 Тел.: (495)202-86-08.

«Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27.

Тел.: (495)749-57-21

«У Кентавра» — Миусская пл., 6. Тел.: (495)250-65-46

«Букбери» — Никитский б-р, 17. Тел.: (495)291-83-03

«Русское зарубежье» — ул. Нижняя Радищевская, 8

(м. Таганская-кольцевая) Тел.: (495)915-11-45

Primus Versus — ул. Покровка, 27, стр. 1. Тел.: (495)951-93-60

Магазины сети «Книжный клуб 36'6». Тел.: (495)223-58-20

«Топ-книга». Тел.: (495)166-06-02

**в Санкт-Петербурге:**

Академкнига — Литейный пр., 57. Тел.: (812)230-13-28

Александрйская Библиотека — Наб. реки Фонтанки, 15.

Тел.: (812) 310-50-36

Вита Нова — Менделеевская линия, 5. Тел.: (812)328-96-91

Книжная лавка писателей — Невский пр., 66. Тел.: (812)314-47-59

Книжные салоны при Российской национальной библиотеке

Садовая ул., 20; Московский пр., 165 . Тел.: (812)310-44-87

Книжный салон — Университетская наб., 11

(магазин в фойе филологического факультета СПбГУ).

Тел.: (812)328-95-11

Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13.

Тел.: (812)232-33-07

Культпросвет — Пушкинская ул., 10 или Лиговский пр., 53.

Тел.: (812)572-11-30

Перемещенные ценности — ул. Колокольная, 1.

Тел.: (812)713-21-74

Подписные издания. Литейный пр., 57. Тел.: (812)273-50-53



ОАО «Санкт-Петербургский Дом Книги» — Невский пр., 62.

Тел.: (812)570-65-46, 314-58-88

ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера)

Невский пр., 28. Тел.: (812) 448-23-57

Фонотека Ул. Марата, 28. Тел.: (812)712-30-13

**в Екатеринбурге:**

Дом книги — ул. А. Валека, 12. Тел.: (343)358-12-00

**в Нижнем Новгороде:**

«Дирижабль» — Б. Покровская, 46. Тел.: (8312)31-64-71


**в Ярославле:**

ул. Свердлова, 9. В здании ЦСИ «АРС-ФОРУМ». Тел.: (0852)22-25-42

**в Интернете:**

[www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)

[www.bolero.ru](http://www.bolero.ru)



«Распря с веком» — свидетельство двух человек о творческой жизни писателя Аркадия Белинкова (1921 — 1970) в советской России и за рубежом. О поворотах в его судьбе: аресте, эмиграции, ранней смерти. Фрагментами своих опубликованных и неопубликованных книг, письмами и черновиками Аркадий Белинков сам повествует о времени, жертвой и судьей которого он был. Наталья Белинкова, прибегая к архивным документам и своим воспоминаниям, рассказывает о самоотверженной борьбе писателя за публикацию своих произведений и о его сложных взаимоотношениях с выдающимися людьми нашего недавнего прошлого — Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским, Виктором Шкловским и другими.

ISBN 978-5-86793-632-7



9 785867 936327